



ТА·
РУС·
СКНЕ
СТРА·
НИ·
ЦЫ

.

1961

**КАЛУЖСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**





КАЛУЖСКИЕ СТРАНИЦЫ



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
СБОРНИК



Калуга · 1961

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В. Кобликов, Н. Оттен, Н. Панченко,
К. Паустовский и Арк. Штейнберг

ХУДОЖНИК
М. В. Борисова-Мусатова

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Величавая картина построения коммунизма, открытая перед человечеством в новой Программе КПСС, заставляет советского человека заново оглядеть культурные богатства своей страны. Давно миновали те времена, когда вся литературно-художественная жизнь России была сосредоточена в столице. Мы привыкли к богатой, кипучей и разнообразной творческой жизни в областях и краях Российской Федерации. Живые источники культуры бьют сегодня и в самых дальних краях страны, и в самых малых и тихих ее углах.

В новой Программе КПСС записано, что при коммунизме запросы людей во всем их громадном разнообразии будут выражать здоровые, разумные потребности всесторонне развитого человека. Одна из таких естественных и благородных потребностей человека — создавать и воспринимать искусство. В духовной жизни нашей страны произошли разительные перемены. Всеобщей стала жажда обогатить свою душу искусством. Неизмеримо выросло и стало массовым стремление к художественному творчеству.

Калужское книжное издательство подготовило иллюстрированный литературно-художественный сборник «Тарусские страницы», который и предлагается на суд читателей.

У читателя, естественно, может возникнуть вопрос — почему именно «Тарусские страницы»? Чем примечательна Таруса?

Таруса — небольшой районный городок, обыкновенный и похожий на сотни других, центр сельскохозяйственного района. Похожий — и в то же время особенный. Пять лет назад К. Паустовский писал:

«У Тарусы есть своя слава... Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было мест таких типично и трогательно русских по своему пейзажу. В течение многих лет Таруса была как бы заповедником этого удивительного по своей лирической силе, разнообразию и мягкости ландшафта.

Недаром еще с конца XIX века Таруса стала городом художников, своего рода нашим отечественным Барбизоном. Здесь жили Поленов и тончайший художник Борисов-Мусатов, здесь живут Крымов, Ватагин и многие другие крупные наши художники. Сюда каждое лето приезжает на практику молодежь из московских художественных институтов.

За художниками потянулись писатели и ученые, и Таруса сделалась своего рода творческой лабораторией и приютом для людей искусства и науки».

К этому можно добавить, что, благодаря притяжению к Тарусе в течение чуть ли не столетия писателей и художников, здесь постепенно обжились ценные художественные собрания и литературные архивы.

За последние пять лет в Тарусе обосновался еще ряд людей искусства и науки.

Для многих литераторов Таруса стала своеобразным творческим уголком, местом, где им хорошо и плодотворно работается.

В сборник «Тарусские страницы» вошли повести, рассказы, поэмы и стихотворения, написанные авторами в этом маленьком городке. Часть из них посвящена Тарусе, ее людям, ее сегодняшнему дню. Но, разумеется, рамками города и района не исчерпывается круг интересов и творческих поисков писателей и поэтов, территориально

связанных с Тарусой. Отсюда и известная широта тематического охвата сборника, свидетельствующая о разнообразии отбора авторами жизненного материала, тем и сюжетов для своей работы.

В Программе КПСС, вынесенной на обсуждение XXII съезда, сказано: «Главная линия в развитии литературы и искусства — укрепление связей с жизнью народа, правдивое и высокохудожественное отображение богатства и многообразия социальной действительности, вдохновенное и яркое воспроизведение нового, подлинно коммунистического, и обличение всего того, что противодействует движению общества вперед». Здесь выражено и все, чего ждет от художественной литературы наш народ, и все, к чему стремятся в своей работе советские писатели.

Среди авторов, выступающих на страницах сборника, есть и известные писатели, за плечами которых многолетний опыт литературной работы, и молодые прозаики и поэты. Формируя сборник, издательство стремилось создать книгу, отмеченную определенным художественным единством, и в то же время подчеркнуть творческую индивидуальность каждого из литераторов, принесших свои произведения в «Тарусские страницы».

Конечно, сборник произведений авторов, связанных с Тарусой, как и любой другой отдельный сборник, не может претендовать на всеобъемлющий охват действительности, на отображение всего бескрайнего богатства сегодняшней жизни нашего народа. Это лишь скромный вклад небольшого коллектива литераторов в художественное творчество великой страны.

Издательство стремилось использовать все творческие силы, связанные с нашим краем, чтобы создать книгу, которая может заинтересовать читателей не только Калужской области, но и всей нашей необъятной Родины. Этому должен способствовать и отдел публикаций сборника, в котором сделана попытка познакомить читателей с некоторой частью богатства тарусских архивов.

Насколько это удалось — будет судить читатель.

Издательство просит присылать отзывы о сборнике по адресу: г. Калуга, площадь Ленина, д. 6, Калужское книжное издательство.

К. Паустовский

ГОРОДОК НА РЕКЕ

Вообще ошибочные мнения бывают обычно очень живучими. Они существуют сотни лет и с трудом выветриваются из нашего сознания.

До революции все маленькие города было принято считать захолустьем, где жизнь течет скудно и сонно. И теперь это представление о маленьких городах, так называемых «райцентрах», почти не изменилось. Считают, что они, конечно, далеко отстают от больших городов и по культуре, и по благоустройству.

Самое название «райгород» и «райцентр» дает богатую пищу для шутников и зубоскалов. Они называют их «райскими городами» и «райскими центрами» и острят по поводу того, что в этих городах мало признаков земного рая.

Все это — болтовня.

Я живу в одном таком маленьком городе на Оке. Он так мал, что все его улицы выходят или к реке с ее плавными и торжественными поворотами, или в поля, где ветер качает хлеба, или в леса, где по весне буйно цветет между берез и сосен черемуха.

Городок этот вплотную входит в сельскую жизнь. Гул тракторов по окрестным полям сливается с пронзительными и требовательными гудками окских буксиров. Обширные огороды окружают городок буйной зеленью, цветением картошки, запахом помидорных листьев. С берега Оки во все стороны открываются сияющие дали, близкие и далекие планы лесов — от светлых и серебрищихся под солнцем до загадочных и темных, сохра-

нивших в своей глубине журчанье ручьев и шумящие кроны столетних дубов и сосен.

Но городок хорош не только этим. Он хорош своими людьми — талантливыми и неожиданными, трудолюбивыми и острыми на язык. Я просто перечисляю нескольких жителей этого городка, и станет ясно, что слова о захолустье не выдерживают критики.

Если бы были живы такие писатели, как Лесков или Мельников-Печерский, то городок на Оке дал бы им богатую пищу для рассказов о простом и замечательном русском человеке.

Лесков написал как будто анекдотичный рассказ о тульском мастере Левше, который подковал блоху. Но это совсем не анекдот и не забавный случай. В каждом городке есть свои Левши. Есть они и в нашем.

Живет в нем слесарь Яков Степанович — изобретатель и поэт по душе. Он может сделать все, — как говорится, «и небо и землю». Из всякого металлического лома и утиля он собрал мотоцикл, изобрел машину для посадки деревьев в лесах и, между прочим, склепал проволокой сломанный зубной протез одному старичку. И тот носил его еще много лет. Потом, говорят, этот протез взяли в краевой музей как образец тончайшего мастерства.

Яков Степанович — человек до всего любопытный, вникающий в суть любого дела и неслыханно скромный.

Есть еще в нашем городке печник Митя — слабый здоровьем и насмешливый, кладущий

печи по своему способу — виртуозно и быстро. Оказывается, в печном деле есть свои секреты, свои законы, и нет у Мити ни одной печи, похожей одна на другую.

Никто так точно, как он, не знает законов тяги и нагрева кирпичей, не знает всей сложности русской печи и всей практичности «унтермарка». Споры Мити с другими печниками, все его разговоры о печах слушаешь, как живописное исследование, иной раз — как поэму. По словам Мити, мастер без выдумки, без воображения есть «фитюлька» и халтурщик.

Таких мастеров с воображением есть много в любой области. Человек сам создает вокруг своей работы поэтическое состояние. От этого работа спорится и просто сверкает в его руках.

Есть плотники, работающие топором с такой нистотой, что стук топора под их рукой звучит, как бравурный марш.

Есть столяр Николай Никитич — знаток птиц. Больше всего он любит делать скворечники и птичьи клетки. Каждая вещь, что выходит из его рук, — «игрушка». Его клетки — это просто птичьи дворцы с мезонинами, антресолями, балкончиками и верандами. В этих клетках, будь они немного побольше, хочется пожить и человеку. Они обточены, нарядны и воздушны.

Николай Никитич сам ловит птиц по веснам на так называемый «птичий клей» секретного состава. Он смазывает им ветки деревьев, и птицы просто прилипают к этим веткам без всякого вреда для себя.

Николай Никитич больше всего любит щеглов — разноцветных и нарядных птиц, похожих издали на порхающие цветы. Очевидно, от нарядности этой птицы и произошло слово «щеголеватый».

Голосам птиц Николай Никитич подражает, не имитируя их, а придумывая иной раз слова и целые фразы, которые лучше всего передают пенье и чириканье птиц. Так, чиж, по словам Николая Никитича, поет: «Пили кофе, пили ча-а-ай!», щегол кричит: «Стриг-лик», «Стриг-лик», а щур никак не может признаться своей подруге в любви и только заикается: «Влю-влю-влю-влив-влив».

В городке есть вышивальщицы, если можно так выразиться, с европейским именем. Их работа восхищала зрителей на разных выставках, особенно на международной выставке в Брюсселе.

Вблизи Оки живут знатоки речного дела — промеров фарватера, постановки бакенов и буксировки барж при малой воде.

Да всех не перечислишь. Живет у нас бывший корабельный врач — быстрый и строгий старик, большой знаток музыки, обладатель богатой исторической библиотеки. Есть садовод, ухитрившийся вырастить в срединной России субтропические деревья.

К городку этому давно тяготеют художники и писатели. В какой-то мере он уже становится литературным и художественным подмосковным центром. Хотя и небольшим, но все же центром.

Имена Поленова, Крымова, Борисова-Мусатова, Ватагина, скульптора Матвеева тесно связаны с городком. На многих полотнах этих художников вы увидите самые трогательные уголки нашего городка.

В городок часто приезжают работать и подолгу живут в нем писатели и поэты, особенно молодые. Сплошь и рядом можно услышать из открытых окон, из садов и палисадников разговоры и споры о Пикассо или последней книге Каверина, о Сарьяне и пьесе Арбузова.

В этом городке жил незадолго до смерти замечательный наш поэт Заболоцкий. Он оставил несколько прекрасных стихотворений о городке, о ясности окружающей природы — очень русской, очень мягкой и очень разнообразной. Особенно хороши «Вечера на Оке».

В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.

И лишь когда за темной чащей леса
Вечерний луч таинственно блеснет,
Обыденности плотная завеса
С ее красот мгновенно упадет.
Вздохнут леса, опущенные в воду,
И как бы сквозь прозрачное стекло,
Вся грудь реки прикиннет к небосводу
И загорится влажно и светло.

И чем ясней становятся детали
Предметов, расположенных вокруг,
Тем необъятней делаются дали
Речных лугов, затонов и излук.

Я не называю имени этого города только потому, что такой городок не один в нашем Советском Союзе. Если приглядеться к любому городку и пожить в нем, то окажется, что он удивительно интересен, характерен, жизнь в нем разнообразна, в нем много культурных людей и, кроме того, он кровно связан с исто-

рией страны. Тогда не будет и мысли о несколько обидном термине «захолустье».

Но если все-таки вам интересно, о каком городе я писал, то, пожалуй, я назову его. Это — Таруса. Та самая Таруса, что лежит где-то на краю калужской земли. Туда вы теперь можете доехать на автобусе или при-

плыть по Оке на новейшем быстроходном катере...

Извините за этот беглый очерк. Но если за ним последует ряд очерков от жителей таких городков о своих людях и родных местах, то моя цель будет достигнута.

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ СЛОВА

«Это тебе не погасший маяк!»... «В маяки произвели, а он приказал долго светить». «На этот маяк можно надеяться»...¹ «Маяк — что надо».

Такие разговоры о маяках слышны все время по колхозам и совхозам Тарусского района, как только речь заходит о выдающихся тружениках.

Сравнение с маяком родилось, как художественный образ, и родилось совсем недавно — на январском Пленуме ЦК, в речи Никиты Сергеевича Хрущева, и быстро вошло в обиход, приобрело новый и точный смысл.

За свою историю слово «маяк» претерпело несколько изменений смысла.

Сперва «маяк» — для ограждения навигационных опасностей и обеспечения безопасного мореплавания... «Для предотвращения весьма опасных ошибок»...

И для «указания пути мореплавателям». Но в самом начале «маяк» значило — «вежа, что-либо качающееся, шевелящееся и потому обращавшее на себя внимание».

В наши дни слову «маяк» дан смысл, пришедшийся по сердцу народу и прочно закрепленный в повседневной речи.

Люди, которые говорили: «Мы сейчас к какому маяку — к Гаврилову или к Полачеву?» или: «Как бы этот маяк не погас!», приносили это отнюдь не как образные выражения.

Слово «маяк» привычно вылетало из уст говорящего с такой же простотой и будничной деловитостью, как слово «хлеб».

Разговаривая с передовыми тружениками Тарусского района, невольно ловишь себя на том, что все время тоже идешь от образа маяка. Ищешь: почему, как зажегся этот «маяк», как он стал «обращающим на себя внимание» высоким примером? Что в этом характере явилось «шевелиющим»,двигающим, «горючим»? Будет ли этот «маяк» прочен, устойчив?

И еще: оказалось, что «маяк» — понятие в обиходе точно ограниченное. Вот, «наша бабка» в совхозе Вознесенье. О ней говорят: «Да она не маяк, она на все руки труженик».

Маяк — пример, он показывает путь к коммунизму. Это не только самоотверженный труженик, это — новатор, с новыми коммунистическими чертами характера.

Н. Яковлева

ХЛОПОТ ПОЛОН РОТ

Что такое счастье? Думают об этом больше в ранней молодости: гладкий путь без сучка и задоринки, исполнение желаний, цепь удач, успех и улыбки судьбы... Потом, убедившись, что жизненный путь не усеян розами, начисто забывают обо всей этой юношеской чепухе, но самого понятия не пересматривают. Спросите, например, Анну Ива-

новну Козлову, агронома колхоза им. Сталина в селе Волковское, счастлива ли она. От удивления она, наверное, только ахнет: «Неприятностей-то, неприятностей сколько!»

Какое уж там счастье, когда техники не хватает и сняли с производства трактор У-2, который ей гораздо больше нравится, чем «Беларусь». У-2, правда, не такой быстроход-

ный, но зато не ломается — совсем простой и ломаться там нечему! Сеялку таскал, волокушу, плуг навесной... Тракторист на нем сто лет работать может, и сам не устанет, и трактор цел. А «Беларусь» шумит, пыхтит, спешит, и шланги то и дело рвутся: с навесной техникой замучались... Тряска страшная. А тракторист? Не случится ли у него опущение желудка или что такое от тряски?

Озабоченная, серьезная, она носится на велосипеде по колхозным полям. Кожа на загрелом лице погрубела, глаза напряженные: вечно какие-нибудь неполадки, не поглядишь — кто же заметит? Пора к трактористу на дальний участок — он еще не внес удобрений под кукурузу, — напутал квадраты. Надо помочь ему разобраться.

— Меня иногда новатором называют, — говорит она, — но ведь это не я технику внедрять придумала. Без техники нельзя. С техникой дешевле, чем вручную, но сколько с ней, с этой техникой забот! Наплачешься. Верите ли: бульдозер, наконец, достали — надо же выравнивать канавы, да у нас еще от войны есть воронки. А он стоит из-за этих самых шлангов!

Сегодня сеют позднюю капусту. А если что не так?

— Тяжко подойти сказать, если что не так: лучше бы меня обухом стукнули! Да ведь молчанкой не отделаешься!

Отмалчиваться она действительно не умеет и не хочет. Зачем? Это человек без задней мысли, лишенный мелочных расчетов и целей. Перед ней маячит идеал — великомерно организованное хозяйство, в котором все идет как по маслу, и разум людей помогает взять у земли, все, что она может дать. Да, колхоз занял первое место в районе... А что с этого? Сколько еще не доделано... И по цифрам не всегда все прочтешь...

Говорят, Анну Ивановну все побаиваются. Не потому ли, что она ничего не таит и все выкладывает прямо, без обиняков.

— За цифрами погнались, а есть такие коворы, что и держать не стоит. Только место занимают. Убрать их, и молока стало б не меньше, а, пожалуй, больше, потому что другим легче б и корма и уход обеспечить... Или вот гречихи в этом году вдвое больше, чем в прошлом, посеяли. А почему? Раньше избегали ее сеять — меньше центнеров с гектара дает, чем другие культуры. В отчете блеска такого не получается... Подняли закупочную цену, указали, и мы опять с гречневой кашей будем...

Или другую сторону возьмите. Ведь не скажешь, что город полностью обеспечен ово-

щами. А мы свеклу столовую — верите ли: как с поля ягодка — коровам сейчас скармливаем. На руках со свеклой остались. На рынке, когда дело было развито, у нас овощ с ходу брали, а теперь в кооперации к штучкам разным прибегают: несортовая, неросимый огурец не сеите — в засол не идет — слышали вы такое?! Некуда им принимать огурец, а беспокоиться они не хотят.

И еще нам задание: луку полтора гектара засеять. А мы в прошлом году уже с реализацией попались, и теперь говорим: нет! Так и не посеяли. Колхознику интересно, продать. Дураки мы или умные, у нас тоже свой план есть, и правительство приняло планирование снизу...

Анна Ивановна огорчается — молодежь не остается в колхозе. Все рвутся в город. Собственные дочки уходят — одна в педагогическое училище, другая — в медицинский институт.

— Неприятности все домой несую, они вот и отвратились. Она знает, что в колхозе не создано условий для молодежи. Бани даже нет. Сад — мечта, а рабочих рук не хватает. Клуб вроде не плохой, а в сущности только одно название — сегодня кино и завтра кино.

— Я помню, еще когда в семилетке училась, какую самодеятельность разделявали: «Без вины виноватые» ставили. Есть у нас в колхозе женщины-веселухи: чуть запоют, все за ними. А хора нет. Нужна жизнь настоящая. Даже просто выходные дни, и те обеспечить забыли...

Как заразить молодежь любовью к земле? У Анны Ивановны сохранилось яркое воспоминание юности — она и сейчас молода — ей всего тридцать восемь лет, но молодой она себя не считает — дочки и заботы, какая уж там молодость. А в те годы был у них на селе агроном, веселый парень. Все на коне разъезжал и говорил: моя работа настоящая, вольная, хлеб дает... Отец мостовщик уговорил ее поступить в дорожно-строительный техникум, но она и года не выдержала — сбежала на двухлетние курсы агрономов — зоотехников. Так и пошло. С тех пор все в колхозе работает. Вовремя поняла, куда ее тянет. При механизированном хозяйстве тяга к земле проявляется не так сильно. Этому мешает узкая специализация.

— Вот соседская дочка — пахать — пашет, а даже грядки нарезать не умеет... В этом году, когда я свой огород сажала, пришлось и ей посадить — не умеет... И, может, поэтому из колхоза иногда уходят те, кому бы лучше в нем остаться.

Недавно Анна Ивановна, измученная и

расстроенная новыми неполадками и недоделками, возвращалась на велосипеде домой. По дороге ее остановила Валька, приехавшая на побывку к родителям. Она хорошо устроилась в городе, и многие ей даже завидуют. А Валька вдруг чуть не плачет, говорит: «Тетя Нюра, какая вы счастливая, вольно так живете, целый день по полям носитесь, хлеб растите, а мы в четырех стенах законопачены»... Беглянка не поймала на чужбине синюю птицу — счастье — и позавидовала той, что не оторвалась от земли. А, может, она права и Анна Ивановна действительно счастлива, хоть у нее хлопот полон рот и неприятностей не оберешься?

Ф. Пудалов

НА КРЫЛЕЧКЕ

Вечер уже стемнел, Анатолий всматривался в тетрадку, пригнулся к столу и все еще не догадывался включить лампочку. А большая листва все меньше пропускала света в маленькое окно. Теперь уже немного летних вечеров проведет он над учебником и тетрадкой. Все документы собраны, завтра утром ехать подавать в техникум. Но в армии его готовили не к этому — не к экзамену в техникум. Многие из средней школы забылось.

Нельзя сказать, что армейская подготовка совсем ему не пригодится для экзамена. Просидеть все летние вечера над учебниками — это выдержка. Настойчивость в достижении поставленной цели. А решение поступить в техникум? И решимость — не отступать от принятого решения? Разве все это — не армейское воспитание?

Анатолий, конечно, и до армии считал себя положительным человеком, не склонным к увлечениям. Ребята приходили из армии и сразу женились. Анатолий постановил: сначала окончить техникум, женится потом.

— Толя!

Анатолий отмалчивается и не включает света. Но ребята уже не верят темному окну. Они вваливаются в избу.

— Пойдем на гулянку!

— Ребята, мне завтра в техникум! Экзамен...

— За все лето, небось, подготовился. Один раз погуляй!

Вытащили. А характер? Характер есть, но ведь ребята правы.

Ну, гуляли, затеяли игры. Обыкновенные



Делегат XXII съезда КПСС
ГАВРИЛОВ Анатолий Кузьмич

Рис. А. Каурова

деревенские наши игры... Колечко, например...

Садятся в ряд. Игра детская, в детстве в нее играли, только не рассаживались парами. Складывали ладони коробочкой, и водящий обходит и будто что-то в руки кладет. Потом тот, кто салит, угадывал, у кого колечко. Угадает — другой будет искать колечко...

Взрослые играют немного по-другому. Салющий вызывает: «Колечко, колечко, выйди на крылечко!..» Анатолий угадал: у Зины.

И Зина вышла на крылечко. Не думаю, чтобы Анатолий все это сам подстроил, у ребят у самих глаза есть. Анатолий в этот вечер первый раз увидел Зину. Ну, а ребята увидели то, чего он сам в себе еще и не подозревал...

В совхоз «Вознесенский» часто приезжают корреспонденты из газет. Один написал об Анатолии Гаврилове, что он через любовь стал кукурузоводом. Это чепуха. Может быть, в жизни так бывает, но с Анатолием этого не было. Он, как тракторист, работал на разных работах, и ему предложили заняться кукурузой. На одной работе интересней, конечно, чем на разных. Но он не просил, не назывался.

И учителем его была не Зина, хотя она и стала ему женой. Учил его шурин Михаил

Авксентьевич. Учил не потому, что шурин, а потому, что Ганжин.

Посмотрите этому человеку в добрые глаза с мягким прищуром... и вы сразу попросите:

— Михаил Авксентьевич, научи, пожалуйста, сеять кукурузу сеять.

— Михаил Авксентьевич, поучи нас, неуков, сеять кукурузу! — попросили из соседнего района этой весной. — Вот тебе участок.

— Вижу участок, — сказал Михаил Авксентьевич, — не вижу учеников.

— Будут и ученики.

Ганжин ждать не будет — сам стал сеять. И действительно, пришла на другой день ученица — на клюшку опираясь, прошамкала:

— Меня учи, ласковый, меня прислали, а больше нету учеников, все делом заняты.

— Ладно, бабушка, иди домой.

Так соседи обманули мастера кукурузы. Засеял им Ганжин 18 гектаров и уехал с огорчением на свою пойму, в свой совхоз «Вознесенский», — ведь не будет на этом поле хозяина.

Гаврилову дали участок в прошлом году рядом с Ганжиным, в пойме Оки. Нынче у Анатолия посев там же и еще на двух участках. Один возле школы, другой — вот этот, на бугре над оврагом. Поле чуть выпуклое и покатое, внизу овражек тоже мягкий, дерновый, и по сгибу сорокалетние дубки обнимаются с молоденькой рябиной в тесную обнимку. А дальше внизу, под самым небом, то есть, за Окой, синеют леса тульские. Для нас вся эта красота обжитая, как для горожанина его район. Тот на углу своей улицы бросает письмо в почтовый ящик. А наш почтовый ящик — видели? У развилки дорог, среди полей и лесов. Большой, синий, на бетонном постаменте стоит. Кто пашет, кто сеет — письмо напишет в обед, туда опустит.

А лет сорок назад, говорят, на деревне у дороги объявление висело — «Сберегательная касса»... Это бандит повесил. Означало: кладь деньги тут. Кассир за деревом с обрезом стоял.

Трактор старый, без защиты от непогод. Ветер нажимает на глаза, Анатолий щурится. У некоторых при этом лицо морщится неприятной гримасой, а у Толи — улыбкой.

Сегодня он ведет трактор поперек борозды. Первую пропашку — вдоль поля — сделал до дождей, в один день: 26 гектаров — две нормы. После дождя гребешок затвердел, по гребешкам трактор трясет — нельзя идти на третьей скорости. Провести пятьсот борозд, чтобы каждая просматривалась, как линия на чертеже, — ведь это не карандашом на бумаге. И другие пятьсот поперек, через пятьсот

гребешков. В конце поля сделать заход грубой машиной — так, чтобы шестью плужками вступить совершенно точно, в семидесяти сантиметрах от последней борозды.

Трактор вверен ему — как свой дом, своя земля. Трактор стоит на его дворе, а на его трех полях у дороги фанерки с надписью: «Участок кукурузы звеньевского Гаврилова А. С этой площади Анатолий намерен получить по 560 ц с гектара». Но это в конторе написали среднюю урожайность со всех трех участков. На пойме будет 700, а здесь 400.

Ветер провожает, как мать и как мачеха. В лицо — обвеивает прохладой, в спину — намахивает, как веничком в бане.

Между прочим, у Ганжина Михаила Авксентьевича нет щитка на поле. Михаил Авксентьевич все как-то забывает принести его из дому... Причину не говорит, чтобы не обидеть шурин.

Не нравится Михаилу Авксентьевичу хвалиться обязательством, нравится, чтобы другие хвалили за исполнение... Ну что ж, Анатолий помоложе, ему можно, думает Михаил Авксентьевич и тревожно смотрит на грачей, на тучку. С кукурузой надо сойтись характером. Ее характер такой, что она любит мягкие почвы, мягкий подход.

А вот кукурузоводу надо иметь два характера: мягкий для кукурузы и твердый для начальства, чтобы не уступать в сроках сева... «Но этого я не сумел, — смущенно думает Михаил Авксентьевич. — Ну ладно... А вот зерно пролежало в холодной земле целый месяц».

Шурина Толе проще: он коммунист.

Ему говорят: в прошлом году было на пойме шестьсот, как же в этом году записывать, опять шестьсот? В этом году надо взять на пойме семьсот. Тем более, что рядом такой учитель, как Ганжин, опытный, умелый кукурузовод, осторожный мастер.

Молодость увлекается, и это тоже полезно для дела. Два года назад Анатолий вышел с Зиной на крылечко, утром не поехал подавать в техникум, а вместо этого женился. И теперь у них сын — богатырь: девять месяцев, а стоит, раскачивает кроватку, что смотреть страшно, два раза уже вылетел.

В техникум Толя все же поступил, только в заочный. За второй курс сдает.

И для начальства характер имеет. Весной в самодеятельности пел куплеты, с сестрой вместе сочиняли. Раньше называлось частушки, теперь — куплеты.

Сев прошел и сенокос,
Снег уж выпал на полях.
А когда ж достроят баню?..
Вот вопрос!

Если вы спросите у секретаря райкома: чем особенно дороги вам эти люди — Ганжин, Гаврилов?

Секретарь подумает и, наверно, ответит:

— Эти люди дороги настоящей искренностью и некорыстным интересом к своему делу.

Ф. Вигдорова

НАША БАБКА

Несмотря на жару, голова повязана черным платком — из-под платка глядит сморщенное, навек загоревшее лицо. Глазки — пристальные, хитрые.

— Мария Федоровна? Бычкова? Это я. Садитесь. И хорошо, что пришли. Милости прошу. Я, конечно, полы мою, но ничего. Садитесь. Из газеты? Ну, в общем, для печати? Бери тетрадку, пиши. Не стесняйся, не стесняйся, вытаскивай тетрадку и пиши. Ко мне всегда посылают. Меня тут вся власть знает. Сверху до низу. А как меня не знать — я на все руки. Я работы не боюсь. Я и с телятами могу, и с курами, и кладовщицей, и фуражиром. Раз тут приходили, чтоб меня рисовать. Нарисовали. Я насчет работы всегда впереди. Записала? Ну, все. Больше нечего писать, все сказала. Нет, постой, погоди. Я хоть три класса всего кончила, но я пить-есть брошу, а газетку почитаю. И книжку могу почитать. Меня тут не зря вся власть знает. Так и говори: наша бабка. Это — я. Ты что ж мало как записала? Или памятьливая? Ну-ну. Раз и так запомнила — нечего бумагу марать. Так и запомни: наша бабка в работе быстрая и никакого труда не боится.

Она вдруг поникла, прикрыла глаза темными тяжелыми веками и заговорила устало, медленно, надолго замолкая:

— Вправду запомнила? Ну и ладно. Чего ты смотришь? Небось думаешь: какой, мол, в горнице беспорядок. Ничего не поделаешь... Кухня, вся гнилая. Сын с женой отделился, я им горницу отдала, а сама в этой кухне осталась. Надо бы ее починить. Да ведь деньги трудно достаются. И здоровье не то, что прежде. Моя жизнь очень трудная. Хорошего-то я мало видела, а вот плохого — у-у-у! Плохого — сколь хочешь. Я вдовой осталась лет двадцати пяти. Году в пятнадцатом, что ли... Пожила маленько одна с двоими ребятами, а потом приняла в дом плохого мужичонку, пьяницу. Помаялась с ним да и погнала вон. Ерундовый был мужичонка. И осталась одна с пятерыми ребятами. Ну, маялась, ну, натерпелась я — вспомнить страшно.

Колхозы начались — я в колхоз. Походила на курсы и стала конюхом. Я хорошо за конями ходила. Поверишь ли, мне те кони по сю пору снятся. Ну и работала я! Ну и работала! Ведь мне пятерых ребят поднимать — легкое ли дело? Вот я погляжу, как иной раз люди работают. Прошло восемь часов, а они на руку смотрят, что часы показывают — значит, подошел конец работе. А разве работе есть конец? Нет, работе нет конца.

Как мы жили, как детей растили — это ж вспомнить — и то страшно. Но подняла детей. Потому что работы не боялась. Я ведь на все руки. Я сама ребят обшивала, они у меня в школу, знаешь, как чисто ходили? Я сыну Сереже всегда говорила: учись, дитя, учись, ангел мой. А чем кормить? Хлеб да вода. Нет, с тех пор жизнь, конечно, далеко ушла, ничего не скажешь. Разве ж мои внуки так учатся? У них все есть, и одеты, и обуты, и сыты. А Сережа... Его перед самой войной взяли на действительную. Он все говорил: «Ты по мне не плачь, не плачь, мама». А я, дура, плакала. Не знала, какая беда ждет. Война — и убили. Вот когда поплакать-то пришлось.

Ивана тоже взяли на фронт, совсем мальчонка был, совсем дитя. Но, слава богу, вернулся. Раненый, но вернулся. У него сколько-то тонких кишок вырезали, но организм молодой, справился. И женился. Сноха — учительница, образованная, да и он сам не плох — электрик. Живут хорошо. Вот сейчас отделились, а я тут, на кухне осталась. А дочь Маша? Она в Москве диспетчер на автобазе. Очень ответственная работа. Еще дочка Зина — милосердной сестрой в больнице, Анна — в совхозе по нарядам — все при деле, все хорошо живут и внучат мне нарожали.

Оглянусь назад и думаю, да как же я их подняла? Наверно, я и правда — морозоустойчивая. И еще я себя хвалю, что ничего не боялась. Вот в войну, бонбят, а я из дому не ухожу. Есть, которые боялись, а я — нет. Война — и пусть война, а я сама по себе, меня не сломать. Меня, бывало, немец пихнет, а я, думаешь, стерплю? Я его сама пихну. Я им спуску не давала, немцам. Я одну кобылу с колхозной конюшни — самую лучшую — к себе на двор взяла. Содрала ей шкуру со спины и заживать не давала, чтоб немцы не взяли. И доберегла до своих. А конь, лучший наш конь, — он такой лихой был, он им не поддался, немцы его нипочем поймать не могли, немцы его и убили. Какие кони были! Этого никто понять не может! Я после войны в конюхи уж больше не пошла. Руки не те. Но я все работы превзошла. Я могу и

дояркой; и телятницей, и фуражиром, и кладовщиком. А косить? Марина — первая, а я вторая. Я стога хорошо кладу. Все стога мною сложены, лучше — никто не кладет. Я вот только кур не люблю. От них дух тяжелый. И после коней мне с курами дело иметь ни к чему. Но и то, когда птичница наша сына выдавала — кто ее подменял на птичнике — опять же я! Я работать люблю. Мы все у матери такие, работающие. Моя мать умерла — восемь человек сирот оставила, но мы все в люди вышли. А одна моя сестра — лучше всех — работает в Кремле курьером.

Ты думаешь, мне сколько годов? Шестьдесят девять. А если спрашивают: бабка Маруся, сколько тебе годов, я говорю:

— Годы мои назад пошли. Раз Марусей зовут — значит, молодею.

Доктора говорят: побольше сахару ешь. Я и ем. Я себе какава варю, молочка подолью — и пью. Мне сейчас совхоз молоко выдает. Раньше не давали, а я говорю: «Товарищ директор, что ж такое, неужто у совхоза для меня молочка нет?» И мне сразу 20 литров — бултых!

А главное дело, я работу люблю. И люблю я хорошо сделать. И хоть я сейчас на пенсии, отдыху мне все равно нет. Чуть что — ко мне. В телятник, в курятник, к коровам — где наша бабка? Это — я. Зовут — иду. Ну, раз за ради бога просят — как не пойти? Вчера пришли — зовут хлев чистить. Неужели, раз меня нарисовали, я должна дерьмо убирать? Но пошла. Потому, что если не работать...

Она снова поднимает глаза, смотрит пристально. И говорит:

— А горя я хватила — на десять жизней...

И чуть погодя: — И правильно, что ничего не записываешь. Что тут записывать? Живу. Работаю. Вот и вся история...

Н. Яковлева

ПТИЧИЙ ПРОФЕССОР

Ферму обслуживают два работника: девушка Вера и гончая собака, которая не допустит на птичью территорию ни лисицы, ни ласки, ни хорька.

Впрочем, это не совсем верно... Утром и вечером сюда заходит старик с квадратной бороденкой. По утрам он обходит пернатое царство и поучает Веру, открывая ей тайны рациона и режима для ее питомцев. Вечером дает распоряжение на следующий день и, от-



ЩЕКОТУРОВ Петр Иванович

Рис. Н. Ращентаева

пустив Веру домой, дожидается, пока последняя курица не вернется в птичник и не усядется на насест: «Ведь не скот — их не загонишь»...

Это Петр Иванович Щекотуров, родоначальник знатных птицеводов совхоза «Барятино» Тарусского района. Три года назад старик ушел на пенсию, и туда, где десять лет подряд работал он один, поставили четырех людей. Но все они вчетвером с работой не справились — дело рушилось, ферма пришла в упадок. Обеспокоенное начальство обратилось к старику с просьбой вернуться и взять узды правления. Петр Иванович отказался: «Мне нельзя. Я на пенсии», но обещал помогать советом и присматривать за новыми работниками. Однако руководство совхоза пришло к неожиданному решению: «Чужому человеку ты так не поможешь — вот тебе дочь»... Старик обрадовался, что дочь будет

продолжать начатое им дело, но поставил условием, чтобы на ферме, где содержится полторы тысячи кур, по-прежнему оставался один рабочий: Вера и одна управится. Ферма снова возродилась, и за три года Вера стала хорошей специалисткой. «Теперь я сама кое-что могу — мешанку приготавливаю, рацион знаю»... На курсах передового опыта, которые периодически организуются совхозом, дочь теперь выступает перед съехавшимися животноводами наравне с отцом.

Петр Иванович — невысокий, худощавый старик с легкими и быстрыми движениями плясуна. Проницательный взгляд, а под бороденкой прячется лукавая усмешка. Его смешит, что вокруг него собрались люди и удивляются его познаниям в птичьем деле.

— Я в любой разговор могу воткнуться, потому что читал все, что по специальности. Ну, конечно, не полностью, а в основном вычитал. Про марганцовку, примерно, в журнале «Птицеводство»... И что витамин D₂ способствует образованию шкорлупы. Все это маленькие вещи, но к ним нужна серьезная внимательность. Знайка по дороге бежит, а незнайка на печи лежит. Сами знаете, как полено — один ударит, сразу разлетится, а другой только ковырнет...

Старик превосходно ориентируется в обстановке; он пользуется присутствием гостей, чтобы собрать все «недоимки» с директора совхоза: скоро придут из инкубатора двухмесячные цыплята, а навес для них недостроен, потому что не хватает тесу. Пернатое население фермы должно полностью смениться, как только двухлетние куры, отслужившие свой срок, начнут линять. Наивысшая яйценоскость у кур — первые два года. Ферма поставляет прямо на прилавок московских магазинов диетические яйца — вот почему по всему птичьему двору рассыпались белые курочки, так называемая русская белая. Каждая из них дает в год до полутора яиц, почти вдвое больше, чем в домашнем хозяйстве.

— Если молодняк плохо питать, получается воспаление яйцевода. Одним зерном кормить — зажиреет и меньше яиц даст, — повествует Петр Иванович и тут же обрушивается на директора: — Сколько тут язык треплешь: зайдешь к директору и ему прямо в лицо говоришь — не то, чтоб у нас нету, а лишь бы вовремя доставили: где обрат? По науке доказано, а я по опыту знаю, товарищи птицеводы, употребляйте обрат и другие молочные отходы, а нам, извините, подвоз не наладили, чтоб бесперебойно...

Директор дает клятвенное обещание «при-

нять все меры», и старик смягчается. Он теперь охотно рассказывает о себе:

— Я здесь доморощенный. На этом кладбище мой дед и отец покоятся...

В молодости Петр Иванович уехал на заработки в Москву и работал слесарем-водопроводчиком на Мытищинском заводе. Но сердце его не лежало к городской жизни. Над ним смеялись: «Я один чудак — все в Москву ударились, а я один из Москвы. В город приятно в гости — сто грамм с племянниками выпить, а тут дохнешь, и для твоего организма хорошо». Его страшали тяжелой деревенской работой, но никакой работы он не боялся: «Нигде задаром не кормят, а всякую работу люди делают. С лысинкой родился, слысинкой и умрешь, а если кто при волосах хочет быть, так голову иметь надо — с головой не пропадешь!»... А тут и здоровье стало пошаливать, и подался с семейством в родной колхоз: «Отлегло немного, и защебетал я, как соловей»...

Первые годы Петр Иванович работал кузнецом, а последние десять лет перед выходом на пенсию осваивал новое для него «птичье дело», и сейчас все зовут его «птичьим профессором». Он не отступал ни перед чем. Этот человек, кончивший в детстве трехклассную



ЩЕКОТУРОВА Вера Петровна

Рис. А. Каурова

сельскую школу, сумел внимательно изучить специальную литературу, но руководствовался правилом: «По казенному нельзя смотреть, а надо по-домашнему, то есть, как теперь говорят, по-культурному». Наблюдательный хозяин, он сам ведет заметки — дневник куриной жизни и нередко приходит к неожиданным выводам. С фермы до сих пор тщательно изымались все петухи в самом нежном цыплящем возрасте: яйцо требуется жирное, неоплодотворенное. И наседки здесь не увидишь — если курица клохчет, ее запирают в особый изолятор, где, потосковав несколько дней, она смиряется и, поборов материнский инстинкт, снова выходит во двор или под навес к гнездам, где ей полагается нестись. Куры здесь бродят поодиночке, а не обычными стайками во главе с заботливым петухом. Старик убедился, что это неправильно:

— Надо нам хоть полтора десятка петухов сохранить на случай воздушной тревоги, — сказал он... А то вот недавно коршун курочку заклевал. Петухов нет, никто их, дурных, не остерег...

Недавно Петр Иванович построил новый дом. Почти каждый год он получает премии — то самовар, то ружье, то часы... Ферма занимает одно из первых мест в районе...

— А сами вы держите кур?

— А как же! Ведь иначе каждый скажет: откуда старый черт яйца берет — он то и дело яичницу ест...

Э. Малых

ОНА ЭТО ЛЮБИТ

Учителя-старожилы в один голос отказывались быть агитаторами на животноводческой ферме совхоза «Вознесенский».

— Только не на ферму!

— На ферму? Ни за что!

Ферма в районе известная: самые передовые методы, последние новшества — и работники фермы считают, что они во всем разбираются не хуже любого агитатора.

— Зачем нам с агитаторами время терять?

Юрий Васильевич Давыдов — директор школы и секретарь партийной организации в Парсуках старался воздействовать на самолюбие учителей: «Значит, к ним должен прийти человек, который заставит их понять, что с ним они не теряют времени». Но желающих не нашлось. А Юрий Васильевич был твердо убежден: общественная работа — это то, что ты любишь. То, что делаешь с интересом, от всего сердца, а не по обязанности.

Агитатор должен любить свою работу, иначе он — не агитатор. Был только один человек, который бы его не послушался. Но и тут он не хотел заставлять.

— Попробуй, возьми, — сказал он жене.

И она ответила: «Ну, что ж, попробую».

В первый раз Елизавета Александровна Давыдова пришла на ферму в декабре прошлого года.

Работники фермы ждали ее: может, им интересно было взглянуть на человека, который не побоялся быть у них агитатором?

Она села за стол, взглянула на собравшихся и вдруг сказала:

— Ну, как мы с вами работать будем?

И кто-то после короткого молчания сказал: — Самодеятельность бы...

— Самодеятельность? Ну, что же... А какие у вас таланты? Кто поет? Танцует? Стихи читает? Ну, вот вы? А вы?

И закипело! Кто-то взял на себя переписать в нескольких экземплярах слова старинных песен — свадебных, величальных. Кто-то нашел аккордеониста — да не какого-нибудь, а такого, что в музыкальную школу ездит, учится. Участницы хора сами сшили себе пышные цветастые юбки, нарядные кофты.

Елизавета Александровна выбрала небольшую пьеску: про девчонку, которая после десяти классов не захотела на ферме работать — сочла для себя зазорным, и через две недели после первого прихода Елизаветы Александровны на парсуковскую ферму в большом клубе уже состоялся первый концерт: песни, стихи, пьеса!

И зрители восторгались и говорили: — Вот бы нам такую самодеятельность!

А потом, как часто бывает — вокруг общего дела люди сплотились. Родились взаимное доверие и уважение, которые позволяли прийти к агитатору с любым вопросом. Каждый знал, что ни один вопрос не покажется ей мелким или несущественным.

— Мы когда в первый-то раз сказали ей про самодеятельность, — призналась мне одна из работниц фермы, — думали, она в ответ вспыхнет. Мол, а я-то при чем? А она и глазом не моргнула. Самодеятельность? — говорит. — Ну, что ж. А кто из вас петь умеет? Или танцевать?

Можно начинать и с самодеятельности, и с доклада, и с беседы. Лишь бы это было продиктовано самым главным. Чем же?

— Как вам кажется, почему у вас пошло дело на парсуковской ферме? — спросила я у Елизаветы Александровны. Она ответила просто и коротко.

— Я люблю это.

Ш О Ф Е Р

Повесть в стихах

1

Первые толки о целине
 Начались рано — в марте...
 — Где это? Где? — пристали ко мне.
 Я показал на карте.
 Помню, сержант подмигнул, дразня:
 — Едем с тобой, водители! —
 Кто-то выпалил за меня:
 — Что, он себе вредитель? —

 Помню, еще не взошла трава,
 Только река трещала,
 А спозаранку уже Москва
 О целине вещала.
 И не забуду, как всю весну,
 Новостями набиты,
 Нам объясняли за целину
 Разные замполиты.
 — Ты поезжай, — говорили мне, —
 Ты послужи народу... —

 Политбеседы о целине
 Переделали роту.
 — Едем, — шептал мне ночью сосед. —
 Едем! Зовет эпоха... —
 Я просыпался, ворчал в ответ:
 — Мне и в Москве неплохо.
 (Там я в гражданке водил такси...)
 — Спи, — отвечал соседу. —
 Я не девчонка... Ты не проси...
 Все равно не поеду. —

 Лето пришло. Жара. Лагеря.
 Марши. Окопы. Стрельбы.
 Рвал я листочки календаря,
 Жадно шептал: «Скорей бы!»
 Осень. Листьев ленивый пляс.
 Утром сырым, туманным,
 Помню, вывели нас на плац.
 Каждый был с чемоданом.
 Гетный командовал:
 — Шире шаг! —
 Так и ушли в гражданку.
 Скинул шинель я. Надел пиджак.
 Снова сел за баранку.

 Люди в минувшее влюблены.
 Вспомнят про годы давние,

Вспомнят, вздохнут:
 — Жилось до войны!.. —
 Я говорил:
 — До армии! —
 Здорово было тогда.
 Притом
 Проще было, понятней..
 Был на окраине старый дом
 С личной голубятней.
 Лазил по крышам я в двадцать лет,
 Белых гоняя стаю,
 И не читал никаких газет,
 Верил им, не читая.

 ..Аккордеоны четыре дня
 Плакали и визжали.
 Только не свадьба была.
 Меня
 В армию провожали.
 Сунули в поезд — в глазах ни зги! —
 Высадили в Иванове.
 Выдали форму и сапоги,
 Чуб до «нуля» убавили.
 Город понравился мало.
 Тут
 Все казалось нелепым.
 Вон спозаранку бабы бегут
 В очереди за хлебом.
 Плачут:
 — Вконец исчез рафинад,
 Масла и мяса нету... —
 Но ежедневно благодарят
 Сталина все газеты.
 ..У ресторана против Кремля
 Снова курю в кабине.
 Где ты, былая вера моя?
 Нет тебя и в помине.

 Впрочем, посмотришь — жизнь хороша!
 Лучшую — не припомнишь.
 Мчишься на Курский из гаража
 И к ресторанам — в полночь.
 И пассажир бывает хорош —
 Выпивший, скажем, летчик.
 Договоришься с таким, везешь
 И не включаешь счетчик.

Сыт был. Одет был. Обут. Здоров.
Ездил — не знал печали.
Меньше встречалось грузовиков:
На целину угнали!
Или девчонок возил ночных,
Слушал их разговоры.
Словом, начальников никаких!
Разве что светофоры...

Вольная птица — шофер такси!
Это тебе не воин...
Ну, а доволен? — меня спроси,
— Нет, — скажу, — недоволен.
Сколько ни ездил, а не привык,
Не по нутру работа!
И неохота жить с чаевых
В двадцать четыре года.
И на стоянках, где самый ад,
Лаяться из-за места...

Вдруг потянуло меня назад
В роту, где жил я честно,
Где, не смущаясь, съедал съед хлеб,
Борщ и второе блюдо...
Где я был молод, и глуп, и слеп,
Рвался домой отсюда.
Рвался...
Дорвался.
Вокруг — Москва.
Дождь. Зима на пороге.
И на душе у меня тоска,
Странно: тоска по роте.

2

Небогато было в квартире.
Стол был хром, а кровать — узка.
В месяц раз часа на четыре
Лейтенант давал отпуска.
И сидел я, стасив рубаху,
За столом — он стоял едва! —
И хлебал домашнюю брагу,
Что варила одна вдова.
Пил до дна, до седьмого пота!
Был на выпивку — будь здоров!..
Мне казалось и есть свобода —
Обнимать сердобольных вдов.
Как я ждал тех часов! Бывало,
Отменяли их на беду...

А теперь по Тверскому бульвару,
Как ни в чем не бывало, иду.
Осень кончилась, и не тает.
Ближе к полночи ветер сник,
И красиво снег оседает
На цыгейковый воротник.
Только что мне?
Как после ссоры
С лучшим верным своим дружкой,
Непроставшийся, невеселый,

Я тащусь по Москве пешком.
Говорю себе:
— Вышли сроки.
Брось болтаться и выпивать.
Пред тобою лежат дороги.

Выбирай! —
А что выбирать?
Это раньше я помнил твердо,
В школе вызубрил наизубок,
Что дорог предо мной до черта!
Чуть ли непроворот дорог!
А теперь за глаза не веришь,
Так уже получилась жизнь,
Что дорог предо мною две лишь:
Либо пьянствуй, либо женись...
Точно в байке, встал на развилке.
Влево — горе, вправо — беда.
И грустишь, и скребешь затылок,
И не знаешь, ехать куда...
Поспешили девчонки замуж,
Пропадают во цвете лет,
И остались — поймете сами! —
Те, которым везенья нет.
И уже подросли пацанки,
Что ходили вчера под стол,
Непохожие по осанке
На простецких своих сестер.
Я встречал их на площади Свердлова.
Шли они в сиянье реклам
В туфлях замшевых, в шляпках фетровых,
В необъятных пальто-реглан...

Может, женишься?
Неохота.
И без этого тяжело.
Что-то важное за три года,
Непонятное произошло.
И, попойками не приглашен,
Просверкнул светлячок в мозгу:
— Что же, как за подол мамашин,
Уцепился ты за Москву? —

Так шептал я скорого горкою
(Понимая, что оплошал!)
И холодной улицей Горького,
Распахнувши пальто, бежал.
И у входа, отбросив робость,
Все решения перебрал,
Очумевши влетел под глобус,
Что нацеплен на Телеграф.
Неспокойной полон отваги,
Точно в картах — срываю банк! —
В лихорадке вместо бумаги
Я схватил телеграфный бланк.
Выпивать или таскаться в загсы —
Одинаковая благодать!

Запахавшись, сажая кляксы,
 Я царапал:
 «ПРОШУ ПОСЛАТЬ...»
 А на улице полусонной
 Мокрый снег прохожих скосил,
 И мигал огонек зеленый
 Неприкаянного такси.
 На сиденье упав, как барин,
 — Где комсорг? — вскричал, оглуша
 Задремавшего парня. (Парень
 Был из нашего гаража.)

И на Киевский, на Казанский
 И на Курский мы с ним неслись,
 И веселою мне казалась
 Этой полночью наша жизнь.
 Падал снег и стекло заваливал,
 Паренька клонило ко сну,
 А я все его уговаривал:
 — Едем, едем на целину! —
 Я внушал ему:
 — Шут нелепый!
 Брось Москву и укатим в степь,
 Не хватает народу хлеба?
 Ну, так мы и добудем хлеб! —
 Так раскручивал я идеи,
 Земледелие перевозноя.
 Мне казалось, что в самом деле
 В шар бильярдный планета вся.
 Но шофер пожимал плечами,
 Переспрашивал:
 — Целина? —
 Он не верил, что все печали
 Как рукой снимает она.

...На рассвете против Мосторга,
 С пареньком наругавшись власть,
 Наконец мы нашли комсорга.
 Он клевал, на руль наваялся.
 Вздрыгнул. Губы платочком вытер.
 Огрызнулся:
 — Тебе чего? —
 Он давно меня ненавидел.
 Я давно не любил его.
 На собраньях пылал от гнева,
 Крыл за пьянку в который раз,
 А баранку крутил «налево»
 В тыщу раз похитрее нас.
 Только я ему портил нервы,
 Я кричал ему:
 — Сам хорош!
 Врешь насчет коммунизма верно,
 А калым для чего берешь?
 Бланк был грязным — на кляксе клякса!
 — На, читай, — протянул ему, —
 И, пожалуйста, не пугайся:
 Я обратно не отниму. —

Разговоры о целине
 Начинаются за Саратовом.
 Только я не могу вполне
 Доверять вагонным ораторам.
 Я гляжу в окно на поля.
 Оборвать не хватает смелости:
 Дескать, ввали бы до рубля,
 А то нету на сдачу мелочи...
 Что мне думать о целине?
 Как получится — так получится.
 Я гляжу на поля в окне,
 А глядеть хочу — на попутчицу.
 Вон на полке, на боковой,
 Примостилась она над сборищем,
 Повернулась ко мне спиной,
 Не прислушивается к спорящим.
 А они играют в «козла»
 Обстоятельно и внимательно,
 И постукивают без зла,
 И поругиваются нематерно.

(Как вошла она в наш вагон,
 Поглядела на всех устало,
 Попросила зажечь огонь,
 Закурила, письмо достала
 И читать его принялась
 Не сначала, а с половины,
 Я заметил — уж был гласт! —
 Слово первое: АНТОНИНА.
 Я минуты не думал тут,
 Сразу брякнул в развязном тоне:
 — А! Выходит, Тоней зовут!
 Что же, будем знакомы, Тоня!.. —
 И осекся. Вдруг понял: с ней
 Никакого не будет толку,
 И потупился, покраснел,
 И убрался к себе на полку.)

...Ночью, словно издалека,
 Вдруг услышал:
 — Какая станция?
 — Разбуди того чудака! —
 Крикнул кто-то,
 — А то останется! —
 Я проснулся, глаза протер.
 Надымили в купе нещадно.
 Вещи вытащил в коридор,
 Увидал ее на площадке.
 — Брось, — сказал ей, — не злись, пойдем.
 Пропадешь одна с непривычки,
 Как-никак — веселей вдвоем.
 Помогу, подтащу вещички. —

Ночь была — ни звезд, ни огня.
 Чуть поскрипывала платформа.
 Тоня шла впереди меня,

Чемодан отдала покорно.
Кру́гом шла моя голова,
Я от счастья себя не помнил.
Все казалось мне трын-трава!
Все, казалось бы, я исполнил!
Раздувало мою шинель,
Напекало в мои подметки,
Обжигало душу сильней,
Откровенней московской водки...
Та́к мы шли.
Набрели на дом.
Ставни светом светились слабым.
— Как-нибудь заночуем в нем,
Если с храпом хозяйским сладим! —
Наконец, заскрипел засов.
Вышла девка.
— Ты что, хозяйка?
— Не хозяйка, а нет местов!
-- Тоня, — рывкнул я, — пролезай-ка!
Не на улице ж замерзать.
Ничего. Потеснятся в доме! —
Я командовал, точно зять:
— Проходи. Раздевайся, Тоня.

4

Было в комнате вправду тесно.
Спали здесь вповал на полу.
Кое-как отыскали место
И постлали шинель в углу.
Поглядел, как легла, как сжалась,
Как накрылась одной полкой.
И меня захлестнула жалость,
Как волна, всего, с головой!
Я болел за нее, чужую,
Растерявшуюся в степи...
— Слышишь, Тоня. Я подежурю,
Присмотрю за вещами. Спи. —
...Все мечтал до чудес добраться,
Все я подвигив ждал, чужак.
Видит бог, не хотел влюбляться,
Видит бог, получилось так.
Я ей голову гладил, гладил,
И вконец меня развезло.
На рассвете со сном не сладил,
А проснулся — было светло.

На плите посвистывал чайник,
И мужчина годков с полста,
По всему похоже — начальник,
К Антонине уже пристал.
Он сидел с ней на лавке рядом,
На хохлацкий давил акцент:
— Звидкиля вы?
-- Из Ленинграда.
— А прохвесия?
— Фармацевт.
Я прислушался: дальше — хуже.

— Ну, а степ наш вас чим прятяг?
— Да ничем. Я ушла от мужа.
Он устало вздохнул:
-- Что ж так?.. —
А во взгляде была лукавость...
Скинул я с головы шинель,
Встал и выпалил:
— Эй вы! Как вас!
Что пристали к чужой жене? —

Получилось, наверно, глупо.
И она прикусила губы...
Я подумал:
Срел иль решка?
Я решился:
Пропал иль пан?!..
-- Собирайся!
-- Какая спешка...
— Забирай, — сказал, — чемодан. —
Точно драки, напрягшись, сгорбясь,
Ждал я, голову наклона.
Что же: глупость, а может, гордость
Удержали в избе меня?

Нет! Мне нравилась «упаковка»!
От макушки и до носка
Вся была сработана ловко,
Словно из одного куска.
И накрашена без излишку,
И наряжена — первый класс!
И острижена «под мальчишку»,
Как не стриглись тогда у нас...
— Собирайся! Мне не до шуток! —
Встала с лавки, зевнув слегка,
И дубленый свой полушубок
С неохотой сняла с крюка.
А начальник сидел на лавке
И крутил свой пшеничный ус.
Кем, не знаю, он был бы в главке,
Здесь он был, как козырный туз.
...Но молчать было тоже тошно,
И такую он речь завел:
— Вы шофер?
Я кивнул:
-- Возможно.
— Ну так вот. Мне нужен шофер. —
Ни полслова он не добавил,
Лишь глазком подмигнул едва,
Словно официанту в баре:
— Двести грамм и пару пивка! —
Ничего не сказал он вроде,
Скромнен вроде он был вполне,
Но меня, как удар по морде,
Оглоушило это: МНЕ...
И напрягся, точно пружина,
Недоспавши, я был колюч:
-- Нужен вам? Ну, а чья машина?

— Чья? Моя. Я директор Плющ. —
Что ж, немалым он был начальством:
Ведь совхоз — все равно, что полк!
Но с шоферским моим начальством
Ничего сотворить не смог.
Уговаривал:
— Обмозгуйте!
— Нет, — сказал я, — не подойдет.
— Что же так?
— Не воспитан в культуре
И работаю на народ. —

Из себя чемпиона корча,
Торговался с ним, а она
Почему-то сидела молча,
Словно чем-то оглушена.
И, сменивши местоименья,
Мы уже перешли на ты,
И хозяйка уже пельмени,
Обжигаясь, сняла с плиты.
И в избу заходили люди.
Спорить стало невольно.
Потому и сказал я:
— Будет!
Дашь «летучку» — к тебе пойду.

5

С громким названием Целина
Новая есть планета.
Скажем, не густо заселена,
С чувством зато воспета.
Нету вокзалов там, но всегда
И при любой погоде
Одновагонные поезда
В центр из совхозов ходят.
Трактор работает, как паровоз,
Тащит без расписанья
Красный вагон.
А вместо колес
Там, под вагоном, сани.

Тащится поезд..
Чего тебе,
Кажется, больше нужно?..
Да вот ругаешься, что в купе
Тесно, темно и скучно.

Осоловевшие, примястясь
Возле железной печки,
Я и начальник в который раз
Передвигаем пешки.
И объявляем друг другу мат
Раз по полста — не меньше..
А у стены, прикорнувши, спят
То тракторист, то сменщик.
Попеременно пургу кляня,
К нам заползали греться.
Я отворял им, и у меня

Кошки скребли на сердце.
Мне б не по клеткам гонять ферзя,
Влезть самому на трактор!
Да вот оставить Тоню друзьям
Не позволяя характер.
...Вон у окна — свернулась в клубок —
Курит моя зазноба.
Как же поверил я вдруг в любовь
Сходу и аж до гроба?!
Кто это дурью меня наградил?
Чем это я начинался?
Насмотрелся ль кинокартин?
Книжек ли начитался?

..А за окном плыла целина
Все полторы недели.
Белая. Белая, как луна.
Даже глаза болели.
Трактор запарился, а доvez.
Выдюжил работяга!
— Павел Кузьмич, это весь совхоз?
— Весь. Двадцать два барака. —
(Это любовь моя в простоте
Спрашивала о быте.
Ей отвечали: мол, в тесноте —
Все-таки не в обиде.
И голосок ее среди всех
Как-то звенел печально...)
Я огляделся и сплюнул в снег:
— Скучно живешь, начальник. —

...Да, не спрятаться по углам!
Степь была — ни конца, ни краю..
Подходили ребята к нам,
Говорили:
— Какая краля! —
И у Тони моей глаза
Округлялись, видать, от страха!
И я знал: раз пошла «буза» —
Обязательно будет драка.
А пока, убивая злость,
— Осади! — говорил им глухо.
А когда уже началось,
Одному развернулся в ухо..
Плющ разнял.
Был он крепок, Плющ.
Худо было бы мне иначе.
Плющ сказал:
— А ты, парень, злющ
И немало еще поплачешь.
Не завидую, брат, тебе:
Где красавица — там и горе.
Ладно, завтра вселю в «купе»,
Заночуйте пока в конторе...

...На окошки налип мороз.
Электричество чуть мерцало.
Помню, в дверь постучал завхоз,

Внес постель: матрац, одеяло...
Подтащил я матрац к стене,
Натянул на подушки наволоки,
Обернулся:
— Иди ко мне!
И схватил ее сразу на руки!
Так недолго сойти с ума.
Но она засмеялась:
— Глупый!..
Потянулась ко мне сама
И сама целовала в губы.
Что же, голову тут ломай,
Разбирайся в застезек путанице?
И пошла рука, как Мамай,
На ходу обрывая пуговицы..

А вчера и гадать не смел,
Думал год набираться храбрости.
И не радовался, что с ней
У меня получилось запросто...
Нет, ко мне подбирался страх.
И до света в пустой конторе
Обнимал я, сжимал в руках
Тоню, счастье мое и горе.

...А поутру, оплеснулся чуть,
Сразу пошел к столовой...
Парни похлопывали по плечу:
— Ну, как спалось? Здорово! —
Девки смеялись:
— Иди домой.
Дома кормись, товарищ!
Что, неужели аптекарь твой
Каша тебе не сварит? —

Начал моторы перебирать —
Дали девчонок в помощь.
Милка — тупица. Чужую мать
С ней тыщу раз припомнишь.
Танька — коломенская верста,
Но ничего, толкова.
Третья девчонка — «версты» сестра,
Женька Воротникова.
Женька одета была, как все:
В стеганке, в брюках лыжных.
Может, поэтому бант в косе
Даже казался лишним.
Женьку я больше других жалел:
В куклы играть ей впору.
То прикажу:
— На, накинь шпиль.
То прогоню в контору.
Пользы немного было от них,
Только что пропасть смеху:
— Девочки, ну-ка за воротник
Кинем шоферу снега!
— Девочки, он ничего у нас!
— Новость сказала, Милка!

— Лучше он в профиль или анфас?
— Лучше всего с затылка!.. —
Так они спорили день-деньской,
Пели и хорошили.
— Слышишь, — твердили мне в мастерской, —
Выгнал бы ты их в шею... —
Но, если правду сказать, то мне
Правился этот хохот.
Если смеются на целине,
Стало быть, тут неплохо.
Если хохочут весь день взахлеб,
Значит, привыкли малость..

Как мне хотелось в ту пору, чтоб
Тоня моя смеялась.

6

Снег садился все ниже, ниже,
Не растаял еще сполна,
Но уже походил на жижу
Недозревшего кавуна.
У палаток, и у теплушек,
И у входа в любой барак
Надрывался в зеленых лужах
Хлопотливый утиный крик.
А зерно уже высевали
В тонких ящичках привозных,
А людей уже выселяли
Из вагончиков полевых.
По перинам и по подушкам
Перебранка плыла с утра.
Бабы плакались, а к теплушкам
Пришвартовывались трактора.

...Нас вселили в одно семейство,
Где детей мал-мала штук пять.
Там за печкой сыскалось место
Втиснуть стул и впихнуть кровать.
Жили бедно и неопратно.
В драной робе ходил мужик...
Было попросту непонятно,
Что он делал, на что он жил.
Поругавшись с утра с женою,
По усадьбе ходил, блажной,
С бороденкою аржаною
И босой, как луна, башкой.
Слышал я, что годов за десять
Покатался он — будь здоров!
И десяток сменил профессий,
И десяток два — городов.
Что ж, такие ходят в заплатках
И худые носят штаны.
Говорят, что в годах тридцатых
Называли их — летуны.
Мне он хвастал:
— Я жил богато! —
Тошно было от похвальбы.
По ночам ревели ребята:

Ели поедом их клопы.
Скарба не дали человеку —
Насекомых завел, чудак.

Антонина ушла в аптеку,
Я убрался спать на чердак.

Стаял снег. Все пришло в движение.
Лужи высохли на ветру.

И повез я в бригаду Женю
И Татьяну, ее сестру.
Танька рядом со мной сидела,
Приставала:

— Ну, что, шофер?
Значит, женишься?! Вот затея!
А что делали до сих пор? —
И я снова припомнил город.
Там, коль плохо в твоём доме,
Двери скроют и стены скроют
И не выдадут никому.

— Ну, зачем тебе Антонина? —
Языком-помелом метя,
Трактористка неугомымо
Отговаривала меня.
— Намотаешься, — поучала, —
Лучше плюнь. Навсегда забудь.

А сестра ее — та молчала,
Не глядела на нас весь путь.
Ну, чего я им мог ответить?
Я краснел, зубами скрипя,
При вопросах:
— А будут дети,
Как, запишешь их на себя? —
Что ж, на свадьбах лакал из рюмок.
На крестинах, случалось, пил,
Но о детях всерьез не думал
И женатых я не любил.
Мало видел счастливых браков...
Через месяц иль через год,
Как ни слаживаются, а прахом
Все равно вся любовь идет.
И девчонка махнет рукою,
Парень сплюнет: дела табак...
Я надеялся на другое,
Думал, будет у нас не так.

...Полным ходом шла посевная,
Зажигала на ночь огни
И, в совхоз меня посылая,
Торопила:
— Гони! Гони! —
И висело степное небо,
Очень чистое в том году,
И еще обещало хлеба,
И таило еще беду.

7

Плющ, директор, влез на помост,
А на бревна — собрание село.

В две минуты прошел вопрос,
Посвященный итогам сева.

Плющ сказал:

— На носу зима. —
(Было только начало лета!)
— Так что надо месить саман.
Матерьяла другого нету. —
Триста семьдесят челзвек
Сразу подняли гул неровный.
Он волною подался вверх
И никак не сходил на бревна.
И сосед мой кричал:
— Ты нам
Воду дай, дай солому, глину,
А иначе нормы не дам
И совсем с голодухи сгину. —
И внушал терпеливый Плющ:
— Будет, будет солома с глиной.
Платим с выработки.
И плюс
По закону — процент целинный...

И поутречку мужики,
Пареньки и даже девчонки,
Скинув тапки и башмаки,
Выбивали в ямах чечетки.
Каждый был на работу лих —
Поспевай лишь солому резать!
Но глядела Тоня на них
Без особого интереса.
Хохот, гомон, жара и пыль
Всполошили сонное царство,
Где стояла спирта бутылка,
Именуемая — лекарство,
И, спасаясь где от клопов,
Захвативших нашу клетушку,
Вот уж месяц моя любовь
На ночь ставила раскладушку.

Я ходил под ее окном:
— Тоня, любишь или не любишь?
Дом построим и заживем.
Будешь строить или не будешь? —
Я оратора замещал,
С каждым разом теряя мужество...
А она:
— Не терплю мещан
И недвижимое имущество. —
От моих отбивалась ласк,
И меня разбирала ярость:
Как же сразу тогда далась,
А потом никак не давалась?

Но без женщины — не житье!
И хоть крыли меня соседки,
Я решил полонить ее
В самодельной саманной клетке.
Камни я на реке рубал.

Хохотали бабы:

— Рубака! —

Я в обед фундамент копал,
И по швам поползла рубаха.
Я в конторе саман купил,
Отваливши завхозу в ручки
За дерьмо, за желтую пыль
Сходу чуть ли не три полочки.
И костюм я сменял на тес...

Барахло по ветру развеяв,
Стал за месяц и гол и бос,
Как сосед мой, Филипп Матвееч.

А целинное солнце жгло,
А хлеба выбивались чахло.
Ливней не было. Время шло.
И бедою уже запахло.
— Как там виды на урожай? —
Только слышалось разговору.
Скажет баба мужу:
— Решай! —
И потащится муж в контору.
— Разреши!
— Подпиши!
— Уважь!
— Отпусти хоть к чертовой матери!.. —
Плющ орал:
— Что еще за блажь? —
Заяленья сметал со скатерти.
А сосед даже вынул нож.
— Всех зарежу! — орал он жалобно.
И ответил:
— Под суд пойдешь, —
Великан со щеками впальми.
Он сказал:
— Уймись, борода.
Ты мужик или хлюст сопливый?
Настоящая доброта
Именуется дисциплиной.
Будешь, голову очертя,
По России мотаться сызнава,
Будут жаться в очередях
Наши бабы в Орле иль Сызрани?
Не пушу тебя.
Цедина —
И моя и твоя надежда.
Тут не вырастет ни хрена,
Если буду с тобою нежным. —

И ребята пахали впрок,
Не под этот под год — под следующий...
Были — ставить ли им в упрек! —
В здешних засухах мало сведущи.
Трактористы — не мне чета! —
Принимали со смехом тяготы.
Впрочем, не сравнить ни черта

С красотою полночной пахоты.
Помню, Тоню привез на стан
По каким-то делам аптечным.
Но на пахоте трактор стал,
И пришлось ночевать, конечно.
Не спалось ей. Застрял в ушах
Рев моторов неугомонный.
И, накинувши мой пиджак,
Тоня вылезла из вагона.
Километра на полтора
Свету было, как на вокзале.
Густо ползали трактора,
Землю трудную разгрызали.
Черный-черный, черней, чем тушь,
Мрак был фарами так распорот,
Что казалось:
Повсюду — глушь,
Только тут настоящий город.
И теплело внутри, в груди,
Но слова были неуклюжи...
Вот и выдохнул я: — Гляди!
Но она затыкала уши.
Тыщи лет проживу, помру.
Заровняют мою могилу...
Только все-таки не пойму,
Чем сюда ее заманило.

Что ж, я ставил свой первый дом,
Вешал двери и ладил окна,
И уже ночевал я в нем,
На рассвете вставал, продрогнув.
И не знал в эту пору я,
Ничего не видал такого
В том, что вокруг моего жилья
Ходит Женька Воротникова...
А на почте старик-почтарь
Сокрушался:
— Живешь неправильно.
Гисьма пишут все, почитай,
Не тебе — Антонине Павловне. —
Я чего-то ронял в ответ
И в аптеку шел, опечаленный,
Доставал там с тоской конверт.
Отдавал ей, нераспечатанный.
Отрывалась она от дел,
Разрывала, читала быстро.
А я молча в углу сидел,
Изнывая от любопытства

8

С месяц работал, как черт, как вол.
Думал: добуду грыжу.
Двери навесил, стены возвел.
Сладить осталось крышу.
Плющ толковал мне:
— Здорово здесь!
Глупые, лезут роём,

Просят — пусти!
А ты — молодец.
Что ж, вези рубероид.
Не огорчайся, — он поучал,
— Будущее — за нами! —
И улыбался. А мне — печаль
Чудилась за словами.
Видно, болел он за урожай,
Вроде как я — за Тоньку...
— Ну заболтались. Ты отъезжай! —
Вышел я. Сел в трехтонку.

Снова дорога.
Пыль да жара.
И духота — морока.
Но как порою ни тяжела,
Все ж хороша дорога!
Умно баранку свою крути,
Жми через луг и реку.
Муторный путь.
Только без пути
Жизни нет человеку.
Кепку надвинув на самый лоб,
Вспомнив былую смелость,
Жал я на полный и пел взახлеб!
Так мне давно не пелось.
Пел, словно баловала судьба,
Горя остались крохи...
Пел, словно густо взошли хлеба
По сторонам дороги;
Радости словно — невпроворот,
Невпроворот пшеницы;
А Антонина — того и ждет,
Чтобы пошли жениться...

Как оголтелый, весь день летел.
Еле добрался в полночь.
Было на станции пропасть дел.
В месяц всех не исполнишь.
Сутки мотался за всем добром,
Кровлей, жратвой для дизелей.
За полночь только вернулся в дом,
Названный экспедицией.
Нынче был в комнате полумрак.
Мебель всю — словно сдули!
Лишь на кровати сидел моряк,
Китель висел на стуле.
Помню, подумал я: кавторанг!
Как подполковник вроде...
Что же забрался сюда, чудак?
Мало хлопот на флоте?
С виду был крепок он и красив,
Молод — чуть-чуть за тридцать.
— Что, разбудил? — я его спросил.
— Нет, мне давно не спится. —
Так и сидел, привалясь к стене,
Даже не снял ботинок.
Видно, хватало ему вполне

Общества двух бутылок.
— Пьешь? — поглядел на меня.
— Могу.
— А не заснешь в дороге? —
Он протянул стакан коньяку.
— Будем, — сказал, — здоровы. —
Счастье, что летом ночь коротка:
Выехали — светало.
Сутки не спал я. От коньяка
В дрему меня кидало.
А кавторанг все внушал, внушал:
— Тащишься еле, парень! —
И, чертыхаясь, в лицо дышал
Крепким коньячным паром.
Это осточертело мне:
Умник нашелся тоже!
— Что вы торопитесь? Вам к жене?
— Нет, — он ответил, — к теще. —

Звезды попропадали уже,
Солнце вставало сбоку.
Я не копался в чужой душе,
Я наблюдал дорогу.
«Зис» задыхался, лез на откос,
Выбрался, работяга!
Как на тарелке, лежал совхоз,
Семьдесят два барака.
Ветер степной и второй — с реки —
Разом столкнулись лбами,
И меж пшеницы встали сурки
Маленькими столбами.
Тут кавторанг, озирая степь,
Выглянул из кабины,
Кисло присвистнул:
— Эх, жидок хлеб!..
— Вам ли не все едино?
Вам ли, — сказал я, — не все равно.
Много ли хлеба, мало?
Только начальство уже давно
Вроде не голодало.
— Ладно, — добавил. — Дойдете так. —
Высадил на развилке.
Он на прощанье отдал коньяк,
Было там с полбутылки.
— Может быть, в город рванем опять?
— Благодарю покорно.
Нет, я в бригаду поеду спать.
— Спи, — он сказал, — спокойно. —

Сон хороший снился мне сначала,
Будто с Тоней были мы вдвоем.
Тоня меня в губы целовала,
И не пахли губы табаком...
Я проснулся, потянулся сладко,
Только кулаком глаза протер,
Как сосед влетел в мою палатку:
— Бабу увели твою, шофер!
Он влетел, невымытый и небритый,

Черный от загара и земли,
И залился радостью обидной:
— Слышишь? Антонию увели. —
Ухмылялся он, Филипп Матвейч,
Ковылял за мною по пятам:
— Увели жену твою. Не веришь?
Муж за ней приехал. Капитан.

9

Пулей вылетела машина
И запрыгала по полям.
Видел в зеркале я: морщина
Лоб разрежала пополам.
Рот ощерен был, перекошен,
Как помятое колесо.
И от этого непохожим
И чужим казалось лицо.

Так летел я, глотая слезы,
Пыль взметая до облаков,
И давили мои колеса
Неповинных ни в чем сурков.
Ох, погоня!
Злая забава,
Беспользная карусель!..
Вон у Лермонтова за бабой
Гнался сосланный офицер.
И хорошая лошадь сдохла,
На дороге легла, как пласт.
Так занудно дрожали стекла,
Что казалось, трехтонка сдаст.

Но опять выжимал я скорость,
Точно ненависть из души...
А какой-то проклятый голос
Толковал мне:
— Мотор глуши!..
Нехорошая заваруха!
Возвращайся, брат, и терпи.
Ты не больше, чем шоферюга,
И красивых ты не люби! —

Что ж, полгода назад, наверно,
О таких я и не гадал.
С габардиновыми кавалерами
Я таких по Москве катал.
И глядели они спесиво:
Отвернись и крути свой руль.
И я сам говорил: спасибо,
Коль платили мне лишний рубль...

На ухабах трясло трехтонку,
Но вертелось в моем мозгу,
Что сейчас догоняю Тоньку
Не затем, чтоб везти в Москву.
Неприветливая планета,
Где покамест мало тепла,
Где жилья нет и нету света,

Больше мне по душе была.
И любой работага-парень,
Что в мазуте измазан, злющ,
Что, как дьявол с утра запарен,
Славен тут, как хозяин Плющ.

Сколько засуха бы ни длилась,
Все равно я в догадке креп,
Что железная справедливость
Человеку нужней, чем хлеб.
В рейсах дальних я думал часто:
Небогато народ живет,
И должно отвечать начальство,
Если мается где народ...
Да и было б намного лучше,
Коль сказали б начальству речь:
— Слушай, друг! Ты свое получишь,
Но сперва других обеспечи.
Обеспечил — бери по правде.
Виноват — подождать не грех.
Виноватым на гауптвахте
Щи разносятся после всех. —
И я накрепко был уверен,
И мечтал я о том не раз,
Что, воскресни сегодня Ленин,
Он издал бы такой указ...

А покуда крутил баранку
И, глотая желтую пыль,
Все надеялся кавторангу
Горбоносую морду бить.
Пересохло во рту. Прогоркло.
Майка взмокла — вот маята!
На пригорок взлетел.
С пригорка
Не увиделось ни черта!
Ох, погоня — пустое дело!
Ровно воду в ступе толочь.
Солнце село, вокруг темнело,
А навстречу летела ночь.

...Я увидел их на вокзале.
Что-то ели — жена и муж.
Если б раньше мне рассказали,
Не поверил, сказал бы: «Чушь!»
Но они на вещах сидели,
Укрывались одним плащом,
Муж с женою на самом деле...
А вот я был тут — ни при чем.
Я глядел на них из кабины,
Как голодный волк на огонь.
От досады и от обиды
Даже двинуть не мог ногой.
Точно связан, цепями скован,
Даже плюнуть — и то не смел.
Только слышал гортанный говор
Да залиvistый Тонькин смех.

Всю дорогу мечтал развязно:
Догоню, дам под вздох ему...

А теперь было все напрасно,
Было попросту ни к чему...

10

Год прошел и с чего-то вдруг
Весь припомнился по порядку?
...Вырывало судьбу из рук,
Как на полном ходу баранку.
Был плохой, был тяжелый год.
Побоявшись неурожая,
Наплевавши на кучу льгот,
Поднимались и уезжали.
И тогда,
То есть в том году,
Аккурат в середине лета,
Жить казалось невозможу.
Думал: все, моя песенка спета.
И тащился едва-едва,
Двое суток полз от вокзала,
И свинцовая голова
То и дело на руль свисала.

Я попал на глаза Плющу.
— А! Собрался бежать, как заяц?!
И не думай, не отпусти!
— Я и думать не собираюсь. —
Он глядел на меня в упор,
Но не врал я ему ни грамма,
И он сам отвел разговор,
Как отводят дуло нагана.
— Ну, ошибся. Ты злиться брось.
Ошибаемся все мы часто.
Ты вон гнался за триста верст,
А оно-то под носом, счастье...
Сохнет здесь по тебе одна,
Эта, Женька Воротникова...
— Мне, — сказал я, — она нужна,
Как утопленнику подкова... —
Распростился я с ним на том,
И пошел со своей обидой
На усадьбу, где был мой дом,
Недостроенный, необжитый.

...Так остался я в том дому.
Ради дома?
На что он сдался?!
Нет, не выдумать, почему

Не уехал я, а остался.
Шли дожди.
А потом — снега,
А потом разбежались лужи.
И хватала меня тоска,
И сжимала все туже, туже.
Верно, молод я был и слеп,
И в Москве посчитал напрасно,
Что лишь стоит уехать в степь,
И вся жизнь пойдет, как по маслу.
Но назвался груздем — держись.
Вот и жил в необжитом доме.
Человека ломает жизнь,
Чтобы крепче стал на изломе.

...Год прошел — и теперь не жаль,
Что в запале не снялся с места.
А какой взшел урожай —
Это вам из газет известно.

С месяц глаз не могу сомкнуть,
И позавтракать забываю.
Это я двухколейный путь
Эшелонами забываю.
Не заметила целина,
Как забила склады и риги.
Прямо невпроворот зерна.
И опять же — неразберихи.

На платформе, где год назад
Кавторанг обнимался с Тонькой,
Одинок стоял солдат.
Видно, с поезда снялся только.
Я позвал:
— Залезай, земляк!
Подвезу, если в нашу сторону! —
Он расспрашивал:
— Где и как?
Отвечал я:
— Повсюду здорово. —

А навстречу нам шло зерно,
Сто машин пронеслось, наверно.
Он им вслед поглядел:
— Сильно.
— Нет, — сказал я, — обыкновенно. —
Пропадали звезды уже,
Полночь таяла понемногу.
Я не рылся в чужой душе,
Как всегда, наблюдал дорогу.

ГЛАВЫ ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ «ЗОЛОТАЯ РОЗА»

ИВАН БУНИН

Как ни грустно в этом непонятном мире,
но он все же прекрасен.

И. Бунин

Еще в гимназии я начал зачитываться Буниным. В то время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из автобиографической заметки, написанной самим Буниным для «Словаря писателей» Венгерова. Там было сказано, что Бунин провел свое детство в деревне, где-то между Ельцом и городком Ефремовом (в тогдашней Тульской губернии), а потом учился в Елецкой гимназии.

В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в Ефремов к родственнице — одинокой старушке. Она звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих скитаний по югу.

Старушка учительствовала в Ефремовской городской школе. Как все учительницы, она часто болела ангиной. Лечилась она всякими способами, даже по «знахарскому методу Бунина».

— Какого Бунина? — спросил я удивленно.

— Евгения Алексеевича. Брата писателя. Он служит у нас в Ефремове в акцизе. Открыл способ лечить ангину. Натирает шею сухой беличьей шкурой, и ангина тотчас проходит. Только мне не помогла эта шкурка. А Евгений Бунин — деловой и довольно суховатый господин. Вот брат его, писатель, говорят, человек прелестный, замечательный. Он иногда сюда приезжает.

С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, хотя вообще-то был городком достаточно унылым. Теперь же он представлялся мне воплощением русского провинциального уюта.

Почти все наши захолустные города были схожи друг с другом. Все они, по словам Чехова, были «глиняными Ефремовыми» — с запущенными монастырскими подворьями, с землястыми ликами угодников над каменными воротами церквей, с заливыстыми колокольцами на тройке исправника, с острогом на выгоне, земским собранием — единственным домом, где у годъезда горел калильный фонарь, с крикливыми галками на кладбищенских липах и глубокими оврагами. Летом в них стенами стояла глухая крапива, а зимой

на сером от золы снегу сизо чадили головешки, выброшенные из печей и самоваров.

Тогда в Ефремове вошла в меня бунинская Россия и завладела мной надолго.

Елец был рядом. Я решил съездить туда, чтобы посмотреть этот бунинский город.

С ранней юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал (и считаю до сих пор) холм под стеной Святогорского монастыря в Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, нет больше нигде в России.

Из Ефремова до Ельца ходил рабочий поезд, так называемый «Максим Горький». Я поехал на нем в Елец.

Холодный рассвет застал меня в дребезжащем, старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной старой книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ «Илья Пророк».

По своей пронзительной горечи этот рассказ — один из лучших в русской литературе. Каждая подробность, каждая черта этого рассказа (даже «бледные, как саван, овсы») щемила сердце предчувствием неизбежной беды, нищенством, сиротью, ставшими уделом тогдашней России.

От этой России временами хотелось бежать без оглядки. Но редко кто на это решался. Ведь нищенку-мать любят и в горьком ее унижении.

Бунин тоже ушел от своей единственно любимой страны. Но ушел только внешне. Человек необыкновенно гордый и строгий, он до конца своих дней тяжело страдал по России и пролил по ней много скрытых слез в чужих ночах Парижа и Граса, слез человека, добровольно изгнавшего себя из отчества.

Я ехал в Елец. Тощие зеленыя тянулись за окнами вагона. Ветер посвистывал в жестяных вентиляторах, гнал низкие тучи. Я перечитывал «Илью Пророка», перечитывал скорбную историю Ивана Новикова, крестьянина Елецкого уезда Предтеченской волости. И старался понять: как, какими словами, каким волшебством достигнуто это подлинное чудо? Чудо создания короткого и сильного, горестного и великолепного рассказа.

В Ельце я не останавливался в гостинице. Для этого я был тогда слишком беден. Весь день до позднего ве-

вчера, когда отходил обратный поезд на Ефремов, я бродил по городу и очень, конечно, устал.

Был серый высокий день. Пошел неожиданный запоздалый снежок. Ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные избитые подковами белые плиты.

Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном облики что-то крепостное. Оно чувствовалось и в пустынности улиц, и в их тишине. Я слышал, что Елец всегда был шумным торговым городом, и удивлялся этому городскому покою, пока не понял, что тишина и малолюдие — следствие войны.

Елец действительно был крепостью. Бунин в «Жизни Арсеньева» говорил о нем:

«...Город гордился своей древностью и имел на это право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья, на той роковой черте, за которой некогда простирались «земли дикие, неизвестные», а во время княжеств Суздальского и Владимирского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч...»

Почти каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своей простотой, точностью, образностью. Чего стоят одни только слова о том, что эти древние города вдыхали бурю и хлад азиатских набегов! Эти слова воскрешают тревожный свист караульных, грохот колотушек по чугунным доскам, призыв всех на городские валы.

Я долго простоял около здания мужской гимназии с каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. Внутри было тихо, за окнами шли уроки.

Потом я прошел через базарную площадь, удивляясь обилию запахов. Пахло укропом, конским навозом, старыми сельдяными бочками, кожей, ладаном из открытых дверей церкви, где кого-то отпевали, пахло палым, уже перебродившим листом из садов за высокими серыми заборами.

Я напился чаю в трактире. Там было пусто и холодно. Из трактира я пошел на окраину города. До поезда оставалось еще много времени.

На окраине — уходящем в низину длинном и голом выгоне — чадили и звенели от ударов по наковальням черные кузницы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась кладбищенская стена.

Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных вежках.

Кое-где на железных с витиеватыми завитушками крестах с облупившейся масляной краской виднелись коричневые, смытые дождями фотографии в металлических медальонах.

К вечеру я пришел на вокзал. В своей жизни я часто бывал одинок, но редко испытывал такое горькое ощущение неприкаянности, как в тот вечер в Ельце.

Где-то рядом за стенами домов, в теплых комнатах, шла жизнь, может быть, веселая и светлая, а может

быть, скучная и молчаливая. Но я был вне этих теплых стен. Я сидел в тускло освещенном зале третьего класса, где воняло керосином и дуло холодом по ногам.

У каждого в жизни бывали странные, порой приятные, порой печальные совпадения. Были они и у меня. Но самое удивительное совпадение случилось в этот вечер на Елецком вокзале.

Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского слова». В зале третьего класса из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на то, чтобы напиться чаю в ярко освещенном вокзальном буфете и даже дать подвыпившему официанту на чай.

Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету..

Опомнился я только через час, когда вокзальный швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефремов, Волово, Тулу!»

Я вскочил, бросился в вагон и просидел, забившись в угол около темного окна, до самого Ефремова.

Все внутри меня дрожало от печали и любви. К кому?

К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской. В газете был напечатан рассказ Бунина «Легкое дыхание».

Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом. Это не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей красоте.

Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской, и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться.

Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы я мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле. Я уже любил эту девушку. Я содрогался от несправедности ее судьбы.

За окнами дрожали, погасая, редкие и жалкие огни деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская — это бунинский вымысел, что только склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке.

Пожалуй, в эту ночь в холодном вагоне, среди черных и серых полей России, среди шумящих от ночного ветра еще не распустившихся березовых рощ я впервые до конца, до последней прожилки понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила.

Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал при умирающем огне свечи, а потом при водянистом свете бездомной зари все одни и те же слова о легком дыхании Оли Мещерской, о том, что теперь «это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».

* * *

Второй съезд советских писателей встретил оацией слова о том, что Бунин должен быть возвращен русской литературе.

И он был возвращен. Были возвращены на родину драгоценнейшие бунинские вещи и в их числе повесть «Жизнь Арсеньева».

Об этой повести писать трудно, почти невозможно, так же, как и о самом Буине. Он так богат, так щедр, так многообразен, так беспощадно и точно видит любого человека от господина из Сан-Франциско до плотника Аверкия, видит каждый малейший жест и каждое душевное движение так удивительно ясно, одновременно строго и нежно, говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней, что писать об этом, как говорится, «из вторых рук» бесполезно и почти бессмысленно.

Бунина надо читать и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать обыденными, не бунинскими словами о том, что написано им с классической силой и четкостью.

Нельзя рассказать своими словами «Ненастный день потух» Пушкина, «Над вечным покоем» Левитана или «По синим волнам океана» Лермонтова. Это так же бесполезно, как поверять сухой алгеброй гармонии Моцарта и всех великих композиторов от XIV века до Стравинского. Поэтому я не буду делать попыток, заранее обреченных на неудачу, пересказывать Бунина и толковать его вещи применительно к «злобе дня».

«Злоба дня», иными словами, понятие современности не может существовать без теснейшей связи со всем, что предшествовало нашему времени и что в какой-то мере его определило.

Книги Бунина тем и замечательны, что они целиком — в своем времени и, вместе с тем, связаны живой связью с прошлым нашего народа.

В прозе и поэзии Бунина явственно присутствует ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути от рождения человека до его смерти. Особенно сильно это ощущение жизни выражено в «Жизни Арсеньева».

Эта повесть — не только славословие России, не только итог жизни Бунина, не только выражение глубочайшей и поэтической его любви к своей стране, выражение печали и восторга перед ней, изредка блестящего со страниц книги скупыми слезами, похожими на редкие ранние звезды на небосклоне. Это еще нечто другое.

Это не только вереница русских людей — крестьян, детей, нищих, разорившихся помещиков, прасолов, студентов, юродивых, художников, прелестных женщин — многих людей, присутствовавших на всех путях и перепутьях писателя и написанных с резкой, порой ошеломляющей силой.

«Жизнь Арсеньева» в каких-то своих частях напоминает картину художника Нестерова «Святая Русь». Эта картина — наилучшее выражение своей страны и народа в понимании художника.

По широкой дороге среди перемесков и взгорий, мимо чистых речек и почернелых бревенчатых церквей, мерно роняющих в тишину осеннего дня колокольные

звонь, мимо позабытых погостов и деревенок идет по светлым северным небом большая толпа.

Кого только нет в этой толпе! Идет вся Русь! Идет древний царь в тяжелой парче и литом золоте, идут жидко звеня цепями, кандалники, робкие сермяжные мужички, подпаски с длинными кнутами, странники в скуфейках, девушки с опущенными, будто насурмяленными ресницами, что бросают нежную тень на их бледные лица, озаренные каким-то целомудренным внутренним светом. Идут юроды, побирушки, истовые старухи, плотники, косцы, грозные старцы с посохами, подмастерья, идут притихшие белоголовые дети, глядя вверх на проблески солнца и на тянущих на юг журавлей.

В толпе идет Лев Толстой, а недалеко от него — Достоевский. Они идут в дорожной пыли со своим ищущим правды народом, идут вместе с ним в ясные, но пока еще далекие дали, о которых они не уставали говорить всю жизнь.

Что-то общее у этой картины с книгами Бунина. С тем только, однако, отличием, что люди у Бунина совершенно реальные, всем знакомые, а страна гораздо скромнее и беднее, чем у Нестерова.

Срединная наша Россия предстает у Бунина в прелести серых дней, покое полей, дождях и туманах, а порой в бледной лучезарности, в тлеющих широких закатах.

Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было редкое и безошибочное ощущение красок и освещения.

Мир состоит из великого множества соединений, красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения, — счастливейший человек, особенно если он художник или писатель.

В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью он видел все: и среднерусское лето, и пасмурную зиму, и «скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени», и море, «которое из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на меня» всей своей темной громадной пустыней.

В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1906 года. «Начинается пора прелестных облаков», — записал Бунин и этим как бы открыл нам одну из тайн своей писательской жизни. Это слова о приближении неизбежного и милого труда, связанного у Бунина с летней порой, «порой облаков», «порой дождей», «порой цветения».

Этими четырьмя словами Бунин отмечает начало своей работы по наблюдению за небом, по изучению облаков, всегда таинственных и притягательных.

Недаром все лучшие наши поэты так точно и образно писали об облаках. Возьмем хотя бы наших современников. У Юрия Олеши над Москвой висит легкое облако, похожее на очертания Южной Америки. У Заболоцкого особенно много облаков. «В нежном небесеребристым комом облако невиданной красы. По кам туманно-лиловато, посредине — грозно и светло, — медленно плывущее куда-то раненого лебедя крыло».

Каждый раз, когда читаешь бунинские строки о лете, вспоминаешь эту его запись. Слова о лете у него всегда томительны, даже если и занимают всего две строки:

«Отцвел и оделся сад, целый день пел соловей, целый день были подняты нижние рамы окон».

Бунин одинаково остро и тонко видел все, что привелось ему увидеть в жизни. А видел он очень много, с юных лет заболев скитальчеством, непокоем, жаждой непременно увидеть все, до той поры невиданное.

Он признавался, что никогда не чувствовал себя так прекрасно, как в те минуты, когда ему предстояла большая дорога.

Есть некая крепкая связь между такими явлениями, как свет, запах, звук и цвет.

В чем эта связь? Хотя бы в том, что, глядя на неизвестные цветы, похожие на огромные крокусы на картине Ван-Гога, глядя на плотный свет, напоминающий прозрачный сок каких-то не наших плодов, неожиданно вдыхаешь сладковатый дразнящий запах этих плодов и свежее и слабое дыхание сырого морского песка. Этот запах как бы доносит до картинного зала равномерным ветром с чужих островов.

Читая Бунина, часто ловишь себя на ощущениях такого рода. Краска дает запах, свет дает краску, а звук восстанавливает ряд удивительно точных картин. Все это вместе рождает особое душевное состояние то сосредоточенности и печали, то легкости и жизни с ее теплыми ветрами, шумом деревьев, беспредельным гулом океана, милым смехом детей и женщин.

О своем чувстве красок, отношении к цвету в природе Бунин говорит в «Жизни Арсеньева»:

«Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое, синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, — и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги тому, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню...»

Слегка приглушенные краски, характерные для Средней России, сразу же приобретают зной и густоту, когда Бунин говорит о юге, тропиках, Малой Азии, Египте, о Палестине.

«Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Стекловидные волны все медленнее перекатывались за бортом, озаряя каюту».

Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в то время беседовал со своим племянником Николаем Алексеевичем Пушешниковым.



А. Е. АРХИПОВ (1862—1930). Мальчик в шапке, подперший рукой подбородок. Бумага. Односеансная. Графич. карт. Разм. 28,3×12; 12 ноября 1889 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

Сохранились записки Пушешникова об этих беседах. Они очень простые, эти записки. Они показывают нам Бунина — человека очень сдержанного — в часы редкой его откровенности.

Все эти записки говорят о неистовой любви Бунина к жизни. Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма, таявшую в воздухе, Бунин сказал:

— Какая радость — существовать! Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно — только видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству... Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы — Эредиа, Леконт де Лиль — достигли необычайного совершенства в описаниях.

В записках Пушешникова есть место удивительное, раскрывающее «тайну» бунинского мастерства.

Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен «найти звук». «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой».

Что это значит «найти звук»? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

«Найти звук» — это найти ритм прозы и найти основное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка.

Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка.

Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому «Руслану» кругообразное легкое движение стихов («воробью из кругообразных непрерывных движений»):

«И днем — и ночью — кот — ученый — все ходит — по цепи — кругом».

В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным.

Из необъятного числа слов он безошибочно выбирал для каждого рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, связанные какой-то незримой и почти таинственной связью с повествованием и единственно для этого повествования необходимые.

Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина годобны магниту, который притягивает из самых разных мест все частицы, нужные для этого рассказа.

Если бы сейчас существовал сказочник, подобный Христиану Андерсену, то он, может быть, написал сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытом инеем, лохмотьев туч и сызых траурных риз, а писатель располагает их в своем особом, ему одному ведомом порядке, обрызгивает живой водой и вот — в мире уже живет новое произведение — поэма, стихи или повесть, — и ничто же сможет убить его. Оно бессмертно, пока жив на земле человек.

Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях — от кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от легкого напева до трещащих библейских проклятий, а от них — до меткого, разящего языка орловских крестьян.

Я только упомянул о «Жизни Арсеньева». А между тем эта повесть требует пристального чтения.

Я назвал «Жизнь Арсеньева» повестью. Это, конечно, неверно. Это не повесть, не роман, не рассказ. Это вещь нового, еще не названного жанра. Жанр этот изумительный, единственный, берущий человеческое сердце в мучительный и, вместе с тем, светлый плен.

Принято думать, что «Жизнь Арсеньева» — автобиография. Бунин отрицал это. Для автобиографии «Жизнь Арсеньева» была написана слишком свободно.

Это не автобиография. Это — слиток из всех земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это —

удивительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей, но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия. «Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов.. И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание...»

Бунину удалось в «Жизни Арсеньева» собрать свою жизнь в некоем магическом кристалле, но в отличие от пушкинского кристалла даль этой повести, даль жизни писателя — очень резко очерчена, просвечена до самого дна.

Я продолжаю называть «Жизнь Арсеньева» повестью, хотя с таким же правом мог бы назвать ее поэмой или сказанием.

«Жизнь Арсеньева» — это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской.

В этой удивительной книге поэзия и проза слились воедино, слились органически, создав новый замечательный жанр.

В этом слиянии поэтического восприятия мира с внешне прозаическим его выражением есть нечто строгое, подчас суровое. Есть в самом стиле этой вещи нечто библейское.

В этой книге нельзя уже отличить поэзию от прозы, и многие ее слова ложатся на сердце, как раскаленная печать.

Достаточно прочесть несколько строк о матери, чтобы понять, что Бунин нашел для всего, о чем он хотел сказать, единственно нужное и единственно возможное выражение.

Эти строки нельзя читать без душевного потрясения: «В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет во веки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захудалого русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?»

Сила языка, сила точного образа в «Жизни Арсеньева» таковы, что рождают грусть, волнение и даже слезы. Те редкие слезы, которые вызывает прекрасное.

Новизна «Жизни Арсеньева» еще и в том, что ни в одной из бунинских вещей не раскрыто с такой простотой то явление, которое мы, по скудности своего языка, называем «внутренним миром» человека. Как будто есть ясная граница между внутренним и внешним миром? Как будто внешний мир не являет собой одно целое с миром внутренним?

Все, о чем говорит Бунин в этой книге, очень видно, слышно, осязаемо, вещно и надолго радует или печалит нас. Я приведу из этой книги несколько отрывков. Вот, например, первая встреча маленького мальчика с городом:

«Всего поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь я не испытал от вещей, виденных мною на земле — а я видел много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках

коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественностью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом».

В книге есть одно место об «одиночестве» луны. Написано это место с какой-то пронзительной печалью, хотя Бунин пишет от лица того же маленького мальчика:

«Помню: однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидел легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незанавешенное окно — бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно сладкие и горестные чувства; те самые как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна».

Описание родного нищего края сделано Буниным со скупой выразительностью.

«Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов — только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь Заказ, Дубовка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов... Это — Подстепье, где поля волнисты, где все буераки да кособоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми богом, — так они неприхотливы, первобытно просты, родственны своим лозинам и соломе».

У писателей есть термин, заимствованный у скульпторов, — «лепка людей». У немногих писателей есть такая безошибочно верная и порой то безжалостная, то трогательная «лепка людей», как у Бунина. Вот, к примеру, подпасок:

«Мальчишка подпасок был необыкновенно интересен: поскожная рубашонка и коротенькие порточки были у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые «козельчики», разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза воровски бежали: ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним и то, что он подбивает и нас есть бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба! Как заманчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал. Кроме того, он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и фесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, пребольно обжигая себя по ушам концом кнута».

Русский пейзаж с его мягкостью, застенчивыми веснами, с его невзрачностью, которая через короткое время оказывается тихой красотой, вызывающей даже жалость, нашел, наконец, своего выразителя, никогда не пытавшегося его приукрасить. Не было в русском пейзаже даже самой малой малости, которую бы не заметил и не описал Бунин.

«Миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестящий своей удлинненной поверхностью в лощине среди выбитых скотиной кособоргов. На них кое-где как-то бесприютно на юру в раздумье сидели грачи».

В «Жизни Арсеньева» есть небольшая глава. Она начинается словами:

«Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы». Далее Бунин говорит о большой дороге вблизи села Станового, о разбойниках, страхе, ночах, но какая удивительная картина недавней России набросана здесь:

«Большая дорога возле Станового спускалась в глубокий овраг, по нашему «верх», и это место всегда внушало почти суеверный страх. Не раз испытал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под Становой... Все представлялось: глядь, а они — и вот они! Не спеша идут наперерез тебе с топориками в руках, туго и низко по самым кострцам подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками. И вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно спокойно приказывают: «Постой-ка на минутку, купец...»

Великолепных мест в этой книге великое множество. Я не помню в нашей прозе такого описания зимы, какое я привожу ниже:

«А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делаются скучны, недоброжелательны — первобытно подвержен русский человек природным влияниям! — и все на свете, равно как и собственное существование, томит своей ненужностью. Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых «земля на сажень трескалась». Тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца и в тугой и звонкой неподвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев».

Говоря о Буине, невольно делаешься человеком навязчивым. Все время хочется показать собеседнику-читателю прекрасные места, одно за другим. Все кажется, вот это — последнее. Но оказывается, что дальше — еще лучшее место и нет сил промолчать о нем. Вот, например, слова о юности и почти детской любви. Каждый думает о минувшей юности с грустью. Тогда мы любили любовь и все, что она принесила нам: и «семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепелов», и дыхание спящей любимой девушки, — «как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим

дождем струящихся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на свете».

* * *

В 1917 году я случайно попал в усадьбу Кропотово к югу от Ефремова. Усадьба принадлежала отцу Лермонтова. Однажды Лермонтов, по дороге на Кавказ, заезжал к отцу.

Старый и скучный дом был закрыт и заколочен. Я посидел около него на бревне.

Из-за глинистых бугров низко и бесконечно плелись рыхлые темные тучи. Перепадал дождь, стучал по равным листьям лопухов.

И вот только недавно, читая «Жизнь Арсеньева», я узнал, что Бунин бывал в Кропотовке и эта деревня всегда вызывала у него мысли о великой бедности наших мест.

«Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой и дивился ее заброшенности, пустынности. Ехал проселками, проезжал деревушки, усадьбы: хоть шаром покати не только в полях, на грязных дорогах, но и на таких же грязных деревенских улицах и на пустых усадебных дворах... Вот Кропотовка, этот забытый дом, на который я никогда не могу смотреть без каких-то бесконечно грустных и неизъяснимых чувств. Вот бедная колыбель его (Лермонтова)... Какая жизнь, какая судьба! Всего двадцать семь лет, но каких бесконечно богатых и прекрасных, вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера на глухой дороге у подошвы Машука, когда, как из пушки, грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то Мартынова и «Лермонтов упал, как будто подкошенный»».

* * *

Чем больше я читаю Бунина, тем яснее становится, что Бунин почти неисчерпаем.

Во всяком случае, нужно много времени, чтобы узнать все им написанное и узнать бунинскую бурную, несмотря на элегичность автора, беспокойную и стремительную в своем движении жизнь.

Часть своей жизни Бунин рассказал сам (в «Жизни Арсеньева» и во многих рассказах, которые почти все в той или иной мере связаны с его биографией), часть рассказала его жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина, выпустившая в 1958 году в Париже свою книгу «Жизнь Бунина» — очень ценный свод воспоминаний и материалов о Буине.

Жизнь Бунина вся до последних дней была отдана скитаниям и творчеству. Недаром Бунин написал рассказ о матросе Бернаре с мопассановской яхты «Милый друг».

Бернар, великолепный моряк, умирая, сказал: «Кажется, я был неплохим моряком». Бунин писал о себе, что он был бы счастлив, если бы в свой смертный час

мог повторить по праву слова Бернара и сказать: «Кажется, я был неплохим писателем».

Бунин был смел, честен в своих убеждениях. Он один из первых в своей «Деревне» развенчал сладенький миф о русском крестьянине-богоносце, созданный кабинетными народниками.

У Бунина, кроме блестящих, совершенно классических рассказов, есть необычайные по чистоте рисунка, по великолепной наблюдательности и по ощущению далеких стран путевые очерки об Иудее, Малой Азии, Турции, Греции и Египте.

Бунин — первоклассный поэт чистой, если можно так выразиться, «кастальской» школы. Его стихи до сих пор не оценены. Среди них есть подлинные шедевры по выразительности и передаче трудноуловимых вещей.

Всю жизнь Бунин ждал счастья, писал о человеческом счастье, искал путей к нему. Он нашел его в своей поэзии, прозе, в любви к жизни и своей родине и сказал великие слова о том, что счастье дано только знающим.

Бунин прожил сложную, иногда противоречивую жизнь. Он много видел, знал, много любил и ненавидел, много трудился, иногда ошибался, но всю жизнь величайшей, нежнейшей, неизменной его любовью была родная страна, Россия.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав.
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

Таруса.
Январь 1961 года

ВСТРЕЧА С ОЛЕШЕЙ

У меня было много встреч с Юрием Карловичем Олешей. Каждая встреча оставалась у меня в памяти надолго.

Об одной из этих встреч я и расскажу сейчас. Это было в самом начале войны, в июле 1941 года. Я приехал в Одессу с фронта, из-под Тирасполя, на военном грузовике, соскочил с него около вокзала и пошел в «Лондонскую гостиницу».

Я шел по безлюдной Пушкинской улице. Начинало светать. Лил дождь.

В первые дни войны одесские жители покрасили белые южные дома густо разведенной сажей. Считалось, что черные дома не так заметны с воздуха, как белые. Сложное предприятие с окраской домов, носившее звонкое имя «камуфляж», оказалось вполне бесполезным. Лето выдалось дождливое. После первого же дождя дома облезли и покрылись потеками грязи.

Я шел по Пушкинской улице и не узнавал давно знакомый и милый город. Это была Одесса и, вместе с

тем, совсем не она. Будто я видел город одновременно и на яву и во сне.

Из водосточных труб хлестала зловещая вода. Ни единого звука не слышалось вокруг, кроме торопливого стука дождя по железным крышам. Пожалуй, только запах промокшей листвы акаций напоминал недавние летние дни.

В то время я был почему-то уверен, что война принесла с собой новый воздух. Она сорвала с земли старый воздушный слой — мягкий, теплый, временами туманный — и заменила его воздухом жестким, пустым, изменившим вид всех мест и предметов. Новый воздух был похож на жидкий нитроглицерин. Запах его напоминал гарь, смешанную с пронзительным лекарством.

Должно быть, от этого чужого воздуха, от смертельных улиц и дождевой сырости я чувствовал полное одиночество, будто я приехал в совершенно обезлюдевший город.

Поэтому я с облегчением вздохнул, когда в сумрачном вестибюле «Лондонской гостиницы» увидел старого небритого человека в лиловых подтяжках и мятой рубашке.

Он сидел за конторкой и читал «Королеву Марго» Александра Дюма.

Желтый огарок неподвижно горел перед ним. Едва заметный синий угар завивался над пламенем, как кудель.

— Вы портье? — спросил я неуверенно.

— Предположим, что я.

— Можно у вас переночевать?

— Станный вопрос! — рассердился старик. — В гостинице нет ни души. Выбирайте любой номер. С альковом или без алькова. Если у вас широкая натура, то можете жить один в двух номерах. Или в трех. И при этом совершенно бесплатно. Гратис!

Портье сказал старомодное слово купцов и коммивояжеров — слово «гратис», обозначавшее, что товар отпускается бесплатно.

— Гратис! — повторил старик. — Платить абсолютно некому. «Интурист» — эвакуировали. Я здесь за сторожа.

— Неужели в гостинице нет ни души? — спросил я, прислушиваясь, как по коридорам позванивают битые стекла.

— Как нет?! — возмущенно воскликнул старик. — А Юрия Карловича Олешу вы не считаете?

— Он здесь?

— Безусловно. Где же ему быть, скажите, как не в Одессе. Я знаю Юрия Карловича давно. Он вырос здесь и жил, когда Одесса крутилась целные сутки, как карусель. Все скакало перед глазами: пароходы, Уточники, шикарные женщины, фраеры, капитаны, налетчики, итальянские примадонны, знаменитые доктора и скрипачи. И я знаю, кто еще! Теперь на Одессу навалилась беда. Тогда Олеша был тут, но и теперь он тут. Он — чистый одессит, вы понимаете! Сейчас он сидит в номере один. После болезни. Каждый раз, когда начинается тревога, я иду к нему, чтобы уговорить его

сойти в подвал. Но он ни за что не сходит, а с места в карьер начинает шутить. «Соломон Шаевич, — говорит он, — поглядывайте, чтобы во время бомбежки фрицы не побили те фонари, которые я описал в сказке «Три толстяка». Что я могу ответить? И я тоже, знаега, шучу. Я говорю, что если бы моя воля, то я бы те фонари посеребрил, чтобы Одесса всегда помнила про эту книгу.

Я поднялся в комнату к Олеше. Он сидел, нахохлившись, за столом и что-то писал своим крупным и вольным почерком.

Мы расцеловались. Олеша был безнадежно небрит, страшно худ — он только что перенес дизентерию. Сухая желтизна покрывала его щеки. Но глаза смотрели, как всегда, пронзительно, с доброй усмешкой. И, как всегда, были готовы тотчас загореться огнем выдумки, схваченного на лету вдохновения, блеском метких и неожиданных сопоставлений. Когда он начинал говорить, жизнь сразу становилась интересной и как бы сияющей. Чем? Огнем его юмора, поэзии и мгновенного и точного понимания человеческих сердец.

Мне всегда казалось (а может быть, это было и вправду так), что Юрий Карлович всю жизнь неслышно беседовал с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудаками.

Спорил он смело и стремительно. Свои возражения он вонзал в собеседника беспощадно и победоносно.

Вокруг Олешы существовала, то сгущаясь, то разрежаясь, особая жизнь, тщательно выбранная им из окружающей реальности и украшенная его крылатым воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная им в «Зависти» ветка дерева, полная цветов и листьев.

В Олеше было что-то бетховенское, грозное, мощное. Даже в его голосе. Его зоркие глаза видели вокруг много великолепных и утешительных вещей. Он писал о них коротко, точно, хорошо зная закон, что два слова могут быть несдыханно сильными, а четыре слова — уже вчетверо слабее.

В углу комнаты стояла самодельная палка. На ее набалдашнике висела клетчатая котомка.

— Вот, — сказал Олеша и кивнул на палку и котомку, — когда придет последний час, последняя минута, я уйду пешком на Николаев, а потом на Херсон. Чтобы дойти, нужно ни о чем не думать, а только идти, идти, идти, пока держат ноги... Кстати, достаньте мне какую-нибудь карту, хотя бы из школьного атласа. Без карты мне будет трудно идти.

Я слушал его и засыпал, сидя. Надо было лечь хоть на час, отдохнуть. Олеша пошел вместе со мной по пустым коридорам гостиницы выбрать самую лучшую комнату.

Почти все окна были выбиты взрывной волной. По гостинице, вздувая пыльные бордовые портьеры, носились сквозняки. Вслед им трещали засохшими листьями пальмы.

Сон у меня прошел. Мы ходили по комнатам и привередничали, разоблачая одну комнату за другой. Одну

за то, что в ней пахнет земляничным мылом, другую за разбитое трюмо, третью — за картину «Боярский пир», запыленную известкой от недавнего взрыва.

Наконец, мы выбрали самую маленькую и темную комнату. Окна ее выходили на внутренний дворик. Там росли вековые платаны.

— Блиндаж! — сказал Олеша. — Самая безопасная комната в гостинице

Я тотчас уснул, не раздеваясь. Проснулся я от далекого гула уходящих бомбардировщиков. Закатный свет золотился в чешуйчатом от старости стекле открытого окна.

Я вскочил и пошел к Олеше. В номере его не было. Я нашел его в узком и темном зале ресторана при гостинице.

То был исторический ресторан. Как принято говорить в газетных отчетах, «его стены видели» многих знаменитых людей. Недавно еще этот зал сверкал хрусталами, серебром, фаянсом и мельхиором. Твердые синеватые скатерти на столиках трещали, как пергамент. Люстры в виде виноградных кистей горели под вычурным лепным потолком. В серебряных ведерках хрустел лед, и меню было таинственным и роскошным.

Сейчас зал был пуст, темен, под потолком болезненно светилась единственная лампочка военного времени. Ее никогда не гасили. Два старых, как Одесса, официанта в помятых белых куртках — приятели Олеша — бродили по залу и подавали редким посетителям пустой чай и черную скользкую вермишель.

Олеша сидел за столиком с печальным молчаливым негром-актером Одесской киностудии.

— Только что был налет, — сказал Олеша. — Вы его проспали. Ну, что вы скажете «за Одессу?»

Я сказал, что город изменился с начала войны, замер и одесситы, как будто потеряли свою традиционную живость.

— Че-пу-ха! — сказал Олеша раздельно и внятно. — Одесситы не сдаются и не умирают. Их остроумие замешано на бесстрашии. Их храбрость расцветает от острых слов. У вас предвзятое представление об одесситах. Такое же, как, скажем, о Диогене.

Я, конечно, понимал, что я здесь ни при чем, что свое мнение о Диогене я никогда при Олеше не высказывал хотя бы просто потому, что у меня его не было. Диоген был поводом для какой-нибудь острой выдумки.

— Вот, — сказал Олеша, — все, в том числе и вы, считаете Диогена главой циников. А какой он циник! Он робкий бестолковый старик. Жил, между прочим, в бочке. От бестолковости. А бочка все-таки — какая-никакая, а жилплощадь. За нее надо платить. У Диогена, понятно, никогда не было ни копейки, ни драхмы. Хозяин бочки постоянно грозился выбросить старика на улицу за долги. Тогда Диоген шел к друзьям и начинал, краснея, бормотать: «Дайте денег на бочку». Боже мой, какой тогда подымался визг и крик! «Деньги на бочку?» «Нахал!» «Рвач!» «Циник!»

Молчаливый негр неожиданно захохотал. Олеша метнул на него быстрый взгляд и сказал:

— Одесситы и сейчас, во время войны, такие же мужественные, веселые и смешливые, как и всегда. Пойдемте, походим по городу, и я могу поручиться, что где-нибудь мы увидим старых, ни перед чем не сдающихся одесситов. А это тоже своего рода героизм.

Мы вышли из гостиницы. Прозрачный воздух розел от заката. Бульвар шумел.

Над морем шли в сторону Очакова фашистские эскадрильи. Их веско и гулко обстреливали морские зенитки.

Мы пошли на Греческий базар. Там, по словам Олеша, еще доживала последние часы чайная, где подавали настоящую молдавскую брынзу.

Но мы не дошли до Греческого базара. Нас настигла воздушная тревога. Милиционеры открыли ожесточенную пушечную пальбу в воздух (очевидно, для тех, кто не слышал тревоги по радио). Кроме того, они загоняли всех прохожих во дворы.

Мы вошли в первый же двор. То был типичный греческий двор. Описать такой двор почти невозможно, его надо видеть или даже пожить в нем несколько дней, чтобы понять всю его прелесть. Сухое описание вряд ли что-нибудь даст читателю. Но все же я попытаюсь описать эти дворы.

Это — прямоугольные дворы, окруженные со всех сторон старыми двухэтажными домами. Единственный выход из этих дворов — ворота на улицу. Все комнаты и квартиры изо всех этажей греческих домов выходят на старые наружные деревянные террасы и на такие же старые лестницы.

Террасы тянутся вдоль всех стен дома, шатаются и скрипят. Они служат самым оживленным и любимым придатком к комнатам и квартирам.

На террасах жарят на керосинках скумбрию или камбалу, готовят знаменитую икру из «синеньких», купают детей, стирают, ссорятся (этаж с этажом), слушают патефоны и даже танцуют.

Мы вошли в такой двор. Он был пуст.

Немецкие бомбардировщики пикировали с железным визгом и воем. Грохотали взрывы. По камням двора щелкали осколки зенитных снарядов.

Мы стали под навесом верхней террасы, чтобы укрыться от осколков. Рядом с нами сидел на ящике и спал старый дворник с рваным противогазом на плече. Он так и не проснулся, несмотря на грохот, свист и пыль. Ее вдувало во двор с улицы целыми залпами.

Против нас мы увидели крыльцо с массивной дзерью. Она вела, очевидно, в отдельную квартиру. К двери была привинчена медная дощечка с выгравированной надписью «Зубной врач И. С. Вайнтрауб».

Твердый знак в конце фамилии свидетельствовал, что Вайнтрауб поселился здесь в незапамятные времена.

— Еще до революции! — заметил Олеша. — Это звучит, как «Еще до рождества Христова» или «Еще до всемирного потоп».

Рядом с крыльцом было венецианское окно с задернутыми занавесками. За ними просвечивали черные листья фикусов.

Завыл самолет. Загремели железными обвалами взрывы и залпы зениток.

Тогда мы увидели простое и ничем не примечательное зрелище. Я, между прочим, до сих пор не понимаю, почему мы с Олешей долго потом хохотали, вспоминая о нем.

Кто-то гневно отдернул занавески на венецианском окне, ударил ладонью в раму, и она с треском распахнулась. Створки окна отлетели к стене.

В окно высунулся старый, плохо выбритый еврей в спущенных подтяжках и мятой рубашке. Это был, очевидно, сам доктор Вайнтрауб. В руке он держал газету. Он, должно быть, спал и прикрывался этой газетой от мух. Взрывы и вой самолетов разбудили его.

Он высунулся в окно, упираясь ладонями в подоконник. Красными от раздражения склеротическими глазами он посмотрел на промахнувшийся низко над двором с сатанинским воем самолет и крикнул с негодованием:

— Что? Опять? Босяки!!

Он яростно плюнул вслед самолету, с треском захлопнул окно и задернул занавеску.

Тогда дворник, не просыпавшийся даже от взрывов, сразу очнулся, зевнул и печально сказал:

— Самый отчаянный жилец на весь наш двор. Наполеон!

Налет окончился. Мы вышли на улицу. Уже стемнело.

— Видите, — сказал Олеша, — я был прав. Вот она — старая, ни перед чем не сдающаяся Одесса.

— Вам просто повезло, — ответил я.

Мы пошли в «Лондонскую гостиницу». Около Оперного театра лежала вырванная с корнями акация. Корни ее застряли на втором этаже старинного дома, зацепившись за решетку балкона.

Около подъезда стояла карета скорой помощи. С подоконника на втором этаже медленно капала на тротуар очень яркая кровь.

Над морем полосами тянулся дым. На Пересыни где-то горело. А может быть, там за лиманами всходила луна.

Фонари из «Трех толстяков» уцелели, и я обрадовался этому не меньше, чем Олеша.

Я мог бы еще многое рассказать об Одеше, но пока еще это трудно. Он умер недавно, и никак нельзя забыть прекрасное его лицо — лицо человека, спокойного задумавшегося перед нами. И нельзя забыть маленькую красную розу в петлице его старенького пиджака. Этот пиджак я видел на нем много лет.

Таруса.
Ноябрь 1960

АЛЕКСАНДР БЛОК

Нет более трудной задачи, чем рассказать о запахе речной воды или о полевой тишине. И притом расска-

зать так, чтобы собеседник явственно услышал этот запах и почувствовал тишину.

Как передать «хрустальный звон», как говорил Блок, пушкинских стихов, возникающих в нашей памяти совершенно внезапно при самых разных обстоятельствах.

Есть в мире сотни замечательных явлений. Для них у нас еще нет слов, нет выражения. Чем удивительнее явление, чем оно великолепней, тем труднее рассказать о нем нашими помертвелыми словами.

Одним из таких прекрасных и во многом необъяснимых явлений нашей русской действительности является поэзия и жизнь Александра Блока.

Чем больше времени проходит со дня трагической смерти Блока, тем неправдоподобнее кажется нам самый факт существования среди нас этого гениального человека.

Он слился для многих из нас с необыкновенными людьми, с поэтами Возрождения, с героями общечеловеческих легенд. В частности для меня Блок стоит в ряду любимейших полупризрачных, а то и вовсе призрачных людей, таких, как Орланд, Петрарка, Абельяр, Тристан, Леопарди, Шелли или до сих пор непонятный Лермонтов, — мальчик, успевший сказать во время своей мгновенной жизни о жаре души, растраченном в пустыне.

Блок сменил Лермонтова. О нем он сказал печальные и точные слова: «В томленьях его иступленных — тоска небывалой весны».

Одной из больших потерь своей жизни я считаю то обстоятельство, что не видел и не слышал Блока.

Я не слышал Блока, не знаю, как он читал стихи, но я верю поэту Пясту, написавшему маленькое исследование об этом.

Тембр голоса у Блока был глухой, отдаленный, равномерно спокойный. Его голос доходил даже до его современников, как голос из близкой дали. Было в нем нечто магическое, настойчивое, как гул долго затихающей струны.

Тот Блок, о котором я говорю, крепко существует в моем сознании, в моей жизни, и я никогда не смогу думать о нем иначе. Я провел с ним в молчании много ночей, у меня так часто падало сердце от каждой наугад сказанной и поющей его строки. «Этот голос — он твой, и его непонятному звуку жизнь и горе отдам».

Таким он вошел в мою жизнь еще в далекой трудной юности, таким он остался для меня и сейчас, когда, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бранные пожитки собирать».

Среди «бранных пожитков» никогда не будет стихов Блока. Потому что они не подчиняются законам бренности, законам тления и будут существовать, пока жив человек на нашей земле и пока не исчезнет «чудо из божьих чудес» — свободное русское слово.

Быть может, наше несколько обостренное и пронзительно-прощальное отношение к Блоку объясняется тем, что рядом с нами притаилась водородная смерть. Стоит любому негодяю или безумцу нажать кнопку,



К. П. БРЮЛЛОЗ (1799—1852). Грек, полулежащий на земле. Бумага. Односеансная. Графич. карт. Разм. 14×37,7. 16 июня 1835 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

чтобы погибло все, что составляет ценность человеческой жизни, и погиб сам человек. А так как негодяев много и они развязны, наглы и злы, то их соседство наполняет все мирное человечество огромной тревогой. И в смятении этой тревоги мы с особенной болью чувствуем величие и ясность поэзии Блока.

Но это — особая наша беда и особая тема.

Да, я жалею о том, что не знал Блока. Он сам сказал: «Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно».

Оборванная жизнь необратима. Блока мы не воскресим и никогда уже не увидим в нашей повседневной жизни. Но в мире есть одно явление, равное чуду, попирающее все законы природы и потому утешительное. Это явление — искусство.

Оно может создать в нашем сознании все и воскресить все! Перечитайте «Войну и мир», и я ручаюсь, что вы ясно услышите за своей спиной смех спрятавшейся Наташи Ростовской и полюбите ее, как живого, реального человека.

Я уверен, что любовь к Блоку и тоска по Блоку так велики, что рано или поздно он возникнет в какой-нибудь поэме или повести, совершенно живой, сложный, пленительный, испытавший чудо своего второго рождения. Я верю в это потому, что страна не оскуде-

ла талантами и сложность человеческого духа еще не свелась к одному знаменателю.

Простите, но здесь мне придется сказать несколько слов о себе.

Я начал писать автобиографическую повесть и дошел в ней до середины своей жизни. Это не мемуары, но именно повесть, где автор волен в построении рассказа. Но в основном я более или менее придерживаюсь подлинных событий.

В автобиографической повести я пишу о своей жизни, какой она была в действительности. Но есть, должно быть, у каждого, в том числе и у меня, вторая жизнь, вторая биография. Она, как говорится, «не вышла» в реальной жизни, не случилась. Она существует только в моих желаниях и в моем воображении.

И вот эту вторую жизнь я и хочу написать. Написать свою жизнь такой, какой она бы непременно была, если бы я создавал ее по своей воле, вне зависимости от всяких случайностей.

Вот в этой второй «автобиографии» я хочу и могу вплотную встретиться с Блоком, даже подружиться с ним и написать о нем все, что я думаю с тем великим признанием и нежностью, какую я к нему испытываю. Этим я хочу как бы продлить жизнь Блока в себе.

Вы вправе спросить у меня, зачем это нужно.

Нужно для того, чтобы моя жизнь была гармонически закончена, и для того, чтобы показать на примере своей жизни силу поэзии Блока. Я не видел Блока. В последние годы его жизни я был далеко от Петербурга. Но сейчас я стараюсь хотя бы косвенно наверстать эту потерю.

Быть может, это выглядит несколько наивно, но я нищу встречи со всем, что было связано с Блоком — с людьми, обстановкой, петербургским пейзажем. Он почти не изменился после смерти поэта.

Уже давно меня начало мучить непонятное мне самому желание найти в Ленинграде дом, где жил и умер Блок, но найти непременно одному, без чьей бы то ни было помощи, без расспросов и изучения карты Ленинграда. И вот я, смутно зная, где находится река Пряжка (на набережной этой реки на углу теперешней улицы Декабристов жил Блок), пошел на Пряжку пешком и при этом не спрашивал никого о дороге. Почему я так поступил, я сам не совсем понимаю. Я был уверен, что найду дорогу интуитивно, что сила моей привязанности к Блоку, подобно поводью, приведет меня за руку к порогу его дома.

Первый раз я не дошел до Пряжки. Начиналось наводнение и были закрыты мосты.

Я только, продрогнув, смотрел в глухую аспидную муть на западе. Там была Пряжка. Оттуда бил в лицо сырой ветер, нес мглу, и в этой мгле, как каменные корабли в шторме, вздымались неясные громады домов.

Я знал, что дом Блока стоял у взморья и, очевидно, первым принимал на себя удары балтийской бури.

И только во второй раз я дошел до дома на Пряжке. Я шел не один. Со мной была моя девятнадцатилетняя дочь, юное существо, сиявшее грустью просто оттого, что мы ищем дом Блока.

Мы шли по набережной Невы, и почему-то весь путь я запомнил с необыкновенной ясностью.

Был октябрьский день, мгlistый, с кружащейся папой листвою. В такие дни кажется, что редкий туман над землей лег надолго. Он слегка моросит, наполняя свежестью грудь, покрывая мельчайшей водяной пылью чугунные решетки.

У Блока есть выражение: «Тень осенних дней». Так вот, это был день, наполненный этой тенью — темноватой и холодной. Слепо блестя стекла особняка, избитых во время блокады осколками снарядов. Пахло каменноугольным дымом — его, должно быть, приносило из порта.

Мы шли очень медленно, часто останавливались, долго смотрели на все, что открывалось вокруг. Почему-то я был уверен, что Блок чаще возвращался домой этим путем, а не по скучной Офицерской улице.

Сильно пахло тинистой водой и опилками. Тут же у берега пустынной в этом месте Невы какие-то девушки в ватниках пилили циркулярной пилой березовые дрова. Опилки летели длинными фейерверками, но всегда раздражающий визг пилы звучал здесь почему-то мягко, приглушенно. Пила как бы пела под сурдинку.

За темным каналом — это и была Пряжка — подымались стапели судостроительных заводов, трубы, дымы, закопченные фабричные корпуса.

Я знал, что окна квартиры Блока выходили на запад, на этот заводской пейзаж, на взморье.

Мы вышли на Пряжку, и я тотчас увидел за низкими каменными строениями единственный большой дом — кирпичный и очень обыкновенный. Это был дом Блока.

— Ну вот, мы и пришли, — сказал я своей спутнице.

Она остановилась. Глаза ее вспыхнули радостью, но тотчас же к этому радостному сиянию прибавился блеск слез. Она старалась сдержаться, но слезы не слушались ее, все набегали маленькими каплями и скапывались с ресниц. Потом она схватилась за мое плечо и прижалась лицом к моему рукаву, чтобы скрыть слезы.

В окнах дома блестел ленинградский слепой свет, но для нас обоих и это место, и этот свет казались священными.

Я подумал о том, как счастлив поэт, которому юность отдает свою первую любовь — застенчивую и благодарную. Юность отдает свое признание юному поэту. Потому что Блок в нашем представлении всегда был и всегда остается юным. Таков удел почти всех трагически живших и трагически погибших поэтов.

Даже в свои последние годы, незадолго до смерти, Блок, измученный никому не высказанной внутренней тревогой, так и оставшейся неразгаданной, сохранил внешне черты молодости.

Здесь следует сделать одно маленькое отступление.

Широко известно, что есть писатели и поэты, обладающие большой заражающей силой творчества.

Их проза и стихи, попавшие в ваше сознание даже в самых маленьких дозах, взбудораживают вас, вызывают поток мыслей, роение образов, заражают непреодолимым желанием закрепить все это на бумаге.

В этом смысле Блок безошибочно действовал на многих поэтов и писателей. Действовал не только стихами, но и событиями из своей жизни. Я приведу здесь, может быть, не очень характерный пример, но другого сейчас не припомню.

У писателя Александра Грина есть посмертный и еще неопубликованный роман «Недотрога». Обстановка этого романа совпадает с рассказами Блока о его жизни в Бретани, в маленьком порту Аберврак.

Там Блок впервые приобщился к морской жизни. Она вызвала у него почти детское восхищение. Все было смертельно интересным.

Он пишет матери: «Мы живем, окруженные морскими сигналами. Главный маяк освещает наши стены, вспыхивая через каждые пять секунд. В порту стоит разоруженный фрегат 20-х годов (прошлого века), который был в Мексиканской войне, а теперь отдыхает на якорях. Его зовут «Мельпомена». На носу — белая статуя, стремящаяся в море».

Еще одно характерное место из письма. Его следует привести. «Недавно на одном из вертящихся маяков умер старый сторож, не успев приготовить машину к вечеру. Тогда его жена заставила двух маленьких детей вертеть машину руками всю ночь. За это ей дали орден Почетного Легиона».

«Я думаю, — замечает Блок, — русские сделали бы то же».

Так вот, вблизи Аберврака на острове был расположен старый форт Саизон. Французское правительство очень дешево продавало этот форт за полной его старостью и ненадобностью.

Блоку, видимо, очень хотелось купить этот форт. Он даже подсчитал, что покупка его вместе с обработкой земли, разбивкой сада и ремонтом обойдется в 25 000 франков.

В этом форте все было романтично: и полуразрушенные подъемные мосты, и казематы, и пороховые погреба, и старинные пушки.

Семейные отговорили Блока от этой покупки. Но он много рассказывал друзьям и знакомым об этом форте, — мечта не так легко уступала трезвым соображениям.

Грин услышал этот рассказ Блока и написал роман, где некий старый человек с молодой красавицей-дочерью, прозванной «Недотрогой», покупает у правительства старый форт, поселяется в нем и превращает валы в душистые заросли и цветники.

В романе происходят всякие события, но, пожалуй, лучше всего написан форт — добрый (давно разоруженный), мирный, романтически старый. Прекрасно также большое описание сада с живописными определениями деревьев, кустов и цветов.

Должен признаться, что стихи Блока натолкнули и меня на странную на первый взгляд идею — написать несколько рассказов, связанных общностью настроения со стихами Блока.

Эта мысль не оставляет меня и сейчас. Пока же я написал рассказ «Дождливый рассвет», целиком вышедший из стихотворения Блока «Россия».

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка...

Я не хочу и не могу давать свое толкование жизни и поэзии Блока. Я не очень верю в пророческий и мистический ужас Блока перед грядущими испытаниями России и человечества, в роковую пустыню, окружающую поэта, в некое, слишком усложненное восприятие им революции, в безвыходные сомнения и катастрофические падения.

Так называемых «концепций» и загадок Блока у нас множество. Мне думается, что у Блока все было яснее и проще, чем об этом пишут его исследователи.

Меня в Блоке привлекает и захватывает совершенно конкретная поэзия его стихов и его жизни. Туманы символизма, нарочитые, лишённые живых образов, живой крови, бесплотные — это только затянувшееся гимназическое увлечение.

Иногда я думаю, что многое в Блоке непонятно для людей последнего поколения, для новой молодежи.

Непонятна его любовь к нищей России. Как можно было любить ту страну с точки зрения нынешней молодежи, где «низких нищих деревень не счесть, не смерить оком, и светит в потемневший день костер в лугу далеко».

Это трудно понять молодежи потому, что этой России уже нет. Нет именно в том ее качестве, в каком ее знал и любил Блок. Если еще и остались глухие деревни, гати, дебри, то человек в этих деревнях и дебрях уже другой. Сменилось поколение и внуки уже не понимают дедов, а порой и сыновья отцов.

Внуки не понимают и не хотят понять нищету, оплаканную песнями, украшенную поверьями и сказками, глазами робких бессловесных детей, опущенными ресницами испуганных девушек, встревоженную рассказами странников и калек, постоянным чувством живущей рядом — в лесах, в озерах, в гнилых колодах, в плаче старух, в заколоченных избах — томительной тайны и столь же постоянным ощущением чуда. «Дремлю и за дремотой — тайна, и в тайне ты почишь, Русь».

Нужно было широкое и выносливое сердце и великая любовь к своему народу, чтобы полюбить эти серые избы, запах золы, бурьяна, причитанья и увидеть за всей этой скудностью бледную красоту России, опоясанной лесами и окруженной дебрями. Эта Русь умерла. Блок оплакал ее и отпел:

Не в богатом покоишься гробе
Ты, убогая финская Русь.

Новая Россия, «Новая Америка» встает для Блока в южных степях.

Нет, не выются там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Для людей старшего поколения почти в равной степени знакома старая и новая Русь. В таком обширном знании России — богатство этого поколения.

Нельзя знать новую Россию, не зная старой, не зная всего, что «чудь начудила и мера намерила», не зная старой деревни, не зная очарованных странников, бродивших по всей стране, не увидев заката в крови над полем Куликовым.

Стихи Блока о любви — это колдовство. Как всякое колдовство, они необъяснимы и мучительны. О них почти невозможно говорить. Их нужно перечитывать, повторять, испытывая каждый раз сердцебиение, утратить от их томительных напевов и без конца удивляться тому, что они входят в память внезапно и навсегда.

В этих стихах, особенно в «Незнакомке» и «В ресторане», мастерство доходит до предела. Оно даже пугает, кажется недостижимым. Вероятно, думая об этих стихах, Блок сказал, обращаясь к своей музе:

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого Аи,
И любви цыганской короче
Были страшные ласки твои...

Стихи Блока о любви очень крепнут от времени, томят людей своими образами. «И веют древними поверьями ее упругие шелка», «Я вижу берег очарованный и очарованную даль», «И очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу».

Это не столько стихи о вечно женственном, сколько порыв огромной поэтической силы, берущей в плен и искусственные и неискушенные сердца.

Какая-то «неведомая сила» превращает стихи Блока в нечто высшее, чем одна только поэзия, в органическое слияние поэзии, музыки и мысли, в согласованность с биением каждого человеческого сердца, в то явление искусства, которое не нашло еще своего определения.

Достаточно прочесть одну всероссийско известную строфу, чтобы убедиться в этом:

Ты рванулась движеньем испуганной птицы.
Ты прошла, словно сон мой, легка...
И вздохнули души, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка...

Блок прошел в своих стихах и прозе огромный путь российской истории от безвременья 90-х годов до первой мировой войны, до сложнейшего переплетения философских, поэтических, политических и религиозных школ, наконец, до Октябрьской революции «в белом венчике из роз». Он был хранителем поэзии, ее менестрелем, ее чернорабочим и ее гением.

Блок говорил, что гений излучает свет на неизмеримые временные расстояния. Эти слова целиком относятся и к нему. Его влияние на судьбу каждого из нас, писателя и поэта, может быть, не сразу заметно, но значительно.

Еще в юности я понял смысл его величайших слов и поверил им:

Сотри случайные черты.
И ты увидишь — жизнь прекрасна...

Я стремился следовать этому совету Блока. И я ему глубоко благодарен. Мы живем в светонормальном излучении его гения, и оно дойдет, может быть, только более ясным до будущих поколений нашей страны.

Таруса.
Ноябрь 1960

ГОРСТЬ КРЫМСКОЙ ЗЕМЛИ

О Владимире Луговском

Зимой 1935 года мы шли с Луговским по пустынной Массандровской улице в Ялте.

Было пасмурно, тепло, дул ветер. Обгоняя нас, бежали, шурша по мостовой, высохшие листья клена. Они останавливались толпами на перекрестках, как бы раздумывая, куда бежать дальше. Но пока они перешептывались об этом, налетал ветер, завивал их в трескучий смерч и уносил.

Луговской с мальчишеским восхищением смотрел на перебежку листьев, потом поднял один лист и показал мне:

— Посмотри, у всех сухих кленовых листьев кончики согнуты в одну сторону под прямым углом. Поэтому лист и бежит от малейшего движения воздуха на этих загнутых своих концах, как на пяти острых лапках. Как маленький зверь!..

Массандровская улица какой была в то время, таковой осталась и сейчас — неожиданно живописной и типично приморской. Неожиданно живописна она потому, что на ней собрано, как будто нарочно, много старых выветренных лестниц, подпорных стенок, плюща, закоулков, оград из дикого камня, кривеньких жалюзи на окнах и маленьких дворишков с увядшими цветами. Дворики эти круто обрываются к береговым скалам. Цветы всегда покачиваются от ветра. Когда же ветер усиливается, то в дворики залетают соленые брызги и оседают на разноцветных стеклах террас.

Я упоминаю об этом потому, что Луговской любил Массандровскую улицу и часто показывал ее друзьям, не знавшим этого уголка Ялты.

Вечером в тот день, когда рядом с нами бежали по улицам листья клена, Луговской пришел ко мне и, явно смущаясь сказал:

— Понимаешь, какой странный случай. Я только что ходил на телефонную станцию звонить в Москву, и от самых ворот нашего парка за мной увязался лист клена. Он бежал у самой моей ноги. Когда я останавливался, он тоже останавливался. Когда я шел быстрее, он тоже бежал быстрее. Он не отставал от меня ни на шаг, но на телефонную станцию не пошел — там слишком крутая для него гранитная лестница и к тому же это — учреждение. Должно быть, осенним листьям вход туда воспрещен. Я погладил его по

спинке, и он остался ждать меня у дверей. Но, когда я вышел, его уже не было. Очевидно, его кто-то прогнал или раздавил. И мне, понимаешь, стало пехорошо, будто я предал и не уберег смешного маленького друга. Правда, глупо?

— Не знаю, — ответил я, — больше грустно...

Тогда Луговской достал из кармана куртки пустую коробку от папирос «Казбек» и прочел только что написанные на коробке стихи об этом листике клена — стихи, похожие на печальную и виноватую улыбку.

Такую улыбку я иногда замечал и на лице у Луговского. Она появлялась у него, когда он возвращался из своих стихов в обыкновенную жизнь. Он приходил оттуда как бы ослепленный, и нужно было некоторое время, чтобы его глаза привыкли к свету зимнего декабрьского дня.

У Луговского было качество подлинного поэта — он не занимал поэзию на стороне. Он сам заполнял ею окружающий мир и все его явления, какими бы возвышенными или ничтожными они ни казались.

Не существовало, пожалуй, ничего, что бы не вызвало у него поэтического отзвука, будь то выжатый ломтик лимона, величавый отгул прибоя, заскорузлая от крови шинель, щебенка на горном шоссе или визг флюгера на вышке пароводного агентства. Все это в пересказе Луговского приобретало черты легенды, эпоса, сказки или лирического рассказа. И вместе с тем все это было реально до осязаемости. Луговской говорил, что, создавая стихи, он входит в сказочную и в то же время реальную «страну» своей души.

Однажды он приехал в Ялту ранней весной. Дом творчества писателей еще не был открыт — он достраивался. Луговской поселился в одной из пустых только что выделенных комнат, среди стружек и ведер с клеем, стиром и красками. Ночью он оставался один в пустом гулком доме и писал при керосиновой лампочке на верстаке. Но, по его словам, он никогда так легко не работал. Он утром просыпался от высокого звона плотничьих пил, и размеренное их пение вошло, как удивительный напев, в одно из его стихотворений того времени.

У Луговского было много любимых земель, его поэтических вотчин: Средняя Азия, Север, побережье Каспия, Подмосковье и Москва, но, пожалуй, самой любимой землей для него, северянина, остался Крым.

Он великолепно его знал и изучал очень по-своему. Однажды, глядя с балкона гостиницы на Яйлу, он спросил меня, вижу ли я на вершине Яйлы, правее водопада Учан-Су, старую сосну, похожую на пинию. Я с трудом и то только в бинокль отыскал эту сосну.

— Проведем отсюда до той сосны ровную линию, — предложил Луговской, — и пойдем к ней напрямик по этой линии. Препятствия будем обходить только в исключительных случаях. Идет?

— Идет, — согласился я.

Так он один или с кем-нибудь из друзей бродил иной раз по Крыму, выбирая «видимую цель». Эти вольные походы сулили много неожиданного, как вся-

кая новая дорога. Луговской любил ходить наугад. В этом занятии было нечто мальчишеское, романтическое, таинственное. Оно раздражало трезвых и серьезных людей. Смысл его был в том, что Крым, знакомый до каждого поворота на шоссе, оборачивался неизвестными своими сторонами. С него слетал налет столетних представлений. Он переставал быть только скопищем красот, предназначенных для восторгов. Он приобретал благородную суровость, которую не замечают люди, знающие только Южный берег.

Однажды в Ялте, зимним вечером, несколько писателей затеяли игру: кто не дольше, как за полчаса, напишет рассказ на заданное слово. Слова нарочно придумывались «гробовые». Они могли бы привести в отчаяние человека даже с самым изворотливым воображением. Мне, например, попало слово «удой».

Слова писались на бумажках, и мы потом вытаскивали их из шляпы старого веселого и маленького, как гном, человека, Абрама Борисовича Дермана. У Дермана было прозвище «Соцстарик», то есть «социалистический старик», так как, по общему мнению, при социализме все старики должны быть такими же милыми и деятельными, как Дерман.

Луговской вытаскивал билетик со словом «громкоговоритель», крикнул и нахмурился. Дерман не сдержался, хихикнул и потер руки. Он предчувствовал неизбежный провал Луговского.

— Стыдитесь, старик! — сказал Луговской своим мягким и дружелюбным басом, тщетно стараясь придать ему угрожающие ноты. — Вы у меня еще поплачете! Клянусь тенью поэта Ратгауза!

Почему он вспомнил поэта Ратгауза, непонятно. Это был скучный, как аптекарский ученик, водянистый поэт конца XIX века.

— Скоро надо садиться писать, — озабоченно предупредил Дерман и посмотрел на свои старомодные, очень большие карманные часы. — Время подходит.

— Черта с два! — прогремел Луговской. — Черта с два, буду я вам писать рассказ именно здесь! Я требую дополнительного времени. Не меньше часа. Я предлагаю вам выслушать мой рассказ в Ливадии. Немедленно. Сам по себе он займет всего несколько минут.

— Кошмар! — бесстрастно сказал Александр Иосифович Роскин. — Общеобразовательская писательская экскурсия в Ливадию! Ночью! В декабре! В дождь и в шторм! Бред сивого мерина!

За окнами действительно бушевал сырой шторм. Он туго гудел в старых кипарисах. Тяжелые капли дождя били в окна не чаще, чем раз в минуту. Было слышно, как внизу на набережной шипел, перелетал через парапет и раскатывался по асфальту прибор.

— Как вам будет угодно, — сухо ответил Луговской. — Если это вас не устраивает, я выхожу из игры.

Все зашикали на Роскина. Предложение Луговского было неудобно, но заманчиво, сложно, но увлекательно. В нем скрывалась тайна. Уже одно это обстоятельство в наш век разоблаченных тайн раззадорило всех.

В конце концов мы все пошли в Ливадию. Ялта стремительно мигала огнями, как это всегда бывает в такие ветреные, бурные, шумливые, сырые, ненастные штормовые ночи. Море ревело, и первобытный хаос ударял, как прибор, рядом с ним в берега и уходил обратно в клубящийся мрак.

Мы почти ошупью шли по Царской тропе. Все молчали. Накрапывал дождь. Сырая земля пахла дрожжами. Очевидно, в палой листве началось брожение.

Луговской остановился, зажег спичку и осветил мокрый ствол вяза. В него была воткнута заржавленная английская булава.

— Здесь! — сказал Луговской. — Идите за мной. Только осторожно. Тут осыпи.

Тогда Роскин снова возмутился.

— Клянусь тенью академика Веселовского, — сказал он, подражая Луговскому, — что это розыгрыш! Блеф! Штучки-мучки! Фокусы! Я не хочу оставаться в дураках.

— Тогда можете оставаться здесь, — сердито ответил Дерман. — Я старик и то не хорохорюсь.

— Не хватало, чтобы я тут стоял среди ночи один, как истукан, — пробормотал Роскин и начал осторожно спускаться следом за всеми.

В зарослях было темно, как в сыром подzemелье. Еще не опавшие листья проводили по лицу холодными мокрыми пальцами. Слышнее стало море. Луговской остановился.

— Теперь слушайте! — сказал он. — Стойте тихо и слушайте.

Мы замолчали.

И вот среди шуршанья листьев, слабого треска ветвей и шороха дождевой воды, стекавшей по каменистой земле, мы услышали хриплый и унылый голос. Он был слаб и по временам издавал странный скрежет.

«В проектно задании, — скрипел голос, — институт предусмотрел малоэкономичный способ транспортировки вскрышных пород...»

— Кошмар! — прошипел Роскин.

Ржавый треск заглушал эти нудные слова. Потом в глубине зарослей кто-то развязно ударил по клавишам расстроенного рояля, и Лемешев запел, слегка повизгивая:

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку.

— Что это? — испуганно спросил Дерман.

Лемешев осекся и, помедлив, сказал голосом чрево-вещателя:

Хочет
он
марксистский базис
под жакетку
подвести...

— Вы очень ловкий чрево-вещатель, — спокойно сказал Луговскому Роскин, — но все же прекратите, прошу вас, это безобразие. И объясните, в чем дело. Потому что это уже похоже на глумление, на издевательство, на барское пренебрежение, на формалисти-

ческий выверт и на шулерское передегиванье цитат.

— Я не циркач и не чревоушитель! — ответил Луговской. — Просто у меня хороший слух, и мне повезло.

И он рассказал нам, что на днях проходил утром по Царской тропе и услышал из зарослей хриплый шепот. Человек шептал долго. Луговского поразило то обстоятельство, что шептал он даже с некоторым пафосом, по-актерски, как говорил Луговской, «с дрожью, со слезой и подвывом». Луговской начал продирается на этот шепот через заросли, пока не увидел прибитый к стволу высокого бука облесный и погнутый громкоговоритель. Он гнусавым голосом бормотал что-то о творчестве композитора Алябьева.

Вскоре Луговскому удалось выяснить, что к октябрьским праздникам в Ливадийском парке поставили несколько громкоговорителей. После праздников все громкоговорители сняли, а один, очевидно, забыли.

Он честно трудился и дни и ночи, промокал от дождей, высыхал и трескался на солнце, ржавчина разъедала его металлические части, ветер нашвырял в него горсти мелких летучих семян, запылил ему горло трухой. В конце концов он устал, охрип от необходимости перекрикивать шум моря и ветра, простудился, начал кашлять и даже по временам совершенно терял голос и издавал только писк и скрежет.

Он страдал от холода и одиночества, особенно в те дикие ночи, когда на небе не было даже самой застенчивой маленькой звезды, которая могла бы его пожалеть.

Но ни на минуту он не переставал делать свое дело. Он не мог замолкнуть. Он не имел права сделать это точно так же, как не может маячный смотритель не зажечь каждый вечер маячный огонь.

— Вот вам мой рассказ, — сказал Луговской. — Не на бумаге, а в натуре. Рассказ о громкоговорителе. И незаметном герое. Примете вы его или нет?

Мы все приняли этот рассказ Луговского, как сказал Дерман, «по первому классу», хотя Луговской и нарушил правила соревнования.

Луговской получил первую премию — бутылку «пино-гри» из массандровских так называемых «коллекционных» вин.

В Ялте мы встречали с Луговским 1936 год.

Первого января с утра далекие горы позади города как бы погрузились в летаргию и окутались темным дымом. Было тепло и сонно. Глубокая тишина стояла в доме, и только на столе в гостиной тихонько потрескивал своими глянцевыми листочками маленький куст остролистника, только что сорванный в парке. Среди черной его листвы висели круглые твердые ягоды цвета яркой крови.

В доме устроили маленькую елку, и все мы два-три дня с увлечением занимались тем, что ее украшали.

Взрослые люди превратились в детей. Кое-кто поехал в Никитский сад за огромными шишками канадской сосны, кому-то поручили достать «золотой дождь». Писатель Никандров выпросил у рыбаков барабульку, закопченную по-черноморски (по его словам, это была

«пища богов»). Этих серебристо-коричневых рыбок Никандров связал за хвосты широкими веерами и в таком виде развесил на елке.

Луговской заведовал елочными свечами. Он ездил за ними в Севастополь, долго не возвращался, и мы уже впали в уныние, думая, что Луговской нас подведет. Но за два часа до того, как надо было зажигать елку, по всему дому пронесся крик: «Володя приехал!» Все ринулись в его комнату, и он, румяный от дорожного ветра, бережно вытащил из кармана маленькую картонную коробку с разноцветными витыми свечами.

— Можно, — сказал он, — написать чудный рассказ о том, как я нашел эти свечи на Корабельной стороне. Клянусь тенью Христиана Андерсена.

И это, должно быть, было действительно так.

Сильнее всех из-за елки волновался Георгий Иванович Чулков — один из столпов символизма, изящнейший старик, похожий на композитора Листа.

Он даже принес для елки из города игрушечную балерину в бумажной пачке.

Я раскрашивал гуашью флаги всех государств, в том числе и несуществующих, и делал из них гирлянды для елки. Если бы не Луговской, то ничего путного у меня бы не вышло. Он великолепно знал рисунки и цвета флагов всех государств, даже таких, как «карманная» республика Коста-Рика.

Я раскрашивал флаги и размышлял о непонятной закономерности: чем меньше было государство, тем вычурнее и ярче был у него флаг.

Деда-мороза мы сделали из ваты, а в последнюю минуту жена одного драматурга привезла из Москвы плюшевого медвежонка. Почему-то больше всех обрадовался этому медвежонку Луговской. Он почистил его — медвежонок был еще чуть пыльный — и посадил на паркет около елки.

Новогодняя ночь прошла очень шумно. А наутро тусклый, как будто дремлющий солнечный свет стоял во всех комнатах, подчеркивая тишину. Луговской встал раньше всех и, свежий, чисто выбритый, озабоченно растапливал камин.

— После завтрака мы поедем с тобой, — сказал он мне, — в горы, за Долоссы, в заповедник. Я сговорился с одним отчаянным парнем — шофером. День короткий. Дорога туда головоломная, и нам придется заночевать в машине.

Так оно и случилось. Мы ночевали в машине в лесу над пропастью. В нескольких шагах от нас смутным белеющим морем качалось облачное небо. Оно поднялось из пропасти и почему-то остановилось рядом с нами. Иногда облачный туман подходил к самой машине, ударялся о нее и взмывал к вершинам деревьев, как бесшумный прибор.

А до этого мы видели так много замечательных вещей, что я запомнил эту поездку надолго, а судя по тому, что я хорошо ее помню и сейчас, должно быть, на всю жизнь...

Мы видели бездонные пропасти. Каждый раз они вызывали у нас сердцебиение. Из страшной их глубины

карабкались ввысь буковые и сосновые леса, и если вековые деревья не срывались поминутно с отвесных круч, то, должно быть, потому, что густой и мудрый плющ, вцепившись одной рукой в скалы, другой держал их за ветки и стволы.

Временами узкая дорога шла среди колоннад старых буков. Но несмотря на триумфальную величавость этих деревьев и всех этих лесов, те частности, которые улавливал взгляд, были так живописны и так трогательны, что поминутно хотелось остановить машину, чтобы рассматреть их и заодно вдохнуть острый и вместе с тем нежный воздух зарослей и камней.

К полночи облака сползли на дно ущелий, и показалась низкая кровавая луна. С каждой минутой она бледнела перед зрелищем великолепной и дикой ночной земли.

В свете луны изредка проступал Чатыр-даг. По временам его затягивало какой-то магической мглой. Он слабо курился. Присутствие Чатыр-дага придавало ночи суровый оттенок.

Нам попался молчаливый и застенчивый шофер. Почти все, что он говорил, стоило запомнить.

— Я за машину доволен, — сказал он. — Она тоже вроде не спит, слушает, озирается. Не каждый день ей пофартит пережить такую ночь. Будет что вспомнить.

Мы вышли из машины, сели на камни, долго слушали звуки ночи. Неожиданно Луговской спросил:

— Помнишь медвежонка плюшевого?

— Помню. А что?

— Да так... Пустяки...

Он надолго замолчал. А через несколько дней он прочел мне замечательное свое стихотворение:

Девочке медведя подарили.
Он уселся. плюшевый, большой,
Чуть покрытый магазинной пылью,
Важный зверь
С полночной душой.

Я слушал лаконические строфы из этих стихов, и в них дышала туманом, ветрами, сырой корой, кремнистым запахом осыпей и чуть железистых кустарников вся та ночь, о которой я только что писал.

В этих стихах плюшевый медвежонок все же уходит в новогоднюю ночь от людей, от их тепла, от своей хозяйки — маленькой девочки. Уходит, «очень тихий, очень благодарный, лапами тупыми топоча».

Сосны зверю поклонились сами,
Все ущелье начало гудеть:
Повода стеклянными глазами,
В горы шел коричневый медведь.
И тогда ему промолвил слово
Облетевший многодумный бук:
— Доброй полночи, медведь! Здорово!
Ты куда идешь-шагаешь, друг? —
И медвежонок отвечает:
Я шагаю ночью на веселье,
Что идет у медведей в горах,
Новый год справляет новоселье
Чатыр-даг в снегу и облаках.

Я не буду приводить здесь целиком эти печальные стихи. Но еще тогда, при первом чтении, мне бросилось в глаза сходство этих стихов с рассказом Луговского о сухом листике клена. И тут и там Луговской, как некий мудрый и добрый Гулливер, согревал своей душевной теплотой, как своим дыханием, все живое.

Он был добр. Он был расположен к простым людям и простодушным зверям.

Из этой доброты и желания счастливых дней, счастливых месяцев и целых счастливых столетий, из желания, чтобы истинное счастье навсегда поселилось на нашей земле, и родилась его поэзия.

Ранней весной 1936 года мы ехали с Луговским из Ялты в Севастополь. Сумерки застали нас около Байдарских ворот.

Впервые я видел Крым не пожелтевшим от зноя, а влажным, прохладным, в сумасшедшей буйной зелени. Цвели мириады венчиков. Каждый из них был полон слабого терпкого запаха, а все вместе они пахли так сильно, что до Севастополя мы доехали совершенно угоревшие, как сквозь сон.

Когда мы спускались с гор по северному склону, Луговской показал мне на небо, и я увидел в самом зените на немыслимой высоте, должно быть, далеко за пределами земной атмосферы, какую-то серебристую рябь и тончайшие белые перья. Они играли пульсирующим нежнейшим светом.

— Это загадочные светящиеся облака, — сказал Луговской. — Они сложены из кристаллов азота и похожи на оперенье исполинской птицы. Говорят, что они приносят счастье.

И действительно, эти облака принесли нам счастье. Оно было в ночных огнях Севастополя, в его тонком воздухе, в слабом гуле морских пространств, обнимавших этот город со всех сторон, в толпах молодых моряков, в уютных кофейнях, где цвели на окнах красные цикламены, в полынном воздухе Северной стороны, куда мы ездили поздним вечером на переполненном матросами старом катере.

Матросы вполголоса пели «Варяга». Луговской слушал, потом встал, взялся за поручни, и в голоса матросов неожиданно вошел его бас.

Через минуту Луговской уже покорила себе и вел за собой весь хор:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пошады никто не желает.

Пели много. На Северной стороне мы вышли. Луговской сел на старый адмиралтейский якорь, валявшийся на берегу около одинокого пристанского фонаря. В соседнем маленьком доме с настезь распахнутыми окнами за целым навалом сирени смеялась девочка.

Луговской тихо запел. Он пел для себя. Это была немудрая песенка-жалоба девушки на своего любимого Джонни.

Одним пороком он страдал —
Он сердца женского не знал,
Любимой чар не понимал,
Не понимал, мой Джонни...

Матросы, высадившиеся вместе с нами с катера, отошли уже довольно далеко. Они услышали голос Луговского и остановились. Потом медленно и осторожно вернулись, сели подальше от нас, чтобы не помешать, прямо на землю, обхватив руками колени. Смех девочки в маленьком доме затих.

Все слушали. Печальный голос Луговского, казалось, один остался в неоглядной приморской темноте и томился, не в силах рассказать о горечи любви, обреченной на вечную муку...

Когда Луговской замолк, матросы встали, поблагодарили его, и один из них довольно громко сказал своим товарищам:

— Какой человек удивительный. Кто же это может быть?

— Похоже, певец, — отвечал из темноты неуверенный голос.

— Никакой ни певец, а поэт, — возразил ему спокойный хрипловатый голос.

— Я на них, на поэтов, всю жизнь удивляюсь. Так иной раз берут за сердце, что всю ночь не уснешь.

— Спасибо, товарищ, — сказал вслед этому голосу Луговской. — Во всяком случае я всю жизнь стремился быть поэтом.

— Это вам спасибо, — отвечал хрипловатый голос. — Я ведь не ошибся. Я чувствую.

Мы возвратились в город на пустом катере. Шипела

под винтом вода. На рейде заунывно гудел бакен, — с моря подходила волна. Потом мы долго бродили по Севастополю, зашли на вокзал и пили вино в полутемном вокзальном ресторане. На перроне шумел молодой лиственный старый-престарый, давно нам всем знакомый и любимый тополь. Луговской рассказывал о белых радугах над снежными лавинами. Он видел их, когда жил совершенно один в маленькой гостинице у подножья Монблана.

Весь мир со всеми его чудесами, с его величием, красотой, событиями, его борьбой, скорбью, с его замечательными стихами и цветением всегда небывалых весен, с его любовью и благоуханием девичества — весь мир носил в себе этот неисчерпаемый, милый, душевный человек — простой, свободный, украшавший собою жизнь людей и ненавидевший ложную мудрость и злобу.

Недаром свою речь на Первом съезде писателей он закончил пушкинским призывом:

Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Таруса

Арк. Штейнберг

БОЛХОВСКОЕ

Заметки
в стихах

I

Между Серпуховом и Калугой,
От прохладной Оки на закат,
Не прославленный важной заслугой
И ничем никогда не богат,
У пристрастной судьбы не в примете,
Средь лесов и полей затаен,
Искони существует на свете
Хлебопашеский скромный район.
Посмотреть на деревья, на травы —
Все такие, как прежде, они:
Клены гладки, березы корявы,
Гонят ветку дубовые пни.
Как всегда, на сентябрьских осинах
Жжет листву лихорадочный жар,
И по-старому в гнездах грачиных
Гомонит предотлетный базар.

Неоглядны зубчатые дали
И свежи, как в былые века...
Словно их лишь сегодня создали,
Повелев подпирать облака.
Так же вьются речные изгибы,
Просверкнув серебром в лозняке,
Те же самые шустрейшие рыбы
Вечерами играют в реке.
Тот же брод на дороге проезжей,
Те же яры, канавы и рвы.
И селенья едва ли не те же
И едва ли не старше Москвы.
И такое же небо сквозное,
Отрешенно замкнувшись на вид,
В зимней хмури, в полуденном зное,
Землю светом и влагой живит.



С. В. ИВАНОВ (1864—1910). Сидящий крестьянин в армяке. Бумага. Односеансная. Граф. карт. Разм. 30,7х22,3. 1889 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

II

Сколько речек, — да кто сосчитал их,
Притекающих издалека,
И великих, и средних, и малых,
Принимает хозяйка Ока!
Между ними журчит небольшая,
Но пригожая речка Плотва,
Где помедленней, где поспешая,
По дороге вертя жернова.
И стоит в величавом покое,
Что, казалось, никем нерушим,
Над Плотвою село Болховское
В тридесятка дворов с небольшим.
Где за мельничным омутом ерик
Разблестелся во всю широту,
Оседлавши обрывистый берег.

Протянулось оно на версту.
Беспорядочной горстью избенок
Улеглось вдоль прибрежной горы,
Будто козны просыпал ребенок,
Испугавшись во время игры.
Не из этого ль ветхого сруба,
Вдоль опушки тропу проторя,
Первый пахарь с лукошком из луба
Вышел утром, ни свет ни заря?
Ставши хлебом насущным впервые,
Здесь легли семена в перегной.
И теперь их потомки живые
Неотступно шумят предо мной.
И пускай не пойму я ни слова
В том, что шепчет колхозная рожь,
Но от этого шума глухого
Никуда не уйдешь.

III

Друг-читатель! Давай-ка заедем
На любой обусловленный срок
В Болховское, к давнишним соседям,
Для затравки, хотя б на денек!
Путь от станции вовсе недолог,
Да не счесть поворотов кривых.
И ухабистый грязный поселок
Невытерпел для машин легковых.
Вон село промелькнуло и скрылось,
Вон опять показалось вразлет...
Отчего же так сердце забилось,
Будто мать у реки тебя ждет?
Различаешь уже в отдаленье
Тот же сруб, что стоит на краю,
Сельсовет под железом, правленье
И начальную школу твою.
Культиваторы, бочки с горячим,
Ржавый лом в лопухах под горой,
Пряди дыма, бегущие к тучам,
И домишек рассыпанный строй.
Только церковь с тенистым погостом,
Хоть она и плоха, как на грех,
Выдается осанкой и ростом
Средь кургузых соломенных стрех.
Словно бурый червивый обабок,
Целью пахнет покинутый храм,
Крест качнулся, и сдвинулся набок,
И уже не блестит по утрам.
К нашей сельской святыне умершей
Ежевика тропы заплела,
И, сквозя, как дырявые верши,
Цедят звездную пыль купола.

IV

Хорошо на пустой колокольне!
Всю округу ты ведаешь сам,
Легким дышитесь как-то привольней,
Зорче видится жадным глазам.

В небе еле зря проступила,
Словно ветер раздул уголек.
На шербатый кирпич, на стропила
Бледный луч паутиною лег.
Спит без памяти берег пустынный,
Камыши да кусты — ни гугу!
Домотканых туманов холстины
Недвижимы на влажном лугу.
Приутихла лесистая грива,
В сонной чаще не слышно зверья,
И беззвучно бежит у обрыва,
Словно масло, густая струя.
Дремлет певчий народ голосистый,
Двор мерцает седою травой,
И закрыто село на росистый
В крупных перлах рычаг пудовой.
И душа оживает, вбирая
Все до крошки: пастушью дуду,
Первый стук топора у сарая,
Первый щебет зорянки в саду,
Тучи, льнущие к сонным просторам,
Чтобы выплакать горе свое,
Грубо сбитый помост, на котором
Болховчанки полошут белье,
И к помосту ведущие сходни,
И вдали, под последней звездой,
Желтошерый тростник прошлогодний,
Страженный молочной водой.

V

В Болховском нелегко хлеборобу,
Хоть какое тягло ни тяни.
Где лопатой ни тронешь на пробу,
Все подзол да суглинки одни.
То ли дело Чернигов, Воронеж —
До чего хороша сторона!
На зерно, что ты в почву обронишь,
Двадцатью отвечает она.
Там плодущий наслой черноземный,
Что ни год — урожай благодать!
Ну, а здесь, прошагай до Коломны,
Чернозема почти не видать.
Раскошелилась вовсе не щедро
Скуповатая наша земля.
И глубокие, тайные недра
Не хранят ни руды, ни угля.
Нет ни соли, ни нефти, ни сланца.
Что искать? Никому невдомек...
Хищный нюх торговца иностранца
Тут ничем поживиться не мог.
Лишь приокский осадочный камень
Выпирает наружным пластом
Вдоль обрыва по красную рамень
И в холмах исчезает потом.
Сбереженный под вздыбленной кручей,
Служит здешний единственный клад
От Василия Темного лучшей

Облицовкой московских палат.
Для фасадов красивых и плотных
Он давненько столицей ценим,
И строители зданий высотных
Нынче тоже не брезгают им.

VI

Чередой без особенной прыти
Год за годом тянулись гуськом...
Исторических, главных событий
Не свершалось в самом Болховском.
Так обыденны пожни да нивы,
Так незнатны побережья реки,
Что молчит летописец правдивый,
И в архивах про них — ни строки.
Дни текли бесконечною пряжей,
Меж собою не рознясь никак.
Ни тиун не заглядывал княжий,
Ни хозарин, ни ханский баскак.
Тохтамыш не польстился на это
Незавидное, впрочем, село.
Чалмоносное войско Девлета
Рядом шло, а сюда не зашло.
В лихолетье господнего гнева
Самозванец Плотвы не достиг.
Рати двигались справа и слева,
Ни одна не взяла напрямик.
Устоял против силы бесовской
Наш район, как за крепкой стеной.
Лжедмитрий Второй да Лисовский
Обогнули его стороной.
Ни донской шестопер атаманский,
Ни другая какая беда,
Ни французский орел, ни германский
Не сумели добраться сюда.
Хоть сыскали немецкие танки
На трехверстке отмеченный брод,
Но, дойдя до Плотвы, на полянке
Порох жгли — и ни метра вперед!

VII

В годы ломки, когда земледелью
Изменить надлежало уклад
И крестьянство, сплотившись артелью,
На иной перестроилось лад,
Не отстал и наш угол медвежий,
Всей семьей трудовой присудив,
Уничтожил отцовские межи,
Свел наделы в единый массив.
Но за годы минувшие эти
Слабо двинулось дело вперед.
Про другие колхозы в газете
Прочитаешь — и зависть берет!
Наш свиарник сарая не краше:
Дует всюду из всех уголков.
Коровенки мохнатые наши
Чуть поболее хороших телков.
Лишних денег у нас не бывает.

Где мильон, если касса тоща?
Председатель порой выпивает,
Да и трезвый решает с плеча.
Трудодем не похвастаеть здешним,
Птицеферма еще далека,
И придется несметным скворешням
Это званье присвоить пока.
Так живет он, довольствуясь малым,
Тихий край, со стрибожьих времен,
И не зря причисляют к отсталым
И село, и колхоз, и район.

VIII

Если в схватке с корыстью и злобой
Доставалось Руси тяжело,
Болховчане без просьбы особой
Покидали родное село.
Б трудовой ли поход или ратный,
Зачастую — бог знает куда,
В долгий путь, иногда безвозвратный,
Улетали они из гнезда.
И, как свойственно русскому люду,
Отдавая себя на распыл,
В каждом деле ответственном, всюду,
Хоть один болховчанин, а был!
Он при Калке с полком побежденным
Пал костями за родимый простор.
Он в бою меж Непрядвой и Доном
Материнские слезы утер.
С новгородским прославленным князем
Грубую встретил тевтонский навал,
Сто раз падал, подкошенный, наземь,
Двести раз, воскресая, вставал.
Он ходил с Ермаком на Кучума,
Гнал с Пожарским врагов из Москвы.
Воевал по-мужицки, без шума,
И нигде не шадил головы.
Измаил, Бородинские флешы,
Севастополь и Шипкинский лед —
Всюду дрался он, конный и пеший,
У Мукдена, средь Пинских болот.
И все тот же солдат-болховчанин,
Что во веки не будет забыт,
Под Москвою контужен и ранен,
Под Берлином убит.

IX

Это он удалым своевольем
Государевы брал города,
Шел на пушки с дубьем и дрекольем,
Жег на Каме и Волге суда.
Он врбался в боярские рати
На защиту поруганных прав,
Не страшась патриарших проклятий
И указы пятою поправ.
В каждый бунт, соляной или медный,

Ни на шаг не отстав от людей,
Он оттиснул свой лапоть наследный
На пыли городских площадей.
Он в Онеге с Ивашкой-холопом
Был утоплен стрельцами царя;
В Пустозерске вешал с протопопом,
На костре просмоленном горя;
В Камышевке его повстречали,
Там, где Разин усы собирал;
По Самаре он бил из пищали,
С Пугачем будоражил Урал;
Он стоял в Петербурге бессонном
У сената с гвардейским полком;
Он на Пресне с пустым смит-вессоном
На булыжник свалился ничком;
Колесован, кнутами засечен,
Виской пытан, железом клеймен,
Бунтовал он, бессмертен и вечен,
До недавних октябрьских времен.
И в тельняшке своей полосатой,
Это он, весельчак и храбрец,
Сын народа, слуга и вожатый,
Брал в семнадцатом Зимний Дворец.

X

Близ Плотвы ископаемых нету,
Только белый плитняк у Оки;
И пришлось болховчанам по свету
Бить шурфы, заводить рудники.
На иных побережьях, бывало,
Осенял их бревенчатый крест,
Если смерть невзначай заставала
Вдалеке от насиженных мест.
Их видали в лесах за Алтаем,
У подошвы Магнитной горы,
На Амурской границе с Китаем,
В льдах Аляски, в песках Бухары.
Там, где слышалось русское слово,
Где постукивал русский топор,
Уроженец села Болховского
Был с давнишних до нынешних пор.
Он в тайге расчищал лесосеки,
В три обхвата валя дерева,
Нарекал безымянные реки
И в полярных морях — острова.
Никакой не боялся работы,
Ни на шаг от людей не отстал,
Ладил первые верфи и флоты,
Рыл каналы и плавил металл.
Дружный, ловкий, повсюду желанный —
Лишь уменье на дело направь —
Это он пятилетние планы
В плоть облек, перевыполнил въявь!
Но, везде созидаю и строя,
Дав могущество нашей земле,
Он высокое имя героя
Не обрел в своем тихом селе...

XI

Здесь конюх, политик известный,
В рыбной ловле прямой чудодей,
Говорил мне о скудости местной,
Преодо всем — о нехватке людей.
С тайной грустью, с насмешкой беззлойной
Болховчанам он ставил на вид:
«Кто из них, мол, живой да способный,
Тот и в город удрать норовит.
Мне по сердцу задор молодежный,
Ей доступен любой институт,
Ну, а мы нашей смены надежной
Без конца ждем тут!
Ждем и думаем: где процветает,
Где героически нынче она?
Так ее в Болховском не хватает,
Так она Болховскому нужна!
Уцепилась она, эта смена,
За диплом с золотою каймой,
И по совести, ей непременно
Воротиться с дипломом домой!
Урезонить бы вас, сладкошечек,
Объяснить бы вам главный вопрос:
Разгрызайте-ка твердый орешек,
Поработайте с нами всерьез!
Жизнь у нас полегчала немного,
Приезжайте с детьми и женой!
А дорога? Известно, дорога —
Немощенный проселок дрянной...
Приведем его вместе в порядок,
Лишь бы вы перебрались в село!
Мы на станцию вышлем лошадок
И сенца, чтоб гостей не трясло.

XII

Вот, к примеру, в Заречном районе
Есть колхоз — может, знаете вы? —
К ним приехал совсем посторонний
Коммунист-плановик из Москвы.
До него в тех местах побывало
Председателей невпроворот!
Набубнили речей до отвала,
А прибытку не видел народ.
От того-то и стал молчаливым
Деревенский язвительный люд:
Захлестнуло бумажным разливом,
Болтовней погребло его труд.
Хоть скрипят канцелярские перья
И по сводкам — трезвон вперебой...
Нет болезни страшнее неверья
Для артельной работы любой!
Ну, а этот сумел растревожить
Тем, что корни пустил навсегда,
Не морочить, не правду корезить,
Строить жизнь он явился сюда.
Грамотей, да простой и негордый,



А. Е. АРХИПОВ (1862—1930). Парень в шапке. Бумага. Односекционная. Графич. карт. Разм. 26,5х22,5. 18 ноября 1889 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

Не земляк, да воистину свой.
Он одной справедливостью твердой
Сбрызнул всех, как водою живой!

XIII

Друг-читатель, уж ты не посетуй.
Доскажу я всю правду сполна.
Но в отсталости сельщины этой
Есть и наша с тобою вина.
Нет, не только капустой и хлебом
Скромный край свою долю вносил!
Никаким не воздать ширпотребом
За расход его творческих сил...
Нам придется совсем по-другому
Отыскать к равновесью пути.

Мы так много должны Болховскому.
Не пора ли итог подвести?
Мы с тобой заберемс' меж грузов,
Хоть пылища в глаза и летит,
И трехтонки расхлябанный кузов
Нас до самой Плотвы приютит.
Болховскому не надобно нянек;
В пустобрехах какой интерес?
Агроном, зоотехник, механик —
Вот кто нужен ему позарез!
Нынче просит у нас Болховское

Не один лишь товар городской,
Но горящее сердце людское,
Возмещенье подмогой людской.
Да, нужна для села Болховского
Настоящая помощь теперь,
Что стучится без лишнего зова
В каждый дом и во всякую дверь,
Что идет, ничего не скрывая,
И присутствует в каждой избе,
Та партийная помощь живая,
Часто нужная мне и тебе.

Булат Окуджава

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР

Это не приключения. Это о том, как я воевал. Как меня убить хотели, но мне повезло. Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить. А может быть, и некого. Так что вы не беспокойтесь. Я жив и здоров. Кому-нибудь от этого известия станет радостно, а кому-нибудь, конечно, горько. Но я жив. Ничего не поделаешь. Всем ведь не угодишь.

СЕНО-СОЛОМА

В детстве я плакал много. В отрочестве — меньше. В юности — дважды. Первый раз это было перед самой войной, вечером. Я сказал девочке, которую любил, сказал с деланным равнодушием:

— Ну что ж, раз так, значит, конец...

— Ну что ж, значит, конец. — неожиданно спокойно согласилась она. И быстро пошла прочь. И тогда я заплакал: ведь она уходила. И утирал слезы ладонью.

Второй раз я плачу сейчас, здесь, в Моздокской степи. Я несу командиру полка очень ответственный пакет. Черт его знает, где он, этот командир полка! Песчаные холмы похожи один на другой. Ночь. А я второй день на передовой. А за невыполнение задания — расстрел. А мне восемнадцать лет.

Кто это сказал о расстреле? Это Коля Гринченко сказал, когда я отправлялся. У него была красивая улыбка, когда он говорил об этом.

— Держись, а не то кокнут, и все...

Приставят меня к стене. Впрочем, какие здесь стены. Выведут меня в поле...

И я утираю слезы. «Ваш сын оказался трусом и...» Так будет начинаться извещение... Ну, почему это именно меня послали с пакетом? Вот Коля Гринченко — такой сильный, ловкий парень. Он бы уже давно добрался. Сидел бы сейчас в теплой землянке штаба полка. Пил бы чай из кружки. Подмигивал бы связисткам и улыбался красивым ртом.

А вдруг сейчас ухнет мина. Отыщут меня утром. Командир полка скажет командиру батареи:

— Что же это вы, лейтенант Бураков, неопытного солдата послали? Не дали осмотреться человеку, привыкнуть. Вот из-за вашего равнодушия погиб хороший человек.

«Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении ответственного оперативного задания...» Так будет начинаться извещение...

— Эй, куда идешь?

Это мне кричат. Я вижу, там окопчик, и из него мне рукой машут. Мало ли куда я иду.

— Стой! — кричат за спиной.

Останавливаюсь.

— Давай сюда...

Подхожу. Кто-то с силой втягивает меня в окопчик за рукав.

— Куда шел? — зло спрашивают.

Я объясняю.

— А ты знаешь, что там немцы? Еще бы сто метров...

Мне объясняют. Это наш передовой дозор, оказывается.

Потом меня долго ведут в землянку. Командир полка читает донесение и поглядывает на меня. И я чувствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои

не очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно быть, очень смешно. Но никто не смеется. И красивая связистка смотрит мимо меня. Конечно, если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели... Хотя бы дали чаю. Я бы посидел за этим столом из ящика. Я бы сказал этой красавице о чем-нибудь таком... Конечно, у меня такой вид...

— Идите на батарею, — зло говорит командир полка, — и скажите вашему командиру, чтобы он таких донесений больше не посылал.

Он делает ударение на слове «таких».

— Хорошо, — говорю я. И слышу тихий смех красивой связистки. Она смотрит на меня и смеется.

— Вы давно в армии? — спрашивает полковник.

— Месяц.

— В армии нужно отвечать не «хорошо», а «есть»... и потом это... носки вместе, пятки врозь...

— Сено-солома, — говорит кто-то из темного угла.

— Я знаю, — говорю я. И выхожу. Почти бегу.

Опять степь. Идет снег. И тишина. Как-то даже не верится, что это фронт, передовая, что рядом опасность. Теперь-то уж я не собьюсь с пути.

Представляю, как смешно я выглядел: расставленные ноги, и руки в карманах шинели, и пилотка, натянутая на уши. А эта красавица... И даже чаю не предложили... Коля Гринченко, когда говорит с офицерами, всегда чуть улыбается. Еле-еле. Никогда не спорит, а слегка улыбается. И очень изящно козыряет и говорит при этом: «Так точно». А мне слышится: «Приказывай, приказывай. Я-то тебя насквозь вижу». Он-то видит. А ботинки у меня здоровенные. Это даже хорошо. Увесистая мужская нога. И снег хрустит. Мне бы только шапку-ушанку, я не выглядел бы таким жалким. Вот сейчас приду, доложу. Напьюсь горячего чаю. Посплю. Теперь я имею право.

За спиной у меня автомат, на боку — две гранаты, с другого бока — противогаз. Очень воинственный вид. Очень. Кто-то сказал, что воинственность — признак трусости. А я трус? Когда в восьмом классе мы поссорились с Володькой Аниловым, я первый крикнул ему:

— Давай стыкнемся! — и мне стало страшно. Но мы пошли за школу. И товарищи окружили нас. Он первый ударил меня по руке.

— Ах так!? — крикнул я и толкнул его в плечо.

Потом мы долго ругали друг друга, не решаясь напасть.

И вдруг мне стало смешно, и я сказал ему:

— Послушай, ну я дам тебе в рыло..

— Дай, дай! — крикнул он и выставил кулаки.

— Или ты мне дашь. Кровь пойдет. Ну какая разница?

Он вдруг успокоился. Мы пожали друг другу руки по всем правилам. Но потом дружбы уже не было.

Трус я?

Вчера на рассвете мы остановились среди этих вот холмов.

— Все, — сказал лейтенант Бураков, — прибыли.

— Что это? — спросили его.

— Это передовая.

Он впервые был на фронте, как и мы все, и поэтому говорил торжественно и с гордостью.

— А где немцы? — спросил кто-то.

— Немцы там.

«Там» виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и чахлым.

И я подумал, что мне совсем не страшно. И удивился, как это лейтенант так просто определил позицию врага.

НИНА

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев.

Я бреюсь перед осколочком зеркала. Брить нечего. В землянке холоднее, чем на дворе. Руки красные. Нос красный. Кровь красная. Пока брился, весь изрезался. Разве я красивый? Уши врозь. Нос картошкой.

Для чего я бреюсь? Вот уже три дня на передовой, и ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого. Для чего же я бреюсь? Вчера под вечер у входа в нашу землянку остановилась та самая красивая связистка.

— Привет, — сказала она.

А я посмотрел на нее и понял, что я не брит. Я увидел себя в ее глазах. Я словно отразился в них. Большие такие глаза. Цвета я не запомнил. Я кивнул ей.

— Как жизнь? — спросила она.

— Идет, — сказал я мрачно.

— А что это ты такой хмурый? Не кормили, что ли? Я достал папиросы.

— Ого, — сказала она, — папиросы.

— Тебе что, делать нечего? — спросил я.

— Давай покурим, — сказала она. И сама взяла из пачки папироску.

Мы курили и молчали. Потом она сказала:

— А ты совсем еще малявка, да?

— Что это значит?

— Это рыбка, которая только из икры.

Я полез в землянку, а она смеялась вслед.

— Приходила Нинка? — спросил потом Коля Гринченко.

— Да. А ты ее знаешь?

— Я всех знаю, — сказал он.

Вот я побрился. У меня еще есть папиросы. Я чувствую, что она придет. И я расстегнул воротник гимнастерки. Пусть у меня будет лихой вид. И я расстегнул шинель и засунул руки в карманы. И встал за ящик с минами так, чтобы не видно было обмоток.

Кто я? Я боец, минометчик. У нас полковые минометы. Я рискнул жизнью. Может быть, чудо, что меня еще не ранили. Приходи, связистка, штабная крыса. Приходи, я угощу тебя папиросами. Приходи, может быть, завтра лежать мне, раскинув руки...

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев. А я сплевываю и отворачиваюсь. Может, он смеется. Но губы мои, губы мои расползаются.

Сашка соскабливает глину с ботинок палочкой, потом покрывает ботинки толстым слоем тавота.

Придет Нина или не придет? Я скажу ей: «Привет, малявка...» Мы покурим с ней. Потом будет вечер. Если это война, то почему не стреляют? Ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого.

— А почему никого из начальства нет? — спрашиваю я.

— Совещаются, — говорит Сашка.

Хорошо, что я все-таки высокий и не такой толстый, как Золотарев. Если бы мне шинель по росту!

Приходит Коля Гринченко. Очаровательно улыбается и говорит:

— Старшина — гад. Себе жарит яичницу, а мне концентрат дает. — И смотрит на нас с Сашкой.

— Не шуми, — говорит Сашка.

— Это ему не тыл, — не унимается Коля, — здесь ведь разговор короткий. В затылок — и привет. И не узнают.

— Пойди скажи ему об этом, — говорит Сашка.

А старшина стоит за Колиной спиной, и на подбородке у него сияет жирное пятнышко.

— Понятно, — говорит он.

Все молчат. Он поворачивается и уходит в свою землянку. Все молчат. У Сашки блестят ботинки, как подбородок старшины. У меня вспотели ладони. Коля Гринченко красиво улыбается. А из землянки старшины и в самом деле тянет глазуньей.

— Глазунья хороша с луком, — говорит Сашка.

Приходит Шонгин. Это старый солдат. Он знаменитый солдат. Он служил во всех армиях во время всех войн. Он в каждую войну доходил до передовой, а потом у него начинался понос. Он ни разу не выстрелил, ни разу не ходил в атаку, ни разу не был ранен. У него жена, которая провожала его на все войны.

Приходит Шонгин и ест редис. И молчит.

— Откуда редиска?!

Шонгин пожимает плечами.

— Дай редисочки, Шонгин, — просит Сашка.

— Последняя, — говорит Шонгин.

Хорошо, когда нет начальства. Никто не командует, никуда не гонят. Как я шел с пакетом! Ведь это же черт знает что... Как будто Колю Гринченко не могли послать. В семнадцать лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я стою, сутулый и смешной, и я ничего не создал, а только хвастаюсь своим благородством, которого, может быть, и нету...

А Шонгин достает редисочки одну за другой. Красные шарики летят в рот, хрустят.

— Шонгин, дай редисочки, — прошу я.

— Последняя, — говорит Шонгин

Я загадываю: если Шонгин достанет еще редиску, Нина придет. Шонгин лезет в карман. Достает кисет. Не придет. И вдруг Коля говорит:

— Вот и Ниночка...

Я оборачиваюсь. С невысокого холмика спускается она. Рядом с ней незнакомая связистка. Нина идет легко. Шинель застегнута на все крючки. Шапка-ушанка...

ах, какая у нее ушанка!.. она немного набекрень. Привет, малявка! Все смотрят в ее сторону, все. Она идет.

— Ааа!

Это Шонгин кричит.

— Ааа! — и падает. И Сашка падает. И Коля Гринченко.

— Ложись!

Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно!.. Где-то далеко-далеко разрыв. Короткий. И шуршание. И тишина.

Кто-то смеется. У входа в землянку стоит старшина.

— Хватит валяться, ежики.

Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму, туда, где легко шла Нина. Я вижу издалека, как она медленно поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит неподвижно. Лицом вверх.

Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая. Наша.

ВОЙНА

Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей — шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться себе беспрекословно? Крик командира — беги, исполняй, оглушительно рывкой «Есть!», падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины — зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с пердовым супом — выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья — рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три раза...

Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать...

Потерял я ложку как дурак. Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая. Почерневшая. С зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша... Я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня — дощечка.

А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших.

А Коля Гринченко кривит зубы в усмешке.

— Не жалеи, Сашка. На наш век баб хватит.

Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня.

Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу. Я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие-то там переговоры. Вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях, в ложбинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А устава мы не учим.

Ко мне подходит наводчик Гаврилов. Подсаживается. Смотрит на мою самокрутку.

— Ты что это раскурвился?

— А что?

— Искры по ветру летят. Темно уже. Заметят, — говорит он и оглядывается.

Я гашу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком сыплются искры. И тут же на немецкой стороне отзывается шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку.

— Говорил.. твою мать! — кричит он.

Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, ближе... А мимо меня бегут к минометам мои товарищи. А я сижу на снегу... Я виноват... Как я буду сморгать в глаза ребятам! Вот бежит лейтенант Бураков. Он что-то кричит. А мины падают, мины падают.

И тогда я встаю и тоже бегу и кричу:

— Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант!

Охает первый миномет. Сразу становится уютнее. Словно у нас объявились сильные спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист, худенький юный Гургенидзе восторженно вскрикивает:

— Попадалься!.. Эвоз!.. Попадалься!

Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящики с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный. И ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение! Побойще! Дым коромыслом... Впрочем, я все выдумываю... По нам ни разу не выстрелили. Это мы сами шумим. Но я виноват. И все знают об этом. И все ждут, когда я сам приду и скажу, как я виноват.

А уже становится темнее. Болит моя спина. Я еле успеваю хватать снег и глотать его.

— Отбой! — кричит Гургенидзе.

Я все расскажу командиру батареи. Пусть не думает, что я гаюсь.

— Товарищ лейтенант...

Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по карте. Он смотрит на меня, и я понимаю: ждет, когда я признаюсь.

— Я виноват. Я совсем не подумал об этом... Делайте со мной, что хотите...

— А что я должен с тобой делать? — задумчиво спрашивает он. — Ты что, натворил что-нибудь?

Смеется? Или забыл? Я рассказываю ему все. Нечистоту. Он смотрит с удивлением. Потом машет рукой.

— Послушай, иди отдыхай. Причем тут твоя самокрутка. Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди.

Я иду.

— Смотри, не засни. Замерзнешь, — говорит вслед лейтенант.

Через час мы снова на ногах. Мы снова палим в немцев. Наступление. Я не вижу его. Какое наступление, если мы сидим на месте? Неужели так будет всегда? Грохот. запах пороха, крик Гургенидзе «Попадалься! Не попадалься!..» и эта проклятая ложбинка, из которой ничего не видно. А где-то наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют «Интернационал», падают, знамен не выпускают из рук.

И когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза, а какое оно, наступление? Я подышу им. А «НП» — это не что-нибудь, а просто верхушка холма, и там на склоне лежат, едва высунув головы, наблюдатели, а комбат Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса. И слышу, как запевают птицы. Птицы!

Кто-то стягивает меня за ногу вниз.

— Жить надоело!? — шипит комбат.—Ты что здесь околачиваешься?

— Посмотреть хотел, — говорю я.

Наблюдатели смеются.

— Птицы откуда-то, — говорю я.

— Птицы? — переспрашивает комбат.

— Птицы...

— Какие птицы? — спрашивает из окопчика телефонист Кузин.

— Птицы, — говорю я, и уже сам ничего не понимаю.

— Разве это птицы? — устало смотрит на меня комбат.

— Птицы... — смеется Кузин.

Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из наблюдателей напяливает на палку свою шапку и поднимает палку над собой. И тотчас запевают птицы.

— Понял? — спрашивает комбат.

Он хороший человек. Другой бы начал топтать ногами и материться. Он хороший человек, наш комбат. Сейчас бы меня убили, если бы не он. Это он, наверно, за ноги меня подтянул.

Становится темнее, темнее. Серые сумерки окутывают холмы. И я слышу, как далеко-далеко бьет пулемет.

— Пулемет! — кричу я.

Никто не обращает на меня внимания.

— Пошли наши, — говорит комбат Бураков, — сейчас начнем. И потом говорит мне: — На-ка погляди.

Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю ее, на дальнем, на фоне серого неба вытянулся полоской населенный пункт. И там из конца в конец, как фейерверк, протянулись разноцветные линии трассирующих пуль. И я слышу тарахтение пулеметов, дробь автоматов. Но я не вижу наступления. Я не вижу людей.

— Пошли, пошли! — кричат за моей спиной.

— Где, где?

И вдруг я вижу: по степи кое-где перебегают, согнувшись в три погибели, одиночные фигурки. Редко-редко.

— Хватит, — говорит комбат, — иди на батарею.

Я скатываюсь с холма. Я бегу. А навстречу мне плывет, покачиваясь на холмах, «виллис». А в нем сидит генерал. Я не знаю, что мне делать: пробежать или пройти строевым, приложив ладонь к козырьку...

Генерал багров. Он меня и не видит. Он размахивает руками. А «виллис» приближается к наблюдательному пункту. И там уже вытянулся в ожидании ком-

бат. И ребята стоят. И стереотруба стоит на своих трех ногах неподвижно.

И генерал выскакивает из машины, подбегает к комбату.

— По своим бьешь! По своим?!

Комбат молчит. Только голова мотается из стороны в сторону.

А потом генерал смотрит в стереотрубу, а комбат что-то объясняет ему. И генерал жмет ему руку.

— Чудеса! — думаю я.

— Отбой! — кричит в телефон Кузин.

На батарее тишина. Все словно прислушиваются. А минометы, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат.

— Что у тебя с ладонями? — спрашивает старшина.

Ладони мои в крови. Я не понимаю, откуда может быть кровь. Я пожимаю плечами.

— Это от минных ящиков, — говорит Шонгин.

Сейчас мне будут делать перевязку.

Старшина поворачивается и уходит. Это он, наверно, пошел санинструктора звать. Я стою с вытянутыми руками. Сколько, наверно, крови вытекло! Сейчас меня перевяжут, и я напишу домой письмо...

— Иди, вымой руки, — говорит, обернувшись, старшина, — сейчас позицию менять будем.

КОЛОКОЛЬЧИК — ДАР ВАЛДАЯ...

Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умереть. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову и все? И мое горячее тело уже не будет горячим?.. Пусть будет страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома я многого боялся. Дома. А теперь я все уже узнал, все попробовал. Разве не достаточно одному столько знать? Я ведь пригожусь для жизни. Помогите мне. Ведь это даже смешно убивать человека, который ничего не успел совершить. Я даже десятого класса не кончил. Помогите мне. Я не о любви говорю. Черт с ней, с любовью. Я согласен не любить. В конце концов, я уже любил. С меня хватит, если на то пошло. У меня мама есть. Что будет с ней?.. А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове? Я еще не успел от этого отвыкнуть. Я еще нигде толком не побывал. Я, например, не был еще на Валдае. Мне ведь нужно посмотреть, что это за Валдай? Нужно? Кто-то ведь написал: «...И колокольчик—дар Валдая...» А я даже таких строчек написать не смогу. Помогите мне. Я все пройду. До самого конца. Я буду стрелять по фашистам, как снайпер, буду единоборствовать с танками, буду голодать, не спать, мучаться...

Кому я говорю все это? У кого прошу помощи? Может быть, вот у них, у этих бревен, которыми укреплен блиндаж? Они и сами не рады, что здесь торчат. Они ведь соснами шумели так недавно... А когда мы уезжали на фронт, помнишь нашу теплушку? Ах, да, конечно же, помню. Мы стояли у раскрытых дверей и пели какую-то торжественную песню. И у нас были

гордо подняты головы. А эшелон стоял на запасных путях. Где? На Курском вокзале. По домам нас не отпустили. Я только успел позвонить домой. Наших никого не было. Только старуха-соседка Ирина Макаровна. Злая, подлая старуха. Сколько она мне крови попортила! Она спросила меня, где стоит эшелон.

— Жалко, — лицемерно сказала она, — не сможет мама повидаться-то с тобой.

И я повесил трубку и вернулся к своим. А через час появилась у вагона Ирина Макаровна и сунула мне сверток. А потом, когда мы пели, она стояла в маленькой толпе случайных женщин. Кто она мне? Прощай, Ирина Макаровна. Прости меня. Разве я знал? Я никогда не смогу понять это... Может быть, ты и есть то лицо, у которого следует просить защиты? Тогда защити меня. Я не хочу умереть. Говорю об этом прямо и не стыжусь...

В свертке были сухари и четвертинка подсолнечного масла. И я поклялся сохранить один сухарь, как реликвию... Съел. Значит, не смог сделать такого пустяка? А чего же я прошу? А разве не сам я, когда прилетела «рама» и все полезли по щелям, стоял на виду?

— Лезь скорей! — кричали мне.

А я не прятался. Ходил один и посмеивался вслух. Если бы они знали, что у меня внутри делается! А я не могу дрожать на виду у всех. Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать правду? Вот я и говорю. Я сам себе судья... Я имею на это право. Я — не Федька Любимов. Помнишь Федьку Любимова? Ну, конечно, помню. Федор Лаврентьевич Любимов. Мой сосед по квартире. Когда началась война, он по вечерам выходил на кухню и говорил:

— Немцы-паскуды прут... Надо всем вставать на защиту. Вот у меня рука подживет — пойду добровольцем.

— Тебя и так призовут, Феденька, — говорили ему.

— Так — не штука. Так всякий пойдет. А когда Родина в опасности, нужно не ждать. Самому идти.

И спрашивал меня:

— А ты родину-то любишь?

— Люблю, — говорил я. Этому меня еще в первом классе научили.

А однажды я встретил его в военкомате. Это когда я повестки разносил. Он меня не видел. Разговаривал с капитаном каким-то.

— Товарищ капитан, — сказал он, — вот я освобождение принес.

— Какое освобождение?

— Бронь. Как специалист бронь получил. Не хотят меня на производстве отпускать...

— Ну зайдите вот туда и оформляйте. Бронь так бронь, — сказал капитан.

Бронь так бронь. Вот так Федька. Какой же он специалист незаменимый, когда он часовщиком на Арбате в мастерской работал? И пошел Федька оформляться. Прошел мимо меня. Заметил. Остановился. Покраснел.

— Видал? — спросил меня. — Вот так-то. Умирать кому охота?

Наверно, он и сейчас по броне живет. Как будто он известный конструктор или великий артист...

...Этот блиндаж не нами оборудован. Он хороший, этот блиндаж. Он поменьше, правда, чем штаб полка, где Нина сидит, но все-таки не плохой. Видно, откуда наспех уходили. Вот фотографию женскую уронили. Некрасивая молодая женщина улыбается с нее. А кто-то ее любит. Что ж он захватить-то ее позабыл?

— А ты, Сашка, бронь получал? — спрашиваю я.

— Кто ж мне ее даст? — говорит Сашка, — ее не всем дают.

— Дал бы кому надо, — говорит Коля Гринченко, — была бы тебе бронь.

— Наверно, много давать? — спрашивает Сашка.

— Тысячи три. Барахлишко бы продал ради такого дела. Набрал бы.

— Барахлишка набрал бы. У меня один шифоньер три тысячи стоит.

— Ну вот и дал бы.

— Ааа... — машет Сашка рукой. — Иди-ка ты...

— А ты-то что не дал? — сердится Шонгин.

— А у меня денег не было, — смеется Коля.

— Болтать ты горазд... — говорит Шонгин.

ЛАФА

Восьмой день бьют наши минометы. У нас уже трое ранено. Я их не видел. Когда вернулся на батарею, их уже унесли. Мы переезжаем с места на место, и у нас уже не то что землянок — путевых окопчиков нет. Некогда возиться. Это наступление. Когда оно началось, Коля Гринченко говорил:

— Лафа, ребята. Теперь будет лафа. Теперь мы будем отлично питаться. Теперь поживем на трофейном добре. Хватит концентраты лопать.

Тогда мы все ему поверили. И напрасно. Мы и артиллерия всюду приходим последними, когда ничего уже нет.

И опять концентрат. И дубовые сухари. И Коля Гринченко говорит старшине:

— Старшина, какого хрена этот концентрат! Где фронтная норма?

— А ты помнишь, ёжик, как ты мне грозился? — спрашивает старшина.

— А ты докажи, — улыбается Гринченко.

— Ну вот и помалкивай, — говорит старшина.

Теперь у него грозное оружие против Коли. И Коля боится его. Я это вижу. Но иногда он забывает, что боится, и тогда переходит в наступление. И это бывает очень смешно.

Я помню, как мы вошли в первый населенный пункт, тот самый, который я видел с «НП». Это было разбитое степное село. В уцелевших хатах уже хозяйничали кавалеристы: переодевались, спали, играли на гармонике, а в одной даже блины пекли. И мы, конечно, всюду попадали с опозданием. Куда же нам деваться?

— Пошли, — говорит Гринченко.

И мы с Сашкой Золотаревым идем за ним. Вот входим в хату. В хате жарко. Топится печь. Пусто. Лишь над сковородой склонился казак. Это по лампасам видно.

— Здорово, земляки, — говорит Гринченко с порога, — принимай гостей.

Коля очень здорово умеет с людьми разговаривать. Очень по-свойски. Он при этом улыбается. Он так улыбается, что нельзя не улыбнуться в ответ. И вот казак оборачивается, и я вижу скуластое лицо и раскосые глаза.

— Вот так казак! — говорит Коля. Откуда ты такой взялся?

— Что нада? — спрашивает казак.

— Ты калмык, наверно, а не казак. Қалмык, да? — И Коля говорит нам: — Давай, ребята, располагайся. Эх, ты, казак калмыцкий!

И Коля кладет на скамью свой вещмешок. А калмык берет вещмешок и швыряет к порогу. Он стоит перед высоким Гринченко такой маленький, скуластый и широкоплечий.

— Что, тебе калмык не нравился? Уходи назад.

— Ты что, гад... — лицо у Коли покрывается красными пятнами.

— Иди, иди, — спокойно говорит калмык.

— Я кровь проливал, а ты меня на мороз гонишь?! Сашка берет Колю за локоть.

— Не психуй, Мыкола.

— Уводи свой люди, — говорит калмык.

— Не сердись, пожалуйста, — говорю я.

— Уходи давай...

Вдруг открывается дверь, и входят казаки. Их трое.

— Что за беда? — спрашивает один.

Калмык молчит. Мы с Сашей молчим. Коля тоже молчит. Потом он улыбается и спрашивает калмыка:

— Что ж молчишь, калмык? — и потом говорит казакам: — Вот гад... сам к печке, а русского — на мороз!

— Чего они приперлись? — спрашивает казак у калмыка.

— Давайте-ка, ребята, сыпьте отсюда, — говорит нам другой казак. А третий говорит калмыку:

— Давай, Джумак, обедать.

А мы молча уходим из хаты. На мороз. В сумерки. Если Гринченко что-нибудь сейчас скажет, он мне опротивеет. Мне кажется, что это я обидел человека. Коля молчит. «Кровь проливал»... Он ведь и царапины не получил!

Теперь мы уже за этим населенным пунктом. Бейте, минометы, бейте! Дуй, ветер! Сыпь, дождь пополам со снегом! Мокни, моя спина! Бодите, мои руки!..

Что сделать, чтобы не мерзли ноги? Ах, сапоги нужны. Широкие. На три номера больше. Чтобы всякого навертеть-навертеть... Чтобы нога как в гнезде была... А еще нужно ходить. А мы почти и не ходим. Все время приходится менять позиции. Значит, садись в машины, и пошел-пошел! Дождь идет. Дождь идет прямо с неба. Снег идет. Откуда-то сбоку. Ветер — со-

всех сторон. Днем и ночью мы промокаем насквозь. К утру подмораживает. Шевелиться не хочется.

Я думаю о Нине. И мне кажется, что она где-то на одной из машин. Погиб телефонист Кузин. Пуля вошла ему в рот. Она была уже на излете, слабая. Но что-то там успела задеть, и он умер.

РАЗГОВОРЫ

Это, наверное, первая ночь, когда мы спим нормально. Мы лежим на полу покинутой хаты. Лежим на шинелях. Укрываться нельзя. Жара. Шонгин натопил печь. Нас набилось в хате с избытком. Темно. Только летает медленно и однообразно красный светлячок шонгинской самокрутки.

— Дай закурить, Шонгин, — просит Сашка Золотарев.

Шонгин молчит. Летает красный светлячок.

— Дай закурить, Шонгин, — прошу я. Мы ведем игру неторопливо, привычно.

— Да он спит, — говорит Коля Гринченко.

Красный светлячок жалко и неподвижно повисает в воздухе. Я вглядываюсь в темень и словно вижу улыбочку на лице Гринченко, и словно вижу стиснутые губы Шонгина и открытые мигающие глаза.

— Курить хочется, — говорит Сашка, — разбудить его, что ли?

— Не буди, — говорит Коля, — пусть человек поспит. Сам возьми, сколько тебе надо.

— Табак у него в противогазной сумке лежит, — говорю я.

— Я вам возьму, — говорит Шонгин, — я сам насыплю.

— Ну вот, человека разбудили, — говорит Коля.

Слышно, как кряхтит Шонгин.

Мы лежим и старательно затягиваемся горьким дымом самокрутки.

Тишина. Потом кто-то говорит из темноты:

— Хорошо б сюда Нина пришла бы. Мы бы с ней беседу првели.

Сашка Золотарев смеется.

— А я толстых люблю, — говорит он, — и чтобы выше меня.

— У Нинки муж есть, — говорю я.

Сашка смеется.

— У меня тоже жена есть. Может, Нинкин-то сейчас у моей оладыи ест.

— Война, — говорит Коля, — все перемешалось. А потом, если любовь, так ведь тут не прикажешь...

Сашка смеется.

— Паскуды вы, ребята! — говорит Шонгин и поворачивается на другой бок.

— А я на гражданке с такой и не пошел бы, — говорят из темноты.

А я пошел бы.

— У меня такая девочка была, Катя ее звали, вот была красивая. Коса до пояса. Нинка — это так...

— А тебе ее не навязывают, — раздраженно говорит Коля.

— Не нравится, — говорю я, — не бери. Верно, Коля?

— У твоей Кати нос, наверно, пупочкой был, — смеется Сашка, — ты ведь таких любишь. Чтобы нос пупочкой и чтоб от нее тестом пахло...

— Досмеешься. Золотарев, — угрожают из темноты.

Ты жива еще, моя старушка.

Жив и я. Привет тебе, привет.

Пусть струится над твоей избушкой...

Это Коля поет.

И вдруг открывается дверь. И голос комбата врывается в темень.

— Кто там пессимизм разводит?

И снова тишина.

Что будет завтра? Куда нас понесет? Из дому пием нет. У Сашки на палочке не осталось места для зарубок. Если меня ранят, попаду я в госпиталь. Наемся. Приеду в отпуск домой. Пойду в школу. И все увидят мои костыли. И нашивку за ранение на груди. И, может быть, медаль мне дадут, так ее тоже увидят. И выйдет Женя. И уже она не будет посмеиваться. А все будет смотреть то на нее, то на меня. А я скажу ей: «Привет, Женечка». И пойду, пойду по коридору. А она догонит меня. «Может, ты зайдешь ко мне домой? Я соскучилась по тебе». — «К тебе? Домой? Что ты, что ты. Незачем. За это время многое изменилось». И пойду я по коридору. А девочки скажут ей тихо: «Дура ты, Женька. Сама виновата».

— У меня от тыквы живот болит, — говорит Сашка.

— Я ее на гражданке сроду не ел, — говорит кто-то.

Коля советует:

— А ты, Сашка, походи, сходи.

— Дурак, — говорит Сашка, — тыква — вещь хорошая, только когда не сырая.

— А я борщ люблю, — говорят из темноты, — густой, чтобы ложка стояла. Мне никаких вареников не надо.

А у меня нету ложки. Я, как без рук, без ложки. Надо мною смеются, над шепочкой моей. И сам я смеюсь... А ложки-то нет у меня... И сапог нету. Были бы у меня сапоги, не так бы мы с тобой, Нина, разговаривали...

Нина, ты тоненькая такая. Вот мы идем с тобой по городу. Вот навстречу идет Женя. Она все понимает. И молчит. Дура она. А мы идем. А на мне черные брюки, белая рубашка с отложным воротником, а через плечо — аппарат «Лейка». И никакой войны.

— А еще я съел бы сметаны, — говорят из темноты.

НИНА

Сколько ни хожу в штаб полка, сколько на Нифу ни смотрю — она не замечает. А свои, штабные, говорят с ней просто: «Нина, дай кружку...», «Что, милая, устала?», «Давай покурим...», «Здорово, Ниночка! Вот и еще раз увиделись!» — и обнимают ее. А она — подает кружку, улыбается, курит, сидя на ящике, и целует вернувшихся с задания, целует прямо в небритые щеки.

Это потому, что они свои. А кто они, эти свои? Они — штабные крысы. А я прихожу с батареей. Я жизнью рискую. У меня руки сбиты, шинель обожжена, губы потрескались. Но они — свои.

Я пролезаю в штабной блиндаж. Там тепло. Горит беселая пузатая трехлинейка. Пахнет хлебом. И ничего. Только Нина сидит с наушниками у приемника.

— Дон, Дон, я — Москва... Прием. Дон, Дон, я — Москва, как слышно? Прием.

— Здорово, Нина, — говорю я развязно.

Она кивает мне. Это так по-приятельски, так хорошо. Это так неожиданно...

— Как меня слышно? Вот теперь хорошо? Прием...

Она снимает наушники.

— Садись, вояка. Отдыхай.

— Некогда, — говорю я и сажусь. На нары. И смотрю на нее. Она смеется.

— Ну, чего уставился?

— Так. Давно не видел, как женщина смеется. Там ведь у нас, на батарее, женщин нет. Сашка вот Золотарев иногда улыбнется, Коля Гринченко, а женщин нет.

Она снова смеется.

— Этот ваш Коля сюда часто ходит. Все мне про свои геройства рассказывает. Не люблю хвастунов.

— Ты приходи к нам.

— Куда это?

— На батарею.

— Чайку попьем?

— Посидим, покурим...

— Посидим, покурим, — смеется она.

Какой я бравый был, когда вошел. Какой бравый! Даже пламя лампы заходило ходуном. А теперь оно не шелохнется.

— Хочешь, чайком напою?

— Я чай не пью, — говорю я. И усмехаюсь.

— А, понимаю, — говорит Нина, — ты к спирту привык.

— Привык — не привык, а предпочитаю. Чаем будем на гражданке баловаться.

Она смотрит на меня прямо, не мигая, и смеется.

— Чудак ты. У нас разведчики — такие ребята, а от чая не отказываются... Ну и чудак ты. А я приду к вам на батарею. Ладно? Посидим, покурим... а?

— Да?

— Да... А у тебя глаза хорошие.

У меня белые крылья вырастают за спиной. Белые-белые. И от них светло, как от ракеты над передовой... Бред.

— ...И все-то ты врешь насчет спирта.

Это она говорит издаleка. Я ее не вижу. Только два больших глаза. Серых. Насмешливых.

Входят какие-то люди. Топают сапогами. Говорят разные слова. А я слышу:

— Дон, Дон... у тебя глаза хорошие... перехожу на прием, прием.

— От лейтенанта Буракова? — спрашивают меня.

— Так точно.



В. Д. ПОЛЕНОВ (1844—1927). Голова юноши с курчавыми волосами. Бумага. Односеансная. Тушь, перо. Разм. 10×8,4. 1887 г. Воспроизводится впервые. Из фндсв Дсма-музея В. Поленсва близ Тагусы

— На-ка вот.

Я беру бумагу. Кладу ее в карман. Иду к Нине.

— Так ты придешь?

— Куда?.. А, на батарею? Посидим-покурим? Да?

— Приходи.

— А я не курю ведь, — смеется она. — Так посидим, да?

— Что, Ниночка, красивых солдатиков завлекаешь? — слышу я за спиной.

— ...Вот ведь все спокойно, тихо, а мне муторно как-то. Предчувствие у меня, — говорит Шонгин, — и тишина мне не в радость. Ну не радует она меня.

Маленький худенький Гургенидзе стоит перед лейтенантом Бураковым. На кончике носа у него капля. Он размахивает руками.

— Отпускай меня домой четыре дня. Кварели — мой дом. Принесу разный пурмарили, еда. Вино, хачапури. лобио. Этот каша уже нелзя.

Лейтенант смеется.

— А кто воевать будет?

— Я буду, — клянется Гургенидзе. — Кто будет? Я буду. Пока здесь война нэту.

— А как же ты добираться будешь?

— Что?

— Как поедешь?

Гургенидзе смотрит на лейтенанта с сожалением.

— Давай отпуск. Сдэляем.

Комбат смотрит на нас,

— Ну, как, отпустим?

— Да, видите, какое дело, товарищ лейтенант, — говорит Шонгин, — отпустить бы можно, а вдруг начнется? Как же без такого связиста?

— Вот так, — говорит комбат, — не можем мы без тебя.

— Зачем не можем? — волнуется Гургенидзе, — можем. Четыре дня война нету.

— А ты, Гургенидзе, сходи к немцам, спроси, когда начнут. Может, и можно поехать, — предлагает Сашка Золотарев.

Все смеются. Не выдержали. Гургенидзе пытается понять, что произошло. Потом машет рукой.

— Эээ! — и сам смеется.

И капелька, не удержавшись на кончике носа, летит на землю.

И комбат говорит, посерьезнев:

— Отдыхайте. Все. Вечером будем работать.

И уходит.

Вечером опять ничего. Я просил ее заходить на батарею. Для чего она придет? Для чего? Что ей здесь делать? Как в парк пригласил: «Приходите, погуляем». Если бы она видела мои руки, покрытые шрамами и мозолями, руки мои в заусенцах, руки мои, которые отмыть невозможно, так въелась в кожу копать... Я скажу ей: «Послушай, давай без фокусов. Ты ведь видишь все, ты ведь понимаешь. Ну, давай просто: ты и я. Чтоб я знал, что ты ко мне идешь. Пусть все видят. Ну давай, а? Послушай, мы ведь с тобой одногодки. Ведь это же ерунда, что мужчина обязательно должен быть старше. Я ведь тебя давно знаю, давно-давно. Ну, пожалуйста, не делай вид, что тебе все равно. Я знаю, что ты это от смущения посмеиваешься надо мной». И когда я буду это говорить, выйдет белая луна, и снег заискрится, и никого кругом не будет, и обмотки мои будут не видны.

— Ты чего не отдыхаешь? — спрашивает Коля Гринченко.

Ну что мне сказать?

— А я вчера с Ниночкой договорился. Сегодня придет.

— Врешь ты все, Коля, — облегченно говорю я. — Как же ты врешь!

— Поглядишь, — говорит он. — Лови момент.

Коля стоит передо мной. От него пахнет одеколоном. Побрился. Побрился? Неужели придет? Ну да, конечно, она же смеялась, а...

Вот над немецкими траншеями взвивается ракета белая-белая. Где-то одиноко и грустно стучит и смолкает пулемет.

Коля Гринченко покуривает в кулак. Улыбается.

— Да, а Ниночка сейчас придет. Побеседуем.

— Она ведь замужем, — говорю я, — ничего у тебя не выйдет.

Он улыбается. И покуривает. Потом отходит в сторону. И молчит. Раз молчит — значит, правда. Значит, она придет. Дурак я, дурак. Просил, унижался. А ведь надо так, как Гринченко говорил. Да, надо так. Обнять, прижать, чтобы косточки хрустнули, чтобы слова не могла вымолвить, чтобы почувствовала: вот мужчина! Это им нравится. Это. А разговоры... кому они нужны? Ах ты, Нина сероглазая! Я теперь знаю, что тебе сказать...

За блиндажом урчит «виллис». И слышится женский смех. И я вижу, как Коля бросается туда. Приехала! И я слышу голос ее:

— Здравствуй, здравствуй. А улыбочка-то, улыбочка-то! Невозможно устоять... А я вот в гости к вам. На минуточку. Упросила майора, чтоб с собой взял. Вот вы как живете!.. Смотри, пожалуйста, и немцы рядом! Чего ж ты, Коля, молчишь? Как будто и войны нет — такой ты шеголь, Коля. И бриться успеваешь. А у вас тут мальчик есть, черноглазенький такой, он-то где?

— Какой еще черноглазенький? — спрашивает Гринченко.

— Ну такой, черноглазенький.

Я слышу ее тихий смех. Она хорошо смеется. Подойти? А почему я должен подойти? А почему это обязательно про меня? Вот и Гургенидзе черноглазый. И командир взвода Карпов — черноглазый. И комбат — черноглазый...

Темный, тонкий ее силуэт выплывает из-за блиндажа.словно темная луна. Остановилась и слегка покачивается.

— Вот ты где, воин... Посидим, покурим, а?

Она подходит, подходит, подходит...

— Интересно как! — говорит она. — Вот на войне у меня свидание. Ты что же молчишь? А-а-а, ты, наверно, спирту напился, да?

— Ничего я не пил.

— Ну, расскажи что-нибудь...

— Пойдем туда, за минные ящики, посидим.

— О, какой ты! Сразу — в уголок.

— При чем тут это?

— При том, что каждому этого хочется. А на передовой тем более. Что завтра будет?

— Ты мне нравишься, Нина.

— Я знаю.

— Знаешь? Задаешься просто.

— Что ты, что ты, мальчик. Мне Гринченко ваш рассказал, как ты во сне со мной разговариваешь.

— Врет он все!

Из-за блиндажа закричали:

— Нина! Шубникова! К машине!

— Ну вот. Пора. Так ты и не сказал мне ничего. Кто ты, что ты, что делать будешь, — говорит она и ладонью проводит по щеке моей. — Ну, прощай. Война ведь. Может, и не увидимся.

— Я завтра приду к тебе. Ты мне нравишься.

— Я многим нравлюсь, — говорит она, — здесь ведь никого, кроме меня-то нет.

Она бежит к машине. Она быстро бежит. А над немецкими окопами все чаще и чаще взлетают ракеты.

ЭХ, МАХОРОЧКА-МАХОРКА...

Так из затишья возникает гром, так в сером утрене появляются неожиданные краски: красное — на сером, рыжее — на сером, черное — на белом. Пламя, ржавое искаженное железо, неподвижные тела.

Нина укатила с майором в штаб. Последняя ракета над немецкими позициями, как последний цветок. Сейчас Нина кричит, наверное, в микрофон: «Волга, Волга, я — Дон... Как слышно? Прием...» А у меня в руках толстенькая мирная такая мина. Сейчас я передам ее заряжающему. И миномет охнет, приседая на задние лапы.

Я знаю, как будет. Ох, какой я уже опытный! И ладони мои уже не болят.

А Коля Гринченко сидит на опорной плите миномета. Он очаровательно улыбается. И поет тихонечко, для себя.

Эх, махорочка-махорка...

— Немцы прорвались, слышал?—спрашивает Сашка.

— Пехота?

— Нет, танки.

— Сюда идут?

— По тылу ходят...

— Много?

— Штук сорок, говорят.

Высоко над нами плывут немецкие бомбардировщики. Им не до нас. Они сбросят бомбы далеко в тылу, в нашем.

— Будет медикам работенка, — говорит Сашка.

А Коля напеваает:

Эх, махорочка-махорка...

И тогда справа на сопочке разрывается немецкий снаряд. И в ответ дружно ударяют наши минометы. Все четыре. А потом еще раз. И еще.

А за нашей спиной вспыхивают рыжие кусты разрывов. И горячий ветер касается шеи. И в затылке противно ноет. Немецкая артиллерия отвечает все чаще и чаще.

— Нащупали! — кричит кто-то.

Я ношу и ношу мины. Я уже не задумываюсь ни над чем. Каждое движение привычно до черта. Десять шагов назад. Холодного шестнадцатикилограммового поросенка — в ладони. Десять шагов вперед. Можно даже с закрытыми глазами. Несколько раз туда и обратно. И пальцы сами расстегивают крючки шинели. И подхватывают снег, и заталкивают его в рот. И вдруг возникает глупая мысль: кончится бой, возьму сахар, смешаю со снегом — получится мороженое...

Десять шагов вперед. Десять — назад. Поросят — все меньше и меньше. Сколько времени прошло? Счастливые часов не наблюдают...

В спину ударяет взрывной волной. Я не могу устоять. Я падаю.

— А-а-а-а-а!.. — кричит кто-то. И снова, уже слабее — а-а-а-а-а!..

Это я сам кричу. Я вижу спины товарищей. Они ведут стрельбу. Они меня не видят. Слава богу! Все у меня цело, ничего не болит. Чего я раскричался? Вот если бы прямое попадание... Но это невозможно. Почему именно в меня? А почему бы и нет? И вдруг особенно сильный разрыв. И снова крик. Это уже не я кричу. Это кто-то другой кричит. Он так кричит, что нельзя не оглянуться. Я вижу, как Коля подбегает к нему, а потом закрывает лицо ладонями и бежит обратно. И, не добежав до своего миномета, останавливается и стоит нагнувшись.

— Кто там был, у первого миномета? Никого вспомнить не могу. Никого. Вот так начисто всех. А у Сашки на палочке не осталось места для зарубочек. А командир взвода Карпов кричит, чтобы мы свертывали позицию. И все быстро-быстро работают. Скорей-скорей... Сейчас разнесут нас немцы, если будем копать. И уже минометы прицеплены к «ЗИСам». И мы выкарабкиваемся из ложбинки, где была наша позиция. Где будет новая наша позиция? Что ждет нас впереди? Все молчат. А у меня перед глазами — черные пятна на снегу, воронка и фигура в шинели, медленно бредущая к нам. Я не хочу думать об этом, а оно сидит в голове, и никак от него не избавиться.

— Вот и нету первого, — говорит Сашка.

— Нету, — говорю я.

— И ребят нету, — говорит Сашка.

— Помолчи... — Это Шонгин требует. Он сидит согнувшись.

А машины идут. И я не замечаю уже стрельбы. Я только вижу бледное лицо Коли. Он смотрит куда-то вперед и даже не шевельнется.

— Слышь, Коля, — говорит Сашка, — скоро с Нинкой-то прощаться. В другую дивизию нас перебросят...

Коля сидит все так же.

— Помолчи, — говорит Шонгин.

— Сейчас еще танков не хватает на нашу голову, — говорит Гаврилов, — они по тылам ходят.

Мы проезжаем мимо какого-то пожарища. Сарай стоял, наверное. Он сгорел. Дымятся головни. И пахнет так отвратительно тоскливо. Запах гари, запах гари... Это не то слово.

С новых позиций мы ведем огонь по врагу. Три наших миномета рывкают куда-то через холмы. А я подношу и подношу мины.

А ведь могло ударить в наш миномет. Не в первый, а в наш. И не подносил бы я мин. Может быть, я шел бы по полю, медленно, в раскачку, а потом упал бы. Здесь пока спокойно. Нас пока не накрыли. И снова:

— Отбой!

И опять — по машинам. И — в ночь, в ночь, в темень.



С. В. ИВАНОВ. Мальчик в шапке. Бумага. Односеансная. Граф. карт. Разм. 31,9×27,1. 1889 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

Мы топчемся в темноте вокруг машин. Цепляем минометы. А где-то высоко, в черном небе, гудят бомбардировщики.

- Наши идут.
- А днем-то их не видеть.
- Пусть, хоть ночью.

Подходит командир взвода младший лейтенант Карпов. Он руки потирает. Щеки потирает. Замерз или волнуется наш командир взвода.

- Опять переезжаем? — спрашивает Сашка Золотарев.
- А как же, — говорит Карпов, — вперед идем, ребята. Хватит отсиживаться.
- Отсиживались... — говорит Шонгин, — вон сколько потеряли!
- Война, — говорит Карпов тихо, — уж вам ли, Шонгин, старому солдату говорить об этом?

Все молчат. Слова — это просто смешно. Действительно, война. Ну что тут скажешь? Карпов виноват? Вон он какой краснощекий, молодой, энергичный... Я виноват? Коля?

Мы сидим в машине. Бездорожье. Машину покачивает, как корабль. Мы покачиваемся из стороны в сторону. Хорошо еще, что едем. А то ведь могло развезти все кругом, Попробуй потаскай на себе ЗИСы. Мы едем. Идет снег пополам с дождем. Мы промокаем постепенно. Сначала это даже хорошо: прохладно становится после запарки. И холодные капельки уютно затекают за шиворот. А вот сейчас уже бы ни к чему. Хватит. Я знаю, через минуту нас начнет бить мелкая дрожь. И тогда попробуй-ка согрейся. И ноги замерзают. Быстро и наверняка. А мы движемся в сторону нового боя. Уже ясно слышны разрывы и автоматные трели. И озаренное небо выплывает из-за холма.

«ГДЕ ВАША ДОЧЬ?..»

Как все хорошо складывается. Завтра напишу письмо домой. Я жив. Что осталось от батареи? Два миномета и не больше тридцати человек. А я жив. Меня даже не царапнуло. Завтра напишу письмо. Домой.

— Давай постучимся... — говорит Сашка Золотарев.

Ночь. Хатка какая-то. Окна темны.

Я стучу в ставню. «Мадам, не будете ли вы столь любезны...» Никто не отвечает. «Мадам, я остался в живых. О, если б вы знали, что там было!..» Я стучу в ставню. «Ботфорты — сюда, мундир — в гардероб, шпагу — на стул...» «Благодарю вас... А где же ваша дочь?..»

— Спать... Спать... Спать... — говорит Коля.

Я стучу в ставню. «Вальдшнеп?.. Сыр?.. Бино?..» «О, благодарю вас. Ломтик холодной телятины и ром. Я солдат, мадам». Я стучу в ставню.

— Замерзнем к черту.

— Пошли в другую.

— Еще разок постучи.

Я стучу в ставню. Сашка стучит в ставню. Коля стучит в ставню.

«Вот ваша комната. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, мадам. А где же ваша дочь?..»

— Чего вам еще?

На пороге раскрытой двери — женщина. Она закутана.

— Нам бы переночевать, мамаша.

— Мы в живых остались, — говорю я.

— Радость-то какая... — говорит женщина, — только вас и не хватало.

— Мы зайдем? — спрашивает Коля.

— Холодно очень, — говорит Сашка.

— Мы переночуем только и уйдем, — говорю я.

В сенях холод. В комнате тепло. Чадит коптилка. Кто-то ворочается на печи. Комната маленькая. Куда мы все ляжем?

Женщина сбрасывает платок. Она совсем молодая.

— Ложись сюда, — говорит она Коле. Она в угол показывает. Хорошее место у Коли. — А ты сюда, — говорит она Сашке.

Золотарев ложится на свою шинель, расстелив ее под столом. И Коля молча раздевается. А меня устраивают на короткой лавке под печкой. Лежать можно только на боку. А, черт с ним! Лишь бы лежать. А сама хозяйка ложится на койку. На раскладную. Заваленную каким-то тряпьем. Она лезет под это тряпье, не снимая полушубка.

Я кладу шинель на лавку. Гаснет синий огонек коптилки. Чья-то рука проводит по волосам моим.

— Лезь ко мне, — говорит с печки тихий голос, — у меня тепло.

— А ты кто?

— Какая разница? Лезь. У меня тепло..

— Манька, — равнодушно говорит хозяйка, — смотри у меня..

— Тебя не спросила, — говорит Манька с печи. А рука ее гладит меня, гладит.

— Лезь сюда.

— Обожди, ботинки сниму.

— Лезь. Какая разница?

Вдруг услышат?.. «Где ваша дочь, мадам?..» Вдруг услышат.. Вот тебе и дочь!.. Возле Маньки тепло. Если прикоснусь к ней, все полетит к черту. Манька.. Неужели так и называть?

— Тебя как зовут?

— Мария Андреевна..

Вот тебе раз! Как же так.. У нее горячий упругий живот, руки маленькие цепкие.

— Сколько вам лет?

— Шестнадцать. А что?

— Тишише..

— А что? А что?

— Услышат..

— Пусть.. Иди поближе.

— Манька, — говорит хозяйка, — ой, смотри, Манька..

— Сама разберусь, — говорит Мария.

А внизу покашливает Сашка Золотарев. А Коля говорит:

— Хозяйка, а тебе не холодно?

А Мария обвилась вокруг меня, и уже не понять, где я, где она. Все перепуталось.

— А сердце-то у тебя ой как бьется, — смеется она прямо мне в ухо, — испугался, что ли?

А Коля спрашивает:

— Тебе не холодно, хозяйка?..

Так просто? И Нина вот так же? И все?..

— Ты что, не живой, что ли?

— Пусти меня.

— Да я ж шучу, дурачок..

— Пусти, Мария..

— Мария.. — говорит хозяйка, — как же, Мария.. Дура белобрысая, а не Мария.

— Пусти, хуже будет.

— Ну давай так положим, ладно?

— Пусти..

— Ну и вались на свою лавку, раз тебе с людьми тесно.

..На лавке — прохладно. Сашка покашливает. Коля говорит из своего угла:

— Хозяйка, замерзла ведь в тряпье-то. Хочешь шинелью покрою?..

..Кто-то ходит по хате. И что-то шепчет. Это тихий торопливый шепот. Слов я не разбираю. Это, наверное, Мария там, на печке. А, может быть, это хозяйка. А, может быть, это и не шепот, а тишина. Но кто-то всхлипывает. Как трудно, наверное, в этом маленьком поселке. А меня завтра засмеют. Засмеют-засмеют! И подедом мне. Сама просила. Уговаривала.. Засмеют. Утром встану пораньше, пойду в другую хату или в штаб пойду, или к машинам пойду.. А она как огонь горячая. Мария Андреевна. Она первая смеяться будет. Шестнадцать лет.. Коля про таких говорит «кровь с молоком..» А кто-то и в самом деле плачет. Или это за окном?

— Кто это? — спрашиваю я.

— Не ори, — говорит хозяйка, — лег и спи.

Это у меня бред. А меня засмеют-засмеют.. И все-таки кто-то плачет. А может быть, это Мария смеется?..

Утром Сашка Золотарев говорит:

— Похоже, что здесь припухать. Комбат картошку ест. Машины разбиты.

Сашка уже умылся. От него пахнет морозом. Щеки у него, как у ребенка, пунцовые. Уже успел все раз-узнать. А Коля спит. А в хате — ни Марин, ни хозяйки.

— Что ж с нами теперь будет? — спрашиваю я.

— А ничего не будет, — говорит Сашка, — подождем новую технику и — снова.

— А машины побиты?

— Начисто.

— А кухня работает?

— Какая там кухня..

Сашка достает из мешка три пачки горохового концентрата.

— Вот, выдали. Будем варить. Колю-то будить надо. Вставай, Мыкола!

И вдруг входит хозяйка. И снимает платок с головы. И я вижу, что она совсем молодая. И красивая.

— Вставай, Мыкола, — говорит Сашка. Но Коля спит.

— Зачем будишь-то? — спрашивает хозяйка. — Пускай его спит. Устал ведь.

Она говорит строго очень. А сама все на Колю смотрит.

— Давай сварю, — говорит она и берет у Сашки концентрат.

..Мы сидим за столом. Мы молчим. Едим похлебку гороховую. Мы едим деревянными ложками. А у меня

ложки нету. Вот уйдем отсюда, и достану я свою дощечку... Я уж этой деревянной сейчас поем. Давно ложки у меня не было... Мы едим гороховую похлебку, хлеба нет. Коля ест медленно. Изредка на хозяйку поглядывает. А она сидит напротив. И тоже иногда на него глядит. И все. А я жду, что Мария вот-вот начнет смеяться. А она и не смотрит на меня. Я сейчас только и разглядел ее как следует. Она курносая такая. И лицо широкое. И на лоб смешная челочка спадает. А на носу — несколько крупных не то веснушек, не то просто родинок.

— Ну как, конопущечка, — говорит ей Сашка, — как жить дальше будем?

— Проживем, — говорит Мария.

— Вкусная штука получилась, — говорит Коля и смотрит на хозяйку.

— А что это вы друг на друга и не похожи вроде? — спрашивает Сашка. — Живете вместе, сестры как будто, а не похожи...

— А мы и не сестры, — говорит Мария, — мы чужие. Просто живем вместе.

— А похлебочка-то ничего получилась, — говорит Коля. И смотрит на хозяйку. А она ничего не говорит. И вдруг входит Шонгин.

— Ну вот, принесло, — громко говорит хозяйка.

А Шонгин садится на табурет.

— Много народу побило, — говорит он, — и раненые есть. Увезли. — И достает кисет.

— Покурим? — спрашивает Сашка.

— А чего курить, — говорит Шонгин, — тут и на одну не наберется, — и показывает кисет.

— А ты где спал, Шонгин? — спрашивает Коля.

— А я и не спал, — говорит Шонгин, — раненых больно много было. Пока всех подобрали, и утро.

— Сейчас бы покурить, — говорит Сашка.

— Покури, покури, — говорит Шонгин и затягивается. Он пускает большие клубы дыма. И говорит: — Вот зашел поглядеть, как вы тут.

А хозяйка наливает в чашки молоко. И Коля говорит:

— Слышь, Шонгин, концентрату тебе не хватило. Может, молока попьешь?

— Козье молоко, — говорит Мария.

— А я уж ел, — говорит Шонгин, — ел. Гургенидзе ранило. Я супу сварил ему и себе.

Бедный маленький грузин. Совсем мальчик. С вечной капелькой на носу. «Попадался — не попадался...»

— Сильно его, Шонгин?

— Приблизительно ничего себе, — говорит Шонгин, — на машине лежит, на последней. Сейчас повезут.

Я бегу по свежему снегу. К машине. Возле нее ходят солдаты. Гургенидзе лежит на соломе, в кузове. В обгорелой шинели. Он поднимает забинтованную голову. На кончике носа повисает капелька.

— Попадался, — грустно улыбается он.

А мы с ним не дружили. Так, знали друг друга. А у него покрасневшие веки часто-часто вздрагивают.

— Куда тебя?

— Голова попадался, живот попадался, нога тоже попадался... Шонгин меня носил на своем спине...

— Ничего, Гургенидзе, теперь отдохнешь. Все хорошо будет.

Мотор тарактит. Гургенидзе откидывается на солому. Руки у него на груди сложены.

— Какой у нас часть? — спрашивает он, — какой номер?

— Отдельная минометная батарея, друг.

— Нэт, полк какой?

— Кажется, 229...

— А дивизия какой?

— А зачем тебе?

— Госпитал спрашивают...

Мотор гудит ровно. Кузов подрагивает.

— Какой дивизия?!

— А черт ее знает, — кричу я.

Машина идет по свежему снегу. Рука Гургенидзе торчит из кузова. Это он прощается с нами. Уехал, уехал... А ложку забыл я у него выпросить!

Комбат говорит мне:

— Собирай всех. Пора. Отдохнули.

...В хате нет никого. За домом на бревне сидят хозяйка и Коля. Она молчит. Голову подперла ладонью. Глаза у нее красные. Губы, как у девочки, надуты. А Коля курит и тоже молчит.

— Пора, Коля, — говорю я, — комбат приказал...

— Знаю, — говорит он и встает. И смотрит на меня. Я жду его.

— Знаю, — говорит он.

Я уйду. Пусть прощаются.

ДОРОГА

— Видал у немцев машины? — спрашивает Коля, — брезент и все такое. Сидят, как дома. А тут...

— Я уже ног не чувствую, — говорит Сашка Золотарев. — Я бы валенки обул. Пимы. Морда — черт с ней, главное — ноги. Может, у меня большой палец уже отвалился, а? Сниму ботинок, а он выпадет.

А мне бы не валенки. Мне хотя бы сапоги. С широким голенищем. Чтобы они, как корабли. Встал в воду — ничего, встал в снег — ничего. Хоть ночь стой. Пожалуйста.

Степь, степь, степь. Когда мы остановимся? Идет наступление. Кочует наша батарея. То в одну часть ее направляют, то — в другую. Где-то, неизвестно где, остался полк, которому были мы приданы. А там — Нина. Нина, Нина, очень ты мне хорошо улыбалась. И не могу я тебя позабыть. Кто ты и откуда? Ничего мне неизвестно. Где я тебя разыщу? Все померкло, потускнело все, что было. Где-то Женя в тумане, вдали. Только ты, Нина. И зачем ты так хорошо со мной говорила?

— А я во сне разговариваю? — спрашиваю у Коли.

— Один раз говорил. С Нинкой Шубниковой.

— Что?

— Садись рядом, Нина. Ну, садись. Посидим-покурим, — так говорил. — Потеха.

— А она тебе про меня говорила?

И зачем спросил? Сейчас он посмеется. Выдумает что-нибудь...

— Нет, не говорила, — хмурится Коля. — Чего говорить. Она с начальником штаба полка живет. Помнишь, майор такой высокий?

Помню, помню. Если бы он этого не сказал, теплее было бы. Если когда-нибудь встречу с ней, ну просто так, случайно, ведь может быть такое, я ей скажу...

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — вот была беда, это уж в самом деле горе. С марша пришел, а спать нельзя: коня расседлай, напой, накорми, а время останется — сам отдыхай.

— А у англичан официантки солдат обслуживают, — говорит Коля, — и к обеду — коньячок.

— Врешь ты все, Гринченко, — ворчит Шонгин.

Машины стоят. Впереди — пробка. Вечереет.

— Слезай, ребята. Грейся.

Писем из дому нет. Что там?..

— Шонгин, ты из дому письма получаешь? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня внимательно

— Получаю, а как же, — говорит он и достает кiset и предлагает мне закурить.

— На-ка вот. Погрейся.

Если до утра вот так простоим, можно простудиться окончательно. Какие у Шонгина глаза были! Ласковые, добрые. Вчера, когда мы концентрат гороховый варили, он мне и Коле в котелки насыпал по горсти пшена. Пшено разварилось — густо было. Сам ведь подошел. «Ну-ка, ребятки, добавочки я вам насыплю...»

— Шонгин, дай закурить, — говорит Сашка.

Шонгин топчется на месте: ноги греет.

— И так хорош, — бубнит он.

Когда темно, снега не видно.словно теплей становится. Подходит командир взвода Карпов. У него всегда румяные щеки. Даже в сумерках это видно.

Он смеется.

— Что, вояки, замерзли?

— Замерзнешь, — говорит Коля, — старшине-то тепло. Он о радиатор греется. Может, костер разведем, товарищ младший лейтенант, а?

— Никаких костров, — говорит Карпов.

Шонгин, как сторож, топчется по снегу и рукой подкидывает по котелку.

Подходит Гаврилов и говорит тихонько:

— Ребята, впереди машины с крупой какой-то... И водители спят...

— Ну и что? — спрашивает Шонгин.

— А ничего, — говорит Гаврилов, — я к тому, что спят водители.

— А не плохо бы нам по котелку крупы отсыпать, — говорит Сашка Золотарев.

И он уходит в темноту, туда, к машинам, где спят водители. И все глядят ему вслед. И все молчат.

Если это пшено, можно сварить кулеш. Если гречка — ее хорошо с молоком. Если перловка — с луком. Бытерплю я до утра или нет? Все промокло на мне. Все. Вдруг я заболел воспалением легких?

Из дому писем нет. Где ж ты, почта полевая?

ШКОЛЯРЫ

Я заряжаю автоматные диски. Заряжаю и молчу.

— О чем грустишь, ежик? — спрашивает старшина. А мне трудно ему ответить. Что я отвечу?

— Это я так, — говорю я, — дом вспомнил...

Тебе-то хорошо, старшина. Ты яичницу ешь. А мы гороховый концентрат всухомятку жрем. Тебе-то хорошо, старшина. А мы которые сутки толком выспаться не можем...

— Наши к Ростову подошли, — говорит старшина.

...У тебя вон какая физиономия жизнерадостная. А нас все меньше и меньше. И этот песочек моздокский скрипит на зубах у меня и скрипит на душе. Дал бы ты мне, старшина, сапоги, что ли. Потрескалась картонная подметка на моих американских ботинках. Я ведь ноги в костер сую, когда холодно. А ботинки красивые, красные. А что от них осталось?..

— Ты бы, ежик, ботинки тавотом смазал, — говорит старшина, — смотри, они у тебя совсем никудышные.

...А какие ботинки носил я перед тем, как в армию ушел? Не помню. Или у меня были модные туфли шоколадного цвета и белый рант, как полоса прибора? Или я об этом только мечтал? Наверное, носил я черные ботинки скороходовские. А зимой — калоши надевал. Да, да, калоши. На последнем комсомольском собрании я их в школе забыл. Забыл. Пришел домой без калош. А уж война была, и никто не заметил моей пропажи. Так и ушел я. А были у меня новые калоши. Глянцевые. А теперь не знаю, будут ли у меня такие?

А когда было последнее комсомольское собрание, Женя сидела в углу. Она ничего не говорила, пока мы брали слово один за другим и клялись погибнуть за родину. Потом она сказала:

— Мне жаль вас, мальчики. Вы думаете, это так просто воевать? Войне нужны молчаливые хмурые солдаты. Воины. Не надо шуметь. Мне жаль вас. И ты... — она кивнула на меня, — ты ведь ничего не умеешь еще, кроме чтения книжек. А там — смерть, смерть... И она очень любит вот таких молоденьких, как вы.

— А ты?! — крикнул кто-то.

— А я тоже пойду. Только я не буду кричать и распинаться. Зачем? Я просто пойду.

— А мы тоже пойдем. Что ты нам нотации читаешь?

— Нужно быть внутренне готовым...

— Заткнись, Женька...

— ...Иначе никакой пользы от вас не будет.

— Заткнись!..

— Хватит, — сказал комсорг, — что это мы, как семиклассники, расшумелись?

А когда я в воротах тебя поцеловал да так, что ты охнула и сама меня обняла, это что же? Это значит, я, кроме книжек, ничего не умею?..

— ...Завтра поедем минометы получать, — говорит старшина, — еще ночь понежишься, ежик.

— Какие минометы? — спрашиваю я.

— А ты не спи. Завтра пополнение придет. Будешь обучать сосунков?

— А разве я смогу?

— Что ж, тебе три года воевать, чтобы школярам наше дело объяснить?

Наше дело? Мое дело? Это о минометах? Я буду обучать?

— Буду, — говорю я.

Школяры. Я ведь тоже был школяром. А теперь я не школяр, значит? А на том собрании я был школяром. И когда все зашумели, и я зашумел. Женя сказала:

— Вы шумите, как школяры. А ведь там этого нельзя. Там нужна суровость.

И она посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее. Кто-то сказал, что, если девушка любит, она не выдерживает взгляда — краснеет и опускает глаза. Значит, она меня не любила. Не любила.

— Пошли всем классом! — крикнул кто-то.

— Пошли! — крикнул я.

— Заткнись, — сказали мне, — заткнись, трепло..

Потом вошел директор школы, и комсорг сказал:

— Ладно, продолжим повестку дня.

А на повестке стоял один вопрос: учеба комсомольцев.

— ...Когда с дисками кончишь, зайдешь в каптерку, — говорит старшина и уходит..

...А после собрания мы шли по набережной все вместе. И Женя шла с нами и только не смотрела на меня. Было темно. Настороженно.

— А десятого нам не видать, ребята, — сказал кто-то. И тотчас завyla сирена. А я очутился рядом с Женей.

— Значит, мы — школяры? — спросил я.

— Конечно, — сказала она миролюбиво.

— Значит, из нас войны не получатся?

— Конечно.

— Чтобы быть воином, нужно быть широкоплечим, да?

— Да, — засмеялась она.

— И равнодушным, да?

— Нет, — сказала она, — этого я не говорила.

— Пойдем туда, — я указал в темный переулок.

Мы шли по переулку. Было еще темнее. Еще наступроженнее. И вдруг распахнулось окно. С треском. На третьем этаже. И оттуда посыпался смех. А потом поплыла музыка. Патефон играл старое довоенное танго.

— Как будто ничего и не случилось, да?

— Да, — сказал я.

Окно захлопнулось. Музыка стихла. И снова завyla сирена..

...Я зарядил все диски и иду в каптерку. Это не

каптерка, а обыкновенная изба, где старшина остановился.

Старшина греет руки у печки. Наш комбат сидит за столом. Пишет. А комвзвода Карпов, розовощекий такой, бредется у окна. И сквозь белую мыльную пену видно, какие розовые у него щеки.

А перед комбатом стоит руки по швам Сашка Золотарев.

— Значит, воровал чужое пшено? — спрашивает комбат.

— Воровал, — вздыхает Сашка.

— Чужую кашу съел! Когда воровал, думал, что другой голодным останется?.. Думал?..

— Думал, товарищ лейтенант.

— И что же?

— Хотел сам наестся..

— А ты знаешь, что за это?..

— Знаю, а как же... — тихо говорит Сашка.

— Он всем роздал, — говорю я с порога.

Комбат смотрит на меня пронзительно. Ударит? Хоть бы удрил.

— Жулье, а не батарея! — говорит он.

— Разболтались, — говорит Карпов. — Это у них Гринченко — образец.. Все про любовь да про жратву разговоры..

— Ладно, Карпов, брейся, — говорит комбат, — я же о другом.

А мне хочется спросить Карпова, где он был, когда мы, необстрелянные, под совхозом № 3 первый бой принимали. Он тогда в училище по режиму питался..

— Кругом! — кричит на меня комбат.

Я иду к себе. Может быть, Женя и права? Может быть, я и в самом деле школяр? Скоро кончится зима. Скоро мы вернемся на передовую. Вот тогда посмотрим, какой я школяр.. И опять я встречу Нину. «Привет, малышка, — скажет она, — давно мы с тобой не виделись. Посидим-покурим, да?»

РАЗГОВОРЫ

Мы стоим в разбитом населенном пункте уже четвертые сутки. Здесь был совхоз. Большой искромсанный ветряк, как печальная птица, смотрит сверху на нас.

Здесь сошлись потрепанные батареи, обескровленные батальоны, поредевшие в наступлении полки. Здесь в бывших блиндажах возникли склады, и невыспавшиеся интенданты раздают, выдают, снабжают.

Здесь проходят дороги на север. Туда ушло наступление. Оттуда все глуше доносится канонада. А по этим дорогам торопятся на передовую новые части. В новом обмундировании. Как с иголочки. На новых машинах. И они разглядывают нас с любопытством и почтением, со страхом и завистью.

Я уже давно не видел Нину. Я уже забываю ее лицо. Я уже забываю ее голос. Как быстро все на войне..

Коля Гринченко начистился, отоспался. Снова весел. Сашка Золотарев через каждые два часа варит себе что-нибудь в котелке в добавление к общей еде.

И спит. Глазки у него совсем маленькие. Щеки еще пунцовые. Теперь и не поймешь, у кого пунцовее — у него или у Карпова. А младший лейтенант Карпов ходит победителем в своем овчинном полушубке, в лихо сдвинутой шапке, с прутиком в руке. Он этим прутиком похлестывает себя по голеницам, как теленок, хвостом отгоняющий мух. Голос у него стал звонче. И почему-то мы с ним чаще сталкиваемся.

— Ему делать-то нечего, — говорит Коля Гринченко, — вот он и суется куда ни попало.

— Командир, — говорит Шонгин.

— На передовой-то его и не слышно было, — говорит Сашка, — скоро воспитывать начнет.

— Командир, — говорит Шонгин. — Как же без этого?

— Он скоро до нас доберется, — говорю я, — вон он как на Колю все поглядывает.

— Он меня не любит, — говорит Коля, — вот комбат, тот любит. А этот нет.

— Комбат — это, конечно, другое дело, — говорит Шонгин, — этот с веточкой ходить не будет.

— Он умный, наш комбат, — говорит Сашка Золотарев.

Подходит младший лейтенант Карпов. Он бьет по голеницам веточкой. Он говорит Коле:

— Ты что, Гринченко, пряжку морскую носишь. Мы ведь — артиллерия.

— Так точно. Артиллерия, — говорит Коля и улыбается.

— И поэтому сними пряжку и спрячь ее на память.

— Есть снять пряжку, — козыряет Коля и улыбается.

— Я ведь серьезно говорю, — говорит Карпов сдержанно-сдержанно, — здесь на фронте эти фокусы ни к чему..

— Так точно, — говорит Коля и улыбается.

Карпов оглядывает нас. Мы не улыбаемся. Сашка смотрит в сторону. Шонгин стоит смиренно, руки по швам. А я хочу встать смиренно, а не могу. То левая нога согнется, то правая.

— Снять и доложить, — говорит Карпов. И ударяет веточкой по голенищу. И уходит.

Коля торопливо снимает пряжку с ремня. Красивую пряжку с якорями.

— Так я же не противился, — говорит он, — что это его?

— Командир он, — говорит Шонгин, — а ты молодкос. А ну-ка тебя так..

Коля уходит, размахивая ремнем.

— Нарвется, — говорит Сашка Золотарев.

Непонятно, о ком это он: о Карпове или о Коле. Мы уходим тоже. В свою избу. В ней тепло.

Коля сидит на лавке. Меняет пряжку.

— Уйду к разведчикам. Лихие ребята, — говорит он.

Мы сидим и молчим. Сидеть надоело, молчать — тоже, говорить — тоже. Пополнения нету.

— Отправили бы куда-нибудь подальше, — все равно без дела сидим, — говорит Сашка. — Поехали бы мы

в городишко... В увольнительную ходили бы. В парке, наверное, оркестр играет. Скоро яблоны цвести начнут..

— Тебе бы Карпов дал бы там, — говорит Коля.

— Яблони и без тебя зацветут, — говорит Шонгин, — а оркестров сейчас нету. Ни к чему они вроде... Вот когда я на фронт уходил, тогда оркестр играл.

— Это был последний оркестр, — говорю я, — потом всем дали пулеметы. Все пулеметчиками стали.

— Э-э, болтать-то, — говорит Шонгин.

— Да, да. Теперь оркестры не играют. Теперь только тогда, когда город какой-нибудь освобождается.

...А когда я уходил, оркестр не играл. Была осень. Шел дождь. И мы с Сережкой Гореловым стояли на трамвайной остановке. И на нас были вещевые мешки. А в кармане лежал пакет из военкомата. И в нем — наши направления в отдельный минометный дивизион.

— Сами доедете, — сказал нам начальник второй части, не маленькие.

Мы и поехали.

Никто нас не провожал. И Женя не пришла. Мы ехали по вечерней Москве и молчали. А на Казанском вокзале было страшно тесно. И мы сели на пол. И это нам нравилось. Сережка курил и все время сплевывал на пол. Мы с ним играли в солдат, и нам нравилась игра. А я все время поглядывал по сторонам: может быть, увижу Женю. Нет, оркестры не играли нам на прощание. Только на возвышении стоял рояль, и к нему подсел какой-то хмельной морячок и заиграл старинный вальс. И все замолчали и стали слушать. И я слушал, а сам все время поглядывал по сторонам: не идет ли Женя.

Это был какой-то незнакомый вальс, но чувствовалось, что он старинный. Даже дети, которые плакали, вдруг перестали плакать. А морячок раскачивался на стуле, и длинный чуб его свисал и касался клавиш.

— Вот мы с тобой и солдаты, — шепотом сказал мне Сережка.

Морячок играл старинный вальс. Все слушали. Женщины, дети, старики, солдаты, офицеры... И я был счастлив, что сижу на полу вокзала, что рядом — мой вещмешок, что я солдат, что завтра, может быть, дадут мне оружие.

И я был счастлив, что я с ними, что хмельной морячок играет на рояле. И мне очень хотелось, чтобы Женя появилась здесь и увидела нас в этом мире, к которому мы причастились, который так не похож на наши дома, на нашу вчерашнюю жизнь..

А морячок играл старинный вальс. В зале было душно. Но никто не шумел. Все слушали музыку. Они и раньше слушали музыку. И, наверное, получше этой. Но эта была особенная. И потому все молчали.

А вальс все звучал и звучал. И офицер с красной повязкой, и два солдата комендантского патруля тоже слушали. Офицер — хмуро, солдаты — удивленно.

— Вот мы с тобой и солдаты, — сказал Сережка.

А морячок продолжал играть. И длинный чуб его полоскался по клавишам. Потом он вдруг опустил руки.

Они соскользнули вниз и повисли. А голова ткнулась в клавиши, и рояль издал странный грустный звук. Все молчали. И тогда к морячку подошел офицер с красной повязкой на рукаве и козырнул и что-то сказал. Вдруг все, кто были ближе, закричали на офицера.

— Что же это, братишки... — сказал морячок, — а если мою мамашу фрицы сожгли?..

— Сидит здесь в тылу, — сказал Сережка, — пошел бы туда, знал бы, как с повязкой ходить...

— И чего он привязался? — сказала какая-то женщина.

И тогда я побежал туда и крикнул офицеру:

— Ты, штабная крыса, нечего к людям приставать!

Офицер не слышал меня. А один из патрульных солдат сказал мне устало:

— Иди-ка, парнишка, домой.

...Фронтные сумерки лезут в окна. Света мы не зажигаем.

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — мы, бывало, с марша придем, коней накормим и давай кулеш варить.

— А старшина сегодня опять сахару недодал, — говорит Коля.

— Стала мне теперь жена по ночам снится, — говорит Сашка Золотарев, — не видать нам, ребята, увольнительных.

— Когда я учился в восьмом классе, — говорю я, — у нас учитель по математике был очень смешной. Только отвернется, а мы подсказываем, а он за это двойку, да все не тому...

ДОРОГА

Мы отправляемся на базу армии за минометами. Мы — это младший лейтенант Карпов, старшина, Сашка Золотарев и я.

Карпов забирается к водителю в кабину, мы трое устраиваемся в кузове старенькой нашей полуторки.

И машина идет. Надоело это глупое сидение в населенном пункте. Лучше ехать. И всем надоело. Мы улыбаемся с Сашкой и подмигиваем друг другу.

Старшина устроился возле самой кабины на мягком сидении из пустых американских мешков. К кабине прислонился, руки сложил на животе, ноги короткие вытянул и прикрыл глаза.

— Едем, ежики, — говорит он, — смотрите, не вывалитесь, пока я вздремну.

Едем.

Может быть, Нину где-нибудь встречу. Газик идет легко, потому что подморозило. Он торопится с холма на холм. А впереди — тоже холмы. А за ними — другие. Нам ехать-то всего сорок километров. Это такой пустык. Посмотрю, как там в глубоком тылу поживают.

Дорога не пуста. Машины, машины... Танки идут. Пехота идет. Все — к передовой.

— А под Москвой сибиряки немцев причесали, — говорит Сашка. — Если бы не они, кто знает, как вышло бы.

— Сибиряки все одного роста, — говорю я, — метр восемьдесят. Специально подобраны.

— Дурачки, — говорит старшина, не открывая глаз, — причем мамины калоши? Техника под Москвой все решила, техника...

А какой смысл спорить. Пусть себе говорят. Я знаю хорошо, что там было. Мне очевидцы рассказывали. И когда шли сибиряки, немцы катились на запад без остановки. Я знаю. Потому, что сибиряки стояли насмерть. Они все охотники, медвежатники. Они с детства смерти в глаза смотрят. Они привыкли. А мы? Вот Сашка или я. Разве мы сможем? Вот на нас танки пойдут, ведь мы глаза закроем. И не потому, что мы трусы. Просто мы не привыкли... Смогу я на танк выйти? Нет, не смогу. С минометами это проще. Тут передовая далеко. Стреляй себе, постреливай, позицию меняй. А лицом к лицу... Хорошо, что мы не пехота.

Вдур наша полуторка останавливается. Впереди дорога пуста. Только далеко-далеко какой-то одинокий маленький солдатик стоит и смотрит в нашу сторону. Старшина спит. Мы с Сашкой соскакиваем на дорогу. Младший лейтенант Карпов спит в кабине. Нижняя губа у него отвисла, как у старика. Водитель поднял капот.

А солдатик бежит к нам. Маленький солдатик. Меньше и не придумаешь. Он бежит к нам и размахивает руками.

— Гляди, гляди, — говорит Сашка. — Сибиряк бежит.

Я смеюсь. Очень уж маленький этот солдатик. Вот он подбегает к нам, и я вижу, что это девочка. Она в шинели. Аккуратно затянута ремнем. И на плечах — погоны старшины. А лицо маленькое, и нос на нем как крохотный бугорок.

— Подвезите, ребята. Целый час торчу. Все машины — к фронту, а обратно ни одной. А мне вот так надо, — говорит она и проводит рукой по горлу.

Я помогаю ей взобраться в кузов. Мы с Сашкой отдаем ей свои плащ-палатки, и она садится на них.

— Вы откуда, малышки?

Мы киваем в сторону передовой.

— А пятнадцатая уже ушла?

Мы переглядываемся с Сашкой и пожимаем плечами. Наш газик наконец трогается. Старшина спит. Он даже всхрапывает.

— Это потрясающе! — говорит наша попутчица и смеется, — храпит, как на печи.

— Он поспать любит, — говорит Сашка.

Когда она смеется, губы у нее уголками загибаются кверху. Как у клоуна. Старшина! А я солдат. А куда она, такая маленькая, тоненькая, совсем девочка? Что случилось: всех подняло, понесло, перепутало... Ползают школьники по окопам, умирают от ран, безрукими, безногими домой возвращаются... Девочка — старшина... Что случилось?

— Сорок юнкерсов позавчера на базу налетели, — говорит она, — это потрясающе. Мы с ног сбились.

— А что бы на передовой ты делала? — спрашивает Сашка, — там ведь и похуже бывает.

— Плакала бы, наверно, — говорит она и смеется.

... Что случилось?.. Плакала бы, конечно. Я ведь тоже почти плакал. Перед войной я смотрел кинокартину. Там все бойцы были как бойцы: взрослые, опытные, они знали, что к чему. А я не знаю, Сашка не знает, и эта девочка не знает... А старшина спит, и Карпов они знали, что к чему. А я не знаю, Сашка не знает, настоящий командир, хоть и хмурым..

— Меня зовут Маша, — говорит она. — Я — старшина медицинской службы. Я в классе всех мальчишек была.

— А ты похвастаться любишь, да, старшина? — говорит Сашка.

Старшина просыпается. Он долго смотрит на Машу.

— Ты еще откуда взялась? — спрашивает он.

— А можно не тыкать? — спокойно говорит Маша.

У старшины шапка ползет на затылок.

— Да как ты со мной разговариваешь?!

— Это потрясающе, до чего безграмотный мужчина, — обращается она к нам.

Мне хочется смеяться. Старшина долго разглядывает Машу, потом замечает нашивки на ее погонах.

— Я вас спрашиваю, товарищ старшина, откуда вы?

Машина снова останавливается. Водитель снова поднимает капот. Из кабины выходит Карпов.

— Как там дела? — спрашивает он у нас.

— Ваши солдаты замерзли тут, пока вы спали, — говорит Маша.

— Ого! — говорит Карпов, — какой приятный пассажир. А вы-то не замерзли?

И он приглашает ее в кабину.

Она легко выпархивает из кузова. Машет нам рукой приветственно.

Как, должно быть, в кабине тепло. От мотора воздух жаркий, сидеть мягко. Вся дорога — как на ладони.

Карпов лезет за ней.

— Нет, нет, — говорит она, — может быть, мне вернуться, товарищ младший лейтенант?

— Сидите уж, — холодно говорит Карпов. Он забирается в кузов.

— Что это ты, Золотарев, ноги растопырил? — говорит он, — сидеть по-человечески не умеешь, что ли?

...Едем. Уже темнеет. Если через полчаса не будет базы, замерзну к черту. Сашка весь замотался, только нос виден. Красный толстый нос.

— Человеку кровать нужна, а не кузов, — бубнит он, — и теплая печка, и еда повкусней, и любовь...

— А работать кто будет, ежик? — спрашивает старшина.

Когда вернусь домой, буду хорошо учиться. Спать буду ложиться в десять вечера. Зимой надену меховую шубу, чтобы никакой черт меня не взял..

Мы останавливаем какую-то машину. Спрашиваем. Оказывается, до базы еще около восьмидесяти километров.



В. М. ВАСНЕЦОВ (1848—1926). В. Д. Поленов верхом на лошади. Набросок с картины „Богатыри“. Бумага. Односеансная. Граф. карт. Разм. 26,8×2,09. 1882 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

— Как же так? — удивляется Карпов, — ведь сказали сорок.

— Другой дорогой надо было ехать, — отвечают с машины.

— Проспал дорогу, черт, — шипит Сашка.

— Замерзнем, — говорит старшина.

Выходит из кабины Маша.

— За первым поворотом отсюда — совхоз № 7, — говорит она.

— Правда? — радуется Карпов.

— Я неправды не говорю, к вашему сведению.

...Мало домов осталось целыми в этом совхозе. Мало. Но когда сводит пальцы, и губы заоченели, и ноги, как деревянные — какая разница, сколько домов? Есть дома, и в них пускают, и в них тепло, и можно попить кипяточку.

Карпов выбирает дом побольше и поцелей и приглашает туда Машу.

— Тут вам будет удобнее.

И обращается к нам:

— А вы, друзья, вон в тот, где окно светится.

— Я пока у машины побуду, — говорит водитель, — после смените меня.

Я смогу выдержать еще одну минуту. Мы с Сашкой бежим к дому. Нам открывает девочка. Она в платке. В валенках.

— Кто пришел? — спрашивают из комнаты.

— Это наши, мама, — говорит девочка.

Девочку зовут Вика. Ее мама тоже в платке и в ша-ли. Она похожа на мою маму. Очень. Она приглашает нас в комнату. Мы сбрасываем шинели:

— Не найдется ли у вас кипяточку? — спрашиваю я замерзшими губами.

Мы вываливаем на стол дубленые свои сухари.

— Больше, хозяйюшка, ничего не имеем, — говорит Сашка, — рады бы.

— Ничего, ничего, — говорит она, — сейчас я вас покормлю.

— А Карпов-то к Маше полез, — говорит Сашка, — и старшину взял на побегушках быть.

Мы сидим за столом. Вика тоже сидит и смотрит на нас большими глазами. А ее мама ставит на стол сковороду. А на сковороде дымится пирог. Черт знает что! Как она похожа на мою маму...

— Здесь госпиталь останавливался, — говорит она, — подарили мне бутылочку спирту. Выпейте, мальчики, погрейтесь.

У нее большие синяки под глазами. Мы не отказываемся от спирта. Я выпиваю свою рюмку и чувствую, что задыхаюсь. Сажу с открытым ртом. Она смеется.

— Нужно было выдохнуть воздух перед глотком. Я совсем забыла предупредить вас. Заедайте пирогом.

Я ем пирог. Как она все-таки похожа на мою маму. У меня кружится голова. Кружится у меня голова.

— Это я из ваших сухарей сделала, — говорит она.

— Еще тяпнем? — спрашивает Сашка.

— Тяпнем, — говорю я.

Она наливает нам спирту.

— Надо бы и вам, хозяйюшка, — говорит Сашка.

Она улыбается и качает головой. А у меня голова кружится, кружится.

— Маме нельзя, — говорит Вика.

— Немножечко, — просит Сашка.

— Маме нельзя, — говорю я, — что привязался?

Она гладит меня по голове и подкладывает мне пирог. Кружится моя голова. Жарко стало. Сашка отодвинулся куда-то далеко. И Вика отодвинулась. И мама... Это чтобы мне не так жарко было...

— Вы здешняя? — спрашивает Сашка.

— Мы из Ленинграда, — говорит Вика.

— Как приятно, — говорю я, — а я из Москвы. Какое совпадение... Какая встреча... Где-то у черта на куличках... Я очень рад, очень рад... Если поедете в Ленинград через Москву, позвоните, пожалуйста, ко мне домой...

Сашка ест пирог. Пока он ест, я немного посплю. Положу голову на стол и посплю.

— погоди, — говорит Сашка, — я тебя доведу.

Он кладет меня на расстеленную шинель.

— Я устал что-то, — говорю я.

— Спи, мальчик, спи, — говорит мама. Она стоит надо мной.

— Мама, — говорю я, — я жив-здоров. Скоро вернусь... С победой...

...Утром в комнате тишина. На Сашкином месте спит водитель В доме никого. Надеваю шинель. Бегу к машине. Вокруг нее ходит с автоматом на груди Сашка.

— А я? — спрашиваю я, — что же ты меня-то не разбудил?

— А ты спал — не добудишься, — говорит Сашка, — ты зашиб вчера. Тебя разморило.

— А ты так и ходишь? Один?

— А я выпался, — говорит Сашка. — Ну, походи немного, я погреемся схожу.

— Я — подлец и мерзавец. Вот я бы на его месте так, наверное, будил бы, пока не разбудил. Я бы больше своей нормы и не ходил бы, наверное. Я—скотина. Прочитать меня нужно. Я — предатель. Хоть бы кто-нибудь полез сейчас к машине, я его перерезал бы очередью.

Из дому выходит старшина.

— Ну, как, ежик, все в порядке?

Я ничего не отвечаю. А ему и не нужно это. Он забирается в кузов, зеваает во весь рот.

— Иди, зови ребят. Ехать надо.

— ...Погодите немного, — говорит нам мама Вики, — сейчас пирог из картофеля готов будет.

— Спасибо, нам пора, — говорю я.

— Вы пирог за наше здоровье съешьте с дочкой, — говорит Сашка.

Мы идем к машине. Маша сидит в кузове. Она улыбается нам.

— Выяснили точно. Еще тридцать километров до базы, — говорит водитель.

— Это потрясающе! — говорит Маша.

— Все сели? — высовывается из кабины Карпов.

И вдруг я вижу: бежит от дома через дорогу Вика. Она протягивает сверток. Я на ходу успеваю взять его.

— Это пирог! — кричит она, — До свиданья!

Мы долго машем ей руками.

— Как спалось? — спрашивает Сашка у Маши.

— Мы с хозяйкой — отлично, — смеется она, — а вот товарищ младший лейтенант не спал, кажется.

— Они спали, — говорит старшина.

— Ну, значит, вы не спали, — смеется Маша, — кто-то три раза за ночь будил нас, в дверь стучал: «Маша, мне надо с вами поговорить!»

— Я не стучал, — говорит старшина.

Н И Н А

Карпов выходит из штаба дивизии. Мы смотрим на него.

— Пополнение уже ушло к нам, — говорит он. — Мы разминулись. Ждать не стали.

— Вот и хорошо, — говорит старшина, — забот меньше.

— Будем американский бронетранспортер получать, — говорит Карпов, — тоже штука ничего себе. Берите, старшина, сапоги на складе, грузите полоторку и отправляйтесь. Мы — в бронетранспортере.

Сапоги! Вот они когда, Настоящие сапоги. Вот теперь-то только и начнется по-настоящему. Сапоги... А то ведь, как обозник, в обмотках хожу. Даже стыдно. Автомат и обмотки. Ну уж теперь повоюем!

Карпов уходит по всяким отделам.

— В сапоги можно наvertеть тряпок до черта, — говорит Сашка, — никакой мороз не прошибет.

— И не промокнут, — говорю я.

— Хорошо, — говорит Сашка, — тавотом подмазал и гуляй.

— И ложку можно за голенище заткнуть, — говорю я.

— Обуваться-то — одно удовольствие, — говорит Сашка, — потянул и готово.

— Надо за ушки тянуть, — говорю я.

— Конечно, за ушки, — говорит Сашка. Он уходит знакомых поискать. Земляков. А я тоже похожу. Посмотрю, как тут люди живут.

Идет война. Идет она себе без передышки. Делает свои дела. Ни на кого не смотрит. Идет война. Ржавает мой автомат. Ни разу я не выстрелил из него.

— Ты откуда взялся, господи?! — слышу я за спиной.

Это Нина! Она в гимнастерке. Пустой котелок в ее руке. Это же Нина...

— В гости приехал?

— Тебя искал, — говорю я, — с тех пор все ищу.

Она смеется. Она рада. Я вижу.

— Ах ты, мой дорогой... Вот дружок настоящий. Не забыл, значит?

Ей холодно стоять. Мороз ведь и ветер.

— Пойдем-ка, поедим. Поговорим что да как, да?

Она тянет меня за руку. Я иду за ней. Иду за ней...

Мы сидим с ней в штабной столовой. В бараке. Никого нет.

— Все уже обеды, — говорит она, — это я опоздала. Сейчас выпросим у Феди порцию.

— Федя, — говорит она в окошечко повару, — дай, Федя, супу. Ко мне дружок с передовой приехал...

И Федя наливает полную миску супу для меня. А Нина отламывает кусок хлеба от своего.

— С миру по нитке?... — спрашивает в окошечко черный усатый Федя.

— Здесь тепло, — говорю я.

— Ну как там у вас? — спрашивает она, — Коля как поживает?

— Нина, — говорю я, — а ведь я и в самом деле тебя искал. Думал-думал о тебе... Что же ты молчала?

— А мы сейчас поедим с тобой, а потом покурим, да?

— Что же ты молчала?

— Не пошла бы я обедать, наверное, и не встретилась бы.

— Вот теперь я вижу, какие у тебя глаза. Зеленые. А то вспоминаю, а вспомнить не могу. Какие они? Какие? А тут понял наконец.

— Ты ешь, ешь. Остынет. Трудно там у вас?

— Знаешь, я даже представил однажды, как мы с тобой после войны встретились. На тебе — розовая жакетка, а шапки никакой...

— Совсем никакой?

— ...Мы идем по Арбату...

— Да ты ешь. Холодный, наверно, суп, да?

— Мне ведь скоро уезжать. Обратное. Хочешь, я тебе письмо напишу?

— А я тут девчонкам рассказывала. Там, говорю, у меня дружок есть. Черноглазенький. На всю войну — один. А они мне не верили. Смелись. А ты ведь помнил меня, да?

— Почему же один? Других у тебя нету?

— А другим-то ведь другое нужно...

Черноусый Федя внимательно смотрит на меня. Чего он смотрит? Может быть, жалеет, что супу дал? Может быть, он тот самый «другой»?..

— Послушай, да я ведь это всерьез. Я ведь думал о тебе. Я никогда ни о ком так не думал, как о тебе.

— Ну вот и ты тоже, — губы у нее кривятся. — Как хорошо-то было...

...А на самом краешке миски, словно червячок, одиноко повисла лапша. Белая, печальная такая. А Нина подперла щеку кулачком и смотрит мимо меня. А в зеленых ее глазах я вижу окно барака. А за ним — зеленые сумерки наступают.

— А здесь даже выстрелов не слышно, — говорит Нина, — только раз бомбили.

— Послушай, Нина, — говорю я, — ну, хочешь, я буду письма тебе писать? Просто так. Как мы там живем... А то ведь пропадешь ты. Где тебя искать-то потом?

Дурочка она какая! Неужели она не понимает? Что я, соблазнитель какой-нибудь, что ли?.. Война. Это ведь не Женя. Там все казалось, казалось. А это ведь настоящее. Неужели она не видит? Я теперь понимаю все. Вот дурочка...

— Что ж ты думаешь, я как другие? Хочешь, докажу? Хочешь, при тебе, сейчас домой напишу про все. Сама отправишь...

Черноусый Федя все смотрит на меня. Делать ему нечего, что ли?

— Вот и опять у нас с тобой свидание... да?

— ...и когда война кончится, мы поедем вместе...

— Прямо посередке войны у нас с тобой свидание. Вот только мороженым не торгуют. Федя, — говорит она, — нет ли у тебя мороженого?

— Для вас, Ниночка, все есть, — говорит Федя, — только оно у нас горячее. В виде кипяточка.

— Я когда до войны гулять ходила, всегда мне кавалеры мороженое покупали. А один был такой — не купил. Я его быстренько разогнала... А у нас в городе парк был...

— Нина, скоро мне ехать.

— Жалко мне тебя, — говорит она, — тебе не воевать надо. Много ты навоюешь, а? Только не сердись, не сердись. Это я ведь не к тому, что не можешь. Просто, зачем это тебе, да?

— А тебе?

— А мне уж и подавно. Вот Федя в ресторане работал. Ресторан «Поплавок». Да, Федя? Отбивные готовил. Салаты...

— Мне ведь уезжать, — говорю я, — ты скажи, напишешь мне? Мне ведь легче жить будет.

— Напишу, — говорит она, — напишу.

Мы идем к выходу. Позвякивает ложка в котелке.

— Послушай, Нина, а тот майор, он что...

— Тот?

— Да, тот...

— О, ты его заметил.

Мы снова останавливаемся у самой двери. Она стоит рядом со мной. Совсем рядом. Какая она все-таки маленькая, хрупкая, тоненькая. Какая она беззащитная. Я возьму ее за плечи, за круглые ее плечи... Я поглажу ее голову ладонью. Пусть она не объясняет. Я не хотел спрашивать, не хотел...

— Ты что, жалсешь меня, да?

— Нет, только и ты меня не жалей, Нина.

— А что ж ты дальше-то делать будешь?

— Буду ждать писем твоих.

— А если не дождешься? Всякое ведь бывает...

— Дождусь. Ты ведь обещала.

— Зачем тебе это, глупый...

Глупый я, глупый. Что-то я не так сказал. Не о том я говорил.

— Вон у тебя крошка хлебная на щеке, — говорю я.

Она смеется. Смахивает крошку.

— Пора идти нам с тобой. Хватятся тебя.

— Пусть хватятся, — говорю я. — Пусть хватятся. Семь бед один ответ.

— Смелый ты у меня какой, — смеется она. И проводит ладонью по моей голове.

Мы выходим в тамбур. Я касаюсь ее плеча.

Она отводит мою руку. Очень ласково отводит.

— Не надо, — говорит она, — так лучше.

И целует меня в лоб. И бежит в начавшуюся метель.

...У штаба дивизии стоит бронетранспортер. Сашка ходит вокруг. Разглядывает.

— Сейчас поедем, — говорит он.

ПОТЕХА

Бронетранспортер — очень удобная машина. Он словно серый жук. Он всюду пройдет, отовсюду вылезет. В нем уютно. Тепло. Печка электрическая работает. Можно даже поспать на ходу.

Я не сплю. Я подремываю. Что будет к вечеру, когда мы догоним свою батарею? Может быть, будет тяжелый бой? Может быть, никого мы уже не заста-

нем... Вот приедем на место, буду ждать писем от Нины... А Сашка спит. По-настоящему. А Карпов сидит рядом с водителем и не то спит, не то просто устался неподвижно в разбитую дорогу.

...А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?..

— Товарищ младший лейтенант, — говорю я, — если бы дорога хорошая была, вот бы мы мчались, наверное.

Но Карпов не отвечает. Спит, видно, Карпов.

— Федосьев, — говорю я водителю, — а хорошая теперь у нас машина...

— А я не Федосьев, — говорит он, — я Федосеев. Федосеев я. Все меня путают. И Федоскиным называют и по-всякому. А я Федосеев. На войне-то разве разберешься: Федосеев или Федосьев? Некогда разбираться. Было раз — Федишкиным назвали. Потеха ведь. А я Федосеев. Сорок лет уже Федосеев. Как говорится, с самого первого дня младенчества.

Мы везем бочку вина. Это на всю батарею. Это фронтовая норма.

— А винцом-то пахнет, — говорит Федосеев.

У него оттопыренные розовые губы, белые брови, зубы редкие крупные. Он говорит нараспев. Он, наверное, никогда не выходит из себя. С ним уютно, надежно.

— А винцом-то пахнет, — говорит он.

Бочка большая. Отверстие заткнуто деревянной пробкой. Прочно. Не выбить. Да если и выбить, все равно: как до вина дотянуться? А на батарее сейчас принимают пополнение. Новички. Юные ребята, наверное. Стоят, озираются. Потеха. Школяры. Коля Гринченко вышагивает, наверное, перед ними. Фасонит. А Шонгин, наверное, покуривает и говорит Коле: «Болтать ты горазд, Гринченко...» А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?

— А если газу прибавить, — спрашиваю я, — что получится, а, Федосеев?

— Получится прибавление скорости, — говорит Федосеев, — скорость увеличится. Это если газу прибавить. Только здесь нельзя. Дорога плохая. Трясти будет, если газу прибавить...

— Ну и пусть трясет.

— А зачем нам?

— А интересно ведь, когда трясет...

— Машину-то жалко. И люди спят. Пусть поспят. Это мы с тобой не спим. А они спят. И пусть.

А если я без сапог останусь? Меня не жалко? Гная сы ты, Федосеев, покрепче. Может, успеем еще.

— А винцом-то пахнет, — говорит Федосеев.

А ведь действительно, вином пахнет. Ароматный дух идет от бочки. И есть хочется. Только вина нам не пить. Оно — в бочке. И пробка величиной с кулак.

— А пробку можно вытащить, — говорит Сашка на ухо мне.

Вдруг Карпов услышит. Он нам даст...

— Конечно, можно, — говорит Карпов, не поворачивая головы.

— Это только прикажите — пара пустяков, — говорит Федосеев.

Мы съезжаем с дороги и останавливаемся у одинокого столба. Мы вытаскиваем пробку. Легко. Она, как по маслу, вылезает из своего гнезда. И сквозь морозный воздух пробивается облачко винного дурмана. Все сильней и сильней.

— Каждый пробует свою норму, — говорит Карпов, — не больше.

— Закусить бы, — говорит Сашка.

— Закусывать на батарею будем, — говорит Карпов.

Федосеев делает очень просто. Он берет резиновый шланг, которым бензин переливают, и опускает один конец в бочку.

— Котелочки подставляйте, — смеется Сашка, — чтобы не пролилось.

Золотое вино льется в подставленный котелок. Сашка прикладывается. Мы смотрим на него.

— Бензином воняет, — говорит он.

— Это ничего, — говорит Карпов, — ничего.

Он отпивает несколько глотков.

— Чистый бензин, — говорит он и сплевывает.

— Без этого нельзя, — говорит Федосеев, — шланг ведь. Ну-ка я попробую...

Мы распиваем пробу. Вино крепкое. Это чувствуется сразу.

— Нужно не дышать, когда пьешь, — говорит Сашка.

— Бензиновый дух — это самое полезное, — говорит Федосеев, — никаких болезней не будет. Это привыкнуть надо. Я-то вот ничего. Мне не противно. Привычка. Ну-ка, дай-ка котелочек-то...

— Ну, теперь давайте по норме отливайте и все, — говорит Карпов.

— А какая норма? — спрашиваю я.

Никто не может объяснить, какая норма.

— Пока пьется, — говорю я.

— Но-но, — говорит Карпов, — это что еще за штучки!

Я уже знаю, как будет. Выпью, и теплое, как огонь, пойдет по телу. Станет жарко, томно, странно.

— Ты не пей много, Федосеев, — говорит Карпов, — тебе машину вести.

— Водичка, — говорит Карпов. — Я этого добра моту два литра, и ни в одном глазу. Водичка.

— Да, — говорит Сашка, — это тебе, брат, не водичка. Водичка.

Я уже не могу пить. В котелке еще много, а я уже не могу. Губы у меня почему-то стянуло. Трудно рот раскрыть. А у Сашки весь подбородок в вине. Он только успевает передохнуть и снова к котелку. А Карпов хватается рукой за бронетранспортер.

— Черт, от голода уже сил нет никаких, — говорит он.

— Пора бы ехать, — говорит Федосеев и лезет в кабину.

— Нашел место, где остановиться, — говорит Карпов, — на самых буграх. Ногу поставить некуда. Вот там поровнее место-то.

— А ты здорово ухлестнул, — говорят Сашка Карпов.

— Я еще не так могу. Я чистый спирт могу, — говорит Карпов.

— А тебя как зовут? — спрашивает Сашка.

— Меня Алексеем зовут, — говорит Карпов.

Щеки у него красные-красные. И у Сашки тоже. Они как два брата.

Мы залезаем в машину.

— Тебе дать еще, Алеша? — спрашивает Сашка.

Карпов мотает головой. Сашка сосет шланг. Вино льется в котелок.

— На-ка, попей, — тычет Сашка котелок Карпову, — попей, Алеша, водичку...

Руки у Сашки короткие, словно два обрубка, а вместо головы винная бочка. Вот это голова!

— А куда же ты пробку-то воткнешь? — смеюсь я. — В рот, что ли?

А Сашка качает своей бочкой и молчит.

— А где шланг? — спрашивает Федосеев.

— В бочке, — говорит Сашка.

— Купается, — смеюсь я.

— Купается? — спрашивает Карпов, — я и не видел.

— Эх ты, Алеша, — смеюсь я.

— Он хороший, этот Карпов, зря я на него обижался. Вон у него губы какие обиженные-обиженные. Я щекочу его шею.

— Эй, Алеша, — говорю я, — не грусти.

Сашка положил голову на бочку и спит. Пусть поспит. Он тоже хороший. Все хорошие. Вот когда мне сапоги дадут, я еще не так воевать буду.

— Сашка, — говорю я, — заткни бочку, противно.

А Сашка плачет. Большие слезы текут по его щекам. Как у ребенка.

— Куда я еду? — всхлипывает он, — надо мне больно ехать с вами! Меня Клава ждет... Где ты там, Клава?..

Как противно пахнет. Смесь вина и бензина. А если смешать духи с персиками? Все равно противно. А если — розы с гуталином?.. Вот если тихонечко нить, тихонечко-тихонечко по-комариному, тогда легче.

— Тебе что, плохо, парень? — спрашивает Федосеев: А мне не плохо. Только запах противный. И ноги не протянешь. Тесно.

— Приходи ко мне, — говорит Карпов, — я тебе покажу мою собаку.

— Куда приходиться?

— Улица Волжская, дом восемь.

— Потеха, — говорит Федосеев.

А Сашка плачет крупными слезами. Он вспоминает свою Клаву. И утирает слезы ладонями. А мне не хочется плакать. Зачем плакать?.. А у Сашки опять вместо головы — бочка. Она кружится, эта бочка, нет спасенья.

— Из-за фрицев этих ты меня, Клавочка, позабудешь... Купи мне пачку «Норда», на память... Простимся у порога. Клавочка, купи себе платок пестрый, — слышится из бочки, — а придешь — еще денег дам...

А я не плачу. Я лучше поною. Так дышать легче. Потому что этот запах проклятый... Прости меня, Нина. Тоненькая, маленькая, вся странная... неизвестная... прости меня.

— Куда мы? — спрашивает Карпов.

— В батарею, — говорит Федосеев. — Вон они уже летят, летят.

— Пьян ты, что ли, Федосеев?.. Кто это летит?.. Это ракеты, что ли? Ты на передовую меня везешь?

— Она самая. Вон она, рядышком.

— А на что мне она, Федосеев?

— ...мне там делать нечего.

— Заворачивай ко мне на чашку чая...

Я бы тоже чаю попил. А то этот запах проклятый...

...Открываю глаза. Стоит наш бронетранспортер. Впереди выстрелы отчетливо уже слышатся. В голове туман. Сашка спит. Карпов спит. Откинул голову, открыл рот. Мы вино пили. Противно даже.

— Что это мы стоим?

— Прибыли. А батареи нет. Никого нет, — говорит Федосеев. — Ушел фронт. Надо догонять... А ты хорош был. Как оно тебя, а?

Машина идет вперед. Фары погашены. Снег идет крупный-крупный. От него светло кругом. Призрачно светло. Как во сне. Я вижу сон. Или я пьян еще? Идет наступление, а мы напильсь. Это пьяный бред — там впереди белая фигура. Она стоит на нашем пути. Она подняла руки. В одной — автомат, в другой — фонарь «летучая мышь». Желтый огонек ничего не освещает.

— Стой, Федосеев, — говорю я.

Машина останавливается. Карпов проснулся. Он смотрит на фигуру. Он руку тянет к кобуре.

— Это же свои, — говорит Федосеев, — узнаем-ка, что там такое?

А вдруг это немцы? Где мой автомат? Нету моего автомата. Он где-то там, под бочкой. Под винной бочкой. А фигура приближается, приближается. Федосеев распакивает дзержы.

— Ребятки! — кричит фигура, — ребятки, помогните нам по-быстрому. Тут дружков наших побило. Зарыть надо...

Фигура приближается к машине. Это солдат. Он весь в снегу. Пола шинели оторвана.

— Чем побило? — спрашивает Карпов и зеваает.

Он зеваает, словно с печки слез. Он зеваает, когда там убитые лежат! Он пьян, этот Карпов.

— Пулями побило! — говорю я.

— Не суйтесь не в свое дело, — говорит Карпов. — Где убитые?

Солдат машет фонарем.

— Тама, тама, — говорит он, — все... семеро. А нас двое живых-то. Помогните, ребятки.

— Там бой идет, — говорит Карпов, — как же мы можем на батарею опоздать?

— И так опоздали, — говорит Федосеев.

— Пить не надо было, — говорю я и удивляюсь, как я смело говорю.

А Карпов смотрит на меня и молчит. Он ничего не говорит, потому что нечего ему сказать.

— Напились все, как свиньи. А тут бой идет, — громко говорю я. — Пошли, Федосеев?

Мы вылезаем из машины. Карпов тоже. Молча. Потом — заспанный Сашка. Мы берем лопаты, ломик и идем за солдатом.

— Такое было, такое было, — говорит он на ходу, — с первого дня такого не было. Шесть часов друг дружку молотили. Потом только вперед пошли.

Мы идем по снежным буграм. Нет, не сон это. Там впереди страшный бой продолжается. Мне слышно хорошо. Вот, Ниночка, твой вояка и отличился. А под невысоким холмиком долбит замерзшую землю одинокий солдат. А тот, что с нами шел, говорит:

— Вот, Егоров, подмогу я привел. Сейчас мы быстро, Егоров. Ты давай, давай, долби ее. Сейчас мы все возьмемся.

А чуть в стороне — лежат тела убитых. Их снегом запырило. Шинели белые, лица белые. Семь белых людей лежат и молчат. Какой же это сон? Это убитые. Наши. А мы вино пили.

— Ничего себе командир, — говорю я Сашке, — сам напился и нам позволил.

— Молчи ты... — говорит Сашка.

— Беритесь-ка за лопаты, — говорит Карпов.

— Всем надо брататься, — усмехаюсь я.

Сашка и Федосеев смотрят на меня.

— А я тоже берусь, — спокойно говорит Карпов. — Вот и у меня лопата есть.

А семеро лежат неподвижно, как будто их это не касается. Мы роем молча. Час или два. Земля поддается с трудом. Но она поддается. Сейчас мы будем хоронить убитых. Как я на них посмотрю?..

— Да погаси ты фонарь, — говорит Карпов.

Егоров гасит фонарь. Но ничего не меняется. Он ведь почти и не светил совсем. И что это Карпову вздумалось фонарь гасить?..

Яма получилась глубокая. И вот тот, первый солдат, лезет в нее.

— Ну, давай, Егоров, — говорит он. И я понимаю, что это значит. А Егоров делает нам знак, и мы идем за ним. Неужели мне сейчас брать мертвых руками и тащить к могиле?! Сашка и Егоров берут первого. Несут. Федосеев нагибается ко второму. Карпов смотрит на меня. А почему бы мне и не взять? Возьму за ноги. Это ведь не голова. Я должен взять. Именно я. Не Карпов, а я. Я беру убитого за ноги. Мы несем.

— Осторожно, ребятки, — говорит из ямы первый солдат, — не уроните.

— Никак Леня, — говорит Егоров, проходя мимо.

— Это наш Леня, — говорит первый солдат, — давайте его сюда.

Он принимает у нас тело Лени и бережно укладывает его.

Потом мы приносим еще одного, еще одного.

— Салтыкова сверху. Он молодой был, — говорит первый солдат, — ему лежать легче будет.

— А ты помолчать не можешь? — спрашивает Карпов.

— А им ведь не обидно это, товарищ младший лейтенант, — говорит солдат, — а помолчать я могу, конечно.

Мы укладываем всех. Аккуратно. Они лежат в шинелях. Они лежат в сапогах. У всех новые сапоги. Мы молча орудуем лопатами. Мы делаем все, что нужно. Все, что нужно. Вот уже и сапоги скрылись под слоем земли. И на холмике лежит каска. А чья — неизвестно...

...Мы снова едем туда. На выстрелы. Мы молчим.

ОТКРЫТЫЙ СЧЕТ

...А кто считал, сколько раз уже мы позицию меняем? Кто считал? А сколько я поросят передал заряжающему нашему Сашке Золотареву? А как у меня руки болят... Мы ведь не просто позицию меняем: лишь бы переменить. Мы вперед идем. Моздок уже за спиной где-то. Давай, давай! Теперь-то я уже наверняка ложку достану. Хорошую новенькую ложку буду иметь. А вот бой кончится, выдаст старшина мне сапоги... Это, когда кончится. А когда он кончится?.. Все кланяется Коля Гринченко. Он припадает к прицелу. Выгибается весь. Он ведь длинный.

— Взво-о-од!.. — кричит Карпов. Он взмахивает веточкой. Он стоит бледный такой. — Огоны!..

Сашка Золотарев сбросил с себя шинель. Ватник распахнул. Губы белые. Он только закидывает мины в ствол, только закидывает. И ахает каждый раз. И минует ахает.

Сквозь залпы и крики слышно, как в немецком расположении начинает похрюкивать «Ванюша». И где-то за батареей нашей ложатся его страшные мины.

— Как бы не накрыл, — говорит Шонгин. Он даже кричит, а еле слышно, — накроет, и все тогда!

— Отбой! — кричит Карпов.

— Слава богу, — жалобно смеется Сашка, — руки оторвались. Заменить-то нечем.

Приходят из укрытия ЗИСы. Цепляем минометы. И снова хрюканье «Ванюши», и шуршание мин над головой, и визг их где-то за спиной. Пронесло. Опять пронесло. Как противна беспомощность собственная. Что я кролик? Почему я должен ждать, когда меня стукнет? Почему ничего от меня не зависит? Стою себе на ровном месте, и вдруг — на тебе.. Лучше в пехоту, лучше в пехоту... Там хоть пошел в атаку, а-а-а-а!.. и уж кто кого... и никакого страха — вот он враг. А тут по тебе бьют, а ты крестишься: авось да авось... Вот опять. Похрюкивает «Ванюша» все настойчивее, упрямей. Все чаще ложатся мины, все ближе. Истощено кричат наши ЗИСы, выкарабкиваются из зоны огня...
Скорей же, черт!



В. А. СЕРОВ (1865—1911). Четыре итальянских мальчика-натурщика на рисовальных вечерах у В. Д. Поленова. Бумага. Односеансная. Тушь, перо. Разм. 30×18,4. 1888 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

И снова похрюкиванье. Мирное такое. Раз и еще раз. И вой...

— Ложись!..

Шонгин сзади кружится на одном месте.

— Грибы собираете?! — кричит Карпов.

— Обмотка...

И он кружится, кружится, ловит свою обмотку, словно котенок с клубком играет.

В бок мне ударяет чем-то. Конец?.. Слышно, бегут. Это ко мне. Нет, мимо. Жив я! Мамочка моя милая... жив... снова жив... Я жив.. я еще жив... у меня чю рту земля, а я жив... Это не меня убили...

Все бегут мимо меня. Встаю. Все цело. Мамочка моя милая... все цело. Там недалеко Шонгин лежит. И Сашка стоит над ним. Он держится рукой за подбородок, а рука у него трясется. Это не Шонгин лежит, это остатки его шинели... Где же Шонгин-то? Ничего не поймешь... Вон его котелок, автомат... ложка!..Лучше не смотреть, лучше не смотреть.

— Прямое попадание, — говорит кто-то.

Коля берет меня за плечи. Ведет. И я иду.

— Землю-то выплюнь, — говорит он, — подавишься.

Мы идем к машинам. Они уже трогаются. Возле Шонгина остались несколько человек.

— Давай, давай, — подсаживает меня Коля.

— Все целы? — спрашивает Карпов.

— Остальные все, — говорит Коля.

...К вечеру въезжаем в какой-то населенный пункт. И останавливаемся. Неужели все? Неужели спать? Подходит кухня. В животе пусто, а есть не хочется.

Мы сидим втроем на каком-то бревне. Я отхлебываю суп прямо из котелка.

— Фрицы сопротивляются, — говорит Сашка.

— Теперь уже пошло, — говорит Коля.

— Теперь наши стали и днем летать, — говорю я.

— А голова-то у тебя цела? — спрашивает Коля.

— У него голова, как котел. Все выдержит, — говорит Сашка. Он смеется. Тихонечко. Про себя.

— Жалко Шонгина, — говорю я.

Мы молча доедаем суп.

— А тебе без ложки-то легче, — говорит Коля, — хлебнул пару раз—и все. А тут, пока его зачерпнешь, да пока ко рту поднесешь, да половину прольешь...

— А я тут ложки видел немецкие, — говорит Сашка, — новенькие. Валяются. Надо бы тебе принести их.

И он встает и отправляется искать ложки. Будет и у меня ложка! Правда, немецкая. Да какая разница... Сколько я без ложки прожил! Теперь зато с ложкой буду.

Ложки и в самом деле хорошие. Алюминиевые. Целая связка.

— Они мытые, — говорит Сашка, — фрицы чисто-ту любят. Выбирай любую.

Ложки лежат в моих руках.

— Они мытые, — говорит Сашка.

Ложек много. Выбирай любую. После еды ее нужно старательно вылизать и сунуть в карман поглубже. А немец тоже ее вылизывал. У него, наверное, были толстые мокрые губы. И когда он вылизывал свою ложку, глаза выпучивал...

— Они мытые, — говорит Сашка.

...А потом совал за голенище. А там портянки пропревшие. И снова он ее в кашу погружал, и снова вылизывал... На одной ложке — засохший комочек пищи.

— Ну, что ж ты? — говорит Коля.

Я возвращаю ложки Золотареву. Я не могу ими есть. Я не знаю почему...

Мы сидим и курим.

— «Рама» балуется, — говорит Коля и смотрит вверх.

Над нами летает немецкий корректировщик. В него лениво постреливают наши. Но он высоко. И уже сумерки. Он тоже изредка постреливает в нас. Еле-еле слышна пулеметная дробь.

— Злитесь, — говорит Коля, — вчера, небось, по этой улице ногами ходил летяга фашистский.

А Сашка по одной швыряет ложки. Размахивается и швыряет. И вдруг одна ложка попадает мне в ногу. Как это получилось, понять не могу.

— Больно, — говорю я, — что ты ложки раскидываешь?

— А я не в тебя, — говорит Сашка.

А ноге все больней и больней. Я хочу встать, но левая нога моя не выпрямляется.

— Ты что? — спрашивает Коля.

— Что-то нога не выпрямляется, — говорю я, — больно очень.

Он осматривает ногу.

— Снимай-ка ватные штаны, — приказывает он.

— Что ты, что ты, — говорю я, — зачем это? Меня ж не ранило, не задело даже... — Но мне страшно уже. Где-то там, внутри, под сердцем, что-то противно копошится.

— Снимай, говорю, гад!

Я опускаю стеганные ватные штаны. Левое бедро в крови. В белой кальсонине маленькая черная дырочка, и оттуда ползет кровь... Моя кровь... А боль затухает... только голова кружится. И тошнит немного.

— Это ложкой, да? — испуганно спрашивает Сашка, — что же это такое?

— «Рама», — говорит Коля, — хорошо, что не в голову.

Ранен!.. Как же это так? Ни боя, ничего. В тишине вечерней. Грудью на дзот не бросался. В штаны не ходил. Коля уходит куда-то, приходит, снова уходит. Нога не распрямляется.

— Жилу задело, — говорит Сашка.

— Что ж никто не идет, — спрашиваю я, — я ведь кровью истеку.

— Ничего, крови хватит. Ты вот прислонись-ка, полежи.

Приходит Коля. Приводит санинструктора. Тот делает укол мне.

— Это, чтобы столбняка не было.

Перебинтовывает. Меня кладут на чью-то шинель. Кто-то приходит и уходит. Как-то все уже не интересно. Я долго лежу. Холода я не чувствую. Я слышу, как Коля кричит:

— Замерзнет человек! Надо в санбат отправлять, а старшина, гад, машину не дает.

Кому это он говорит? А-а, это комбат идет ко мне. Он ничего не говорит. Он смотрит на меня. Может быть, сказать ему, чтобы велел сапоги мне выдать? А впрочем, к чему они мне теперь?.. Подходит полторка. На ней бочки железные из-под бензина.

— Придется меж бочек устроиться, — слышу я голос комбата:

Какая разница, где устраиваться.

Мне суют в карман какие-то бумаги. Не могу разобрать, кто сует... Какая, впрочем, разница?

— Это документы, — говорит Коля, — в медсанбате сдать.

Меня кладут в кузов. Пустые бочки, как часовые, стоят вокруг меня.

— Прощай, — говорит Коля, — ехать не долго.

— Прощай, Коля.

— Прощай, — говорит Сашка Золотарев, — увидимся.

— Прощай, — говорю я. — Конечно, увидимся.

И машина уходит. Все. Я сплю, пока мы едем по дороге, по которой я двигался на север. Я сплю. Без сновидений. Мне тепло и мягко. Бочки окружают меня.

Я просыпаюсь на несколько минут, когда меня несут в барак медсанбата. Укладывают на пол. И я засыпаю снова.

...Это большая прекрасная комната. И стекла в окнах. И тепло. Топится печь. Меня тормозит кто-то. Это сестра в белом халате поверх ватника.

— Давай документы, милый, — говорит она, — нужно в санитарный поезд оформлять. В тыл повезут.

Я достаю документы из кармана. Вслед за ними выпадает ложка. Ложка?!..

— Ложку-то не потеряй, — говорит сестра.

Ложка?.. Откуда у меня ложка?.. Я подношу ее к глазам. Алюминиевая сточенная старая ложка, а на черенке ножом выцарапано «Шонгин»... Когда же это я успел ее подобрать? Шонгин, Шонгин... Вот и память о тебе. Ничего не осталось, только ложка. Только ложка. Сколько войн он повидал, а эта последняя. Бывает же когда-нибудь последняя. А жена ничего не знает. Только я знаю... Я упрячу эту ложку поглубже. Буду всегда с собой носить... Прости меня, Шонгин — старый солдат...

Сестра возвращает мне бумаги.

— Спи, — говорит она, — спи. Чего губы-то дрожат? Теперь уже не страшно.

Теперь уже не страшно. Что уж теперь? Теперь мне ничего не нужно. Даже сапоги не нужны. Теперь я совсем один. Вдруг Коля войдет и скажет: «Теперь наступление. Теперь лафа, ребята.

Теперь будем коньячок попивать...» Или вдруг войдет Сашка Золотарев: «Руки у меня отваливаются от работы, а заменить нечем...» А Шонгин скажет: «Э-э, болтать вы горазды. Паскуды вы, ребята...» А Шонгин теперь ничего не скажет. Ничего. Какой же я солдат — даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста живого ни одного не видел. Какой же я солдат? Ни одного ордена у меня, ни медали даже... А рядом со мной лежат другие солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. Эти все прошли. Все повидали.

В барак вносят новых раненых. Одного кладут рядом со мной. Он смотрит на меня. Бинт у него соскочил со лба. Он его накладывает снова. Матерится.

— Сейчас, сейчас, милый, — говорит сестра.

— А мне и без вас тошно, — говорит он. И смотрит на меня. Глаза у него большие, злые.

— Из минометной? — спрашивает он.

— Да, — говорю я. — Знакомый? Знаешь наших-то?

— Знаю, знаю, — говорит он, — всех знаю.

— Тебя когда это?

— Утром. Вот сейчас. Когда же еще?

— А Коля Гринченко...

— И Колю твоего тоже.

— И Сашку?!

— И Сашку тоже. Всех. Подчистую. Один я остался.

— И комбата?..

Он кричит на меня:

— Всех, говорю! Всех! Всех!..

И я кричу:

— Врешь, ты все!

— Врет он, — говорит кто-то, — ты его глаз не видишь, что ли?

— Ты его не слушай, — говорит сестра, — он ведь не в себе.

— Болтать он горазд, — говорю я, — наши вперед идут.

И мне хочется плакать. И не потому, что он сказал вдруг такое. А потому, что можно плакать и не от горя... Плачь, плачь... У тебя не опасная рана, школяр. Тебе еще многое пройти нужно. Ты еще поживешь, дружок...

Август 1860 г. — февраль 1961 г.

ТРИ РАССКАЗА

ЗАПАХ ХЛЕБА

II

I

Телеграмму получили 1 января. Дуся была на кухне, открывать пошел ее муж. С похмелья, в нижней рубашке, он неудержимо зевал, расписываясь и соображая, от кого бы это могло быть еще поздравление. Так, зевая, он и прочел эту короткую скорбную телеграмму о смерти матери Дуси — семидесятилетней старухи в далекой деревне.

«Вот не вовремя!» — с испугом подумал он и позвал жену. Дуся не заплакала, только побледнела слегка, вошла в комнату, поправила скатерть и села. Муж мутно поглядел на недопитые бутылки на столе, налил себе и выпил. Потом подумал, налил Дусе.

— Выпей! — сказал он. — Прямо черт ее знает, до чего башка трещит. Ох-хо-хо... Все там будем. Ты как — поедешь?

Дуся молчала, вода рукой по скатерти, потом выпила, пошла к постели, как слепая, и легла.

— Не знаю, — сказала она минуту спустя.

Муж подошел к Дусе, поглядел на ее круглое тело.

— Ну, ладно... Что делать? Что ж будешь делать! — больше он не знал, что сказать, вернулся к столу и опять налил себе. — Царство небесное, все там будем!

Целый день Дуся вяло ходила по квартире. Голова у нее болела, и в гости она не пошла. Она хотела поплакать, но плакать как-то не было охоты, было просто грустно. Мать свою Дуся не видела лет пятнадцать, из деревни уехала и того больше и никогда почти не вспоминала ничего из своей прошлой жизни. А если и вспоминалось, то больше из раннего детства или как провожали ее из клуба домой, когда была девушкой.

Дуся стала перебирать старые карточки и опять не могла заплакать: на всех карточках у матери было чужое напряженное лицо, выпученные глаза и опущенные по швам тяжелые темные руки.

Ночью, лежа в постели, Дуся долго говорила с мужем и сказала под конец:

— Не поеду я! Куда ехать? Там теперь холодина... Да и барахло, какое есть, родня растащила уж небось. Там у нас родни хватает. Нет, не поеду!

Прошла зима, и Дуся вовсе позабыла о матери. Муж ее работал хорошо, жили они в свое удовольствие, и Дуся стала еще круглее и красивее.

Но в начале мая Дуся получила письмо от двоюродного племянника Миши. Письмо было написано под диктовку на листке в косую линейку. Миша передавал приветы от многочисленной родни и писал, что дом и вещи бабушкины целы и чтобы Дуся обязательно приехала.

— Поезжай! — сказал муж. — Валяй! Особо не тряпись, продай поскорее, чего там есть. А то другие попользуются или колхозу все отойдет.

И Дуся поехала. Давно она не ездила, а ехать было порядочно. И она успела как следует насладиться дорогой, со многими поговорила и познакомилась.

Она послала телеграмму, что выезжает, но ее почему-то никто не встретил. Пришлось идти пешком, но и идти было Дусе в удовольствие. Дорога была плотна, накатана, а по сторонам расстилались родные смоленские поля с голубыми перелесками на горизонте.

В свою деревню Дуся пришла часа через три, остановилась на новом мосту через речку и посмотрела. Деревня сильно пообстроилась, расползлась вширь белыми фермами, так что и не узнать было. И Дусе эти перемены как-то не понравились.

Она шла по улице, остро вглядываясь во всех встречных, стараясь угадать, кто это. Но почти никого не узнавала, зато ее многие признавали, останавливали и удивлялись, как она возмужала.

Сестра обрадовалась Дусе, всплакнула и побежала ставить самовар. Дуся стала доставать из сумки гостинцы. Сестра посмотрела на гостинцы, снова заплакала и обняла Дусю. А Миша сидел на лавке и удивлялся, почему они плачут.

Сестры сели пить чай, и Дуся узнала, что многое из вещей разобрали родные. Скотину — поросенка, трех ярочек, козу и кур — взяла себе сестра. Дуся сперва пожалела втайне, но потом забыла, тем более, что многое осталось, а главное, остался дом. Напившись чаю и наговорившись, сестры пошли смотреть дом.

Усадьба была распахана, и Дуся удивилась, но сестра сказала, что распахали соседи, чтобы не пропа-

дала земля. А дом показался Дусе совсем не таким большим, каким она его помнила.

Окна были забиты досками, на дверях висел замок. Сестра долго отмыкала его, потом пробовала Дусю, потом опять сестра, и обе успели замучиться, пока открыли.

В доме было темно, свет еле пробивался сквозь доски. Дом отсырел и имел нежилой вид, но пахло хлебом, родным с детства запахом, и у Дуси забило сердце. Она ходила по горнице, осматривалась, привыкая к сумеркам: потолок был низок и темно-коричнев. Фотографии еще висели на стенах, но икон, кроме одной, не стоящей, уже не было. Не было и вышивок на печи и на сундуках.

Оставшись одна, Дуся открыла сундук, — запахло матерью. В сундуке лежали старушечьи темные юбки, сарафаны, вытертый тулупчик. Дуся вытащила все это, посмотрела, потом еще раз обошла дом, заглянула на пустой двор, и ей показалось, что когда-то давно ей все это приснилось и теперь она вернулась в свой сон.

III

Услышав о распродаже, к Дусе стали приходиться соседи. Они тщательно рассматривали, щупали каждую вещь, но Дуся просила дешево, и вещи раскупали быстро.

Главное был дом! Дуся справилась о ценах на дома и удивилась и обрадовалась, как на них поднялась цена. На дом нашлось сразу трое покупателей — двое из этой же и один из соседней деревни. Но Дуся не сразу продала, она все беспокоилась, что от матери остались деньги. Она искала их дня три: выстукивала стены, прощупывала матрасы, лазила в подполье и на чердак, но так ничего и не нашла.

Сговорившись с покупателями о цене, Дуся поехала в райцентр, оформила продажу дома у нотариуса и положила деньги на сберкнижку. Вернувшись, она привезла сестре еще гостинцев и стала собираться в Москву. Вечером сестра ушла на ферму, а Дуся собралась навестить могилу матери. Провожать ее пошел Миша.

Вышли они на закате и пошли лугом. Кое-где выскочили уже одуванчики, трава была нежна и зелена. Денек было замглился во второй половине, посоловел, но к вечеру тучи разошлись, и только на горизонте, в той стороне, куда шли Дуся и Миша, висела еще гряд пепельно-розовых облаков. Она была так далека и неясна, что, казалось, стояла позади солнца.

Река километрах в двух от деревни делала крутую петлю, и в этой петле, на правом высоком берегу, как на полуострове, был погост. Когда-то он был окружен кирпичной стеной, и въезжали через высокие арочные ворота. Но после войны разбитую стену разобрали на постройки, оставив почему-то одни ворота, и тропинки на погост бежали со всех сторон.

Дорогой Дуся расспрашивала Мишу о школе, о трудоднях, о председателе, об урожаях и была равна



В. А. СЕРОВ (1865—1911). Голова мальчика-подмастерья. Бумага. Односеансная. Тушь, перо. Разм. 9,9x6,6 1888 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

и спокойна. Но вот показался старый погост, красно освещенный низким солнцем. По краям его, там, где когда-то была ограда, где росли кусты шиповника, были особенно старые могилы, которые давно потеряли вид могил. А рядом с ними виднелись в кустах свежее выкрашенные ограды с невысокими деревянными обелисками — братские могилы...

Дуся с Мишей миновали ворота, свернули направо, налево — среди распускающихся берез, среди остро пахнущих кустов, и Дуся все бледнела, и рот у нее приоткрывался.

— Вон бабушкина... — сказал Миша, и Дуся увидела осевший холмик, покрытый редкой острой травкой. Сквозь травку виден был суглинок. Небольшой сизый крест, неподправленный с зимы, стоял уже косо.

Дуся совсем побелела, и вдруг будто нож всадили ей под грудь, туда, где сердце. Такая черная тоска ударила ей в душу, так она задохнулась, затряслась, так неистово закричала, упала и поползла к могиле на коленях и так зарыдала неизвестно откуда пришедшими к ней словами, что Миша испугался.

— У-у-у... — низко выла Дуся, упав лицом на могилу, глубоко впустив пальцы во влажную землю. — Матушка моя бесценная... Матушка моя родная, ненаглядная... У-у-у... Ах, да и не свидимся же мы с тобой на этом свете никогда, никогда! Как же я без тебя жить-то буду, кто меня приласкает, кто меня успокоит? Матушка, матушка, да что же это ты наделала?..

— Тетя Дуся... тетя Дуся.. — хныкал от страха Миша и дергал ее за рукав. А когда Дуся, захрипев, стала выгибаться, биться головой о могилу, Миша припустил в деревню.

Через час, уже в глубоких сумерках, к Дусе прибежали из деревни. Она лежала все там же, совсем обеспамятевшая, и не могла уже плакать, не могла ни говорить, ни думать, только стонала сквозь стиснутые зубы. Лицо ее было черно от земли и страшно.

Ее подняли, натерли ей виски, стали успокаивать, уговаривать, повели домой, а она ничего не понимала, глядела на всех огромными распухшими глазами — жизнь казалась ей ночью. Когда ее привели к сестре в дом, она свалилась на кровать — еле дошла — и мгновенно уснула.

На другой день, совсем собравшись уезжать в Минск, она пила напоследок с сестрой чай, была весела и рассказывала, какая прекрасная у них квартира в Москве и какие удобства.

Так она и уехала, веселой и ровной, подарив еще Мише десять рублей. А через две недели дом матери-старухи открыли, вымыли полы, привезли вещи, и стали в нем жить новые люди.

В ГОРОД

I

Василий Каманин шел рано утром по дороге в Озерище. Сапоги его были в грязи, бурая шея давно не мыта, глаза с желтыми белками смотрели мутно, и от самых глаз начиналась серая щетина. Походка его была неровной, ноги разъезжались и как-то отставали от стремящегося вперед тела. В спину ему дул холодный ветер, по сторонам темнели бесконечные отвалы вспаханной язби. Между отвалами кое-где свинцово поблескивала вода — дожди шли уже целую неделю. По обочинам дороги мотался на ветру красно-бурый забрызганный грязью конский шавель.

Накануне Василий Каманин сильно выпил у свата. Сегодня у него болела голова, во всем теле стояла ломота, какая бывала у него только к непогоде, в рот набегала противная слюна. Василий сплевывал, поднимал тяжелую голову, с тоской смотрел вперед. Но впереди была грязная исхлужданная дорога, уныло темнели копын соломы, и до самого горизонта — низкое серое небо без малейшего просвета, без надежды на солнце. Василий опускал глаза, привычно выискивал места посуше, но потом, поглощенный мыслями, опять шел как попало, окликаясь, тяжело переставляя ноги, наклоняясь вперед худым телом.

Жил Василий Каманин в Моховатке, в стоящей отдельно просторной старой избе. Моховатка до войны была большой деревней, и дом Каманиных стоял в общем ряду. Но, отступая, подожгли немцы деревню, вся она сгорела до тла, только Каманины чудом уцелели. После войны деревня вновь отстроилась, но уж далеко было до прежнего, и изба Василия очутилась за выездом. Ему предлагали перевезти избу, он и сам собирался, но как-то все не доходили руки, так и остался жить на отшибе.

Три дочери его одна за другой вышли замуж, уехали жить в город. Изба опустела, Василий все чаще нанимался работать на сторону — был он хорошим плотником, много зарабатывал, но с годами стал скучать, пить, во хмелю был мрачен и бил жену.

Жену Акулину Василий не любил давно. Еще до войны попал он как-то по вербовке на большое строительство, проработал там все лето, и с тех пор мысль переехать жить в город уже не покидала его.

Каждый год по осени, когда было мало работы, его забирала вдруг тоска, он делался равнодушен ко всему, подолгу лежал на дворе, закрыв глаза, и думал о городской жизни. Городских он терпеть не мог, считал всех дармоедами, но жизнь городскую — парки, рестораны, кинотеатры и стадионы — любил до того, что и сны ему снились только про город.

Несколько раз собирался он было совсем и даже корову продавал, но Акулина шептала ему по ночам о земле, о родне, о хозяйстве, о том, что она с тоски помрет в городе, и он раздумывал и оставался.

Все в колхозе знали о его страсти к городу и посмеивались над ним.

— Что ж, так и не уехал? — спрашивали его.

— Ночная кукушка денную перекукует, — отвечал он, сумрачно усмехаясь и затаивая злобу на жену.

Весной Акулина заболела. Сперва думали — пережится. Потом Акулина стала ходить в медпункт, брала прописанные порошки и микстуры, охотно, с верой в исцеление, пила горькие лекарства. Но исцеление не приходило, становилось, наоборот, все тяжелее и хуже. Тогда были испробованы тайные средства. В дом к Василию зачастили старухи, носили в пузырьках наговоренную воду, настойки на корнях. Но и это не помогало. Глаза у Акулины провалились, запали виски, лез волос, вся она неправдоподобно быстро худела, таяла. Люди, видевшие ее недавно здоровой, теперь при встречах останавливались, долго смотрели ей вслед. С ней становилось страшно спать: так она была худа и так стонала во сне. Василий стал спать во дворе, на свежем сене.

Целые дни проводил он в поле, работал на сенокосе, ругался с бригадиром и, сдвинув крупные темные брови, думал о жене, все больше уверяя себя, что скоро она помрет. А вечером возил домой сено, таскал мешки с зерном, выданные авансом на трудодни. Домой приходил усталый, с бурым от солнца лицом, садился на лавку, упирался потрескавшимися ладонями в колени, смотрел исподлобья на жену.

Страшно похудевшая, с неистовым взглядом темных сухих глаз, но все еще красивая, Акулина подавала на стол. Потом, привалась к стене, трудно дышала, открыв черный рот. На лице ее выступала обильная испарина.

— Вася! — просила она. — Свежи ты меня ради Христа в город! Свежи! Помру я, должно, скоро.. Мочи моей нету, большая я вся, Вася!

Василий молча хлебал суп, боясь взглянуть на жену, выдать затаенные свои мысли.

— Свежи, Вася! — совсем тихо говорила Акулина и садилась на пол возле стены. — Есть не могу ничего, все назад тошнит. Теперь уж и молока не принимаю.. Скотина у нас, Вася! Ходить за нею надо, трудно мне — уж я на карачках.. Ползаю, легче мне так. А внутри-то так и жгет, так и жгет! Свежи ты меня, пущай профессор поглядит. Я уж тут никому не верю, а только худо мне, ой, худо!

И вот теперь Василий шел в Озерище к председателю колхоза просить лошадь для жены, а заодно просить, чтобы совсем отпустили его из колхоза.

Настроение у него было плохое, болела с похмелья голова, злорада на жену, на бригадира и соседей переполняла его. Он ругался и придумывал, как бы ловчее сказать председателю, чтобы отпустил он его в город.

II

В Озерище Василий пришел через час, и даже ноги у него подкашивались: так устал.

Дом председателя выделялся своей величиной, крыльцом со столбиками, железной крышей и высоким двором, крытым не соломой, как у всех, а щепой. В саду под яблонями чернели колоды с пчелами. Тщательно вытирая о скобу сапоги, Василий покосился на колоды, подумал который раз: «Надо бы пчелу завести, хорошее дело!» Но, вспомнив, зачем пришел, только крикнул и, чувствуя непривычное волнение и стеснение, открыл дверь в темные захлапленные сени.

В доме было неубрано, грязно, пахло топленным молоком и кислой капустой. На столе стояла швейная машина, на полу валялись лоскуты материи, на проводах от лампы к приемнику висели носки. Хозяйина дома не было. Жена его Марья, крепкая чернявая баба с тугим задом, стояла возле печи, жарко освещенная, двигала ухватом, широко расставив ноги и приседая.

— Здорово! — хмуро сказал Василий, стаскивая шапку. — Где Данилыч-то?

— На что тебе? — также хмуро, не глядя на Василия, спросила Марья.

— Дело, значит, есть.

— В поле он, чуть свет поехал.

— Домой-то скоро будет?

— Говорил, к завтраку, а там не знаю..

— Пожожу тогда! — решительно сказал Василий и тяжело сел на лавку лицом к печи.

Он вынул махорку, хотел было закурить, но вспомнил, что Марья не любит, когда курят в избе, и спрятал кисет. Да и курить что-то не хотелось. В теле

была противная слабость, в голове стоял шум.

Василий опустил голову и задумался. Думал он, что жена скоро помрет, надо будет делать гроб и что лучше заранее раздобыться хорошими досками. Барана придется резать, а то и двух на поминки, родни прирет, пожрать любят..

Потом он стал думать, кому и за сколько продать дом и хозяйство и куда поехать. На первое время можно бы в Смоленск, к старшей дочери, а там видно будет. Денег у него, слава богу, соберется, можно будет в городе какой домишко присмотреть.

Потом он стал подбирать наиболее убедительные слова, чтобы председатель не возражал. В мыслях все выходило складно, и никак не мог устоять председатель против Василия.

— Зачем пришел-то? — спросила хозяйка, ставя ухват в угол и садясь к столу.

Василий не сразу понял, о чем его спрашивают, так задумался. Моргая, будто спросонок, он посмотрел на Марьино красивое лицо, на ее полные губы и голубые слегка навывкате нагловатые глаза.

— Жена у меня дуже болеет, — наконец, сказал он. — Насчет лошади я, в город бы ее свезть. Ну и потом, значит, по своим делам.

— Сколько ей годов-то, Акулине? — без интереса спросила Марья.

— Годов-то? — Василий минуту подумал. — А вот считай: мне пятьдесят пять, ну а ей на два годка помене.

— А! — только сказала хозяйка.

Некоторое время она молчала, тоже о чем-то крепко задумавшись, потом нагнулась к швейной машине, перекусила нитку, разобрала материю, и мерный ровный стрекот наполнил избу.

Василий опять закрыл глаза. Его тянуло лечь на лавку, укрыться с головой, не думать ни о чем, а заснуть.. Мысль о том, что нужно дожидаться председателя, говорить и доказывать, что в колхозе ему больше невозможно, а потом идти по грязной дороге назад в Моховатку, мысль эта наполняла его отвращением и холодом. Между лопаток у него дергало что-то, а кожу на груди и на руках стягивало.

Скоро Василий забылся под стрекот машины, уже не думал ни о чем и вздрогнул, когда в сенях затопали плотные шаги и в избу вошел хозяин.

Был он крупного роста с маленьким бледным лицом, на котором, как у скопца, росли едва заметные белесые кустики. Он приехал верхом и, войдя в избу, первое время потирал ляжки и морщился, нагнувшись и глядя на что-то в окно.

Василий тоже обернулся и посмотрел: мальчишка уводил вдоль забора высокого костистого жеребца с подрезанным хвостом.. Тот разъезжался ногами и задира голову.

— Ну как? — громко спросила Марья, подходя к шестку и берясь снова за ухват.

Председатель, все еще нагнувшись, повернул к ней голову, хотел что-то сказать, но увидел Василия и, смол-

чав, протянул ему холодную влажную руку. Потом прошел через избу, вздохнул, как человек сильно уставший, сел на лавку спиной к окну и принялся стаскивать сапоги.

Разувшись, шевеля пальцами босых ног, он смотрел на жену, и лицо его постепенно принимало сонное и тайное выражение. Василий тоже внимательно оглядел Марию, как она напрягалась, передвигая чугуны в печи, на ее сильную спину и невольно подумал: «Ишь, черт, гладкая!»

— Ну, как там у вас? — спросил председатель. — Сено возите?

— Возим, — торопливо ответил Василий, отводя глаза от Марьи. — Возим, но навряд скоро управимся... Дожди не ко время пошли, дуже сыро. Да и народу мало, по домам сидят.

— Чем у вас там бригадир думает? — поморщился председатель. — Сколько раз говорено было, чтобы свозить! Дождались дождя! Вот погодите, доберусь я до этого бригадира!

Председатель посмотрел на жену и снова вздохнул. Василий кашлянул и поерзал на лавке.

— Скоро, что ль, там? — спросил председатель у жены.

— Сейчас поспеет, — невнятно сказала Марья.

Василий томился. Хозяин не спрашивал, зачем он пришел, а начинать первому о своей просьбе было неловко. Все слова, придуманные им, пока он сидел в ожидании, вдруг пропали, и опять Василий почувствовал, что он совсем болен, что самое главное сейчас — опохмелиться бы и лечь поспать.

— Букатинские поля смотрели, — сказал председатель и оживился, — с корреспондентом с областной газеты. Лен должен хорош быть. Обещал написать про девок-то наших.

Не поворачиваясь, он нашарил позади себя на подоконнике сложенную газету, оторвал клочок, вытянул вперед правую ногу, достал из кармана махорки и закурил.

— Ну! — притворно удивился Василий и тоже торопливо закурил. — Они напишут! Такое ихнее дело — писать...

— Задымили, — хмуро сказала Марья и, хлопнув дверью, вышла на двор.

— Ты зачем ко мне? Дело какое? — спросил председатель, подмигивая вслед жене и улыбаясь Василию.

Василий подобрал ноги, уселся плотнее и наклонил голову.

— Жена у меня дуже болеет, — начал он. — Хочу я ее в город свезть. Дорогу вот только развезло, машины совсем не ходят. Лошадь бы мне, Данилыч...

— Лошадь? — председатель покряхтел, поскреб голову. — А что, в медпункт не ходила она?

— Была. Только, я так думаю, операцию надо ей.

— Ну ладно! Сегодня уж так, а завтра я скажу, чтоб дали. С утра и поедешь.

— А я ить тоже здоровьем плох стал чегой-то... — опять начал Василий, делая грустное лицо. — Да ты

зашел бы когда ко мне, а? — перебил он вдруг себя, вспомнив, что такие дела на сухую не делаются. — Брага у меня есть, дочка посылку из городу прислала — сахару. Выпили бы, бражка у меня хороша, жена намедни заварила, ничего бражка. Сальцо тоже есть, восемь пудов потянул поросенок... Зашел бы!

— Зайти можно, — сказал председатель, улыбаясь.

— А я, Данилыч, — подхватил обрадованный Василий, — решил совсем, значит, с колхозом распроститься.

— То есть, это как же — распроститься? — председатель перестал улыбаться.

— А вот так, — сказал Василий, набираясь решимости и поводя глазами. — Вот так, что нету больше моего желания работать тут. Жена хворает, дочки пишут, зовут... Чего мне здесь! Потом же давно я собрался... Старый председатель отпущал меня, спроси хоть кого хошь! Пушай другие поработают, а с меня хватит. Я по плотницкой части работу себе всегда у городе найду. А тут что?

— Как что! — председатель оглядел Василия, будто впервые видел. — Ты что, или забыл, об чем на правлении говорили?

— А чего мне правление...

— Погоди, не чегокай! Работы нету? Вот осенью новый телятник будем ставить — это тебе что? Потом клуб перестраивать, это тебе не работа? А парники закладывать — не работа?

— Это верно, только пушай другие. И ты меня не держи, все равно уйду, я куда свои права знаю.

— Знаешь? А что в колхозе людей не хватает — знаешь?

— Это меня не касаемо. Это вы глядите, чтоб у вас никто не бег из колхозу. От хорошего не побегись! А мне, может, пожить охота, я тебе не старик какой столетний на печи лежать. А что я с колхоза имею? Культуру я имею? Выпить и то негде.

— Живешь бедно, да? — председатель хищно согнулся и начал желтеть лицом. — На колхозных работах убился?

— Ты на меня не сипи! — сказал Василий и сдвинул брови. — Не глотничай! Ты фост на меня не подымай! Чего есть, своим горбом добыл, с вашего колхозу зимой снегу не выпросишь.

— Так... Люди работай, люди борись, а ты в город?

— У меня вон жена помирает, — у Василия зазелено в голове, перехватило дух. — В город ее надо везть? Это как?

— Лошадь мы тебе дадим, — председатель встал.

— Непустишь, значит? — спросил Василий, тоже вставая.

— Деньгами разбогател, видно?

— Денег у меня черт на печку не вскинет, — серьезно подтвердил Василий.

— Известно! — председатель громко задышал. — Мастер на стороне хапать. Вот телятник нам построишь, да клуб, да парники, а там поглядим.

— Телятник? А этого не хошь? — Василий сделал непристойный жест.

Председатель отвернулся к окну.

— Кончен у нас с тобой разговор. Катись! Постановления партии знаешь? Грамотный? Ну вот и все. Вызовем на правление, там поговорим!

— Ладно, — Василий нахлобучил шапку. — Ладно, мать твою... Поглядим! Найдем и на твою шею удавку!

Хлопнув дверью, он вывалился в сени, загромыхал с крыльца. Хлюпая носом от обиды, скипя прокуречными зубами, он быстро шел по улице, пугая припустившихся возле плетня кур.

— Поговорили, растуды твою... — бормотал он, вытирая вспотевшее лицо. — Ясно, без пол-литра какой разговор!

И всю дорогу он жалел, что пришел к председателю без пол-литра.

III

На другой день, с утра выпив браги, Василий пошел на конный двор и через полчаса вернулся на лошади. Привязав лошадь у крыльца, он вынес со двора сена, навалил и умял на телеге, подумав, кинул немного лошади и пошел в дом. Еще с вечера он решил зарезать барана — в городе был сегодня базарный день, а баран две недели уже как кашлял.

Велев Акулине собираться, он взял длинный и узкий немецкий штык и пошел на двор. Барана, черного, крупного и старого, с белым пятном на шее, он еле вытащил из закутка: тот не шел, упирался и дрожал.

— Чуешь, значит? — бормотал Василий и нехорошо улыбался. Передохнув немного, Василий взялся за теплый витой рог. Баран прозрачными глазами смотрел на открытую дверь.

— Ну, молись богу! — сказал Василий, завалил барана, наступил коленом на мягкий бок и сжал ладонью ему морду. Баран вбрыкнул и вылез из-под колена. Василий, сипло задышав, опять подмял его под себя и отворотил голову назад, натянув горло с белым курчавым пятном. Потом, сжав зубы, примерился и с излишней даже силой резанул по белому пятну.

Баран вздрогнул, обмяк под коленом, из широко разошедшейся раны туго ударила черная почти кровь, заливая солому и навоз, пачкая руки Василию.

По телу барана прошла мелкая дрожь, глаза, по-прежнему смотревшие на свет, прижмурились, помутнели. Теленок, с любопытством приюхивавшийся из своего угла, вдруг засопел и несколько раз толкнулся в стенку.

Василий встал, бросил штык, осторожно вытащил кيسет и стал скручивать папироску кровяными пальцами, густо смачивая бумагу слюной и не отрывая взгляда от барана.

Тот начал подергиваться, потягиваться, глаза совсем закрылись, задние ноги задергались сильнее, и через минуту все тело сильно и мерно билось, ноги взбрыкивали весело, как при беге, разбрасывая солому и куриные ошметки.

Подождав, пока баран стихнет, Василий подвесил его на перевод и стал быстро и ловко снимать шкуру,

подрезая мутно-сизую пленку и перерезая сухожилия на ногах.

Разрезав живот, из которого дохнуло паром, он вынул горячую печень, отрезал кусок и с хрустом сжевал, пачкая губы и подбородок кровью.

На крыльцо вышла Акулина, чисто одетая, с узелком в руках. В узелке была смена белья, на случай, если ее положат в больницу. Кое-как вскарабкавшись на телегу, она покрылась дождевиком и стала поджидать Василия, с тоской и любовью глядя на темные поля и реку внизу, оглядывая, будто прощаясь навсегда, свой дом и деревню.

Немного погодя со двора вышел Василий, держа, как ребенка, тушу барана, уже разделанную совсем и завернутую в мешок.

Положив барана в передок телеги, он пошел задать корму скотине и запереть дом. А Акулина вдруг услышала сладковатый запах свежей убойни. Раньше она любила этот запах. Он всегда стоял в избах в предпраздничные дни. Но теперь ей стало нехорошо, и она закрыла рот и нос концами платка.

Василий, еще раз хлебнув браги и заперев дом, вышел, подпоясываясь, на крыльцо. Утром он побрился и умылся, надел новую рубаху, и теперь выглядел помолодевшим и веселым.

— Вася! — сказала Акулина. — Глянька-ка, красота какая... Помру я, должно, в городе. Больно уж жалко расставаться. Сердце давит...

Василий тоже оглядел поля с темными стогами сена и с черными вспаханymi клинами, речку, потемневшие от дождей крыши деревни, сплюнул и промолчал.

Потом он отвязал и взнуздal лошадь, сильно дергая и разрывая ей губы; поправил еще раз сено в телеге, сел и тронулся. Напуганная лошадь пошла с места быстрым шагом, телега начала переваливаться в широких колеях.

Акулина сидела сзади, сжав плечи, держась за грудь, глядя тоскливыми глазами на избы по обеим сторонам, на березы и рябины с налившимися уже шафранно-красными кистями.

Она глядела и вспоминала всю свою жизнь в колхозе: и молодость, и замужество, и детей, любя все это еще сильнее и острее, зная, что, может быть, никогда больше не увидит родных мест и никого из своих близких. Слезы катились у нее по впалым щекам. Одного она хотела: умереть дома, на родине, и чтобы похоронили на своем кладбище.

Женщины, случившиеся в эту минуту на улице, останавливались и, молча глядя на нее, кланялись. Акулина улыбалась сквозь слезы напряженной стыдливой улыбкой и тоже кланялась — охотно, низко, едва не касаясь головой грядки телеги.

Василий же все понукал лошадь. Красное лицо его было напряженно ожидающим и радостным. Он думал о том, как, сдав жену в больницу, поедет на базар, продаст барана, заедет к родне и поедет потом в привокзальный ресторан.

Он будет сидеть там и пить легкое вино, глядя в окно на проходящие поезда. Ему будут прислуживать официантки в белых передничках и наколках, будет играть оркестр, будет пахнуть едой и дымом хороших папирос.

И там уж он, посоветовавшись с родней, решит, как ему быть дальше, как ловчее уехать из колхоза в город и подороже продать дом и все хозяйство.

НИ СТУКУ, НИ ГРЮКУ

I

Старик, хозяин сарая, в первый же вечер пришел к ним заспанный, босой, и забормотал, поддергивая спадавшие штаны:

— Поскольку, конечно, я разрешил... Только по летнему времени, то есть... Оно ничего, живите, вам чего ж — развлечение! Только поскольку сушь, извините, это я насчет курева, значит, чтобы упаси бог...

А через минуту уже сидел с охотниками на пороге сарая, курил, вздыхал, сморкался и говорил, что пастухи каждый день видят волков, что в Заказном лесу спасу никакого нету от тетеревов и что в полях, за ригами, жуткое дело перепелов.

Охотников было двое. Младшему — Саше Старобельскому, студенту, почти еще мальчику, худому, застенчивому — все казалось счастливым гулом в тот первый вечер.

Вчера только выехал он из Москвы, всю дорогу не отрываясь от окна, жадно глядел на входящих и выходящих на станциях. Ехал он на Смоленщину к приятелю, был напряжен и общителен от первой самостоятельности, от мысли о будущих охотах и о деревенской жизни.

Но в Вязьме в вагон сел Серега Вараксин из Мятлева, бросил на верхнюю полку свернутые пустые мешки, сильно и неприятно пахнувшие, положил на лавку арбуз, разрезал его с хрустом и стал есть, сербая, захлебываясь, быстро по очереди оглядывая всех в вагоне.

Был он губаст и красноглаз, с набрякшими лиловыми руками, был в меру выпивши и весел — в Вязьме удачно продал он свинину. Сашу Старобельского он сразу стал звать студентом, а узнав, что тот едет на охоту, загорелся, стал рассказывать, какая пропасть дичи у них в Мятлеве.

— Студент! — говорил Вараксин. — Ты меня слушай, я дело говорю. Я электриком работаю. Совхоз наш — на всю область! Ты куда едешь-то?

— На Вазузку, — счастливо отвечал Саша.

— Э! Я там был. Я везде был, всю область знаю. Ты у меня спроси про охоту! Вазузка твоя ни хрена не стоит, верно тебе говорю! Хотишь поохотиться — валяй к нам в Мятлево. У меня лесничий друг, у нас, кого хотишь, хватает: перепелки есть, уток на озерах темно, гуси — верно тебе говорю!

И заговорил доверчивого Сашу до того, что тот даже сомдел как-то и ничего уже не чувствовал, кроме

того, что счастлив необыкновенно и что жизнь прекрасна.

Дальше все происходило как бы само собой. В Мятлеве сошли ночью, сразу пошли полевой дорогой, и сразу же, едва ушел поезд, Саша почувствовал, как кончилась, ушла одна жизнь и наступила для него другая, резко отличная от прежней — глухая, таинственная.

Полыхали по горизонту зарницы, будто мигал и мигал им дух лесов и полей. Не было луны, но звезды были так яркие, так обильны, что все было ими освещено: тонкие прозрачные облака наверху и — внизу, на земле — кусты, поля с редкими, узкими межами, стога сена, еловые лески близ дороги.

Пахло на дороге землей, сухим подорожником. По сторонам все что-то похрустывало, цвиркало, попискивало. Подходили черные телефонные столбы, и тогда слышен был слабый, но внятный многоголосый звон, хотя и не было ветра совсем, и непонятно было, почему же звенят столбы.

Попадались бревенчатые, расшатанные, расщепленные тракторами мосты через противотанковые рвы, давно превратившиеся в заросшие кустами и камышом канавы. Кое-где в канавах черно, маслянисто поблескивала стоячая вода.

До деревни Сереге было, как он говорил, пятнадцать километров. И раньше, в поезде, расстояние это Саше представлялось пустяковым. Но вот они все шли и шли, и по-прежнему тянулись по сторонам поля и лески, попадались братские могилы с немо чернеющими обелисками, а дорога по-прежнему уходила во тьму. И уж Саша устал, уж ему казалось, что они давно прошли не только пятнадцать километров, но и все тридцать и что дороге этой, и ночи, и таинственным звукам, и легкому страху, который он начал испытывать, не будет конца.

— Стой! — сказал вдруг шепотом Серега и, застав дыхание, прислушался. — Ну-ка, студент, вынь ружье!

— Зачем? — тонко спросил Саша, вынимая ружье.

Сереге промолчал, а Саша стал торопливо распаковывать рюкзак, доставать глянцевитые картонные патроны с блестящими медными донышками.

— Затем, что пришить могут! Деньги у меня, пятьсот рублей. Понял? — грубо, с удовольствием от мысли, что пугает студента и сам еще больше пугаясь, сказал Серега. — Пошли ходчее!

Часто оглядываясь, они потом почти бежали дорогой, переходя иногда на сокращающие путь тропки. Саша задыхался с тяжелым рюкзаком и ружьем, а Серега все нажимал, часто, твердо стучая сапогами по убитой земле.

Наконец попалась возле риги на дороге большая куча светлой соломы, оставленной комбайном. Солому не стали обходить, полезли прямо по ней. Она пружинила и трещала под ногами.

Тотчас стала видна река, а за рекой совхоз, далеко и неясно белеющий своими постройками. Они перешли реку по плавням, пришли к Вараксину и, не ужиная,

легли спать. А утром, по холодку, поехали в далекую деревню Кунино.

II

Первым просыпался Саша, вылезал из-под тулупа и будил Серегу. Солнце поднималось медленно, было ярко-бело, но холодно. Охотники шли гуськом по заливному лугу, оставляя за собой сочно-зеленый след. И чем ближе подходили к мелочам, которыми начинался Заказной лес, тем быстрее шагал Саша, бледнел, сутулился и задолго до мелочей не выдерживал, снимал ружье и взводил курки.

А Серега при каждом шаге подрагивал мясистыми щеками, щурился, зевал, поглядывал на чистое, иссиня-бирюзовое небо и оступался на кочках.

— Студент! — начинал он с хрипотцой. — А ведь мы с тобой папуасы!

— Почему это? — не сразу откликнулся Саша.

— А как же! — Серега оживлялся и догонял Сашу. — Сапоги бьем попусту. Нам бы с тобой сейчас по бабе какой-нибудь, по мордатой! А? Студент!

— Отстань! — Саша краснел и прибавлял шагу.

— Эх! А какие бабы бывают! — Серега покашливал и раздувал ноздри. — Схватишь ее...

— Тише ты! — страдальчески шептал Саша, пригибаясь.

И как всегда не вовремя, со страшным шумом, от которого тело Саши становилось гофрированным, вырывался из густоты тетерев и ошалело лопотал между берез. Саша посылал ему вдогонку выстрел, конечно, промазывал и бешено смотрел на Серегу, переменяя патрон. Серега виновато помаргивал, и охотники уже молча, деловито и осторожно шагали дальше.

К полудню солнце напекало, Серега валился в тень, под кусты, отбирал у Саши рюкзак и начинал с жадностью, с наслаждением пожирать яйца, хлеб, холодную с застывшим жиром баранину, запивая все это сболтавшимся молоком из бутылки.

Саша, покружив в лесу, сморенный жарой, тоже подходил, ложился, смотрел в небо до головокружения. Немного погодя он неохотно принимался за еду, неохотно и хмуро слушал наевшегося, распустившего ремень на брюках Серегу. А тот, позевывая, порывывая, ковырял спичкой в зубах, пристально и сонно смотрел на какую-нибудь березу и говорил:

— Девки — это не вещь. Ты с девками не связывайся: кино там, клуб, да танцы, да всякие слова ей надо произносить, идейное чего-нибудь, да этих самых слез, попреков не оберешься. Я с ними намучился! Нет, ты возьми бабу... кха! — ба-бу!

— Брось! — с тоской просил Саша. — Как не стыдно!

— Слушай сюда, дура, дело говорю! — насмешливо отвечал Серега и еще больше оживлялся, ворочался, закидывал ногу на ногу. — Даже не бабу, нет, ты на вдову погляди, не на молодую, а этак лет под тридцать пять — самый цимис! — погляди ты на вдову или на разведенную, да чтобы на морду была не пре-

красная. Претензий у ней к тебе никаких насчет там женитьбы и прочего, зато уж душеньку с тобой она натешит, уж она натешится... «И всю-то ночь ласкала меня!» — заорал вдруг он и сел, поглаживая ляжки.

— Студент! — скашивал на Сашу налившимся кровью глаза, начинал он снова. — А ведь и гады мы с тобой! А? Папуасы! Сколько баб по деревням... Пошли домой!

— Иди ты к черту! — говорил Саша, брал ружье, брел в лес, а подумав, плелся за ним и Серега.

III

На пятый день Серега на охоту вечером не пошел, начистил сапоги, накинул пиджак и отправился в клуб.

Саша один бродил по золотившемуся и розовевшему под низким смуглым солнцем жнивью, вспугивал перепелов, с наслаждением стрелял, бегал поднимать их — тугих, теплых, — клал в сумку и устало улыбался, вытирая рукавом пот.

Скоро стемнело и похолодело. Выйдя к реке, Саша разделся под кустами, забелел нежным худым телом, разбежался, взвизгнул, бухнулся и долго плавал, беспокоя гладкую темную под берегом воду.

Освеженный, легкий, пришел он в деревню, отдал перепелов хозяйке, ужинать отказался, выпил только парного молока, пошел в сарай, немного помечтал по своему обыкновению и скоро уснул.

А Серега пришел поздно ночью, сопя залез на сеновал, снял сапоги, разделся, потянулся, зевнул и полез под тулуп к Саше. Умывши подушку, устроившись и согретьшись, он толкнул Сашу.

— Ну как, настролял чего? — спросил он добродушно.

— Перепелок... — невнятно, сквозь сон сказал Саша.

— Ну! А я, брат, сегодня запохаживал, — Серега понизил голос. — Такую девку отколлот! Третий двор с краю, видал? Оттуда. Десять лет, черт... Десятилетку кончила.

— Ты же не любишь девчонок, — не утерпел Саша и язвительно усмехнулся в темноте, уже окончательно проснувшись, с удовольствием нюхая, как пахнет подушкой и сеном.

— А это смотря по тому каких, — нашелся Серега.

— Как же ты с ней познакомился? — спросил, помолчал Саша.

— Ну, это для меня не вещь! Любовь крутить да письма всякие писать — плевое дело!

Он сел, нашарил в темноте брюки, достал папиросы, закурил, лег и продолжал:

— Пишешь, к примеру, ты девке, к примеру, звать ее Люба... Пишешь: «С горячим приветом к вам, Люба, неизвестный вам передовой электрик Сергей Вараксин. Поскольку несем мы героическую вахту на благо всего советского народа, то я весьма интересуюсь, Люба, знать про ваши дела в вашей повседневной жизни и учебе».



Е. Д. ПОЛЕНОВА (1850—1898). Художники на рисовальных вечерах у В. Д. Поленова и натурщик в одежде араба. Бумага. Односеансная. Акварель. Разм. 11,6×19. 1888 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

Сергея засмеялся от складности того, что говорил, и возвысил голос:

— Ты, Люба, писала в своем письме, что веришь в чистую дружбу. Вы, конечно, меня не знаете, но вы скоро меня узнаете путем переписки, а возможно и личной встречи. А в этом вопросе современности я с вами целиком и полностью согласен и предлагаю свою горячую верную дружбу. Люба, напиши по этому поводу, какого вы мнения. А пока Люба, посылаю вам свою фото, каковой взаимно жду и от вас...

— А на фото, — добавил он, посмеиваясь, — надо написать так: «Люби меня, как я тебя, и будем мы навек друзья» или «Пусть этот мертвый отпечаток напомнит образ мой живой».

— Бадяга какая-то, — сказал, тоже улыбаясь, Саша. — Да ты про сегодняшнее-то расскажи!

— Ничего не бадяга! — живо отвечал Сергей. — Ты еще сопливый, не понимаешь! А такие слова на девок, как кислота, действуют. Ты со своей философией да с поэзией век дураком будешь. Эх, тебя бы к нашим корешам, они б тебя обработали! Парень ты на лицо симпатичный...

А сегодня так было. Пришел я в клуб. Ну, клуб у них нигуда! Наш — новый, с колоннами, два года строили. А у них тут так... изба большая, пятистенка, без печки и без перегородки.

Пришел, закурил, выясняю положение. Народ собирается, но только сперва все девки, ребят нету.

Пришел гармонист, начал скрипеть, девки — танцевать. Я к одной. «Разрешите, — это я ей говорю, — с вами пару подметок не пожалеть!» Танцуем. Я это сейчас тонкий намек ей на толстые обстоятельства, что, мол, не мешало бы ей уделить внимание в более подходящей обстановке.

А девка!.. Бока тугие, щеки так и трясутся. Ах ты, думаю, японский бог, в самый аккурат мой вкус! Ну, она мне в натуре отвечает, что она со мной согласна и внимание уделяет, только не таким, как я. Это, значит, я рылом не вышел. Ну, ладно... Вижу — занятая она, дохлое дело. Я опять попритих, выглядываю.

Вдруг смотрю, одна — молоденькая, красивенькая... Глазами так и стригет, губки красненькие, волосом черная, а я блондинок не обожаю вовсе. И главное, с девчонками все крутится, хихикает. А они, которые не занятые, всегда табунком держатся.

Ну, я заметил: глянула она на меня раз, другой. Я тогда к ней, оттираю ее в сторону... Тут движок застучал, дали свет, при свете-то она еще красивше оказалась. Пластинки закрутили, станцевал я с ней пару раз, интересуюсь, кто, мол, такая. Говорит, телятница на ферме. Ну, ладно, предлагаю ей просветиться. Выходим в сени, оттуда на крыльцо. Правда, ребята уж собрались, там у них все комсомольцы, сознательные, паразиты, — в сенях курили, — кричат ей: «Гаяля, Гаяля!» — это ее Галей звать — фонариками светят, а я боком на нее, шепчу: «Я тебе, мол, чего-то

сказать хочу...». Ну, она задрожала. Они, эти девки, всегда дрожат, прихватишь там ее под руку или лапанешь, она и затряслась.

Ну, она дрожит, а я ходом веду ее по дороге, назад глянул—никого не видать, я давай к ней жаться, а сам покашливаю, молчу, делаю вид, что дюже смущен. «Ты чего, говорю, дрожишь? Замерзла?» — «Не знаю...» — это она-то. Ну, я сейчас ей свой пинжак на плечи. А это, студент, учти, первое дело — пинжак ей свой отдать. Как накинул, так она сразу, как какмышь.

Так я ее и проводил до самого двора, а пуще всего рад был, что попутно. А то, если б с Горок была, ошалеешь провожать-то! А тут ничего, соседи. За двор зашли, на зады, посидели на бревнышке, я ей про свою жизнь толкую, разливаюсь, говорю идейно, как из газеты, они такие-то это любят. А после обжимать начал. Она сперва побрыкалась, потом ничего, сомлела... Сопит, собака, трясется! Через неделю, увидишь, полный порядок в колхозе будет — я с ними умею!

— Подлец ты! — сказал Саша.

Сергеа захохотал, задирая ноги, шлепая себя погодицам.

— Хотишь на спор? Ну? — весело предложил он. И, не дождавшись ответа, все еще улыбаясь, отвернулся, понюхал руки, поерзал, устраиваясь поудобнее, и заснул, вздрогнув несколько раз.

IV

Перепали было дожди, и все быстро заосеняло.

Размокли дороги, крыши и стены дворов потемнели, не спеша, плотно и низко поползли с севера тучи, стало холодно, сено в сарае отсырело, и было страшно вылезать по утрам из-под тулупа.

Но скоро дожди кончились, и все опять засияло последней красотой позднего лета. Золотилась паутина в жнивье и кустах, опять подолгу кровянела, а потом желтела, зеленела вечерняя заря. Опять падала роса по утрам, воздух был резок, и все чаще крыши и траву обсыпал хрусткий иней.

По садам, по полям, по рябинам тучами летали скворцы. В ригах молотили, веяли, воздух был полон тонкими звуками работающих моторов, в город шли и шли машины с зерном, и тончайшая пыль висела сухим туманом над дорогой.

Сергеа пропадал на гулянках. Охоту он совсем забросил, и Саша ходил один, ходил упорно, утром и вечером, хотя и ему уже не терпелось пойти в клуб. Ему теперь не с кем было перемолвиться словом, он часто задумывался, делался тоньше, отчетливее лицом, скулами. Глаза его стали прозрачнее, больше, и все пристальней смотрел он теперь на встречавшихся ему девушек.

А Сергеа приходил ночью, шуршал сеном, ложился, начинал сопеть, ворочаться, и пахло от него духами



А. Е. АРХИПОВ (1862—1930). Натурщик в одежде араба. Бумага. Односеансная. Графич. карт. Разм. 36×26,6. 2 декабря 1889 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

и пудрой. Если Саша спал, Сергеа будил его и начинал изводить разговорами о Гале.

И вот однажды Сергеа пришел под утро и не разделся по обыкновению, а сел с краю, снял сапоги, свесил ноги, закурил и окликнул:

— Студент! Спишь ай нет?

— Ну что? — грубо отозвался Саша.

Сергеа помолчал, покашлял, потом сказал:

— Пол-литра с тебя, студент! Проиграл ты...

— Врешь! — сказал Саша и сел.

— Чего мне врать? В милиции, что ли? — равнодушно возразил Сергеа, и по вялости, с какой он возразил, Саша понял: не врет!

И начал зачем-то обуваться, чувствуя боль в сердце и жалость к себе. Как будто что-то нехорошее, стыдное произошло именно с ним. А Сергеа повалился

на спину, заложил за голову руки, потянулся, посмеялся и заговорил:

— Я еще дня три назад заприметил, что она одна у себя на сеновале спит. Ну, виду не даю, все так уговариваю... Нет, никак! Да ты куда это?

— Никуда, — сказал Саша, замирая, шаря по сену дрожащими руками.

— А мне вроде показалось... Ну, сегодня расстались все честь по чести, взошла она к себе, я за воротами остался... Он вдруг засмеялся. — А сосед у них, старик шалавый, сад свой стережет. Выйдет в тупе с ружьем и вот ходит, как тот часовой. Погломонили по деревне, тихо стало. Дай, думаю, яблочка... Полез. Через плетень перескочил, да неловко, ногами в хвост. Дед зашумел: «Ктой-то? стрелять буду!» — и курком ка-ак щелканет! Я как брякнулся, так и лежу носом в землю, аж спина похолодела. Вот, думаю, нарвался, вдарит в заднее место — вся любовь пропала! Ничего, постоял, отошел. Тут я яблочко пяток сорвал и обратно. Хотел тебе пару снести, да как-то замечтался, сам все съел.

Сию эту я на бревнышке, яблоки грызу, обдумываю положение, у самого уж руки-ноги отымаются, а кругом-то — темно-о! Сгрыз, снял сапоги и пошел. Взошел в сени, как вор какой, весь трясусь. Лезу по лестнице, не дышу, чтобы, значит, ни стуку, ни грюку... Голову вытягиваю, гляжу — где? Гляжу, лежит под самой стрехой. Пополоз я по сену к ней... Да куда-то ты?

— Пошел к черту! — закричал Саша визгливо, нашаривая ногой перекладину. — Скотина! Идиот! У-у!

В нижней рубаше, успев надеть только сапоги, вышел он из сарая, пошел к дороге, сел на бревно возле мостика через ручей, сгорбился, сотрясаясь от озноба, от тоски и гадливости.

А минут через пять, одетый, вышел на улицу Серега, огляделся, увидел Сашу, подошел, сел на другом конце бревна.

— Чего ты, студент? — спросил он насмешливо. — Ай завидно? Я тебе, дура, давно говорил, брось ты охоту — всему свое время. Ну, хотишь, и тебя познакомлю? У Гальки подружка есть, одинокая, скучает. Та, верно, не такая красивая, ну да тебе и та сойдет...А?

Саша молчал, отвернувшись. Ему было горько и одиноко. За деревней послышались голоса, потом показались темные фигуры — гурьбой шли по дороге, посвечивая папиросами. Подойдя к мостику, замолчали и остановились, приглядываясь.

— Он? — неуверенно спросил кто-то.

— А ну, подойдем...

И они все сразу завернули и пошли к охотникам. Серега поднялся, расставил ноги, сунул руки в карманы. Ничего не понимая, но предчувствуя что-то ужасное, поднялся и Саша.

— Закурить есть? — спросил кто-то из подошедших.

— В сарае... — не своим голосом сказал Серега.

— Постой! — выдвигаясь, сказал низкий крепкий парень в солдатской фуражке и цепко схватил Серегу за рукав. — Гальку знаешь?

— Ну чего ты... Брось! — слабо сказал Серега.

— А чего тебе в клубе говорили, помнишь, сука?

— Да что вы, ребята... — бормотал Серега, начинающая дрожь. — Я же свой, деревенский! Не надо, ребята! А с ней я не встречу больше...

— Ага, не встретишься! — с бешенством повторил державший его и часто задышал.

— Вот гад буду! Честно говорю... Завтра же уеду!

— Ага, уедешь! — все так же бессмысленно, распахиваясь, повторил коренастый.

Но тут, кашлянув, придвинулся к ним другой, высокий, гибкий, в галифе и сапогах, с пучком каких-то белых цветов в кармане пиджака.

— Постой, Петя! — неестественно ласково сказал он, отодвигая коренастого. — Я же его знаю! Он парень свой! Не надо его бить...

И, пригнувшись, придушенно ахнув, ударил Серегу в душу. Серега тяжело повалился, потом вскочил, но на него кинулись сразу двое и снова сбили с ног.

Саша хотел остановить их, но его перехватил здоровый парень, ударил слегка, но так, что у Саши зазвенело в голове, схватил за ворот рубашки крепкой бургистой рукой, начал душить и глухо бормотать:

— Тихо, тихо... А то кровь с зуб пойдет... Тихо!

И все смотрел туда, в темноту. А там, толкаясь, мешая друг другу, били и били что-то вскрикивавшее и хрипевшее при каждом ударе. И особенно ловок был высокий парень с белыми цветочками в кармане пиджака. Он приговаривал, задыхаясь: «Не надо... Бросьте, ребята! За что?» — подскакивал и бил Серегу по голове и животу.

— Да что ж вы делаете? — закричал изумленный бабий голос с ближнего двора.

Парень, державший и встряхивавший в возбуждении Сашу, бросил его, кинулся к своим, растолкал их, и все вместе они побежали в темноту задами по сырому лугу.

Оставшись один, Саша вытянулся и оцепенел, глядя на валявшегося возле мостика Серегу. И когда прибежали люди, когда, засветив электрическими фонариками, стали спрашивать, кого и за что били, не мог ничего сказать, только стучал зубами и дрожал коленками.

Серегу понесли к сараю, посадили на порог, стали светить на него, ощупывая, разглядывая голову и тело. Закидывая лицо, Серега фыркал кровью и плакал.

— Ничего, цел! — бодро сказал кто-то, осмотрев Серегу и вытирая сеном руки. — Отлежится!

Запахавшись, пришла фельдшерница в белом халате, обмыла, смазала и завязала Сереге голову. Потом с сеновала сбросили вниз сена, подушку, Серегу уложили, и все скоро разошлись.

Всю ночь Серега стонал, сморкался, плевал кровью, ругал Сашу, Москву и охоту. А утром прибежала Галя,

и Саша, впервые увидевший ее, чуть не ахнул: так хороша, так откровенна и стыдлива одновременно была она в своей любви.

— Что они с тобой сделали? Да что же это, господа! — горячо зашептала она, со страхом глядя на забинтованную голову Сереги.

— **А вот погляди!** — отвечал Серега, раздвигая бинты, показывая черное лицо и злобно глядя запухшими глазами на Галю. — Видала? Все из-за тебя, стерва! Сегодня же уеду, на хрена мне такая самостоятельность!

— Сережа... — сказала она, опускаясь на колени. — Не нужно, не говори так... Мы на них в милицию подадим...

— **Уйди от меня!** — сказал Серега, отворачиваясь. Галя взглянула на Сашу, мучительно покраснела, слезы выступили у нее на глаза. Саша схватил ружье, выскочил из сарая и побрел лугом к лесу, чувствуя опять вчерашнюю тоску, обиду, зависть...

И как нарочно был в тот раз чудесный день, особенно тихий, особенно нежный, совсем летний, но бледный и грустный уже по-осеннему.

Целый день, горяча себя, ходил и стрелял Саша, стараясь рассеяться, прогнать тоску усталостью, но уже ни о чем не мог думать, кроме как о Гале.

«Ни стуку, ни гроку...» — с едкой усмешкой вспоминал он. И опять спотыкался на кочках, лазил по оврагам, ел малину и дикую смородину, пьянея от их душного запаха, стрелял, — эхо звонко и резко отдавалось в лесу, и дым пеленой падал на траву.

Измученный, похудевший, пришел он в деревню, отворил дверь в сарай и сразу понял с презрением: **Серега уехал.** «У-у, животное!» — сказал Саша, положил на сено ружье и пошел к хозяевам. Старик только что

проснулся, сидел на лавке с опухшим бессмысленным лицом, шарил темной рукой по клеенке, сгоняя мух.

— Сергей-то? — переспросил он. — Уехал. Н-да... Днем еще подался, даже расстроился. Два рубля оставил, — грустно усмехнулся он. — Вот как, два рубля, говорю... А ты ай остаешься? Ну-ну... Гляди сам. Сарая, сена не жалко. Это кто ж его? Или левашкинские? Я и гляжу: милиция туды погнала. Ловко они его!

Он полез на печь, достал буро-зеленых листов самосада, стал тереть на ладони.

— Сама садик я садила... — бормотал он, зевая.— Ну, как охота-то? Ай, никого не попалось? Это дело на любителей, конечно. Что, ай и в самом деле снюхались они? Не знаешь? Ну-ну...

Он закурил, сладко задымил, закашлялся, краснея лысиной, прижмуриваясь, вытирая шершавой рукой выступившие слезы.

— Настя! — крикнул вдруг он в сени. — Нацедика нам бражки по баночке... Да не оттеда! — прислушавшись, опять закричал он. — Той, которая у ведре!

А когда совсем стемнело, опьяневший, расстроенный, пришел Саша в сарай, забрался на сеновал, повалился и стал тереть онемевшее лицо. Ему вдруг захотелось домой. «Уеду к черту! — тоскливо решил он. — В Москве ребята, девчонки, розыгрыш по футболу... Уеду!»

Он стал думать о Москве, о знакомых девочках, и скоро у него разгорелось лицо от волнения. И жизнь, которой он жил все эти дни, охота, стыдливое, но уже и порочное, как ему казалось, лицо Гали, Серега, звук молотилок, ночная драка, красота осени — все это сразу стало далеким, ушло куда-то, точно так же, как ушла вся его прошлая жизнь, когда он поздно ночью слез с поезда в Мятлеве.



Борис Балтер

ТРОЕ ИЗ ОДНОГО ГОРОДА

Часть первая

I

В оконном стекле переливалось синее море иплыли белые облака. От окна к двери тянулась широкая полоса солнца. Письменный стол и солнце отделяли нас от секретаря городского комитета комсомола Алеша Перверзева. Когда ветер шевелил створку окна, солнце скользило по полу, ложилось на угол стола и на наши ноги с поднятыми коленями: мы сидели на низком клеенчатом диване с продавленными пружинами и слушали сначала военкома, теперь — Алешу.

Мы хорошо знали Алешу: два года назад он окон-

чил нашу школу. Мы — это Витька Аникин, Сашка Кригер и я. На диване еще сидел Павел Баулин — матрос из порта, старше нас года на три.

Алеша был опытным оратором. Он мог произнести речь по любому поводу. Например, мы отлично помнили его речь о вреде сусликов. Он произнес ее в девятом классе, когда вся школа готовилась выступить против них в поход. Он открыл нам глаза на паразитическую жизнь сусликов — этих коварных врагов молодых колхозов и советской власти.

Алеша нагнулся над столом, и ладони его упирались в обтянутую зеленым сукном крышку.

— Вы поняли, что сказал военком?—спрашивал он. Как всякий хороший оратор, Алеша предполагал худшее: он не доверял нашей сообразительности. А может быть, ему казались необидительными слова военкома, сухие и лаконичные. Военком сидел в прохладной тени, положив локоть на край стола, и пристально разглядывал носки сапог. — Речь идет о большой чести,— говорил Алеша, — о великом доверии, которые партия и комсомол готовы оказать вам, мальчишкам, еще не сдавшим экзаменов за среднюю школу. — Алеша внимательно вглядывался в наши лица, пытаясь угадать, что происходит у нас в душе. Для этого не нужно было особенной проницательности: мы изо всех сил старались казаться серьезными, но сил нам явно не хватало, чтобы удержать самодовольные улыбки и скрыть возбужденный блеск глаз.

Проще всего было Сашке: ему не надо было притворяться. Серьезным Сашку никто не видел от рождения, а его выпуклые глаза блестели всегда. Сашка сидел слева от меня, выставив вперед свой горбатый нос и острый подбородок. Другое дело — Витька. Он толкнул меня в бок локтем. Я оглянулся. Он сидел между мной и Баулиным и толкнул меня случайно: я это понял по его лицу. Витька смотрел на Алешу и улыбался открытым ртом. Это по наивности. Витька был очень наивный. Сколько Сашка его ни воспитывал — ничего не получалось.

— Вы стоите на пороге большой жизни, — говорил Алеша, как будто сам он этот порог давно переступил. — Комсомольская организация города предлагает вам начать свою самостоятельную жизнь там, где вы принесете больше пользы делу партии. Мы не собираемся экспортировать революцию. Но за рубежом враги мечтают о реставрации в нашей стране старых порядков. Они готовятся напасть на нас. И вот тогда вы поведете войска первого в мире рабоче-крестьянского государства.

В армию все больше призывают юношей со средним образованием. Старые командные кадры, опытные в военном деле, уже не могут полностью удовлетворить духовных запросов бойцов.

В этом месте Алешиной речи мы посмотрели на военкома и почувствовали свое превосходство над этим пожилым майором с морщинистым грубоватым лицом, с широкими скулами и тяжелым, нависающим над глазами лбом. На левом рукаве его отутюженной гимнастерки вспыхивали золотые шевроны, а на правом рукаве золото тускло поблескивало в тени.

— Да, товарищи, современная техника требует от бойцов и командиров всесторонних знаний, — гремел голос Алешы, не знающий снисхождения. — Комсомол был первым на стройках сталинской пятилетки. Комсомол должен быть первым в строительстве вооруженных сил. Вот почему мы решили обратиться к вам, лучшим из лучших, с призывом идти в военные училища. Подумайте, через три года вы будете лейтенантами... — Алеша сделал паузу.

Подумайте!.. Он просил нас о том, на что мы совершенно не были способны в эту минуту. Взволнованный стук сердец заглушал мысли. Час назад, когда мы входили в эту большую, знакомую до мелочей комнату, у каждого были планы на будущее, обдуманые вместе с родителями. Я, например, собирался стать горным инженером, потому что горным инженером был муж моей старшей сестры. Сашка Кригер должен был пойти в медицинский институт, потому что врачом был его отец. Витька Аникин хотел стать учителем. При Витькином терпении и доброте лучшую профессию трудно было придумать. О планах Павла Баулина мы ничего не знали. Мы были мало знакомы с этим широкоплечим парнем в брюках клеш и полосатой тельняшке и знали его только как местную знаменитость: Павел был чемпионом Крыма по боксу.

— Теперь вы знаете, зачем мы вас пригласили. Слово за вами, — сказал Алеша обычным, не ораторским голосом. Он сел на старинный стул с высокой резной спинкой. Стул этот был такой старый, что его давно бы стоило выбросить. Я думаю, Алеша этого не делал из-за спинки: другого стула с такой спинкой не было во всем городе. — Наверху ваши кандидатуры согласованы, — как бы между прочим сообщил Алеша и показал большим пальцем на потолок. Мы поняли, что значит «наверху»: как раз над нами был кабинет Колесникова — первого секретаря горкома партии.

Алеша повернулся к военкому, спросил:

— Заявления нужны сейчас?

Прежде чем ответить, военком посмотрел на нас.

— Важно согласие. Заявления напишут после экзаменов, — сказал он.

Мы не смотрели друг на друга, чтобы не выдать душевного ликования. О том, что военная служба стала профессией, мы знали. Об этом много писали в газетах, когда были введены воинские персональные звания. Но мы даже не догадывались, что это может иметь какое-то отношение к нам. Как все мальчишки, мы были самого высокого мнения о своих способностях и о себе. Мы были самолюбивы и дерзки. И вдруг оказалось — имели на это право. Нас назвали «лучшими из лучших», в нас нуждались партия и государство.

Я часто говорю «мы», потому что я, Витька и Сашка одновременно были и очень разными и очень похожими друг на друга.

Военком тихо переговаривался с Алешей, и я не слышал слов. Мне еще никогда не приходилось принимать такое важное решение.

О жизни армии мы знали немного. За городом, на пустынном берегу залива был аэродром морской авиации. На Кай-Бурунской косе, в длинных казармах из желтого ракушечника, похожих на бараки, стояла какая-то зенитная часть. В июне на открытый рейд приходила из Севастополя эскадра. Она приходила неожиданно: утром в море, напротив пляжей, стояли корабли, которых накануне не было. Целый месяц в море слышались орудийные раскаты, похожие на отдаленный

гром. По воскресеньям город заполняли белые форменки моряков, и город отдавал им все лучшее, что у него было.

В нашей школе работали кружки Осоавиахима — стрелковый и парусный. Мы гордились своими успехами: они помогали утвердить наше мужское самосознание. Но к военным занятиям мы относились, как к увлекательной игре.

Отец моей Инки, девчонки из нашей школы, был летчиком морской авиации. Он по целым дням пропадал на аэродроме, и все у них дома жили ожиданием его. Он был простым и веселым человеком, но опасность его профессии создавала вокруг него ореол необыкновенности. Я часто бывал у Инки дома. Ко мне отец относился с насмешливой доброжелательностью и называл меня «женихом». Он любил свою профессию; постоянно говорил о ней и, когда узнал, что я собираюсь стать геологом, сказал:

— Ну что ж, геологи — тоже люди. У них работа, почти как у летчиков — заплыть жирком не дает, — и тут же рассказал, как однажды ему пришлось разыскивать с самолета геологическую партию, заблудившуюся в тайге. Что-то он теперь скажет... А что скажут мама, сестры, Сергей? Но больше всего я думал об Инке и ее отце. Конечно, «думал» — не то слово: просто их лица чаще мелькали у меня в голове.

— Ждем, — сказал Алеша. — Решайте.

Мы молчали, готовые согласиться, смутно догадываясь, насколько серьезно то, чего требовали от нас, как изменится все наше будущее после короткого слова «да» и сколько беспокойства войдет в нашу жизнь.

— Предположим, я скажу «да». Приду домой, а мои папа и мама скажут «нет»?.. — это сказал Сашка. Он начал говорить сидя, но потом, взглянув на военкома, встал и загородил солнце.

— Кригер, тебе же восемнадцать лет. Вспомни, как в твои годы уходили комсомольцы на фронт. Напомни об этом своим родителям, — сказал Алеша.

Напоминать об этом Сашкиным родителям не имело смысла: они никогда не были комсомольцами и ни на какую войну не уходили. Алеша это знал не хуже Сашки. Поэтому Алеша добавил:

— Какой же ты комсомолец, если не сумеешь убедить родителей?

— Я говорю да, — сказал Сашка. — А моих родителей мы будем убеждать вместе. — Сашка сел, как будто согнулся пополам, и полоса солнца легла на его колени.

По Сашкиному тону я понял: в согласии родителей он по-прежнему сильно сомневается. Я тоже сомневался: не в своей маме, а в Сашкиных родителях. В своей маме я был уверен. Поэтому, когда Алеша посмотрел на меня, я сказал:

— Согласен.

— Понятно, — Алеша нагнулся к военкому, сказал: — Это Белов, Надежды Александровны сын. Военком закивал головой и посмотрел на меня. — Твое слово, Аникин, — сказал Алеша.

Витька покраснел, и на лбу у него выступили капли пота.

— Я тоже согласен, — сказал Витька.

— Сколько платят лейтенанту? — это спросил Павел Баулин. У него был сипловатый бас, и говорит он сильно растягивая слова. Павел сидел откинувшись на спинку дивана. Тяжелая рука его свободно лежала на валике: в такой же расслабленной позе, раскинув ноги, он обычно отдыхал в своем углу на ринге.

Алеша приподнял плечи и чуть развел над столом руки: жест достаточно откровенный. Но Павел смотрел не на Алешу, а на военкома.

Прежде чем ответить, военком встал.

— В армии зарплата начисляется не по званию, а по должности, — сказал он. — Вас после окончания училищ назначают на должности командиров взводов..

— Это неважно. Какое жалованье у командира взвода? — спросил Баулин.

— Шестьсот двадцать пять рублей, — ответил военком. — А перебивать старших в армии не положено.

— Подходяще! — Павел посмотрел на Алешу. — Запиши: я согласен.

— Повестка дня, как говорится, исчерпана, — сказал Алеша и поднялся. Мы тоже встали. — Заявления принесете в горком сразу после экзаменов. Между прочим, я тоже иду в военное училище...

Как опытный агитатор Алеша приберег свое сообщение под конец. Он ждал от нас радости, и мы действительно обрадовались. Мы привыкли к Алеше и были уверены, что с ним не пропадем.

II

В конце мая в нашем городе начинался курортный сезон. К этому времени просыхали после зимних штормов пляжи и желтый песок золотом отливало на солнце. Пляжи наши так и назывались «золотыми». Было принято считать, что наш пляж занимает второе место в мире. Первое — принадлежало какому-то пляжу в Италии, на побережье Адриатического моря. Где и когда проходил конкурс, на котором распределялись места, никто не знал. но в том, что жюри конкурса смошенничало, я не сомневался: по-моему наш пляж был первым в мире.

Зимой и летом город выглядел по-разному, и зимняя его жизнь не походила на летнюю.

Зимой холодные норд-осты врывались в улицы и загоняли жителей в дома. Город казался вымершим, и в самых отдаленных концах его слышался разгневанный рев моря. Во всем городе работал один кинотеатр, в котором давали только три сеанса, — последний кончался в десять часов вечера. Мы все дни и вечера проводили в школе и в Доме пионеров, а в наших собственных домах были редкими гостями.

Весь город делился на три части: Новую, Старую и Пересыпь. Наша школа была в Новом городе, в Новом городе был и курорт с пляжами, санаториями, курзалом. Курортники очень удивлялись, когда узнавали, что в нашем городе есть Пересыпь. Они почему-то вооб-

ражали, что Пересыпь может быть только в Одессе. Чепуха. Море пересыпает пески, намывая вдаль от берега песчаные дюны, не только в Одессе. И поселки, построенные на этих дюнах, называются Пересыпью во всех южных городах.

Витька жил на Пересыпи, а я и Сашка — в Новом городе. Сашка и Витька дружили с Катей и Женей — девочками из нашего класса. Я — с Инкой Ильиной: она была моложе нас на два года. И хотя все мы жили в разных концах города, это не мешало нам каждый день после школы проводить вместе. Мы не искали уединения: вместе мы чувствовали себя свободней и проще.

В погожие воскресные дни мы уходили на курорт. Пустынные пляжи казались необыкновенно широкими. На черных металлических сваях возвышался поплавок. Он стоял без оконных рам и дверей, снятых вместе с мостиком — чтобы их не разбило штормом. На перилах террас и на крыше сидели птицы. Светло-зеленое море с белыми гребнями волн было враждебным и холодным. Время от времени птицы кричали, и в криках их слышались тоска и отчаянье.

Мы бродили в голых и озябших парках, и между деревьями белели здания санаториев с заколоченными окнами. Мы не могли долго выдержать тишины и заброшенности пустынных мест. Тогда мы начинали петь и кричать. Сашка Кригер взбегал вверх по длинной с широкими ступенями каменной лестнице и, обернувшись к нам, читал:

— Хожу
гляжу в окно ли я, —
Цветы
да небо синее,
То в нос тебе
магнолия,
То в глаз тебе глициния.

Читал он, конечно, и другие стихи, но мне почему-то запомнились именно эти. Наверное, потому что над нами было синее небо, светило солнце, но было холодно и не было цветов.

На парадной лестнице санатория «Сакко и Ванцетти» мы часто устраивали импровизированные концерты. Катя танцевала. Женя пела. По нашему мнению, от профессиональных певиц она отличалась лишь тем, что не боялась простудить горло. Мы все обладали какими-то талантами. Бесталанной была только моя Инка. Но она этим не огорчалась. Во всяком случае настроение от этого у нее никогда не портилось. Учителя прозвали Инку «мельница». А мы относились снисходительно к ее чрезмерной болтливости и к способности смеяться без всякого повода.

Мы все отлично учились. Исключением опять же была Инка. Отметка «отлично» в журнале была для нее редкостью, но Инка оповещала об этом всех своих друзей и знакомых. Зато «уды» она тщательно скрыва-

ла даже от нас. Но мы все равно узнавали и отлучали Инку от всех наших развлечений. Ей не помогало ни ее красноречие, ни клятвенные обещания, что это в последний раз. Мы были безжалостны. Каждый из нас готовился стать в жизни значительным человеком. Об этом мы никогда не говорили, но это подразумевалось. К Инке для помощи прикомандировывался Витька. Это было трудным испытанием его педагогических способностей. Я брал на себя добровольную роль консультанта. Правда, Витька в моей помощи не нуждался, но я просто не мог долго не видеть Инку.

Мы не сторонились остальных наших сверстников. У каждого из нас были друзья вне нашей компании. Но шестером мы были неразлучны.

Осенью и весной старшеклассники выезжали в колхозы. В школе у нас были хорошие мастерские. Две яхты, сработанные нашими руками, ходили в Севастополь и Ялту. С наших ладоней круглый год не сходили мозоли, желтые и твердые, как ракушечник.

В мае цвела акация. Она цвела долго, осыпая город белыми лепестками. Цветение акаций совпадало с началом курортного сезона. Как важные события передавались из уст в уста сообщения: «Открылись «Май» нажи», «открылся «Дюльбер», «открылась «Клара Цеткин»... Эти санатории всегда открывались первыми. На Приморском бульваре появлялись первые отдыхающие. Улицы города с каждым днем становились многолюдней. Приезжим сдавали лучшие комнаты. Они становились полновластными хозяевами города. Город менял свое лицо, делался шумным, нарядным, веселым. Открывались магазины, павильоны, рестораны. В курзале выступали столичные знаменитости. Они появлялись ослепительно-яркие, будоражили всех и исчезали. В учреждениях города висели лозунги, которые призывали создавать все условия для здорового отдыха трудящихся. И эти условия создавались.

Но взрослые почему-то курортников не любили. Наверное, потому что зависели от них, и рядом с ними их собственная жизнь казалась неинтересной и тусклой. А мы относились к приезжим безразлично, хотя это безразличие было только внешним. Для нас они не существовали в отдельности, как человеческие личности. Наш интерес и любопытство вызывала вся их разнородная, пестрая масса: женщины, которые, казалось, заботились лишь о том, чтобы появляться на улицах предельно обнаженными, мужчины, которые все дни проводили у винных погребков и киосков. Всех их мы встречали на улицах и в трамваях. Они заполняли пляжи. Старые и молодые, худые и толстые, красивые и безобразные — они с одинаковой жадностью поглощали солнце. Мы видели их в курзале — нарядных, чистых, хорошо пахнущих, как-то по-особому свежих и снисходительно добрых: так выглядят люди, лишённые повседневных забот. Среди них были знаменитые инженеры, ученые, служащие, просто рабочие. Все они в наших глазах сливались в одно целое — в «курортников». И нам даже в голосу не приходило, что в городах, из которых они приехали, это были обычные лю-

ди, с такими же, как у всех людей, будничными делами.

Они жили среди нас, не замечая нас. Им не было никакого дела до того, что о них думают и говорят. А город видел все их слабости, и потому наши отцы и матери считали себя выше их. Но в то же время бездумно свободная жизнь курортников накладывала на местные нравы свой отпечаток.

На Базарной улице, недалеко от Сашкиного дома, была мастерская промкооперации «Металлист». В ней чинились примусы, керосинки, велосипеды, паялись и лудились кастрюли. Всю работу выполнял один человек. У него, наверное, были фамилия и имя, но между собой мы называли его просто «жестящик». Чтобы не платить за квартиру, он жил в мастерской, ходил в одном и том же комбинезоне с неуклюжими заплатками. В мастерской, среди запахов керосина и ржавого железа, особенно остро пахло рыбой: ею Жестящик постоянно питался ради экономии. Кроватью ему служил верстак, а груды тряпья, заменявшую ему постель, он убирал днем на полку, приделанную под потолком.

Когда начинался курортный сезон, Жестящик отмывал руки в щелоче, загибал мастерскую и снимал самый дорогой номер в гостинице «Дюльбер» — лучшей гостинице города. В белом фланелевом костюме, в заграничных туфлях, сплетенных из тонкой кожи, Жестящик преображался. В мастерской он не появлялся до осени и все дни проводил на пляже. По вечерам его можно было встретить в курзале, а после концерта — на веранде «Поплавка» или в ресторане «Дюльбер» в обществе красивых женщин и развязных мужчин. Знакомясь, он рекомендовал себя капитаном дальнего плавания, временно оставшимся на берегу. И женщины млели, когда его огрубевшие руки сжимали их талии во время танца. В конце курортного сезона Жестящик возвращался в мастерскую.

Но однажды он вернулся в нее в середине лета. Это случилось после одной истории, о которой говорил весь город.

К нам на гастроли после заграничного турне приехала знаменитая балерина. Она три дня танцевала на открытой эстраде курзала. И все эти три дня мы видели Жестящика в первом ряду на одном и том же месте. Каждый вечер, когда балерина исполняла последний танец, в проходе перед сценой появлялась билетерша с корзиной голубых, как утреннее небо, роз. Эти редкие розы выращивал садовник на Пересыпи, и, чтобы придать им необыкновенный цвет, он что-то впрыскивал в корни. Когда балерина, вызванная овацией, выходила на авансцену, билетерша ставила к ее ногам цветы. Жестящик вставал и уходил по проходу — высокий, элегантный, невозмутимо спокойный. На последнем концерте я увидел его глаза: обычно белесые, они светились ярко и холодно, как будто вобрали в себя цвет роз. Он прошел мимо нас, как слепой. Я толкнул локтем Витьку, Витька уставился на меня. Я повертел пальцем перед своим лбом, и тогда Витька

понял, что смотреть надо не на меня. Рядом с Жестящиком шла билетерша и зло говорила:

— Платить-то думаешь? Третью корзину таскаю...

— Потом, потом, — ответил Жестящик. Но билетерша продолжала идти рядом. Мы хорошо знали ее скандальный характер и пошли следом за ними, чтобы ничего не прозевать. Но нас ожидало полное разочарование: скандала не произошло. У выхода за ограду Жестящик достал из бокового кармана пиджака бумажку и, сжав ее в кулаке, сунул в руку билетерше.

В этот вечер Жестящик ушел с концерта не один. А на другой день он вместе с балериной исчез из города.

Жестящик вернулся через месяц...

Я и Витька ждали Сашку на углу Базарной улицы. Сашка опаздывал. Никто из нас никогда не опаздывал. Мы стояли и ругали его последними словами. Наконец Сашка появился и издала сообщил:

— Имею новость...

— Наплевать на твою новость. Почему опоздал? — спросил Витька.

— Нет, вы видали? Я бегу сообщить им новость, а ему на нее наплевать. Он еще не знает, на что плюет, но уже плюет.

— Сашка, не трепись, — сказал я. — Почему опоздал?

— Сообщаю: вернулся Жестящик.

— Врешь? — спросил Витька.

— Новость из первых рук. Источник самый авторитетный.

Мы не поверили Сашке. У него все новости были из «первых рук» и из «самых авторитетных источников». На этот раз авторитетным источником была Сашкина мама.

— Проверим? — спросил я у Витьки.

— Я уже проверял, — сказал Сашка.

— Ничего, теперь мы проверим, — сказал я.

Мастерская была за углом. Мы подошли и заглянули в дверь. Жестящик стоял за верстаком в своем комбинезоне. Он принимал работу, долго и мелочно торгуясь с пожилой женщиной.

— Ну как? — спросил Сашка. — А это видали?

Сашка вытащил из кармана газету: в хронике сообщалось, что после короткого перерыва балерина возобновила свое феерическое турне по городам Кавказского побережья.

Мы простили Сашке его опоздание. Жестящик был нашим личным врагом. Почему — мы не знали. Он ничего плохого нам не сделал, и мы никогда не сказали с ним ни одного слова. Но он все равно был нашим врагом, мы это чувствовали и презирали Жестящика за его двойную жизнь.

Особенно непримиримо Жестящика ненавидел Витька. Открытых столкновений между нами не было, но Жестящик, наверно, догадывался о нашей ненависти к нему. Как только мы встречали его с какой-нибудь женщиной, Витька не мог удержаться, чтобы не сказать:

— Есть же паразиты. В городе примуса негде починить, а они гуляют...

Ни разу ни взглядом, ни движением головы не выдал себя самозванный капитан. Нам очень хотелось идти за ним и разоблачать. Мы просто мечтали об этом. Но, говоря откровенно, мы боялись незрячих глаз Жестянщика и его тяжелых рук. Наверно, поэтому мы ненавидели его еще больше.

В прошлое лето мы часто видели Жестянщика на пляже с молодой и очень красивой женщиной. Потом случайно встретили ее в городе одну: она выходила из галантерейного магазина. Витька шагнул к ней навстречу и загородил дорогу.

— Человек, с которым вы бываете на пляже, обманывает вас, — сказал Витька и ужасно покраснел, потому что женщина смотрела на него зелеными глазами и улыбалась.

— Как же он меня обманывает? — спросила она.

— Он не тот, за кого себя выдает...

— Милый вы мой, для женщины это не худший вид обмана. Я знаю, что он не капитан, но какое мне это дело?

Витька вернулся к нам красный и злой. Женщина смотрела на нас и смеялась.

— Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — громко сказал Сашка, и мы ушли, гордые и непонятые. Женщина смеялась, и смех ее преследовал нас по крайней мере два квартала...

Мы, конечно, не подозревали, что и на нас самих бездумно веселая жизнь курорта с детства оказывала свое влияние. Я, например, до тринадцати лет разгуливал по городу в плавках и в этом первобытном наряде чувствовал себя на городских улицах свободно и просто, как, очевидно, чувствуют себя туземцы в Африке. Так продолжалось до тех пор, пока на меня не обратила внимание одна молодая женщина. Я пил газированную воду, а она проходила мимо с мужчиной. Они тоже остановились у киоска выпить. Я ловил краем глаза их отражение в стекле витрины. Женщина кивнула на меня своему спутнику и сказала:

— Посмотри на этого мальчика — живой Аполлон...

Я был достаточно сведущ в мифологии, чтобы понять лестное для себя сравнение. Какое-то мгновение я разглядывал собственное отражение, как нечто постороннее, и вдруг увидел в стекле глаза женщины. Она улыбнулась. Мне было жалко оставлять недопитую воду, и я допил ее, но уже без всякого удовольствия. В стекло я больше не смотрел, но все равно знал, что женщина на меня смотрит. Я поставил на стойку стакан и побежал. Я бежал до самого дома, и это привычное расстояние показалось мне необыкновенно длинным. Я старался не смотреть на прохожих, стыдясь своей наготы.

Дома не было большого зеркала. Я разглядывал себя по частям в настольное: сначала ноги, потом живот, грудь... До этого я не замечал своего тела, просто не думал о нем. Оно отлично служило мне во время игр, и этого было вполне достаточно. Теперь у меня по-

явился к нему какой-то жгучий интерес, которого я стыдился. В тот день я больше не выходил из дома. Я сидел у окна и ждал мать. И как только она вошла в комнату, сказал:

— Ходить в плавках я больше не буду.

— Что случилось?

— Ничего. Но ходить в плавках я больше не буду.

— Ничего, походишь.

Мама не была злой. Просто нам трудно было жить вдвоем на ее зарплату. Мое категорическое заявление застало ее врасплох. Самолюбие матери мешало ей признать, что она не может дать сыну того, в чем он действительно нуждался. За ужином я обычно рассказывал маме о всех своих дневных делах и похождениях. Но в тот вечер молчал. О том, что произошло со мной, я мог бы рассказать только отцу или Сергею — мужу моей старшей сестры. Но отца у меня давно не было, а Сергей и сестры работали на Крайнем Севере.

Утром я дождался, пока ушла мама, вытащил из комода брюки и вельветовую куртку. В них я ходил зимой в школу. Брюки оказались безнадежно коротки и сильно потерлись на коленях. Я взял ножницы и распорол манжеты. После этой операции длина брюк меня вполне устроила. Правда, внизу болталась бахрома, и цвет брюк под манжетами оказался значительно темнее, но это меня мало беспокоило. Хуже обстояло дело с ботинками: они сохли и вообще не налезали на ногу. В ящике со старой обувью я отыскал летние туфли Сергея. Верх был почти целый, но подошвы оказались протертыми насквозь. К тому же туфли были мне широки. Но это все мелочи. Зато мою наготу надежно прикрыли черные когда-то брюки с проступившим на них грязно-рыжим оттенком, коричневая куртка и широконосые туфли, в которых ноги мои болтались, как в галошах. В этом наряде я в то утро впервые появился на улице и носил его в тридцатиградусную жару до тех пор, пока сестры не прислали мне новый полотняный костюм и сандалии.

Жизнь курортного города с ее обнаженной интимностью, которую отдыхающие даже не пытались скрывать, рано пробудила наш интерес к девочкам. В восьмом классе Сашка и Витька подружились с Катей и Женей. А в прошлом году я, наконец, обратил внимание на Инку. Вернее, я обратил внимание на Инку сразу, как только она поступила в нашу школу (они приехали с Дальнего Востока), но первое время я нравился Инке больше, чем она мне. Катя носила мне Инкины записки, которыми я зачитывался, но на них не отвечал. Я оберегал свою независимость. С меня было достаточно, что Сашка и Витька ее потеряли. Но когда Инка пригласила меня на свой день рождения, я пошел. Это была, конечно, ошибка, потому что с того вечера я больше не мог притворяться.

Конец школьных занятий совпадал с открытием курортного сезона. Мы вливались в праздничную сутолоку города и растворялись в ней до самозабвения. С утра пляж, потом курзал, а после концерта купание

в черной и теплой воде, над которой белыми холодными огоньками вспыхивали брызги. Но самым острым удовольствием для нас была игра в волейбол в каком-нибудь санатории. Физруки санаториев хорошо знали силу нашей школьной команды, капитаном которой был Сашка, и, чтобы доставить удовольствие своим отдыхающим, охотно приглашали нас к себе. Нам нравилось, что о каждой игре сообщали афиши, которые вывешивались перед входом в столовую. Посмотреть на шестерых коричневых от загара мальчишек, в невероятных бросках и падениях вытаскивающих «мертвые» мячи, собиралось много отдыхающих. Наши девочки, конечно, были среди зрителей, подчеркнуто не замечая их: наши подруги умели достойно делить с нами и нашу славу и горечь поражений.

Вот и вся коротенькая предыстория о нас и о нашем городе.

III

Из горкома Витька и Сашка ушли на пляж, где их ждали Катя и Женья. А мне надо было зайти за Инкой в школу: у нее был письменный экзамен.

В школе ее, конечно, не оказалось. На спортивной площадке в углу широкого двора мальчишки играли в волейбол. Я подошел к девочке из Инкиного класса.

— Ты не видела Инку? — девочка стояла на краю площадки и смотрела игру.

— Видела, — сказала она и даже не повернула ко мне головы.

— Когда?

— Ну, полчаса, час — не помню..

— Куда она делась?

— Пошла в горком комсомола.

С Инкой всегда так — договориться встретиться в одном месте, а ее понесет в другое. Я обзлился.

— Почему ты сразу не сказала?

— А почему ты сразу не спросил?

Мальчишки слева играли лучше. Погашенный мяч ударился о землю на правой стороне площадки. Девочка резко повернулась ко мне.

— Что ты пристал? — спросила она. — У меня только и забот, что караулить Инку.

Ну, что было спрашивать с этой отягощенной заботами девчонки?

— Не волнуйся, они все равно проиграют, — сказал я и пошел к воротам. Мне так нужна была Инка. Мне так необходимо было рассказать ей, зачем меня вызывали в горком. Но снова идти в горком не имело смысла: ее наверняка там давно не было.

Я постоял на улице. Бархатно-черные тени акаций резко отделялись от выбеленной солнцем мостовой. На другой стороне тянулась низкая ограда порта. За пологой кромкой берега неподвижно переливалось море. И на желтом песке чернели просмоленные борта парусно-моторных баркасов.

Все еще не зная, куда идти, я пошел по улице. Инка догнала меня на углу и, часто дыша, забросала словами:

— Я уже все знаю... Я так бежала, так бежала. Я обегала весь город. — В этом она могла меня не уверять: представить ее спокойно идущей по улице, когда она меня ищет, было просто невозможно. — Наши на пляже. Женья устроила Витьке скандал: она боится, что его пошлют в город, где нет консерватории.

Инка торопилась выговориться, пока я ее не оставил. «Ты только подумай, — говорила она, — папа и ты — вы оба военные. Папа, наверное, получит капитана. Его аттестовали на майора, но он говорит, что получит капитана...

Был единственный способ остановить поток Инкиных слов:

— Ты откуда сейчас появилась?

— Из школы.

— А как ты попала в школу? Через забор?

— Не могла же я обегать целый квартал. Ты подумай, я заглянула через забор — увидела Райку. Она злющая оттого, что проигрывает Юрка. Райка сказала, что ты только что вышел на улицу.

Из ворот вышли учителя, и, чтобы не встречаться с ними, мы повернули за угол. Я шел немного впереди, Инка даже не пыталась меня догнать: она прекрасно видела, что я злюсь.

— Почему не ждала меня в школе?

— Я ждала, знаешь, как долго я ждала. Я так долго ждала, что просто не могла больше ждать.

Когда я говорил, мне, чтобы видеть Инку, приходилось поворачивать голову. Каждый раз, когда я это делал, я встречал ее взгляд.

Я никогда не видел расплавленного золота, но был уверен, что оно такого же цвета, как Инкины глаза. Такие глаза, как у Инки, я видел еще у рыжих собак. Инка тоже была рыжая, — вся рыжая, от пышных волос и крупных веснушек вокруг носа до золотистого пушка на ногах.

Долго злиться на Инку было просто невозможно. Я замедлил шаг, и Инка пошла рядом со мной, как будто ничего не заметила.

Теперь говорил я. Никто так, как Инка, не мог меня слушать. Я рассказывал Инке все, что меня занимало. Если она понимала меня, то это означало, что все, о чем я говорил, додумано мной до конца. Когда она переставала слушать, я улавливал в своих словах противоречия, умолкал и не мог успокоиться, пока не разрешал их. Своей железной логикой, которую так хвалили учителя, я был обязан Инке.

— Я просто не знал, что могу стать военным, — говорил я. — Тут даже сравнивать нечего: геолог и военный. Командир совмещает в себе очень много профессий. Во-первых, учителя — командир должен обучать подчиненных. Во-вторых, инженера — в армии сейчас столько техники. В-третьих, надо очень хорошо знать историю. Кто знает, может быть, битва при Каннах поможет выиграть решительное сражение за коммунизм? А может быть, и не при Каннах, а под Верденом или, скажем, военные реформы Македонского подскажут новую организацию армии...



С. А. ВИНОГРАДОВ (1869—1938). Левитан в одежде бедуина. Бумага. Односеансная. Граф. карт. Разм. 24,5×22,5. 1889 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

Я говорил так, будто всю жизнь мечтал о профессии военного и досконально изучил все ее особенности. Точно так же совсем недавно я доказывал преимущества профессии геолога. Но какое это имело значение? Главным для меня было убедить себя и Инку, что нет ничего удивительного в моем решении изменить свое будущее: больше всего я боялся показаться в Инкиных глазах легкомысленным. Все, что я говорил, пришло мне в голову по дороге от горкома до школы, пришло потому, что все это я уже читал в газетах, слышал от военкома и от Алешки Переверзева. Но эти мысли уже стали моими, я подпал под их влияние, они начали руководить моими поступками.

— В военном училище учатся всего три года, правда? — спросила Инка.

— Да...

— Значит, не через пять лет, а через три года ты уже будешь совсем, совсем самостоятельным?

— Конечно...

— Ты знаешь, Володя, я — порочная... Я спросила у мамы, когда мне можно будет выйти за тебя замуж, а она сказала, что пока ты не станешь самостоятельным, даже думать об этом порочно.

Инка сбоку из-под ресниц поглядела на меня: ей, видите ли, необходимо было удостовериться, какое впечатление произвели ее слова.

Я весь покрылся испариной: мне стало понятно, по-

чему Инкин отец называл меня «женихом». Я сдвинул брови — от этого Инка всегда приходила в трепет.

— Ну, что я такого сказала, что я сказала, — быстро заговорила Инка. — Разве я виновата, что мне без тебя бывает очень скучно. Через три года ты уже будешь лейтенантом. Тебе будет только двадцать один год, а ты уже лейтенант! Ты будешь жить в Севастополе или Кронштадте, а может быть, во Владивостоке... И я к тебе приеду. Нет, лучше ты заедешь за мной... Нет, лучше я, а ты будешь встречать меня на вокзале с цветами.

— Романтика! — небрежно сказал я, изо всех сил стараясь удержать грозное положение бровей, но они предательски расползались.

Мы шли по центральной улице. Идти на пляж было уже поздно. Улица пряталась в густой тени акаций, а там, где солнце пробивало тень, на стенах домов выступали ослепительно белые пятна. Узкий тротуар заполняли прохожие. Казалось, они просто гуляли, и когда заходили в магазин, то было похоже, что они делают это так, ради любопытства. Им не было никакого дела до нас так же, как и нам до них.

Потом мы сидели на Приморском бульваре. Наша скамья стояла у самого края набережной. Море вспухало и опадало внизу у наклонной стены, то бесшумно вползая на нее, то ударяя. И удары были похожи на ласковые шлепки. Плавали бурые комки прошлогодних водорослей, окурки, клочки бумаж. Они то поднимались, то опали, оставаясь на месте. Горизонт закрывала белесая пелена, прорезанная косыми полосами: с моря надвигался дождь, а над городом по-прежнему светило солнце.

Я вспомнил, что не узнал у Инки главного.

— Как ты написала сочинение? — спросил я.

Инка махнула рукой.

— Написала...

Мы по опыту знали, что одной из непременных тем сочинений на экзаменах в восьмом классе бывает «Евгений Онегин — лишний человек». Из педагогических соображений мы советовали Инке выбрать именно эту тему. Витька вчера весь вечер репетировал Инку. Надо было быть просто тупицей, чтобы после этого не написать сочинения хотя бы на «хорошо». Но от Инки всего можно было ожидать.

— Инка, скажи по совести, как бы ты хотела жить? Ну, что бы ты делала охотно, без нажима?

— А ты снова не разозлишься? По совести, я бы ничего не делала. Нет, конечно, я бы делала, но только то, что весело. Я хочу, чтобы всегда было лето, чтобы было тепло, чтобы я была самая красивая и чтобы было весело... И, конечно, чтобы ты всегда был со мной, и чтобы уже прошли три года, и чтобы нам не нужно было расставаться... — Инка посмотрела на меня и рассмеялась. А глаза ее говорили: знаю, что ты сейчас ответишь.

— Программа не очень определенная, — сказал я. — Но я все понимаю и, допустим, мне она даже нравится. Совсем не плохо, когда весело. Но если все захотят так жить, то кто же будет работать?

— Ведь я же учусь, — сказала Инка. — Сегодня я писала сочинение, через два дня сдам математику. Но ты спрашивал «по совести». Я тебе по совести и сказала.

Инка подняла вытянутые ноги, плотно сдвинула ступни. Она умела показать все, что было в ней красивого: она носила туфли-лодочки на низком каблучке, чтобы подчеркнуть естественный изгиб подъема, а чтобы видны были ее зубы, постоянно держала рот приоткрытым, даже когда не смеялась. Ей было шестнадцать лет, но тем, кто этого не знал, она говорила, что ей восемнадцать. Такая уж была моя Инка, и все равно я ее очень любил. Я смотрел на Инкины ноги, уже тронутые загаром. Белые шелковые носки туго стягивали щиколотку. Ноги у Инки были полные и сильные. Они всегда мне нравились. Инка опустила ноги, но я все равно смотрел на них.

— Не смотри так, — тихо сказала Инка.

Я не знаю, как я смотрел. Но знаю, что мне хотелось поцеловать Инкины ноги, а этого я еще никогда не хотел.

— Ты сказал — это романтика, — сказала Инка. — А как ты сам думаешь?.. Как все, по твоему, будет?

Что я мог ответить Инке? Радость всегда мешает видеть жизнь такой, как она есть. Впереди, мне казалось, меня ждет только радость, радость неизведанного и непознанного. Мне казалось, что за некоей воображаемой чертой только и начнется настоящая жизнь. Так всегда кажется в восемнадцать лет, а в сорок оказывается, что настоящие радости прожиты именно тогда и что самой большой была радость ожидания...

— Ладно, Инка, — сказал я. — Я буду работать и за тебя и за себя. Ты только должна кончить школу. А потом ты просто будешь моей женой, как твоя мама...

— А как бы ты хотел по совести: просто или не просто?

— Нет, Инка, по совести я бы хотел, чтобы не просто.

На соседней скамье сидели курортники. Мужчина развертывал дорожке конфеты и кормил ими женщину. Она раскрыла рот, и он положил в него конфету. Женщина прижала конфету зубами так, что половина ее осталась снаружи, и, раздвинув губы, повернулась к мужчине. Он осторожно приблизил рот к ее губам и откусил конфету. Женщина сказала:

— Слышите, как пахнет морем и акацией?

— Они тебе нравятся? — спросила Инка.

— Нет.

— Но ты только что смотрел на мои ноги так же, как он, — сказала Инка.



В. Д. ПОЛЕНОВ (1844—1927). Левитан в одежде бедуина. Бумага. Односеансная. Тушь, перо. Разм. 14,8×14,8. 1887 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

Я покраснел.

— Тебе было неприятно?

— Не знаю... Мне было немного страшно и немного стыдно. А если бы этого не было, мне было бы, наверно, приятно.

Дождь с шумом приближался по воде. Первые капли прошуршали в листьях деревьев, оставляя на песке мокрые пятна. Люди побежали под деревья и тенты над витринами магазинов. Ушли и наши соседи. На опустелом бульваре остались Инка и я.

IV

Домой я бежал. Мокрая рубашка на мне подсохла и больше не прилипала к телу. А я все равно бежал. Зачем? Я бы хотел, чтобы мне самому это сказали.

Мамы дома не было и не могло быть: она не приходила раньше восьми часов. Я вошел в гулкую от пустоты квартиру, прошел кухню, просторный коридор, — свет в него падал сверху, через узкое окно над парадной дверью — вошел в комнату. Я открыл

окна, но и на улице в этот час было еще пустынно и тихо.

Почему наша квартира выглядела пустой, я не могу понять до сих пор. Мебели у нас было не так мало. Например, в моей комнате стояли узкая кровать, обеденный стол, кабинетный диван. Дерматин на нем весь потрескался, но был совершенно целый. У нас даже был буфет — громоздкий с разноцветными стеклами, а у мамы в комнате — туалетный столик из красного дерева. Я не помню, чтобы мама к нему подсаживалась, но столик был. И все равно квартира казалась пустой. Даже воздух в ней был какой-то не жилой — холодный и гулкий.

Я постоял посредине комнаты. Хуже нет, когда все в тебе торопится, а торопиться некуда. Я вышел в кухню. В эмалированном тазу лежала гора посуды: мама мыла посуду, когда в буфете не оставалось ни одной чистой тарелки. Кажется, тарелки в буфете еще были, но я нагрел воду и перемыл всю посуду. Потом я подмел комнаты. Это была моя прямая обязанность. Но я обычно плохо ее выполнял. Я успокаивал свою совесть тем, что мама тоже неважно справлялась с домашними делами. Она готовила сразу на три дня. А когда суп прокисал, говорила:

— Это никуда не годится. Готовишь из последних сил, а ты не ешь.

Интересно, как можно есть кислый обед. Я один раз попробовал, а потом три дня ничего не ел, только пил чай с сухарями. Говорили, что я еще легко отделался. Не знаю. По-моему, не очень легко.

Я вынес мусор, помой. Хотел даже почистить примус. Но он был покрыт таким толстым слоем жира и копоти, что до него дотронуться было противно. Я дотронулся, но чистить не стал, только обтер примус газетой. Вместо примуса я занялся почтовым ящиком: прибил петлю и навесил дверку. Удивительно, сколько дел можно переделать, когда надо убить время. А оно все равно тянулось медленно.

Я вернулся в комнату.

На другой стороне улицы, стекла открытых окон блестя. Я сидел у открытого окна верхом на стуле. Подоконники были низкие. В комнату заглядывала мокрая улица. Пахло акацией и землей. Я вспомнил слова женщины:

— Слышите, как пахнет морем и акацией.

Странно, а я раньше не замечал запахов нашего города. Наверное, потому, что давно привык к ним. А между тем город был просто пропитан запахами: весной пахло акацией и сиренью, летом — левкоями и табаком и всегда — морем. Теперь я уверен, что из тысячи городов узнал бы наш город по запаху.

Лучше бы я не вспоминал слова женщины. Как только я их вспомнил, так сразу подумал об Инке. И все во мне снова куда-то заторопилось. Я хотел вспомнить, о чем мы говорили. Но ничего не получилось: все путалось и перескакивало с одного на другое. Я понимал: на Приморском бульваре что-то произошло.

И мы уже не могли вернуться к прежним отношениям. А я и не хотел возвращаться. Я хотел поскорей узнать, что будет дальше. Но на это могло ответить только время. Мне ничего не надо было делать. Надо было просто ждать...

Теперь-то я знаю: просто ждать — не худшее, что есть в жизни. Но тогда я порывался бежать, — все равно куда, лишь бы не оставаться одному в пустой квартире.

Я едва усидел на стуле. А руки мои расставляли на шахматной доске фигуры, сваленные в кучу на подоконнике. Я не помнил, как пришла мысль разобрать партию между Алехиным и Капабланкой. Но когда я почувствовал в руках тяжесть налитых свинцом фигур, мне сразу стало легче.

Капабланку я называл своим учителем. В душе мне больше нравился Алехин, но он был белым эмигрантом. В жизни со мной такое бывало: нравился мне, например, человек, который, по моим понятиям, не должен нравиться, и я начинал убеждать себя, что он не достоин моего внимания. Иногда мне это удавалось, чаще нет.

Финал партии был мне известен — я разбирал ее дважды: Капабланка проиграл. Меня это не огорчало. Но я поставил себе задачу найти ошибку экс-чемпиона и доказать себе, что победа Алехина случайна.

Не заглядывая в таблицу, я пытался найти очередной ход. Мозг мой вначале, как бы отдельно от меня, прощупывал возможности, скрытые в расположении мертвых фигур. Для меня они не были мертвыми: неожиданно наступала минута прозрения, когда я как-то вдруг проникал в ход чужих мыслей и легко следовал за ними, распутывая хитроумные сплетения взаимно враждебных замыслов. Но в тот вечер эта минута не приходила: я больше смотрел на улицу, чем на доску. На траве бульжной мостовой висели дождевые капли. В выбоинах тротуара, мощенного кирпичом, блестя слепые от заката лужи. Наступило время, когда, отдохнув после пляжа, курортники шли в курзал и на Приморский бульвар. Сегодня они шли позже, чем обычно: помешал дождь. Когда они проходили мимо окон, я видел их с ног до головы. И еще раньше, чем они появлялись под окном, слышал их голоса и стук каблуков. Они проходили, и лишь ширина подоконника отделяла меня от них. В комнате гулко звучали их голоса.

В тот вечер я впервые почувствовал нежилую пустоту нашей квартиры. Она окружала меня с детства, но я не замечал ее. На это у меня не хватало времени. Я редко оставался наедине с самим собой и никогда не задумывался над жизнью нашей семьи: моей, маминой, сестер. Я не задумывался над тем почему матери моих друзей непременно усаживали меня за стол, когда бы я ни пришел. Я ел у них всегда с большим удовольствием и не замечал, что, подсовывая мне вкусные вещи, они жалели меня и, наверное, в душе осуждали маму, нашу неустроенную жизнь.

А жизнь наша была действительно неустроенной. Только тогда я этого не понимал. Я гордился мамой, ее известностью в нашем городе. Гордился тем, что она вступила в партию еще до революции, сидела в царской тюрьме и даже отбывала ссылку. Сколько я ее помнил, она всегда очень много работала. В нашем городе она была председателем союза «Медсантруд». За эту работу она получала зарплату. Но у нее еще было много общественных нагрузок: несколько лет подряд маму выбирали членом бюро горкома партии и депутатом городского Совета. А два года назад она организовала Дом санитарного просвещения. Его никак не могли включить в смету городского бюджета, и Дом не имел фонда зарплаты. Заведовать им бесплатно никто не хотел. Поэтому Домом временно заведовала мама.

С тех пор, как я начал помнить маму, она ходила в тужурке из мягкого коричневого шевро и таком же кепи, с широким закругленным козырьком. Из-под кепи виднелись коротко подстриженные вьющиеся волосы. Мамину тужурку донашивал я, когда учился в восьмом классе, а с кепи мама не расставалась. Оно давно поблекло, покрылось трещинками и только цвет. Воды у мамы наполовину поседели, а лицо покрылось такими же, как на кепи, морщинками.

Я любил рассматривать одну фотографию: она хранилась в старой папке среди бумаг. Молодая женщина в старомодном платье с пышным подолом сидела на стуле. Узкие носки белых туфель выглядывали из-под пышного подола. Я не мог насмотреться на ее руки — удивительно тонкие и нежные. Она сидела очень легко и свободно, а глаза ее смотрели на меня удивленно и весело. Эта женщина тоже была моя мама. Но такой я ее не знал. За ее стулом выстроились в ряд трое мужчин. Один из них — с усами и высоким лбом — был мой отец, в то время студент-медик Петербургского университета. Сразу было видно, что он влюблен в маму. Он склонил голову и сбоку заглядывал ей в лицо, забыв, что его фотографируют. И как-то странно было знать, что этот совсем незнакомый мне человек — мой отец, что он, мама и сестры жили все вместе, и о той их жизни я ничего не знал.

Мой отец умер, когда мне был год. О нем в моем присутствии никогда не говорили. А я почему-то стеснялся расспрашивать. Я только догадывался, что мама не ладит с отцом, и мои сестры ее до сих пор за это осуждали. Потом у мамы был другой муж. Мы жили тогда не в Крыму. Его я помнил, но очень смутно. Он исчез как-то незаметно, и я не мог припомнить, как это произошло. Но с его исчезновением были связаны какие-то неприятности, о которых мама тоже никогда не говорила.

Сестры мои давно жили самостоятельно, работали в Заполярье и приезжали в отпуск раз в три года. Старшая — Нина была замужем. Она вышла замуж, когда мы еще жили вместе.

Я полюбил Сережу раньше, чем он стал мужем Нины, и очень боялся, что он на ней почему-нибудь не женится. Они познакомились на пляже. На пляж с сестрами я обычно не ходил, но в тот день был с ними. Мы вместе купались, и я думал вначале, что Сереже нравится моя вторая сестра, Лена. Мне Сережа сразу понравился. В восемнадцать лет он уже командовал эскадромом, и за бой под Оренбургом его наградили орденом Красного Знамени. Потом он учился на рабфаке, кончил Промакадемию и уехал в Заполярье строить новый город. Все это я узнал, конечно, потом, а в тот день мы просто дурачились. Для меня Сережа был героем прочитанных книг. А кем был для него я — не знаю. Потом я догадался, но все равно не обиделся. Я только никогда не думал, что Сережа и Нина так быстро поженятся. Другое дело Лена. Тут бы я не удивился. Но Нина была у нас очень серьезная и, по-моему, некрасивая.

О том, что они поженились, я узнал случайно.

Как-то по дороге с пляжа Сережа сообщил, что у него кончилась санаторная путевка.

— Придется к вам переезжать. — сказал он.

Нина переглянулась с Леной, и Лена сказала:

— Володенька, сбегай купи мороженого.

Нашла дурака. Я, конечно, остался. Тогда Нина сказала при мне.

— Глупости. Мама выгонит из дома и тебя и меня.

— Не выгонит, — ответил Сережа.

После этого я сам сказал, что пойду за мороженым, и ушел. О чем они говорили без меня, я не знаю.

Вечером Сережа пришел к нам домой с чемоданом. До этого мама ни разу его не видела. Как только Сережа вошел в комнату, сестры выбежали во двор. Меня они тоже увели, но потом сказали, чтобы я потихоньку вошел в коридор и подслушивал. Я не только подслушивал. В приоткрытую дверь я видел маму. Она сидела за столом и улыбалась. Когда мама так улыбалась, сговориться с ней было очень трудно. Сережу я не видел. Я только слышал, как скрипнули пружины дивана.

— Надежда Александровна, вы не так меня поняли. Я не комнату пришел снимать, — сказал Сережа. — Надо бы, конечно, раньше зайти. Не получилось. Нина не пускала. Не пойму, почему они вас так боятся?

— Нина? Меня боятся?.. — я видел, как на лице у мамы появились красные пятна. — Вы пьяны? — спросила она. — Кто дал вам право являться ко мне в дом?

— Немного выпил, — сказал Сережа. — Разве заметно? Я, вообще, не пьющий. А тут такое дело. Свататься мне еще не приходилось. Как это делается, не знаю. Скажу вам по-простому: отдайте за меня Нину.

— Немедленно убирайтесь, — сказала мама.

Но Сережа и не думал уходить и правильно сделал. Я знал маму: она сама не хотела, чтобы он ушел. Она смотрела через стол и быстро-быстро гла-

дила ладонью скатерть. Диванные пружины скрипнули громче.

— Уходить мне, положим, некуда, — сказал Сережа. — Санаторная путевка кончилась, а отпуск у меня еще два месяца. А потом, зачем мне от жены уходить? И вам не к чему преждевременно с дочерью расставаться. Она и так далеко от вас будет жить...

Я плохо помнил, как очутился в комнате. Я стоял к Сереже спиной и смотрел на маму. Она медленно поднималась со стула. Так медленно, что я успел подумать: «Вот теперь мама его по-настоящему выгонит».

— Сережа! Немедленно уходи... — это крикнула Нина, но все почему-то посмотрели на меня. Как вошли сестры в комнату, я не заметил. Мама обошла стол. Глубоко запавшие черные глаза ее блестели, а губы улыбались. Она провела горячей ладонью по моему лбу и волосам и ушла в свою комнату.

Сережа остался у нас. Я сказал, чтобы он спал на моей кровати, но Нина постелила ему на полу.

Сережа прожил у нас два месяца. Потом он, Нина и Лена уехали в Заполярье. Мама помирилась с Сережей перед самым отъездом.

С тех пор Сережа и сестры приезжали в отпуск два раза.

Сережа был старше Нины на десять лет, но, по мнению мамы, вел себя, как мальчишка. Может быть. Лично я не видел в этом ничего плохого.

В день приезда, пока сестры скребли и отмывали квартиру, Сережа отправлялся на пляж. Тени он не признавал. Что из этого получалось, представить не очень трудно: вареный рак по сравнению с ним казался бледным. Вечером Сережа отлеживался в трусах на вымытом полу, а сестра мазала его сметаной. На другой день, с пузырями на плечах, он снова отправлялся на пляж. Мама называла это безумием и распушенностью. А Сережа говорил:

— Предрассудки. Я приехал, чтобы как следует прогреться. И прогреюсь!

В нашей компании Сережа всем пришелся по душе. Он был таким же, как мы. Но особенно Сережа нравился Инке — наверно, потому, что тоже был рыжим. Все дни мы проводили вместе. Мы учили его управлять парусом, и он не обижался, если кто-нибудь из нас на него покрикивал. Нина считала себя слишком взрослой для нашей компании. Тем хуже для нее, Сережа ей об этом так прямо и сказал. А Лена бывала с нами. И я просто не понимал, почему Сережа женился не на ней.

Я многого не понимал. Например, я видел: мама лобанвается Сережи. Почему — я не знал. Она почала его так же, как нас, но при этом никогда не настаивала на своем. А Сережа, наоборот, изображал себя покорным зятем, но когда разговаривал с мамой, было похоже, что он ее поддразнивает.

В последний раз Сережа и сестры приезжали в то лето, когда мама открыла Дом санитарного просвещения. Я подозревал, что мама торопилась его открыть

к их приезду. О маме и ее Доме писали городская и областная газеты. Когда мы все вместе собирались за ужином, главным предметом разговора был Дом. Только Сережа ничего о нем не говорил. Дом его не интересовал — это сразу было видно. Когда Нина как-то сказала: «Хорошо бы пойти его посмотреть», — Сережа тут же придумал поехать с ночевкой на остров Черепахи. В тот раз на остров мы не поехали, но и Дом не пошли смотреть.

Мама не выдержала.

— Сергей Николаевич, — сказала она, — неужели, кроме развлечений, вас ничего в нашем городе не интересует?

— Я на курорте, Надежда Александровна. Отдыхать тоже не легко.

Мама обиделась. Это все заметили. Когда она ушла спать, Нина сказала:

— Вот что, курортник, хочешь или нет, а завтра пойдем смотреть Дом.

Завтра мы собирались идти на яхте к острову Черепахи. Сережа тоже собирался. Он смотрел на сестру печальными глазами.

— Ничего, ничего, переживешь, — сказала она.

— Придется пережить, — ответил Сережа.

Я бы не пережил. Но Сережа никогда не спорил с Ниной, если она о чем-нибудь его серьезно просила. За это я любил его еще больше.

Утром мы ушли в море без Сережи.

Вечером я его спросил:

— Понравился тебе Дом?

На крыльце, куда он вышел покурить перед сном, мы были одни. Он не спешил ответить.

— Понравился тебе Дом?

— Ничего, много фотографий. Диаграммы очень красивые — цветные. Хороший песок на острове? Мы еще вместе туда ходим.

От огонька папиросы лицо Сережи казалось красным.

— Ты со мной говоришь, как с мамой.

— Тебе кажется.

— Что ты сказал маме про Дом?

— То же, что тебе.

— А говоришь — кажется. Зачем все время дразнить маму?

— Чудак ты, Володька. Ведь она мне теща. Может быть, у китайцев по-другому. А на Руси испокон века теща с зятем живут, как собака с кошкой.

Сережа выбросил окурочек и встал.

— Нет, постой, — сказал я.

— Спать, спать, братишка, пора...

Отношения между Сережей и мамой совсем испортились. По-моему, они стали хуже, чем были, когда Сережа и Нина только поженились. Мама с Сережей почти не разговаривала. А если им случалось о чем-нибудь перемолвиться за столом, я сразу настаивался. Я боялся, что они поругаются, и тогда мне

придется выбирать, на чьей я стороне. А я сам этого не знал.

Сережа и сестры прожили у нас до августа. Мы по-прежнему собирались все вместе только за ужином. И то короткое время, когда мы сидели за столом, казалось мне мучительно длинным.

Однажды Лена рассказывала, как Сережа отбивался от предложенной ему работы секретаря горкома партии нового заполярного города. Кто ее об этом спросил — не знаю. Лене всегда больше всех было нужно. Она хотела, чтобы мама поняла, как Сережу уважают на работе. Но мама поняла все наоборот. Перед ней стоял до половины выпитый стакан чая. Она больше не пила, а внимательно слушала. Мама прикрыла глаза, и это больше всего меня тревожило: по глазам я бы сразу мог узнать ее настроение.

— Этого я даже от вас не ожидала, — сказала мама и отодвинула стакан.

— Что поделаешь, Надежда Александровна, я геолог. И люблю свое дело.

— Допустим. Но партия считала нужным использовать вас на другой работе. Какое право вы имели отказать?

— Товарищи из крайкома ошибались. Секретарем горкома выбрали другого инженера. Я с ним учился в Промакадемии. Инженер он неважный. Зато организатор, каких поискать. При нем за год сделали столько, что за пять лет не сделать.

— Я не сомневаюсь, что коммунисты нашли достойную замену вашей кандидатуре, — сказала мама. Она встала из-за стола. Глаза ее блестели, а губы улыбались — хуже нет, когда у мамы было такое лицо. Мама что-то еще хотела сказать, но посмотрела на меня и ушла в свою комнату.

Вслед за Сережей я вышел на крыльцо. Сережа курил.

— Опять не угодил, а ты говоришь, — сказал Сережа. Меня не так поразили его слова, как голос — усталый и мрачноватый. Я сел рядом с ним, и он положил руку на мое плечо.

— Ты не любишь маму, почему? — спросил я.

— Стоит ли об этом?

— Стоит. Ведь я ее сын.

— Ты прав. Пожалуй, стоит. Не люблю — не те, Володька, слова. Вот ты, Нина, Лена — вы для меня родные, а она — нет. И тут ничего не поделаешь.

— Наверно, мама тоже так чувствует...

— Наверно...

— Жалко. Вы оба коммунисты. Оба воевали за Советскую власть.

— Это, Володька, другое. Мы и теперь будем вместе. Только я не могу стать другим, и Надежда Александровна не может. Такое, братишка, в жизни бывает. Ты не расстраивайся.

Сережина рука крепче сжала мое плечо. Я прижался спиной к его груди и затих.

То, что он и мама люди разные, я без него ви-

дел. Мне это не мешало любить обоих, а им почему-то мешало. Я мог бы спросить Сережу, но не спросил. Я догадывался: он бы все равно не сумел мне ответить.

От нас Сережа и сестры уезжали в Москву, оттуда в Ленинград, а потом собирались заехать в Оренбург к Сережиным родным.

Накануне отъезда они ушли в город за покупками и обещали вернуться через час. Я прождал два часа. Мне, конечно, ничего не стоило их разыскать. Но зачем? Я нарочно ушел на дикие пляжи, чтобы с ними не встретиться.

Домой я прибежал к ужину. Все уже сидели за столом и молча ели. Никогда у нас не было так тоскливо, как в тот вечер.

Мама ушла в свою комнату. Сестры сидели за неприбранным столом и без конца повторяли, что хотят спать, но спать не ложились. Когда я был меньше, а им нужно было о чем-то поговорить с мамой, они силой загоняли меня в постель. Попробовали бы теперь. Я злорадно на них поглядывал, а потом сообразил: лечь спать — лучший способ узнать, о чем они хотят говорить с мамой.

В комнате потушили свет. Сестры ходили, прислушиваясь к моему дыханию, и в темноте белели их платья.

— По-моему, не спит, — шепотом сказала Нина. — Совершенно не слышно дыхания.

— Наоборот, — ответила Лена, — когда он спит, то очень тихо дышит.

Они не торопились отойти от моей кровати. Ничего легкое у меня были достаточно вместительные. Потом Нина тихо позвала Сергея. Они ушли в мамину комнату и закрыли дверь. Пожалуйста. И при закрытой двери я все прекрасно слышал. Надо было только лечь на спину.

— Мама, разреши Володе поехать с нами, — это сказала Нина.

— Очень хорошо, — сказала мама. — Я уже начала думать, что вы совершенно очерствели. Пусть Володя едет, но домой он должен вернуться за неделю до начала занятий.

— Мама, мы хотим, чтобы Володя совсем уехал с нами, жил у нас...

— Вы сошли с ума. Нет, вы совсем сошли с ума.

— Мама, послушай, Володе у нас будет лучше. Ну что он здесь видит? А у нас строится новый город. Огромный комбинат, работает столько интересных и разных людей.

— Уверена, эта блестящая идея принадлежит Сергею Николаевичу.

— Ошиблись, Надежда Александровна. Не мне — Лене. Правда, я давно об этом думал, но первым говорить не решался. А думал давно. Парню предстоит выбрать свой путь в жизни, а что он о жизни знает?

— Он уже выбрал свой путь без вашей помощи. Он решил стать геологом. Я согласилась. Что вам еще надо? Кроме больших дел, в жизни существуют мелочи. Их тоже кто-то должен делать. Они не менее нуж-

ны и требуют отдачи всех сил. Вы за размах, я — тоже. Но пусть мой сын поймет и научится уважать людей, которые повседневно, из года в год выполняют незаметную, черновую работу — и выполняют так, как будто она первостепенной государственной важности.

— И никому не нужную ерунду можно делать с размахом, — сказал Сережа. — Дело не в размахе, а в пользе... Может быть, это действительно, я вбил ему в голову стать геологом. Пусть теперь с другими людьми познакомится. Чем больше знаешь, тем легче выбрать то, что по душе.

— Мама, в тебе говорит личная обида. Так нельзя, — это сказала Лена. Пока она молчала, все говорило спокойно. Удивительное существо Лена: стоило ей сказать несколько слов, и сразу поднималась буря. Мне больше не надо было напрягать слух: я слышал все так, как будто говорили рядом с моей кроватью.

— Обида? Какая обида? — спросила мама. — Неужели, ты думаешь, я могу обижаться на то, что Дом может кому-то показаться бесполезной затеей?

— Мама, не притворяйся, — это тоже сказала Лена.

— Вот что, мои милые дочери, идите спать. Я устала.

— Мама, ты неправа. Нельзя думать только о себе и считать только с собой, — сказала Нина. — Ты не хочешь жить с нами — это твое дело. Но Володя должен поехать. Он растет, ему нужно хорошо и вовремя питаться.

— Ах, как трогательно, — сказала мама. — Вас я вырастила, одевала, кормила, учила. А для Володи я уже не гожусь. Прекратим этот разговор. Я нужна Володе, и Володя нужен мне...

— Не надо иронии. Ты прекрасно понимаешь, о чем говорила Нина. Вспомни папу, — это опять сказала Лена.

В комнату вошел Сережа. Из неплотно прикрытой двери пробивалась узкая полоска света. Она отсекала окно, у которого он стоял. Я его не видел, но слышал в его руке коробку спичек.

— Ну, вспомнила, — говорила мама, и в приоткрытую дверь я слышал ее дыхание. — О чем я должна вспомнить? О его пьяных сценах ревности? Ну, говори, что я должна вспомнить?

— Ты помнишь то, что тебе выгодно помнить.

— Перестань, Лена, — сказала Нина. — Мама, ты тоже не права. Папа был очень талантливый и мягкий человек. Разве можно его винить за то, что он тебя очень любил? Он любил всех нас, но тебя больше. Он бросил клинику, друзей, отказался от будущего, взял меня и Лену и поехал за тобой в ссылку. А там? Ведь вся тяжесть была на нем: он должен был зарабатывать на жизнь, нянчить нас, постоянно оберегать тебя от опасности. Ты не должна его винить за то, что он не выдержал и начал пить. Он был слишком мягким для борьбы, но тебе был всегда хорошим и верным товарищем, а нам — отцом. Но о нем ты часто забывала. Впрочем, мы отвлеклись: не надо сейчас говорить о папе.

— Нет, надо. Я была плохая мать. Я забывала детей, мужа, себя. Казните меня за это. Но прежде ответьте, во имя чего я все это делала?

Сережа прошел в полосу света и плотно закрыл дверь. В комнате у мамы замолчали. Я сдерживал дыхание, чтобы лучше слышать. Но от того, что я долго не дышал, у меня начало шуметь в ушах.

— Володька, ты спишь? — спросил Сережа.

— Сплю, — зло ответил я. — Также мне придумали. Никуда я от мамы не поеду.

V

Я подумал: хорошо бы написать Сереже и сестрам о перемене в моей судьбе. Но мне не хотелось вставать, и я продолжал сидеть верхом на стуле у открытого окна. Брюки и рубашка были все еще влажными, и меня знобило, но я все равно сидел.

Закат потух, и воздух на улице стал сумеречно серым. Только небо голубело над крышами домов, клетки на шахматной доске слились в сплошное темное пятно, и уже нельзя было различить цвета фигур. А я и не пытался. Я прислушивался к шагам редких теперь прохожих.

— Утомленное солнце

Нежно с морем прощалось,

— напевала женщина. Голос ее приближался. Женщина поравнялась с крайним открытым окном, и слова песни гулко ворвались в комнату. Потом они зазвучали приглушенно — женщина проходила простенок.

— В этот час ты призналась, — напевала она.

Рядом с женщиной шел мужчина и обнимал ее плечи. Им было хорошо вдвоем, и они никуда не спешили. Женщина посмотрела на меня и нараспев сказала:

— Что нет любви... — мне было неловко от ее взгляда, а по веселому блеску глаз я понял, что она не верит словам песенки.

В комнате у меня за спиной зажегся свет.

— Как ты сдал экзамены? — спросила мама. Я не слышал, как она вошла.

— Отлично...

— Было трудно?

— Не очень.

Мама положила на стол свертки и вышла на кухню.

— Смотри-ка, он перемыл всю посуду. Ты просто умница и заслужил роскошный ужин, — говорила мама в кухне. — Я пожарю тебе яичницу с колбасой.

Мама запела. Это случалось очень редко. В последний раз она пела год назад, когда мы получили телеграмму, что Нина родила дочь и ее назвали в честь мамы — Надей.

Я обошел стол и остановился против открытой в коридор двери.

Жалобно стонет ветер осенний,

Листья кружатся поobleкшие, —

пела мама и накачивала примус. У нее был цыганский голос: немного гортанный с надрывом. Когда мама пела, мне очень легко было представить ее молодой, такой, как на фотографии.

— Мама, комсомол призывает меня в военное училище, — громко сказал я.

Я смотрел в темный коридор и прислушивался. На кухне громко шумел примус. Мама больше не пела. Она прошла мимо меня в комнату и села на диван. Слышала она меня или нет?

Мама снимала туфли. Черные туфли с перепонкой, на низком каблучке. Она носила тридцать седьмой размер, такой же, как Инка, но ноги мамы казались намного больше Инкиных.

— Ты что-то сказал? — спросила мама.

— Сегодня меня вызывали в горком. Город должен послать в военное училище четырех лучших комсомольцев.

— Нет, Володя, это невозможно. Я не могу. Твои сестры мне этого никогда не простят.

— Не ты же посылаешь меня в училище.

— Это все равно. Они ничего не захотят признать. Завтра я поговорю с Переверзевым.

Мама говорила как-то неуверенно.

— Я, пожалуй, лягу, — сказала она.

В носках канареечного цвета с голубой каемкой мама пошла в свою комнату.

— Мама, ты обещала яичницу с колбасой, — сказал я. Сердце мое билось так, что отдавало в ушах.

— Пожарь сам, сынок. Я что-то устала...

Никогда я не видел ее такой растерянной и вдруг заподозрил, что дело не в сестрах. Мама сама почему-то не хочет, чтобы я поступил в военное училище. Это меня напугало: переубедить маму, если она чего-то не хотела, было трудно. Все рушилось. Я представил, какими глазами посмотрю завтра на Инку, но это не помешало мне думать о яичнице с колбасой.

Я вышел на кухню, распустил на сковороде масло и, когда оно закипело, положил толсто нарезанные кружки колбасы. Я смотрел, как они поджаривались, и ругал себя за легкомыслие. Потом я вылил на сковороду три яйца, подумал и вылил еще два. Пока я жарил и ел яичницу, я страдал от сознания, что ни на что серьезное, вероятно, не годен.

В комнате у мамы горел свет. Я подошел к двери и остановился на пороге. Мама сидела на кровати, и ноги ее в носках нелепого цвета не касались пола. Она опиралась спиной о стену, губы ее были плотно сжаты, и верхняя прикрывала нижнюю. От этого заметней стали морщины вокруг рта и на подбородке. Неужели маму мог кто-нибудь любить так, как я любил мою Инку? Мне стало стыдно, и до сих пор стыдно за то, что я мог так подумать. Маме было сорок девять лет. На мой взгляд, не так уж мало. Но я знал: взрослых этого возраста называют еще не старыми.

— Мама, — сказал я. — Первый раз в жизни я по-настоящему нужен комсомолу. Неужели я должен отказаться? Ты бы отказалась?

Мама смотрела на меня так, как будто в первый раз видела.

— Володя, ты когда-нибудь брился?

Положим, я еще никогда не брился. И это очень хо-

рошо было видно по шелковистым косичкам на моих щеках и по темному пушку над верхней губой. Но какое это имело отношение к тому, о чем я говорил?

— Ты очень вырос, — сказала мама. — Тебя трудно узнать, так ты вытянулся за этот год.

Другого времени, чтобы меня разглядывать, у мамы, конечно, не было. Я начал злиться.

— Ты не пойдешь завтра к Переверзеву, — сказал я.

— Пожалуй, не пойду... Не могу пойти. Но ты должен понять — это очень серьезно. Гораздо серьезней, чем ты думаешь. Надеюсь, ты понимаешь, что происходит в мире? — мамины запавшие глаза блестели в черных глазницах.

— Конечно, понимаю, — сказал я. Судьбы мира в эту минуту меньше всего меня волновали. Я лягнул сзади себя пустоту, повернулся и пошел по комнате на цыпочках в лезгинке. Со стороны это, наверно, выглядело не очень серьезно. Но я не думал, как выгляжу со стороны.

Я постелил постель, и, когда закрыл окна и потушил свет, мама спросила:

— Ты еще не лег? Дай мне сегодняшние газеты...

Потом я лежал и смотрел в потолок, радуясь своей победе над мамой, одержанной неожиданно легко. Интересно, что в это время происходило у Сашки и Витьки? Сашкина мать, конечно, плачет, и веки у ней уже красные и набухшие, как перед ячменем. Но слезы ее совсем не признак покорности судьбе: ее слезы — грозное оружие против Сашки и его отца. Сашкина мама не только плачет — она при этом кричит, призывая богов и всех своих родственников в свидетели своей погубленной жизни.

Виткин отец не кричит и, понятно, не плачет. Но Витьке, должно быть, от этого не легче. Его отец выучился грамоте взрослым, считал учителей самыми значительными людьми на земле и жил мечтой увидеть сына учителем.

Каждую субботу Виткин отец в праздничном костюме являлся в школу. Гремя подковками ботинок, он проходил по коридору в учительскую. Там он долго и обстоятельно разговаривал с учителями. А Витька, по заведенному порядку, обязан был стоять в коридоре под дверью — это на случай, если отзывы учителей потребуют немедленного возмездия. Но отзывы о Витьке были всегда самые хорошие. Мы подозревали, что его отец просто не мог отказать себе в удовольствии выслушивать похвалы сыну. Он уходил из школы довольный и строгий, грозил Витьке изъеденным солью пальцем и говорил:

— Смотри!..

Трудно было даже представить себе, как Виткин отец принял возможную перемену в Витькиной судьбе. А может быть, у Витьки и Сашки все оказалось проще? Думал же я, что мама будет гордиться оказанным мне доверием. С родителями всегда так: никогда нельзя знать заранее, как обернется дело. Только завтра могло все прояснить. А до завтра была еще целая

ночь. Я знал по опыту: если заснуть, то время пролетит легко и быстро. Но заснуть я как на зло не мог. На бульваре я не сумел ответить Инке, каким представляю себе наше будущее. А вот сейчас бы сумел. Когда я бывал один и не боялся казаться наивным, я мог представить себе все, что угодно, и так же интересно, как в книгах.

На улице снова появились прохожие, — значит, кончился концерт. В курзале выступал Джон Данкер — король гавайской гитары. Мы его еще не видели. Мы перевидели многих знаменитых артистов, а вот королей нам еще видеть не довелось.

VI

Утром меня разбудил Витька. Расспрашивать его о разговоре с отцом не было никакой нужды: под правым Витькиным глазом будущий синяк еще сохранял первозданную лиловатость.

Я натянул бумажные брюки мышинного цвета с широкой светло-серой полоской — «под шевиот». На Витькино лицо я старался не смотреть. Левая половина лица была Витькина — худошавая, с широкой выпуклой скулой, а правая — чужая, одутловатая, с заплывшим и зловеще сверкающим глазом.

— Заметно? — спросил Витька.

Наивный человек, он надеялся, что синяк не заметен.

— Вполне, — сказал я и пошел умываться.

Витька виновато улыбнулся и провёл кончиками пальцев по синяку. Он стоял у меня за спиной и гоготал:

— Мать меня подвела. Я ей доверился, а она подвела.

Он думал, я буду его расспрашивать. Зачем? Захочет — сам расскажет. Куда важнее было придумать, как уговорить его отца. Я вытирался и придумывал, а Витька рассказывал:

— Понимаешь, я сначала все матери рассказал, чтобы она отца подготовила. Мать ничего, выслушала. Обедом накормила. Потом попросила огород полить, а сама ушла. Я думал, к соседке. Поливаю огород. Вижу, от калитки идет отец. Мать все хотела вперед забежать, а он ее рукой не пускает. Подошел ко мне, спрашивает: «Правда?» Говорю: «Правда». Тут он мне и въехал...

-- Ничего себе въехал...

- Мать подвела...

- Я уже слышал. Переживаешь.

Мы вернулись в комнату. Мамы дома не было. На столе лежала записка. Мама написала, что ушла на базар и чтобы я подождал, пока она вернется и приготовит завтрак.

— Видал, какие бывают мамы? — спросил я. Но ждать маму не стал.

Мы доели вчерашнюю колбасу и запили ее холодным чаем. Сахар в нем не растаял, и мы выскребли его из стаканов ложками. Витька сказал:

— Отец пообещал пойти в горком и вынуть у Пердверзева душу...

Я поперхнулся. Витькин отец не бросал слов на ветер — можно было считать, что душа Алеши Пердверзева уже вынута.

— Очень хорошо, — сказал я. — В горcome идет скандал, а я слушаю трогательный рассказ о том, как тебя подвела мама.

— Нет еще скандала. На промыслах сегодня погрузка. Отец пойдет в горком после работы.

— Надо предупредить Алешу.

На обороте маминой записки я написал, что ухажу заниматься. Я уже давно перестал посвящать маму в свои дела, если они не требовали ее непременно участия. Так было спокойней и мне и ей. Например, легко представить, как поступила бы мама, если бы я проявил наивность и рассказал ей о вчерашнем разговоре с Инкой. А по-моему, мои отношения с Инкой и многие другие поступки, о которых я не рассказывал маме, никому и ничему не мешали, и я со спокойной совестью скрывал их. Наверное, в этом сказывалось влияние Сережи, но тогда его влияние я не осознавал.

Мы редко пользовались парадным ходом, но, чтобы не встретиться с мамой, вышли через парадное.

— Может, лучше подождать тетю Надю? — спросил Витька.

— Зачем?

— Посоветоваться.

— Не надо, Витька, советоваться.

— Почему не надо?

— Знаешь, мама подымет шум... Лучше мы сами попробуем уговорить дядю Петю.

Витька шел по внутренней стороне тротуара, пряча в тени домов синяк. Было раннее утро, и на Витькино счастье нам почти не попадались прохожие. Мы обгоняли ранних пляжников — мам с детьми. Руки мам были напряженно вытянуты туго набитыми сетками. Три года назад к нам приезжал комический артист Владимир Хенкин. Он назвал такие сетки «авоськами», потому что в то время их повсюду носили с собой в карманах, портфелях, дамских сумочках в надежде, что где-нибудь что-то дают. Даже моя мама не расставалась с «авоськой». Я был убежден, что Хенкин придумал это название в нашем городе, а курортники развезли его по всей стране.

Впереди нас шла полная женщина. Она быстро переступала короткими ногами. Сетка, которую она несла в руке, чуть не волочилась по тротуару. И, глядя на эту сетку, набитую свертками, я просто не верил, что было время, когда я пил чай без сахара и мама старалась незаметно подсунуть мне свою порцию хлеба.

За женщиной шел ее сын — худенький длинноногий мальчик в красных трусиках. Почему-то у толстых мам чаще всего бывают худенькие дети. Женщина очень торопилась. Есть такие женщины: они всегда горопятся. Наверное, боятся что-нибудь упустить. Я был уверен, что женщина впереди нас, кроме удобного места под навесом, которое могут занять другие, ничего перед собой не видела. А мальчик куда не спе-

шил, и я его очень хорошо понимал. Он ко всему внимательно присматривался, шаг его делался медленным и настороженным, и на какую-то долю секунды мальчик совсем останавливался. Он знал то, что знают только дети: самое интересное попадаете неожиданно, и тут главное — не прозевать. Женщина то и дело оглядывалась и окликала сына. По ее круглому лицу с тройным подбородком стекал пот. Мальчик бегом догонял ее, но тут же снова что-то привлекало его внимание.

Мальчик оглянулся и увидел Витьку. Ноги его продолжали передвигаться, а глаза неотрывно разглядывали Витькин синяк. Мальчишка, наконец, нашел то, что так долго искал.

— Мама, — закричал он и побежал.

Женщина оглянулась, окинула нас подозрительно настороженным взглядом, но, конечно, не увидела того, что увидел ее сын. Он шел теперь, держась на всякий случай за петлю авоськи.

— Пацан решил, что ты пират, — сказал я. — Он только не придумал, откуда у тебя взялся синяк.

Витька улыбнулся и чуть отвернул лицо. Но мальчишка все равно смотрел на Витьку и строил ему рожи.

Многие, кто не знал Витьку, принимали его за грубого недалекого паренька. На самом же деле коренастый с квадратным лицом и тяжелым подбородком Витька имел нежнейшую, легко уязвимую душу. Из нас троих он был самым деликатным и бесхитростно доверчивым. Внимание мальчишки его смущало.

— Я думал, мать мне поможет, а она подвела, — сказал Витька. — Ты всегда знаешь, что из чего получится. А я — никогда. Тыкаюсь, как слепой кутенок. Хочу, как лучше, а выходит хуже.

— Ничего. Поживешь — научишься. Главное — уметь применять на практике диалектический метод.

Мы завернули за угол и чуть не наткнулись на мальчишку. Он стоял, поджидая нас, готовый обратиться в бегство и уже обеспокоенный тем, что мы не появляемся. Мальчишка взвизгнул и побежал догонять мать. На этот раз он притворился испуганным. Он бежал, подсакивая на одной ноге, оглядывался и смеялся.

Улица спускалась вниз к небольшой площади. На солнце блестели трамвайные рельсы. Возле остановки толпились люди, ожидая трамвай. Знакомый нам дворник-татарин поливал из шланга мостовую. Время от времени он поднимал шланг, и струя воды с шумом врывалась в густую листву деревьев, и сверкающие капли падали с мокрых ветвей. Дворник улыбнулся и пустил нам под ноги тугую струю. Мы высоко подпрыгнули, а дворник засмеялся и стал смывать с булыжной мостовой подсохшую после дождя грязь.

Мы подошли к Сашкиному дому на углу Базарной и Сталина. Сашка жил на втором этаже над аптекой. Витька сказал:

— Иди один, — и тут же уткнулся носом в афишную тумбу.

У трамвайной остановки плотно, в несколько рядов, стояли курортники. С крыльца Сашкиного дома я в последний раз увидел мальчишку. Он потерял нас из вида, вертел во все стороны головой, а мать тащила его за руку, оглябая очередь. Я помахал ему рукой и стал подниматься по лестнице.

VII

Дверь хлопнула, как будто ее ударило сквозняком. Сашка даже не оглянулся. Я остановился на нескольких ступеней ниже площадки. Сашка сверху смотрел на меня ошалелыми глазами.

— Кошмар! — сказал он и схватился за голову.

В Сашкиной квартире так кричали, что слышно было на лестнице.

— Соня, сколько тебе лет? — спрашивал Сашкин отец. Судя по голосу, он стоял у самой двери.

— Ты что, сошел с ума? Ты не знаешь, сколько мне лет? — кричала из комнаты Сашкина мама.

— Положим, сколько тебе лет, я знаю. Я только не знаю, когда ты поймешь, в какое время мы живем. Твой сын нужен государству — это же его и наше счастье.

— Моим врагам такое счастье — кричала Сашкина мать. — Пусть себе берет такое счастье этот бандит и его партийная мама...

«Бандитом» был, конечно, я, а «партийной мамой» — моя мама.

— Кошмар! — снова сказал Сашка. Он подталкивал меня в спину. — Она совсем сошла с ума. Этот кошмар продолжается со вчерашнего вечера.

Я не торопился спускаться по лестнице.

— Можешь передать своей маме, — сказал я. — Пусть она больше не думает угощать меня кисло-сладким жарким. И вообще не надейся, что я еще хоть раз к вам приду.

— Здравствуйте! А причем я?

На лестнице пахло аптекой. Сашка понюхал свои руки, сказал:

— Ночью отец будил меня три раза. Он не мог сам дать матери валерьянку. Я должен был видеть, как моя мама страдает. Меня тошнит от запаха валерьянки.

— Ладно, Сашка. Если хочешь знать, моя мама тоже не сразу согласилась. А Витьку ты сейчас сам увидишь.

Мы вышли на крыльцо, но Витьку не увидели. Он стоял за афишной тумбой и разговаривал с дворником-татаринном.

— Ах, Витка, Витка, — говорил дворник. — Зачем дрался.

— Я же тебе говорю — не дрался. О борт лодки ударился.

Наверно, Витька повторял эту версию несколько раз, потому что голос у него был безнадежно усталый.

— Очень аккуратно ударился. Метко ударился, — говорил дворник и смеялся. — Раз ты не дрался, значит, тебя били. За что били? За девочек били?

Витька стоял на мостовой. Дворник свертывал шланг.

— Вы целый, а друг битый, — сказал он, когда мы подошли, и белые зубы его влажно блеснули. Он перекинул шланг через плечо и пошел, громко говоря:

— Друг битый — они целый...

Сашка с преувеличенным вниманием разглядывал Витькин синяк.

— Война в Крыму. Крым в дыму...

— Мать меня подвела. Я ей доверился, а она подвела...

Нежную душу Витьки больше всего потрясло предательство матери. А кого бы это не потрясло? Мы любили своих родителей и хотели видеть в них союзников и помощников. Нас огорчало, когда родители нас не понимали. Но о том, что мы огорчаем родителей, мы не думали. И не потому, что были жестокими или невнимательными сыновьями. Мы просто поступали так же, как поступали родители, когда были в нашем возрасте. В этом извечном споре отцов и детей, наверно, правы дети даже в тех случаях, когда они ошибаются.

Мы стояли в тени афишной тумбы.

— Хватит причитать, — сказал я. — Мы достаточно взрослые. От того, что ваши родители против, ничего не изменится. Они же не могут серьезно помешать поступить в училище. Вы поймите — мы уже взрослые.

Я сказал то, что зрело в нас со вчерашнего дня. А может быть, еще раньше. У каждого (и, наверно, по-разному) наступает минута, когда он вдруг почувствует себя взрослым. Неважно, что после этого в нем еще много остается детского. Ощущение взрослости, раз осознанное, будет постепенно крепнуть. Мы почувствовали себя взрослыми на мостовой у афишной тумбы.

По лицам своих приятелей я видел: сказанное мной им понравилось. Но Сашка не был бы Сашкой, если бы не сказал:

— Люблю оптимистов. Ему не поставили синяка. Его не будили ночью три раза. В общем ему хорошо: он едет в училище с разрешения мамы.

— Ерунда! Витька, помнишь женщину с мальчишкой? — спросил я. — Ту, которая спешила на пляж? У нее была цель — захватить место под навесом. Кроме места под навесом, она ничего перед собой не видела. Так вот, Сашка похож на эту женщину. Наша цель — училище. Но, по-моему, дорога к цели тоже интересная. Мы ее еще будем вспоминать.

Я не был уверен, что Сашка и Витька по достоинству оценили глубину моей мысли.

— Я бы хотел уже ее вспоминать, — сказал Сашка. А Витька ни на секунду не забывал о своем синяке и поэтому изучал афишу. Его повышенный интерес к ней привлек внимание Сашки. На афише был изображен мужчина во фраке. Волнистые волосы разделял четкий пробор. Огромные красные буквы вешали, что имя этого человека Джон Данкер. А для тех, кто его не знал, чуть пониже сообщалось: «король гавайской гитары».

— Спорю, — сказал Сашка. — Настоящая фамилия

этого короля Пейсахович, и прежде, чем на него надели корону, он был приказчиком в Киеве у мадам Фишер.

— Откуда ты знаешь про мадам Фишер? — спросил Витька. Наивный человек: больше всего его поражали подробности. Они мешали ему догадаться, что Сашка врет.

— Здравствуйте, — сказал Сашка. — Ты никогда не слышал о мадам Фишер? Ты не знаешь, что у нее был галантерейный магазин на Крещатике? Ну, а о том, что в Киеве есть улица Крещатик, ты знаешь?

— Сашка, перестань, — сказал я. Но остановить Сашку, когда он разойдется, было невозможно.

— Воротнички с фирменной маркой мадам Фишер были известны всему миру. Только такой невежда, как ты, может о них ничего не знать.

Витька смотрел на Сашку и недоверчиво улыбался. Витьку смущали воротнички. Как будто придумать воротнички было труднее, чем саму мадам Фишер.

Мостовую переходил почтальон. Сашка смотрел на его сумку, как завороченный.

— Ты видишь? — Сашка хлопнул меня по плечу. Я, конечно, видел, но сумка почтальона мне ни чем не говорила.

— Хорошего комсорга мы терпели два года, — сказал Сашка. — Представляю, как будут выглядеть наши родители, когда завтра утром получают газеты и в них будет написано про нас. За Витькиного отца ничего не могу сказать. Но моя мама этого не выдержит. Витька, представляешь, что будет с твоим отцом?

Витька пока ничего не представлял. У Сашки всегда возникал миллион идей. Но потом оказывалось — из сотни одна заслуживала внимание. Витька смотрел на меня. Я сразу понял, что с газетой Сашка придумал здорово, но не хотел этого сразу показывать.

— Попробовать можно, — сказал я. — Идем к Переверзеву.

Мы перешли через мостовую на улицу Сталина. Трамвайная остановка почти опустела. Мамы с детьми были уже на пляже. А те, кто приезжал в наш город развлечься, еще спали. Их день кончался незадолго до рассвета, когда закрывались рестораны, остывал пляжный песок и море становилось теплее холодного воздуха. А новый день начинался, когда духота нагретых солнцем домов поднимала их с постели.

Солнце уже грело, но еще не было жарко. Мы шли в теплой и мокрой тени улицы. Маленькие лужи на политых тротуарах блестели, как осколки стекла.

Мы снова почувствовали себя взрослыми, шли неторопливо, хотя нам хотелось бежать. Когда мы пришли в горком, часы в Алешином кабинете пробили девять. Алеша сам только что пришел и перебирал на столе бумаги.

— Привет, профессора, — сказал он.

Профессорами нас прозвал Павел Баулин. Что он хотел подчеркнуть этим прозвищем, мы не знали и не допытывались. Нас вполне устраивало прямое значение этого слова, а к интонации, с которой оно произ-

носились, можно было не прислушиваться. Сам Павел с трудом окончил семь классов, пробовал учиться в физкультурном техникуме, но бросил. Он объяснял это тем, что не мог жить без моря.

— Вечером на бюро утвердили ваши рекомендации, — сказал Алеша и подвинул на край стола наши личные дела.

— Алеша, вечером к тебе придет Витькин отец, — сказал я.

— Зачем?

— Вынимать душу...

Алеша поднял со лба пряди длинных прямых волос, они сами по себе рассыпались на голове на две равные половины.

— Сопляки, — сказал он. — Где Аникин?

Я подозвал Алешу к окну. Витька стоял на другой стороне улицы и, конечно, лицом к афише того же Джона Данкера. Этими афишами был обклеен весь город, и я убежден, что в тот день Витька запомнил портрет короля гавайской гитары на всю жизнь.

— Витька, — крикнул я. Он оглянулся. — Посмотри, — сказал я Алеше, — любишь громкие слова говорить.

— Аникин! Иди сюда, — позвал Алеша.

Витька покачал головой и отвернулся к афише.

— Не пойдет, — сказал я. — Давай сами решать, как быть.

— Да-а-а, — сказал Алеша и вернулся к столу. — Положение... Главное, уже на бюро утвердили, и Колесников одобрил... А что Виктор думает? Какое у него настроение?

— Думает то, что и думал. Решения пока не меняет.

— Тогда все в порядке, — Алеша обеими руками поднял наверх волосы. — Пусть Аникин-старший приходит. Я с ним буду разговаривать в кабинете у Колесникова.

— Погоди, Алеша. Ты же знаешь Витькиного отца. Зачем доводить до скандала? Сашка, выкладывай свое предложение.

Сашка сидел на диване и внимательно изучал кончик собственного носа. Я не помнил случая, чтобы Сашку надо было тянуть за язык. Такое с ним случилось впервые.

— Ты слышишь? — сказал я. Выкладывай свое предложение.

— Алеша, ты нас знаешь, — сказал Сашка. — Люди мы скромные, за славой не гонимся. Но если мама прочтет завтра утром в газете, что ее сын — лучший из лучших и без него не может обойтись армия, она успокоится. Положим, не совсем. Но в доме можно будет жить. Это моя мама. А Витькин отец...

Алеше не нужны были подробности. Он был очень сообразительный и все понял. Как только он услышал слово «газета», он начал ходить по комнате и теперь уже стоял у двери.

— Молодцы, профессора, — сказал он, не дав Сашке договорить. — Можете считать статью напечатанной. Ждите... Я — наверх.



И. И. ЛЕВИТАН (1861—1900). Еврейка в восточном покрывале Еумага. Односеансная. Анварель. Размер 39,9х26,7. Воспроизводится впервые. Из фондов Думамузея В. Поленова близ Тарусы

— Постой, — сказал я. — Ждать нам некогда. Мы пойдем к Витькиному отцу. На всякий случай к пяти часам уйди из горкома. На всякий случай...

На улице было жарко. Я не помнил в конце мая такой жары. Думать на солнце — мало приятного. В голове у меня шумело, а утро только еще начиналось. Сашка сказал:

— Все в порядке. Алеша пробьет. Я всегда говорю: Алеша — голова.

— Витька, — сказал я. — Ты доедешь с нами до Жени. Скажешь девочкам, что мы задерживаемся. Потом приходи на промысел. На глаза отцу не показывайся, пока не позовем. Понял?

— К девочкам не пойду, — сказал Витька.

— Ерунда. Синяки за один день не проходят. Может быть, ты и на экзамен завтра не пойдешь?

VIII

Витька вышел из трамвая возле Жениного дома, а я и Сашка доехали до тупика Старого города. В короткой тени, падающей от низкой без окон стены, си-

дела и стояли люди. Они подняли с земли мешки и корзины и пошли к трамваю. Они казались мне призрачными и невесомыми. Они проходили мимо меня, и я смотрел на них в каком-то странном забытьи. Как я сюда попал? Зачем я здесь? Завтра последний экзамен. Мы давно должны были сидеть в саду у Жени. Вокруг стола, врытого в землю, прохладно. Там тонко пахнет нагретая солнцем сирень. Когда ветер трогает страницы книг, они шуршат. Шуршание их сливается с шелестом листьев. Голос того, кто в это время читает, слышен только нам: он не может заполнить всего пространства.

Сутки всегда только сутки. До этой минуты я тоже так думал. Но сейчас моя вера в неизбежность времени сильно пошатнулась: всего только сутки отделили вчера от сегодня, а все, чем мы жили до вызова нас в горком, стало далеким прошлым.

За трамвайным тупиком начиналась Пересыпь. На широких улицах без мостовых и тротуаров маленькие домики выглядели еще меньше.

— Чего ты стоишь? Пойдем берегом, — сказал Сашка. Он вообразил, что я стою у трамвайного круга и думаю, какой дорогой идти на промыслы.

Трамвай ушел, и к блеску солнца прибавился блеск рельс.

— Пойдем, — сказал я.

По узкой тропке, протоптанной между кустов маслин, мы спустились к берегу. Широкая полоса диких пляжей тянулась до самых промыслов. Утренний накат выбросил далеко на песок свежие водоросли. Они высохли и побелели. Двое рыбаков чинили на берегу шаланду. Эхо от ударов топора было громче самих ударов. В черном ведре над костром кипела смола, и пламя под ведром на солнце казалось прозрачным.

Мы сняли туфли и засунули их в карманы брюк. Горячий, крупный песок приятно покалывал ноги: с тех пор, как мы перестали бегать по городу босиком, наши ноги стали удивительно чувствительными. Мы шли по мокрому песку, такому плотному, что на нем не оставалось следов. Теплая вода, выплескивая, омывала наши ступни.

— Сашка, ты все понял? Главное, жалуйся дяде Пете на незнательность своих родителей, — сказал я.

— И не подумаю, — ответил Сашка. Он еще в трамвае заупрямился. Ругаться с ним в трамвае было неудобно. Теперь мы были одни, и я мог высказать все, что о нем думаю.

— Осел, — сказал я. — Или ты будешь делать то, что тебе говорят, или иди домой.

— Отстань! — сказал Сашка.

Было очень жарко. Сашка шел зади меня и злился. На здоровье; меня его настроение мало трогало. Мы сняли рубашки. Влажную кожу овеяло свежестью. Но мы ощущали ее недолго. К середине лета, когда нашу кожу покрывал густой загар, она становилась совершенно невосприимчивой к солнцу. Но пока мы очень чувствовали палящий зной. Рубахи мы заткнули за пояс, а брюки подвернули выше колен. В таком

виде мы прошли под деревянной аркой на территорию промыслов.

Соль добывали из морской воды. Воду накачивали насосами в прямоугольные бассейны, которые почему-то назывались картами. После того, как вода, переливаясь из бассейна в бассейн, испарялась, соль выгребали лопатами. Бассейны-карты тянулись вдоль берега километров на пять. В нашем городе соляные промыслы были единственным промышленным предприятием государственного значения. Наша ослепительно белая и мелкая, как пудра, соль носила высшую марку столовой соли.

Мы еще долго шли по территории промыслов, мимо причалов, у которых стояли баркасы. Где-то за буртами соли духовой оркестр играл краковяк. Медные звуки, ослабленные зноем, то усиливались, то почти пропадали.

— Прими-и-и!

Я оттащил разомлевшего Сашку в сторону. Толстый дядька прокатил мимо тачку. Он посмотрел круглыми и злыми глазами. Трусы грязно-серого цвета сползли у него под круглый живот. Руки его были широко расставлены. Он грудью налегал на рукоятки, быстро и мелко переставлял босые ноги, откидывая их в стороны. Колесо тачки постукивало по доске и, казалось, дядька прилагает все силы, чтобы оно не соскочило в песок.

Рабочие с тачками бегали по всему берегу от буртов соли к причалам. Чтобы никому не мешать, мы пошли по узкому бортику бассейна. Белая соль на дне его была прикрыта сверху прозрачной пленкой воды, и в ней отражались наши фигуры с раскинутыми для равновесия руками. Чем ближе мы подходили к центру промыслов, тем лучше слышен был оркестр. Витькиного отца мы увидели, когда он возвращался от причала с пустой тачкой. Но прежде чем мы его увидели, Сашка показал мне плакат. На квадратном куске фанеры против четвертого причала было написано: «СТАХАНОВСКОЙ БРИГАДЕ Петра Андреевича Аникина — СЛАВА!»

Бригада Витькиного отца была первой стахановской бригадой в нашем городе. Это событие произошло сравнительно недавно, и мы хорошо помнили все подробности. Витькин отец с товарищами по бригаде через несколько дней после того, как газеты сообщили о трудовом подвиге донбасского шахтера, установили на промыслах сногшибательный рекорд погрузки. До этого в каждой бригаде один грузил лопатой тачки, а пятеро отвозили их на баркас. Пока грузилась тачка, простаивал тачечник, а когда тачку увозили, «загорал» лопаточник. В день рекорда в бригаде Витькиного отца на каждого человека было по две тачки: пока отвозили одну — другая нагружалась.

Городская газета провела дискуссию: можно ли такой труд считать стахановским? Итоги подводили на бюро горкома партии. Одни доказывали, что стахановское движение — это высокая механизация, а не мускульный труд. Другие говорили, что было бы полити-

ческой ошибкой не поддержать инициативу рабочих. Лучшее всех на бюро выступила моя мама. Она сказала: стахановский труд — это не только механизация, а и хорошая организация производственных процессов. После этого большинство членов бюро решило признать бригаду Витькиного отца достойной высокого звания.

А мы еще раньше признали бригаду стахановской. Формальности нас меньше всего интересовали. Главное было то, что и в нашем городе началось движение, которое охватывало всю страну. И начал его не кто-нибудь, а Витькин отец.

Теперь все бригады на промыслах работали по методу Аникина. Когда за солью приходили баркасы, на промыслах объявлялась «стахановская вахта». В такие дни подводились итоги соревнования. Потом промыслы затихали: в очищенные карты накачивали новую воду, выпаривали ее, потом выбрасывали соль в бурты для просушки.

В дни погрузок музыка и флаги над причалами придавали промыслам праздничный вид.

Дядя Петя катил пустую тачку. Он посмотрел на нас. Глаза у него были такие же, как у Витьки, — голубые, только голубизна их была холоднее. Мы хором выкрикнули:

— Здравствуй, дядя Петя, — но на дядю Петю наше приветствие не произвело никакого впечатления. Мимо нас прошуршали его брезентовые штаны. Он бежал рысцой под музыку, и его широкая спина вздрагивала: так бегают грузные и уже немолодые мужчины:

— Он поздоровался? — спросил Сашка.

— По-моему, нет...

— Положение...

— А ты думал, он увидит нас и раскиснет? — сказал я. — Пошли!

Мы догнали дядю Петю, когда он уже держал ручьячки грузенной тачки.

— Дядя Петя, где Витька? — спросил я.

Дядя Петя налег на ручьячки и поставил колесо на доску. Потом толкнул тачку и пошел коротким и быстрым шагом. Очень вежливо с его стороны. Но если он думал нас запугать, то ошибался: напугать нас молчанием было невозможно.

— Посидим, — сказал я.

Мы сели на бортик бассейна. Сашка поерзал, устраиваясь поудобней.

— Ты уверен, что мы не уйдем отсюда с сиячками?

Полной уверенности у меня не было. Я надеялся на авторитет мамы и на уважение, с которым к ней относился дядя Петя. Мы сидели на бортике бассейна и смотрели. Худой, жилистый дядька с круглой, стриженной и седой головой, не разгибаясь грузил большой совковой лопатой пустые тачки. Их то и дело подвозили рабочие и взамен увозили грузенные. Когда лопаточник поднимал голову, мы видели подковку сивых усов и пучки бровей. Усы и брови на его загорелом лице казались приклеенными. Его длинные худые руки

двигались, как на шарнирах. Но самым удивительным было то, что этот немолодой уже дядька совсем не потел.

Подбежал дядя Петя и рывком развернул пустую тачку. Он уже несколько раз возвращался с причала, но на нас по-прежнему не обращал никакого внимания. Мы не обижались: борьба есть борьба.

— Михеич, — сказал он дядьке с усами. — Зайцев жмет...

— Чего ему не жать. До его причала и сотни метров не будет, а до нашего все двести.

— Надо по третьей тачке на брата поставить.

— Поставить можно, почему не поставить? Пусть постоит. Она, когда стоит, кушать не просит. Только грузить ее некому: я с этими в упор управляю.

Дядя Петя повернулся к нам. Даже не повернулся, а только повел в нашу сторону головой. Но этого было для нас достаточно. Когда князь Андрей подумал: «Это мой Тулон», он, наверно, чувствовал то же, что и мы. Мы уже стояли с совковыми лопатами (их много было разбросано вокруг бассейна) и смотрели на дядю Петю.

— Берите третью тачку, мы поможем, — сказал я.

Дядя Петя смотрел на Михеича.

— Попробовать можно, — сказал тот. — Зайцев хай подымет.

— Пусть подымет. Ребята не чужие — моего Витьки приятели. В другой раз седьмого человека в бригаду возьмем.

Дядя Петя повез грузенную тачку. На нас он не взглянул, только бросил через плечо:

— Ноги обуйте.

Мы стали боком к бурту соли. Надо было одним взмахом набрать полную лопату и с поворотом корпуса и рук высыпать соль в тачку. Пока оставалось прежнее количество тачек, Михеичу нечего было делать. Он не скучал. Он уселся на верху бурта, закурил и делился с прибегавшими рабочими своими впечатлениями от погрузки.

— Зайцев-то, Зайцев, эх, как животом трясет. Десять лет с тачкой бегают, а живот вроде как бы еще больше стал...

Когда дядя Петя привез порожние тачки, вставленные одна в другую, Михеич скатился с бурта.

— Андреич, ведь получится. Помяни мое слово, — сказал он. — Зайцев бы до поры не пронюхал. Получится...

— Пусть нюхает, — сказал дядя Петя.

Рабочие с любопытством на нас поглядывали. Нас это не беспокоило: лопаты в наших руках были не впервые. Главное, когда работаешь лопатой, не напрягать живот. Мы умели подавлять тяжесть внизу живота, вовремя расслабляя мышцы. Оркестр ускорил темп и смолк. Слышен был только скрежет железа о соль.

У причалов мужчина в полотняном костюме выкрикивал в рупор результаты погрузки. Когда мы взяли за лопаты, бригада Зайцева была впереди дяди Петинной на полтонны. Результаты погрузки объявлялись

каждый час. Но очередного результата мы не слышали: снова играл духовой оркестр — теперь гопака. Прибежал дядя Петя — он бегал теперь в оба конца.

— Сравнялись, — сказал он.

Михеич ответил:

— Все! Сейчас Зайцев будет икру метать...

Как это Зайцев будет метать икру, нас не интересовало. Мы работали. На кончике Сашкиного носа висела мутная капля пота. Я сам видел, как она упала. Но когда снова взглянул на Сашкин нос, на нем опять висела такая же капля.

— Сашка, перестань растворять соль. Ее не для этого выпаривали.

— Балда, как я могу ее растворять, если с меня течет соль.

— Ничего, это тебе не кнедлики кушать.

— Положим, когда я ем кнедлики, я тоже потею...

Я понял: разозлить Сашку мне не удастся. Жаль. Когда злишься, легче работать. От солнечного света и блеска соли резало глаза. Соль оседала на спине, на плечах, проникала сквозь матерчатый верх туфель. Плечи и спину можно было погладить ладонью и хоть на время унять зуд. А унять зуд в ногах было просто невозможно. И все равно мы не выпускали из рук лопат.

На берегу что-то произошло. К нам донеслось приглушенное расстоянием жиденькое «ура»!.. На мачте баркаса, который грузила наша бригада, взвился красный флаг.

— Шабаш! — сказал Михеич и сел тощим задом в соль.

Я не заметил, откуда появился уже знакомый нам дядька в трусах и соломенной шляпе с оборванными полями. Он стоял и какое-то время молча на нас смотрел.

— Ага! — сказал он и побежал к берегу. Толстые ноги его не сгибались в коленях, а согнутые в локтях руки были прижаты к бокам.

На берегу уже собралась толпа. К причалу бежали с разных концов промыслов. Качали дядю Петю. Остальных рабочих его бригады ловили по берегу.

Михеич сказал:

— Дай и я полетаю. — Он отбросил цыгарку и встал. Брюки на нем казались пустыми. Он бежал к толпе и кричал:

— Братцы, тут я.

К причалу спешил духовой оркестр. Последним бежал барабанщик. Из-за огромного барабана видны были только ноги и голова.

— Володька!

Я оглянулся. Над буртом соли красовалось Витькино лицо, нанскось перечеркнутое бинтом.

— Как дела?

— Пока никак. Жди, — ответил я.

Я и Сашка скромно сидели на бортике бассейна и, упоенные делами своих рук, смотрели на берег. Там качали теперь всех подряд. Кого поймают, того и качали. Оркестр играл туш. От причала на моторе отошел баркас, и двое матросов ставили на носу парус.

Эти пузатые кораблики ходили вдоль берега до самой Феодосии. Там в течение часа соль из их трюмов перегружалась в железнодорожные вагоны. Мы знали, что к концу пятилетки и на наших промыслах будет построено механизированный причал. Мы все знали о будущем нашего города.

Подошел дядя Петя. И с ним мужчина в полотняном костюме и толстый дядька в трусах и шляпе.

— Где правда? Где? — кричал он. Голос у него оказался неожиданно высоким, скандального тембра.

— Пойми, Зайцев, дело не в ребятах — сказал мужчина в полотняном костюме. — Рывок новый сделали. Понимаешь, рывок...

Зайцев отстал шага на два и остановился, точно примериваясь боднуть.

— Рыво-о-о-к... Я тебе, Аникин, рвану. Попомни!.. Я на погрузку всех семерых приведу. Мало будет — бабу заставлю тачку толкать. Я тебе рвану-у!

Зайцев повернулся и побежал своей неуклюжей побегой. Ходить спокойно он уже, наверно, не мог. Сашка сказал:

— Интересно, дома он тоже бегает?

— Спасибо, Аникин, за почин. И вам, ребята, спасибо.

— За что спасибо, Гаврила Спиридонович? Вроде не на тебя, на государство работаем.

— От имени государства и благодарю.

— Ну раз у тебя такие права есть — благодари, — сказал дядя Петя.

Мужчина в полотняном костюме засмеялся. Он ушел, а дядя Петя перевернул тачку дном вверх и стал выгружать из сумки редиску, лук, яйца, копченую тюльку.

— Для одного человека многовато, — шепотом сказал Сашка.

— Молчи, — так же шепотом ответил я.

Рабочие дяди Петинной бригады тоже обедали. Почти у всех было молодое вино. Оно шипело и пенилось в граненых стаканах. Налив стаканы, рабочие поднимали их и говорили:

— За твоё здоровье, Андрейч!

Дядя Петя отвечал:

— Пейте на здоровье.

Сам он вина не пил, но мы знали, выпивку за порок не считал.

Мы сидели смиренно, опустив руки между колен, и смотрели. Дядя Петя зачерпнул из бурта горсть соли и бросил ее между разложенных закусок. Теперь он тоже смотрел на нас. Очень трудно было выдержать его взгляд, но мы выдержали.

— Прошу к столу, ваши благородия, — сказал дядя Петя.

По моему, не следовало сразу принимать приглашение. Сашка думал иначе. Я не успел глазом моргнуть, как он уже подсел к тачке. Мне ничего другого не оставалось, как тоже подсесть.

— Почему к экзамену не готовитесь? — спросил дядя Петя.

— Витька куда-то пропал. Полдня его ищем, — ответил я.

— Там ли ищите? В городе, слышать, король какой-то появился. На балалайке, что ли, играет.

— На гавайской гитаре, — поправил Сашка.

— Что еще за гавайская? Такой не слышал.

— Мы тоже не слышали. Собираемся.

— Выходит, десятку как раз ко времени заработали. А за помощь я от себя пятерку добавлю. Хватит, небось?

— Мы, дядя Петя, не за деньги, так... — сказал я.

— За так и при коммунизме не будет, — ответил дядя Петя. Он очистил яйцо, посолил и откусил половину.

Сашка пожирал копченую тюльку, как будто только для этого сюда пришел. Я толкнул его. Сашка повернулся ко мне с открытым ртом, положил в него тюльку и принялся жевать. Я думал, челюсти его будут двигаться бесконечно. Но Сашка, наконец, прожевал тюльку и сказал:

— Дядя Петя, я не антисемит. Но скажите мне: почему в еврейских семьях родители мешают детям жить?

— Ты мне зачем этот вопрос задаешь?

— Как зачем? Это же кошмар. Не знаю, говорил вам Витька за училище? Я своим родителям сказал. Я сказал папе и маме, что мы лучшие из лучших. Других таких, как мы, нет и не может быть. Поэтому именно нас городской комсомол посылает в училище. И что же? Мой всеми уважаемый папа хватается за ремень, а моя любящая мама держит меня за руки... Это же кошмар!

— Значит, один отец не справился?

Дядя Петя посолил надкусанную редиску.

— При чем тут справился или не справился? Просто позор на весь город, — сказал я.

— Вон что. Учить меня пришли...

Дядя Петя откинулся назад, чтобы сразу видеть нас обоих. Саша положил тюльку и вытер о штаны руки.

— При чем тут вы?

Наивный вопрос. Дядя Петя, конечно, не обратил на него внимания.

— Ты мне сказки про евреев не рассказывай. Видел? — дядя Петя протянул к Сашке кулак. Сжатые пальцы были выбелены солью и покрыты глубокими трещинами. — Мне ремня не надо. И за руки никто держать не будет.

Дядя Петя все понял. В нашем положении самое лучшее было молчать. Но для этого надо было иметь хоть каплю здравого смысла. Сашка его не имел. Вместо того чтобы молчать, он закричал:

— Когда тебе плохо, когда твои собственные родители отравляют тебе жизнь, куда идти? К отцу друга, передовому человеку — стахановцу.

Ничего не поделаешь: наследственность. А может быть, Сашка кричал от страха? Решить это я не успел. Дядя Петя медленно поднимался, упираясь ладонями в колени. Сашка ничего не замечал. Наверное, все-таки от страха.

— А если этот человек тебя не понимает? Если он поддерживает не тебя, а твоих отсталых родителей, то что делать? Что? — выкрикивал Сашка и в эту минуту был очень похож на свою маму.

Дядя Петя медленно опускался. До Сашки все доходило, как до жирафы. Когда дядя Петя уже сидел на своем месте, Сашка проворно отодвинулся. Кто-то из рабочих спросил:

— Андреич, чего это они тебя агитируют?

Дядя Петя не ответил.

— В один час все переименовали. А родителей спросили? — говорил он. С опущенными уголками губ, с тяжелыми руками, устало кинутыми на колени, он казался подавленным. Но я ошибся: дядя Петя не собирался сдаваться.

— Не с того конца начал. Это верно, — сказал он. — С Переверзева надо было начать — он воду мутит. Куда вас несет? Учились. Десять классов — это поболее гимназии. А кто раньше из полной гимназии в офицеры шел? Дураки одни шли. Я действительную после гражданской ломал. Ничего не скажу, кроме спасибо. Грамоте в армии научился и тем людям, что учили меня, по гроб жизни буду благодарен. А были и другие, например, взводный. Два кубаря носил — по теперешнему лейтенант. Человек был заслуженный, с орденами. А кроме своей фамилии, ничего написать не мог. Демобилизовали его за неграмотность. Куда там! За что кровь проливал? Снова быкам хвосты крутить? Поехал в Москву, к Ворошилову. Восстановили. Попробовал на ликбез ходить. Бросил. Уговаривал его наш учитель, хороший человек — не помогло. Я, говорит, неграмотный, грамотных бил. Надо будет — еще побью. Теперь тот взводный полком командует. Не зря не хотел с армией уходить. А вас чего несет?

— Пришло время неграмотных командиров заменить грамотными. Техника... — сказал я.

— Слышал. Так тебе и даст тот взводный себя заметить. Что Надежда Александровна говорит?

— Мама понимает. Говорит, надо гордиться оказанным доверием.

— Ее дело. Она газеты читает. А Витьке моему голу не дурите. Зовите его. Нечего от отца прятаться. Я и Сашка переглянулись.

— Хватит в прятки играть, — прикрикнул дядя Петя.

— Витька! — позвал я.

Витька боком выдвинулся из-за бурта. Пока он подходил, мы молчали. Витька остановился в двух шагах и смотрел на отца настороженным глазом. Дядя Петя достал из сумки новую нитку тюльки и яйца.

— Это что за мода такая из дома без завтрака бегать? — спросил он.

Витька отвернулся и молчал. Глаз его наполнился влагой, и я просто не мог на него смотреть.

— Чего отворачиваешься? Обиделся? Отца обидеть можно?

— Я на тебя не обиделся.

— А на матери совсем нет вины. Не может она про-

тив моей воли идти. Садись, ешь, пока твои дружки всего не подмели.

Дядя Петя подождал, пока Витька подсел к нам.

— Километр бинта извел. Никак не меньше, — сказал он.

Витька тут же поднял руки и пальцами отыскивал завязки.

— Оставь! — прикрикнул дядя Петя.

Витька ел, мы молчали. Подошел Михеич, спросил:

— Будем воду пускать иль на сегодня пошабашим?

— Некогда шабашить. Солнце вон как жарит, — дядя Петя встал. Рабочие торопливо увязывали свои домашние сумки и узелки. — Ждите меня на первой карте. А вы — домой, заниматься. Завтра приходите, деньги выдам, — это дядя Петя сказал уже нам.

— Ничего себе поговорили. Пусть теперь Переверзев с ним разговаривает, — сказал Сашка, когда дядя Петя ушел.

— Подождем до завтра. Появится статья, и все может перемениться.

— Ничего не переменится, — это сказал Витька.

Мы уже шли по берегу мимо причалов. Духовой оркестр снова играл туш. На этот раз в честь бригады Зайцева. Его самого качали. Он взлетал в воздух, сохраняя серьезное выражение лица. На его загорелых ногах сверкали белые пятки. Дядя Петя стоял чуть поодаль, рядом с мужчиной в полотняном костюме.

— До свиданья, — попрощался я.

— До завтра, — многозначительно сказал Сашка.

Витька промолчал, а мужчина в полотняном костюме сказал нам вслед:

— Орлы!

— Только груди цыплячи, — ответил дядя Петя. Хоть этого он мог бы не говорить.

Мы прошли под аркой. Женщина в синем халате стояла на лестнице и снимала лозунги: от солнца и соли быстро выгорала красная материя, и поэтому после погрузки лозунги снимали.

— Витька, почему ты до сих пор не повесился? — спросил Сашка.

— Чего мне вешаться?

— Имея такого папу, можно пять раз повеситься и два раза утопиться.

— Твоя мама не лучше...

— Моя мама — другая опера. Моя мама — выходец из мелкобуржуазной среды: ей простительно, у нее отсталая психология.

Я шел между Витькой и Сашкой. Витька промолчал, но это был не лучший способ отвязаться от Сашки.

— Я бы на твоем месте публично отказался от такого отца, — говорил Сашка. — Напиши в газету обстоятельное письмо... — договорить Сашка не успел: Витька набросился на него за моей спиной и повалил на песок.

— Псих, неврастеник! — орал Сашка, а Витька стоял над ним и сопел. Потом Витька тоже сел на песок и сказал:

— Никуда я с вами не пойду.

— Доигрались, — сказал я и сел рядом с Витькой. Теперь мы сидели все трое. Я хотел сказать, что все так или иначе устроится, что в жизни все устраивается. Но вовремя понял всю неуместность моей философии и ничего не сказал. Я понял: мне легче, чем им. Мне не надо было бороться за свое право пойти в училище. Кажется, впервые на этих пустынных пляжах, у моря, переливавшегося блеском до самого горизонта, я понял, что при всей неустроенности живется мне очень легко и свободно.

— Давайте искупаемся, — сказал я и стал раздеваться.

IX

Стол был исписан формулами и разрисован чертиками. Женин папа пробовал их состругивать, но потом бросил. Легче было начисто исстрогать доски, чем отучить нас от привычки их расписывать. Женина мама была благоразумней: она накрывала стол клеенкой, но, когда мы приходили в сад заниматься, снимала ее. Мы не обижались. Наоборот, если Женина мама забывала снять клеенку, кто-нибудь из нас ей об этом напоминал.

Я сидел в плетеном кресле с продранной спинкой. Я всегда сидел в этом кресле. Уже года три никто не пытался оспаривать у меня мое место. И если говорить честно, то и спинку продрал я. Я любил откидываться назад и покачиваться на задних ножках.

В школе мы не успели пройти проект новой Конституции, но нас предупредили, что на экзаменах будут спрашивать. Поэтому, пока мы были на промыслах, Жения и Катя все проработали, и теперь Катя пересказывала своими словами особенности будущей Конституции. Она очень старалась, но я не слушал. Вернее, слушал, но плохо: мешала Инка. Я бы в этом никогда и никому не признался, но я подглядывал за ней.

Инка сидела за кустом сирени. Я видел ее голову, склоненную над книгой, и сдвинутые вместе ноги. Когда мы занимались, то сажали Инку отдельно, чтобы ей не мешать. Инке, конечно, бывало скучно, но что поделаешь? Когда ей становилось невозможно, она подсаживалась к нам. Повод для этого всегда находился. А сегодня она не сдвинулась с места, даже когда мы пришли с промыслов.

Я смотрел на Инкины колени и думал, что когда-нибудь обязательно дотронусь до них рукой. Но и без этого я видел: колени у нее мягкие и теплые. Подол голубого платья в черный горошек так обтягивал Инкины ноги, что просто удивительно, как это не лопалась материя? Сколько раз я видел Инку на пляже вовсе без платья, в одном купальнике, и ничего. А вчера на Приморском бульваре все перевернулось. Я думал — это пройдет. Но как только увидел Инку, понял: ничего не прошло. Со вчерашнего дня моя власть над Инкой сильно пошатнулась. И, наоборот, ее власть надо мной неизмеримо возросла. Инка это тоже чувствовала. Такое она всегда чувствовала рань-

ше меня. Инка делала вид, что поглощена чтением. Локти ее упирались в колени, а пальцы она запустила в волосы. На нее падала тень листьев, а там, где солнце касалось Инкиных волос, они отливали медью.

За кустом сирени была врыта в землю скамья. Чтобы Инку видно было так, как ее было видно, ей, наверное, пришлось подвинуться на самый край скамейки. Воображаю, как ей было удобно сидеть. Но она сидела. Когда я взглядывал на нее, то видел, как между пальцев поблескивал ее глаз.

— Наша Конституция будет самой демократической, — говорила Катя и спрашивала: — Почему? — такая у нее была манера самой себе задавать вопросы. — Потому, что все граждане в нашей стране, достигшие восемнадцати лет, смогут выбирать и быть избранными. У нас больше не будет лишенцев.

Катя была очень обстоятельная девочка. Любая другая такая же обстоятельная девочка могла умерить. Но что-то, а назвать Катю скучной — никому не могло прийти в голову. Серые глаза Кати всегда сияли, а на щеках были ямочки от постоянной улыбки. Теперь-то Катиным ямочкам завидовали все девочки, а три года назад ее дразнили «булочка».

— Выходит, поп или нэпман может попасть в правительство? Я не согласен, — изрек Витька. Он лежал на деревянном топчане, под головой у него была подушка. Женя уложила его, как только мы пришли с промыслов. Ему было неловко, но он лежал. Спротивляться Жене было бесполезно — это мы хорошо знали. Особенно не по себе Витьке становилось, когда на террасу выходила Женина мать и смотрела на нас. Витька краснел и глупо ухмылялся.

Катя молчала. Ей так нравилось объяснять, она так радовалась, и вот, пожалуйста! Катя просто растерялась от Витькиного вопроса. Она всегда терялась, когда ее сбивали с мысли. Катя смотрела на Сашку. А на кого еще она могла смотреть? Сашка в таких случаях немедленно приходил к ней на помощь. Так было и на этот раз.

— Видали, он не согласен, — сказал Сашка. — Ему не нравится поп.

— А тебе нравится?

— Мне тоже не нравится... Теоретически его можно выбрать, а практически — кто будет его выбирать? Надеюсь, не ты?

— Все ведь так просто, — сказала Катя. Она очень не любила, когда спорили.

— Понимаешь, Витя, — сказала Женя. — Для того, чтобы тебя выбрали, надо же, чтобы кто-то выдвинул твою кандидатуру. Кто, например, станет выдвигать Жестянщика? А ведь Жестянщик даже не лишенец. Понял?

Никогда не думал, что Женя может так ласково разговаривать с Витькой. Она всегда обращалась с ним, как со своей движимой собственностью и при этом покрикивала. Женя вообще была злая. Чтобы это понять, достаточно было посмотреть на ее тонкие

губы. У Жени было продолговатое лицо с бархатистой, будто припудренной кожей и черные, как ночь, глаза. Когда мои сестры впервые увидели Женю, они сказали, что со временем она станет красавицей. Не знаю. Времени прошло достаточно. По-моему, даже Катя была красивее Жени, а об Инке говорить нечего. Мы говорили Жене, что она злая, но Женя не соглашалась.

— Просто у меня твердый характер, — отвечала она.

Она считала, что твердый характер ей необходим, чтобы стать певицей. Ерунда! Твердость характера тут ни при чем. Главное — голос. А голос у Жени был. В этом никто не сомневался.

Женя склонилась над Витькой и говорила с ним так, будто никого из нас близко не было. Что она хотела этим выразить — непонятно.

От черного хлеба и верной жены.
Мы бледною немочью заражены,

— сказал Сашка.

— Не твое дело! — ответила Женя.

Витька сказал:

— А я все равно не согласен. Раз нельзя практически выбрать, и в Конституции нечего об этом писать. Вот к чему приводит снисходительность. В другое время Витька бы и пикнуть не смел против Жени.

— Нет, вы только подумайте, — сказала Катя. — Володя, чего ты молчишь?..

Обойтись без меня она не могла. А я как назло только что оглянулся на Инку. И хотя теперь смотрел на Катю, но ничего толком не понимал. Сашка засмеялся. Он сидел слева от меня, смотрел мне в лицо и смеялся.

— Сократ говорил: никогда не видел такого тупого выражения лица, — сказал Сашка.

— Тогда тебя еще не было...

— Съел? — спросила Женя.

— Мы же ничего не успеем повторить, — это, конечно, сказала Катя.

— О серьезном давайте говорить серьезно, — сказал я. — Все ясно, как дважды два — четыре. Социализм — полная свобода для всех. Каждый получает одинаковые права строить коммунистическое общество...

— Интересно, как это попы будут строить коммунизм?

С Витькой всегда так. Можно было подумать, что он каждый день имел дело с попами. Во всем нашем городе был единственный поп в греческой церкви. Да и тот ходил по улицам, как все люди: в обыкновенном костюме и даже волосы прятал под шляпой — летом под соломенной, зимой под фетровой.

— Поп — это частности! — сказал я. — Церковь у нас отделена от государства. Как же можно выбрать попа в органы государственной власти?

— Ладно, черт с ним, с лопом. А Жестянщика могут выбрать?

— Вот что, Витька, — сказал я. — Как по-твоему, можно выбрать в Верховный Совет твоего отца?

— Он не согласится...

— Как это не согласится?

— Он скажет, грамотности маловато.

— Ерунда! Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Твоего отца нельзя выбрать по другой причине. Выбирать в органы власти будут самых сознательных.

— Договорился. Мой отец и Жестящик...

Я бы скорее язык проглотил, чем приравнял Витькиного отца к Жестящику.

— Не перебивай, — сказал я. У меня в голове так все хорошо сложилось, а теперь Витька все перепутал. — Я взял твоего отца как пример, чтобы ты понял: не всех будут выбирать. Право избирать и быть избранным будет у всех одинаковое. Но выбирать будут только тех, кто заслужил доверие народа.

— Вопросы есть? — спросил Сашка. — Логика! Я всегда говорил: Володька — это голова.

Тоже открытие! Наша учительница по истории еще в седьмом классе сказала, что я удивительно тонко чувствую и понимаю эпоху. Она, конечно, ставила это в заслугу моей маме. Чепуха! Мама тут была ни при чем. Просто я сам все хорошо понимал.

Я оглянулся. Инка смотрела на меня. Она улыбнулась и наклонилась над книгой.

— Таких, как Жестящик, надо в море топить, а не права им давать, — сказал Витька.

Сначала поп, теперь Жестящик. Но я по Витькиному лицу понял: он сказал это так, лишь бы что-то сказать. Ведь никому не охота признать себя побежденным.

— Не надо его топить: он сам умрет, — сказал я.

— Вот и хорошо, вот и договорились, — сказала Катя. — Идем дальше. Дальше, мальчики, про вас. Наша Конституция будет самой демократической еще и потому, что в голосовании будут участвовать военнослужащие. А в капиталистических странах армия в выборах не участвует. Там армия вне политики, — Катя говорила, как будто читала. Если она и взглядывала на кого-нибудь из нас, то все равно не замечала. Это видно было по ее глазам. У Кати была удивительная память. Стоило ей разойтись, и она могла пересказывать подряд целые страницы. Не надо было только сбивать ее с мысли.

Я косился на Сашку. Он сидел с закрытыми глазами. Глаза у него были особенные: выпуклые, с короткими веками. Даже когда Сашка спал, глаза его плотно не закрывались. Со стороны казалось: он за кем-то подглядывает. Сашка притворился, будто дремлет. Но я видел его насквозь: он не протил мне Сократа, наверняка приготовил какую-то остроту и только ждал, когда я оглянусь на Инку. Нашел дурака. Я и не думал оглядываться. Зачем? Я представлял себе Инку и думал о том, что она тоже обо мне думает.

Соседка Жени поливала за забором сад. Шипела вода. Женщина монотонно покрикивала:

— Шурка, не трогай кран...

Крана Шурка пока не трогал, и женщина покрикивала так, ради профилактики. Я знал этого шкодливого пацана: раз женщина покрикивала, значит, он появился где-то близко.

Сашка открыл один глаз, потом второй. Но смотрел он не на меня. Сашкин нос повернулся к террасе Жениного дома. Нос у Сашки был тоже особенный: большой и тонкий, он мог поворачиваться, как лодочный руль. Когда мы были меньше, то так и называли Сашкин нос — руль. Сашка обижался. Со временем мы оставили его нос в покое.

— Пончики! — сказал Сашка. — Сегодня нас будут кормить пончиками.

Как я ни приюхивался, но ничего, кроме запаха сирени и влажной земли, не уловил. А вот Сашка уловил...

— Опять перебили, — сказала Катя.

— Продолжай, продолжай, — Сашка посмотрел на меня выпуклыми глазами: мы хорошо понимали друг друга.

— Продолжай, продолжай, — сказал я ему.

Сашка улыбнулся уголками губ и снова прикрыл глаза. Он воображал, что я не выдержу и рано или поздно оглянусь на Инку. Интересно, что он придумал, но riskовать не стоило. Теперь я тоже уловил легкий чад горелого оливкового масла. Сашкиному нюху можно было позавидовать. Все дело в том, что Сашка очень любил поесть. На переменках Сашка не выходил из класса. Он неторопливо обнюхивал портфели девочек, определяя, что они принесли на завтрак. При этом Сашка был щепетилен: он брал не подряд, а с выбором, и не все, а только половину. Когда однажды у одной девочки кто-то утащил весь завтрак, больше всех возмущался Сашка.

Дружба с Катей началась у Сашки тоже на почве завтраков. Сашка очень любил французскую булку со сливочным маслом и ливерной колбасой. Как только Катя это заметила, в ее портфеле Сашка стал находить отдельный сверток для себя. Надо было быть черствым эгоистом, чтобы не оценить Катиной души. Сашка оценил. Одного мы не понимали: куда девалось все, что Сашка пожирал? Он был на полголовы выше меня и Витьки. Но ходить с Сашкой на пляж было просто стыдно: таким он был тощим. Витька объяснял это малым коэффициентом полезного действия. Витька редко удачно острил и поэтому удачные остроты часто повторял. Сашка злился. Но поскольку другого объяснения не давал — Витькино оставалось в силе.

Соседский Шурка, наконец, добрался до крана. Шипение воды за забором оборвалось, и женщина закричала истошным голосом:

— Шурка, уши оборву!

Х

В калитку вошел Женин отец. Но прежде я увидел за дощатым забором его форменную фуражку. У Жениного отца была удивительная походка: сначала он отрывал от земли пятку, потом носок и делал это

так стремительно, что со стороны казалось, будто он подпрыгивает. Фуражка так и подсакивала над забором.

Женин отец пробежал от калитки по инерции несколько шагов и остановился.

Отношения с Жениным отцом были у нас очень сложные. Он работал агентом квартирного бюро. Утром, к приходу поезда, он отправлялся на вокзал, бегал по перрону и кричал:

— Лучшие комнаты в городе! На любой вкус и любой карман!

Конечно, бегал не он один, бегало еще человек десять агентов. Но Женин отец был проворней. В пухлой записной книжке у него были вписаны адреса. Комнаты сдавал он, а адреса узнавали мы. Мы тоже бегали. Мы бескорыстно носились по всему городу, узнавали, где сдаются удобные квартиры. В особо удачные дни Женин отец выдавал нам деньги на мороженое.

В полдень агенты собирались в погребке у Попандупуло. У винной стойки они выглядели загадочными друзьями, которые сошлись выпить по стаканчику. Но мы видели их не только у Попандупуло, мы встречали их во время «работы» на вокзале и поэтому знали: друзьями они не были. С нашей помощью Женин отец зарабатывал больше всех. Он часто угощал агентов, и они как-то с ним мирились. Зато нас агенты ненавидели. Но нам было на это наплевать. Если смотреть на дело с государственной точки зрения, то какая разница, какой агент сколько сдаст комнат? Главное, чтобы были обеспечены жильем курортники. Мы смотрели с государственной точки зрения, и поэтому совесть наша была спокойна.

Пока мы были меньше, мы хорошо ладили с Жениным отцом. Но с тех пор, как он догадался о дружбе Жени с Витькой, все переменилось. Витька, по его мнению, был недостаточно культурен. В прошлом Женин отец был комическим актером. Неудачники — вообще тяжелые люди. Но неудачники-актеры или писатели — просто невыносимы. Прямо Женин отец ничего против Витьки не говорил — боялся Жени. Но мы ясно видели: Витьку он терпеть не мог. Как только мы это поняли, так сразу же перестали помогать Жениному отцу. Витька пробовал втайне от нас узнавать для него адреса, но мы не потерпели такого холоуинства. Женин отец злился на всех нас. Его дело! Мы понимали: дети — одно, родители — другое. Это хорошо доказал своим подвигом Павлик Морозов.

Женин отец стоял на дорожке и смотрел. Под высокой фуражкой с широким верхом из бумажного коверкота его узкое лицо казалось совсем маленьким и все было в густых и глубоких морщинах. Как он умудрялся бриться — непонятно. Он попеременно осмотрел всех нас, потом уставился на Витьку. Витька спустил с топчана ноги, но Женя удержала его за плечи и не дала ему встать. Она вся повернулась к отцу и загордилась Витьку спиной. Картина была, как

в «Ревизоре», — все замерло! Одна Катя ничего не заметила. Она сидела спиной к калитке и говорила:

— Верховный Совет СССР разделен на две палаты: Совет Союзов и Совет Национальностей...

Она увидела Жениного отца, когда он уже вбегал на террасу.

— Мы же еще не кончили, — сказала Катя.

Сашка ее успокоил:

— Мы же все знаем.

Мы, правда, хорошо знали проект Конституции. Но такое у нас было правило — повторять перед каждым экзаменом. Обычно мы занимались до шести часов вечера и все успевали. После шести часов никто из нас не имел права даже вспоминать об экзаменах. Все смотрели на меня.

— Денек, — сказал я. — Сплошная родительская демонстрация.

Женя встала и побежала в дом.

Сашка сказал:

— Хорошую моду взяли некоторые папы: они даже не говорят «здравствуйте».

— Замолчи, — Витька сидел на топчане, повернув голову к дому. Витька не переносил, когда задевали Женю. Тут он становился по-настоящему опасен. В доме все было тихо. Только один раз мы услышали, как Женя сказала:

— Не имеешь права!

Мы примерно догадывались, какой разговор идет в доме. Но мы были людьми деликатными, а высшее проявление деликатности — не замечать того, что вас не касается.

Я положил руки на подлокотники кресла и поднялся. Пока я подходил к Инке, она смотрела на меня и улыбалась. Я тоже улыбался, а чему — не знаю. На душе у меня было так, как будто я с Инкой еще никогда не разговаривал. Такое у меня было, когда я ответил на ее записку, а потом пришел к ней на день рождения. Но и тогда было не так. Правда, я и тогда улыбался неизвестно чему. Но тогда я волновался как-то по-другому.

Инка села поглубже на скамью. Я смотрел на раскрытый учебник у нее на коленях. Когда мы пришли с промыслов, он был раскрыт на этой же странице — я хорошо помнил.

— Ветер, — сказала Инка. — Ветер перевернул обратно страницы.

В соседнем саду шипела вода. У забора ревел Шурка.

— В голове у тебя ветер, — мне не хотелось ругать Инку, и это я сказал так, по привычке.

— Правда, правда. Знаешь, сколько я прочла? Вот сколько. — Врать Инка совсем не умела. Она быстро-быстро листала страницы, потом накрыла их рукой и засмеялась.

— У меня еще завтра целый день, — сказала она. — Ты же сам сказал: такой сегодня денек.

Шурка больше не ревел: наверно, подслушивал.



А. Я. ГОЛОВИН (1863—1930). Портрет художника Егиş'e Мартиросовича Татевосиана (1870—1938). Бумага. Уголь. Разм. 44,5×31,5. Односеансная. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

— Кушайте, кушайте на здоровье, — говорила те Вера. — На работе у него неприятности, — она и глаживала клеенку пухлой рукой. — А вы себе и шайте, не обращайтесь внимания...

— Мы кушаем, тетя Вера, не беспокойтесь, — сказал Сашка.

— Ничего особенного, на работе всякое бывает, — это сказал Витька.

— Вот и хорошо. Повидло не кислое?

— Что вы, тетя Вера, очень вкусные пончики. Ты и тают во рту, — сказала Катя.

Пончики, действительно, «таяли». Наши руки с всех сторон тянулись к блюду. Сашка слизывал что-то с пончика повидло и противно чавкал.

— Сашка, не чавкай — сказал я.

— Я всю жизнь чавкаю. От рождения.

Женя сидела между Витькой и матерью. Она поставила локоть на клеенку, положила щеку на ладонь и смотрела в одну точку. Когда Женя так смотрела лучше было ее не трогать. Тетя Вера знала это не хуже нас. Но так, видимо, устроено большинство мам: они не могут оставить своих детей в покое.

— Доченька, почему не ешь? На-ка, пончик. Смотри, какой поджаристый.

— Неужели наступит счастливый день, и я, наконец, уеду? — трагическим голосом спросила Женя? — Поймите, я — не маленькая. Понимаете, не маленькая! — Женя даже взвизгнула.

Терпеть не богу бури в стакане воды. Надо было вмешаться, но я ничего не мог придумать. Я как-то вдруг поглупел. И все потому, что Инка под столом нашла мою руку и потихоньку перебирала пальцы. Даже я не заметил, как она это сделала. Она опустила руки под стол и, чтобы никто ничего не заметил, прилегла на край стола грудью. На меня она не смотрела. Я тоже на нее не смотрел.

— Маленькие дети — маленькое горе. Большие дети — большое горе, — сказал Сашка и отправил в рот остаток пончика.

— Истина, — сказала тетя Вера.

— Вы не представляете, какая умная моя бабушка, — говорил Сашка. — Когда моя мама делает что-то не так, бабушка всегда говорит: маленькие дети — маленькое горе. Но моя мама ее не слушает. Вот я должен слушать свою маму, а она нет. Где же логика?

— Ну вас! — тетя Вера махнула на Сашку рукой и засмеялась.

Сашка почесывал затылок масляными пальцами, осматривая пустое блюдо.

— Тетя Вера, — сказал он. — Женя все равно не станет есть пончик. Дайте мне...

— Ешь на здоровье, — тетя Вера встала из-за стола. При ее полноте это не так просто было сделать, потому что скамья, как и стол, была врыта в землю. Когда тетя Вера поднялась на террасу, я сказал:

— Сашка, ты гений.

Инка встала, и книга по ее ногам скользнула на землю. Она и не подумала ее поднять. Инка смотрела на меня и улыбалась. По-моему, она-то знала, чему улыбается. Инка закинула руки за шею и потянулась. Я присел на корточки и лицом уловил тепло ее ног. Я не спешил поднять книгу. Но нельзя же было вечно сидеть на корточках. Я и так не знал, сколько уже просидел. В такие минуты никогда не знаешь, сколько прошло времени.

Я оглянулся. Женина мама несла блюдо с золотистыми пончиками. Сашка торопливо хватал со стола книги и, не глядя, совал их Кате. Сашка, как Цезарь, умел делать сразу несколько дел. Но одновременно смотреть на пончики и на меня он не мог. Сашка смотрел на пончики... Я поднялся.

— Спасибо, — тихо сказала Инка, но книгу у меня не взяла. Инка повернулась и пошла к столу. Я шел за ней и, как последний дурак, нес книгу.

— Где я сяду? — спросила Инка и побежала на террасу.

— Тетя Вера, можно взять стул? — кричала она. Инка везде чувствовала себя, как дома.

Сашка кивал головой. Ответить он не мог: он жевал пончик.

— Не надо расстраиваться, — говорил Витька. Он держал Женю за руку на виду у всех. — Мы сами виноваты: перестали твоему отцу помогать. Разве легко в его годы бегать по городу?

— Не знаешь, что он мне в комнате сказал? Не знаешь — так молчи.

— Сказал... Ну и что же, что сказал. Ведь не ударил.

— Только этого не хватало. Ударил...

Сашка прожевал пончик, спросил:

— Интересно, жив еще Переверзев?

— Я пойду, — сказал Витька.

— Никуда ты один не пойдешь. Мы все тебя проводим.

— Конечно, проводим, — сказал Сашка. — И не смотри на меня такими глазами. Подумаешь, пончик...

XII

Мы ожидали Женю на улице. Витька приоткрыл калитку и смотрел на дорожку.

Таких тополей, как на Жениной улице, не было во всем городе. Когда они цвели, то вся улица покрывалась пухом. Слой пуха заглушал шаги прохожих. Ночью казалось, что на улице лежит снег. А когда дул ветер, поднималась настоящая метель. Со стороны улица выглядела очень красивой, но жить на ней во время цветения тополей было не очень приятно.

По всему было видно — вечер будет теплый. Ни один лист не шевелился на тополях, и совсем не слышно было моря. А нас от моря отделял только ряд домов на другой улице. Деревья снизу были окутаны сумерками, а вершины еще освещало солнце. Мы стояли в тени, но все равно чувствовали солнечное тепло.

— Завтра в это время мы будем совсем свободны, — сказала Катя. — Только школу жалко.

— Можешь остаться на второй год, — посоветовал Сашка.

— С ума сошел.

— Видали последовательность? — Школу кончить жалко, а на второй год остаться не хочет. Какая тебе разница? Институт мы для тебя выбрали.

Сашка преувеличивал: институт выбрали для Кати не мы, а он. Катя долго не знала, куда пойдет учиться. Но потом подружилась с Сашкой, и как-то само собой решилось, что она тоже пойдет в медицинский институт. С Катиной памятью ничего не стоило выучить названия трех тысяч костей и нескольких сотен мышц. Если бы дело было только в этом, Катя могла бы стать врачом через неделю. Сашка говорил: «С Катиной памятью и моей эрудицией через пять лет я буду профессором, а она моим ассистентом». Катя не обижалась. Я подозревал, что она вообще не могла обижаться. Бывают такие счастливые люди.

— Ничего особенного, — сказала Катя. — Все очень хорошо получилось. Сестра говорит — при воинских частях бывают вольнонаемные врачи. Во время войны

кого-нибудь из вас обязательно ранят, и я буду лечить.

Катина сестра работала официанткой на поплавке. А прежде она работала в столовой для летчиков. Она, конечно, знала, бывают вольнонаемные врачи в воинских частях или нет.

— Видали, какая голова? — спросил Сашка. — А сердце? Вы когда-нибудь видели такое сердце? Мы еще не сдали последнего экзамена, а она уже мечтает, когда кого-нибудь из нас ранят.

— Это же, если будет война, — сказала Катя.

Инка, заложив руки за спину, рассматривала тополя. Она запрокидывала голову и накрест переставляла ноги. Раз Инка что-то внимательно разглядывала, значит, ее очень интересовал разговор, но признаться в этом она не хотела.

— Идет, — сказал Витька и отошел от калитки.

Вышла Женя. Мы пошли вверх по улице. Ходили мы обычно так: впереди девочки, а шагах в двух за ними — мы. Но это не мешало нам разговаривать.

— Расскажите толком, о чем вы договорились с дядей Петей? — спросила Женя.

— Володя, о чем мы договорились?

— Мы же рассказывали: ни о чем. Он сказал, чтобы мы не дурили Витьке голову.

— Это мы слышали... Витьку бить он, по крайней мере, больше не собирается?

— Советую спросить самого дядю Петю. Меня, во всяком случае, он хотел ударить. Володька не даст соврать. Если бы я не остановил его взглядом, синяк мне был бы обеспечен. Я посмотрел ему в глаза, и он понял: бить меня опасно.

Я немного отстал и оглядел сзади Сашкины штаны. Сашка забеспокоился.

— Ты чего? — спросил он, пытаясь разглядеть, что у него сзади на брюках.

— Нет, ничего, — сказал я. — Просто смотрю, нет ли дырок. Ты так отползал, что могли быть дырки.

— Чепуха. За мои брюки можешь не беспокоиться.

— Надоело, — сказала Женя. — С вами невозможно говорить серьезно.

— Этих серьезных людей я бы топил в море, — ответил Сашка. — Что я могу сказать за чужого папу? Я за своего не могу поручиться.

— Не будет он больше драться, — это сказал Витька. — Он бы и не ударил. Мать меня подвела.

— А к Переверзеву он пойдет? — спросила Женя.

— Он уже наверняка там. Лучше бы еще разок меня ударил.

— Хватит, — сказал я. — Алеша предупрежден. Он не дурак и давно ушел из горкома. А завтра появится статья, и все будет в порядке. Зайдем по дороге к Алеше и все узнаем.

— Какая статья? — переспросила Женя.

Дернуло меня за язык. Сам не знаю, как я проговорился. А Женя вся насторожилась, и даже глаза у нее сузились.

— Какая статья? — переспросила Женя.

Может быть, я бы как-то выкрутился, если бы не влез Сашка.

— Интересно, кто в нашей компании самый большой трепач? — спросил он.

Ничего не поделаешь — пришлось рассказать о статье. А мы хотели, чтобы статья для всех была сюрпризом.

Женя жила на окраине Старого города, в двух кварталах от Пересыпи. Я завидовал Витьке: ему было с Женей по дороге. А мне приходилось провожать Инку чуть ли не через весь город. Летом это было даже приятно. Другое дело зимой, когда дули норд-осты. Пока мы шли вместе, было еще терпимо, а когда я один возвращался домой, то всегда злился, как будто Инка была виновата, что Дом летчиков построили на курорте.

Инка шла по краю тротуара. Она оглянулась. Потом подпрыгнула и сорвала с тополя лист. Потом снова оглянулась. Она оглядывала меня мельком, как будто я ее чем-то обидел. Мне вдруг представилось, как она будет ходить одна домой и вообще целых два года будет одна. Я смотрел на Инку и просто не верил, что мог на нее злиться за то, что она жила далеко от меня. Я догнал ее и тихо сказал:

— Три года — это не пять...

Инка слушала, опустив голову.

— Конечно, — сказала она.

Мы вышли на песчаный пустырь. Асфальт оборвался, и сумерки улицы сменились солнечным светом, рассеянным высоко в воздухе.

— Смотрите, оказывается, еще день, — сказала Катя.

Рельсы трамвайного круга вспыхивали малиновыми отсветами. В городе рельсы были вровень с мостовой, а здесь лежали на шпалах, ничем не прикрытые, и между ними росла полынь. В третий раз за сегодняшний день я переходил пустырь, отделявший Старый город от Пересыпи.

Мы вошли в широкую улицу. Днем, кроме солнца, коротких теней и кур, на ней ничего не было. У колонки стояла очередь за водой. Воду развозили в бочках на ручных тележках, колеса их глубоко грузили в песке. С Витькой то и дело заговаривали знакомые: их интересовал его перевязанный глаз. Женя, когда заговаривали с Витькой, останавливалась и ждала его. Инка шла впереди меня и заглядывала во дворы. За низкими оградами топились летние печи, пахло дымом и жареной рыбой. Раньше я никогда не обращал внимания на Инкину походку: она ставила ноги прямо, и на песке оставались узкие следы ее туфель.

Мы подошли к Алешиному дому. Сестра Алеши мыла терраску. Девчонки на Пересыпи славилась красотой и лихим нравом, а Нюра даже среди них выделялась. Она была не старше нас, но уже успела «сходить» замуж за какого-то моряка и вернуться домой. Алеша был невысокого мнения о своей сестре. Ну что ж, ему виднее: он — брат.

— Алеша пришел? — спросил Витька.

Нюра выпрямилась и опустила подол задранного выше колен платья.

— Это, чтобы вы не ослепли, — сказала она и засмеялась. Ей, наверно, очень хотелось поговорить.

— Зачем вам Алеша? — спросила она.

— Надо...

— Надо, а его нет. Не приходил еще. А зачем надо? Сашка положил руки на ограду, спросил:

— Йод у вас есть?

— Йод? Есть... А зачем вам йод? — Нюра смотрела на Витькино лицо, улыбалась, а глаза ее, перенчиквые, как цвет моря, подозрительно щурились.

— Йод, значит, есть, а свинцовая примочка?

— Что еще за примочка? Зачем?

— Примочки нет? Советую купить. В аптеке знают, — сказал Сашка и направился к нам: мы стояли на углу и поджидали его.

Не без волнения свернули мы в узкий проулок.

— Веселенькая история: Алеша до сих пор нет, — сказал Сашка.

Никто ему не ответил. Мы вышли на Витькину улицу. Дома на ней стояли в один ряд. Улица обрывалась к морю крутыми песчаными осыпями. Море вдаль сияло, а внизу над дикими пляжами стлы светлые сумерки. Чем ближе мы подходили к Витькиному дому, тем сильнее Витька волновался. Он шел впереди, то и дело оглядываясь, и злился, что мы отстаем. Я отставал из-за Инки. Она смотрела в море, и мне виден был грустный овал ее щеки. Я понимаю, что овал не может быть ни веселым, ни грустным, но таким он мне казался. Я был уверен, что Инка меньше всего думала о Витькином отце. Но почему она была грустной, не мог понять.

Витькин дом был крайним на улице. Его построили два года назад, а пока его строили, Витька с родителями жил сначала в городе на частной квартире, а потом во времянке, слепленной на скорую руку. Мы помогали строить дом. Всю глину, которая пошла на штукатурку, вымеси́ли наши ноги. Днем приходили Катя и Женя. — Инки тогда еще с нами не было. Мы спускались к морю, купались, потом тетя Настя — Витькина мама — кормила нас обедом, который готовила на очаге, сложенном из песчаника. Обед пах дымом и казался нам очень вкусным. Потом возвращался с работы Витькин отец с товарищами по бригаде. Он осматривал все, что мы сделали, и говорил: «Молодцы, не зря хлеб едите». Довольные, мы отправлялись в город, а дядя Петя с товарищами до полночи работал на доме. Улица тогда была совсем узкой. За три года море во время штормов намыло песчаные дюны, и теперь улица стала шире.

Тетя Настя стояла в открытой калитке, смотрела на Витьку и то расстегивала, то застегивала на груди пуговичку ситцевой кофты. Тетя Настя была совсем молодая, — не верилось, что Витька — ее сын.

— Отец дома? — спросил Витька.

— Ушел. Вернулся с работы, передел все чистое и ушел. — Тетя Настя засматривала Витьке в лицо, а

нас как будто не замечала. Плохой признак. Мы отошли на край улицы, но все равно все слышали.

— Ты меня прости, сынок. Я ведь не хотела. Отца мне жалко и тебя жалко. Закружили вы меня совсем. Глаз болит? Болит глаз? — тетя Настя снизу вверх заглядывала Витьке в лицо и поправляла проворными пальцами сползший на щеку бинт.

— Подумаешь, болит. Что же, у меня синяков не бывало? — ответил Витька. Он косился на нас и чуть отстранялся от материнских рук. Мы делали вид, что любим море. На воде проступали краски сиреневые, алые, фиолетовые — все разных оттенков и густоты. Они лежали полосами, не смешивались, а даль моря переливалась, подсвеченная сиянием уже не видного солнца.

Сашка повернулся, задев меня плечом.

— Дядя Петя идет, — сказал он.

Дядя Петя шел по середине улицы в черном костюме из грубого сукна. В этом костюме он приходил по субботам в школу. Он прошел в калитку между женой и сыном, не взглянув на них. Тетя Настя и Витька пошли за ним. У крыльца дядя Петя остановился и вытянул в сторону левую руку. Тетя Настя проворно подошла к нему, и он опустил руку ей на плечо. Так они поднялись на терраску, а потом вошли в комнату. И когда дядя Петя поднимался на крыльцо, под его ногами скрипели сухие доски ступенек. Прежде чем войти в комнату, дядя Петя остановился и громко сказал:

— Запомни, Настя, скажут три человека: ты пьяный — ложись и спи, хоть вина и не нюхал

Дядя Петя как будто обращался к тете Насте, но мы-то поняли, кого он имел в виду, Мы подошли к ограде. Катя сказала:

— Тетя Настя совсем не похожа на маму. — Катя часто говорила невпопад. Мы к этому привыкли и не обращали на ее слова внимания.

На терраску вышел Витька, сказал:

— Я дома останусь.

— Что случилось? — спросила Женя.

Витька спустился с крыльца и подошел к забору.

— Сам не знаю...

— Он что-нибудь говорит? — спросил Сашка.

— На терраске про пьяного сказал. Еще ужинать попросил, а больше ничего не говорит.

— Афоризм, — сказал Сашка.

— Ладно, идите. Женя, не обижайся: из дома сейчас уходить неудобно.

— Что я, дура? Завтра, как встанешь, приходи. В шесть часов встанешь — в шесть приходи...

— Отец твой ругаться не будет?

— Глупости. Пусть только попробует...

Мы никогда не обращали внимание на настроение Жениного отца и совершенно не интересовались, что он о нас думает. Не трогали меня и крики Сашкиной мамы. А вот перед дядей Петей я чувствовал себя в чем-то виноватым. Напрасно я повторял себе, что никакой вины перед дядей Петей за нами нет — на душе у меня все равно было погано, словно я совершил какое-

то предательство. По Сашкиному лицу я видел, что ему тоже не по себе.

Витька стоял у ограды, пока мы не завернули за угол.

— Зло берет. Человек сдает завтра последний экзамен, а ему треплют нервы, — сказала Женя.

— Тебя часто берет зло. Ты тоже вчера на пляже кричала на Витьку за училище, — сказал Сашка.

— Глупости, я вовсе не кричала. Я просто говорила, что его могут послать в город, где нет консерватории.

— Правда, куда вас пошлют? В какой город? В какое училище? Мы ведь так ничего и не знаем, — сказала Катя.

— Они не знают, а мы знаем! Нам самим никто ничего об этом не сказал.

— Зайдем к Алеше, — сказал я, когда мы вышли на широкую улицу.

Мальчишки пробовали запустить змея: пустое занятие при таком безветрии. Мальчишка в порванной на плече рубашке надсадно орал:

— Выше поднимай, выше! — Он сгибался, чтобы сильнее крикнуть, и от азарта поднимал то одну, то другую ногу. Его напарник на другом квартале держал над головой змея и тоже орал:

— Да натягивай ты, руки устали...

Пока я смотрел на мальчишек, на душе у меня стало легче. До сих пор, когда я вижу мальчишек, мне веселее становится жить. На оградах сидели сытые коты и, не мигая, смотрели зелеными глазами в море, где виднелись черные черточки рыбацких лодок. К трамвайному кругу шли пересыпские девчонки. В город они всегда ходили одни. Им, а еще больше их кавалерам сильно попадало от пересыпских ребят, но девочки на Пересыпи были не из тех, кого можно было запугать.

На углу мы встретили Нюру. Она шла босиком в шикарном крепдешинном платье и несла в руке лакированные туфли.

— Пришло ваше начальство. Идите быстрее, а то уйдет, — сказала она.

Наверно, Алеша увидел нас в окно, потому что, когда мы подошли к дому, он уже стоял на терраске без рубахи и босой. Он откинул назад волосы, сказал:

— Все в порядке, профессора. Не прозевайте завтра газету.

Алеша явно хотел от нас отделаться. Его шуточки мы хорошо знали. Газета сейчас нас меньше всего интересовала. Я прошел к терраске, а Сашка с девочками остался за калиткой.

— Порядок есть порядок. Рассказывай, какой разговор был с Витькиным отцом, — сказал я и сел на ступеньку крыльца.

Алеша попробовал отшутиться.

— Отчет требуется? До конференции еще два месяца, потерпите, — сказал он.

— Какой разговор был с Витькиным отцом?

— Вот пристали. Самый обыкновенный. Колесников

объяснил Аникину: нельзя плыть в шторм против волны — опрокинет.

— Мы же тебя просили не доводить дела до скандала.

— Никакого скандала не было. А политическую кампанию срывать не позволим.

— Какую кампанию? При чем тут кампания?

— Политграмотой будем заниматься? Давайте займемся. Вы же знаете международную обстановку. Надо привлечь молодежь в армию. В школе вы самые видные. На будущий год за вами в училище потянутся другие. Понятно?

— Понятно. Мы самые видные. Но зачем обижать Витькиного отца?

— Пусть сам на себя обижается. Политическую кампанию никому срывать не позволим. Ясно? Тогда топайте домой. Я еще не ужинал.

— Мы-то уйдем, а дядю Петю зря обидели, — я пошел к калитке. Из комнаты Алешина мама спросила:

— Какую рубаху приглаживать? Голубую?

— Еще один вопрос, — крикнул Сашка. — В какой город и в какое училище мы поедем?

— Куда дадут разнарядку, туда и поедем...

Алеша ушел в комнату. Сашка сказал, когда я вышел за калитку:

— Ничего себе постановочка вопроса...

От разговора с Алешей настроение у нас не улучшилось. Мы проводили Женю домой и сели в трамвай. Трамвай был переполнен и скрежетал тормозами на спуске. Инку и Катю мы затолкали на площадку, а сами висели на подножке. Инка держала меня за руку выше локтя. Она сжимала пальцами мой напряженный мускул так, словно боялась, что я убегу. Трамвай медленно сползал вниз. Столбы фонарей прятались между деревьев, и горящие в листе лампочки были похожи на бледные желтки. Закрывались магазины, и продавцы в халатах опускали крючками жалюзи.

Мы сошли на Приморском бульваре. Люди кружили по набережной из конца в конец, сидели на скамьях, в павильоне «Мороженое», говорили и смеялись. И от этого над набережной стоял легкий, радостный гул. Он был раздельным вблизи и слитным в отдалении, мешал и не мешал слышать смех и обрывки фраз. В этот вечер зацвели левкой и душистый табак. Их пряный и сильный запах стоял в воздухе, как запах дорогих духов, когда мимо проходит красивая и уже не очень молодая женщина. Почему-то большинство женщин, когда им за тридцать, сильно душатся.

Сашку и Катю мы потеряли и не подумали их искать: мы как-то сразу забыли о них. Мы шли вдвоем навстречу людскому течению и, когда нас разъединяли, спешили навстречу друг другу. Инке надоело так идти. Она обошла разъединивших нас мужчин и женщину и взяла меня под руку. Я прижал локтем ее ладонь. Мы еще никогда так не ходили, и я боялся посмотреть на Инку. Я как-то вдруг обратил внимание на то, чего раньше не замечал: встречные мужчины пристально смотрели на Инку. Она спокойно шла под

их взглядами в модном платье, в туфлях-лодочках, сделанных на заказ знаменитым в городе греком-сапожником. А я шел рядом с ней в бумажных брюках, мятых, с пузырями на коленях, в туфлях из коричневой парусины с кожаными носками и в клетчатой рубахе-ковбойке, вылинявшей и пропахшей потом. Я стал перехватывать взгляды мужчин и нагло ухмылялся им в лицо. В ушах у меня возник какой-то шум, и я не сразу догадался, что это бьется мое собственное сердце.

На набережной было сравнительно светло, но от фонарей уже расходились бледные лучи. Инка спросила:

— Хочешь, чтобы я была врачом?

— Ты об этом подумала, когда мы стояли возле Жениного дома?

— Да. А как ты догадался?

Я сам не знал. Это произошло как-то само собой. У меня так иногда бывало, когда я вдруг обо всем догадывался.

— Тебе было очень одиноко, когда мы смотрели на тополя. Правда?

— Правда! А как ты догадался?

— Я подумал, что после нашего отъезда ты останешься совсем одна. А об остальном я догадался только сейчас.

— Так ты хочешь, чтобы я была врачом?

— Я-то хочу. Но ведь тебе трудно дается химия и зоология.

— Вы считаете меня дурой какой-то. А я совсем не дура. Я же очень способная. Ты сам говорил, что я способная.

— Способная. Но у тебя в голове ветер.

— Совсем не ветер. Мне просто скучно. Сколько раз я говорила себе: все, начинаю заниматься. Но потом мне становилось скучно. Разве я виновата, что мне делается скучно? Ведь я сама не хочу, чтобы было скучно.

Мы не заметили, как кончилась набережная, и теперь шли по улице Сталина. Это была центральная улица города. Раньше она называлась Симферопольской, потому что от нее начиналось Симферопольское шоссе. Переименовали ее недавно, и по этому случаю в городе был митинг. Но еще долго улицу называли по-старому — не привыкли.

Было темно. Ветви акаций касались крыш домов и закрывали небо. На углах горели фонари, но свет от них с трудом пробивался сквозь густую листву. По мостовой изредка проезжали освещенные трамваи. Тогда сразу становилось видно, как много на улице людей. Но люди нам не мешали. Наоборот, от того, что в темноте рядом с нами разговаривали и смеялись люди, мы чувствовали себя свободней.

— Инка, почему ты меня любишь?

Как только я это спросил, я тут же оглох от гула в ушах.

— Я не знаю. А ты почему?

Я тоже не знал. Этого, наверно, никто не знает. Но я хотел знать.

— Ты такая красивая, а я тебя все время ругаю...

— Правда, красивая? — я почувствовал тепло Инкиной щеки у себя на плече.

— Очень красивая. На бульваре все на тебя оглядывались.

— Я знаю...

— Откуда? Ты же не смотрела по сторонам.

— Я только притворяюсь, что не смотрю. На самом деле я все замечаю. У меня, наверно, глаза так устроены: я смотрю перед собой, а все замечаю. Кто как одет, и как выглядит, и как на меня смотрит.

Я положил ладонь на Инкины пальцы: она по-прежнему сжимала мой локоть. Так мы шли и молчали и уже не знали, сколько времени шли. Я убрал руку, только когда мы проходили под фонарем, а потом снова брал Инкины пальцы, и они были такие нежные и тонкие, что мне самому становилось больно, когда я их сжимал.

Мы прошли маленький сквер, пересекли площадь. За площадью начинался курорт. Он тянулся до самых Майнаков — соленых, рапных озер. Справа в темноте лежал пустырь. На нем уже два года строили городской стадион, но пока поставили только футбольные ворота. Проезжавший трамвай осветил свежестроенные перекладины. А слева, за низкими заборами из ракушечника, поднимались к звездному небу темные купола санаторных парков.

Мы повернули на Морскую улицу. До Инкиного дома осталось три квартала, и мы пошли медленней. С утра и до вечера улица бывала полна людей: по ней ходили на пляж. А сейчас ра улице, кроме нас, никого не было. Инка сказала:

— Мужчина интересен своим будущим, а женщина — прошлым. Правда, правда, я в какой-то книге читала. Как ты думаешь, что значит — прошлым?

Я никак не думал. Думать мне совершенно не хотелось. Но я привык отвечать на любой Инкин вопрос. Главное начать, а потом всегда что-нибудь приходило в голову.

— Вот у тебя будущее, — сказала Инка. — Ты добьешься всего, чего захочешь. Ты очень умный и все умеешь. Папа и мама тоже так говорят. Они говорят: ты еще мальчик, но у тебя большое будущее. Значит, ты интересный. А какое у меня прошлое? Никакого...

— Инка, зачем тебе прошлое? У тебя тоже будущее. Сначала бывает только будущее. А потом оно становится прошлым. По-моему, будущее интересней.

Инкины лодочки постукивали об асфальт спиртовыми подошвами, а моих шагов не было слышно: мои туфли со стертymi каблуками были на резине.

За чугунной решеткой светились окна пятиэтажного дома с тремя подъездами, и над каждым — горела лампочка. Свет пробивался на улицу сквозь густую листву деревьев, и чугунная решетка поблескивала.

— Представь себе — это наш дом. Не мой, а наш. Понимаешь? Мы были на концерте и пришли к себе домой... Это же только будущее, правда? А ты говоришь — будущее интересней. Я хочу, чтобы все уже

было прошлым, чтобы ты уже кончил училище...

— Ты уже об этом говорила.

— Ну и что же, что говорила. Я могу об этом все время говорить.

На углу под фонарем прошли двое — мужчина и женщина. Инка сказала:

— Совсем забыла. Мама одна дома. Папа на ночных полетах, а мама одна дома. Ты знаешь, как она не любит быть одна, когда папа на ночных полетах.

Я перебирал Инкины пальцы и молчал. В темноте, приближаясь, легко и гулко постукивали об асфальт женские каблучки и рядом шаркали тяжелые шаги мужчины. Шаги обоих были неторопливы и размеренны.

— Такая ночь создана для любви. Все еще сердиться? — спросил мужчина.

— Нет. Я просто устала, — ответила женщина.

Они шли вдоль решетки, и на них падали пятна света. Они прошли мимо нас, но мы не могли разглядеть их лиц. Через несколько шагов уже никого не было видно. В воздухе стоял запах духов.

— Вернемся к морю, — сказал мужчина.

— Нет. У моря все кажется таким ничтожным.

Голоса удалялись.

— А я только в море перестаю ощущать свое ничтожество, — сказал мужчина. Слов женщины мы не услышали, а может быть, она и не ответила.

— Это Жестянщик?

— Кажется. Голос, во всяком случае, похож.

— Хочешь, пойдем к морю? Это ничего, что мама одна. Хочешь?

— Нет, — голос был мой. Но сказал это не я: я не хотел, чтобы Инка уходила.

— Тогда проводи меня до подъезда.

Я толкнул плечом калитку, и она легко открылась. Мы прошли по асфальтовой дорожке между клумб к Инкиному подъезду. Инка держала меня под руку. Если Инкина мама смотрела в окно, она нас уже увидела. Инка тоже об этом подумала.

— Это ничего, — сказала она. Инка свободной рукой открыла дверь и легонько потянула меня за собой. Дверь с гулом захлопнулась. Нас обступила чуткая к звукам тишина пустынных лестниц. Свет сочился со второго этажа, и каменные ступени поблескивали. Инки рядом со мной не было. За лестницей светились ее глаза. Когда она отошла от меня, я не помнил. Инка подняла руки. Не знаю, как я об этом догадался — рук ее я не видел. Горячие и чуть влажные ладони сжали мои уши. К губам прикоснулись Инкины губы. Мне показалось — я падаю. И я бы, наверно упал. Но спина моя стукнулась о трубу водяного отопления.

— Больно?

Я не узнал Инкиного голоса. Боли от удара я не почувствовал, но мне стало больно от Инкиного голоса, встревоженного, преданного, нежного. Я смутно помню все, что делал потом. Я только помню ощущения того, что было. Инкины руки легли на мои плечи, но я не почувствовал тяжести. Я в это время обнимал ее

ноги и прикоснулся губами к колену: оно было мягким и теплым, таким, как я представлял его себе у Жени в саду.

— Я упаду, — сказала Инка. Ее губы почти касались моего уха. Удивительно, как много можно сказать голосом, куда больше, чем словами. Голосом Инка сказала: я боюсь упасть, но, если хочешь, можешь не обращать на это внимание. Все сразу стало на свое место: я снова почувствовал свою власть над Инкой. Я отпустил ее ноги и поднялся. Где-то наверху хлопнула дверь. Инка сказала:

— Это на пятом этаже.

Мы подошли к лестнице, и Инка положила руку на перила.

— Не смей больше носить такие короткие платья.

— Но ведь все носят..

— Нет, не все. Женя не носит..

— У Жени некрасивые ноги.

— Зато у тебя чересчур красивые.

— А разве плохо? Когда ты правда захочешь, ты мне скажешь, и я не буду носить короткие платья. Скажи по совести, ты же не хочешь?

Я сам не знал, чего хочу. Я даже не знал, хочу ли, чтобы Инка, как и прежде, беспрекословно меня слушала.

— Завтра пойдем в курзал. До шести часов занимайся, а в шесть я за тобой зайду.

— Ты мне не ответил.

— Завтра отвечу.

— Нет, сегодня, — Инкина рука белела на перилах, и я поцеловал ее. Сам не знаю, как мне это пришло в голову. Кто-то не спеша спускался по лестнице. Остановился. Зажег спичку: наверно, прикуривал. Инка тоже прислушивалась.

— Еще далеко, — сказала она.

— Иди..

Инка поднялась на одну ступеньку, потом на другую. Она поднималась лицом ко мне, и руки ее медленно перебирали перила. Потом она повернулась и побежала вверх. Когда мне приходилось подниматься по лестнице, то я перепрыгивал сразу несколько ступенек. Инка бежала, пересчитывая обеими ногами каждую. От этого лестница снизу доверху наполнялась шумом. Инка жить не могла без шума.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Э. Малых

ТОЧНЕЕ СКАЗАТЬ...

Да, я Стырин. Иван Евдокимович. Здравствуйте. Чего я хмурюсь? Звонили нам — в половине седьмого корреспондента ждать. А сейчас?.. Вот то-то..

Так что же вам о себе рассказать? Председательствую я в колхозе Сталина семь лет. А до этого двадцать лет председательствовал тоже здесь неподалеку в селе «Роща», где вырос. Четырех лет привезли меня в это село с Украины. У отца моего земли было чуть, а семейства четырнадцать душ. Ну, прослышали тогда, что вблизи Тарусы земли продают, и много семейств сюда с Украины перебралось. В селе «Роща» вырос целый украинский хутор. В этом хуторе я четыре класса окончил. Пошел в школу еще при попе — в шестнадцатом. Потом стадо пас. Извозом занимался. Де-

вятнадцати лет женился, через год в армию пошел. Вернулся — а у нас в хуторе аккурат — колхоз. Точнее сказать, в сентябре тридцатого я вернулся, а в мае тридцать первого создали колхоз. Мой старший брат был инициатором. А я в скором времени стал бригадиром первой бригады. А у нас так: кто в первой бригаде бригадир, тот, в случае чего, всегда председателя замещает. Ну, если председатель в отлучке или, скажем, болеет. А председателя — как выберут, обязательно на шесть месяцев учиться посылают. И вот у нас так получилось три раза: выберут председателя, отошлют учиться — я замещаю. Возвращается председатель, приступает к делам — и дело у него не ладится — выбирают нового. И вот три раза подряд я замещал, пока люди не сказали: «А зачем Стырина всех председателей замещать, когда можно самого Стырина председателем поставить». С тех пор я с председательства только на фронт отлучился. Точ-

нее сказать, с девятого сентября сорок первого по семнадцатое ноября сорок пятого. А когда вернулся... Конечно, помню этот день, как сейчас... Земля, она всюду — земля... Но... чем ближе к дому... В общем, дело известное... Ну, дома встретили меня жена, дети... Тоже дело известное... А в январе, точнее сказать, двадцать второго января сорок шестого года выбрали меня опять председателем. А в пятьдесят четвертом году пришлось нам в совхоз влиться. Так получилось, что со всех сторон совхоз, а мы, значит, посередине.

Ну, а лично меня предложили сюда в колхоз Сталина для укрепления. Я, конечно, возражать не стал, партии виднее, где я нужен. Но уж и досталось мне тут поначалу. Ох, досталось. И не в том беда, что колхоз был разваленный, и не в том, что люди за дело не брались. Беда, что какое дело им ни предложишь, все у них здесь пробовано, перепробовано и уже завалено. Потому что был у них до меня председатель... Семь лет прошло, а я без злости вспомнить об этом типе не могу. К сердцу подступает! А ведь был он член бюро райкома! Сейчас-то его уже вообще из партии выгнали. Но тогда! Планы у него, новаторство, размах! И — пшик! А люди на этом веру теряли! Не в него! Если бы в него, а то веру во всякое дело теряли! В успех! И винить людей за это трудно. Не для бахвальства, но хотел бы я, чтобы вы этот колхоз семь лет назад видели. Что тут было! А точнее сказать, ничего не было.

И вот решил я тогда начинать все с хранилища для семян. Семена тут хранились в двадцати местах. Точнее сказать, в двадцати местах гнили, разворовывались. Ну вот, сообщил я колхозникам свои планы. И что поднялось! Шуму! «Мы здесь тертые, перетертые! С каким председателем — член райкома, член обкома — да за сколько лет не построились! А ты! Да еще в «сжатые сроки!» Да кому ты голову морочишь?!» И так далее. Но у меня-то за плечами двадцать лет председательства! Я-то знаю, чего им, чертям, предлагаю! По опыту знаю. И по опыту понимаю, что уговорами их не возьмешь. Ну, и начал я стройку. А уши заткнул. Пусть, думаю, с ругательствами на стройку идут, лишь бы шли. Ну, и как мы наметили, так и выстроили. А когда все семена в одно место свезли да к ним одного сторожа приставили — результаты налицо. И, конечно, дальше дело полегче пошло. А у меня страсть: прежде всего — чтоб построиться, чтобы все по-хозяйски. Да, вот и контора с паровым отоплением. Как же — честь честью. Но эту контору мы не так давно строили — не скоро руки дошли. А перелом у нас был, когда элект-

рические лампочки загорелись... Ох, уж этот свет! Труднее всего он мне достался. И сверху нам в этом деле плохо помогли, и колхозники наши на этом деле уже раз погорели с прежним своим председателем. И вот мы столбы ставим, провода тянем, а меня все еще на смех поднимают. Подговорят кого посмелее да поехиднее... Есть тут у нас такая — тетя Груша. Как только завидит меня, подкатывается и эдак елейно: «Председатель, ну когда же у нас лампочки зажгутся?» Но я ей тоже отомстил. Отомсти-и-ил! Когда у всех уже все окошки светились, я этой тете Груше три недели света не подключал!.. Надо бы больше, да злости у меня не хватило. И где тут взять злости, когда аккуратно к празднику мы поспешили! Точнее сказать, седьмого ноября... Ну, как все лампочки вспыхнули... В общем, дело известное.

Но я лично вроде не до конца тогда понял, что тут-то и был, значит, у людей окончательный перелом... А вот когда меня с председательства снимали... Да, был у меня такой день. За двадцать пять лет один день, когда я вроде уже был не председатель. Проштрафился. Установки по отдельной уборке не выполнил. Начальство узнало и порешило с председателями меня снять. А у нас тут местные условия сложились так, что установку выполнить — себя, конечно, спасти, но дело загубить! И поступил я не по циркуляру — по совести. А когда приехали меня снимать, колхозники меня отстояли. Точнее сказать, не согласились они меня с председателями снимать. Вечером это собрание шло. Шумно шло. Долго. При свете. Электрическом.

Ну, с тех пор и начальство ко мне с большим доверием. Конечно, всякое бывает, но серьезному человеку можно только один раз нервы потрепать.

Кто там стучит? Анна Ивановна? Уже? Знаю, что сам просил поскорей, да мы тут вроде только что в разговор вошли. Это кто ж вам сказал, что из меня слова не выжмешь? Просто, я зря болтать не люблю. Но если надо поделиться опытом, что ж, я не против.

Ф. Пудалов

СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА

Зашел человек и спросил Вишнякову. Вишняковой здесь нет, она в лагере. «А интересно узнать, зачем она вам нужна?..»

Мы тут же смекнули: человек не местный, видно и по одежде, и по всему, может, даже из Москвы. Он ехал в совхоз «Вознесенский» и на развилке дорог увидел на столбе большой



ВИШНЯКОВА Анна Федоровна
Рис. Н. Ращектаева

шит, а на щите три художественных портрета — поясные, писанные красками, и на портретах три красавчика, нос пяточком, чисто умытых для такого случая. Одним словом, только галстука на них не повесили.

А над портретами крупно красными и синими красками написано к сведению всех проезжих и прохожих, что свиноводка А. Ф. Вишнякова обязалась в третьем году семилетки откормить тысячу голов вот таких самых красавцев.

— Но Нюра ведь вместе с нами работала, мы были в одной бригаде — и маточницы, и откормочницы. Пришло начальство, спрашивает: кто из вас возьмется за откорм особо, ответственно, как Шаршавенков — маяк Калужской области?

Мы трое вроде как бы посомневались, не сразу решились, что сказать. Надо подумать. А Нюре чего же думать? Мы по двенадцать лет работаем — и Марья Поликарповна, и Анна Федоровна, — мы знаем. А Вишнякова год с нами работает. Она в ФЗО училась совсем другому делу. Она же штукатурица.

Она сразу сказала: «Я берусь».

Надежда Павловна пять лет работает, немало понимает свиной, она удивилась:

— Смелая ты, Нюра! Другие, опытные, сомневаются, а ты, видно, ничего не боишься.

— Другие могут, а я не могу?.. Интересно! И я хочу не меньше других!

Мы с Анной Федоровной тоже поговорили с Нюрой.

— Целое стадо откормить — это тебе не ленточку рвать.

— Почему?.. Неужто это менее интересно, чем бегать? Да и почетней.

Ничего еще не сделала, а уже почет. Три портрета нарисовали. И человек приезжает, может быть, из Москвы поговорить с Вишняковой. Она — маяк районного масштаба!

— Я, — говорит, — корреспондент из редакции, мне надо Вишнякову.

— А нас — не надо?

— А про нас — не надо?

— Нет, — говорит, — вас не надо.

— Это нас-то не надо?.. А вы спросите у Вишняковой — надо ли нас ей. Недаром она и корма нам подвозит, если попросишь. Шутка ли — полтонны в мешках женщине поднимать и перетаскать. А ведь обязанность не ее.

Она без нас — ничто.

Поросят у кого она берет? У нас. С выбором берет. Больных ей не надо. Слабых — не берет, раньше поправьте. В этих мало весу, пусть прибавят.

Мы, ненужные, лечим поросят, поправляем для ее славы. Для штукатурицы. Она же ведь еще не свиноводка, можно считать, без году неделю работает. Таисия Федотовна скажет: мы больше заслужили в совхозе. А прие-



НАСОНОВА Анна Федоровна
Рис. А. Каурова



РЯБЧИКОВА Марья Поликарповна

Рис. Н. Ращектаева

хал человек из редакции — ему не нужны! Ему Вишнякову надо.

Он пошел в лагерь. А Вишнякова-то выходная и сегодня, и завтра! Два дня себе из лега вырвала.

Но выходная она только наполовину. С утра на своей автотележке отвозит корма в лагерь, вечером опять. Кто же другой за это возьмется?.. Подменная не хочет: десять мешков поднять, сгрузить, разбросать. В мешке килограммов сорок пять—пятьдесят.

Да Нюра и не доверит никому свою тележку. Ей вручена. Плотники в лагере ему про Вишнякову много наговорили. Действительно, в клетках чисто, и свиньи чистые, хотя давно не купанные — она их из клеток не выпускает для нагула веса. Лагерь ему понравился: весь в молоденьких березках, рощица красивенькая, и овражек ровный, будто копанный, а он природный — к прудочку ведет. Два плотника строят внутреннее ограждение.

Про воду рассказали ему, как она ее таскала на все стадо несчетными ведрами. Свинья — сколько выпьет, столько — разольет. А выпить ей надо ведро.

Но это раньше было; теперь воду подвели, цистерну подняли на столбах. Водопровод для свиней.

О кормах заговорили. «Она — женщина здоровущая, — рассказали плотники, — громадная женщина! Ей полтонны поднять и раз-

бросать ничего не стоит». Он удивился. Встретив Нюру на дороге, не узнает. Она среднего роста и не толстая. Как все.

О своих трудах она сама не сказала бы ему ни слова. Она говорит об одном: кормов мало, голов мало, помещение на зиму плохое. Конюшню ей отдай!

Она ведь у директора требовала не тысячу голов, а все две. С мужем вдвоем ферму поднять хотела, он чтобы за механизатора. Директор не рискнул. А Нюре — все мало. Она говорит: на первых порах — две. А там видно будет.

Она еще в ФЗО участвовала в соревнованиях, один раз ленточку порвала. На эстафете. На 800 метров бегала. Гранату на 85 метров швыряла! Диск метала, копье, ядро толкала... На всесоюзные соревнования ездила!..

За все берется смело. «Хочу и в этом деле ленточку рвать! И буду!»

Ф. Пудалов

ХАРАКТЕР

Тракторист с отсветом тарусского солнца на молодом лице щурит веселые глаза. Тарахтит трактор. Кукуруза нескончаемо струится между высоких резиновых колес родниками всходов к реке. Ока извивается и скользит в высокой траве лугов и лесов, как сверкающая змея.

— Иван Иванович, почему вы сказали тогда первому секретарю райкома: «Надо сеять», а мне говорите сейчас: «Можно было сеять»?..

Тракторист поглядывает на меня и на секретаря райкома и не спешит с ответом. Линии кукурузы красотой своей под стать Оке и пойме, — они на километры вытянулись с отвесной прямизной. Ока просторно играет под солнцем и облачками, а то вдруг прячется в траве, в лугах, в кукурузе, в лесах молодых и свежих, как луг, и всхожих, как человеческая радость. Она окутана зелеными прохладными мехами листвы, и трав, и всходов и прекрасна в оправе этой земли.

На ту сторону туляки прислали пятьдесят человек с мотыгами — мотыжить кукурузу. Тракторист хохочет.

— Ага, тебе смешно! — говорит секретарь райкома.

Четыре года назад райком решил ввести кукурузу. По принятому выражению, он «взял шефство» над кукурузой в одном колхозе, на



ПОЛАЧЕВ Иван Иванович
Рис. Н. Ращектаева

одном участке, — вот на этом самом. Еще никто ничего не знал об этой культуре, никто не умел ее сеять. Колхоз «прикрепил к участку» тракториста — вот этого самого Ивана Ивановича Полачева. Посеяли — теперь смешно вспоминать, как сеяли.

С тех пор Полачев на Выставке достижений народного хозяйства в Москве два раза взял премию за кукурузу. В прошлом году он получил 900 центнеров зеленой массы с гектара на семидесяти с чем-то гектарах.

Все обслуживание было в его руках. Он получил и выдал кукурузе две подкормки и гербициды для уничтожения сорняков. Он не побоялся бороновать по всходам.

Нынче у него условия посложней, прямо сказать — похуже. Удобрений нет. Трактор не подходящий для кукурузных междурядий. И ничего нет под рукой: за точилом — точить «бритвы» — надо ехать на усадьбу отделения. А ехать-то как!

Ведь у него нынче не семьдесят гектаров и не один участок, а четыре. А переезжать с поймы туда не просто, не как в прошлом году. Союз художников построил над берегом богатейший пионерлагерь и перерезал надбережную дорогу, даже объезда не оставил. Ивану Ивановичу надо ехать через город, чтобы переехать на другой участок или хотя бы к точилу поточить орудия.

— Ну, что ж! Пораньше подняться, попозже вернуться!..

Тракторов не хватает в совхозе. И Полачеву приказ — подгрести клевер.

— Но управляющего я не слушаюсь. Конечно, если директор прикажет — кукурузу придется бросить... А все же — урожай будет! — Иван Иванович окидывает поле взглядом.

— А ведь кукуруза у вас нынче и сорнее прошлогодней.

— Что ж делать. Не хватает тракторов, приходится подхватывать на других участках, помогать надо... А все же я свое возьму!

— Иван Иванович, у вас крепкий характер. Ответьте же на мой вопрос. Вы сказали тогда в райкоме: «Надо сеять». Надо! А мне сегодня вы говорите: «Можно было сеять». Можно — это совсем другое слово. Оно тогда означало: «Можно и сеять, а лучше — повременить».

Тракторист играет веселыми глазами. Он молод с лица, но не верьте впечатлению: не так уж он молод, а опытом — еще старше.

Верхний кармашек на холщовом пиджачке прострочен швом на два отделения. В большом лежит записная книжечка, исписанная. В меньшем нет карандаша.

— Почему же было не сеять? В прошлом году в среднем по району мы выгадали с ранним севом... В районном масштабе...

— Оставьте районный масштаб райкому, а вот как себя поведет ваш пойменный масштаб? Вы тогда были в райкоме не один, были и другие кукурузоводы: Ганжин, Гаврилов. Ганжин помягче вас характером. Он объясняет: «Я возражать не могу. Неловко!» Вы, Иван Иванович, человек твердый. Почему же вы не возражали?

Тракторист улыбается и поглядывает на секретаря райкома.

— Принуждения не было, — говорит секретарь.

— А хотя бы и было.

Иван Иванович хитрит. Оба смеются.

Да, хитрит. Четыре года назад он не умел сеять кукурузу. А теперь умеет. Но научился он и другому. Научился личной ответственности.

— А хотя бы и было, — повторяет Полачев. — Что толку принуждать? Боялся бы, что урожай не будет — не согласился бы.

— Не было у меня учителей по кукурузе, — говорит Иван Иванович. — Сам научился. Книжку почитал. Агроном кое-что подсказал. Пришлось взять на себя!

— Вот вы и сказали главное: пришлось взять на себя. Вот это и надо было сказать в райкоме: я беру на себя. Вам, райкому, виден весь район, а мне — виднее моя пойма. Я согласен, мол, с вами, что по району в среднем получился выгоднее ранний сев. А вы согласитесь со мною, что на моем участке... выгоднее задержаться на несколько дней... Тогда я не подведу ни себя, ни райком, ни совхоз... ни страну.

— Урожай будет, — говорит тракторист. — Сейчас хорошо рассуждать — подождать бы, лучше было бы. А тогда — тогда надо было сеять. Ни я, ни райком не знали, какой май будет. А так — я в любом случае урожай возьму. А пойма — что ж, я свою землю знаю. Пойменный масштаб... — усмеяется он и отворачивается, пряча улыбку. Он смотрит на свою кукурузу повелительно, как скульптор, будто он лепит ее своими руками и природа ему не указ.

Э. М а л ы х

КОРМИЛЕЦ

Весна. Конец апреля. Одиннадцатый час утра. Солнце греет, но еще не успело подсушить землю после недавно прошедшей грозы с ливнем. Я и знатная доярка совхоза «Тарусский» Клавдия Архиповна Панченко приближаемся к ферме совхоза. Клавдия Архиповна небольшого роста, худенькая. Ей пятьдесят один год, но ее походка, движения — быстрые, девичьи; глаза молодые.

Я огорчена: Клавдия Архиповна торопилась на ферму, и наш разговор не утолил меня. Раскрылся ли мне ее «секрет»? Причины своего последнего успеха она объяснила так: «Повезло мне в том году. Удачно коровы отелились — все сразу... Вот и надоила я от каждой коровы по пять тысяч двенадцать килограммов молока. И меня в Калуге сервизом премировали и отрезом на платье — дорогим! И послали меня в Кремль на совещание. С Никитой Сергеевичем я снималась! Вот глядите, шестая от него! В первом ряду!»

Ферма уже совсем близко. Перед коровником большой стог сена — дневной рацион для коров. Клавдия Архиповна прибавляет шаг:

— Опаздываю! — говорит она с тревогой. И вдруг раздается мощный рев.

— Сейчас, сейчас! — кричит Клавдия Архиповна. Бросает меня и бежит к входу в коровник. Рев все громче. — Сейчас, милые, сейчас, милые, сейчас, сейчас!

Так разговаривают с маленькими детьми. Клавдия Архиповна распахивает ворота. В большом коровнике сто коров. Все ревут. Обиженно, укоризненно, требовательно. Клавдия Архиповна носится по коровнику, отвязывая коров:

— Сейчас, милые, сейчас, сейчас!

И мне — громко, извиняясь:

— На прогулку им. Опоздала я на десять минут, а они-то свое время знают! Сейчас, милые, сейчас, сейчас!

* * *

Коровы в совхозе «Тарусский» высокоудойные, замечательные. И коровник добротный, и электродойка, и коров прогуливают во всякую погоду, и другие новшества. Но в том году, когда у Клавдии Архиповны так удачно коровы отелились, кормов в совхозе не хватило: сначала было густо, а к весне совсем пусто.

Доярки в этом неповинны. Они все так же работают. Но заработки их — с удоя, а корову не покормишь — не спросишь с нее молока. Человеку же самому сознательному заработки пока еще необходимы, правда?

Клавдия Архиповна рассказывает сразу обо всем: о семье, о работе — у нее это рядом, близко. Да, заработок нужен, особенно если дети растут. Это она не о себе, у Клавдии Архиповны дочери уже выращены и выведены на дорогу. Особенно старшая — Вера. Окончила университет Ломоносова. Три года уже в Иркутске — инженером! А младшая после десятилетки стала завклубом. Теперь замуж собралась... Клавдии Архиповне только радоваться. И тем больше радоваться, чем труднее она своих дочек поднимала.

Ведь одна их поднимала; с сорок первого года она вдова. А с малолетства — сирота. Вскормили ее украинская земля и труд на родной земле. В шестнадцать лет от женихов отбою ей не было, хотя все ее приданое — руки да веселый нрав. Но выбрала она себе в мужья тоже сироту, который под стать ей закалился жизнью. Им было по девятнадцать лет, когда они в худых башмаках и ветхой одежке перебрались с Украины в совхоз «Тарусский». И прожили счастливо десять лет. А потом война: ему — могила — неизвестно, на какой земле, а у нее — труд да де-



ПАНЧЕНКО Клавдия Архиповна
Рис. Н. Ращетаева

ти. И кем она только не была за тридцать лет работы в этом совхозе? И дояркой, и свиаркой, и птичницей, и строителем, и вот теперь опять дояркой. И всегда ее труд отмечался. Еще в тридцать шестом году посылали ее на совещание в Москву. В пятидесятом — в Калугу. И заработков ей хватало. А когда Вера окончила университет и в дорогу собиралась, одела, обула Веру, да и с собой на обустройство деньжатами снабдила. Потом в свой отпуск навещать Веру ездила в Иркутск тоже не с пустыми руками...

А теперь для Клавдии Архиповны главная беда в том, что обязательство своего не выполняет, слова чести не держит! И коровы, да какие коровы — голодные!

Ведь шесть коров у нее в мае дружно так отелились — и на пастбище их десять дней гнать нельзя, и в коровнике кормить нечем!

День и ночь ее это гложет! И даже над Вериним письмом ей не забыть. Письмо хорошее, замечательное: Вера надумала в аспирантуру готовиться! На экзамены в Москву приедет: опять увидятся, поговорят, как тогда, когда Клавдия Архиповна к ней, к студентке, в Москву ездила. Жила Вера в общежитии университета, в отдельной комнате на высо-

ком этаже — из окна всю Москву видно. Вот бы и сейчас Клавдии Архиповне вечером в Москву, выписать пропуск, подняться к Вере, выплакать у нее свое горе...

А чего плакать-то? Плакать некогда, да и не поможет! Кормить надо коров! Как угодно, а досыта!

И стала Клавдия Архиповна для своих шести отелившихся коров траву косить — и у себя во дворе, и за домом... Каждой корове на каждую еду по три мешка! Восемнадцать мешков накосит, снесет на ферму, насыплет в кормушки — и повеселет!

А потом осенью — кормов уже сколько хочешь, свеклы на полях тьма, а привезти ее невозможно — такая грязь! А если и довезут в такую распутицу каким-то чудом корм, корова его есть не станет: все с грязью перемешано. И тут уж Клавдия Архиповна для своих коров сама на своем горбу тыкву таскала. Зато покормишь коров, идешь домой — и дома все сразу ладится, на душе легко: коровы сыты!

Отвязанные коровы, все еще обиженно подревывая, наконец, уходят во двор на прогулку. Доярки принимаются убирать коровник. Убрав, выходят делить сено на пять равных частей.

Улыбаясь, Клавдия Архиповна поддевает вилами всю свою часть стога и, ловко опрокинув ее на себя, вся скрытая под ней, — живой стог, — уверенно входит в коровник.

Коровы возвращаются на свои места. Электродойка. Клавдия Архиповна опускается на скамеечку, работают руки, льются в ведро струйки молока, а Клавдия Архиповна, не теряя времени, объясняет:

— Наши коровы высокоудойные, электродойка не может все выдоить. Хоть и малы остатки, да сладки — сама жирность. А есть у меня хитрюга, которую я вообще только вручную дою. Купили мы ее у населения. И, видно, хозяева во время дойки кормили ее мукой. Приучили, а я-то этого не знала! Всем — сена, и ей — сена. Она сено ест, а молока, чертовка, не дает. Я уж всякий корм пробовала, пока не набрела на муку. И пошло дело. Но за электродойку сколько муки ей дать надо. А вручную я ее в три минутки выдою. Ну и хитрюга она у нас.

Мелькают руки, быстро наполняется ведро молоком, и Клавдия Архиповна уже налаживает аппарат возле другой коровы и бежит поить молоком десятидневного теленка. Он от искусственного осеменения — это пока еще редко здесь удается, — крепкий, большой теленок, вызывает особую гордость. Клавдия Архиповна успевает потрепать его по голове,

почесать за ушами, помыть руки, подойти к следующей корове...

Нет, не случай, не слепая удача принесли ей почет и славу, дали возможность вырастить детей, а большое умение и большой труд.

Э. М а л ы х

ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО

Сейчас я вам все документы покажу! Катя, не помнишь ты, где у меня положена моя папка? Портфель-то он вот! Но тут у меня только за последние годы. Память отшибло. Пора — пятьдесят восьмой год. Ладно, Катя, не ищи. Вот товарищ говорит, что ей бумажки не нужны. Но столько у меня всего, что и не знаешь, с чего начинать...

Вот уже семь лет, как пробиваю я свои изобретения. Три изобретения пробиваю. А можно сказать, что и четыре. Ну, это я вам потом объясню, почему четыре. Тяпка-секач у меня есть — ручное орудие: ее можно считать, можно не считать. В сравнении с другим об этом говорить не стоит...

Так вот семь лет пробиваю я свои изобретения. То есть, конечно, я эти семь лет не только пробиваю, я их в эти годы и сделал. Но я всю жизнь только и делал, что изобретал. С чем ни столкнусь в работе, все как-нибудь приспособлю так, чтобы выполнить это полегче, побыстрее, с большим эффектом, одним словом. И все было хорошо: и премировали меня, и грамоты, и благодарности... Катя, ну где эта моя старая папка? Да там у меня все грамоты!.. Ладно, не ищи. Правильно, что не в них теперь дело. Просто я хотел вам показать, что и у меня, как у людей, было...

Вот мне теперь объясняют, что моя беда в том, что я человек малограмотный, не умею свое дело продвинуть. Но что это значит «продвинуть»? Чертежи и описания мне всегда делают специалисты. — и просить мне их не приходится, охотно берутся. Конечно, лучше бы я сам это умел. Но совсем не на этом я спотыкаюсь.

И еще говорят, что у нас теперь век атома, век космоса, и одиночкам-умельцам изобретать больше нечего. Теперь все, мол, на таком высшем уровне, что изобретать могут только большие коллективы и с самыми совершенными приборами, а все, что может один человек придумать, — уже есть! Но где ж оно есть!? Вот атомный ледокол, действительно, есть. И спутники есть. И космический корабль есть.

А моей тяпки-секача нету! Нету — и все! Вот из Сибири в министерство пишут: «Были на испытании, видели тяпку-секач, которая может пригодиться в наших условиях, пришлите, пожалуйста, фотографии». А в министерстве уже ни тяпки, ни фотографий — все затеряли. Да что об этом говорить, когда мою машину для посадки леса затеряли! Да, был такой момент, когда после моего письма к заместителю председателя Совета Министров товарищу Лобанову вдруг затребовали эту мою машину на испытание в Пушкинский лесхоз. А у меня уже машина давно заброшена. Приказали тогда Тарусскому лесхозу выдать мне деньги на новый мотор — старыми деньгами тысячу двести рублей. Сделал я все, машину отравили, и сижу — жду обещанного вызова на испытание. Но прошла весна, лето, и настала осень... Не дождался я вызова, поехал сам в Пушкин — и не оказалось там моей машины! Я — в министерство. Никто ничего не знает. И только когда написал я первому заместителю Никиты Сергеевича товарищу Козлову, вызвали меня на испытание уже в Правдинский лесхоз, где и была моя машина неузнаваемая — ржавая, поломанная, без аккумулятора! Кое-как я на месте ее наладил, но когда стали испытывать, не идет — ржавая! Приходилось останавливаться и прочищать. А на двадцать восьмой минуте шпонка слетела — и всё это испытание прекратили. И в протоколе не написали, что машина у них заржавела, а просто: «Забивается, и шпонка слетела». А сколько за эти двадцать восемь минут моя машина при всем при том лунок сделала — этого не написали!

Ну и как мне доказывать, когда они — «комиссия», а я — не пойми что. Ведь у меня даже ни одного авторского свидетельства нет! Да. Изобретаю я только тогда, когда жизнь меня сталкивает с таким фактом, что народное хозяйство в чем-то нуждается. Я вижу, что того-то нет, а нужно — тогда у меня и мысль шевелится. Но когда я сделаю модель и специалисты местные и московские одобряют, оформят чертежи, описания, в авторском свидетельстве мне все равно отказывают! Пишут: «Это уже есть!», «Зарегистрировано в 47-м или в 30-м». Чаще — в 30-м. Ну, едешь в Москву, в патентный архив, смотришь то, на что тебе указывали, — и ничего похожего на то, что ты предлагал. Идешь, говоришь: «Ведь это совсем не похоже на мое». — «Обжалуйте». Обжалуешь — и сказка про белого бычка. Ну и бросишь эту войну за авторское свидетельство, потому что для меня самое главное, чтобы вещь внедрили, а не бумажку мне выдали.

И вот с лесомерной вилкой у меня еще интереснее получилось. Поехал я как-то к сыну в Москву. У меня трое сыновей, но вот самый младший в Москве на инженера учится, как раз в лесном институте. Сына я дома не застал, а жена его, Ирина — она тоже в этом институте учится — вдруг мне и говорит:

— Папа, у нас на лекции рассказывали, что в Калуге на совещании очень интересную лесомерную линейку демонстрировали, в которой все совмещено: ею последовательно можно измерять дерево, определять его породу, сортировать, кору зачищать и клеймить. И такая она небольшая, удобная. Может, слышали про нее, это же в вашей Калужской?

А я ей отвечаю:

— Слышал. И не только слышал, сам на этом совещании про линейку докладывал, потому что линейка эта — моя!

Ну, а потом сын отвел меня к тому профессору Анучину. Тот опять подтвердил, что линейка моя очень нужна, письмо написал, чтобы в заводских условиях сделать опытные образцы. А на это письмо все равно ответили, что «есть» эти линейки. С 30-го года.

Когда я взялся за машину по изготовлению кирпича или самана, я специально слезно допрашивал: «Ну, скажите, может быть, такая, как моя, машина уже есть? Скажите, чтобы я хоть тут сил не тратил!» А они отвечают: «Нет, такой машины, а она очень нужна — хорошая машина: большая производительность, материал — глина и саман — везде доступны, в любом колхозе идут на птичники, овчарники, свинарники». И опять мне помогают, оформляют чертежи, описывают, а потом... Но с этой машиной мне ответили всего хлеще. Ну то, что она «есть» с 30-го года, — к этому я уже привык. Но мне еще написали, что ее недостаток в том, что для нее требуется много цемента. А там вообще цемента не требуется! И не упоминал я про цемент! Откуда они это взяли?!

Ну, пусть я плохо грамотный, не могу поспорить про «формулу новизны», не умею, мол, разобраться в том, что мне пишут.

Но они-то — грамотные? Образованные! Почему же они не умеют читать?

И вот о таких случаях я много мог бы вам рассказать, да некогда... Если хотите, я вам просто отдам эти письма...

Ведь, когда я был молодой, стал я механиком, а никаких бумажек у меня не было. Сам я из-под Рязани. С одиннадцати лет крестьянствовал, а в восемнадцатом году уехал в Москву. Грузчиком на вокзале работал, сторожем... А потом встретил молодого человека, который кончил в Америке школу механиков,

а после революции на родину вернулся. Я к этому механику каждый день после работы в мастерскую бегал, ему помогал и всей премудрости у него выучился. Так я и стал механиком. Когда мне двадцать лет минуло, поехал на родину, привез оттуда свою Катерину Андреевну, и вот пошли у нас дети — я всю семью поднимал — механиком работал. Никто у меня бумажек не спрашивал, только мне всякие грамоты выдавали! В тридцать четвертом году я в Тарусе домик приобрел — дети у меня в Москве болеть стали. И опять я здесь механиком работал по наладке ажурных швейных машин. Ну и, как всегда, конечно, изобретал, рационализировал, что потребуются. Мне тут в Тарусе простор: и модели есть где хранить, и мастерскую себе в сарайчике оборудовал... И на работе меня уважали. Один раз только поначалу работники мною недовольны были. Заметил я, что они береты очень долго и трудно начесывают. Наладил я им машину так, что вместо двадцати трех одна работница с этими беретами стала управляться. И вот они стали меня честить: убить, мол, тебя мало. Но, конечно, дали им другую работу, и они успокоились. Это, конечно, случай пустой, просто вспомнил к слову. Ну, где же эта папка, Катя? Я бы и сам уже хотел эти грамоты вспомнить, а то у меня на руках только кляузы. Как моя Катерина Андреевна от всего этого устала! Ночью проснется: «Ты чего шепчешь?» А я и не замечаю, что шепчу. «Так ты с ума сойдешь!» Но ведь если даже согласиться, будто то, что я придумал, уже до меня придумали, но я-то — не украд! Я тоже придумал! И если тем, кто до меня придумал — почет, значит, и я не глупость придумал. Конечно, если бы я в свое время учился, и я бы свои способности тоже в такое дело вложил, что мне бы все пути открыли. А сейчас, бывает, находят на меня такие минуты: «Никогда больше ничего не буду придумывать». Прикажу себе — и все! Потому что просто придумывать и не внедрять — тоже нелзя! Это все равно, как своего ребенка бросить. Нет, хуже, потому что сироту и без тебя государство вырастит, а тут кто о твоих никому не известных изобретениях спохватится, если ты сам человек неизвестный!»

Но когда я вот так руки на часок опущу... Только на часок, потому что больше у меня не получается... Тогда моя Екатерина Андреевна — чуть не в слезы: «Лучше бы уж шептал, а то будто не живой!»

А может быть, и был бы я уже не живой, если бы не моя семья и не Таруса. Нет, не только потому, что здесь, как в саду, живешь... Люди здесь есть замечательные. Может быть,

ЧУДАКИ

Полы трет полотер.
В нем порох. В нем запал.
Вот он нашел упор.
От плоти валит пар.

Расплавив пыл его,
А ритм его слепил.
Ухваток торжество.
Телодвиженья пир.
Полы трет полотер,
А позы, как хорал.
Мимический актер
Трагедию сыграл!

Он мчит, неумолим,
От окон до дверей.

Движенья правит им.
Оно его мудрей.

КУПАНИЕ ДЕТЕЙ

По четвергам купание детей.
Раздолье им, хохочущим и голым!
Жена согнулась, руки до локтей
Обнажены,
с подоткнутым подолом.
Бушуют дети. Их мочалкой трут.
Жена устало спину распрямила.
...Сидят в пару. И плеск. И писк! Но тут
Завыли вдруг — в глаза попало мыло.
На них с водой обрушивают таз.
Молчат. Глаза закрыты волосами...
Жена кричит: «А ну, без выкрутас!
Кончайте мыться! Одевайтесь сами!
Да не простыть! Не могут без возни!..»
Нагнулась властно с тряпкой пологою.
К постелям нагишом бегут они,
Накрывшись простынями с головою.

* *
*

Та женщина костлявая была.
По правде говоря, одна лишь слава,
Что женщина! Как два прямых угла
Торчали плечи. Так была костлява.
Висело платье длинное, как сеть.
А брошки были будто бы грузила.
Она игриво принималась петь
И пальчиком суставчатым грозила.
А волосы как будто на клею!
Но между тем с ужимкой светской львицы
Лукаво клала голову свою,
Как будто бы на доски, на ключицы.
Была бы страшной и улыбка та,
И пальчик тот в игривой укоризне,
Когда б не глаз зеленых доброта —
Все, что осталось от прожитой жизни.

Есть в мире чудачки. Они живут средь нас.
Восторженные. Волосы по плечи.
Замысловаты и мудры их речи.
Поступки удивительны подчас.
Очки убоги. Ниткою оправа
Замотана. Зайди на их чердак:
В досаде лишь всплеснешь руками: право!
Вот чучело-то! Батюшки, чудак!
Мечтают всё. До уха одеяло
В ночи натянут, слыша шум в трубе..
А мне бывает жаль, что я так мало
Причуд на свете разрешал себе!

* *
*

Боюсь гостиниц. Ужасом объят
При мысли, что когда-нибудь мне снова
Втянуть в себя придется тонкий яд
Ковров линейных номера пустого.
Боюсь гостиниц. Это неспроста.
Здесь холодом от окон веет люто.
Здесь лампа. Здесь гардины. Здесь тахта.
Иллюзия семейного уюта.
Боюсь гостиниц. Может, потому,
Что чувствую, что в номере когда-то
Остаться мне случится одному.
Навеки. В самом деле. Без возврата.

* *
*

Мы платимся за старые грехи.
О, как несправедливо это все же!
Тогда, конечно, были мы плохи,
Но ведь тогда мы были и моложе.
Я жил, всем досаждая и грубя,
Не думая, что может быть расплата...
Готов платить. Но только за себя,
Не за того, кем прежде был когда-то. .

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЭЗИЕЙ

Я заведовал поэзией.
Позиция зава — позиция страдательная.
В ней есть что-то женственное.
Тебе льстят, тебя обхаживают.
На тебя кричат.
С часа до пяти ежедневно я сидел за столом
И делал себе врагов.

Это было нечто вроде
 Кустарной мастерской:
 Враги возражали в геометрической
 Прогрессии.
 Оклад, из-за которого
 Я пошел заведовать,
 Уходил на угощение
 Обиженных мною друзей.
 На улице я ловил на себе злобные взгляды.
 Это продолжалось до тех пор,
 Пока меня вдруг не осенила одна
 Простая истина:
 Авторы не хотят печататься!
 Они хотят, чтобы их похвалили.
 О, авторское самолюбие!
 Возврат рукописи — болезненная операция.
 Я стал ее делать под наркозом.
 От меня уходили теперь,
 Прижав к груди отвергнутую рукопись,
 С сияющим лицом,
 Со слезами благодарности на глазах.
 Но и принятая рукопись.
 Должна пройти редколлегию.
 Замечания членов редколлегии
 Похожи на артиллерийские снаряды:
 Ни одно не попадает туда,
 Куда упало другое.
 Иногда рукопись была похожа на мишень,
 По которой стреляла рота.
 Авторы шли.
 Юнец. Пишет лесенкой...
 Старый поэт. Одышка. Сел.
 Мясистая рука с перстнем
 Лежит на толстой палке...
 Парень ростом под потолок.
 Со стройки. Комбинезон в краске и в известке.
 Положил кепку. Она приклеилась к столу.
 Уходя, едва отодрал...
 Тучная дама. У детей коклюш.
 Черствый муж. Не понимает.
 Пишу урывками! Надо то в магазин,
 То приготовить. Все сама, сама,
 Без домработницы...
 Человек. В черных, как смоль, глазах
 Лихорадочный блеск.
 Заявление: «Прошу назначить меня
 Писателем Советского Союза».
 Сумасшедший...
 Прут. Все пишут стихи.
 Пишет весь мир!
 Я разочаровался в людях.
 Я стал подозревать каждого:
 Что делает директор треста,
 Когда он один запирается
 В своем кабинете?
 Милиционер — у посольства?
 Авторы шли. Тонны и тонны стихов.
 Слова, слипшиеся, как леденцы в кульке.

В них слабенький яд.
 Но в больших количествах — опасно.
 Я отравился.
 Я был, как перенасыщенный раствор.
 Еще чуть-чуть и начнется кристаллизация.
 Поэзия станет выпадать во мне
 Ромбами или октаэдрами.
 Я бы возненавидел поэзию
 Люто на всю жизнь,
 Но вдруг попадалась строчка...

Н. Коржавин

ПЕСНЯ, КОТОРОЙ ТЫСЯЧА ЛЕТ

Это старинная песня,
 Которая вечно нова.
 Г. Гейне

Старинная песня,
 Ей тысяча лет.
 Он любит ее,
 А она его — нет.

Столетия сменяются.
 Вьюги метут.
 Различными думами
 Люди живут.

Но так же упорно
 Во все времена
 Его почему-то
 Не любит она.

А он и страдает,
 И очень влюблен...
 Но только, позвольте,
 Да кто ж это — он?

Кто? Может быть, рыцарь.
 А может — поэт.
 Но факт, что она —
 Его счастье и свет,

Что в ней он нашел
 Озаренье свое,
 Что страшно остаться ему
 Без нее...

Но сделать не может
 Он здесь ничего...
 Кто ж эта она,
 Что не любит его?



М. А. ВРУБЕЛЬ (1856—1910). Пегас и Грации (Эскиз для майолики). Бумага. Односеансная. Акв., белила. Разм. 15,3х15. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

Она? Совершенство.
К тому же она
Его на земле
Понимает одна.

Она всех других
И нежней, и умней.
А он лучше всех
Это чувствует в ней...

Но все-таки, все-таки
Тысячу лет
Он любит ее,
А она его — нет.

И все же ей по сердцу
Больше другой,
Не столь одержимый,
Но все ж неплохой.

Хоть этот намного
Скучнее того...
(Коль древняя песня
Не лжет про него).

Но песня все так же
Звучит и сейчас...
(А я ведь о песне
Веду свой рассказ).

Признаться, я толком
И сам не пойму:
Ей по сердцу больше другой...
Почему?

Так глупо
Зачем выбирает она?
А может, не скука
Ей вовсе страшна?

А просто, как люди,
Ей хочется жить...
И холодно ей
Озареньем служить.

Быть может... Не знаю...
Ведь я не пророк...
Но в песне об этом
Ни слова... Молчок...

А может, и рыцарь
Вздыхать устает.
И сам, наконец,
От нее отстает.

И тоже становится
Этим, другим,
Не столь одержимым,
Но все ж неплохим.

И слышит в награду
Покорное: «Да»...
Не знаю. О том
Не поют никогда.

Не знаю, как в песне,
А в жизни земной
И то и другое
Случалось со мной.

Так что ж мне обидно,
Что тысячу лет
Он любит ее,
А она его — нет.

* *
*

Век открывался для меня непросто.
Он был противоречьем во плоти.
Я видел подлость, знаю благородство,
Я видел мрак и знаю свет пути.
Век шел к свободе — и крепил законы.
Все для войны — и не любил войны...
Был бунтовщик — и надевал погоны...
Был демократ — и соблюдал чины.

Он шел на риск и не дрожал от страха...
Когда ж он кончит все свои труды,
Останется земля, где нету засух,
И мир, освобожденный от нужды.

ЭВАКУАЦИЯ

Война не вошла еще в быт в эти числа.
Скрипели платформы в далекую тьму...
И каждый беженец был, как призрак,
В угольной копоти и в дыму.
Движенья в безвестность...

Дороги капризны.

Дороги гнетут.

Но стоят вечера

И манят, и манят намеками жизни,
Что брошена нами

всего лишь вчера.

Еще не смело моих детских мечтаний
Дыханьем войны

с духотой поездов...

Я жадно читал в расписаньях
названья

Далеких курортных морских городов.

И жадно завидовал артбригаде,

Когда, подвезя ее,

встал тяжело

Рядом

на станции в Павлограде

Встречный воинский эшелон.

Я помню порыв

восхищенной веры,

Когда подошли —

к другим и ко мне

С поезда

сдержанные офицеры

И стали спрашивать нас о войне.

Давно это было.

в грозе это было.

Но только запомнил я все наизусть...

Тогда я в них видел

одну только силу,

Теперь вспоминаю их

скрытую грусть.

Но я ведь не знал,

как огромно лихо,

Которое пало

на плечи нам.

И как это страшно —

неразбериха,

Когда ты в нее

попадаешь сам.

Я думал, что близко уже

до развязки.

Я думал... ждала

всех этих людей

Горечь трагедии в Первомайске.

Разгром... Окружение...

Гибель друзей.

Мне век не забыть

этой душной дороги,

Солдат запыленных,

что едут на юг...

И вечно мне видеть,

как грустный и строгий

У нашей платформы

стоит политрук.

И снова всплывает

седое от пыли

С глазами внимательными лицом...

Он веровал в правду,

и знал ее силу,

И верить в нее

научил бойцов.

А когда его полк

под огнем метался

И руки вверх

поднимались в дыму,

Я знаю.

ни в чем он не колебался,

Но очень больно было ему.

О, слава, солдат!

Грудью встретивших беды,

Еще оседлать не успевших бои...

Они проложили дороги победы,

Отдав безмянными жизни свои...

Вновь еду по этой дороге теперь я...

Гудки здесь, ревет громяющий век...

Невозместимая это потеря —

Каждый отдавший себя человек.

ЛЕГКОСТЬ

Все это так.

Неправда.

Зло...

Забвенья.

Конец его друзей

(его конец).

И то, что тьма безрадостных сердец,

А мы живем

всего одно мгновенье.

Он каждый раз об это разбивался:
Взрывался,
 бунтовал
 и понимал...
И был он — легким,
 будто
 лишь касался,
Как будто все не открывал,
 а знал.
А знал он то,
 что снег блестит в оконце,
Что вьюга воеет,
 дева сладко спит,
Что в пасмурные дни
 есть тоже солнце —
Оно за тучей греет и горит, —

Что есть тоска,
 но есть простор для страсти —

Стихи
 и уцелевшие друзья,
Что не теперь,
 так после
 будет счастье,
Хоть нам с тобой надеяться
 нельзя.
Да! Жизнь мгновенье.
 И она же
 вечность.

Она уйдет в века,
 а ты умрешь.
И надо сразу жить:
 и в бесконечном,
И просто в том,
 в чем ты сейчас живешь.
Он пил вино
 и видел свет далекий.
В глазах туман.
 А даль ясна.
 Ясна.

Легко-легко.
 Та пушкинская легкость,
В которой тяжесть
 преодолена.

ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ

Ни к чему,
 ни к чему,
 ни к чему полунощные бденья.
Что других обвинять!
 Надо видеть причины
 в другом.
Время?
 Время дано.
 Это не подлежит обсуждению.

Подлежишь обсуждению
 ты,
 разместившийся в нем.
Ты не верь,
 что грядущее вскрикнет,
 всплеснувши руками:
«Вот какой тогда жил,
 да, бедняга, от века зачах».
Нету легких времен.
 И в людскую
 врезается память
Только тот,
 кто пронес
 эту тяжесть
 на смертных плечах.

* *
*

Ни трудом и ни доблестью
Не дорос я до всех.
Я работал в той области,
Где успех — не успех.
Где тоскуют неделями,
Коль теряется нить,
Где труды от безделия
Нелегко отличить...
Ну, куда же я сунулся?
Оглядеться пора!
Я в годах, а, как в юности,
Ни кола, ни двора,
Ни защиты от подлости,
Лишь одно, как на грех:
Стаж работы в той области,
Где успех — не успех...

СОВРЕМЕННОКИ

Ст. Рассадину

Сквозь тучи
 в рассвет синеватый
Пошел самолет напролом.
И город, где жил я когда-то,
Огнями возник под крылом.
Он вдруг поднимался неслышно,
Кружило его и несло...
А рядом со мной неподвижно
В пространстве лежало крыло.
Все было доступным, понятным,
Известным давно и простым.
И все-таки было занято,
Что мы среди неба висим.
Что здесь, в этой точке высотной,
Нас держит пространство одно...

Казалось, вещественным, плотным
И было надежным оно.
А город навстречу бросался,
Вздыхался, стоял под углом
И снова лежал... И казался
Пунктирным большим чертежом.
Он был необжитым простором,
Скоплением холодных светил,
Мой город... Тот самый, в котором
Три года я временно жил.
Да, временно... Все это было
Лишь временно в жизни моей.
Да, временно... Дни торопил я,
Чтоб время прошло поскорей.
И все это даже не странно.
Но кто объяснит, почему
Из жизни своей постоянной
Мечтал я вернуться к нему.
Зачем, позабыв про усталость,
Тот город я видел во сне...
Знать, время прошло... Но осталось,
Как все остается во мне.
Тут, с юным покончив бесстрашьем,
Мне бросив: «Счастливо живи!»,
Девчонка по воле мамы
Сбежала в начале любви...
Веселой была и спокойной,
Игры, любопытства полна...
И всей моей жизни нестройность
Легко устраняла она.
Теперь у ней все, что ей нужно:
Семья, и работа, и быт.
И где-то внизу перед службой,
Наверно, теперь она спит.
И пусть я совсем не обязан
Прощать ей побег из мечты,
Но помню: с ней жизнью я связан,
А жизнь оставляет следы!

.....
Качается скопище света,
То встанет, то прынет назад.
Но, даже не зная про это,
Друзья мои в городе спят.
Им письма писать забывал я
В заботах текущего дня.
И больше!
Везде, где бывал я.

Бывали друзья у меня
По страсти, надеждам, потерям,
По вехам на трудном пути,
И там, где я не был, я верю:
Я тоже бы мог их найти.
Но нет в моем сердце измены,
В нем живы все дружбы и дни.
Они для меня равноценны,
Хоть в разное время они.
Далекие лампочки светят
(Не раз я бродил среди них),

Там завтра друзья меня встретят,
И все восстановится вмиг.
И сядем семьейю одною,
Где каждый по-своему мил,
И будет меж ними и мною
Та жизнь, где я с ними дружил.
В блужданиях, открытиях, прозрениях
Я все же им не был чужим:
Ведь каждый из нас — современник
Всего,

что бывает с другим.
Я думаю, словно о чуде,
Об этом... И тут я не прав:
Мы все современники — люди!
Хоть мы — переменный состав.
Нам выпало жить на планете
Случайно во время одно.
Из бездны времен и столетий
Нам выбрано было оно.
Мы в нем враждовали, дружили,
Любили, боролись с тоской.
И все бы мы были чужие
Во всякой эпохе другой.
Есть время одно — это люди,
Живущие рядом сейчас.
Давай к нему бережней будем:
Другого не будет у нас!

.....
Все резче рассвет синеватый.
Коснулся земли самолет,
И город, где жил я когда-то,
Опять предо мной предстает.
Рассвет холодит мои плечи,
И светят огни сквозь туман...
И вдруг выбегает навстречу
И рвет из руки чемодан.
И словно бы прошлое
право

Свое обретает опять.
И утром — спецовка. И — в лаву
За смену свою отвечать!
Тут много хорошего было,
Тут не было бросовых дней,
Но дни, как дурак, торопил я,
Чтоб время прошло поскорей...
Что ж! Время, подумавши малость,
Прошло...

Как об этом ни пой,
Верней, оно здесь и осталось...
Его не увозят с собой...

* *
*

Не изойти любовью, а любить!..
Не наслаждаться жизнью — просто жить!..
Я не люблю безмерные слова.
Все выдумки не стоят естества.
Любить нельзя сильнее, чем любить,
А больше жизни — и не может быть.

И смысл безмерных слов, пожалуй, в том,
Чтоб скрыть бессилье в чем-нибудь простом

* *
*

Мне без тебя так трудно жить,
А ты — ты дразнишь и тревожишь...
Ты мне не можешь заменить
Весь мир... А кажется, что можешь.
Есть в мире у меня свое...
Дела, успехи и напасти...
Мне лишь тебя недостает
Для полного людского счастья!
Мне без тебя так трудно жить,
Все неуютно, все тревожит...
Ты мир не можешь заменить!..
Но ведь и он тебя — не может..

* *
*

У меня любимую украли,
Втолковали хитро ей свое.
И вериги долга и морали
Радостно надели на нее.
А она такая, как и прежде.
И ее теперь мне очень жаль:
Тяжело ей, нежной, в той одежде.
И зачем ей, чистой, та мораль?

* *
*

Хотеть. Спешить. Мечтать о том ночами.
И лишь ползти. И не видеть ни зги...
Я, как песком, засыпан мелочами,
Но я еще прорвусь сквозь те пески.
Раздвину их... Вдохну холодный воздух,
И станет мне совсем легко идти
И замечать по неизменным звездам,
Что я не сбился все равно с пути.

* *
*

Ты сама проявила похвальное рвенье,
Только ты просчиталась на самую малость.
Ты хотела меня ослепить на мгновенье,
А мгновение жизнью твоей оказалось.
Твой расчет оказался придуманным вздором.
Ты ошиблась в себе, а прозренье — расплата.
Не смогла ты холодным блеснуть метеором,
Слишком женщиной, нежной и теплой, была ты.
Ты не знала про это, а знаешь сегодня,
Заплативши за знание жестокою цену.
Уходила ты так, словно впрямь ты свободна,
Но вся жизнь у тебя оказалась изменой.
Я прощаюсь сегодня с несчастьем и счастьем,
Со свиданьями тайными в слякоть сплошную,
И с твоим увяданьем, и с горькою властью

Выпрямлять твоё тело одним поцелуем...
Тяжело, потому что прошедшие годы
Уж другой не заполнишь, тебя не забудешь,
И что больше той странной, той ждущей чего-то,
Глупой девочкой ни для кого ты не будешь.

* *
*

Предельно краток язык земной.
Он будет всегда таким...
С другим — это значит то, что со мной,
Но — с другим.

А я победил уже эту боль,
Ушел и махнул рукой...
С другой — это значит то, что с тобой,
Но — с другой.

* *
*

От дурачеств, от ума ли
Жили мы с тобой, смеясь,
И любовью не назвали
Кратковременную связь,
Приписав блаженство это
В трудный год после войны
Морю солнечного света
И влиянию весны.

Что ж! Любовь смутна, как осень,
Высока, как небеса,
Ну, а мне б хотелось очень
Жить так просто и писать.
Но не с тем, чтоб сдвинуть горы,
Не вгрызаться глубоко,
А как Пушкин про Ижору —
Безмятежно и легко.

ОВАЛ

Я с детства не любил овал.
Я с детства угол рисовал.

П. Коган

Меня, как видно, бог не звал
И вкусом не снабдил утонченным.
Я с детства полюбил овал
За то, что он такой законченный.

Я рос и слушал сказки мамы
И ничего не рисовал,
Когда вставал ко мне углами
Мир, непохожий на овал.

Но все углы, и все печали,
И всех противоречий вал
Я тем острее ощущаю.
Что с детства полюбил овал.

НАД КНИГОЙ НЕКРАСОВА (1941)

...Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.

Она бы хотела иначе —
Носить драгоценный наряд...
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

Н. Панченко

ОБЕЛИСКИ

Стихи солдата

1.

Поэт не царь,
но только больше!
Пока незрел, растет пока,
растут на Яузе и в Орше
его потешные войска.
Растут в Калуге и в Рязани
друзья забот,
друзья забав
с его тяжелыми глазами,
с его словами на зубах.
Приходит час,
и хватит жеста,
чтоб он собрал под тень руки
Семеновский,

Преображенский —
свои лейб-гвардии полки.

И прочь, раздоры!
На колени!
Готовясь к славе и к борьбе,
его стихами

поколенья
клянется в верности себе.

2.

Не заслуга быть белым.
Не достоинство — русым.
Очень трудно быть смелым.
Очень просто быть трусом.
Кто не продал России
ради собственной славы,
знает: трудно быть сильным,
знает: просто быть слабым.
Мы, престолы низвергнув,
жили в буднях великим.

Знаем: трудно быть верным
и несложно — двуликим.
Жили в ящиках тесных,
рвали нервы и жилы.
Знаем: трудно быть честным,
знаем: просто быть лживым.
Знаем: трудно жить крупно,
проще — жить осторожно;
добрым — сложно и трудно
и недобрым — несложно.
Люди смелого роста,
улыбаемся грустно:
нам, конечно, непросто,
нелегко..
Но — не гнусно!

3.

Если старуха снапала,
вырваться — лысого черта вам!
Где вы, ребята с двадцатого?
Мальчики — с двадцать четвертого?
А я все пишу и пишу вам
про все, что случалось, подряд,
стихи, из которых «... шубу
не сшить» — знатоки говорят.
В них то, что одним — ребячество,
в них то, что другим — история.
И ты не поддержишь,
незрячая,
немая аудиторья.
Лежишь в полковом отдалении
на метр и на два в глубине:
в секрете мое отделение,
в секрете мое поколение —
пятнадцатый год на войне!

4.

Мы — ушедшие без племени:
это было не с руки.
Наших девушек, как пленниц,
разбирали старики.
Злые мальчики забавами
понатешились за бабами,
называли их старухами,
выбирали посвежей.
Не нашлось тогда заступников,
Не сыскалось сторожей...
Сторожа лежат под травами,
корни кости их сосут.
Им цветы и песни с флагами
что-то девочки несут.

5.

Девчонка парикмахершей работала.
Девчонку изнасиловала рота.
Ей в рот портянки потные совали.

Ласкали непечатными словами,
Сорвали гимнастерку с красной ленточкой:
была девчонка ранена в бою.
Девчонку мы в полку прозвали «деточкой»,
невенчанную женщину мою.

Не для стихов дела такого рода,
Но это была власовская рота.
Мы женщину забыли в отступлении,
В пяти верстах догнала злая весть.
Хоть в петлю лезь,
не будет подкрепления.
Полсотни душ —
был полк разбитый весь.
Бежали мы,
летели мы над верстами,
в село ворвались сомкнутыми горстками.
Нет, кулаками, быстрыми и жесткими,
не биться и не меряться — караты!
И где-то бабы всхлипывали: «Господи!
Откуда эта праведная рать!»
Колесный гул,
разрывы, вопли, громы.
Я штык согнул
и расстрелял патроны.
Добили мы их в рывтине, за баней,
хватали у своих из-под руки:
я этими вот белыми зубами
откусывал, как репы, кадыки.

Девчонка задремала под шинелью.
А мы, глотнув трофейного вина,
сидели, охраняли, не шумели,
как будто что-то слышала она.
Был вымыт пол,
блиндаж украшен, убран,
как будто что-то видела она.

...За эту операцию под утро
прислали нам из штаба ордена.
Мы их зарыли в холмик вместе с нею.
Ушли вперед,
в Литовские края.

Чем дальше в жизнь,
тем чище и яснее
невенчанная женщина моя.

6.

Не растерянной,
не слабой
повстречалась ты с войной.
Ты не стала Ярославной
ждать солдата за стеной,
выходить на стену, плача,
звать на помощь лес и дол.
Лямки жесткие — на плечи,
в брюки ватные — подол,

и туда, где мрак и пекло,
где боец колоть устал,
где в горячих бурях пепла
с визгом носится металл,
где солдаты матерятся,
где от схватки не сбежать,
где на миг лишь растеряться —
век под камушком лежать.
Все — на плечи,

все — не плача,
да по-бабьи — все вдвойне!
Но о чем это судачат
«Ярославны» на стене?
Со своей квартирной стенки
тычат острые персты...
Ах, вы, самки!
Ах, вы, стервы!
Сатанинские хвосты!

...Обойдем их, серых, ладом:
нам — не в складку, нам — к боям!
А с тобой до гроба рядом
князь твой,
друг
и твой Боян.

7.

Есть поколения долголетние.
Мое не вызрело еще,
приняв солдатские галеты,
ружье и скатку на плечо,
как торбу, за спину — страну,
и первый взрослый шаг —
в войну!
Что до него — оно не строило,
и все, что после, — без него.
Но что бы стоила
история
без поколения моего?

8.

Мы живем за вспотевшими окнами,
в бревенчатой хате.
Мой друг...
(у него машинка «Оптим»,
маленькая, стучит, как дятел)
мой друг
не любит скучать:
поднимается рано
и начинает стучать.
Он всегда поднимается рано.
А у меня откликаются раны.
И, глупые, бестолково ноют,
а я их, покачиваясь, баюкаю.
И мы все живем той войною.
И форточки называем люками.
И шутки называем пулями.

3.

Всю ночь мне снилась ты:
ты вдоль реки лежала,
в той реке —

крутая, как руда —
сворачиваясь, медленно бежала
и вдруг застыла мертвая вода.
Вода остановилась

слишком светлым.

А ты — без слов,
а ты — едва жила!

...Проснулся я:
в вагон ворвались с ветром
тобой во сне забытые слова.
Их подхватила девочка,

сказала:

— Они мои!

И я отдал: не скуп.
До самого Казанского вокзала
она не выпускала их из губ.

4.

Тебя нельзя любить!
Я это понял скоро.
Тебе легко грубить
и глупо возражать.
Тебя держать, как покоренный город:
То в страхе, то подачками
держаты!

Чужая ты.

Но как же быть с тобою?
С такой пустой, как барабанный бой?!
И я врагам

сдаю тебя

без боя:

им лучше знать, как справиться с тобой.

5.

Они, как вороны, сидят,
глазами круглыми глядят:
авось, накаркают беду,
авось, я встану и уйду,
авось, не встанешь ты,
а вдруг

оставишь им

бессилье рук,

усталость глаз,
округлость плеч
и все, что не к чему беречь.
Они, как вороны, сидят,
глазами круглыми глядят.

6.

Ты не посмотришь в черное окно:
коль верить мне — уехал я давно.
Но я брожу, нездешний муравей,

в ущельях улиц,
в громожденье зданий.
В меня в упор смоят из-под бровей
венеры не назначенных свиданий.
И робко — почему я не с тобой? —
спросил меня знакомый постовой.

Да, почему?

Он здорово сказал.

А я соврал: мол, еду на вокзал.

Такой-то час.

Такой-то поздний поезд.

Поверил парень — чуткая душа.

Вот так соврешь, и люди, успокоясь,
поверят в ложь: была бы хороша!

7.

От нелюбимых уходят сами,
от любимых уводят люди:
то немых секундентов сани,
то свинцовый приказ орудий,
то собранья пристрастный ропот,
верных друзей ненадежный шепот,
верных врагов откровенный гогот —
сотни примеров

перед глазами:

от нелюбимых уходят сами,
этого люди простить не могут.

8.

Не друзья нас разлучили,
не враги —
просто мы, как сапоги
с одной ноги...

9.

Я в месяц раз
твой набираю номер.
Ты отвечаешь: «Да. Алло!»
Не знаешь,
что это я.
Я спрашиваю:
«Это райбольница? Дежурный врач?»
Ты отвечаешь: «Нет...» —
так мягко, извинительно, как будто
жалеешь, что не врач,
меня жалеешь.
А я — большой:
меня жалеть не надо!
«Нет» — я тебя заставлю
без запинки
всю жизнь мне повторять
лишь это слово!
На все мои сомненья — трижды «нет!»
Увидимся? — и ты ответишь: «Нет!»
Любила? — «Нет».
Забыла? — тоже «Нет».

Я спрашиваю:
«Это райбольница? Дежурный врач?»
Ты отвечаешь: «Нет...»

10.

Ты ждала вот этой ночи,
чтобы дома — никого.
Дочь ли, доченьку, сыночка
оставляешь на него,
на чужого, на родного —
на отца и на птенца.
Останавливаешь ноги,
задохнувшись у крыльца.
Кошкой — в сенцы,
когти — в сердце,
точно вор — за образа:
в сердце! В сердце!
Прямо в сердце,
прямо — не через глаза.
Душно сердцу:
сердце — глуше.
Входишь в душу
прямо, не
через уши — духом в душу.
Тесно сердцу: ты во мне.
Ты под ребрами, прохлада,
жар! А я твоя броня.
Обнимать тебя не надо:
ты во мне, ушла в меня.
Охранять тебя не надо.
Ната!..
Смысла острее:
пусть в кварталах Ленинграда
ния лишнее твое
бродит.
Мы — единым слитком:
не разделишь ничего.
Я скажу, чтоб за калитку
утром вынесли его.

11.

Я печку топлю — жар в лицо.
Никто надо мной не сжалится.
А мне и не нужно жалости:
От жалости — шаг до старости.
Я сам не умею жалеть, жалеть.
Любить, как убить,
шалеть — не шалить!
А потом сидеть над убитой счастьем

песней, что вся впереди,
и слушать, как тикают часто-часто
часики у нее в груди.
А печка горит.
А судьба, как судьба:
сослала сюда без суда меня.
Где-то ты служишь, моя раба,
всея любви государыня?.

12.

«Мама, это деда Мороз!
Дядьки, тетки, это деда Мороз!
Мороз! Морозка! — кричит Маринка, —
Тебя хочу пожалеть!» —

и нос,

наверно, красный,
и лоб малиновый,
и бороду трогает, гладит руками.
«Хочу — по головке! Присядь, присядь!»
И я присаживаюсь, дрожа каблукками,
на корточках...

И никого

не хочу спасать.
Ни тебя — растерянную и зардевшую,
Ни общих знакомых, потупивших очи.
Ни черного мальчика,
заглядевшегося
в твои глаза среди белой ночи.
Никого-никого
не надо спасать:
все на палубе,
все —
на проверенном курсе.
А если Маринка мне скажет: «Присядь!» —
присяду: значит, в маринкином вкусе.
Присяду — коль скажет Маринка,
приеду
подарки и елку с мороза — в жилие.
С невытравленной любовью к «Деду»
неосторожно зачали ее.
...Спокойствие!

Это не месть и не мост.

Расчета — ничуть!
И не чувств дуновение.
Просто правда

во весь ее пушкинский рост
задержалась над нами
на это мгновение.

Калуга—Таруса.
1957—1961 гг.

К У К О Л К И

Н. Яковлева

Станком здесь служат пальцы, орудием производства — игла. На тарусской вышивальной фабрике до сих пор занимались только ручной вышивкой. Сейчас для массовых изделий осваивают и машинную, но удельный вес ее в производстве ничтожен. Перейди фабрика на машинную работу, она бы потеряла свое лицо. В том-то и дело, что вышивка хороша только ручная. Тогда она — настоящее искусство, а мастера её — искусники, а чаще искусницы... Вышивка полноправным членом входит в семью изобразительных искусств, она проникла в быт глубже других видов декоративной живописи, хотя ее материалами служат не краски, а нитки.

Мастерицы, работающие на калужской фабрике, знают, что здесь, на калужской земле, искусство вышивки всегда было в большом почете. Ручная вышивка, конечно, предмет роскоши, с глубокой древности украшала она дома богачей и шатры завоевателей. Но вместе с тем народные массы не давали полностью ограбить себя и сохраняли это искусство и в своем быту. В основу работы тарусской фабрики легло именно то искусство вышивки, которое веками сохранялось среди крестьян Калужской области, — цветная перевить, еще и сейчас кое-где хранящаяся в сундуках старожилов. Этот вид вышивки всей своей технологией и орнаментом принадлежит к подлинному народному искусству, процветавшему в течение столетий в нашей области и дожившему в толще крестьянства до двадцатого века.

Когда в Калужской области еще соблюдались древние свадебные обычаи, а в некоторых селах от них не отказались еще полвека назад, дугу жениховской повозки оборачивали рушником — домотканым полотенцем с широкой вышитой каймой и параллельными полосами ручной вышивки.

В избе, где праздновалась свадьба, вдоль стен протягивали тонкие бечевки. Подруги невесты приносили по несколько рушников своей работы и вешали их на веревку, чтобы «покрасоваца». Вся изба вспыхивала яркими красками причудливой вышивки. Сквозь проветы промереженной ткани сквозило дерево. Вышивка играла всеми своими цветами на фо-

не бревенчатой стены. Это была традиционная выставка девичьего искусства, приуроченная к свадебному пиру. Вышивка не всегда бывает женской специальностью. Некоторые виды вышивок на Кавказе (например, в городе Нухе) выполнялись исключительно мужчинами. Гобелены, тканые из разноцветных ниток ковры, с техникой, приближающейся к вышиванию, тоже делались мужчинами. Но в Калужской области не только мужчины, но даже замужние женщины этим не занимались. Выставка на свадебном пиру демонстрировала таланты будущих невест.

Лучшего помещения для выставки рушников, чем деревянная изба, не найти: самый избалованный художник не смеет мечтать о выставочном зале, где бы материал и расцветка стен так удивительно подходили к цветовой гамме его картин. Рушники не даром назывались «стенавыми» — коричневатые, красные, оранжевые и охристые тона вышивки подбирались так, чтобы ярким пятном загореться на благородных бревенчатых стенах и составить с ними одно целое. Эти тона как будто извлечены из самой древесины, чуть потемневшей и тронутой временем. Контрастный и скупой употребляющийся синий цвет служил как бы окошком, кусочком дали, летучим и прозрачным элементом. В старину для вышивки употреблялись нитки из чистого льна и шерсти. Лен окрашивался в красный, а шерсть использовалась для остальных цветов. Естественные красители придавали исключительную мягкость тонам и прочность цвету. Эти нитки не линяли никогда.

Калужская вышивка, созданная в крестьянской избе, всей своей гармонией связана с деревянной архитектурой. Ее рисунки и тона отрабатывались веками, чтобы веселить глаз и украшать жизнь тех, кто живет в деревянных срубах, драгоценном даре северных лесов. Мы еще не растратили своего лесного богатства, а на Западе уже только богачи могут себе позволить такую роскошь, как дом из прочного, красивого, холеного дерева. А деревянное жилье обусловило искусство калужской, олонецкой, вологодской и других видов северной вышивки.

Рушники украшали стены. Их клали на деревянное блюдо с хлебом и солью, вешали под иконами.

Одаривая родню жениха рушниками, невеста — она ведь скромница! — извинялась за дурное качество работы: «Уж я замуж поспешила, даров не нашила»... Даже солидные женатые мужчины не упускали случая покрасоваться на соседском пиру красивым семейным рушником. Об этом рассказывается в величальной песне:

Жена на свадьбу Ивана собирала,

Собирала, собирала.

Полотенце ему раскатала,

Раскатала, раскатала.

Золотой гривенок завязала...

Иван вытаскивал из-за пазухи полотенце и отдаривал величавших его девушек завязанными в узелок медяшками, а быть может, и серебряной мелочью. Золотой гривенок — поэтическая гипербола. Сказочный Кашей завел себе даже золотые гвозди. Он хлебает огненные щи и забавляется своими сокровищами: «камни трогает клещами, щиплет золото гвоздей». Страсть к медной посуде, золоченой нитке, вспыхивающей добавочным огоньком в протерженной вышивке, называемой «цветной перевитью», к фольговому рогатому головному убору, к блесткам, всяческой канители и бусам — все это диктуется фоном стен древней и не умирающей деревянной архитектуры.

Свадебные обычаи одни из самых стойких. Выставку рушников и игру с полотенцем во время величания М. Е. Шереметева, умный и тонкий этнограф, наблюдала в 1927 году, когда изучала женскую одежду у крестьян Калужской области. Конечно, к этому времени таких обычаев придерживались только в отдельных деревнях.

В период своего расцвета вышивка составляла необходимую принадлежность женской одежды. Она окаймляла рубахи, поневы, а потом сменившие их сарафаны. Женщины носили расшитые «вислые занавески», то есть фартуки особого покроя, вытесненные потом обычными — «городскими». Участие вышивки в быту свидетельствует о том, что в сердцах людей живет истинное чувство прекрасного и неодолимая в нем потребность.

Девочек обучали вышивке с малолетства. Им показывали, как выдергивать нитки, поперечные и продольные — две вон, три остаются — и орудовать тонкой иглой: перевивать оставленные нитки красным льном, наносить орнамент «штуковкой», «настилом» и вводить добавочные элементы полукрестом. Но этим

обучение не ограничивалось. Как и во всех народных художественных промыслах, изучали не только технологию, но и самую суть дела: один за другим вышивали традиционные элементы орнамента, пока ученица не запомнила, сколько ниток надо использовать на каждую деталь и на любой изгиб. Только заучив все эти вещи и запомнив на веки вечные, как делаются «куколки», то есть женские фигурки, животные и птицы, цветы и деревья, девочка получала кусок холста для самостоятельной работы, где она могла как угодно варьировать все полюбившиеся ей способы. Обучением занимались матери, соседки и, что хуже всего, нетерпеливые старшие сестры. «Сестра, бывало, по голове долбила, а мать заступалась: ты покажи ей чередом, а не бей, не долби!» — рассказывали Шереметевой крестьянки.

В учебниках сказано, что орнамент бывает геометрический, растительный или животный. Это неоспоримый факт, но он не объясняет, почему столетиями из рода в род передаются два—три десятка орнаментальных элементов, которые, варьируясь, образуют законченные и замкнутые в себе единства на коврах, полотенцах, рубахах, одеялах и тканях, то есть на всех видах текстиля. Подобные же орнаменты, видоизменившись на другом материале, бытуют и на керамических изделиях. А законодатель мод, прежде чем выпустить новую ткань или изобрести ошеломительную модель, от которой обезумеют все франтихи, долго листают альбомы, где собраны национальные костюмы, ткани и утварь всех веков и всех народов мира. Чтобы изобрести новое, художники изучают многовековые формы и орнаменты, украшавшие крестьянский быт и одежду, и вдыхают в них новую жизнь. Еще недавно весь Советский Союз облетели птички, перепрыгнувшие со старой парчи на дешевенький бумажный материал.

Никакое искусство — словесное, музыкальное, изобразительное — в его станковой или так называемой прикладной форме не создается на пустом месте и не высасывается из пальца. Оно всегда представляет сложное переплетение традиции и новаторства. Во всяком подлинном произведении искусства можно обнаружить традиционные элементы, иногда выступающие в чистом виде, иногда преобразованные до неузнаваемости, но в основе которых все же лежит старое: «и снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет»... Нельзя даже предсказать, какой элемент старого останется жить в новом — сюжетная основа,



Н. А. КОРОВИН (1861—1939). Дама в шляпе.
Бумага. Односеансная. Граф. карт. Разм. 17х9,4.
Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея
В. Полёнова близ Тарусы

ритм, тончайшее соотношение звука или цвета, но нет художника, который бы не черпал сил в традиции. И отталкивание и притяжение к уже сделанному являются в равной мере живой водой и подоплекой всякого творческого процесса. Вот почему вдвойне драгоценна греческая черно-желтая тарелочка, кусок живописи на холсте или тонко отработанной доске, обрывок ковра или вышитой ткани. Это не только ставшее и законченное в себе искусство, но также импульс к новому, становящему-

ся или только способному возникнуть. Надо их тщательно собирать и беречь как зеницу ока.

Невдалеке от Тарусы есть очаг живописной культуры — дом художника Поленова, где прежде жил и работал он сам, а теперь организован музей. Поленов собирал народную утварь, а к нему съезжались любители и знатоки изобразительных искусств и народного творчества. Среди них были Мария Федоровна Якунчикова и Наталья Яковлевна Давыдова. Обе они коллекционировали вышивку, фарфор и резную кость. Сейчас их коллекции находятся в Музее народного искусства в Москве. Н. Я. Давыдова с 1917 по 1923 год была директором Кустарного музея в Москве. До этого в течение ряда лет она помогала Якунчиковой в работе по развитию художественных промыслов. Они организовали в имении Якунчиковой под Тамбовом вышивальную промысел, а также ковровую и мебельную мастерские. В 1923 году, поселившись в Тарусе, они познакомились с калужской вышивкой и решили устроить здесь артель вышивальщиц, чтобы возродить местный шов — цветную перевить — и жизнерадостный орнамент народной вышивки. Труднее всего было освоить приемы вышивания — мастериц этого дела уже почти не осталось. Помогла учительница села Истомина В. Д. Молчанова, в семье у которой сохранились образцы старинных вышивок и знали технику этого ремесла. Помнили некоторые приемы еще несколько тарусских жителей. У них-то первые вышивальщицы вновь организуемой артели и перенимали технологию.

Среди вышивальщиц быстро выделилась молоденькая девушка Маргарита Николаевна Гумилевская, с первых дней страстно любившая вышивальное мастерство. Получили заказы главным образом на экспорт и самую ответственную работу давали Маргарите Николаевне. Ей же пришлось инструктировать новых вышивальщиц. На международных выставках в Париже и Милане в 1925 и 1927 гг. тарусские вышивки в первый раз получили дипломы и золотые медали.

С первых дней организации артели вплоть до сегодняшнего дня Маргарита Николаевна работает в тарусской артели вышивальщиц, которая сейчас уже стала вышивальной фабрикой. В 1928 году, после смерти Давыдовой и отъезда Якунчиковой, к ней перешла и вся организационная работа — приходилось добывать заказы, раздавать мастерицам и надомницам материал, снабжать их рисунками, собирать народные вышивки, чтобы разнообразить свою продукцию. В тридцатом году

артель объединяла около трехсот надомников. К этому времени построили мастерские и выделили в помощь М. Н. Гумилевской трех лучших мастериц для лабораторной работы. Здесь разрабатывались образцы, их орнамент и технология. Кроме того, М. Н. Гумилевская со своими лаборантками сделали картоны с рисунками народных орнаментов и собирали местную вышивку, с которой снимались вышитые по клеточкам копии. Члены артели приносили старинные вышивки из соседних деревень, и постепенно скапливалось нечто вроде музея.

Художественный принцип артели был дан еще ее основательницами — Якунчиковой и Давыдовой, и М. Н. Гумилевская отстаивала его на протяжении всех лет. Верность народным образцам составляла основную задачу художницы. Она компоновала народные мотивы на изделиях, пригодных для современного быта — скатертях, занавесках, салфетках, дорожках, наволочках на диванные подушки. Из женской одежды, предназначенной главным образом для экспорта, делались платья, немало напоминающие по линии рубаху, которую носили под поневою, и элегантный шушун, нечто вроде кафтанчика с широкими рукавами. По этим моделям, разработанным первоклассной портнихой, художником своего дела Ламановой, разбрасывалась цветная перевить. В крестьянской одежде вышивка чередовалась с элементами узорного ткачества. М. Н. Гумилевская ввела дополнительные швы, мережки, продернутые цветные нитки, заменявшие тканые полоски. Еще в довоенные годы артель освоила мужские вышитые сорочки, для которых Гумилевская разработала новые рисунки по мотивам калужской народной вышивки.

М. Н. Гумилевская смело создавала интересные декоративные серии детских ковриков, женских сумок, рушников и панно. Многие из ее работ находятся в музеях, некоторые специально делались для международных и внутренних выставок. В детских садах до сих пор лежат скатерти и висят занавески со сказочными орнаментами, сделанными цветной перевитью. Художника неоднократно награждали международными премиями, медалями и дипломами. Веселые и яркие вышивки привлекают внимание и пользуются неизменным успехом. В чем секрет этого успеха? Вероятно, в умелом сочетании традиции и новаторства. М. Н. Гумилевская, настоящий знаток и собиратель народного орнамента, умеет творчески его использовать.

Энергия у этой женщины неутомимая, а страсть к народному искусству — неукротима.

Во время двухмесячной оккупации Тарусы фашистами погибли все образцы, собранные до войны. После того как немцев вытеснили из города, артель немедленно возобновила работу, но на пепелище. М. Н. Гумилевской пришлось восстанавливать коллекции образцов, а в сороковые годы сокровища из бабушкиных сундуков значительно поределли. Уже не молодая, истощенная военными бедствиями, измученная женщина все же решила пойти пешком по деревням в поисках обреченной на уничтожение ветоши, столь необходимой тарусским вышивальщицам. Была ли у нее пара крепкой обуви для такого похода? Но в этой области работают только люди, влюбленные в народное искусство, и М. Н. Гумилевская одна из них.

Пройти предстояло несколько десятков километров. М. Н. Гумилевская направлялась в деревни Корекозеево и Поляны. Выбор пал на них, по совету М. Е. Шереметевой: там еще были шансы на счастливые находки. Эти деревни принадлежат к местности, носившей в старину кличку «монастырщина», и там Шереметева в 1927 году по поручению калужского музея обследовала женскую одежду и нашла множество остатков старины.

Эти земли получили свое прозвище, потому что некогда принадлежали монастырям, а крестьяне, сначала монастырские, с 1764 года стали экономическими, то есть находились в несколько лучшем материальном положении, чем их соседи — крепостные. Монастыри тщательно культивировали все формы патриархального быта, в частности старинную одежду с вышивками. Второй район, обследованный Шереметевой, прозывался «гамаюнщина». В отличие от других мест промышленной Калужской области здесь, как и в «монастырщине», еще в начале нашего века сохранялось старинное платье и по-прежнему работали, обслуживая местных франтих, веношницы, изготовлявшие из фольги причудливые головные уборы для девушек, сережницы, китаешницы, то есть специалистки по покрою косоклинного сарафана, московского новшества, сменившего старинную поневу, низальщицы бисера и много других специалисток по затейливому костюму. Бисер низали почему-то хлыстовки. Рогатые головные уборы делались в монастырях. Он состоял из восьми—девяти частей: повойника, кички, сороки, позатыльня с увязками, косиц, махров, бантов... На кичку надевались рога. Сколько специалистов требовалось, чтобы приготовить все эти части? А старухи промышляли еще тем, что пристраивали на голове весь убор. «Я убрать так уберу, што стаить кичка, как на ладонке», — говорила Шереме-

тевой старушка Никитина, знаток рогатого убора. Но мужья уходили на отхожие промыслы и, приобшившись к городской жизни, смеялись над старомодными женами и торопили их перейти на современную одежду. Особенно восставали они против рогатых кичек и, подкапываясь под них, привозили женам из городов яркие, цветастые платки. В деревню проникал узорчатый ситец, вытесняя вышивки на домотканном холсте. Вислые занавески и рушники упрятывались в сундуки. Порывшись в укладке, хозяйки находили тряпье и несли М. Н. Гумилевской обрывки расшитой ткани: «А это годится?»

Денег на покупку ткани у М. Н. Гумилевской не было, и она просто срисовывала драгоценные древние орнаменты и за это платила по рублю за каждый узор: чуть срисовала — плати рубль. М. Н. Гумилевская — мастер своего дела: она подбирала самые интересные образцы и рисовала по клеточкам, как по выдернутым ниткам. Несомненно, что она дала точнейшую прорись, но все же жалко, что не удалось скупить подлинники. Никакая копия их не заменит. В тяжелый 1945 год никто бы на такую покупку не ассигновал ни гроша, но с тех пор прошло больше пятнадцати лет. На покупку древних образцов у фабрики, работающей в их традиции, до сих пор не нашлось средств.

На основе своих рисунков М. Н. Гумилевская, вернувшись домой, сделала со своими лаборантками серию хороших копий-зашивок. Несколько штук пристроили в убогих витринах, а для остальных отвели картонку. Любопытствующим можно в нее заглянуть.

В каком искусстве теория настолько разработана, чтобы появились общепринятые методы анализа композиции? Даже в музыке, хотя устройство музыкальных инструментов основано на математическом расчете и в самой музыке существует довольно точная теория, такого общего метода нет. А в изобразительных искусствах можно уловить только простейшие закономерности, и это легче всего сделать на орнаменте, потому что в нем композиция является самоцелью и все отношения обнажены и упрощены.

Когда в избе устраивалась выставка рушников, женщины, знатоки своего дела, вероятно, обсуждали технологию вышивки, а мужчины, не входя в тонкости, улыбались жизнерадостному, веселому искусству. Как бы ни был знаком орнамент на ярких полотенцах, он не может не вызвать улыбки и своими красками, и причудливыми фигурками, которые на нем изображены.

В калужской вышивке орнамент всегда геометризован, потому что делается по выдернутым ниткам, продольным и поперечным. Холст натягивается на пяльцы, и рисунок наносится белой льняной ниткой. Если пяльцы большие, они прикрепляются к столу. Девушки на тарусской фабрике сидят, чуть опустив левое плечо и положив левую руку на колени, в то время как правая летает по холсту, делая в раз по два—три чуть заметных движения тонкой иглой, и на матерчатом фоне появляются чудо-деревья, птицы и кони.

Один из самых распространенных видов композиции в калужской вышивке можно бы назвать «шествием» — это ряд повторяющихся, обращенных в одну сторону фигурок. Большой частью они даются в профиль — плывут лебеди, выступают павы, летят кони... На одном полотенце изображены птицы; распутив хвосты, они шествуют одна за другой, ступая по оранжевым, синим и желтым квадратикам, обращенным вверх одним из углов. Самый динамический элемент в этих птицах — роскошные хвосты. На некоторых образцах они вздымаются кверху, на других волочатся по земле, но всегда дают движение, противоположное направленности груди, шеи, ног. Такой тип вытянутой композиции — «шествия» — часто встречался в мировом искусстве, когда рисунком заполнялась узкая полоса, кайма или фриз. Как пример можно привести знаменитую флорентийскую вышивку, изображающую шествие гостей на свадебном пиру.

Внутреннее равновесие — закон всякого искусства. Динамические элементы всегда чередуются с такими, которые останавливают или уравнивают движение. Если бы в цветовой композиции, сделанной любимыми средствами — красками, например, или цветными нитками, движение одних элементов не уравнивалось бы другими, глаза перебегали бы от одной детали к другой, не находя успокоения. Чтобы композиция была целостной и зритель воспринимал ее сразу, с одного взгляда, надо замкнуть и успокоить движение.

Вот кайма, представляющая вариант «шествия»: женские фигурки — «куколки», как их называют вышивальщицы, держатся за руки. Это хоровод. Участницы хоровода стоят лицом к зрителю, но все движение линий идет слева направо, как в книжной строчке. Это подчеркивается и тем, что вправо направлены ступни танцующих «куколок». В орнаменте вся пляска, которая называется движением, происходит на месте: плясуньям нельзя вырваться из своей каймы, шествие никогда не выйдет за пределы удлиненного фриза. Для этого под углом руки двух соседних «куколок», между

каждой парой повернутых направо ног, возникает крошечная, неподвижная фигурка. По размерам это ребенок. Дети не позволяют матерям убежать за пределы отведенного им пространства. Противовес основному движению найден.

Удивительное решение мастер народной вышивки нашел в «шествии» коней с всадниками. Кони тяжелой поступью идут справа налево. Всадники обращены лицом к зрителю, как Мефистофель в иллюстрации Делакура к Фаусту. И так же, как Мефистофель, всадники из крестьянской вышивки широко разводят руками. Правой рукой они прикасаются к гриве коня, а левую подают плывущим в воздухе маленьким женским фигуркам, «куколкам». Второй рукой «куколка» держится за морду следующего коня. Волнообразная линия, образованная руками всадников и «куколок», продолжается, закругляясь, конскими мордами.

В этой композиции есть два движения: общая направленность шествие коней и противоположная ему волнообразная линия рук и парящих «куколок». Но второго движения недостаточно, чтобы остановить тяжелую поступь коней и прижать все шествие к земле. И тут художник утяжелил конские копыта да еще использовал хвост как пятую ногу, вонзив его под прямым углом в край каймы.

«Шествие» — один из характерных типов калужской вышивки; другой, состоящий из трех элементов, можно было бы прозвать «тройчатками». Это замкнутая в себе, целостная композиция. Две динамические фигурки — лошади, птицы, олени, люди — мчатся навстречу друг другу, но между ними выросло препятствие — декоративный элемент, статический или наделенный противоположным, уравновешивающим движением. Боковые фигурки одинаковы, но разнонаправлены; в них осуществлен тот своеобразный параллелизм, который свойствен всем видам народного творчества и так заметен в песнях.

Два оленя с поднятыми хвостами и роскошными откинутыми рогами, немного напоминающими елку на детском рисунке, рвутся вперед. Мордой, грудью и ногами олени обращены друг к другу. Веером раскинувшиеся рога упираются в верхний край вышивки и как бы приподнимают животных: сейчас они станут на дыбы и стукнутся лбами. Но между ними выросло дерево с правильными симметрическими ветвями — оно не допустит столкновения.

Забавная деталь, указывающая, как строго были разработаны все линейные отношения в старинной вышивке: если продолжить цент-

ральную линию рогов обоих оленей, они сомкнутся под углом приблизительно в шестьдесят градусов в самой середине вышивки в том месте, откуда растет чудо-дерево. Старшая сестра несомненно вдалбливала это соотношение своей ленивой ученице.

Живописный центр «тройчаток», то есть то место, откуда исходят или куда возвращаются, уравниваясь, все линии, находится в самой середине этих композиций. Глаз всегда останавливается на композиционном центре: художник умеет его определить, а зритель, не посвященный в тайны ремесла, находит его инстинктивно. Вся композиция группируется вокруг центра, и он обеспечивает ее единство. В двух вазах выросли цветы, рвущиеся вверх и во все стороны, а между ними стоит крошечная подбоченившаяся «куколка». Глаз останавливается именно на ней, а не скользит по отдельным линиям, изображающим стебли. Они воспринимаются все сразу, целиком, потому что подчинены центру.

Мастера народной вышивки умели создавать из традиционных элементов новые композиции. «Тройчатка», состоящая из одного устойчивого и двух динамических элементов, бесконечно варьируется, так что даже число элементов может быть нарушено и сама форма трюичности разбита.

Два коня с удивительно благородным вырезом шеи, олицетворяющим движение вверх и вперед, летят друг другу навстречу, а та устойчивая фигурка, что должна быть посередине, раздвоилась и посажена на круп каждой лошади: появились всадники. Но они оказались слишком легковесными, чтобы остановить лихой бег лошадей, и художнику пришлось прибегнуть к хитрости: хоть у лошадок уже есть по две пары подвижных ног, вышивальщица снабдила их еще парой не то ног, не то подпорок на самой середине брюха. Эта подпорка поставлена так, что она уравновешивает движение двух настоящих пар быстрых ног.

Интересное и неожиданное решение принесла «тройчатка» с тремя пляшущими женщинами. Тяжелая фигура, немножко напоминающая вятские глиняные игрушки, находится в центре, две плясуньи по бокам. Особенность этой композиции в том, что верхняя часть «куколок» представляет легкий, летучий элемент. Это впечатление создается благодаря поднятым вверх рукам двух боковых плясунь и опущенным от локтей растопыренным рукам центральной. Нижняя половина вышивки — юбки — тяжела и устойчива. У боковых «куколок» они сделаны в виде прямоугольников, а у средней это колокол — треу-

гольник со срезанной вершиной и широчайшим основанием. Юбки имеют свое особое движение. Уравновешивая и привязывая к земле всю композицию, они в то же время противопоставлены друг другу.

Но верхняя часть оказалась недостаточно легка, чтобы внимание зрителя не сосредоточилось на геометризованных юбках, и художник прибегнул к небольшому трюку: он снабдил боковых плясуний добавочной парой рук или линий, движущихся, как руки, но идущих от головы. Когда в пляске участвуют руки, в каждый момент они занимают новое положение. Хорошо мастерам кино: у них для этого есть смена кадров. А как же быть скульптору или художнику, если он хочет передать непрерывность движения, а не статику застывшего мига? Не это ли желание толкало индусских скульпторов на создание многоруких фигур? Мастер как будто заставляет время участвовать в своей пространственной работе и фиксирует не один момент, а несколько сразу. Вспомним, что в индусском танце огромную роль играют именно руки...

Жилплощадь на вышивке дефицитна: внутри «куколок» и между ними она используется для введения новых цветовых элементов, подчеркивающих или перебивающих ритм. Эти кусочки просвечивают, как окна с решеткой, а иногда они плотно защищены цветной ниткой. У петуха, пляшущего с женщиной, синее просвечивающее оконце на месте сердца, а в воздухе вышивки плывут синие квадратики.

Калужская вышивка дает богатые фактурные возможности. Штуковка, настил, полукрест и собственно перевить создают совершенно различную поверхность, то просвечивающую, то плотную и тяжелую. Сорта ниток увеличивают разнообразие; сейчас в ходу мулине, шерсть и лен, в старину мулине не употреблялось. Лишь изредка разрешается пустить шелковый или золотой огонек. Очень важно подобрать такой материал, который гармонировал бы с набором ниток. Раньше, в крестьянском быту, обычно употреблялся домотканый холст, на фабрике идут в дело только фабричные материалы. Трудно отказаться от привычных предрассудков, например, от мысли, что чем дороже материя, тем она лучше. В нас столько лет воспитывали уважение к крепдешину, что не так-то просто взять редину и восхититься ее прелестью. Вот почему на тарусской вышивальной фабрике шли горячие споры относительно материалов, по которым стоит вышивать, и у редины было мало сторонников. На помощь М. Н. Гумилевской в защите редины первой пришла Тоня Антонова, которая уже четверть века работает

в артели. На войне Тоня потеряла мужа, и сама воспитала двух мальчиков в крохотной-прекрохотной комнатенке. Про вышивальщиц обычно забывают, что они художники и должны не только на фабрике, но и дома иметь условия для работы: простор, свет... Скромная Тоня Антонова, чьи работы всегда премировались на конкурсах, устраиваемых на фабрике, а также выставлялись на Выставке народного искусства в Манеже (1960) и находятся в экспозиции Музея народного искусства в Москве (за них Антонова получила диплом), конечно, и не заговаривает о том, что и дома ей следовало бы иметь специальную комнатку со столом для рисования, как в том домике, что был в прошлом году выстроен городом для М. Н. Гумилевской.

Построили бы Тоне такой домик, и все вышивальщицы, которым она помогала осваивать цветную перевить, прибежали бы к ней на новоселье и помогли развесить какие-нибудь яркие панно, которые Тоня вышила бы для украшения нового жилья. Фабрика многим обязана Тоне, воспитаннице детского дома и прирожденному художнику. Ее всегда можно видеть в цехах, куда она бежит по первому зову, чтобы помочь освоить новый шов или разработать технологию нового образца. Тоня Антонова великолепно изучила цветную перевить и калужский орнамент. Редину она защищала горячо, потому что сразу увидела, как подходит этот материал для вышивки: нитки выдерживаются легко, счет клеток облегчен, а по цвету и фактуре редины служит отличным фоном для перевити. Ведь в ее структуре есть что-то общее с домотканым холстом. Из цветной редины хорошо выходят скатерти, салфетки и занавески для массового производства. Годится она на летнее платье, но еще лучше для женской одежды шерстяной флагтух...

Моды меняются. «Стенавый рушник» был бы в московской квартирке таким же анахронизмом, как хозяйка в поневе. Но вряд ли многие себе представляют, что моды внедряются: материя, из которой шилась понева, могла бы приобрести такую же известность, как знаменитая шотландка, проникшая во все уголки земного шара. Для этого надо было бы «пустить» поневную материю, популяризировать ее, обработав на современный лад, сделать из нее красивые модели платьев, юбок, костюмов. Точно так и с вышивкой. Чтобы франтихи заинтересовались вышитыми платьями и ввели их в свой обиход, в моду, нужно отказаться от стандартной блузочки, над которой работает сейчас Тоня Антонова, размещая на ней поразительной красоты вышивку, а разрабо-

тать специальные модели с изобретательностью и настоящим вкусом. Если над созданием моделей будут работать люди масштаба Ламановой, вышитым изделиям будет обеспечен настоящий успех.

Вышивка — драгоценная вещь, ее нельзя расточать на унылые, заурядные модели. Ламановский шушун и платье-рубаха выдерживали конкуренцию прелестных вещей, созданных парижскими законодателями мод, потому что совмещали оригинальную вышивку с безукоризненным и остроумным покроем, который сам по себе является искусством. А старый шушун способен воскреснуть и снова покориť женские сердца: ведь вещь эта вне текущей моды и поэтому в любой момент может стать последней новинкой и гвоздем сезона, особенно если, как сейчас принято, он будет выпущен в наборе вместе с юбкой, сумкой и кашне. У фабрики есть для этого отличный материал — шерстяной флагтух, художники — М. Н. Гумилевская и Антонова, исполнители первого разряда — Гольнякова и Крестова. Но модельера нет, и никто не думает о том, что его следует найти. Обидно тратить силы, время, труд и талант незаурядных вышивальщиц на стандартные, скучные модели блузок и платьев.

На обязанности Гольняковой и Крестовой лежит размножение рисунков для вышивальщиц. Их основной инструмент не игла, а тонкая акварельная кисть. Их обучили этому делу на фабрике, где они работают с середины сороковых годов. В четверг у них творческий день, и они сочиняют собственные композиции. Удачная работа может пойти в производство. Девушки в деревнях изобретали новые орнаменты, нанося рисунок белой льняной ниткой на ткань, зажатую пальцами. Сейчас рисовальщицы на фабрике обзавелись кисточками, а клетчатая бумага заменяет им ткань. Но по самому методу их рисование больше похоже на процесс вышивания, чем то, что делалось белой льняной ниткой на ткани. Деревенская вышивальщица видела весь орнамент в целом, когда наносила контур и намечала ниткой основные ритмы будущей вышивки. Гольнякова и Крестова привыкли работать крошечными мазками, которые соответствуют стежкам. Мазок воспроизводит движение иглой с вдетой в нее ниткой. Рисуя, они идут от детали к целому, на первый план выступает технологическая, а не орнаментальная задача. Это мешает им стать самостоятельными художниками в области вышивального искусства. Руководству фабрики нужно подумать о том, как способствовать продвижению своих работниц, чтобы перед каждой

из них открылся путь к самоусовершенствованию, к вершинам своего ремесла. Прежде всего это умение рисовать, графические навыки, потом — знание орнамента, его законов. Фабрика все время пополняется молодежью, приходящей прямо после десятилетки. Это полные сил девушки, которые охотно пошли бы в рисовальные кружки и занялись бы изучением орнамента и других видов декоративной живописи, близкой к их производству. Иначе, когда старое поколение сойдет со сцены, художников придется ввозить издалека, а они не будут специалистами по калужской народной вышивке, и фабрика отступит и от своих традиций, и от своей неповторимой специфики. Обучение живописной грамоте несомненно выявит немало талантливых людей среди тарусских вышивальщиц.

Хоть мы и говорим о фабрике, на самом деле тарусские вышивальщицы заняты на производстве, которое мало чем похоже на фабричное. Это старинный художественный промысел, чудом уцелевший в маленьком и прелестном городке. Чтобы сохранить его и впредь, надо тщательно обдумать все, что поможет ему оставаться подлинным искусством.

Художественный промысел — это культура маленького города. Казалось, она должна пропитывать всю его жизнь. Между тем тарусские жители чувствуют свой промысел только в том, что около четырехсот человек получают на фабрике зарплату. Ни один вышитый лоскут не остается в городе. Даже фабрика не оставляет себе ни одного экземпляра изделий. Сохраняются только рабочие рисунки по клеточкам, но они не производят никакого впечатления, потому что орнамент сделан не тем материалом, для которого задуман. Скучный рисунок не воспитывает вкуса. На выставку таких рисунков пошли бы только узкие специалисты. В Тарусе даже не сохранилось фотографий уникальных работ, а за них награждали дипломами и медалями; их вывешивали в столичных музеях. М. Н. Гумилевская, если захочет вспомнить, что она художница, может вытащить золотую медаль, полученную ею на выставке в Брюсселе в 1958 году. Медаль действительно золотая, тяжелая и очень красивая, но художница, наверное, предпочла бы, чтобы копии ее работ в вышивке, а не на бумаге висели в музее вышивального искусства в Тарусе. Потребность в таком музее назрела. На тарусской вышивальной фабрике нет ни одного подлинника народной вышивки, в традиции которых она работает. Надо поехать по деревням и собрать последние образцы, если они еще со-

хранились. Чем дольше откладывать это дело, тем меньше шансов на успех. Кроме раздела старинной вышивки, в музее должны экспонироваться лучшие вышивки фабрики и сохраняться образцы массовых изделий; музей будет служить и для выставок текущей работы. Сейчас тарусские вышивальщицы в худшем положении, чем девушки, приносившие на свадьбу свои рушники и вешавшие их вдоль стен, чтобы «покрасоваца». Такие выставки стимулировали бы творческие задатки вышивальщиц и способствовали расцвету фабрики. В городке, каждое лето заполняющемся дачниками, такие выставки пользовались бы большой популярностью и привлекли бы внимание к калужской вышивке.

А купить вышивку в Тарусе тоже, конечно, невозможно. Если бы в каком-нибудь учреждении, в школе, скажем, захотели бы положить на стол вышитую скатерть, ее бы купили в Москве, и не известно, какую — тарусскую или олонеккую... Можно ли себе представить, чтобы человек, приехавший в Венецию, не купил на память стеклянных бус или стаканчика из венецианского стекла? А люди, приезжающие в Тарусу, даже не подозревают, что в тихом доме на высокой ули-

це создаются прелестные калужские вышивки. Правильно ли это?

Таруса — город вышивальщиц, и как приятно было бы, если б на пляже запестрели вышитые фартушки и платица на детях; выкупавшись, девушка надевала бы пляжный вышитый халатик, а по городу расхаживали вышитые платья, шушуны и накидки... А в домах пестрели занавески, скатерки и салфетки тарусской фабрики.

Художественный промысел маленького города только тогда определит его лицо, когда изделия войдут в быт, а музей и выставки, проводимые регулярно, привлекут толпы горожан и гостей. Тогда человек, который скажет, что он тарусянин, услышит в ответ: «Это там, где вышивают?» Слишком мало сохранилось художественных промыслов, чтобы забывать о них и равнодушно проходить мимо в тех местах, где они еще есть.

М. Н. Гумилевская вышивает себе к Первому мая блузку. «Пусть они увидят, что это красиво. Я надена и пойду по улицам». Женщина, получившая столько золотых медалей, тоскует по признанию ее искусства в родном городке — Тарусе.

Ф. Вигдорова

ГЛАЗА ПУСТЫЕ И ГЛАЗА ВОЛШЕБНЫЕ

Из тарусской записной книжки

Выйдя на привокзальную площадь в Серпухове, я поискала глазами автобус на Тарусу. Вон она, очередь. Народу собралось много, видно, автобуса давно не было. Взяла в каске билет и пристроилась последней.

Люди стояли не цепочкой, не по одному, как полагается в очереди, а по двое, по трое и разговаривали между собой. Накрапывал дождь, ветер был холодный, автобус все не шел и не шел. А главное, не было уверенности, что попадешь на него: пожалуй, машина всех не возьмет.

Передо мной стояла старушка в аккуратном подвязанном синем платке, сером, чистеньком ватнике. Резиновые черные сапожки тоже были ладные, чистые, по ноге. Голубые блеклые глаза смотрели без привычной для стариков усталой печали. Говорила она улыбаясь, и го-

лубые выцветшие глаза ее глядели добродушно, а маленький курносый нос придавал лицу что-то детское.

— Смотря какой водитель приедет. Тут есть такой один—он всех нипочем не возьмет.

— Что ж так?

— Жалеет. Много народу для машины непосильно, вот он и бережет, — она сказала это одобрительно и еще раз пояснила:

— Жалеет, понимаешь? Транспорт жалеет.

— А чего его жалеть, транспорт? — сказал сивый старичок, стоявший подле. — Нас с тобой надо жалеть, а не транспорт. Машина, она что? Машину — ее под пресс и переплавят. А нас с тобой хрен переплавят. Понятно?

— А чего ж тут не понять? Понятно. А только транспорт тоже...

— Идет! — сказал кто-то.

И правда: к остановке подходил автобус. На минуту все разговоры умолкли, все мгновенно забыли друг о друге, каждый был поглощен тем, как бы поскорее влезть в автобус. Но, усевшись, тотчас снова заговорили. Водитель был тот самый, что жалел транспорт, но на этот раз он взял всех. Автобус не быстро, но упрямо одолевал дорогу, подсакивая на ухабах.

— Повезло, повезло! — говорила старушка, расправляя на коленях юбку.

— Это я вам всем счастье принес, — опять откликнулся давешний старик, — я везучий. Вот уже третий день после Дня победы, а я все гуляю и гуляю. Родичи — все, как один, бывшие фронтовики. Первый день, девятого, — я у сына в Серпухове, второй — у племянника в Тарусе, третий — опять тут, то же самое, у фронтовика, у зятя. Сильно накачался. Сына школьники приходили поздравлять. Вы, мол, были на войне, и очень радуемся, что вернулись живой и невредимый. Очень торжественно было. Почет!

— Ко мне тоже школьники приходили, — сказал мой сосед, человек лет сорока. Загоревшее еще на зимнем солнце лицо, коричневые руки с короткими загрубевшими пальцами. На нем была выдавшая виды короткая куртка и темные, потертые на коленях штаны.

— Да, и ко мне приходили. Я в Тарусе недавно, а вот узнали, что был на фронте, и пришли поздравить. Но только почета никакого не получилось.

— Это почему же?

— А вот посудите. Входят три девочки. Одеты аккуратно, в руках цветы. Мне жена говорит: «Коля, к тебе пионеры». Ну, я приосанился, приглашаю, садитесь. А они — нет. Одна вынимает бумажку и читает: «Поздравляем защитника Родины, желаем успеха в мирной жизни, в трудовой деятельности», и пошло, и пошло! Защитник Родины!

— А ты разве не защитник? Ты и есть защитник. Чего же ты обижаешься? — удивилась старушка.



К. А. КОРОВИН (1861—1939). Бумажные фонарики. Набросок к картине того же названия, находящейся в Государственной Третьяковской галерее. Бумага. Односеансная. Граф. карт. Разм. 17,4х6,6. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

— Ну, не могу объяснить. Плохо говорили. Больно красиво.

— Так и нужно было, — сказал старик, гулявший на трех праздниках. — Вот ты сидишь сейчас, штаны на тебе заплатаанные и куртка не так чтоб новенькая. А в праздник ты, небось, приделся? Есть у тебя парадный костюм? Вот и слова есть парадные, на торжественный случай. Так уж полагается.

— Есть у меня выходной костюм. Но если б он мне под мышками тянул, в плечах жал, на животе не сходил, а воротник если б, как петля, шею стянул, я б такой костюм носить не стал. Пускай слова будут торжественные, не возражаю. Но пусть они будут... Ну, живые, что ли. А то ведь насыпали слов на бумагу и читают. А что моя мамаша тут же больная лежит — не поглядели. Знай, сыплют словами «трудовой подвиг», «трудовая деятельность», сунули цветы и пошли вон. Правда, у самых дверей одна задержалась, самая из всех маленькая. Поглядела на мамашу и говорит: «Выздоровливайте, говорит, поскорее». Я не против торжественных слов. Пожалуйста, пусть будут торжественные. Да ведь, тут не торжественные слова, а деревянные, понимаешь? Или, как мячики, стукнут и отскочат, стукнут и отскочат.

— Так ведь они от души говорили. Хотели порадовать.

— Нет, — упрямо ответил мой сосед, — от души так не говорят. Если от души — слова не такие...

* * *

Но откуда же они берутся, эти слова не от души? Почему слова поздравления оказались человеку пустыми, округлыми, ничего не выражающими? Куда девался цвет этих слов, их накал, их пронзительность?

Эти слова были присыпаны пеплом других слов, не своих, чужих, не выношенных, не подсказанных изнутри. За ними ничего не стояло, вот почему даже лучшие из них потеряли свой жар, свой цвет и запах.

...Однажды, когда я пришла в Дом-музей Поленова, дочь художника Ольга Васильевна сказала мне:

— Когда в музей приходят на экскурсию ребята, я с первого же взгляда понимаю, какой у них учитель. Я узнаю по глазам. Иногда приходят веселые, горячие, а в глазах — любопытство: «А ну, покажите, что у вас тут есть?» А иногда приходят такие... Ну, как вам сказать? Пустоглазые, что ли... Вот по этим пустым глазам я понимаю, что и учитель у них пустоглазый. Такие ребята ходят за мной лениво, вяло. И сами ни о чем не спросят, и на мои вопросы отвечают, зевая. Скуучно им. Таких бывает очень трудно расшевелить. А бывают... Ах, какие бывают ребята!

И Ольга Васильевна рассказала, как однажды она подвела группу третьеклассников к картине Коровина «За чайным столом».

— Ух, как он их посадил! — радостно воскликнул один мальчик — колесом!

Почему он сказал — колесом? Ведь стол, за которым сидят люди на картине Коровина, квадратный. А как точно сказано, как точно увидено: колесом!

Картина Коровина — торжество белого цвета: тут кружат все оттенки белого — белокремовая скатерть, бело-желтое молоко, белая блузка отливает голубизной, бело-синий кувшин, белый солнечный луч на самоваре, белая тарелка на белой скатерти, белый блик на стене деревянного стула, белая фуражка, белый бант в волосах. Белый — ослепительный. Белый — осторожный. Белый — сияющий. Белый — строгий. Белый блеск, белое кружение — и мальчишка увидел, почувствовал это и воскликнул: «Колесом!»

И дочь художника — она вела экскурсию — не удивилась, услышала, оценила и вместе с мальчиком обрадовалась. Она знала: меткое слово не рождается на пустом месте, оно всегда отражает мысль, чувство. И, напротив, пустые глаза никогда не подарят горячим словом. Пустые рыбы глаза хотят, чтобы слово было пустое, как орех: скорлупа есть, ядра нет.

* * *

*

Однажды я была на обсуждении пьесы, которую поставил Московский детский театр. На трибуну вышла девочка лет тринадцати и сказала:

— Экспозиция тут несколько затянута... Кульминация искусственно задержана... Урбанистические мотивы, пронизывающие спектакль, не кажутся мне оправданными...

По одну сторону от меня сидел представитель Мосгороно. Он одобрительно кивал и был очень доволен выступлением девочки:

— Культурно... Начитанная... — приговорил он.

Соседкой моей по правую руку была Александра Яковлевна Бруштейн. Она слушала, приставив слуховой аппарат к уху, и лицо ее выражало страдание:

— Когда дети матерно ругаются, — сказала она вдруг, — это очень плохо. Но это не так страшно: они подрастут, войдут в ум и перестанут. А «экспозиция» и «кульминация» — это страшнее, гораздо страшнее. Это как парша, от нее никак не отвяжешься.

Верно: страшнее. А почему? Да потому, что внешность невыразительных пустых слов обманчива. Это не слова, это — маски. Они учат ребят не выражать свои мысли, а замораживать их. Или попросту скрывать. Они учат неправде.

Однажды учительница сказала своим ученикам:

— Сейчас вы будете писать сочинение о первомайской демонстрации.

— А если я не была? — спросила одна девочка, — шел дождь, а у меня калоши прохудились.

— Ты говоришь неправду, — ответила учительница, — ты живешь в культурной семье, и не может быть, чтобы тебя не взяли на демонстрацию. Садись и вместе со всеми пиши сочинение «Как я ходила на первомайскую демонстрацию».

Девочка покорно взяла ручку и, склонившись над тетрадкой, довольно быстро написала так:

«Утро было солнечное. Трудящиеся стройными рядами шли на демонстрацию. В голубом небе был слышен рокот самолетов. Люди несли плакаты, лозунги и портреты. Всем было весело и радостно. Я шла с мамой и держала красный флажок».

Тут все было неправдой: первого мая шел дождь. Небо было затянуто тучами. Девочка сидела дома.

— Ведь ты же не была на демонстрации? Зачем же ты наврала? — спросили ее домашние.

— Да где же я наврала? Я просто написала сочинение. Ведь это не правда, а сочинение.

Частный случай? Нетипично? Нехарактерно? Нет, такая узаконенная неправда встречается нередко.

* * *

*

— Я хочу вас спросить, — сказала Ольга Васильевна Поленова. — Вот однажды в «Пионерской правде» была анкета: «Что бы ты сделал, если бы тебе было все позволено?»

Редакция некоторые ответы напечатала. Ответы были хорошие, но только очень между собой похожие. Я бы очень хотела знать, а были другие, непохожие? Вы не знаете?

Случилось так, что я знала. Да, однажды «Пионерская правда» предложила своим читателям анкету, совсем короткую, в один вопрос: «Что бы ты сделал, если бы тебе было все позволено?»

Некоторые ответы газета опубликовала на своих страницах.

«Сначала я купил бы маме стиральную машину, — писал один мальчик, — потом завел бы двадцать кроликов и развел бы большой сад. Я уничтожил бы все болезни».

«Я спасал бы поля от вредителей, лес от пожаров», — писал другой.

«Я освободил бы негров, которые находятся в рабстве у капиталистов», — сообщал третий.

Дети хотели лечить, помогать, строить, открывать новые страны. Это — не удивительно. К доброму открытию, к подвигу — спасти, вытащить из огня, прийти на помощь отважным путешественникам, погибающим в полярной ночи — об этом мечтает каждый мальчишка. Но, веря благородным ответам, которые опубликовала «Пионерская правда», Ольга Васильевна Поленова, человек от журналистики далекий, но детям близкий, твердо знала, что были — не могло их не быть — другие ответы.

Она не ошиблась. Они были. Олег Осинин ответил на вопрос анкеты странно. У него был какой-то свой, таинственный ход мысли:

«Я был тогда маленький. Я встал в семь часов утра. В этот день мне исполнилось восемь лет. В этот день мне очень хотелось разных игрушек, и вот я иду в школу. Начались уроки, и вот остался последний урок — чтение. Все ребята слушают и читают. А я сижу и думаю: хоть бы быстрее урок кончился. В это время вызвала меня учительница читать новый рассказ. А я и не знаю, какой. Она спросила: «Ты слушал?» Я сказал: «Нет».

Тогда она взяла дневник, и поставила «два», и сказала: «Садись». Я сел и думаю: «Хоть бы она ушла совсем». Я бы тогда не ходил в школу, и мама не смотрела бы мой дневник. После школы я пришел бы домой и пошел бы в кино на четыре часа и вечером на восемь часов».

Это написал одиннадцатилетний Олег. Он рассказал об одном дне, воспоминание о котором жило в нем и мешало, как заноза. Потому, что день рождения — это день мечты, день больших ожиданий, день больших надежд.

А вместо подарков, игрушек, кино — двойка. И дома возьмут дневник, и увидят эту двойку, и будут ругать. И день потемнел, и тень от него протянулась из первого класса в четвертый, и на вопрос «что бы ты сделал, если бы тебе было все позволено?» он ответил рассказом об этом дне: «Я сел и думаю: хоть бы она ушла совсем...»

Ответ Нади Розановой тоже не был опубликован. Она написала так:

«Если бы мне было все позволено, я пила бы по ящику лимонада. Когда бы не было мамы и папы дома, я включила бы телевизор и специально легла бы спать, не выключив его. Если бы я еще ходила в детский сад, я выливали бы под стол молоко, не спала бы в «тихий» час. А когда бы я пошла в школу, мне подарили бы на день рождения ручку, которая решала бы все задачки. Я бы побольше спала. Уроки я бы не делала. Я пропускала бы занятия в кружках. Побольше бы ела мороженого. Когда бы я пошла работать, я выбрала бы работу полегче, или совсем бы не работала. Если бы я стала летчиком или парашютистом, я побывала бы в больших городах Советского Союза».

Лентяйка? Индивидуалистка? Эгоистка? Бездельница? Я думаю, ни то, ни другое, ни третье. Просто замученный воспитанием человек, человек, который по горло сыт всякими запретами: не тронь, не шуми, не сиди без дела, садись за уроки, пей молоко, не ешь мороженого, убери, отойди, замолчи... И человек взбунтовался, хоть на бумаге, а взбунтовался.

— А ведь она превосходно понимала, чего от нее ждут, — сказала Ольга Васильевна. Она знала, что надо написать, чтоб ее ответ напечатали в газете. Но у нее накипело на душе. И она решила выложить все начистоту. Верно?

Верно. А ведь Надин ответ никак не зачеркивает тех, высоких и благородных, которые напечатаны. Но половина правды, три четверти правды, девять десятых правды — не есть правда. Так же как и не было бы даже намеком на правду, если бы напечатали только ответ Нади или, к примеру, Оли Панкратовой: «Я ходила бы в кино бесплатно. Поехала бы в Ленинград бесплатно и осмотрела бы Зимний Дворец. Каталась бы на карусели бесплатно, целый день. Облетела бы весь мир на самолете, бесплатно. И еще я полетела бы на Луну».

Правда — это все разнообразие ответов, желаний, стремлений. И зачем пугаться таких ответов, как Надин, Олин, Олегов? Испуг этот ведет к одной очень страшной вещи: ребята заранее знают, чего от них ждут. Им кажется,

они усвоили «как надо» и не раздумывая, не размышляя, не пишут — катают — «как надо». Они знают правила игры, они знают, что от них ждут не правды, а сочинения. А что такое узаконенное вранье безнравственно и наносит непоправимый ущерб — это остается за скобками.

* *

— Я хотела бы, — говорит Ольга Васильевна, — чтоб люди навсегда сохранили волшебные глаза. Волшебные глаза все видят, будто впервые: свежо, четко. И насквозь. Это очень понимаешь, когда смотришь на детские рисунки. Вот если б осталось это на всю жизнь, чтоб глаза не становились пустые, чтоб не теряли бы этой свежести, и чтоб не привыкали к весне, к зиме, осени, чтоб всегда видели, словно впервые. Понимаете: не привыкать! Все впервые!

* *

...Ты взглянул вверх и увидел белую полосу, прочертившую небо. Ты не слышал, как пролетел самолет, но по этому длинному белому следу знаешь: он здесь пролетал. Вот так же по разным приметам, встретившись с детьми, побывав в школе, библиотеке, я узнавала: здесь была Ольга Васильевна, она оставила след.

— Ты хорошо читаешь стихи, — сказала я одной девочке.

— Это меня Ольга Васильевна научила. Я читала стихи про море, а она говорит: «Ты читаешь только языком и губами». Я говорю: «А как надо?» А Ольга Васильевна говорит: «Ты читаешь и ничего не чувствуешь, ничего не видишь». Так ведь я и правда никогда моря не видела? А ты, говорит, поднимись рано утром или в сумерки на гору. И посмотри вокруг. И подумай. Я и пошла на гору и глядела далеко, далеко. Я все равно моря не видела, а читать стала хорошо. Почему такое?

* *

Ольга Васильевна по глазам узнает, какой у ребят учитель. Думаю, еще хорошо узнавать это по ребячьим сочинениям.

Восьмого марта в шестом классе дали тему сочинения «Моя мама». Боря Б. написал:

«Я очень люблю свою маму. Она веселая, добрая, никогда не ругается. Вот наша соседка ругает своего сына и обзывает его всякими словами. А мама ей говорит: «Ну, за что ты его? Ты что себя маленькой не помнишь? Так же делала и еще похуже».

Учительница на полях приписала: «Ты не

отметил таких качеств характера своей мамы, как трудолюбие и принципиальность».

Рядом с этими словами рукой Бори написано: «А моя мама не принципиальная, но все равно я ее люблю».

Под этой строчкой рукой учительницы поставлена двойка. И все же я думаю, что в этом поединке победителем остался Боря.

В Тарусской школе я тоже читала сочинения о мамах. Володя З. написал так:

«Я пришел домой и задумался: я сам не знаю, за что я люблю свою маму. Люблю и все».

Спасибо учителю: он оценил Володину сдержанность и не поставил ему двойки.

В Тарусской школе много хороших сочинений. Вот сочинение «Первый снег».

«Начались первые холода. Вечером не выйдешь без варежек, так тебя мороз и начнет за пальцы щипать, по щекам шарить. И вдруг пошел первый снег. Он шел, как дождь — наискось. И люди говорили: «вот и зима пришла!»

Коротко. Выразительно. Эти глаза не утратили умения видеть, потому и слова нашлись не пустые. А учительский красный карандаш не подчеркнул слова «шарить», не нашел его нелитературным или неуместным.

Вот несколько строк из сочинения «Мой характер».

«Я иногда говорю неправду. Например, когда я пролила бидон подсолнечного масла, то свалила свою вину на кошку. Знаю, что поступила неправильно, но сделать с собой ничего не могла».

И это сочинение убеждает: учитель не ждет стандартного ответа, а ребята пишут то, что им хочется.

«Я люблю бывать в Поленове, — пишет девятиклассница. Люблю смотреть картины. Люблю смотреть на стекло, под которым лежат разные памятные для семьи Поленовых вещи. Тут и вышитый бисером кисет, и старинный письменный прибор, и визитная карточка Тургенева, тут и солонка Державина. Она синего стекла и украшена серебром. Тут много всяких предметов. Они молчат, ни о чем не рассказывают, но оторваться от них не можешь. Сначала я думала, это потому, что я, например, знаю об этих вещах по рассказам Ольги Васильевны. И знаю, что синяя лампа — это та самая, что на картине Поленова «Больная». Но другие, совсем новые экскурсанты, этого не знают. А все равно стоят подолгу, смотрят и думают. «Немые свидетели», — сказала про них одна женщина. Она стояла долго и долго смотрела, и вдруг сказала: «Немые свидетели».

Среди разных тем для сочинения была и такая: «Через двадцать лет». Старшеклассники писали о том, как они приедут в Тарусу в 1980 году. Одни к тому времени собирались стать замечательными учеными, изобретателями, другие — врачами, архитекторами, третьи — конструкторами самолетов. Конечно, очень многие возвращались в Тарусу прямо с луны, куда летали запросто:

«А потом мы все пошли в школу, чтобы встретиться с Мишей: он приехал в родной город, чтобы рассказать о своем полете на Луну. Все мы слушали его с большим интересом. Он, когда был школьником, уже мечтал летать на другие планеты. И вот его мечта исполнилась. Он говорит, что пейзаж на Луне безрадостный — мертвые скалы, высохшие озера. На земле гораздо лучше».

Одна из девочек кончала свое сочинение о 1980-м годе так: «Целый день я ходила по родному городу и повторяла про себя: здравствуй, мой дорогой город, милая моя Таруса! Сколько стран я повидала, в каких только городах я ни была, а лучше тебя нет. Ты изменилась за двадцать лет. Улицы твои стали шире, зелени еще больше, летом ты, как один большой букет сирени. А вот и мой палисадник, дом, где я родилась и провела свое детство. Тут все по-прежнему, все как было тогда, ничего не изменилось».

Это очень точно по чувству: пусть уголок моего детства останется нетронутым, таким, как он мне запомнился и полюбился...

Есть сочинения лучше, есть хуже. Но в них нет стандарта, в этих сочинениях. И этим они привлекают больше всего. Потому, что нет ничего опаснее стандарта. Стандарт отучает мыслить, думать, искать. Стандарт велит идти по проторенной дороге и все, что непривычно, объявляет неправильным и вредным.

Необычное слово, свежий взгляд, неожиданный поворот мысли ему враждебны всегда, постоянно, повсюду.

* * *

— Я вас узнала, — сказала мне в тарусской столовой молодая женщина, — вы часто приходили к нам в школу. А один раз пришли, когда выступал перед нами летчик. Не помните? Он только приехал с фронта. Вспомнили?

Я вспомнила. Я очень хорошо помнила этот день.

В самом конце войны в родной город на короткую побывку приехал молодой летчик. Времени было в обрез, но ему очень хотелось забежать в школу, где он еще так недавно учился. И, взяв за руку свою племянницу, которая поступила в первый класс той самой

школы, куда он ходил десять лет, молодой летчик повел ее знакомой дорогой.

Он довел ее до самых школьных дверей, и тут им повстречалась руководительница первого класса:

— Зайдемте к нам, — сказала она молодому летчику, — встреча с фронтовиком — это прекрасное воспитательное мероприятие. У нас уже был директор крупного завода, заслуженный артист республики и знатный ставленник... А фронтовика еще не было. Пойдемте!

Он согласился. И вошел в класс.

— Вот, девочки, знакомьтесь, — сказала им учительница, — к нам в гости пришел герой, летчик. Он прилетел к нам прямо с фронта. Он учился в нашей школе и был всегда примерным учеником. Он всегда строго соблюдал правила внутреннего распорядка, никогда не опаздывал и аккуратно выполнял домашние задания. Он был вежливым учеником, он не грубил учителям, он...

Я взглянула на летчика. Он стоял красивый, как рак. У него было скуластое лицо и чуть раскосые глаза. И по взгляду этих глаз — веселому, чуть диковатому, было ясно: облик идеального школьника, который сейчас рисовала учительница, не имел к нему никакого отношения. Было очевидно: ему случалось нарушать правила школьного распорядка. Бывало, он опаздывал на уроки, бывало, не слишком аккуратно выполнял домашние задания. И то ли еще бывало!

— Все эти качества помогли ему стать настоящим воином! — продолжала учительница. — Сейчас он расскажет вам о своих фронтовых подвигах и фронтовых буднях!

Летчик смотрел на девочек, словно размышляя, что бы такое им рассказать? И что будет им интересно? Если бы среди них сидел хоть один мальчишка, какой-нибудь веснушчатый, курносый Петька, какой-нибудь любопытный Ленька... Ну, пусть бы они не так уж хорошо соблюдали режим дня, но были бы не такими чистенькими и аккуратными, как все эти девочки в коричневых платьицах и черных фартуках. Летчик-фронтовик — он попросту боялся их. И вдруг, решившись, будто прыгнув с моста в воду, он заговорил.

Он рассказал им, как ночевал однажды в селе, которое только-только отбили у врага. Колхозники возвращались домой из леса, из землянок, где жили около полугода, спасаясь от немцев. И вот, проснувшись, летчик увидел, что у его кровати стоит девочка лет двух. Она была одета в какое-то тряпье, ноги босые, хотя была уже глубокая осень. Волосы у девочки космами свисали на глаза, ее давно не стригли, в доме не было ножниц. В доме не

было ничего — ни еды, ни белья, ни одежды, ни мыла, чтобы умыться.

— А мать у девочки лежала больная, — рассказывал летчик, — она в землянке схватила лихорадку, и ее принесли домой почти без памяти и положили на печку. А девочка — голодная, холодная, грязная. И мы с товарищем моим Серегой вскипятили воды, посадили девочку в корыто и вымыли. Потом закутали в шинель и стали думать, как бы ее приодеть. А Сереге на гражданке был сапожник. Он взял мою меховую рукавицу и скроил девочке башмаки. Руки у меня, видите, какие большие (летчик растопырил руку), как лопаты! А у девочки ножки вот какие, ну, прямо, как у куклы. Потом из Серегоиной фуфайки мы смастерили ей платье и даже кушачком подвязали. А потом решили ее постричь. У нее глазки голубые, как незабудки, хорошие такие глазки, а за волосами не видно. Но как постричь ее ровно, красиво? Ведь мы никогда этому делу не учились. И вот, послушайте, как мы сообразили: я взял горшок, небольшой, глиняный, ну, обыкновенный горшок, в котором варят кашу, картошку, молоко кипятят. И надел девочке на голову, и постриг по краешку, ровно, ровно! В кружок постриг!

Молодой летчик смотрел на девочек, и видно было, что все эти аккуратные первоклассницы больше не пугают его, они слушали и смеялись, и он готов был рассказывать им еще и еще. Он взглянул на учительницу, ожидая поощрения и похвалы, и словно кто-то остановил его на бегу. Поджав губы, учительница смотрела на него недоуменно и строго. Пробормотав:

— Ну, вот какое было дело, — летчик умолк.

— Мы поблагодарим товарища фронтовика, — сухо сказала учительница, — и займемся устным счетом!

Когда летчик вышел в коридор, учительница шагнула вслед за ним и сказала с укором:

— А я надеялась, что вы расскажете детям что-нибудь поучительное, воспитательное! А вы...

— И знаете, что я вам скажу, — произнесла та, что семнадцать лет тому назад, в сорок четвертом маленькой девочкой вместе со мной слушала летчика, — знаете что... Вот, странная вещь, сколько я с той поры слушала разных знаменитых людей — и артистов, и ученых. И не так, чтобы много запомнила. А все, что тот летчик рассказывал, помню, как будто вчера. Все помню — и девочку с горшком на голове, и как он ее стриг, и как она смиренно сидела, и как он кормил ее шокола-

дом. Ну, все, все, как будто видела своими глазами...

* * *

— Нарисуйте зимний лес! — сказала учительница. Зашуршали листы альбомов. Девочка с туго заплетенной косой обмакнула кисточку в желтую краску и первым делом нарисовала большое круглое солнце. Ее сосед решительным взмахом зеленого карандаша изобразил нечто такое, что без особого труда можно было принять за елку.

Начало было положено. Минут через десять рисовали все. Все, кроме мальчика, сидевшего у самого окна. Зажав щеки ладонями, он задумчиво глядел перед собой.

— Тихомиров Коля! — позвала учительница, — почему ты не рисуешь?

Коля Тихомиров встал. Ростом он был меньше остальных третьеклассников и очень худ. Смуглое большелобое лицо и нос пуговицей были усеяны коричневыми веснушками.

— Почему ты не рисуешь? — голос учительницы звучал нетерпеливо. Глубоко вздохнув, Коля ответил:

— Мне бы лист черной бумаги...

— Черной? Вечные фантазии! Пожалуйста, не выдумывай! Садись!

Мальчик сел и открыл коробку с цветными карандашами. А учительница, проходя мимо молодого журналиста, присутствовавшего на уроке, наклонилась к нему и сказала:

— Это очень отсталый мальчик. Вечно ему в голову приходит что-нибудь несуразное.

А Коля стал рисовать. Он взял зеленый карандаш и нарисовал ровный ряд зеленых елочек. Потом, скосив глаза, взглянул на рисунок девочки, сидевшей неподалеку, и пририсовал рядом с елочкой желтое солнце. Потом взял белый карандаш и попытался изобразить снег. Он провел по зелени елок длинные белые полосы. Вздохнул и положил карандаш в сторону.

После уроков журналист увидел, как Коля шел из школы. Он ускорил шаги и, поравнявшись с мальчиком, спросил:

— Зачем тебе понадобилась черная бумага?

Коля поднял на него глаза и сказал:

— Я придумал картину: идет снег, а в лесу ночь. Все черное — и небо, и все, понимаете? А снег белый. Мелом! Вот если бы мне лист черной бумаги, я бы нарисовал... Здорово? Или нет?

— Здорово! — согласился его собеседник. Он сказал это совершенно искренне. Потому что увидел все: и ослепительно черное небо, и ослепительно белую снежную мглу, белую

землю в черной ночи. Да, тут пригодился бы лист черной бумаги. Ничего не скажешь...

* * *

Эту девочку я в первый раз увидела в Доме-музее Поленова. Она стояла в комнате учеников перед этюдом Коровина: белые березы на хрупком весеннем снегу. Она была в этой комнате одна — светловолосая, с очень яркими синими глазами и смотрела пристально. Потом перевела глаза на этюд Остроухова. Он назывался так же, как коровинский: «Последний снег». Но последние зимние дни здесь были увидены иначе — голубой островок снега на прошлогодней траве. Как бы это точнее сказать: Коровин попрощался с зимой, Остроухов ждал весны.

Девочка подошла к окну, за окном стоял голубой мартовский день — совсем новый, не такой, как у Коровина, непохожий и на остроуховский. За окном было много неба, и легкие весенние облака, и розовый снег, и солнце дрожало в сосульках, в стеклах окон, солнце плясало на стенах комнаты и вдруг остановилось на голубом островке снега, на бурой траве остроуховской акварели.

Через несколько дней я была на читке пьесы, которую собирается ставить драматический кружок Тарусского дома пионеров.

Среди участников будущего спектакля я признала синеглазую девочку. Вечером того же дня я снова пришла в Дом пионеров, чтобы познакомиться с Ириной Ивановной Флорентинской, которая ведет в Доме пионеров хореографический кружок.

Когда открылась дверь и на пороге появилась Ирина Ивановна, кто-то тихо произнес: «В комнату вошли глаза!»

И верно: легкая походка, красивые гибкие руки, и — глаза, глаза — очень молодые, с глубоким сильным блеском.

— Таня! Володя! — сказала она — и, взявшись за руки в мазурке, помчались по кругу девочка и мальчик лет двенадцати. Ирина Ивановна хлопнула в ладоши и сказала:

— Летите! Летите! — и что-то мгновенно изменилось, дети улыбнулись в ответ на эти слова и впрямь полетели, оторвались от земли и полетели.

А потом в медленном чувашском танце плавно пошли четыре девочки. Иногда так приближается гроза — чуть зашумят ветки деревьев, едва приметно заколышатся кусты. Новый порыв ветра, еще, еще, — и вот закипела листва, зашумело все вокруг, голубые стрелы прорезали небо, гром все слышней, налетел вихрь, и небо грянуло грозой. Медлен-

ный плавный ритм набирал быстроту неприемно, но упрямо, и быстрота эта становилась все явственнее, все отчетливее — и вдруг танец стал пляской, плясали четыре девочки и среди них — та, яркоглазая, примеченная еще в поленовском доме.

Я немного узнала из разговора с ней. Как она успевает? Это верно, успеть трудно. Но ей все интересно. В Поленово она не просто так ходит, она будет экскурсоводом. Да, да, что ж тут удивительного? Ольга Васильевна собрала несколько девочек-десятиклассниц и занимается с ними. Они будут экскурсоводами. В спектакле играть тоже интересно. А заниматься в кружке у Ирины Ивановны — очень интересно.

В самом деле, что тут поделаешь, если человеку все на свете интересно? И до всего хочется дознаться, и все увидеть, и все понять. И не беда, если не поспишь ночь за книгой, и если вскочишь ни свет ни заря, чтоб успеть выучить роль, и до школы еще сбегаешь в Поленово — всего три километра — через речку, полем, лесом...

И долго потом, сидя на уроках в Тарусской школе, читая детские сочинения, разговаривая с учителями и ребятами, я вспоминала эту девочку, для которой — как говорил Житков — время идет плотнее, чем в шекспировской драме: для нее все вновь, все хочется узнать, побольше, побольше унести из детства. Кто ей в этом поможет? Школа. Книга. Люди, которые не забыли своих детских лет, которые хотят научить детей видеть, слышать, радоваться — людям, работе, снегу, небу, слову — всему, что на свете прекрасно.

* * *

В газете «Литература и жизнь» не так давно была напечатана статья В. Кочетова под названием «Лицо писателя». Там сказано:

«Сейчас в литературе толчется кучка пижонов. Пишут они о том... что увидели из окна троллейбуса на московских тротуарах, о том, как пушист снег на Никитском бульваре, — чирикают, выходят со своим чириканьем на подмостки «творческих вечеров», аплодисменты девиц со средним образованием принимают, как знаки всенародного признания, и, упоенные дешевым успехом, все дальше отстраняются от большой народной жизни».

Когда не знаешь, о ком идет речь, не можешь ни спорить, ни соглашаться с тем, справедливо ли названы пижонами литераторы, о которых идет речь в статье. Одного нельзя понять: если литератор не видит, как пушист снег на Никитском бульваре, то какой же он литератор? Если он не умеет увидеть ничего

интересного из окна троллейбуса — он тоже не литератор. И настоящий писатель, не пу-стоглазый — во всем, всегда, постоянно, где бы он ни был — в лесу, на целине, у реки, на заводе, в троллейбусе, на улице Горького или в Братске, увидит жизнь, ее свет, ее тени, ее людей. Кто это установил, что именно должен, а чего не должен видеть художник — писа-тель ли, живописец? Все он должен слышать, все видеть — и снег на Никитском бульваре, и московские тротуары. Учитель тоже должен видеть и слышать. И думать. Если слышит он, что мальчишке нужен лист черной бумаги — пусть не спешит объявлять его умственно от-сталым... Пусть попробует понять, что за этим кроется. Пусть не устанавливает, каким поло-жено быть ответу на вопрос, который задаешь детям. Потому, что как только дети сообразят (а соображают они быстро), что положено, а что не положено, так тотчас возникнет стан-дарт. Свои истинные мысли они оставят для себя, друг для друга, а учителю выдадут «со-чинение»: «Утро было солнечное. В голубом небе был слышен рокот самолетов» или «Экс-

позиция тут несколько затянута».

Воспитывать — это значит рассказывать людям правду о жизни и о них самих. Воспи-тывать — это значит помочь человеку найти себя, помочь развиться всему, что в нем богато и причудливо. Было бы слишком лег-ким делом вкладывать детям уже готовые ду-ши или готовые разумы.

Воспитывать — это значит открывать де-тям глаза на мир — огромный, прекрасный и многообразный. Учить видеть, слышать. И если человек научится видеть и слышать, он никогда не скажет пустого, рыбьего слова. Все в нем воспротивится стандарту, поверхност-ному пустому штампу.

«Детское время... идет плотнее, чем в шекспировской драме». Да, именно так. Все, к чему мы привыкли, все, что перестали заме-чать, для детей — впервые, для них все полно загадок. Каждый ребенок — творец, первоот-крыватель. И как только взрослый об этом забудет, он тотчас станет тем садовником, ко-торый выращивает не фруктовые деревья, а телеграфные столбы.



Л. Кривенко

О К А

. природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Ф. И. Тютчев

I

В 1942 году, в последних числах сентября, дивизия снялась. Говорили, что нас везут на фронт. За ночь товарник дотянули по однополойке до какого-то тупи-ка. На рассвете мы выгрузились, пересчитались.

Помню: куда ни помотришь — никаких следов пе-редовой. Дорога, по которой мы пошли, и та не была накатанной, затоптанной. Она проросла травой, обсы-палась листьями и скорее угадывалась, чем виднелась.

Тучи, отжимаясь к скользкой земле, уплотнились и перемешивались с туманом. Где дымился туман, там стоял ранний, с прохватывающей стужей, рассвет. А в оврагах уцелела еще ночь. Верх леса рдел на солн-це, заслоненном от нас не то тучей, не то туманом.

Захотелось вдруг побыть наедине с собою, с этим светившимся туманом, изморозью, словно инеем, за-брызгавшим сразу отяжелевшую шинель, с этим оран-жевым лесом. А когда знаешь, что впитываешь все это, может быть, в последний раз, то и лес, и дорога, и прояснившееся небо выглядит как-то по-особенному: какой-нибудь ржавый, проточенный улитками лист, какую-нибудь провисшую паутинку с нанизанными каплями росы, то вспыхивающей, то гаснущей, разгля-дываешь с таким чувством, будто видишь все это по-настоящему впервые в жизни.

— Почему отстал?

Я стяхнул оцепенение и увидел наклонившегося с лошади Козлова, начальника хозяйственной части полка.

Я не мог объяснить ему, почему отстал, и про-молчал.

— Рота? Фамилия? — крикнул он и сузил глаза.

Я назвался.

— Доложите! Ротному! Пусть наложит взыскание по моему приказу.

Далекий лес, казалось, отодвинулся дальше и по-прежнему рдел на солнце.

Я нагнал своих, когда прокричали привал. Обратиться сразу к ротному Леушину я не решился. Он сидел на краю обрыва, свесив ноги, и глядел остановившимися выключенными глазами вниз на реку, думая о чем-то своем. Руки его, с желтыми от махорки пальцами, обессиленно лежали на коленях. Чуть согнутая бугристая его спина с глубокой выемкой посредине казалась напряженной. Не хотелось нарушать это оцепенение, огорчать его, сердить.

Я знал, что Козлов наведет справку: он все проверял, проверял за всех. Я откашлялся. Леушин не пошевелился.

— Товарищ капитан, разрешите...

Выемка на его спине, переместившись, пропала. Он обернулся. Сухое лицо его сморщила гримаса.

— Ну что там еще? В чем дело? Не тяни! — сказал он с досадой.

Я доложил о распоряжении Козлова.

Леушин махнул рукой и выругался:

— ...с ним. Гляди, Ока.

С обрыва не было видно берега. Внизу лежал застывший туман. Отдельно от всего доходил всплеск набегавшей и откатывающейся волны. Это дышала река. Чуть дальше туман уже полз, и в чередовавшихся разрывах то показывался, то исчезал лежавший на боку бакен. Еще дальше рябила открытая вода.

Противоположный равнинный берег просматривался далеко. Белели отмели. Желтело поле со скирдами, облитое солнцем. Захотелось пропитаться этим солнцем (быть может, прощальной улыбкой лета) и, чтобы ни случилось в жизни, нести в себе тепло, ласку, улыбку окского солнца до конца дней.

— Письмо матери написал? — спросил Леушин.

Я ответил, что написал.

— Пришло письмо на имя командира части от твоей матери, — заметил Леушин. — Она спрашивает, почему нет от тебя писем.

— Да нет событий, о которых стоило бы писать.

Леушин усмехнулся.

— Для матери письмо — целое событие. О международном положении она узнает из газет. Напиши еще, ясно?

— Ясно!

Леушин повернулся к Оке.

II

За последние годы мне все чаще хочется побывать в тех местах, где довелось воевать. Давно выйдя из войны, спустя целые годы, я вдруг обнаружил, что там, в окопах, в обгоревшем лесу или на дорогах, по какой-то необъяснимой забывчивости я словно обринулся, оставил часть самого себя.

Выкроив свободную неделю, я решил съездить за Тарусу, на Оку, в запомнившееся место. Там проходила наша дивизия, передвигаясь к фронту.

Со мной поехал брат Володька, девятиклассник,

прозванный во дворе «студентом».

Мы набрали продуктов, крючков, поплавков. Жить решили только в землянке, вырытой у реки.

...Приехали в Серпухов вечером, добрались до пристани, когда уже зажигались огни. Оказалось, что пароход отчалит только ночью. Володька присел на бревно и задремал.

Мне не спалось. Я закурил. Шум со стороны города постепенно стихал. Темнота густела. Вблизи то поднималась, то опускалась лодка. Хлюпала, ударяясь о сваи, вода. Город, наконец, стал темной стеной. Отделяя эту стену от неба, висело несколько фонарей.

Как одиноки были эти фонари с их бледным, негреющим светом, предназначенным для всех и ни для кого в отдельности.

Я смотрел на стекленевшую воду, морщившуюся кругами от всплеска большой рыбы, на далекие огоньки бакенов, чувствуя, как невольно до предела раздвигается грудь, стараясь вобрать в себя как можно больше окского воздуха.

Стали пускать на осветившийся огнями пароход. Мы не пошли внутрь, а выбрали скамейку на носовой палубе. Пароход, наконец, отвалил от пристани, вспенив воду и закачав пристань.

Когда выбрались на открытую воду, стена города отодвинулась дальше и слилась с темнотой. Фонари, казалось, дотлевали. Они уже не отделяли стену города от неба. Поворот — и фонари потухли. Со всех сторон засквозил ветер: сразу посвежело, осветлело.

Вперед! Если бы можно было вот так, при повороте, отрываться от прожитого?

Володька разлегся на скамейке и, натянув на голову телогрейку, ровно задышал. Я тоже стал устраиваться: придвинул под голову вешевой мешок, лег, потянулся с хрустом, но заснуть не смог. Хорошо спать тому, кто ничего не боится проспать, у кого все впереди. Я не могу сразу заснуть, словно опасаясь проспать удар из-за угла или какое-то, единственное событие или просто прозевать в своей жизни еще один восход или закат солнца или набегающую волну, не такую, какая идет сейчас, скручиваясь от парохода к берегу, а какую-то другую...

Из-за посветлевших, затем расступившихся облаков вышла луна, сперва не вся, а потом, за новым поворотом, вся. В одном отрезе заблестела вода, отчего дальние места стали еще темнее, еще непроницаемые. Я закурил и стал перебирать пройденную жизнь как-то отвлеченно, без сожалений о несбывшемся, без радости об удачах. И когда луна снова накрылась слюдяным облаком, то и река, и дальние леса, и подобравшиеся к берегу кусты перемешались в одну массу. Она, казалось, объединила, скрепила в чем-то общем все эти отдельные существования.

Если спросить себя, о чем думаешь, здесь, на окском просторе, ночью, то ответа не найдешь. Только сознаешь всем своим существом, что думаешь обо всем сразу: о каком-то неразложимом и еще не разгаданном единстве пережитого.

Луна наглухо затянулась. Стерлись берега. Ока, казалось, разлилась. Все смыв, она сомкнулась с небом

А когда ничего не видишь вокруг, то проступает из темноты то, что отложилось в памяти настойчивыми вопросами, требующими ответа.

III

При подходе вплотную к переднему краю сразу узнаешь, что такое-то место особенно гибкое, и все с облегчением, повеселев, идут дальше, когда это место остается в стороне. Не побывав в бою, чувствуешь себя так, будто вышел невредимым из такого боя, из какого не надеялся выкарабкаться. Никому не хочется попасть в яму, заранее зная, что из этой ямы не выйдешь. Иногда такие ямы образуются уже во время наступления.

Помню: в наступлении наша часть прошла вперед и окопалась у подножья высоты. Попытались взбежать на нее с разбега, но отползли. Белая ракета — артподготовка, зеленая — выползают танки, красная — пехота. События в такой очередности и разматывались. Пришлось все же отползти. Пехоту отсекали от танков и положили.

Макушка высоты оплешивела, стала черной и долго дымилась.

Собрали новое наступление. Опять ракеты: белая, зеленая, красная. Опять пехоту отжали от танков. Шесть раз ходили на высоту, и все безуспешно.

Пошел слух, что высота особенная, с какими-то подземными траншеями для грузовиков.

Я никогда не чувствовал себя таким выжатым, «убитым» наполовину, как в то время, когда мы выползли на исходный рубеж. Даже наш ротный Леушин, никогда не повышавший голоса, самые простейшие распоряжения вдруг начал выкрикивать.

Чуть светало. Высота лежала, как гроб. Вжимаясь в землю, мы ждали белой ракеты — артподготовки, потом зеленой... Впереди еще минуты, в которые уместится вся жизнь. А потом — красная, наша черта.

Высота, казалось, шевелилась в дымном воздухе, колеблющемся на солнечном свете. В такие минуты ожидания видишь даже спиной. Небо, солнце, ломкая трава кажутся разобщенными. Все дробилось, перегороденное траншеями, проволочными заграждениями, воронками, рвами.

И вдруг, заставив всех похолодеть, отбирая у нас наши последние минуты, выпрыгнула вверх красная ракета. Никакого прикрытия: ни артиллерии, ни танков.

Леушин, лежавший рядом, с недоумением уставил на меня, словно не узнавая. Я смотрел на него, стараясь угадать, что это такое. Может, он знает. Кто-то закричал «ура-а» и тут же осекся. Красная! Ждать нечего. Встали и пошли вперед, как на цыпочках. Ждем, вот-вот, сейчас начнется мясорубка.

Прошли, машинально пригибаясь, то место, где отсекали пехоту от танков. И тут почувствовали, что эта

высота, казавшаяся заговоренной, теперь потеряла силу. Сразу стало жарко. Побежали вперед. Навстречу выщелкнуло несколько выстрелов, тут же нами прихлопнутых. Мы словно катились под гору до чужих траншей.

Небо, и солнце, и жизнь снова возвратились в согласованном единстве и цельности.

Вывели одного белесого улыбающегося оберлейтенанта. Казалось, он был доволен тем, что случилось. Спросили его, чему он радуется. Он хлопнул себя по лбу:

— Русс, хитрил. Артиллерия нас будила. Мы бегом на места. Бац, бац — и Иван снова все начинай... хитрил!..

Этот немец отдавал, очевидно, должное нашей находчивости, сообразительности.

Мы сами удивлялись тому, как ловко оседлали высоту.

Встречаясь, мы каждый раз снова и снова восхищались, восстанавливая подробности, прибавляя все новые восторженные оценки:

— Во! Здорово! Сообразили в штабе! Вот это да!

Только на другой день мы узнали подробности. Человека, выбросившего тогда красную ракету, чуть на месте не расстреляли. Это был сигнальщик, перепутавший ракеты.

IV

Деревня, в которой я и Володька остановились на рекогносцировку местности, прилепилась прямо к высокому берегу Оки.

Обрывистый, сползающий берег зарос крапивой, полынью, шиповником. Если стоишь возле изгороди, то видишь макушки осин, берез, растущих внизу. Оки не видно. Зато чуть в сторону — оба берега на ладони: противоположный — с песчаной косой, ускользящей под воду и снова, чуть дальше, выглядывающей из воды, и этот — гористый. А еще дальше, в затуманенной сизой дали, оба берега смыкались. Там река делала поворот.

В стороне, за деревней, — ржаное поле с растолченной в пыль дорогой, уходящей к лесу.

Полукругом подымался лес, березовый, в глубине лиловевший. Там, где полукруг обрывался, березовый лес переходил в осиновый, серебрившийся на ветру, ворошившем листья.

Пройдя лесом, обсохшим и гулким, выходишь к пстляющей, прыгающей по камням речке, впадающей неподалеку в Оку.

Затвердевшая на солнце земляника. Запыленная в перелеске, у самой дороги, ежевика, малина. Грибы, нересматривающиеся друг с другом. Бабочки, перепархивающие с одного покачивающегося цветка на другой. Сцепленные в полете снующие во все стороны стрекозы.

И за одной далью новые дали, за новыми далями — новые беспредельные, живущие в каждом из нас дали. И — Ока.

Решили копать землянку, фронттовую, на отлете, в стороне от дороги и деревни, у Оки.

Чтобы не терять времени, я пошел в деревню за топором и лопатами. У запертой лавки с железной дверью я увидел местную жительницу в валенках, обязанную до глаз шерстяным платком. Я сказал, что мне надо. Она повела меня в дом. Когда мы вошли в сени, я заметил лежанку с овчиной, закопченную икону в углу и дверь, ведущую в комнату, с висячим новым блестящим замком. Там, видно, кто-то жил. Отдавая заржавленный топор и погнутые лопаты, хозяйка чертыхнувшись, стянула с лица платок: я увидел словно изжеванное, в мелких морщинах лицо, с губами, собранными в гармошку. Я спросил, как ее зовут. Оказалось, Дарьей.

— Тетя Даша, — сказал я, — вы не беспокоитесь. Я скоро вернусь.

Она не ответила. Я пошел. Она крикнула:

— А топор-то вы мне поточите?

Я кивнул головой. Не мог же я знать, что за эту заточку с нас слерут 15 рублей.

...Котлован для землянки вырыть не удалось. Срезав дерн, расчистив площадку, мы смогли углубиться только на полштыка. Стали попадаться камни, которые и вдвоем не откатаешь. Зря провозились. Решили ставить шалаш в самом лесу, чуть выше берега, в глухом беспроточном месте.

Зажили так, как никогда не жили. Купались, перевертываясь в воде, кричали от восторга. Пили чай, пахнущий дымом и для кислинки и запаха заправленный листом и ягодой костяники. Варили кашу, двойную уху, а то и просто спали прямо на солнышке, отогреваясь от северного ветра.

По ночам сперва, правда, было непривычно: казалось, что кто-то идет, где-то трещат сучья, кто-то ползет, шурша листьями и травой. А потом этот треск сучьев, шуршание травы перестали напоминать о предосторожности. Стало смешно, что мы, не покушавшиеся ни на чью собственность, ни на чью жизнь, никому не вредившие, все же чего-то постоянно опасались.

Раз ночью я чиркнул спичку и увидел убегающую мышь. Пусть бежит. Раз утром влетел в шалаш щегол и, не замечая нас, задерживавших дыхание, повертел шей, принаравливаясь поудобнее склонуть крошку. Потом вспорхнул и, не переставая зазывающе щебетать, полетел. Летит куда вздумается, и никому нет от этого вреда.

С утра, продрогшие, мы вылезли из шалаша, спускались к Оке, раздвигая мокрые ветки.

Ока окутана туманом. Виден только проступающий в пару береговой камыш. Роса так густа, плотна, что идешь по траве, как по выпавшему за ночь первому свежему снегу, оставляя только темно-зеленые следы — стпечатки ног. Следы сразу наполняются ключевой водой. Осторожно раздвигаешь камыши, отводишь водо-



М. В. ЯКУНЧИКОВА (1870—1902). Весенний пейзаж (Дом в парке). Бумага. Офорт. Разм. 46,7х31. 1896 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

росли с вцепившимися в них раками. Высвободив проход, зажмурясь, бросаешься в обжигающую воду...

А по вечерам мы раскладывали большой костер. Мимо проплывали пароходы, баржи. Выгорало небо. И я, глядя на огни, на прыгающих в дыме мотылькс, как когда-то на переходах к переднему краю, задумывался до растворимости самого себя в окружающем.

VI

Я никогда не мог запомнить просто так ни одного номера, ни одной цифры, ни одного факта. Я все запоминаю в связи с чем-то или кем-то. Может быть, поэтому я ничего не забываю. Может быть, поэтому даже тогда, когда я иду лесом или полем, где все отвлекает, я не выключаюсь из прошлого, не могу выбежать из прошлого. Оно стоит передо мною целым рядом обязательств, которые надо во что бы то ни стало выполнить. Не выполнить — значит, оказаться сломленным.

Сегодня такое яркое солнце, что временами ничего не видишь или видишь все на мгновение красным.

Ходил в городок Тарусу за папиросами. Шел все время берегом Оки.

Когда смотришь на Оку, остающуюся постоянной в своем течении, на леса, растворяющиеся вдали и ни-

когда не исчезающие, на облака, уползающие и всегда возвращающиеся, то и в самый разгар солнца, при блестящей воде, при каждой березе, изгибающейся в чаше, чтобы не заглохнуть, видишь неистребимость земли и больше всего начинаешь ненавидеть все то, что хочет раздробить неразрушимое — жизнь.

Я, должно быть, счастливый человек, если в обществе деревьев, реки никогда не скучаю. Я часами могу впитывать наплывающие и тающие в синем светящемся разливе облака. Могу думать о чем-нибудь далеком от облаков, деревьев, от реки, шумящей на перекате.

Но есть какая-то внутренняя связь между этими облаками и мыслями, далекими от облаков.

Володька пришел с сияющим лицом. Я сразу увидел, что он хочет чем-то меня удивить. Так и вышло. Он, оказывается, переплыл Оку и, обследуя дальние болота, где, по нашему предположению, жировали утки, вышел к старому руслу реки и, лазая по песчаному затвердевшему в камень дну, напоролся на наконецник от стрелы — зеленый, заплесневевший наконецник. Я долго обнюхивал этот кусок металла, попробовал на язык.

— Ну что? — спросил Володька.

— Ничего. Скифский наконецник.

— Эти люди, — сказал Володька, — сделали много зла, раз от них остались только ржавые наконецники.

Однажды мы проснулись раньше, чем обычно. В шалаш просочилось несколько капель. Вдруг резко потемнело. Высунувшись, мы увидели, как иссиня-фислетовая туча надвинулась на нас. Треснул гром, разлетевшись на мелкие осколки по всему лесу. Стеной хлынул дождь. Шалаш сразу прогнулся и осел в боках. Раздевшись и связав белье в узлы, мы побежали к дороге. Добежали до дома тети Даши и встали под навес. Как я позже убедился, у тети Даши слух чуткий. Где-нибудь скребнет — она сразу же настораживается.

Дверь приоткрылась. Выглянула тетя Даша и позвала нас обсушиться. Я заколебался. Я знал, что за гостеприимство это, как и за тпор и лопаты, придется расплачиваться по ресторанной таксе. Но Володька вошел уже в дом.

Мы сказали, что живем в лесу, в шалаше.

Она привела нас в сарай, буркнув, что здесь все же лучше, с людьми, чем в лесу с волками. Мы промолчали.

...Вскоре прояснилось. По голубому промытому небу ползли небольшие облака. По крышам, дверям, деревьям, полю, реке передвигались тени.

Шалаш покосился, поредел. А жить оставалось всего три дня, как мы наметили. Решили вступить в переговоры с тетей Дашей: может, она пустит на ночевку, а с утра мы будем уходить к себе. Запросила пятьдесят рублей. Я взглянул на потемневшую в углу икону.

Она вдруг разозлилась и крикнула:

— Бог тут ни при чем!

— Договорились, договорились, — сразу согласился я, чувствуя, что у каждого из нас есть мозоли, на которые лучше не наступать.

Ранним утром с его еще не рассосавшейся ночной свежестью, пропитанной осенними запахами прелой листвы и набухшими за ночь вымоченными старыми грибами, уходили к себе в шалаш.

Возвращались, когда тускнела Ока, усталые, но той усталостью, после которой, продрав утром слипающиеся глаза, чувствуешь себя еще сильнее, еще пружинистее.

VII

Один раз Володька доказывал, разумеется, научно, тете Даше, что бога нет. Все аргументы его не произвели никакого переворота. Володька не знал, что каждый верующий видит в боге своего бога, слепленного из собственных несбывшихся желаний. Бог тети Даши был, как я это почувствовал, особенным. Заповеди «люби ближнего, как самого себя», она, видно, не помнила. Охотнее всего она разглагольствовала о том, что бог покарает грешников силой мстительной, олицетворяющей возмездие.

Но стоило тете Даше услышать шевеление в комнате с вечно висевшим на двери то сомкнутым, то разомкнутым блестящим замком, как она сразу сжималась и, подняв брови, шептала, призывая всем своим видом к тому, чтобы мы вели себя потише:

— Начальник! — и брови ее ползли еще выше, морща лоб.

Откуда это оставшееся раболепие? Слово начальник, кстати, приезжий, которого она как человека не знала и которому она сдала комнату на летний сезон, мог оттяпать у нее огородную землю, вскопанную еще мужем, убитым на войне, перекопанную не раз сыном, тоже убитым на войне.

Человек не может жить, не выплескивая то, что сседает ржавчиной, копотью у него на душе. Излить кому-то душу (если же нет под рукой другого человека, готового выслушать без равнодушия, без усмешки, без самодовольного вида, то хоть дереву, курице, бродячему псу) — значит, вспрыснуть себе противоядие от рака души. И тетя Даша иногда соглашалась с Володькой, что бога нет, лишь бы только поделиться с нами воспоминаниями о муже, о сыне Петре.

Напоследок целую ночь мы плыли на лодке, меняясь на веслах.

Утром с первым парходом уехали.

Тетя Даша проводила нас до самой пристани и так растрогалась, что всхлинула. Скольких людей она уже проводила, которые не возвратились.

Мы стояли на палубе и махали руками, пока пристань была видна. Почему-то тетя Даша стала такой близкой, родственной в своем берложем одиночестве.

Пароход повернул: деревня ушла назад, впереди открылись новые дали.

VIII

С тех пор, как мы оторвались от Оки, прошло два года.

Нет-нет, да и вспоминали шалаш, деревню, тетю Дашу, выхватывая из памяти отдельные подробности.

Помню, сидит Володька за учебником, насупившись, с видом человека, решившего во что бы то ни стало доказать, что он может самому учителю математики «утереть нос», и вдруг хлопает себя по лбу.

«Решил», — думаю я.

А он вскакивает и говорит:

— Самое забавное, что нас в деревне принимали за заправских рыбаков. Идем деревней, вдруг «борода», высунувшись из окна по пояс, кричит на всю улицу: «Ребята, на что сегодня рыба берет?»

— Забавно другое, — охотно подхватываю я, — у нас у самих не очень-то попадалось. На уху настагем — и хорошо! А встретишь этого самого бородача, он хвалит: «Молодцы, верно посоветовали: пять кило наловили за одно утро. Побольше бы, говорит, таких опытных людей, жизнь пошла бы веселее».

— Пожалуй, надо собираться...

— Обязательно, — соглашается Володька. Он всегда со мной соглашается.

...В городе все куда-то торопятся, боятся опоздать, снуют, сталкиваются, как слепые, все перемещаются, и ощущения такие, будто тебе столько же лет, сколько человечеству, начиная летоисчисление от первого неандертальца, случайно выскесшего огонь. В городе, кажется, все заняты только перестановкой слагаемых.

На Оке, где движение видишь только по смене света и тени, по смене погоды и времен года, выходишь из воды, из леса таким, будто тебе снова восемнадцать лет. Снова нет никаких преград ни человеческим устремлениям, ни возможностям.

Я опять это почувствовал, когда снова увидел Оку.

IX

Все, казалось, было по-старому: пристань старая, огни прежние. Река спокойно спала, чуть слышно наплывая на берег и оседая вниз. В то же время все было другим, обновленным, а главное — не зыбким, не прячущимся. Даже дальние огни не тлели в одиночестве, как в первый приезд, а приветливо светились. Хотя было поздно, но людей на пристани собралось порядочно. Перекрикивались, смеялись громко, так, как никогда не смеются в городе. Я и сам поймал себя на

том, что смеюсь, провожая взглядом человека с пучком удочек и огромным скрывающим все его тело кожаным мешком.

Пароход вышел на открытую воду.

Пошли знакомые места. Небо было загромождено тучами. Только из разрывов выпадали дорожки света. Потом подул ветер — все пришло в движение. Начал проглядывать сквозь облака круг солнца.

Я все высматривал каменную глыбу: от нее шагах в тридцати мы поставили шалаш. А вон и избы...

Признаюсь, я не думал, что тетя Даша встретит так по-родственному.

— Лександрыч! — всплеснула она руками. — Не забыл, а!

Хлопая меня по спине, все повторяла:

— Не забыл, не забыл, а!?

— Вижу, не забыл, помолодел, что ли? — спросила она, оглядывая меня и подталкивая к двери без всякого замка.

— Разве не сдала? — спросил я.

— А ну их! Хоть на старости сама у себя поживу.

— Живем, значит, тетя Даша!

— Срок, знать, еще не вышел, — сказала она и засмеялась.

Я раньше никогда не видел ее смеющейся. Она, бывало, все ворчала.

Она никак не хотела меня отпустить на Оку, не напоив чаем с сахаром.

— Приляжь, Лександрыч, с дороги ведь, — суегилась она.

Я прилег и заснул. Должно быть, пока она была в комнате, я крепко спал, а когда она вышла, то наступила та особенная окская тишина, до того непривычная городскому человеку, что я проснулся от жужжания мухи, бьющейся в закрытое окно. На столе стоял остывший чайник. Я обругал себя. Наверное, уже за полдень. Выбежал. Краем деревни вышел к обрыву, к реке.

Пахло особой свежестью, той, которую приносит поднявшийся ветерок, обещающий дождь. Дождь уже шел, но только в стороне, над потемневшим лесом. Дождя не было видно, но видна была синяя с лиловыми краями туча над Окой, и было видно, как пузырьками под тучей закипевшая река, как сгустился, уплотнился лес и как в той стороне все дымилось.

А справа синее небо с непросматриваемой до дна глубиной. Ока здесь сверкала под солнцем. Земля проглядывалась далеко, далеко.

Только в той стороне, где шел дождь, земля парила. Родная земля: постигаемая и одновременно непостижимая.

БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ

Киноповесть

О добросердечных и злоязычных подмосковных текстильщицах будет наш рассказ. Но начнется он в Москве в один из вечеров начала лета...

Эти слова звучат на вступительных титрах фильма...
А затем...

Весенний, прозрачный вечер. Совсем светло, но на перроне Белорусского вокзала зачем-то горят фонари, образуя вокруг себя белые пятна. У платформы международный экспресс, готовый к отправлению. Пассажиры: иностранцы, дипломаты, туристы, деловые люди, отечественные командировочные и полные грядущих впечатлений советские экскурсанты. Провожающие.

С площадки вагона один за другим сходят те, кто не едут. Диктор повторяет по радио:

— До отправки экспресса Москва—Брест—Варшава—Прага—Вена—Париж со второго пути остается одна миута. Просим пассажиров занять места. Провожаящим немедленно покинуть вагоны!

Проводница с флажком в руке решительно занимает место на ступеньке вагона, загораживая вход. За ее спиной на площадке пассажиры машут друзьям и знакомым.

Внизу на перроне стайка девушек из подмосковного текстильного городка Петрищево. Они провожают свою подругу Майю, недавно поступившую манекенщицей в Дом моделей. Она едет в Варшаву на выставку советских мод.

Свисток. И в это мгновение Майя, отодвинув проводницу, прыгивает на перрон:

— Майя Гриднева! В вагон! — испуганно кричит с площадки дама в очках. Но нарядная, изящная, светящаяся заметной, броской красотой, Майя, растолкав первый ряд подруг, кидается на шею девушке, стоящей позади других.

-- Асенька, как же мы теперь врозь жить будем?

В это время поезд медленно трогается, скрипя и гремя буферами. Майя отпускает Асю и, нагоняя плавно отходящую площадку своего вагона, кричит на бегу через спину:

— Честное слово, буду писать!.. Все, все опишу... И ты пиши.

Последние фразы она кричит уже с подножки вагона.

Поезд набирает скорость. Подруги Майи видят, как проводница что-то сердито ей выговаривает, но Майя, не обращая на нее внимания, машет им, поднявшись на цыпочки.

Поезд ушел. И сразу смешивается в кучу стройная линия вытянувшихся вдоль платформы провожающих.

Все идет к выходу: парами, группами, в одиночку. Идут и девушки из Петрищева, оживленно болтая:

— Да, повезло Майке!.. Подумать только — месяц в Варшаве!

— Она говорила: зимой в Венецию поедет...

— Девочки, вы представляете, — Венеция! Я бы померла...

— Венеция, это где гондолы?

— Не гондолы, а гондблы...

У входа на вокзал с той стороны, где отходят дачные поезда, останавливается машина. Это не «Чайка», не «Волга» и даже не «Москвич». Это старенький, видавший виды «газик».

Из него вылезает хорошенькая женщина с кучей свертков и покупок, за нею — высокий молодой человек в клетчатой рубашке.

— До свидания, Дима! Спасибо, что подвезли.

— Не понимаю, почему вы не хотите, чтобы я отвез вас на дачу.

— Не хочу. Так мне удобнее.

Молодой человек мрачнеет.

— Вас, наверно, будут встречать на станции?

— Возможно. Ну, не дуйтесь, Дима.

— Давайте я хоть провожу вас на платформу.

— Нельзя! До свидания.

— Подождите... Когда мы увидимся?

— Звоните... Да, забыла, на днях я приеду на ваш комбинат. Директору нужна какая-то консультация.

— Я за вами заеду, Зоя Павловна.

— Нет... — Она улыбается. — Но после разрешаю проводить...

И вот она уже исчезла в толпе пассажиров, еще раз обернувшись и помахав ему рукой в белой перчатке.

Он стоит и смотрит ей вслед, потом ищет по карманам сигареты и находит пустую пачку.

Девушки выходят с платформы на площадь.

Их пятеро: та, с которой обнималась, прощаясь, Майя, — Ася Шульгина; хорошенькая, веселая Вика Горелова; положительная, полная достоинства Сима Козлюк — бригадир; злоязычница Валя Федцова и добрая, сентиментальная Соня Петухова, которую все почему-то зовут «Сонька — золотая ручка». Они работают вместе в бригаде трафаретчиц на Петрищевском текстильном комбинате под Москвой, неплохо зарабатывают и нарядно по-летнему одеты. Приятно смотреть на них и подслушивать их звонкую болтовню. Говорят они все почти одновременно, кроме Аси, молчаливой и

задумчивой. Это, впрочем, не удивительно: уехала ее лучшая подруга...

— Девочки, предложение: пойдем на улицу Горького в кафе-мороженое...

— У меня денег нет: только на обратный проезд...

— Подумаешь, какие деньги! Я за тебя плачу!

— Девочки, неужели—пешком? У меня туфли жмут.

— Ничего, скорей разносишь...

— Какой там ореховый пломбир! Я когда в прошлом месяце в ГУМ за босоножками приезжала, была...

— А я клубничный люблю...

Подруги уже идут по улице Горького.

— Девочки, смотрите, какие блузки... Вика, Валя... Мне вон та — голубая...

Они рассматривают витрины магазинов.

— Девочки, смотрите, какие шубы...

— Ну, это «Комиссионный». Тут нам не по карману!

— Нет, Ася, ты только погляди, какая прелесть вон та: сверху темная, а отликает серебром, если отойти и посмотреть сбоку...

— Не люблю чужие вещи смотреть... Прощайте, девочки, я, пожалуй, домой поеду.

Это сказала, вдруг остановившись, Ася Шульгина.

— Почему, Ася?

— Так. Не хочется. Да и подзаняться надо, скоро сессия. Я с Майкиным отъездом занятия запустила. И в комнате нужно убрать. Майка так собиралась — все вверх дном...

— Как же ты теперь одна будешь?

— Ничего, поживу...

— А я бы не могла одна жить. Помереть со скуки!

— Я обратно к метро, девочки, до Курского. Успею на восемь тридцать.

Ася повернулась и пошла обратно.

Остальные подруги, болтая, идут вниз по улице Горького.

— Чудная все-таки Аська! Ну, чего понеслась одна?

— Может, у нее свидание!

— Да нет, девочки! Никого у нее нет. Она с прошлой зимы с моим братом Петром переписывается. Он ее очень уважает: говорит — «самостоятельная».

— Выходит, «жених».

— Попробуй скажи ей, рассердится...

— Ой, девочки, у меня же Аськин обратный остался...

Вика достает из кармана жакета два обратных билета и с недоумением их рассматривает.

— Она дома деньги забыла, и я в Петрищеве на двоих брала. Как же она поедет?

Ася стоит у входа в метро и роется в сумочке. Нет, поиски безнадежны: денег нет.

Она раздумывает. Накрапывает дождь.

Девушка укрывается под узким навесом табачного киоска.

Дождь усиливается, и под ногами уже течет мутный поток.

Ася с сожалением смотрит на свои босоножки и оглядывается, куда бы ей перебежать.

С другой стороны киоска расплывается за сигареты молодой человек, который только что проважал на дачный поезд женщину. Он, не торопясь, отходит и садится в стоящую у тротуара машину и только собирается отъехать, как замечает прижавшуюся к киоску Асю. Вглядевшись в нее, он открывает дверцу и машет ей рукой:

— Майя, — зовет он.

Ася невольно оборачивается на знакомое имя. Странно. Молодой человек за рулем явно обращается к ней.

— Да, ну же, Майя! Садитесь в машину, пока совсем не промокли! Вам в Петрищеве? Поехали!

Ася, не долго думая, садится рядом с ним в «газик».

Машина трогается. И сразу прекращается дождь.

— Ну, как нарочно... Вот, и дождя нет.

— Уж все равно. Не сверху, так снизу промокли бы.

Машина поворачивает и начинает объезжать вокзальную площадь.

— Еду и смотрю — вроде знакомая. Ведь вы работаете на комбинате? Вас зовут Майя?

— Вот и ошиблись. Я не Майя.

— Как не Майя? Вы трафаретчица. Я вас знаю.

— Да, трафаретчица. Только я — Ася.

— Не может быть. Вы меня разыгрываете?

— Паспорт показать?

— Не надо. Ну, Ася, так Ася!

Он искоса ее рассматривает, еще не очень веря ей.

— У нас и Майя есть. Вернее — была. Мы ее сегодня в Варшаву проводили.

— С туристами?

— Нет. На ней платья показывают. У нее фигура замечательная. Мы с ней в общежитии в одной комнате жили...

Коридор молодежного общежития в Петрищеве.

Комендант вводит в одну из комнат полную женщину. У нее в руках два чемодана. Сам он еле волочит гигантский баул и постель.

— Вот, здесь! Располагайтесь. Эта койка свободна.

В комнате спартанский порядок, только на столе лежат кучи газет, плечики для одежды и мотки шпагата. На окне букет живых цветов. На одной стене портрет Пушкина работы Кипренского (застекленная репродукция), на другой большое фото красивой смеющейся девушки, в которой можно узнать Майю. Полочка с книгами. В углу под простыней вешалка для платьев.

Женщина скептически оглядывает комнату.

— Бедно, бедно... — говорит она, вздыхая, и раскрывает свой баул. — Как же они тут жили?..

В машине, летящей по омытому дождем шоссе, Ася и молодой человек продолжают разговаривать:

— Я ведь тоже на комбинате работаю.

— Видела. Вы инженер-красильщик. Ваша фамилия — Стрельченко?

— Да. Не так давно моя фамилия на комбинате звучала довольно громко...

— Еще бы, помню... Я была от нашего цеха на совещании, где вас прорабатывали.

— Да. Со мной иногда случается. Красители — такое дело...

— А почему вы думали, что меня зовут Майя?

— Понимаете, тут вышла смешная история...

В это время их обгоняет гигантский самосвал, обдав грязью.

— Клоуны! Ездить не умеют!

— А вы обгоните!

— Чего же мне спешить в таком приятном обществе...

— Скажите лучше, не можете обогнать.

— Слушайте, девушка, я вас подобрал, когда вы мокли в грязной подворотне. Хотите — поезжайте на электричке. Конечно, это не гоночная машина, но ходит отлично.

— Еще три часа, и будем в Петрищеве?

Они замолкают.

— Почему вы меня приняли за Майю?

— Да вот... в лаборатории говорили, что у трафаретчиц есть упомогаительная красотка Майя. Бежали в обеденный перерыв смотреть эту Майю, ну и я пошел...

— Инженер! Серьезные люди!

— А что, разве это не серьезное дело — женская красота?.. Ну вот, пошел и я, увидел самую красивую и решил, что это Майя...

— Ах, какая ужасная ошибка!

— Люблю скромниц.

В это время они уже едут по шоссе за городом и останавливаются в длинном хвосте у переезда через железную дорогу. Стрельченко закуривает.

— Вчера я тут простоял почти полчаса. Не могут мост построить, хозяева!

Мимо вереницы машин идет группа мальчишек, со вниманием дела рассматривая марки. В это время переезд открывают. Мальчишки, поровнявшись с машиной Стрельченко, хохочут:

— Эй, дяденька, ты что, из музея техники машину увел?

Стрельченко, трогая с места, кричит им:

— Сопли утрите, знатоки!

Они снова едут. Мелькают в предзакатном освещении летние подмосковные пейзажи. Ася и Стрельченко незаметно рассматривают друг друга. Их обгоняет пятитонный грузовик.

— По-моему, вы могли бы продать эту машину и с небольшой приплатой купить новенького «Москвича»?

— А зачем мне «Москвич»?

— Ведь, если уж иметь вещь, то настоящую. Видите, даже мальчишки смеются.

— Ну-ка, покажите ваши часы.

— А что, плохие? Лучше во всем ГУМе не было. Не люблю дешевки ни в вещах, ни в людях.

— Насчет дешевки — это вопрос сложный... Корпус у них золотой, дорожке не бывает, а вот механизм... Некоторое время оба молчат.

— Ну, скоро Петрищев. Как ни плоха моя машина, все равно быстрее на электричке не доехали бы.

— А я и не говорю, что она плохая...

Ася чувствует себя виноватой и не глядит на Стрельченко; он чуть заметно улыбается. Молчание. Машина берет подъем. Стрельченко и не замечает, что папироса во рту давно потухла. Он с упоением ведет машину. Теперь уже улыбается Ася.

— А вы не сказали, как вас зовут...

— Меня — Дмитрий, Митя или Дима, как хотите...

На улице Горького, у кафе-мороженое, стоят Вика Горелова, Сима Козлюк, Валя Федцова, Соня Петухова и трое молодых людей в ярких клетчатых рубашках.

— Вика...

— Сима...

— Валя...

— Соня...

— Сережа...

— Женя...

— Эдуард...

— А теперь — прощайте!

— Почему же «прощайте», а не «до свиданья»?

— Мы вас проводим.

— А мы далеко живем.

— Чем дальше — тем лучше.

— Узнаете — испугаетесь.

— А мы храбрые...

— Нас мужья дома ждут.

— Не смешите, синьоры...

— Говорят: минута смеха заменяет триста граммов масла.

— Или три порции орехового пломбира...

Летние сумерки. Ася и Стрельченко подъезжают к Петрищеву. Большие новые дома, зеленые газоны, основные вывески магазинов.

— Ну, вас куда?

— К новому общежитию... Сейчас налево и потом опять налево...

— Знаю.

— А вы, наверно, в Москве живете?

— Нет. Я петрищевский... А все-таки жаль, что вы не Майя.

— Почему?

— Похвастался бы завтра ребятам, как я ловко с самой красивой девушкой Петрищева познакомился.

— А вы им скажите, что самую красивую зовут Асей.

— Пожалуй, придется...

— Ну, еще раз спасибо! У меня, кстати, денег на дорогу не было. Можно сказать — повезло!

Ася, не оглядываясь, вбежала в подъезд, хотя ей очень хотелось оглянуться. А Стрельченко, не торопясь, закурил, зачем-то посмотрел вверх на окна дома, словно стараясь угадать, в каком из них сейчас зажжется свет, и медленно поехал по улице.

Ася взбегаёт на третий этаж. В коридоре останавливается, ища в кармане ключ, но, услышав из-за двери громкую музыку радио, прислушивается и удивленно толкает дверь.

Сперва ей кажется, что она ошиблась и это вовсе не ее комната. Все в ней изменилось. Кровати и стулья передвинуты, на стенах развешаны коврики и салфетки, на полочке, где стояли книги, выстроилось стадо фарфоровых слоников, а книги лежат стопкой в углу прямо на полу.

Какая-то незнакомая женщина, стоя на табуретке, поставленной на стол, прилаживает к лампе большой оранжевый абажур. Во всю гремит репродуктор.

— Ой, кто это?.. С этим радио не слышала, как вошли. Чуть не упала... Поддержите табуреточку, будьте добреньки... Так! Правда, миленький абажурчик? Ну, будем знакомы. Лариса... Уж вы простите, сама взялась за уборку. А вас зовут Асей, я знаю, мне комендант сказал... В тесноте да не в обиде, как говорится...

— Послушайте, нельзя ли радио сделать потише?

— Почему же нельзя? Только я, когда громко, люблю. Ну, уж как-нибудь поладим, у меня характер легкий. А телевизор у вас в красном уголке?.. Да вы уж простите, цветы у вас тут стояли, так я их выбросила. У меня от живых цветов всегда голова болит. У меня розочки есть бумажные, лучше настоящих. Год простоят — только пыль смахивай. Коврик к постельке я вам могу свой дать: у меня два. Импортный, в Подольске купила... Вместе жить — вещей не делить...

— Зачем вы мои книжки сняли?

— А мы для книжек другое место найдем. Красоты от них мало, от книжек-то.

— Я вас прошу поставить книги обратно.

— В принцип пошли? Ну, поставим, дело не большое...

Москва, Курский вокзал. У входа на перрон пригородных поездов Вика, Сима, Валя, Соня и трое молодых людей. Девушки кокетничают. Молодые люди острят.

— Итак, тайна номер один раскрыта. Прекрасные незнакомки живут в Петрищеве. А танцы у вас там бывают?

— Под выходной во Дворце культуры, а в остальные дни, кроме понедельника, в парке.

— Приедем, синьоры?

— Обязательно.

— Девочки, опоздаем!

— До свиданья! Спасибо, что проводили!

— Да здравствует ореховый пломбир!

Девушки, хохоча, бегут по платформе и протиски-

ваются в густо набитый вагон электрички. И сразу поезд трогается.

Ася сидит у окна умывальной комнаты общежития над раскрытыми тетрадами. Сбоку горка ее книг. Она задумалась.

Подперев кулачком подбородок, она смотрит прямо перед собой. В раскрытое окно доносятся отдаленные звуки духового оркестра.

В дверь всовывается голова Вики.

— Куда ты забралась! Еле нашла... А мы тебя на вокзале искали, искали... Как же ты доехала? Аська, а мы с такими мальчиками познакомились... В кафе было полно: пришлось за один столик сесть. Один такой интересный грузин, на Овода, как две капли, похож, Эдуардом зовут... Нет, ты не думай: они вежливые, остроумные... Кажется, студенты. Ты не слушаешь? Я тебе помешала? Сейчас уйду!..

— Подожди... Это что, в парке музыка играет?

— Да. А знаешь, что он сказал, когда мы прощались?

— Кто?

— Эдуард.

— Какой Эдуард?

— Я же тебе рассказывала... Ну, который на Овода похож...

— Что же он сказал?..

— Он сказал: «Да здравствует ореховый пломбир!»

— Ну и что?

— Как ты не понимаешь?.. Он слышал, как я сказала, что люблю ореховый пломбир. Это — со значением. А девушку, которую к тебе поселили, я знаю. Под май я с ней всю ночь, в очереди в парикмахерскую стояла.

— Знаешь, Вика, пойдем в парк... Что-то не хочется заниматься.

— Ну, что ты, поздно! Через десять минут музыка кончится. — Идея! Аська, пошли ко мне ночевать. Или — знаешь что? Переезжай ко мне совсем! Ведь мы с отцом вдвоем во всем домике живем: такая скучища! Переезжай. Аська, Асенька!..

От переполнивших ее чувств Вика начинает танцевать вокруг Аси под доносящийся из парка старый-престарый вальс.

Этот же вальс, но в другой, «эстрадной», оркестровке звучит по радио в пятнадцатиминутку «производительной гимнастики».

Большой зал со столом для заседаний в форме буквы «Т». Стены увешаны образцами шелков, свисающими полотнищами с потолка до пола. Внизу каждого полотнища этикетка, на которой номер, фамилия художника и год выпуска ткани.

На столе все признаки только что закончившегося заседания. У дальнего угла стола сидят, пригорюнившись, несколько женщин. Разбросаны листки исписанной и разрисованной бумаги, в пепельницах — горы окур-

ков. В центре стола стопка чистой бумаги и вазочка с аккуратно очиненными карандашами. В дальнем углу стола сидят, пригорюнившись, несколько женщин.

ГОЛОС ДИКТОРА: Наклоните туловище вперед. Поверните туловище налево. Поверните направо. Вспомнили упражнение? Делайте! Раз, два, три... Раз, два, три... Еще, сначала. Раз, два, три... Раз, два, три... Все! На сегодня довольно. Продолжайте работать, товарищи...

Музыка кончилась.

— Охота была, Ольга Игнатьевна, затевать «историческую выставку»? Мало ли наша фабрика выпускала безвкусицы? Нашли чем хвастать! Надо было ваши новые рисунки показать. И все.

Это сказала пожилая женщина другой, помоложе. Сказала и закурила.

— Я думала, мои новые работы только выиграют рядом со старьем. Так сказать, по закону контраста. Кто мог ожидать, что заказчики старье предпочтут? Ну, разве это плохо? А вот это?

Ольга Игнатьевна Тихомирова, художница Петричевского комбината, подходит к нескольким из висящих на стене полотнам.

— А ведь ничего из этого не заказали. Ни-че-го!..

Она оглядывает стены, и перед нами проходит смена вкусов: бедность и наивность прошлого, богатство и разнообразие настоящего...

— Да, тридцатые годы!.. — говорит пожилая женщина. — Смотрю и словно старые песни слушаю. Всю свою биографию по этим тряпкам могу рассказать. В таком платье была, когда Ваня за мной ухаживал. У станка еще работала. Картину «Цирк» мы с ним ходили смотреть. А вот такое сшила, когда у меня Юрий родился. А вот в этом была, когда партшколу кончала... Это — наша первая послевоенная удача. Всю страну тогда этой тканью завалили. Все девки, как солдаты, в одинаковых платьях ходили... По бедности нашей... А что? Ничего был рисуночек? Гудовой работа?

— Гудовой! — Это сказала третья женщина.

— А правду говорят, будто она в какой-то артели бумажные цветы делает?

— Не знаю. Может быть. Бог с ней, с Гудовой... — машет рукой Тихомирова. — Но до чего мы докатимся, если дирекция будет гоняться только за выгодой?.. Чего проще повторять старые рисунки, если торговая сеть новых не хочет! Но вот будет конфуз: медали мы получим в Варшаве за ткани, которых не производим.

— Что же вы молчали на художественном совете?

— Не могла же я при заказчиках.

— Пуще всего боимся сор из избы выносить!

— Пойдем к директору, я ему все скажу...

— Сейчас он занят. Московское светило принимает. Дановскую, из института красителей.

Светлый и просторный зал комбинатской столовой. Обеденный перерыв дневной смены. За столиком сидят Ася, Вика, Соня, Сима.

— А ты, Сонька, почему один винегрет ешь? Все экономить?

Соня краснеет:

— Глупости! Просто не хочется.

— А мы с Аськой любим поесть. Правда, Ась? Знаю, что мне нельзя: я к полноте склонная, но не могу себя удержать. Особенно, когда блинчики с мясом...

Вика с азартом принимается за вторую порцию блинчиков.

— Девочки, а вот интересно, если у вас есть знакомый Дмитрий, как его лучше называть — Митя или Дима?

— Дима!

— Митя!

— Конечно, Дима!

— А кто это у тебя такой знакомый?

— Да нет, это я просто так...

К столику подбегает взволнованная Валя Федцова.

— Девочки, вы еще долго? Говорят, совещание с заказчиками кончилось. Заказ — миллион метров на пять старых рисунков. Придется опять три месяца один трафарет повторять!

— И пусть! Нам же выгодней!

— Ну, что ты, Симка, надоело!

— Мартышкина работа! Только квалификацию теряешь! — Это говорит в сердцах Ася.

— Ничего не поделаешь! Как в производственной гимнастике: раз, два, три и снова: раз, два, три...

— Тут не до смешков! И чего начальство смотрит?

— Девочки, говорят, во время еды нельзя волноваться. Пища плохо усваивается, — сказала Вика с серьезным лицом.

И все сразу рассмеялись.

Двор фабрики. Газон. Клумбы.

Стрельченко стоит у проходной и всматривается в проходящих, видимо, кого-то ожидая.

Проходят трафаретчицы.

— Здравствуйте, Дуся! — говорит Стрельченко.

— Здравствуйте, — отвечает Ася.

Из подъезда дирекции, сбоку от главного корпуса фабрики, выходит эффектная, нарядно одетая женщина и направляется к проходной. Это Дановская из института красителей. Стрельченко кидается к ней.

За проходной на тротуаре Ася, Вика и Валя. Вика тербит Асю:

— Вот, значит, кто такой Митя! Ах, ты, тихоня! А почему он тебя Дусей назвал?

— С тебя пример взяла, чужим именем назвалась.

— Ну, это я только, когда с незнакомыми...

Стрельченко и Дановская проходят к знакомой на машине.

— ...Заколдованный круг, — говорит Дановская. — Ваша технология красок фабрике дорога, а упрощенная — дефектна.

— Что же делать?



В. Е. БОРИСОВ-МУСАТОВ. Листок из альбома. Набросок пером. 1838 г. Русский музей. Отдел рисунков № Р. 53662. Воспроизводится впервые

— Думать. И не торопиться. Спешить некуда. Директор ваш доволен. У него есть большой заказ, для которого ему ничего нового не надо.

— Барахло! Стыда не оберешься!

— Но пока что директору от вас только одно беспокойство...

Стрельченко залезает в машину и открывает дверцу с другой стороны. Садится в машину и Дановская.

Хлопнули дверки кабины. Машина тронулась.

Девушки идут по тротуару, обсаженному липами. Вика, как всегда, болтает.

— А он ничего, симпатичный. Где ты с ним познакомилась? А он женатый? Все-таки, не понимаю, зачем ты Дусей назвалась?

— Отстань, Вика... Ну так, для смеха...

Машина Стрельченко стоит в лесу недалеко от шоссе. Стрельченко и Дановская целуются. Долгий поцелуй. Потом она отстраняется.

— Я, наверно, размазала губы, да?

— Нет, не размазала...

— Но я чувствую, что размазала... — Она достает из сумочки зеркало и внимательно рассматривает лицо. Он молчит, не глядя на нее. — Действительно чудо, совсем не размазала. — У нее смеющиеся глаза. Она очень хороша и прекрасно знает, что маленький беспорядок в прическе не может ее испортить. — Настоящее чудо, да? Что вы со мной сделали, Дима?

Стрельченко молча закуривает.

— А почему вы курите? Разве мы больше не будем целоваться?

Стрельченко бросает папиросу. Поцелуй.

— Пустите... — Она смотрит на часики. — Уже пять часов! Мне пора!

— Подождите!

— Не капризничайте, Дима, закуривайте и выводите машину. Вы достали билеты на Рихтера?

— Достал.

— Вы хороший мальчик. Позвоните мне утром в день концерта.

— Но концерт только через неделю...

— Ничего не поделаешь, я всю неделю занята. Если б вы не выдумали эту консультацию, то я и сегодня не смогла бы с вами увидеться.

— Самое смешное, что я ничего не выдумывал. Просто директору надоели мои проекты, и он позвал вас на помощь.

— Я поняла это и не дала ему оружия против вас.

— А вы бы ему сказали, что надо ломать к черту всю нашу систему и смелее экспериментировать.

— Не будьте дурачком. Это не мое дело. Меня попросили дать консультацию и все. Вы хотите от меня слишком многого.

— Да, хочу... (Пауза.) Поедемте сейчас ко мне.

— К вам? Нет, как-нибудь в другой раз.

— Почему?

— Сегодня не могу. И, может быть, не хочу.

— Что вы делаете завтра вечером?

— Завтра я занята.

— А послезавтра?

— Дима, вы теряете чувство юмора. Неужели я должна вам давать отчет? Завтра мы идем с мужем к его родным, а послезавтра у нас...

— Ладно! Хватит! Значит, моя очередь через неделю!

— Не будьте грубым. Это к вам не идет. И едем: я тороплюсь.

— Подождите. Я хочу понять, наконец, какое место я занимаю в вашей жизни.

— Дима, я ненавижу объяснения. Они только все портят. Вот вы сейчас испортили чудесный день. Мне начинает надоедать.

Стрельченко включает скорость и выезжает на шоссе. Некоторое время они едут молча, не глядя друг на друга. Потом Стрельченко говорит:

— Вы не ответили на мой вопрос.

— Какой вопрос? Ах да, какое место вы занимаете в моей жизни? Если вы сами не знаете, то что могу сказать я? — Пытаясь шуткой разрядить атмосферу:— Сейчас ваше место — отвезти меня домой...

— Зачем вы со мной целуетесь?

— Еще один глупый вопрос! Мне это приятно. Вы смешной мальчик и очень мило в меня влюблены...

— А вы?

— А я?... (Пауза.) А я, наверно, просто распушенное создание... Остановите машину!

— Зачем?

— Я не хочу с вами ехать. Я поеду на автобусе.

— Но вы же торопитесь.

— Остановите машину! Не сердите меня, а то будет хуже. Мне надоело. Кажется, я вас избаловала!

— Интересный разговор!

— Нет, совсем не интересный... Остановите машину!

На этот раз в ее голосе звучат такие нотки, что Стрельченко почти невольно останавливает машину. Дановская сразу выскакивает из нее и идет вперед по шоссе. Он растерянно закуривает и, сделав пару затяжек, догоняет ее в машине.

— Простите, если я... Ну, садитесь. Это же глупо.

Она молча идет, не оглядываясь.

— Ну, давайте я вас хоть до остановки доведу. Тут еще целый километр.

Она идет, не оборачиваясь. Он снова ее догоняет.

— Возьмите билеты на концерт. Я позвоню вам через неделю.

— Я не пойду с вами на концерт.

— Ладно. Возьмите билеты, идите без меня. Вы же хотели пойти, и я для вас их достал.

— Ничего. Мне достанут еще. Спасибо!

Она идет по шоссе, а он тихо едет рядом.

— Вот автобусная остановка. Надеюсь, вы не будете продолжать объяснение на глазах у всей очереди?

Дановская подходит к остановке. Стрельченко наблюдает из машины, как она становится в небольшую очередь и затем входит в автобус. Автобус трогается. Он продолжает сидеть в машине с потухшей папиросой во рту. Рядом с ним останавливается мотоцикл автоинспектора.

— Что-нибудь случилось?

— Да... Нет, простите, ничего...

— Проезжайте сто метров. Тут нельзя стоять.

Стрельченко кивает, зажигает папиросу и едет. Автоинспектор подозрительно провожает его глазами.

Начало летнего вечера. Комнатка под крышей маленького деревянного домика отца Вики Гореловой, где теперь вместе с Викой живет и Ася. В ее убранстве сочетание двух характеров: Аси и Вики.

Ася сидит с ногами на окне и увлеченно читает. Вика полураздетая вертится перед зеркалом и, как всегда, болтает:

— А то идем со мной. Он сказал, что придет с товарищем.

— Но ты же пригласила Валью?

— Это я потому, что ты отказалась. А Вале мы скажем...

— Нет, иди уж с Валей, а я почитаю.

— Интересный роман?

— Во-первых, не роман, а роман. Но это не роман.

Вика заглядывает в книгу:

— Жизнь замечательных людей. «Компанелла»! А кто она была эта Компанелла?

— И не она, а он. Был такой монах итальянский.

— А чего тебе монах этот спался?

— Как тебе объяснить?.. Понимаешь, читаю о нем, а думаю о себе...

— Понятно... Аська, я надену твою кофточку, ту, электрик, ладно?

— Надевай.

— Может, тебе жалко? Я ее завтра выстираю и выглажу. Но, если тебе жалко...

— Я сказала: надевай... Не понимаю, что за интерес носить чужие вещи, но если хочется: надевай...

— Нет, я вижу: тебе жалко...

— Мне жалко? Хочешь, я тебе подарю ее...

— Ну, вот еще... Разок одену и все... Спасибо, Асенька... (Одевается). Интересно, где сейчас наша Майя?.. Да, забыла тебе рассказать: я слышала — Тихомирова с фабрики уходит.

Ася сразу отложила книжку.

— Да ну? Кто тебе сказал?

— Говорят, обижаются, что ее новые рисунки в серию не пошли.

— Я бы на ее месте тоже ушла. Такие рисунки в загон, а мы опять старье выпускаем.

— Подожди, калитка стукнула... Ась, посмотри, это папка пришел?

Ася смотрит в сад.

— Нет, почта.

— Может, от Майки письмо? — Вика бросается к двери.

— Оденься!.. Письмоносец хоть инвалид, но мужчина.

— Ничего, пусть зажмурится... — Она убежала.

Ася смотрит в сад. Оттуда слышится густой мужской кашель и смех Вики.

Вбегают Вика.

— Получила предложение!.. От Майки опять ничего. Одно письмо по ошибке принесли. Гудовой... (Хохочет) Совсем растерялся Филипп Иванович, как мою красоту увидал: чужое письмо отдал... А это тебе, Аська, танцуй! От Петра! Ну, танцуй же!

— Отстань. Положи тут.

— Ой, сейчас Валька зайдет, а я не одета. (Одевается). Ну, как ты думаешь, понравлюсь я ему сегодня?

— Кому? Николаю?

— Да ты что, угорела?.. Я с Николаем уже давно не встречаюсь. Сереже...

— Ну, Вика, в твоих поклонниках запутаться можно. А куда же ты Николая девала?

— А ну его! Говорил, что — инженер, а сам шоферкалымщик. Я же рассказывала. А Сережа ко мне серьезно относится, и сам такой интеллигентный. Тебе понравится.

Из сада доносится голос Вали Федцовой:

— Вика!

— Ну, вот и Валька! А я и готова... Прощай, Асенька, не скучай! Дурочка, что не идешь... Если я задержусь, я тебе камешек в окно брошу, чтобы папку не будить, ладно?

И Вика исчезает за дверью... Ася смотрит в окно. Разряженные, хорошенькие, Вика и Валя, хохоча, выходят за калитку. Ася снова берется за книгу.

Стемнело. Ася читает, переменяя позу. Уже плохо видны буквы. Ася, вздохнув, идет включать свет.

Когда зажегся свет, она видит на столике два конверта. Вскрывает тот, что адресован ей, и читает.

Строчки письма — аккуратный, старательный почерк:

«А сейчас я увлекаюсь участием в домровом оркестре. Но я вам признаюсь, Ася, что моя мечта — купить себе аккордеон. По-моему, интеллигентный человек должен любить музыку. Я хотел бы знать ваше мнение на этот счет...»

Ася, не дочитав письма, вкладывает его обратно в конверт и берет другое. На нем написано: «Петрищев, Московской области, Вторая Пионерская, 3, Анне Пе-

тровне Гудовой». Она с конвертом в руках спускается по лесенке вниз и, выйдя в садик, идет к калитке.

Квартира Дановских в Москве. Звонок. В передней на столике стоит телефон с очень длинным шнуром. Еще звонок.

Приоткрывается дверь ванной, и оттуда высовывается мокрая голова хозяйки.

— Андрюша, подойди, пожалуйста, я голову мою...

Высокий седой человек в очках с немецким журналом в руках выходит из кабинета в переднюю и берет трубку.

— Я слушаю... Слушаю... Алло!..

Будка телефона-автомата. С трубкой у уха стоит Стрельченко. Лицо его напряжено.

Квартира Дановских.

— Алло?.. Слушаю...

Пожав плечами, Дановский кладет трубку.

Снова отворяется дверь ванной.

— Не меня?

— Наверно, какой-нибудь поклонник. Услышал мой голос, молчит и дышит в трубку. Ты им там скажи, что я не крокодил и вообще... Глупо!

— А ты не ревнуйешь!

— Глупо!

Вдоль тенистой аллеи, образуемой садиками, за заборами из штакетника, с одной стороны, и рядом деревьев, отгораживающих тротуар от проезжей части улицы, с другой, идет Ася с конвертом в руке. По ту сторону улицы — овраг, за ним поднимается по склону холма новая часть города с многоэтажными домами и перспективой уходящих вдаль освещенных асфальтированных улиц.

Ася разглядывает номера на воротах домов и, найдя через несколько домов от дома Гореловых номер 3, толкает калитку, проходит через темный сад, подходит к террасе и стучит. Прислушивается. Никакого ответа. И тогда она замечает, что терраса не расколочена с зимы.

Она в темноте огибает дом и поднимается на крыльцо. Снова стучит. Щелкает замок. Дверь приоткрывается. Из-за нее слышится густой женский голос «цыганского» тембра:

— Кто там? Входите!..

— Послушайте... — говорит Ася.

Но где-то вдалеке шумно открывается дверь, и шаги стихают. Ася прислушивается, потом решительно входит и растворяется в кромешной тьме коридора.

Крупная пожилая женщина со следами былой красоты входит в комнату, оставляя за собой дверь полуоткрытой. Она садится лицом к двери, в которую вошла, и, удобно разместившись в огромном, глубоком кресле, ждет. В темноте слышны робкие шаги.

— На свет идите.. На свет... — недовольно говорит женщина.

Дверь отворяется, и на пороге появляется Ася.

— Вы Гудова Анна Петровна?

— Да, я Анна Петровна...

— Вам письмо. К Гореловым по ошибке принесли. Вот возьмите...

Женщина недружелюбно рассматривает Асю.

— А ты вроде покрасилась! — говорит она. — Ничего! Ни-че-го!

— Я не понимаю вас...

— Ты что, дочка старика Горелова?

— Нет, я ее подруга. Живу у нее.

— А, подруга. Это другое дело. Давно живешь? Ну, да впрочем все равно... На комбинате работаешь? Трафаретчица?

— Да, трафаретчица.

— По рукам вижу. Хороши ручки. Очень хороши. И локти, небось, и ласковы... Дай-ка письмо-то!.. Нет, ты не уходи, постой!..

И Ася, неизвестно почему, подчиняется этому странному приглашению. Пока женщина читает письмо, она оглядывается. Комната очень большая, но в ней тесно, до того она заставлена вещами. Каждая из этих вещей: мебель, фарфор, хрусталь, ковры — могла бы свидетельствовать о хорошем вкусе хозяйки, но все вместе создает впечатление комиссионного магазина: в беспечном нагромождении вещи убивают друг друга.

Женщина прочитала письмо и снова посмотрела на Асю странным, тяжелым взглядом:

— Нравится у меня? Богато живу? Что молчишь?.. Не нравится? Ну что ж, а мне вот нравится. Живу, как хочу. Была и я трафаретчицей, потом художницей была, потом еще много чем была, а вот теперь неизвестно чем стала... Но я довольна. Не жалуюсь. Боже упаси. Всем довольна...

И вдруг Ася понимает, что женщина пьяна. Ей почему-то становится страшно:

— До свиданья! Я пойду!..

— Иди, иди!.. А может, посидишь?.. Разве у меня плохо?.. Ну иди... А за письмо спасибо! Письмо дорогое. Спасибо, мерси!.. Постой, девушка! Как зовут-то тебя?

— Анна... Ася...

— Тезки, значит... Ну вот, скажу я тебе, Анна, бойся мужиков. Беги от них, Анна!

Мастерская трафаретчиц на комбинате.

Просторная, светлая комната. За столами, на которых разостланы рисунки, калька и копировальные принадлежности, сидят Ася Шульгина, Вика Горелова, Симма Козлюк, Валя Федцова и Соня Петухова, иногда тихо переговариваясь. Обычные чертежные столы, каждый освещен своей лампой. Девушки переводят на сетку рисунок, — каждый цвет в отдельности. Мы видим их руки и кропотливую, тонкую их работу.

Рассказывает Сима Козлюк:

— Анна Гудова на фабрике первым человеком была. Одних премий сколько отхватила. Мужа на войне убили, и она с одним типом сошлась; только он ее бросил: на дочери завбазой женился — богатая, одних шуб пять штук. А она его любила, что ли, ну, и запила. Запила, как мужики пьют. Дирекция с ней возилась: и так и сяк, потом уволили. Ну она в какую-то артель поступила, еще лучше стала жить. Пьет, но наживает. Люди говорят: одних телевизоров три штуки...

— Зачем же это три телевизора?

— Да я почему знаю? Никто у нее не был.

— Тайна янтарной комнаты!

— Я была у Гудовой... — Все оглянулись на Асю. — Помнишь, Вика, письмо для нее по ошибке принесли.

— Ну, ну?

— Телевизоров не разглядела. Вещей разных много... Ася помолчала. — Нехорошо у нее...

Пауза. Девушки работают. За большим, во всю стену окном — высокое небо раннего лета.

Молчание прерывает Вика:

— Девочки, а кто такой инженер Полетаев? Я утром на чулке петлю поднимала, а по радио статью читали. Только я не поняла, что он такое открыл?

— Наверно, что-нибудь насчет ракет.

— А я знаю, кто такой инженер Полетаев! — Это сказала Валя Федцова. — Я в «Комсомолке» читала. Он говорит, что красота не нужна.

— Как не нужна!

— Ты, наверно, чего-нибудь не поняла!

— Как же может быть красота не нужна? Вот я, например, красивая... Ну что вы смеетесь, девочки?

— Наша Вика все на себя примеряет...

— Конечно, на себя. Ну красивая ведь, правда? Все говорят... И выходит, что я не нужна?

Взрыв смеха.

— Успокойся, Сереженьке своему ты нужна.

— А я не хочу, чтобы одному Сереже: я хочу, чтобы всем!

Новый взрыв смеха. Входит Тихомирова.

— Не слишком ли много веселья, девушки? Как бы браку не было.

— Что вы, Ольга Игнатьевна! Мы эти рисунки с закрытыми глазами можем копировать... — Это сказала Ася.

— Ну, что ж, как говорится, не пыльно, но денежно. Подработает на приданое.

— А нам, Ольга Игнатьевна, не в одних деньгах интерес... — поддержала Асю Валя Федцова.

— А правду говорят, Ольга Игнатьевна, что вы от нас уходите?

— Подала заявление.

— А почему, Ольга Игнатьевна? Вас только что премировали...

— Сама же говоришь, не в одних деньгах интерес.

Кабинет директора комбината.

Директор — симпатичный, толстый человек с весе-

лыми глазами, сидит за столом. Тихомирова — в кресле напротив.

— Нет, Ольга Игнатьевна, такого работника отпустить не могу.

— Это не каприз, Иван Кондратьевич. Моя работа на комбинате стала бессмысленной, и десятая часть моих рисунков не идет в производство.

— А я виноват? Заказчики... Что с них возьмешь? Темнота! А нам план выполнять надо.

— А пока мне, что же в запас работать? Не умею и не хочу.

— Есть у меня мыслишка, Ольга Игнатьевна. Задумал я вас на полгодика за границу послать. Познакомитесь с чужим опытом. Человек вы умный. Вам это пригодится... — Директор встал и заходил из угла в угол. — А заявление ваше, если позволите, я разорву. Вот еще насчет Стрельченко... Нравится мне он. Есть у него эдакий блеск, размах, идеи... Сам был красильщиком, понимаю.

— Да, Дима Стрельченко — человек талантливый. Но вы не очень-то идете навстречу его предложениям.

— Ох, Ольга Игнатьевна я бы рад, да опять план за руки держит. Где уж тут менять технологию! А мысли у него стоящие. Хочу ему помочь. Пошлю-ка я его на годик в институт красителей, к Дановской. Пусть поучится, а там видно будет.

— Ох, и хитры вы, Иван Кондратьевич! Всех недовольных решили сплавить разом: одного в институт, другую — за границу. И волки сыты, и овцы целы.

— Ну, уж и сплавить!.. Вам же лучше.

— Нет, не согласна. Вы меня уговорили: остаюсь и буду бороться...

— Со мной, Ольга Игнатьевна?

— Нет, с вашим планом.

Комната секретаря перед кабинетом директора.

Стрельченко говорит по телефону. Она недовольно на него смотрит.

Квартира Дановских в Москве.

Звонит телефон. Подходит домработница:

— Нету Зои Павловны. На дачу уехала.

Комната секретарши. Стрельченко кладет телефонную трубку. У него сразу вытянулось лицо. Секретарша смотрит на него с любопытством. Он идет к окну. Потом возвращается.

— Лидочка, что вы делаете вечером? У меня есть билеты на концерт. Поедемте?

Секретарша расцветает.

— Спасибо, Дмитрий Николаевич, в другой раз с удовольствием. Я сегодня к сестре на рождение иду. Из кабинета директора выходит Тихомирова. Секретарша сразу скрывается за дверь.

— Ольга Игнатьевна, у меня билеты на концерт Рихтера. Поедемте?

— Соблазнительно, — но, к сожалению, я занята.

Трафаретчицы сидят за столиком в буфете.

— Аська, сегодня в кино «Человек с тысячью лицами».

— Ох, девчонки, надо заниматься! Да уж ладно, пойдем.

По проходу идет Стрельченко. У него в руках бутылка пива и стакан.

Вика показывает на него:

— Ася, смотри, твой знакомый!

— Не глазей! Неудобно!

— Аська, он ищет места... Девочки, мы кончили? Быстро! Аська, оставь себя...

Подруги моментально исчезают, оставив Асю одну. Стрельченко все еще не нашел места.

Проходя мимо него, Вика говорит кокетливо:

— Вы ищете места? Вон там свободно.

— Спасибо! — Стрельченко подходит к столику, где сидит Ася.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Не хотите ли пивка?

— Не люблю пива.

— Тем лучше, мне больше останется.

Оба неловко молчат. Ася встает. — Ну, я пошла... Приятного аппетита!

— Да, да... Спасибо! — рассеянно говорит он.

Ася выходит из буфета. За стеклянной дверью ее ждут Вика и другие девушки.

— О чем вы говорили?

— Ни о чем!

— Аська, ну что ты за человек? Я ведь вижу, он тебе нравится. Не могла разговор завязать? Господи, да я бы...

— Оставь, Вика!

— Девочки, он идет сюда!

— Хочешь, я его остановлю?

— Только попробуй!

— Нет, уж теперь молчи... Ей за столик его посадили, а она не могла разговор поддержать. Девочки, внимание, сейчас Аскиного кавалера будем отбивать...

Из дверей выходит Стрельченко: он явно кого-то ищет и, прежде чем Вика успеет осуществить свой план, прямо идет к Асе.

— Дуся, хорошо, что вы еще не ушли. Скажите, вы любите музыку?

Ася растерянно молчит. Вика кивает ей из-за чьей-то спины: отвечай, мол, да...

Но она отвечает честно:

— Нет, не очень люблю...

Стрельченко удивлен. Вика делает гримасу: «дура!»

— А разве все обязаны любить? — Это говорит в ней странный дух противоречия

— Нет. Но в этом редко кто признается. Так вот:

мы с вами едем сегодня в Москву на концерт в Большой зал консерватории.

Ася молчит. Тогда дело берет в свои руки Вика.

— Она пойдет! Аська, невежа, что же ты нас не знакомишь?.. Здравствуйте! Вика! А это — Соня! А это — Валья! А это — Сима!.. (и лукаво) А это — Ася!

— Ася?.. А я вас все Дусей зову... Вы не знаете, почему?

— Нет, не знаю...

— Ну, ладно! Значит, в шесть часов, Ася, я за вами заезжаю. Будьте готовы.

Шестой час вечера. В комнате Вики и Аси идут сборы на концерт. Ася в халатике гладит электрическим утюгом блузку, а Вика, полулежа на диванчике, болтает:

— Консерватория—это скучища, но ты не показывай виду, а то еще обидится. Конечно, лучше бы в оперетту, или в цирк, или уж в Большой театр, на балет, например, хотя я интересное кино ни на что не променяю... Знаешь что? Возьми мой мантиль.

— Ну что ты! Такой теплый вечер.

— А ты на руку. Вот так... — вскочила и показывает, как нужно носить на руке плащ. — Очень стильно! Хочешь белую блузку надеть? А по-моему, лучше сиреневую... Эх, надо бы взять у Вальки нейлоновую... Нет, пожалуй, ты права, белая лучше!.. Туфельки у тебя модные, а вот клипсы возьми мои, те, венгерские...

— Они слишком яркие.

— Ничего! К тебе пойдут. Вот смотри...

Вика достает из стола жестяную коробку из-под монпансье и вынимает оттуда большие яркие клипсы. Ася примеряет их.

— Прелесть! Экстра-шик-ультра-люкс-модерн, — как говорит Валька.

Ася с сомнением смотрится в зеркало:

— По-твоему, хорошо?

— Замечательно!

— А мантиль я не возьму.

— Ну, как хочешь, но, по-моему, зря. Шелковый, заграничный!.. Ты поторапливайся, а то он скоро подьедет... Без десяти шесть, а ты не одета! С ума сошла!

Машина Стрельченко подъезжает к молодежному общежитию, где раньше жила Ася. Стрельченко останавливается на том месте, где он высаживал Асю в день знакомства, и, взглянув на часы, неторопливо закуривает.

Нарядная Ася стоит у калитки домика Гореловых. Она смотрит на свои часики. Пять минут седьмого.

Стрельченко в машине смотрит на часы.

Ася у калитки.

Мимо проходит кудрявый блондин в вышитой ру-

башке и оглядывает ее с откровенным восхищением. Ася отворачивается. Блондин входит в калитку Гудовой, еще раз оглянувшись на Асю.

Из калитки высовывается Вика:

— Ждешь? Ну, это уже свинство! Девушка имеет право опоздать на десять—пятнадцать минут, а молодой человек... Пстой! Как вы сговорились?

— Ты же слышала, он сказал: «Я за вами заеду...»

— Ой, несчастная! Он ведь не знает, что ты переехала...

Но Ася, не дослушав ее, бросается бежать.

— Аська, ты от ларька прямо через овраг: там дорожка... Ох, пропали туфельки!

Ася пересекает овраг по узенькой тропинке и карабкается наверх. Она запыхалась. Остановившись на секунду, она снимает туфли и бежит в одних чулках, держа туфли в руке.

Стрельченко в машине. Уже с раздражением он смотрит на часы. Потом отворяет дверцу, вылезает и решительно входит в подъезд.

Ася перебегает через железнодорожные пути. Надевает туфли и бежит дальше.

Стрельченко стоит в дверях комнаты, где раньше жила Ася, и говорит с Ларисой.

— Вроде слышала: где-то на Пионерской... Знаете, это там за оврагом...

— А номер дома знаете?

— Нет, не знаю.

Ася перед автобусом перебегает улицу наискосок.

Милиционер поднимает руку со свистком ко рту, но улыбнувшись, машет рукой...

Ася огибает угол дома и видит пустую машину Стрельченко. Секундное раздумье, и, зайдя за угол, она приводит себя в порядок.

Стрельченко садится в машину, смотрит на часы и с кислой миной включает стартер. Из-за угла, не торопясь, выходит Ася.

Он смотрит на нее, не веря своим глазам.

Она подходит к машине.

— Кажется, я немножко опоздала?

— А я все думаю: кто же из нас опоздал — я или вы? Ну, все равно, садитесь. Попробуем выжать из лошадки все, что можно!..

Летящая машина. Мелькающие пейзажи. Обгоняемые машины. Сосредоточенное лицо Стрельченко и взволнованное Аси.

И резким контрастом — медлительно-величественные звуки «Чаконны».

Лицо Рихтера. Его руки.

Слушающие Ася и Стрельченко. Рихтер кончил играть.

Аплодисменты. Они еще длятся, когда Стрельченко тихо спросил:

— Ну, какая это смешная девочка сказала, что не любит музыку?

Ася только взглянула на него, продолжая хлопать.

— Митя, а что такое «Чаконна»?

Но в этот момент Рихтер снова сел за инструмент.

— Тсс!

Ася поймала на себе взгляд какой-то дамы и, густо покраснев, чуть отвернувшись от Стрельченко и быстрым движением сняла клипсы.

Музыка. Она еще звучит, когда мы видим лица Аси и Стрельченко, возвращающихся в машине то в полутьме, то ярко освещенных фарами встречных машин.

Машина у калитки дома Гореловых. Ася и Стрельченко стоят на тротуаре.

— Ну рассказать вам, что такое «Чаконна»?

— Не надо!

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!.. Спасибо!

Он сел в машину. Вспыхнула спичка — он закурил... Машина отъехала. Ася смотрит вслед. Мелькнули красные фонарики и скрылись за поворотом.

Ночью чуть освещенные далеким уличным фонарем деревья перед домом кажутся выше и гуще. Ночь. Музыка «Чаконны». Ася стоит у калитки.

Из-за деревьев напротив мелькнула какая-то тень. Резко оборвалась музыка.

Перед Асей стоит женщина в вязаной кофточке и цветастом платке. На ее лице злоба и отчаяние.

— Каждый вечер с новым гуляешь, стерва! Где вас таких только рódят!

Ася отшатнулась:

— Что вам надо? Кто вы?

— Кто я известно, я мужья жена, а вот ты кто?.. Сказать тебе, кто ты?.. Стыд потеряла, с чужими мужьями гуляешь...

— Пстойте! Кто ваш муж? Кто вам нужен?

— Мой-то муж — Сережка Павлухин, вот кто мой муж. Жалко, что ночь теперича, опозорила бы я тебя, все бы знали, как гореловская дочка бесстыжая с чужими мужьями гуляет.

— Вам Горелову? Так бы и говорили. А то кидаетесь на людей.

— А не врешь? — Но что-то в Асином голосе ее убеждает. Женщина пристально в нее всматривается. — Да, верно говорили: белая она, стерва, кудрявая... Значит — ошиблась я. Измучилась тут в кустах, весь вечер ждавши. Хотела ее с Сережей подстеречь. — Заплакала уже беззлбно и беспомощно. — Ой, что мне делать-то с Сережкой? Изгулялся, черт веселый!

— Да вы не плачьте!



В. Е. БОРИСОВ-МУСАТОВ. Листок из альбома. На эту ды. Рисунок. 1888 г. Русский музей. Отд. рисунков № Р5367Б. Воспроизводится впервые

Женщина села на лежащее у забора бревно. Ася, глядя в конец улицы, где каждую минуту может появиться Вика, села рядом с ней.

— Вы не плачьте, ступайте домой. Поговорите с ним по-хорошему. Может, вам по злобе наврали.

Женщина встала. Она как-то сразу обмякла:

— Да пойду... Может, он и дома. Простите, что я вас...

Она скрылась в темноте.

Дождаясь Вика, чтобы не объясняться с ней дома, при отце, Ася сидит на бревне. Но рядом с ней скрипнула калитка.

Ася оглянулась. У калитки стоит розовая, заспанная, с красной от лежания щекой, в ночной пижамке Вика.

— Ты что домой не идешь? С кем это ты тут разговорила. Это он тебя провожал, да? — И Вика уютно примостилась рядом с Асей. — А я с Сережкой поспорила с домою пошла. Тебя ждала, а потом спать сграх захотелось...

— Вика, ты знаешь, что Сережка твой женат?

— Сережка женат? Что ты?! Да разве б он мне не сказал?

— Значит, не сказал...

— Вранье, выдумки!.. — И Вика зевнула. — Кто это тебе наболтал-то?

— Его жена. Она вас подкарауливала. Меня за тебя приняла, чуть волосы мне не выдрала...

— Аська, ты меня разыгрываешь?

— Ох, и глупая ты. Виктория! Три месяца с человеком встречаешься, а ничего про него не знаешь...

— Ну, положим, два с половиной... Да ты что, вправду? Ой, Аська!.. — Только сейчас до нее все дошло. — Как же так?

— Да, что он про себя говорил-то?

— Не помню. Я не спрашивала... Я думала, раз он со мной встречается... — И Вика заплакала.

— Ну вот, то одна ревела, теперь другая... А что он тебе так уж очень нравится, твой Сережка?

— Ага, нравится.

— Ну, коли нравится, валяй, отбивай его от жены. выходи замуж.

— Я не хочу — от жены...

— А что ты хочешь, ты знаешь?

— Я хочу, чтобы было весело; красиво жить хочешь... Чтобы за мной ухаживали, любили: утром проснуться и ждать чего-то... И почему это, Ась, если хороший парень, то обязательно женат?

— Тсс... Кто это там?

Девушки прислушиваются. В ночной тишине ясно слышны голоса: женский взволнованный и мужской спокойный, с ленцой...

— Ну, я пошутила, Жора! Что ты обиделся? Когда придешь?

— Обижаться мне на тебя не за что, а когда придешь — не знаю... Приятных снов!

Приближаются шаги и насвистываемая песенка. Девушки прячутся за калитку.

Ближе свист и шаги, из темноты показывается блондин в вышитой рубашке. Его догоняет Гудова.

— Ну, подожди, Жора... Ты же знаешь, мне для тебя ничего не жалко... Вот... — И Гудова сует ему пачку денег. Он не берет. Она засовывает ему деньги в карман.

— Сколько тут? — спрашивает он с ленцой.

— Сколько просил... Только ты уж покупай самый лучший.

— Спасибо!.. Ты у меня добрая, Анюта!

— Когда придешь-то?

— Приду. Дай я тебя поцелую... Ну, всего!

Мужчина удаляется, снова насвистывая. Гудова постояла, вздохнула и скрылась в темноте.

Тихо отворилась калитка, за которой стояли девушки. Снова Ася и Вика в полосе света.

— Видала? За что это она ему деньги дала? А, Аська?..

— Первый раз в жизни вижу, как за любовь деньги платят.

— Значит, правду говорят — много у нее денег.

— А ну, идем спать, а то я тоже плакать начну.

— А ты-то почему?

— Не знаю...

- А я знаю... Влюбилась!
- Молчи, Пошли спать!

Девушки идут через темный садик, отстраняя лезущие в лицо ветки. Музыка «Чаконны».

Комната в квартире Тихомировой. Вечерет.

В обстановке нет ни одной дорогой вещи, но изящество, целесообразность и простота делают комнату красивой. На стенах гравюры. Много книг.

В глубоком кресле сидит, развалившись, мрачный Стрельченко и курит. Рядом с ним полная до краев пепельница. Тихомирова ходит по комнате. Они продолжают разговор:

- Ну, и что же вы ему ответили?
- Что я ответил?.. Не помню, что ответил...
- Но вы согласились?
- Да, кажется, в общем, согласился...
- А я отказалась.
- Почему? Заграничная командировка! Это так интересно!

— Какой вы еще щенок, Дима! Неужели вы не понимаете, что директор попросту решил сплавить двух критиканов подальше. Да еще так, чтобы они ему слабо сказали.

— Вы думаете?

— А вы решили плюнуть на свой проект и уйти с комбината?

— Что же я мог сделать?

— Бороться. Во всяком случае я не намерена лобоваться, как фабрика выпускает миллионы метров старомодных тканей.

— А если торговая сеть только этого и требует?

— Заказчики прикрывают именем народа свою лень и отсталость. Но для новых рисунков нужны новые красители...

— Для новых красителей нужна новая технология и нужно перестраивать производство. А у нас главное— выполнение плана. Вот вам и сказка про белого бычка.

— Вот не думала, что вы такая тряпка!.. Боже, как вы накурили! Давайте я лучше поставлю чай.

Она запахивает окно и выходит с пепельницей в руках. Идет дождь. Стрельченко смотрит на телефон, но не берет трубку. Возвращается Тихомирова. Она прибирает на столе:

— Это ваша книга? Что вы читаете?.. Ну, конечно, Александр Блок, прекрасные дамы, незнакомки и прочее...

Из книги выпадают и рассыпаются по полу почтовые открытки.

— Что это? Столько открыток я пишу обычно под Новый год!

— Это заказы на книги.

— Какие заказы?

Он подбирает открытки.

— Разве вы не знаете, как теперь заказывают новинки? Вы оставляете в магазине открытку со своим

адресом. Когда книга выходит, вам присылают открытку.

— Не знала! Действительно, удобно. Постойте!.. А что, если...

Она задумалась. В передней звонок.

Тихомирова кричит:

— Лилечка, открой дверь!

В дверь просовывается головка семилетней девочки с большим бантом:

— Мама, Ася пришла! — Голова скрылась.

— Это заочница, с которой я занимаюсь рисунком. Ну, ничего. Мы сначала выпьем вместе чаю.

— Знаете, я вдруг понял, что не хочу чаю.

— Можно? — Это говорит, входя, Ася. Она увидела Стрельченко и вспыхнула. — Здравствуйте!

— Добрый вечер!.. Ну, я пошел...

И он вышел в переднюю.

Тихомирова идет за ним. Ася с разочарованием и некоторой обидой смотрит вслед.

Она раскрывает принесенную с собой папку и вдруг замечает лежащую на полу в тени стола фотографию. Она поднимает ее и рассматривает.

Это фото Дановской в красивой модной шубке. У нее смеющееся лицо. Она очень хороша.

Ася кладет фото на стол и вынимает из папки рисунки. Возвращается Тихомирова.

— Ну, покажите, что вы принесли... Так, так... Ничего!.. А тут вы снебрежничали... Вот, где ваша ошибка...

Тихомирова поправляет рисунок. Ася, задумавшись, смотрит мимо нее.

— Понятно?.. Ася, что с вами?

— Простите. Задумалась.

— Вы могли бы добиться большего.

— Хорошо.

— Что — хорошо?

— Буду добиваться большего...

Тихомирова рассмеялась — так серьезно сказала это Ася.

— Ну, а теперь давайте чай пить...

— Ольга Игнатьевна, вот я фото подняла, на полу валялось.

— Какое фото?.. А, это, наверно, Дима Стрельченко потерял... Завтра отдам ему. Ася, убирайте все со стола, я сейчас чайник принесу.

Тихомирова ушла. Ася убирает рисунки в папку, потом подходит к книжной полке, куда Тихомирова положила фотографию, и рассматривает ее.

*Смеющееся лицо Дановской...

То же самое лицо, но с задумчивым и чуть грустным выражением.

Мы видим его на большом фотоснимке, стоящем на письменном столе Стрельченко.

Сам Стрельченко стоит в плаще, с которого стекают капли дождя. Он только что пришел.

Мы можем рассмотреть его комнату: уютный и симпатичный хаос, в котором угадывается какой-то осо-

бый, необходимый и привычный хозяину порядок. Много книг.

Не снимая плаща, Стрельченко роется на столе, находит несколько листочков бумаги, садится, достает ручку, встряхивает ее и задумывается.

Дождь продолжается. Ася, вымокнув, возвратилась домой. Василий Евдокимович, отец Вики, как всегда, слушает у радиоприемника последние известия в комнате с громким названием «зала», но что удивительней всего — сама Вика дома и даже возится на кухне.

— Замечаешь, Аська, третий вечер сижу дома. Папка уже решил, что заболела. Винегрет сделала — экстра-шик-ультра-люкс-модерн. Хочешь?

— Я у Ольги Игнатьевны чай пила.

Девушки поднялись в мезонин.

— Что же ты меня не хвалишь? Перевоспитываюсь. А по правде сказать, мне девочки сказали, что Сережкина жена хочет меня на танцах подкараулить. Вот и отсиживаюсь, как в монастыре. А молодость проходит...

— Ну, подметки целее будут.

— Подметки будем жалеть, когда на пенсию выйдем... Пробовала твоего «Компанеллу» читать — скука! Я думала: это вроде «Пармского монастыря»...

Вика и Ася раздеваются. Ася стелет себе на диванчике.

— Да, чуть не забыла, за тобой Гудова присылала. Интересно, зачем ты ей понадобилась?

Ася пожалала плечами, взбывая подушку:

— Ну, я тушу свет!

— Аська, погоди! Я целый вечер, как проклятая, молчала: даже язык отсох. Давай поговорим немножко.

— Ладно, в темноте говори...

— Аська, вот про меня болтают, что несерьезная я, легкомысленная. Это правда?

— Конечно, правда.

— А ты разве не легкомысленная? С братом Петром чуть не год переписывалась, а теперь — познакомилась с этим инженером и даже писем Петра не открываешь. Правда, я знаю: он скучно пишет, все про культурную работу... Ася, ты не спишь?

— Нет.

— А дождь все идет... Слышишь, как по крыше стучит? Хорошо! Я люблю, когда дождь идет... Ася, а ты на осенний бал в каком платье пойдешь? Я думаю себе новое из красной тафты сшить. Мне Сонькина сестра обещала быстро сшить. Хочешь, я ее попрошу, она и тебе сошьет. Будешь в новом платье со своим инженером танцевать... Ася, а он тебе здорово нравится? Ась? Спишь, Ася?

Вика подождала несколько мгновений, жалобно вздохнула, перевернулась и моментально заснула сама.

Стучит дождь по крыше.

Комната Стрельченко. Он исписывает уже десятую страницу письма. Остановившись, вдруг замечает, что он сидит в плаще. Встает, снимает плащ, подходит к

окну, раскрывает его и смотрит в ночь... Идет дождь. Он возвращается к столу и рвет письмо на мелкие клочки.

Ася ворочается. Ей не спится, но и не хочется болтать с Викой. Она встает и босиком идет к окну, раскрывает его и садится в своей любимой позе с ногами на подоконник. Дождь стучит по крыше, по листве яблонь, и из его родного неторопливого шума возникает, как сон, мелодия «Чаконны».

Комната в доме Гудовой.

Гудова в нескольких кофтах и в платке сидит за большим столом, заваленным нарезанной цветной бумагой, проволокой и тряпками. У двери стоит Ася.

— Ну, спасибо, что пришла! А я уж считала: не хочешь со мной компанию водить. Три раза за тобой посылала...

— Мне сказали, что вы заболели, вот я и подумала, вам что нужно.

— Это правда, простыла... Ничего, вчера пропела — нынче лучше. Бабы — народ живучий. Есть у меня к тебе одна просьба, Анна... А ты сядь — в ногах правды нет.

Ася села на краешек кресла. Гудова, разговаривая, продолжает механически работать, и Ася невольно следит за ее руками.

— Хочу попросить: позвони одному человеку. Вот, тут написано: телефон и кого вызвать. Скажи: Анна Петровна заболела, просит прийти...

— Нет, не буду я звонить. Вы уж не обижайтесь.

— Почему?

— Так.

— Ну, нет, так нет... Я могу одну старуху попросить, да больно баба любопытная. Не хочешь — как хочешь... Чего смотришь-то?

— Неправильно вы делаете. У вас трафареты одинаковые, и лепесточки одинаковые, и цветы скучные получаются. А вам нужно несколько трафаретов сделать, тогда красивей будет.

— Это я не хуже тебя понимаю. Тоже вроде художницей была. Только не стоит такое дело большого труда. Поскорей, и ладно!

— Вам же за них деньги платят! Делать — так уж красиво.

— А ну, покажи...

Ася рисует и вырезает из картона несколько трафаретов, делает цветок, потом другой.

— Вот посмотрите...

— И правда, красиво! Молодец! Эх, Анна, золотые у тебя руки, только характер дурной...

— А вы почему знаете, какой у меня характер?

— Знаю. На меня похожа. Во всем — тетка. А уж себя я знаю. Тоже дурная была... — Вздохнула. — И есть дурная...

Ася и Гудова сидят за столом и работают. Сразу начала расти горка бумажных цветов. Ася делает цветы, как все в своей жизни, увлеченно, с азартом.

Один из бесчисленных коридоров на фабрике.

Навстречу друг другу идут директор и Стрельченко в спецхалате. Директор остановился. Остановился и Стрельченко.

— Ну, как, Дмитрий Николаевич, надумали насчет института?

Стрельченко молчит. Директор продолжает:

— Посоветуйтесь с Дановской. Я ее к нам на бал пригласил, вот вы ее и увидите. И из министерства гости будут.

— Она хотела приехать?

— Сказала: «Буду обязательно...»

Душный летний вечер под выходной.

Ася и Вика быстро идут по улице. Ася в клетчатом плаще. Вика в модном светлом. Ася идет впереди. Вика отстает.

— Аська, подожди! Я не могу на гвоздиках бежать...

— Надо было меньше перед зеркалом крутиться. Смерть не люблю опаздывать...

Девушки влезают в подошедший автобус.

Вика проходит вперед, туда, где есть свободные места. Ася берет билеты и вдруг замечает, что на нее пристально смотрит полная дама в дорогом заграничном пальто.

— Не узнала? Это я только дома распухшей сижу...

Ася узнает Гудову:

— Анна Петровна...

— А что не заходишь-то?

— Да знаете, все некогда...

— А ты заходи.

— Спасибо! Как-нибудь.

— Да вот, Анна, я тебе деньги должна... — Гудова роется в большой сумке.

— Какие деньги?

— За цветы. Те, что вместе делали, я продала. Бери...

— Что вы, Анна Петровна! Я ж так...

— Бери, бери.

Вика волнуется впереди:

— Ася, проходи!

Ася не берет денег. Гудова сует ей пачку. Автобус остановился.

— Ася, ну что же ты? Водитель, подождите!

Асю проталкивают вперед только что вошедшие пассажиры. Гудова успевает сунуть ей в карман плаща деньги. Вика уже сошла. Ася прыгает с подножки.

Перед ярко и празднично освещенным Домом культуры стоят парочками и группками люди: большей частью отдельно девушки и молодые люди. Вспыхивают огоньки спичек и зажигалок. Блестят красные точки папирос

Викю почти сразу окликают:

— Здравствуйте, Вика! А я все глаза проглядел — думал уж, не придете...

— Мы немножко опоздали! Знакомьтесь, это Ася, моя лучшая подруга...

— Виктор!

— А мы где-то уже встречались! — говорит Асе высокий кудлатый парень в яркой кофточке, похожей на женскую. — Ах, вспомнил, я видел вас во сне...

Ася и Вика идут сквозь толпу.

— Он замечательно танцует, — шепчет Асе Вика...

— Аська! Вика!.. — Навстречу им идут Валя и Соня.

— Директор в докладе про нашу бригаду говорил. Так сказал: передовики цеха — Шульгина, Горелова и Петухова...

— Делаем карьеру, девочки!

У Вали Федцовой обиженное лицо:

— А разве я хуже работаю?

— Это тебя за злой язык затирают...

— Подумаешь!

— Ничего, зато ты самая нарядная! Прелесть, какое платье!

— Правда? И Леше понравилось.

— А где же он?

— С ребятами пошел в буфет пиво пить.

— Смотри, Валька...

— Нет, он у меня самостоятельный.

Из окон доносятся звуки вальса.

— А я, девочки, всех сегодня шампанским угощаю.

— С чего это, Ась? На премию нацелилась?

— Да я уж получила — за ласковый характер...

Бал в разгаре. Музыка слышна всюду.

В огромном фойе, с трех сторон опоясывающем зрительный зал, развернут буфет. Поставлены прилавки и столы с яствами, напитками, соками и прочим. В два ряда установлены столики для гостей. Все окна открыты настежь. Жаркий июльский вечер.

За двухстворчатой дверью, в зрительном зале, кружатся нарядные пары.

Входит Стрельченко. Он оглядывает буфет и взбегает по широкой лестнице на балкон.

Балкон. Здесь полутемно и пусто. Несколько одиноких девушек грустно забралась сюда и смотрят на танцующих внизу.

Стрельченко проходит к барьеру, свешивается и внимательно рассматривает танцующих, кого-то разыскивая.

Зал. Кружатся в вальсе пары.

Мы узнаем среди танцующих знакомых нам девушек. Проносится с Виктором Вика. Мелькнуло счастливое лицо забывшей свою обиду Вали. Кружится в летчиком Ася.

Ася ищет глазами Вику. Она поднимает голову и видит свесившегося с балкона и рассматривающего

танцующих Стрельченко. Она улыбается ему. Он ее не замечает.

Колоннада, отделяющая Дом культуры от площади. Шесть крутых ступенек, ведущих от подъезда вниз. У одной из колонн стоит Стрельченко.

Оркестр смолк. Танцующие разбиваются на группки.

Площадь. Стрельченко садится в машину. Отъезжает.

Ася и Вика стоят в зале вдвоем:

— Откуда ты взяла летчика?

— Не знаю. Сам откуда-то взялся.

— Вон, смотри, он тебя ищет...

Ася отворачивается:

— Не хочу больше. Надоел!

К Вике направляется Виктор. Оркестр начинает танго.

— Виктор, идемте... — И Ася первая кладет ему руку на плечо.

Вика остолбенело смотрит им вслед.

Вокзальная площадь. Стрельченко стоит около машины.

Проходят пассажиры с московской электрички. Их все меньше и меньше. Вот площадь совсем опустела. К Стрельченко подходят два подвыпивших молодчика.

— До Порт-Артура подбросишь?

Стрельченко с недоумением на них смотрит.

— Чего вылупился? — спрашивает второй. — На пол-литра получишь...

И он открывает дверцу машины. Стрельченко с неожиданной силой его отталкивает.

— Ты что, дурной?.. — обиженно бормочет пьяный.

Зал. Один танец сменяется другим. И каждый раз Ася танцует с новым партнером. И они опять стоят в стороне с Викой...

— Ты что словно взбесилась. Всех кавалеров у меня утаскиваешь.

— Танцевать так танцевать, — говорит Ася. — Валя, разрешаешь?.. — И Ася кладет на плечо руку Леше.

— Что это Аська нынче какая? — спрашивает Валя.

— Разве ее поймешь?

Стрельченко пересекает площадь и входит в переговорную.

— Можно разговор с Москвой? — спрашивает он, наклонившись к окошечку.

— Пройдите во вторую кабину.

Квартира Дановской.

В пустой комнате заливается телефон.

Наконец, заспанная работница берет трубку.

— Слушаю... Она на Пицунде... Чего?.. В отпуск поехала...

Вокзальная площадь.

Стрельченко подходит к киоску, просит:

— Две большие кружки пива.

В буфете. За столиком сидят Ася, Вика, Валя, Соня и несколько молодых людей. Стоят две бутылки шампанского и вазы с яблоками и пирожными.

В зале продолжают танцы, и сюда доносится шарканье ног и звуки оркестра.

Кудлатый Виктор ловко открывает бутылки и разливает.

Все чокаются, пьют, смеются, угощают друг друга. Ася шумит больше всех, но сама только чуть пригубила свой бокал.

— Валька, пей, не бойся, Леша не возражает. Правда, Леша? Виктор, а это, наверно, ваша главная специальность — открывать бутылки?.. Люблю шампанское!.. Девочки, когда получим премию, давайте устроим девичник?.. Вика, ты не видела, куда девался мой летчик? Наверно, обиделся?.. Жалко!.. Ну, ладно, пес с ним! Ой, я уже пьяная... — Но она вовсе не пьяна и выпила меньше всех. — Девочки, а правда, сегодня здесь весело? Давайте возьмем еще бутылку? Ах, тут еще есть... Ну, Сонька-золотая ручка, выпьем, что ли... Прости, Сонечка... Вы не обращайте внимания: мы подружки — у нас свой разговор. Виктор, где я лучше: во сне или наяву?..

Вика толкает незаметно Асю:

— Аська, смотри, твоя...

Ася поворачивается и видит стоящего у стойки, где пьют разливное шампанское, Стрельченко. Он ее не видит. Выпивает один бокал, затем другой.

Ася отвернулась и старается вслушаться в то, что говорит Виктор:

— ...а я считаю, что это просто реклама. Хотела бы покончить с собой — никто бы не спас.

— Это про что он? — шепотом спрашивает она Валя.

— Про французскую артистку, которая хотела зарезаться...

Ася старается показать, что слушает.

Стрельченко, стоя, выпивает еще один бокал. Потом, держа в руке бокал, который ему мешает, пытается зажечь спичку.

К стойке подходят двое.

— Подвиньтесь, пожалуйста... Вы мешаете.

Стрельченко с бокалом в одной руке и спичками в другой смотрит на них с недоумением.

— Это я вам... Что вы, оглохли? Подвиньтесь.

— Может, я еще хочу...

Он заметно пьян. Продавщица взволновалась:

— Гражданин, отойдите. Я вам больше не отпущу.

— П-почему?

— Потому, что вы пьяны. Пройдите, гражданин.

— Не пойду. Я не пьян. Это вы все пьяны...

Продавщица волнуется:

— Позовите дружинника. Нам разрешили торговать шампанским, но чтобы не отпускать пьяным.

К Стрельченко подходит Ася.

— Митя, идемте!

Он смотрит на нее, не узнавая, потом улыбается.

— Это вы? Здравствуй!

— Идемте, Митя!

Ася берет его под руку и уводит из буфета.

Ася и Стрельченко стоят в гардеробе.

— Митя, подайте мне плащ.— Вот номерок.

Он подает ей плащ. Она берет его под руку, и они выходят.

Они идут по тротуару мимо сквера.

Пройдя несколько шагов, он останавливается.

— Слушайте, куда мы идем?

— Гулять.

— Гулять? Ну, хорошо... Пойдемте.

— А где вы живете? — спрашивает Ася.

— Калининна, 8. А что?

— Просто так...

— Знаете что... Давайте лучше посидим.

Они садятся на одну из пустых скамеек около круга с фонтаном.

Он рыщет по карманам, находит папиросы и закуривает. Она смотрит прямо перед собой. Из Дома культуры доносится музыка.

Затянувшись, он поворачивается к ней:

— Ну, вот, прошло... Скажите, все это было очень плохо?

— Да нет, пустяки...

— Спасибо, что вы меня увели. Мне так почему-то захотелось кого-нибудь обидеть. Бывает, да? *(Пауза.)* Я сегодня очень ждал одного человека, а он не пришел...

— Он или она?

Ася спросила небрежно, но вся замерла в ожидании ответа.

— Она, конечно... Понимаете: такая история... Как говорит Гейне: зубная боль в сердце... Вы любите Гейне? *(Ася молчит.)* Я очень люблю Гейне. Это мой любимый поэт. Он и Блок... Александр Блок... И еще, пожалуй, Маяковский... *(Он засмеялся.)* Вот так подумаешь, и оказывается очень много самых любимых... *(Ася молчит.)* Так вот, история, как у Гейне... Любимая женщина говорит: «Проводите меня до угла». Идешь, думаешь, что хотел бы идти с ней на край света. А она говорит: «Только до угла, дальше ни-ни...» Дальше ей не по пути... Глупо? *(Пауза.)* Вам это, конечно, не очень интересно...

— Да, не очень... — Это звучит фальшиво, но он не замечает.

— Вы ведь сами спросили... *(Пауза.)* Знаете, иногда мне кажется, что я все это выдумал. Вот, например, сейчас... Что это играют?

— Не знаю... Какой-то старый вальс.

— Старый вальс! «Но эта старая песня останется новой всегда», как сказал Гейне... Может, я просто не читался Гейне, и ничего этого нет... Только бал, ночь, вы...

— Давайте помолчим.

— Хорошо...

Но трудно молчать в такую ночь.

— Вам не холодно?

— Немножко.

Он обнимает ее и неожиданно целует. Она невольно подчиняется. Потом сразу встает.

— Пойдемте!

Они идут.

— Я вас не обидел?

— Нет, но... больше не надо...

— Ночь какая... — Он снова целует ее.

— Не надо, Митя! — И она быстро от него уходит.

— Ася! — Он делает движение, но она уже скрылась за углом.

Он достает папиросы и ломает несколько спичек, прежде чем ему удастся закурить.

Вика на цыпочках поднимается по скрипучим ступенькам. При каждом скрипе у нее испуганное лицо. Туфельки она держит в руках.

Но внизу отворяется дверь. В нижней рубашке и брюках на подтяжках выходит Василий Евдокимович:

— Это ты, Виктория?

— Я! Ты не спишь?

— Рад бы, да сон не идет.

— Прими порошок. Каждую ночь мучаешься, а принимать не хочешь. Всю шкатулку порошками набил.

— Ладно... Калитку заперла?

— Ага!

Поднявшись наверх, Вика осторожно открывает дверь в комнату. Она смотрит на спящую Асю, шепотом зовет:

— Ася! Ася!..

Не получив ответа, вздыхает и начинает раздеваться, искося с надеждой посматривая на спящую Асю. Видно, ей смертельно хочется поговорить. Перед тем, как лечь, снова шепчет:

— Аська!..

Вика ложится, ворочается, устраиваясь поудобней, и моментально засыпает.

Освещенное луной лицо Аси. Ее глаза открыты. Она не спит.

Кабинет директора комбината.

Напротив Ивана Кондратьевича сидит загорелая Дановская. Она смеется в ответ на что-то им сказанное.

— Вы меня вызывали?—входя спрашивает Стрельченко.

Удивленно, не веря своим глазам, он смотрит на Дановскую.

— Ну-ка, покажи, Стрельченко, шефу свое хозяйство, — говорит директор.

В лаборатории. Дановская после осмотра моет под краном руки. Она в накинутом на плечи халате-спецовке. Рыженькая лаборантка держит полотенце. Стрельченко мнет в пальцах папиросу.

— Вы знаете, о чем говорил со мной ваш директор?

— Догадываюсь...

— Спасибо! — Это лаборантке, подавшей ей полотенце. — Надо подумать... — обращается она к нему. — А с вами он уже разговаривал?

— Да, месяц назад.

— И что?

— Я ответил: надо подумать...

Они встречаются глазами. У нее они смеющиеся, хитрые, как всегда...

— Ужасно я соскучилась по Москве, — говорит она невпопад. И снимает халат.

В трафаретной мастерской девушки подготавливают свои рабочие места. Осенняя непогода угнетающе действует даже на Вику, и она не тараторит, как обычно. Горит электричество.

Ася стоит у окна и смотрит на мокрые крыши.

— Девочки, кто мой ножик вчера взял? — спрашивает Вика.

— Давеча вроде у Вальки видела, — лениво говорит Соня.

— А где же она? Сейчас звонок. Опять, наверно, полночи со своим Лешей прогуляла. Ох, уж эта мне любовь! — ворчит Сима.

— Любовь волнует кровь, — пропела Соня.

Врывается Валя Федцова в новой вязаной кофточке.

— Валечка, с обновой! Леша подарил? — говорит Сима.

— Ой, девочки, новости! Замуж выхожу!

— Да ну? Валька! Валечка!

Даже Ася повернулась. В это время звонят к началу работы. Но никто и не подумал отойти от Вали.

— Пошли мы вчера с Лешей в кино, до начала еще долго, сидим, музыку слушаем, а он и говорит... — И Валя вдруг заплакала.

— Ты что, чудачка?

— Ну вот, новое дело...

— Мы и картину с ним не смотрели, все говорили, соседи даже на нас шипели... Ой, девочки, что это я какая счастливая?..

Валя и смеется, и плачет. Всклипывает из солидарности Сима.

Входит Тихомирова с пачкой ярких цветных журналов.

— Девушки, хотите подругу посмотреть? Польские журналы пришли. Майя Гриднева во всех видах! А что это у вас глаза на мокром месте?

— Валюша замуж выходит, — торжественно сообщает Вика.

— Поздравляю! А на свадьбу позовете?

— Обязательно, Ольга Игнатьевна.

— Ну, давай я тебе фасон платья к свадьбе выберу.

Девушки наклонились над страницами польских иллюстрированных журналов, где в разных туалетах красуется Майя.

— Ну и Майка! Вот это жизнь! — суетится Вика. — Что это ты смотришь? Ась?

Ася смотрит на фото манекенщицы в шубке и вместо нее видит смеющееся лицо Дановской в такой же шубке.

Вечер. Улица. Идет дождь. Ася и Вика идут под одним зонтом. Они торопятся.

— Ох, опять опоздаем! А Игорь любит журнал смотреть... Ася, тебе Павлик нравится?

— Ничего...

— Он сказал Игорю, что еще летом на танцах на тебя внимание обратил... Ой!

Этот возглас относится к обрызгавшей их машине, которая остановилась у тротуара. Из машины высунулся Стрельченко.

— Добрый вечер, девушки! Садитесь, подвезу.

Ася замешкалась с ответом, но ее опередила Вика:

— Спасибо! Нас до кино.

Ася дернула ее за рукав, но было уже поздно: Стрельченко открыл дверцу. Девушки сели. Машина тронулась.

— Может, и мне с вами в кино пойти? Или у вас есть кавалеры?

Мудрая Вика вопросительно смотрит на Асю. Ася отвечает:

— Да, нас ждут.

— Ну, тогда поеду машину мыть. Черт знает, на что похожа!

— Да, погодка, — поддержала светский разговор Вика. — Вы, наверно, издалека едете?

— Был в Москве.

— По делам?

Ася шиплет Вику за руку.

— Можно сказать, по делам. Вероятно, перейду туда на работу, в институт.

— Конечно, в Москве веселее...

Ася сжала ее руку до синевы. Вике больно, но она терпит.

— Нет, дело не в том, что веселее... Ну, вот и приехали!

— Спасибо! — говорит Вика.

— Спасибо! — говорит Ася.

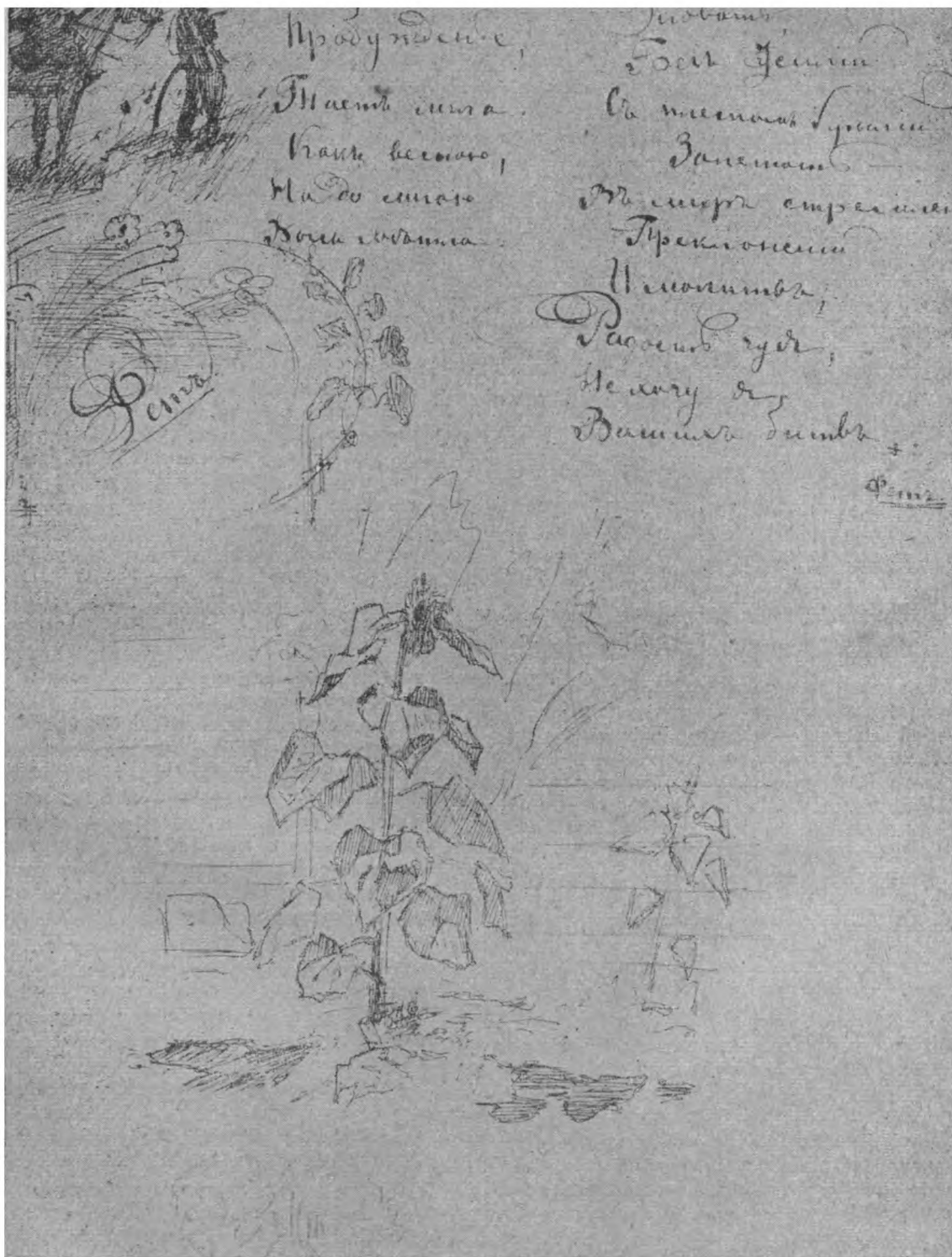
Девушки вылезли. Они сделали несколько шагов по тротуару, но Стрельченко их окликнул:

— Девушки, кто из вас забыл платок?

Ася приостановилась. Вика вернулась и взяла платок.

— Спасибо!.. Да нет, это не мой... — Она понюхала платок и вернула ему. — Наверно, вы еще кого возили...

Стрельченко почему-то смутился:



В. Е. БОРИСОВ-МУСАТОВ. Листок из альбома. Наброски пером и карандашом. 1889 г. Русский музей, Отдел рисунков № Р53581. Воспроизводится впервые

— Может быть... Извините!
Машина тронулась.

— Я еще когда в машину села, заметила: непонятными духами пахнет.

— У меня насморк, — грубовато сказала Ася.

К ним подходят двое молодых людей, одетых по моде шестидесятого года: куртки, рубашки без галстуков, непокрытые головы.

— Мы думали — опоздаете! Салют!

— Ну, пошли!

Но Ася не двигается с места:

— А я раздумала. Не пойду.

— У меня насморк. До свидания!

И прежде чем Вика и молодые люди успели опомниться, она зашагала по мокрому асфальту. Они с удивлением смотрят ей вслед.

Из дверей театра доносится звонок. У входа большой плакат: «Все о Еве».

Ася идет по окраинным улицам, перепрыгивая через лужи. Свернув на Пионерскую, слышит, что ее окликают:

— Анна!

Так зовет ее только Гудова. Это она и есть.

— Опять пропала! Не совестно?

Они идут рядом по мокрым листьям, усыпавшим тихую Пионерскую улицу, под голыми, облетевшими деревьями.

— Я тебя сзади по походке узнала. Легкая у тебя походочка, девушка. Будешь в жизни счастливая.

— Что-то не видно! — вырвалось у Аси, и она сразу же пожалела о своей откровенности.

Гудова с любопытством на нее поглядела:

— А что? Молодая, красивая, на работе тебя ценят, я знаю...

— Для себя красивой быть неинтересно.

— Парней в Петрищеве не хватает? Москва тоже недалеко...

— Да это я так, Анна Петровна. Бывает. Настроение. Ноги вроде промочила...

— А вот и моя калитка. Заходи. Чайку попьем, с вареньем...

Ася колеблется.

— Я знаю: ты один раз меня пьяной видела, испугалась. Я ведь редко пью, а когда буду пить, не позову. Идем...

У Гудовой. На столе чайник, чашки, вазочки с вареньем, печенье, конфеты, фрукты. Горит люстра. Светло и как-то более уютно, чем раньше. И сама хозяйка кажется миловидной и молодой. Она говорит, а Ася слушает с любопытством:

— Про меня много зря говорят. И не только из зависти, хотя и не без этого. Люди не любят, когда человек не в общей упряжке, а по собственному вкусу живет. Я тоже долго в упряжке жила. И счастье было, и горе было. Гора, правда, больше, а покоя не было.

Рисунки мои, сама знаешь, как шли. Эти с цветочками и с колосьями до сих пор штампуют. А сделала раз ошибку, всем хором ко мне в душу полезли. И решила я жить по-своему. Кодексов не нарушаю, кроме заветников, никто на меня не в обиде.

Пока она говорит, мы видим то убранство стола, то дорогие вещи и в этой и в соседних комнатах: картины, хрусталь, мебель красного дерева, бриллиантовую брошку на груди хозяйки, несколько сберегательных книжек, заткнутых в роскошное художественное издание, лицо Гудовой и заинтересованное, хотя и смущенное лицо Аси...

Гудова продолжает:

— Немудрое дело — бумажные цветы, а люди за них с радостью деньги платят. Что им с того, что все скверы в клумбах? Людям дома хочется жизнь себе украсить. Ты думаешь, мои цветы те покупают, у кого деньги лишние водятся? Вот, сходи со мной на рынок, посмотри любопытства ради. Хозяйка рассчитала полкило мяса взять, а увидела мой цветок, задумалась и триста граммов взяла, а цветочек в придачу. С обедом она извернется, а цветок будет в вазе стоять, глаз радовать. Люди хотят красиво жить, а если дорогая-то красота не по карману, то они и дешевой рады... Ты что чай не пьешь?

— Спасибо. Напилась.

— Ты не обидишься, если я при тебе работать буду? Мне к субботе надо побольше цветов наделать. В Троицком на той неделе праздник престольный, на цветы спрос будет большой... — Продолжая говорить, она убрала со стола и принесла цветную бумагу, проволоку, трафареты. — Да и то смешно сказать, в Троицком уже лет тридцать и церкви нет, а престольный празднуют. Я так смотрю: лучше пусть бумажные цветы покупают, чем водку... Не удивляйся, я водку эту ненавижу, хоть и сама выпиваю. И так с людьми бывает. Вообще человек существо сложное, Анна. Иногда упростишь его в мыслях, а он тебя так удивит, что не знаешь, плакать или смеяться...

— Вы мне, Анна Петровна, в прошлый раз денег много дали. Я хотела обратно нести, да подумала — обидитесь.

— И не взяла бы! Вот, поработай немножко со мной, пособи, опять заработаешь. Разве плохо?

— А зачем мне деньги?

— Ну, счастливый ты человек, если тебе деньги не нужны.

— Может, несчастный? Вот у меня подруга купит себе новый берет — и неделю рада. А мне все равно.

— Я в святых, Анна, с детства не верю. Это ты брось. Ну, хорошо, скажи: будь у тебя человек, который тебе дороже всего в жизни, разве бы ты не хотела для него такой красивой быть, чтобы он, как тебя увидит, от счастья задышался?

— Не знаю...

— Ну, не знаешь — значит, и разговора нет. Узнаешь... А ты и в самом деле мне пособи. Я в По-

дольси ездил, целый день пропал. Хотела продать одну вещь, даром отдавать жалко, а настоящего покупателя не сразу найдешь.

— А какую вещь, Анна Петровна?

— Понимаешь, купила весной себе шубу. Так она мне понравилась, не посмотрела, что узка. Я и надела-то ее один раз, может.

Ушла в соседнюю комнату и вернулась с дорогой и очень красивой шубкой:

— Вот. А ну-ка, примерь, Аннушка!

Ася одевает шубку:

— Какая легкая...

— Ну, пройди... Ох, и хороша же ты, Анна! Господи! Даже не думала... Совсем другой человек... К зеркалу подойди! Что?

Ася быстро сняла шубку:

— Спрячьте ее, Анна Петровна, такая вещь...

— Дурочка ты! Испугалась! Вещи тебя должны бояться, а не ты их... Хочешь, дам тебе зимой надеть разок? Удиви кого-нибудь...

— Что вы! Зачем? Я не люблю в чужом ходить. Сразу — будто и не я...

Гудова и Ася сели за работу. Она пошла у них дружно.

— А сколько стоит такая шубка?

— Купила ее я по случаю, можно сказать, дешево: за тысячу рублей.

— За тысячу?

— А стоит она и все полторы. Понимающий человек, не думая отдаст. Для мужиков хорошо одетая баба — первое дело. Уж я-то знаю. Была молодая, хорошенькая — смотреть не хотели: одевалась плохо, бедно...

Некоторое время работают молча.

— Это сколько же надо бумажных цветов сделать, чтобы купить за тысячу рублей шубу?

— А вот поработай со мной — узнаешь...

Ловко движутся их руки.

— Анна Петровна, вы только не смейтесь, — дайте-ка мне еще разок шубку надеть...

Принесла шубу. Ася надела ее уже смелее. Прошлась. Посмотрела в зеркало. Гудова, улыбаясь, любит ее.

Ася вдруг приложила ладони к щекам.

— Щеки горят. Знаете, это, наверно, хуже водки...

Еще раз прошла, выпрямив спину и подняв голову. Снова посмотрела в зеркало и вдруг увидела там вместо себя смеющуюся Дановскую: такую, как на фотографии. Закрывает глаза, посмотрела снова. Нет, это она, Ася, но почти незнакомая, чужая и прекрасная. Тряхнула головкой и осторожно сняла шубу.

— Ладно, уберите! Давайте работать!

Трафаретная мастерская на комбинате. Заснеженные окна. Конец рабочего дня.

В комнату заглядывает молодой человек в синем халате:

— Девушки, все видели объявление? Сегодня комсомольское собрание.

— Грамотные! — ворчливо отвечает Сима.

Собрав свои вещи, раньше всех вышла Ася. Другие девушки еще копаются. Входит Тихомирова.

— А что, Ася ушла?

— Да нет, Ольга Игнатьевна, у нас комсомольское собрание. Она тут где-нибудь.

— Вика, передайте ей, если она еще раз не сможет заниматься, пусть предупреждает. А то я ее целый вечер ждала.

— Разве она не у вас была вчера?

— Нет. А дома ее тоже не было?

— Я забыла: мы же на постановку ходили... — Вика врет, выручая Асю.

Тихомирова ушла. Вика размышляет:

— Не понимаю. Куда Аська по вечерам ходит?

— Аська скрытная. Закрутит роман, лучшая подруга последней узнает, — сказала Соня.

— Если б роман... — говорит Вика.

В окнах лаборатории красильного цеха мы видим белые крыши. В застекленной кабинке сидит Стрельченко и рисует что-то на белом листе бумаги. Входит рыженькая лаборантка.

— Простите, вы заняты?

— Неважно. Что там у вас?

— По-моему, Дмитрий Николаевич, нас можно поздравить...

— Поздравлять рановато. Давайте испытывать еще. А то снова сядем в галашу.

— Сколько же еще образцов мы будем испытывать?

— Пятьдесят! Шестьдесят! Сто!

— Ох!

— А вы знаете, сколько испытаний провел Эдисон, пока нашел свою угольную ниточку?

— Ну, то же Эдисон! — Они оба смеются. — Неужели, когда мы всего добились, вы уйдете в институт?

Он молчит и невольно переводит взгляд на изрисованный лист бумаги. Взгляд Люси падает туда же. На бумаге множество больших и маленьких всевозможной формы вопросительных знаков.

— Конечно, по совести, мне надо бы самому провести следующие испытания.

— Дмитрий Николаевич, останьтесь хоть сегодня.

— Согласен. А вы свободны?

— Ну, разобью кому-нибудь там сердце, откажусь от кино, подумаешь! — лихо говорит она.

— Нет, подождите... Я сначала позвоню в одно место. Может, я буду занят.

— А вы не звоните, а просто не ходите. Я лично всегда поступаю только так.

— Ну, вам-то легче: вы женщина.

— Не правда ли, странно, что женщины чаще всего поступают по-мужски?

Лаборантка уходит. Стрельченко набирает номер, потом говорит добавочный.

— Зоя Павловна? Это Стрельченко... У нас все идет нормально... Вот и я говорю: испытывать до потери сознания... Зоя Павловна, если вы сегодня заняты... Свободны?.. Там же, где всегда?.. Хорошо.

Положив трубку, Стрельченко машинально рисует на бумаге еще один вопросительный знак. Он выходит из кабинки и подходит к лаборантке, которая свирепо моет колбы.

— Почему у вас такой злющий вид, Люся?

— Во-первых, я думаю, какие у меня будут руки, когда мне стукнет тридцать, а, во-вторых, вижу: вы пришли сообщить, что страшно заняты.

— Бросайте химию, идите в пророки!

— А вы думаете, в химии пророки не нужны?

Домик Гореловых. В большой комнате за накрытым столом сидят Вика и Василий Евдокимович. Вика барабанит пальцами по столу. Василий Евдокимович читает газету.

— Долго мы ее, папка, будем ждать?

— А кого мы ждем?

— Как — кого? Нашу дорогую Асю!

— А она обедать не придет.

— Ты почем знаешь?

— Видал: она прямо к Гудовой прошла...

— Может, она скоро и ночевать у Гудовой будет?

Так я ее завтра и спрошу!

— Ты ее не тревожь, Виктория! Сама видишь, с ней чего-то творится..

— Ничего не творится. Просто деньгу зашибает до потери сознательности. Взбрело ей вдруг одеться лучше московских модниц! Два комсомольских собрания пропустила. Занятия с Тихомировой бросила. Из института вот-вот вылетит. Стыд потеряла. Нашла себе подруженьку — ведьму с Лысой горы!.. Чего ты смеешься?

— Про ведьму смешно.

— Ничего смешного! Перед комсоргом ее покрываем, а ей и горя мало! Увидишь, скоро сама на рынок торговать пойдет!

— Ну, уж и скажешь — на рынок! Рабочая девка?

— Была рабочая — стала калымщица! Все меня перевоспитывала: Вика легкомысленная, Вика эдакая, надо по-настоящему жить, мы — художницы. А самото что? Весь цех с ней три года носится: Ася, Асенька!.. Лучшая трафаретчица, ученица Тихомировой. Вот тебе и Асенька!.. Сберкнижку завела, праздник у нее, когда еще десятку туда отнесет. На днях Сима у нее взаймы до полочки попросила — джемпер немецкий купить, так она не дала. А все знают, что у нее денег полно. Так нахально и сказала: «Ну, эти джемперы и до полочки не пропадут, и вообще не советую покупать дешевку!»... Дешевка! Сама скоро дешевой станет. Вчера Соня зареванная пришла, у ее сестры мальчик заболел. Знаешь, муж-то ее бросил. Сонька одна их кормит. Деньги нужны. Кто-то и говорит: «Ты у Аси попроси, у нее есть». А Сонька правильно сказала: «Нет, у нее я просить не буду». Мы ей, конечно, собрали. Аська ее слова слышала, даже побелела...

Вика сидит спиной к двери и не видит, что Ася давно уже стоит сзади и слушает, о чем Василий Евдокимович безуспешно пытается ей просигнализировать. Наконец, Вика заметила его знаки и обернулась...

— Ты еще скажи, как я из жадности перестала в буфет ходить, сухие корки грызу. Вчера в цехе рассказывала.

— И рассказывала! Хорошо, что напомнила. И теперь тоже — красиво: стоит, подслушивает... Мало ли что скажешь сгоряча!

— А мне все одно: что сгоряча, что с холоду. И вообще, зачем весь шум? Если я тебе на нервы действую, я отсюда уйду.

Василий Евдокимович пытается вмешаться:

— Ладно уж вам! Садись обедать, Ася.

— Спасибо, Василий Евдокимович, аппетиту нет. А вам обоим спасибо за гостеприимство!

— Куда же ты пойдешь? Уж не к Гудовой ли?

— А это уж дело мое. И у Гудовой мне плохо не будет. Она баба умная, зря не кричит. Лучше уж на рынке торговать, чем дома по-рыночному горло драть!

Ася поднимается по лестнице наверх.

Вика с демонстративным спокойствием разливает суп в две тарелки. Когда обе они наполнены, Василий Евдокимович пододвигает ей третью. Она наливает и третью, смотрит на отца, он кивает ей, и Вика идет наверх.

Когда она входит в их общую комнату, Ася, выдвинув из-под кровати чемодан, укладывает вещи.

— Иди, я тебе супа налила.

— Благодарю. Я забыла: это твое полотенце или мое?

— Твое... Ладно, брось, Аська! Идем обедать.

Ася молча пожимает плечами.

— Ты что, всерьез хочешь уходить?

— Нет, шучу.

— Может, ты и с комбината уйдешь? С Гудовой-то больше денег заработаешь!

— Спасибо за совет! Подумаю.

— Разучилась я с тобой разговаривать...

— Помолчи, тоже неплохо

— Аська, может, я что лишнее сказала, извини. Я же за тебя болею. И все девочки тоже за тебя болеют.

— А вы не болейте. Выздоровливайте! — Закрывает чемодан. — Если я что должна за квартиру, скажи, отдам.

— Знаешь, не все, как ты, об одних деньгах думают...

— Это я уже слышала.

Ася выходит с чемоданом. Вика, почему-то сев на диван, прислушивается к ее шагам.

Стрельченко сидит в машине и курит.

На его лице нетерпение и досада.

Смотрит на часы, бросает докуренную папиросу и берет новую. Ему видна широкая зимняя улица. На той стороне — старинный особняк.

Из особняка выходит Дановская. Она в шубке и меховой шапочке, очень похожая на свое фото, забытое Стрельченко у Тихомировой.

Заметив Стрельченко, она машет ему рукавичками.

Дановская и Стрельченко в машине.

— Ну, что мы сегодня будем делать? Я опоздала, и у вас было время это обдумать.

Он пытался что-то сказать, но она прерывает его:

— Знаю все, что вы будете предлагать. Нет, мне надоело целоваться в машине или в кино. Поедем лучше к вам.

— Ко мне? В Петрищево? — Он больше чем удивлен.

— Да! К вам! В Петрищево!

— Но...

— Если все это не устраивает, отвезите меня домой.

Он молча включает стартер.

Они стоят в коридоре у двери в его комнату. У него в руке ключ. Из соседней двери высовывается женская голова. Оглядев обоих, голова скрывается.

— Зоя Павловна, должен вас предупредить...

— Что у вас страшный беспорядок? Догадываюсь и прощаю...

Он пропускает ее вперед. Щелкнул выключатель.

Она стоит посреди комнаты и внимательно осматривает ее. Он набросил на раскрытую постель покрывало и ударом ноги отправил под диван шлепанцы.

Она берет книгу, перелистывает и кладет обратно.

— А сесть можно?

— Прошу прощения...

Она выдвигает чуть ли не на середину комнаты кресло. Она садится, все еще не сняв шубки.

— Да, кстати, как же насчет перехода к нам в институт?

— Откровенно говоря, мне хотелось бы довести испытания до конца. Тем более...

— Подождите! Я люблю во всем определенность. Если ваши красители пройдут испытания, зачем вам уходить с комбината?

— В том-то и дело...

— А если испытания провалятся?

— Тогда уж совсем неудобно удирать...

— Мне даже кажется, что вы рады остаться.

— Откровенно говоря...

Она звонко рассмеялась:

— А почему же вам не говорить со мной откровенно? И почему я сижу в шубе? Кроме того, меня интересует, чем вы меня будете угощать?

— Боюсь, что у меня...

— Я хочу вина. Понимаю: у вас — нет. Вы хороший мальчик и пьете кефир. — На окне действительно стоят бутылки из-под кефира. — Но вы можете за ним сходить.

— Конечно! Магазин в нашем доме!

— Пойдите, а деньги у вас есть?

— Зоя Павловна...

— Купите вина. Больше ничего. И дайте мне какую-нибудь книжку... Ладно, ступайте, я сама посмотрю.

Он уходит. Она сидит в кресле в шубке, покачивая ногой.

Стрельченко с бутылкой вина и плиткой шоколада выходит из магазина. Проходя мимо телефона-автомата, останавливается, заходит в будку и набирает номер.

К телефону долго никто не подходит.

— Алло! Алло!.. Люся, это вы? Что вы так долго не подходите? Почему вы молчите? Люся!.. Люся, вы плачете? Что случилось?.. Так. Так... Понимаю. Значит, мы с вами погорели?.. А, может, вы что-нибудь сделали не так?.. Да нет, не могу я сейчас прийти... Говорю, не могу... Ладно, завтра посмотрим. Что? Не пойдете домой? Ваше дело!..

Яростно повесив трубку, хлопает дверью будки. Вспоминает, что забыл в будке бутылку вина, возвращается за ней.

Дановская, все еще в шубке, придвинула кресло к столу и перебирает лежащие на столе папки и книги. Она находит свое фото (то, которое мы видели стоящим на столе) и несколько секунд внимательно его рассматривает. Потом берет листок бумаги и пишет на нем несколько фраз; быстро, почти не задумываясь.

Встала, оглядела комнату, улыбнулась—на этот раз грустно, вернулась к столу, спрятала в сумочку фото и вышла.

Она идет по длинному коридору, спускается по лестнице. Уже внизу, услышав шаги, быстро заходит в тупичок под лестницей. Мимо нее проходит Стрельченко. У него озабоченное лицо.

Он поднимается наверх. Она выходит на улицу.

Стрельченко стоит и с недоумением читает записку. Там написано крупным, небрежным почерком:

«Милый Дима, все это совершенно ни к чему. Откровенно говоря (Вы любите это выражение), Вам, по молодости лет, еще меньше, чем мне... Я должна была приехать сюда, чтобы разобраться в себе и это понять... Целую. З. Звонить мне больше не надо...»

Он морщит лоб и чешет кулаком шею. Бутылка торчит у него из кармана. Потом он радостно вскакивает и быстро выходит из комнаты.

По платформе станции Петрищево ходит Дановская. Когда она попадает в свет фонаря, мы видим, что по лицу у нее текут слезы. Потом, будто что-то вспомнив, она улыбается, снова плачет и снова улыбается. Подходит электричка.

Глубокая ночь. В лаборатории возятся с приборами Люся и Стрельченко. Наконец он выпрямляется.

— Ну, все понятно! Дело не в красителе!

— А в чем же?

— А в том, что вы плохо вымыли приборы. Видите, реакция показывает посторонние примеси.

— Значит...

— ...Значит, краситель хорош, а вы — маленькая рыжая неряха...

Они смотрят друг на друга и улыбаются.

— Знаете что, Люсенька, давайте выпьем вина. У меня с собой случайно оказалась бутылка.

Он достает из кармана пальто, брошенного на стул, бутылку и ловко ее откупоривает. Люся приносит две пробирки.

— Не забыть бутылку убрать. Найдут — попадет нам • вами! Скажут, пьянки в лаборатории.

— Все равно пропадать! — говорит он, но что-то же очень похоже, чтобы он собирался пропадать.

Мастерская трафаретчиц на комбинате.

После работы сидят все девушки, кроме Аси, и молодой человек в синем халате.

— Ну, что ж, так и будем все Шульгину ждать?

— Она сейчас придет. Ее предупреждали, — говорит Вика.

— Нет, ждать не будем. Девушки, у нас к вам от комсомольского комитета такое предложение: производственницы вы хорошие, сами тоже ничего, одна даже, говорят, невеста. Хотим мы вам присвоить звание бригады коммунистического труда. Но уж придется это звание держать высоко и не только на работе, но и в быту. В общем — не маленькие, сами знаете...

Пауза.

— Прошу высказываться. Козлюк как бригадирша первая... Почему ты молчишь, Козлюк?

— Думаю, — говорит Сима.

Она оглядывает девушек: все напряженно молчат.

— Удивляешь ты меня, Козлюк. И все вы удивляете. Раз вам комитет доверяет...

— Подожди, Володя! Девочки, я так понимаю: все мы молчим — думаем об одном...

— Догадываюсь. О Шульгиной. Знаю: ходят о ней разговорчики. Но формально ей ничего приписать нельзя. Как она работает?

— Раньше лучше всех работала. Сейчас — тоже неплохо. Вот, ты говоришь, формально ничего за Асей нет, Володя, а ведь дело это не формальное...

— Правильно, Симка!

— Я скажу обо всех, Володя, не можем мы называться бригадой коммунистического труда, пока наша лучшая трафаретчица Ася Шульгина душой не с нами...

— А где она душой?

— На рынке со своей Гудовой, вот где! — почти крикнула Соня.

— Ну, уж ты скажешь! — упрекнула ее Вика.

— Понимаю. Приветствую за честную постановку вопроса. Вношу предложение: перевести Шульгину в другой цех. Работы у вас сейчас немного — на старых рисунках сидите, справитесь. И ее на место поставим,

и вы бригадой коммунистического труда будете по составу, а не по названию.

— Прости, Володя, но ты чепуху сейчас говоришь.

— Почему чепуху?

— Ну, подумай сам: какая же мы коммунистическая бригада, если мы подругу потеряли, а чтобы себе почетное звание присвоить, должны ее еще дальше отпихнуть. Так я говорю, девочки? Соня, ты со мной согласна?

— Согласна, Симочка!

— Все согласны!

— Конечно, ежели посмотреть на это дело так... В общем, как хотите, девушки. Вам видней. Обсудите еще между собой.

Запыхавшись, входит Ася:

— Опять виновата я. Опоздала?

— У меня все. Я пошел.

Володя уходит. Ася обводит глазами молчащих подруг.

— Сберкасса сегодня рано закрывается. Сбегала — одна нога там, другая тут. Чего это вы все молчите?.. Понимаю: меня прорабатывали. Только я перед вами не провинилась: решила одеться, деньги зарабатываю своим трудом, держу не в кубышке, а в трудовой сберегательной... (Пауза.) Неужели ошиблась — не обо мне говорили?

— Нет мы о Валькиной свадьбе говорили: меню обсуждали, — зло отвечает Сима.

Чокаются множеством бокалов и рюмок гости на свадьбе Вали.

За сдвинутыми столами сидит человек сорок гостей: подруги и товарищи невесты и жениха и пожилые родственники. Судя по хаосу на столе, наполовину пустым бутылкам и градусу шума, свадебный пир уже идет давно. Гремит радиола. Какая-то маленькая старушка мечется от стола к дверям с блюдами новых закусок. Потерянное от счастья лицо Вали и серьезное, смущенное — Леши. Среди гостей Тихомирова. Нарядная, веселая Вика кокетничает с сидящими с обеих сторон кавалерами сразу. Ася сидит с другой стороны стола. Перед ней нетронутая рюмка.

Крики: «Горько!» Валя и Леша целуются (она — самозабвенно, он — застенчиво).

Но вот уже сдвинуты в сторону столы. Кто-то выходит покурить на площадку лестницы, молодежь начинает танцевать.

В маленькой спальне перед зеркалом поправляет прическу Тихомирова. Туда заглядывает Валя.

— Валечка, собери-ка на минутку сюда потихоньку девушек. Есть у меня интересный разговор...

— Сейчас, Ольга Игнатьевна...

Вот уже Валя шепчет что-то на ухо Симе. Мимо проносится в вальсе Вика. Ей делают знак, но она не видит.

Ася одевается в передней, где грудями набросаны пальто.

Одетая, она выходит на площадку. Там Леша с самыми отъявленными курильщиками.

— Куда же вы так рано, Ася? И не танцевали совсем!

— У меня голова разболелась. До свидания, Леша. Поцелуйте Валечку...

И она быстро сбегает вниз по ступенькам.

В спальне вокруг Тихомировой сидят и стоят подружки-трафаретчицы и другие девушки с комбината. В большой комнате продолжаются танцы.

— Девушки, — продолжает Тихомирова, — вся наша беда в том, что, сколько мы ни бились, ничего поделаться с торговой сетью не можем. Вот и появилась у меня озорная мысль: давайте обратимся прямо к покупателям. Пусть они рассудят наш спор. Но для этого нужна **ваша** помощь. Комсомольцы должны мне помочь, а в первую очередь все вы...

— Ну, мы-то всей душой, Ольга Игнатьевна!

— Самим надоело старье выпускать!

— Тогда слушайте... Только, чур, молчок пока... Есть в Москве Дом шелка. Зимой там будет выставка-продажа шелков нашего комбината...

У Гудовой. Повсюду лежат бумажные цветы. ими завален стол. Они подколоты к стенам. Грудями набросаны на комоды и шкафы, на стулья и кресла. Связки бумажных цветов засунуты за рамки картин, и даже книжная полочка Аси, примостившаяся в уголке, тоже завалена цветами.

Ася сидит за столом и быстро, почти автоматически мастерит цветы. Шуршит цветная бумага, мелькает проволока, и готовый бумажный цветок на металлическом стебле ложится в кучу на стол.

Гудова лежит на диване под несколькими одеялами. Глаза ее закрыты, но по неровному дыханию видно, что она не спит. Вот она застонала. Ася оглянулась, продолжая работать.

— О-о-ох!

— Термометр поставьте!

— Зачем? И так чувствую: вся горю...

— Может, пропустите одно воскресенье?

— Ты что? Разве это простое воскресенье? Последнее перед Новым годом. Завтра, сколько на рынок ни вынесешь цветов, все купят.

— Нельзя вам выходить.

— Ты же вместо меня не пойдешь...

— Не пойду. Девушки меня просили завтра с ними в Дом шелка поехать.

— Значит, получится, даром неделю работали.

— Вот вам денег жалко, а себя не жалко.

— Себя только дураки жалеют.

— Анна Петровна, я вам кажется говорила: работать с вами буду, а торговать не стану.

— Ну, ладно. Поташусь сама, больная. Коли сдохну — тоже беда небольшая...

Раннее зимнее утро. Афишный столб и на нем большой плакат: переплетенье разноузорных шелков и надпись: «Выставка-продажа шелков Петрищевского комбината, воскресенье, 31 декабря».

Мимо афишного столба идет Ася с большим мешком на плече. На ней телогрейка Гудовой и валенки. За ней плетется старичок, который везет на санках еще три таких же мешка.

У столба Ася остановилась, чтобы переложить мешок на другое плечо. Увидев плакат, впилась в него глазами. Старичок с саночками опережает ее и, оглянувшись, останавливается. Она вскидывает мешок на плечо.

Ася идет, не обращая ни на кого внимания. Брови нахмурены, губы сжаты. Пусть кто-нибудь попробует ее пожалеть!

Дом шелка в Москве. Огромный выставочный зал. Эстрада. Стенды с шелками, широкими полотнищами, свисающими с шестиметровой высоты до полу. Диваны для посетителей. У каждого стенда маленький столик, и около него по два-три кресла. В четырех углах зала на таких же маленьких, низеньких столиках стоят кассовые аппараты. Против эстрады миниатюрный прилавок, на нем микрофон. Рядом небольшой подъемник с площадкой, напоминающей платформу детских весов.

В зале таинственный полумрак: большие окна зашторены, но сквозь шторы просвечивает морозный солнечный день.

Много суетящихся женских фигур. Заканчиваются последние приготовления. Юноша на стремянке ввинчивает в бра лампочки. У стендов демонстраторши Дома шелка и рядом с ними девушки с комбината. Мы видим здесь и наших приятельниц-трафаретчиц: Вику, Симу, Вало, Сою и многих других, чьи лица примелькались нам по комбинатской столовой, по балу в Доме культуры, по Доске почета во дворе комбината...

Около эстрады стоят Тихомирова и директор Дома шелка Краснушкина — большая тучная женщина. У Краснушкиной обиженное лицо:

— Зря вы это, зря... Думаете, мы уж такие дураки и своего покупателя не знаем. Если мы забраковали, значит — все, точка, забудьте! Что хорошо — мы прямо говорим: хорошо. А это вы тут напрасно повесили. Не верите — сами увидите...

— Увидим, увидим... — уклончиво говорит Тихомирова. — Может, свет проверим? Скоро открывать...

— Свет! — командует Краснушкина.

Стенды высвечиваются лампами дневного света, затем погружаются в полутьму, освещаются яркими лучами солнца, окрашиваются серыми тонами пасмурного дня, и, наконец, на них падает беспощадный свет прожектора. Смены света даются медленно, контрастно.

— Хорошо! — кричит Тихомирова.

Раздается звонок.



В. Е. БОРИСОВ-МУСАТОВ. Пруд. Акварель. Без даты. Русский музей. Отдел рисунков № Р 2155. Воспроизводится впервые

— По местам! Открываем! — командует Краснушкина.

За развороченной площадкой строительства нового Петрищевского рынка длинные деревянные столы временного базара.

Мясной ряд, овощной ряд, молочный ряд... Недавно прошел снежок. Он кружится над рыночной толкотней,

припорашивает продавцов и их товары, выбирающих приценивающихся и покупающих петрищевцев...

В дальнем углу рынка, у забора, за такими же длинными столами идет бойкая торговля «красотой».

На заборе развешаны расписные коленкоровые коврики с пальмами, голубыми озерами и плывущими лебедями. Рядом тоже коврики, но с русалками и упитанными девами, расчесывающими золотые косы, с пля-

шущими цыганками. Дальше висят коврики со свирепыми барсами, слонами, идущими на водопой, и умильными котятами. В глаза лезет наглая пестрота дешевых красок.

У выставленного товара — продавцы, они же и «художники»: старичок богомольного вида; парень в кожаной куртке на молнии и зеленой шляпе; рябой детина без шапки, в расстегнутом пальто; худой, мрачный человек в старой шинели с костылем...

Тут же — рыночный фотограф, с сокрушением смахивающий снег с полотна, на котором изображен памятник Долгорукому. Девочка с кипой старых «Огоньков» и киножурналов. Старушка с глиняными слониками всех размеров. Еще одна старушка с тряпичными куклами. Старичок со шкатулками, обклеенными крашеной соломой. Дама с кружевами. Хорошо одетый юнец с самодельными пластинками. Глиняные кошечки. Еще слоники. Рамки для фотографий. Вышитые наволочки и покрывала. Опять слоники. В самом конце — целая оранжерея бумажных цветов всех тонов и расцветок, просто бумажные и покрытые стеарином, с ярко-зелеными коленкоровыми листьями на крашеных проволочных стеблях.

Ася сидит рядом с усатой старухой, которая поглядывает на нее далеко не дружески: Асины цветы гораздо красивее.

На предпраздничном базаре покупателей много: около Аси и старухи почти все время кто-нибудь останавливается. Две женщины: одна лет двадцати пяти, другая — за пятьдесят, но чем-то похожие друг на друга, подошли к старухе. Молодая, увидев Асины изделия, перешла к ней.

— Мама, тут лучше!

— Ах, Раиса, не все ли равно?

— Ну что вы, гражданка, чем же лучше? — вступает за свою продукцию старуха, злобно поглядывая на Асю.

— Подберите нам букетик рубля на три!

Асе, видно, очень не по себе.

— Ну уж для ровного счета дайте еще парочку, — говорит мать.

Ася прибавляет к букетику еще два цветка.

Женщины отходят.

Старуха шипит:

— Смотри, проторгуешься.

К ней тоже кто-то подошел. И у нее берут цветы.

К Асе подходит подвыпивший гражданин.

— Дайте мне цветок, чтоб был похож на вас...

— Выбирайте сами.

— Нет, выберите вы. Хочу, чтоб по вашему вкусу...

Подходит женщина:

— Девушка, почему цветы?

— Не видите? Написано.

— А чего вы грубите?

Старуха вмешивается:

— Гражданочка, я вам подберу...

— Нет, я хочу эти.

— Извиняюсь, я подошел раньше вас...

— Еще тут очередей не хватало...

— Проходите, гражданин! — сурово говорит Ася.

— Иди ко мне, милый, — опять вмешалась старуха.

— А зачем ты мне, старая подметка?

— Ах ты, сволочь! Катись, а то милиционера позову...

К Асе подходят мужчина и женщина. У мужчины на руках маленький ребенок:

— Девушка, почему букетик?

— Написано — три рубля!

— Ну, что вы! За такой букет — грешку!

— Не торгуйся, Зинка, терпеть не могу. Получите, девушка...

— Девушка, а других у вас нет? — Это подошла пожилая женщина.

— Не берите, если не нравится...

Женщина перебирает все цветы.

К старухе подходит женщина с красной повязкой на рукаве.

— А я уже брала талончик, хозяйюшка. Ты что, забыла?

— Брала — так предъявите.

— Куда я его дела? Потеряла, что ли...

— Ничего вы не брали. Я вас знаю. Каждый раз обмануть хотите. Сотни гребете, а копейки жалеете.

— Ну что же, я два раза платить должна?

— Давайте тридцать копеек, гражданка, или покиньте рынок.

— На, держи, давись...

Женщина, не обращая никакого внимания на брань, отрывает и дает ей талончик и подходит к Асе. Она тоже получает талон. Пожилая женщина продолжает перебирать цветы.

К Асе подходит женщина в шубе и модном платке.

— Вы вместо Анны Петровны вышли? То-то я смотрю: ее работка. С непривычки-то трудновато? Народ тут всякий...

Ася замечает, что старуха делает ей какие-то знаки. Женщина в шубке наклоняется к Асе и тихо говорит:

— Чего вам мерзнуть-то? Давайте, я у вас все сразу возьму. Тридцать рублей, и ступайте домой кофе пить!

— Да у меня еще два мешка.

— Вижу, девушка. Все вижу. Ну хорошо, сорок!

Ася смотрит на старуху, которая отрицательно качает головой, и решительно говорит:

— Нет!

— Ну уж ладно, пятьдесят — и по рукам!

— Нет!

— Как угодно! Анне Петровне привет передавайте.

Женщина в шубке отошла. Старуха метнулась к Асе.

— Сколько она тебе, спекулянтка чертова, давала? Видит, новенькая. Ее тут все знают: купит и тут же втрое дороже продаст...

Увидев, что к ее месту подошли покупатели, метнулась обратно.

— Девушка, у вас с двадцати пяти рублей сдача найдется?

Перед Асей нарядная женщина, руки у нее полны свертков, сумка туго набита.

— Дайте мне на трешку, только, пожалуйста, отберите сами, а то руки заняты.

Ася отбирает цветы и берет бумажку. Пока она отсчитывает сдачу, женщина в нее вглядывается.

— Не узнали меня? А я узнала: вы — Ася Шульгина. Я в вашей комнате живу...—Ася узнает Ларису.— Вы что, ушли с комбината? Ну, что ж, каждому свое счастье видней.

— Берите сдачу.

Лариса берет сдачу, продолжая тараторить:

— Может, зайдете, когда? Посмотрите, как я живу. Ничего, уютненько... Ну, тороплюсь: хочу еще в Москву на комбинатскую выставку-продажу успеть... С наступающим!

И она скрылась в толпе, оставив после себя сладкий запах «Красной Москвы».

Летит легкий декабрьский снежок, где-то недалеко звучит аккордеон и слышится хриплый голос, выводящий песню; пронзительное тремоло милицейского свистка, шум толпы, споры, возгласы, смех, брань.

Негромко звучит плавный вальс. Выставочный зал в Доме шелка.

Меняется освещение над стендами. Плывут сверху вниз шелка. Вдоль стендов проходят посетители.

У одного из столиков нарядно одетая Вика. Около нее две покупательницы.

— Садитесь, пожалуйста, — приглашает она. — К сожалению, сейчас этого шелка в продаже нет...

— Ну вот, у нас всегда так: если хорошо, значит — нет!

— Вы меня не дослушали! — улыбается Вика. — Вы можете оставить заказ. Вот я заполню открытку, а вы напишете свой адрес. Получите открытку — придете и купите то, что понравилось.

Покупательницы пишут адреса.

— До свидания! Заходите еще! — очаровательно улыбается Вика.

Покупательницы уходят, весело переговариваясь. К Вике подходит Тихомирова.

— Ну как, Ольга Игнатьевна?

— Все идет отлично!

— Наберем открыток, а дирекция откажется выпустить эти рисунки, и выйдет, что мы обманщики. Еще про нас фельетон напишут.

— Ну, уж тогда фельетон будет не про нас.

Викку отзывает в сторону Валя и что-то ей шепчет. Та возвращается к Тихомировой с расстроенным лицом.

— Что случилось?

— С Асей нехорошо, Ольга Игнатьевна.

— Заболела? А я то думаю: что это ее нет? Что с ней?

— Она не заболела. Хуже. Сейчас из Петрищева одна девушка приехала, товароведом на базе ра-

ботаает, говорит, она Асю на рынке встретила — бумажными цветами торгует.

— Не может быть!

— Говорит, сама видела.

К ним подходит Сима.

— Слышали про Аську-то? Докатилась! Мы все здесь, а она на рынке своей «красотой» торгует. Я считаю: в комсомоле ей не место.

Вика испугалась:

— Ты подожди, Симка, надо с ней поговорить. А что особенного, если разобраться... Ведь она не ворованным торгует, своей работой...

— Непринципиальная ты, Виктория.

— Принцип принципом, а ее жалко.

Тихомирова вмешивается:

— Потом поговорите, девочки. Видите, сколько у ваших стендов народу собралось.

Девушки расходятся по местам.

Рынок. Ася развязывает еще один мешок и ставит в вазу новые цветы. У нее в руках толстая пачка замасленных денег.

К ней подходит женщина в шляпке.

— Ах, какая прелесты! Римма! Римма!

— Ну, что ты кричишь, мама?

— Смотри, какие чудесные розочки. И недорого.

— Ну, мама, кто же покупает бумажные цветы?

— А ты что, хочешь за два рубля под Новый год настоящие розы купить?

— Бумажные цветы — это гадость!

Ася почему-то чувствует себя задетой.

— Гражданка, цветы не бросайте!

— А почему вы позволяете себе таким тоном разговаривать?

— А что я сказала такого? Люди работали...

— Подумаешь, люди! Рыночная шантрапа!

И так же скоропалительно помирившись, как они только что ссорились, мать и дочь отходят, ничего не купив.

Старуха подзывает Асю.

— Не связывайся! Они деньги платят, а за свои деньги человек над другим помордоваться любит.

Снова к Асе подходит спекулянтка:

— Ну как, не надумала, девушка?

Ася молчит, хотя у нее появилось большое желание отдать все цветы сразу и уйти с рынка. Но подходит семья из нескольких человек и забирает у нее целую кучу цветов. Спекулянтка сразу исчезает.

Кабинет директора Дома шелка Краснушкиной. С ней директор комбината. Краснушкина волнуется.

— Кто вам разрешил принимать заказы? Вам потом горя мало, а мы отвечаем. Очковтирательство это! Авантюризм! Как хотите, а я ваши открытки брать не буду. Народ не знает, что вы заказы приняли на ткани, которых у вас и в плане нет, а мы знаем...

Директор трет ладонью затылок, загадочно улыбается.

— Нет, вы мне скажите, кто на этот балаган санкцию дал? Буду хоть знать, на кого отписываться!

— А я... — говорит директор. — А я вот жалею, что не сам это выдумал.

Снег продолжает идти, но рынок не пустеет.

У Аси остался только один нетронутый мешок. Она перекладывает цветы, стряхивая с них снег.

Перед цветами старухи стоит девушка. Она моложе Аси, но чем-то на нее похожа. Одета почти бедно. Она рассматривает цветы, вздыхая:

— Бабушка, вот очень хочется цветочков купить, а у меня только иолтинник остался. Не уступишь?

— Серый волк тебе в лесу уступит! Давай проходи. Нет денег, и не пялься!

Девушка отходит с огорченным лицом. Ася ее окликает.

— Девушка, стойте!

Девушка подходит к ней.

— Вот берите!.. — Ася дает ей целый букет.

— Да у меня только полтинник...

— Я же вам говорю, берите... Без полтинника берите!

Ася кричит. В ее крике — все, что она здесь вынесла.

Девушка испуганно берет букет и кладет на стол монету.

Ася смотрит ей вслед. Вдруг она чувствует, что ее тянут за полу. Это старуха.

— Если будешь, стерва, цену сбивать, я тебе морду набью!

Почуввав скандал, около них останавливаются прохожие. Но тут как тут снова появляется женщина в шубке:

— Ну давай за остаток пятнадцать рублей? — И она сует ей деньги.

Ася, не глядя, берет их и стремительно уходит.

Панорама рынка. Ася проталкивается сквозь толпу.

Из подъезда Дома шелка на заснеженную улицу выходят подруги-трафаретчицы.

Валя говорит:

— Вика, а может, ты все-таки с нами будешь встречать Новый год? Все свои, весело...

— Нет, девочки, я уже обещала...

— Ну, вот, сначала Аська оторвалась, теперь ты...

— Что ты сравниваешь? Я не отрываюсь, просто обещала одному человеку...

— Хоть расскажи, что за человек? Куда ты с ним, в ресторан?

— Нет, в одну компанию, на дачу

— А он-то кто? Секрет?

— Ага, секрет... Но тут же, не выдержав. — Помните, весной мы познакомились в кафе со студентами? Там был один, на Овода похож...

— Ну, ну...

— Я опять с ним случайно встретилась, а потом мы в кино ходили, и вообще... На этот раз, кажется, серьезно...

И девушки скрылись в падающем снеге.

У Гудовой, Ася сидит за столом. Перед ней куча засаленных денег. В ее лице появилась какая-то жесткость.

Гудова ставит на стол чайник, чашки, варенье.

— Да брось ты считать-то! Успеем.

— Нет, я хочу сосчитать. Не мешайте...

Гудова усмехается:

— Правильно я говорю: очень ты на меня похожа. Мне тоже, когда я до настоящих денег дорвалась, все нипочем стало; все пустяки, кроме одного...

— Немного до сотни не хватает... Сбили вы меня своими разговорами!

— Вот видишь! Я ведь говорила: нельзя такой день пропускать. А мне полегчало: встала, к празднику убралась. А что с последним мешком не стала возиться — правильно сделала. И так, небось, измучилась с непривычки... Выпей чайку с вишневым... А может, водочки дать согреться?

— Дайте...

Гудова посмотрела на нее, подумала:

— Нет. Не дам. Плакать будешь!

— А вы почему знаете? Может, драться буду!

— Нет, плакать будешь, это уж точно... Да ты возьми полсотни себе.

— Была шубка ваша — станет наша... — говорит Ася с какой-то новой, странной развязностью. Она встала и начала надевать ботики.

— Ты куда? А чай-то?

— В сберкассе сбегаю, — деньги снесу...

Схватила со стола деньги и сунула в карман пальто.

— Ася! Мимо гастронома пойдешь — купи ветчины...

Но Ася уже убежала. И дверь осталась открытой. Гудова посмотрела ей вслед, села и стала пересчитывать деньги.

В дверь входит Жора. Из-под черной шапки выбиваются светлые волосы. На плечах снег. Гудова не слышит, как он вошел.

— Сколько ни считай — все мои будут!

Она испуганно оглядывается:

— Жора!

— Куда это твоя воспитанница полетела, словно ее ракетой выстрелили?

— По своим делам.

— Хороша девочка! — Гудова метнула на него взгляд. — Не пугайся, Анюта, понимаю, не про меня! Книжками малость подпорченная, Скучно ей со мной. Я уж раз подкатывался. Ничьяк!

— Да ну тебя, Жора!

— А ты похудела, Анюта. Тебе идет. Я тебя, Анюта, ни на какую молодую не променяю.

— Правда, Жор? — Он ее целует долгим поцелуем. — И снег не стяхнул. Ох, ты...

Сберкасса. В ней необычно много посетителей. К каждому окошечку очередь в несколько человек.

Входит Ася и говорит женщине, которая стоит последней к контролеру.

— Скажите, пожалуйста, что за вами занято.

Женщина кивает головой. Ася берет листок и садится за столик в сторонке.

С улицы входит Стрельченко и становится в очередь к контролеру. Он тут же у стойки заполняет листок.

Ася возвращается и сердито говорит женщине:

— Вас же просили сказать, что за вами занято...

— Ася!

— Вы?

— Оказывается, это я вашу очередь занял?

— Нехорошо, товарищ Стрельченко!

Они оба заговорили в каком-то искусственном, фальшивом тоне, но не могут с него сойти.

— Вы что, получаете или наоборот? — спросил он.

— Наоборот.

— А я вот получаю. Ну вот ваша очередь.

Внеся деньги и получив обратно книжку, она проходит мимо него.

— Желаю весело встретить Новый год! С наступающим!

— И вас тоже!

Когда за ней захлопнулась дверь, он вдруг сделал движение, чтобы ее догнать, но раздумал и прошел к кассе.

Ася выходит на улицу. Снегопад превратился в настоящую метель. Сделав несколько шагов, она останавливается, идет обратно к сберкассе, потом снова останавливается и, резко повернувшись, скрывается в метели...

У Гудовой. В комнате один Жора. Он со вкусом пьет чай и хрустит баранками. Включен радиоприемник. Передают последние известия. Диктор рассказывает, как вся страна готовится к встрече Нового года... В комнате прибрано и даже будто уютно. Вошла Ася.

— Здравствуйте!

— С наступающим... А я уже с вами здоровался...

— Когда?

— А вы давеча мимо меня пролетели. Думал, на луну тренируетесь.

— А где же Анна Петровна?

— В гастроном пошла...

— Зачем же? Она нездорова. Разве вы не могли сходить?

— А она тут без вас подлечилась. Лекарство я ей одно принес...

Ася поняла намек, отвернулась и взяла книжку. Пауза. Ее прерывает Жора:

— Да... Бабы в общем дуры, но встречаются исключения...

Она читает или делает вид, что читает. Он снимает со стены гитару и лениво перебирает струны.

ДИКТОР: «Передаем концерт из произведений Иоганна Себастьяна Баха. «Чаконна». Исполнит пианист Святослав Рихтер».

Ася поднимает голову. Первые такты «Чаконны». Она напряженно слушает. Жора с гитарой в руке подходит к приемнику и выключает его.

— Да разве это музыка? Вот послушайте, Асенька...

Он неплохо поет, аккомпанируя себе, пристально на нее глядя:

Вечер черные брови насопил,

То не кони стоят у двора.

Не вчера ли я молодость пропил?

Разлюбил ли тебя...

Ася встала. Губы ее дрожат. Он замолчал, ничего не понимая:

— Положи балалайку, болван!

Пауза. Он кладет гитару:

— Ну, это уж слишком! Это уже, как говорят в очко, двадцать два!

Ася молча одевается. Входит Гудова.

— Вот что значит знакомство. В магазине не толкнешься, а я — раз, два и готов. Ветчинки взяла, семги... Опять уходишь, Анна?

Ася старается не смотреть ни на нее, ни на Жору.

— Когда придешь-то?

— Приду...

И она выходит. Гудова пристально смотрит на Жору.

— Что это с ней?

— Она вообще у тебя чокнутая...

— Гитару зачем снял? Смотри, Жора...

— А ну тебя с твоей ревностью!

Снова взял гитару и поет:

Не храни, запоздалая тройка!

Наша жизнь пронеслась без следа.

Может завтра больничная койка...

Гудова смотрит на него влюбленными глазами.

Улица. Метель. На столбе радиорупор. Рихтер играет «Чаконну».

У столба стоит занесенная снегом Ася и слушает.

У нее мокрое лицо то ли от растаявшего снега, то ли от слез...

Нижняя комната в домике Гореловых.

Василий Евдокимович, как всегда вечерами, у радиоприемника с газетой. Звучит эстрадная музыка.

Вика вертится у большого зеркала уже в пальто.

— Ты меня, папка, не жди. Я ключ взяла. Прими таблетку и спи. Я на дачу к знакомым еду. Может, утром вернусь.

— А ты чего пальто-то осеннее надела?

— Оно к этому платью лучше. Мое зимнее уж немодное.

— Платок возьми.

— Вот еще, платок! Что я, старуха? Ну, папка, с наступающим!

Она поцеловала его и вышла. В руках у нее маленький чемоданчик с новыми туфлями.

Комната Гудовой. Анна Петровна раскладывает пасьянс. У двери стоит Вика. По радио та же музыка.

— Ну, если ее нет, я пойду... Вы ей скажите, что я заходила узнать, почему ее не было в Доме шелка. Может, заболела...

— Здорово. Дело у нее одно было... А это хорошо, что о подруге заботишься. Еще что передать?

— Поздравьте ее с Новым годом!.. — Заметив, что Гудова усмехнулась, вежливая Вика прибавляет:

— И вас тоже с наступающим!

— Спасибо!.. А то соседи, а живем не по-соседски.. Что в дверях-то стоишь? Посиди минуточку. Может, она сейчас придет.

— Да меня ждут... А она далеко пошла?

— Говорю, сейчас придет.

— Жарко у вас! — Вика с любопытством оглядывает комнату.

— А ты расстегнись. Платье-то у тебя какое!.. Покажи...

Трудно удержаться и не похвастаться новым платьем. Вика снимает пальто, Гудова ее рассматривает.

— Где шила? Неужто в нашем ателье? Хорошо, ничего не скажешь.

Приятно, когда хвалят твоё новое платье. Вика сняет.

— А вот пальтишко к этому платью не идет. Да и не по сезону.

— Сегодня тепло.

— Весь вид портит. Ну-ка, подожди...

Гудова ушла в другую комнату. Вика расстроена. Почти сейчас же Гудова вернулась с двумя шубками.

— Вот, смотри: это Асина...

— Как Асина? — Вика поражена.

— Ася у меня ее покупает. Хороша? А вот эту, если хочешь, я тебе на вечерок дам. Завтра принесешь. Искушенье велико, но Вика не решается...

— А что такого? Взяла — принесла. Ну-ка, надень! Да чего ты боишься? Шуба не зверь, не укусит.

Вика надела шубку.

— Вот, совсем другое дело...

— А она дорогая?

— Тебе-то что? Не продажная. За прокат тоже не возьму. Сама голодранкой была...

— Ну, все-таки, сколько она стоит?

— За полторы тысячи отдам... — Гудова смеется.

— Полторы тысячи! Нет, не одену... — Вика снимает шубку.

— Ну, ладно, сотню скину, если страшно.

Она смеется, засмеялась и Вика:

— Надеть, что ли?

По радио льется такая томительно волшебная музыка, что все вокруг начинает казаться таким же волшебным и легким. И эта Гудова уже кажется простой доброй бабой. Вика решается...

— Ну хорошо! Спасибо! Верну в целости. Я в электричке стоять буду, чтоб не помялась.

— Не бойся. Она прочная...

— Жалко, Асю не застала. Вы ей обязательно передайте, что я приходила...

— Передам. — Гудова снова садится за пасьянс.

Ася сидит в читальне и, подперев голову руками, читает. Кроме нее и библиотекарши, никого нет. На больших стальных часах половина одиннадцатого.

Библиотекарша прибирает вокруг себя, потом подходит к Асе.

— Я через полчаса должна закрывать, да уж сегодня, наверно, никто не придет — под Новый год-то. Да мне бы нужно пораньше уйти. Вот тебе ключ. Будешь уходить — запири, завтра мне его принесешь.

— Хорошо, Евгения Александровна!

Ася продолжает читать.

Стрельченко спит одетый у себя в комнате. На полу лежит упавшая книга.

В очереди в кассу гастронома стоит рыженькая лаборантка Люся с молодым человеком в очках, у которого руки уже полны свертков.

На кухне маленькой квартиры суетятся Валя и Сима. Тусклым блеском сияет студень и заманчиво пестреют винегреты разных сортов. Тут же в новом костюмчике с платочком, торчащим из кармана, открывает бутылки Леша.

Иллюминированное здание Дома культуры. У входа толчея пришедших встречать Новый год.

Снегопад кончился, но везде лежат огромные сугробы. Надо всем этим праздничная, эстрадная музыка: вальсы, танго, лирические песенки...

И снег: белый, серебряный, синий, голубой, алый, зеленый, желтый — от иллюминации, неоновых вывесок и реклам, светофоров...

Гудова ходит по комнате. Стол красиво накрыт на двоих. Бутылка шампанского. Бутылка водки. Горит электрическими лампочками маленькая елочка в углу. По радио та же праздничная музыка.

Она смотрит на часы. Уже четверть двенадцатого.

В дверь стучат. Она быстро идет открывать:

— Ты, Ася? Что так долго?

Но это не Ася. Это незнакомая ей высокая, стройная девушка в модном пальто и платочке.

— Скажите, пожалуйста, Ася Шульгина здесь живет?

— Здесь. Только ее нет...

— А вы не знаете, куда она пошла встречать Новый год?

— Не знаю...

— Жалко. Я так торопилась под Новый год успеть в Петрищево. Скажите ей, что приходила Майя.

— Хорошо, скажу. Слышала про вас...

— Ну, я побегу. Может, где-нибудь разыщу... До свидания!

— До свидания!

Гудова закрыла за ней дверь. Двадцать минут двенадцатого.

Стрельченко зашевелился, повернулся на другой бок, вроде заснул снова, но мимо его двери в коридоре со смехом прошла шумная компания, и он проснулся. Посмотрел на часики, лежавшие вместе с книгой и папиросами на полу. На них двадцать минут двенадцатого. Он сел.

Электричка подходит к платформе с надписью «Дачная». Из вагона выходит с небрежной важностью Вика в дорогой шубе. Ее встречает шумная и уже пьяная компания.

По улице спешат пары и одиночки. Бежит Майя. Вот она прошла мимо дома с вывеской «Библиотека».

Ася запирает дверь библиотеки и выходит на улицу. Где-то далеко из рупоров гремит праздничная музыка. Ася идет в ту сторону, откуда только что прошла Майя.

Стрельченко платит за папиросы в гастрономе у прилавка, где деньги получает продавец.

— Дима! — это его окликнула Тихомирова. У нее в руках торт. — Вы не в клуб?

— Да, пожалуй, пойду в клуб...

— Почему «пожалуй»? Вам негде встречать Новый год? Идемте со мной. Вот, несите торт!

— Надо хоть вина купить.

— Некогда. Беру вас на свое иждивение.

Это — час и минута, когда все спешат и лихорадочно смотрят на часы. Тихомирова и Стрельченко стоят на автобусной остановке.

— Я слышала, вас можно поздравить с успешным испытанием нового красителя?

— Спасибо.

— И меня поздравьте. Директор, кажется, сдался. Собирает совещание цехов по внедрению новых рисунков.

— Значит, все хорошо?

— Почти...

— Почему «почти»?

— Помните, у меня была ученица, Ася Шульгина?

— Помню.

— Ее исключают из комсомола. Торговала на рынке бумажными цветами.

Он нахмурился, что-то припоминая.

— Берите торт. Я не еду с вами. Вон, идет ваш автобус... С наступающим!

И он зашагал по тротуару.

— Дима, минуточку... Вот уже сколько времени та-скаю в сумочке, забываю отдать. Как-то оставили у меня...

Тихомирова достает из сумочки фотографию Дановской в шубке и отдает ему. Он рассеянно сует ее в карман. Подходит автобус, и Тихомирова вскакивает на подножку.

Он машет ей рукой и смотрит на часы. Без двадцати пяти двенадцать. Он закуривает и медленно идет по улице, странно выделяясь в толпе торопливых прохожих.

Стрельченко идет по пустынной Пионерской улице. Он внимательно всматривается в дома — сейчас зимней ночью трудно узнать домик Гореловых, куда он один раз провожал Асю.

Вот у одного из заборов странной формы сугроб. Он вспоминает: летом тут, кажется, лежали бревна.

Он нерешительно входит в калитку и через заснеженный сад подходит к крылечку. В окнах темно. Он стучит. Никто не отвечает.

В нижней комнате спит в кресле у радиоприемника Василий Евдокимович. Тихо звучит праздничная музыка. Настольная лампочка поверх абажура накрыта газетой. Закрыты ставни.

Стрельченко стучит еще несколько раз, потом уходит.

У калитки он закуривает и, постояв немного, идет направо.

С другой стороны улицы идет Ася.

Она проходит мимо радиорупора на столбе, у которого слушала вечером «Чаконну». Сейчас из него звучит задорная эстрадная песенка.

Майя, уже без пальто, сидит в комнате, где накрыт стол и сияет елка. Вокруг нее несколько девушек, среди них Валя и Сима.

— Уж мы тебя ругали, ругали. Пропала, не пишет...

— Ох, девочки, сейчас расскажу... Постойте, а где же Ася, Вика, Соня? Никого дома нету. Так хотелось со своими Новый год встретить!

— Соня с сестрой встречается...

— Ну, а Аська где? — Девушки молчат. Потом Сима говорит:

— Плохо с Аськой! Отбилась она от нас.

Ася стоит перед калиткой Гудовой.

Здесь совсем тихо, только очень издали доносится праздничная музыка. Неподвижны заснеженные деревья. В одном из окон дома яркий свет. В других — темно.

Постояв, Ася поворачивается и бредет обратно.

Гудова ходит по комнате. На часах без четверти двенадцать. У нее злое, обиженное лицо.

Все эпизоды связывает разной громкости музыка одной и той же новогодней праздничной трансляции.

На Петрищевской вокзальной площади, среди сугробов, стоит большая, освещенная гирляндами из разноцветных лампочек елка.

Подошла электричка. Бегом бегут домой приехавшие с ней люди. Гремят радиорупоры.

Бегут по улице люди со свертками и бутылками. Не торопясь, идет Стрельченко. Он проходит мимо ярко освещенного Дома культуры.

Медленно по другой улице бредет Ася.

Они почти одновременно, но с разных сторон выходят на вокзальную площадь. Сияет елка.

Смотрит на нее Стрельченко.

С другой стороны смотрит на нее Ася.

Площадь велика, и они не видят друг друга.

Вот по радио звучат куранты. Новый год!

Чокаются друг с другом в разных домах, за разными столами герои нашей повести. Наплывы:

Вика в какой-то шумной и развязной компании;
Майя, Валя, Соня и Леша, рыженькая лаборантка и молодой человек в очках;

Тихомирова со своими друзьями;

директор Иван Кондратьевич;

красавец Жора в своей степенной семье;

Лариса в ресторане;

библиотекарьша в пенсне с матерью и другие...

одна за столом сидит Гудова; перед ней бутылка водки и стакан;

сидит у радиоприемника в кресле Василий Евдокимович.

Стрельченко обходит площадь, шагая через сугробы.

С другой стороны обходит площадь Ася.

Так они и не встречаются...

Майя с Валею и Симой у елки. Рядом танцуют.

— Такая тяжелая работа, девочки, вы не представляете... Все время на ногах, всегда улыбайся; ни лишнего съешь, ни выпей... Думаете: заграница. А я ее и не видела, только и мечтала, как до постели добраться. Не поверите: пойдём в кино — и там сплю... В Варшаве такие пирожные: что вы! — нельзя. Мне все Викины блинчики с мясом снились... От усталости девушки скучные, злые... Целый день ссорились из-за ерунды... Три заявления подавала, чтоб меня отпустили. Обещали к Новому году, так, поверите ли, сделала календарик и дни зачеркивала... Как вы думаете, возьмут меня опять трафаретчицей?..

— Аська, наверно, уйдет, на ее место и поступай.

— Да объясните толком, девочки, что же с Аськой?

— Плохо с Аськой... Даже Вика с ней разошлась...

Ася проходит мимо Дома культуры. Там танцы.

Ася подходит к библиотеке и отпирает дверь. Снимает пальто и устраивается на деревянном диванчике, положив под голову несколько книг.

Стрельченко с другой стороны проходит мимо библиотеки.

Громадная дача, похожая на санаторий или детский сад. Вокруг участка трехметровый глухой забор. Все окна ярко освещены.

Отворяется дверь на застекленную террасу. Слышен рев радиолы, шум, крики. Дверь захлопывают, потом она отворяется снова. Сквозь шум и музыку мы слышим голос Вики:

— Не смейте! Оставьте меня.. Как вы смееете?

Растрепанная, с шубой в руках, она выбегает в сад. В дверях появляется совершенно пьяный парень в полосатом джемпере.

— Вика, ты что, шуток не понимаешь?.. Где ты?

Но Вика успела выскочить за калитку на улицу.

— А ну, ладно, катись, дура, недотрога!..

Дверь в дом снова захлопывается...

Вика надевает шубу и, стараясь не провалиться в снег, идет по улице. Вокруг ни души. Запертые темные дачи. Огромные сосны.

Улица выходит на шоссе. По нему изредка проносятся, ослепляя фарами, машины. Вика всматривается, стараясь понять, где станция. Ни одного прохожего.

Она выходит на шоссе и, увидев машину, поднимает руку. Но машины летят мимо. Ей страшно и холодно, у нее промокли ноги.

Наконец, одна из машин останавливается. Вика бежит к ней.

В машине двое: один сидит за рулем, другой спит сзади. Оба хорошо одеты. У водителя тоненькие усики.

— Вы не можете подвезти меня до станции?

— Почему же не подвезти? Садитесь.

Несмотря на то, что она расстроена, Вика успевает заметить, что тот, кто сидит за рулем, красив.

— Куда вам?

Машина трогается..

— В Петрищево. Вы меня довезите до станции, там я доеду.

— Вам повезло, девушка. Нам по пути.

Они едут молча. Вика уже оправилась от страха и поглядывает на водителя. Они встречаются взглядом, и он улыбается. Чуть-чуть улыбается и она. Путешествие ей начинает нравиться. Они съезжают с шоссе на боковую дорогу.

— Куда мы едем?

— Вам же нужно на станцию...

Вдруг машина останавливается.

Водитель выходит и открывает дверь, около которой сидит Вика:

— Я вас попрошу на минуточку выйти.

— Зачем?

— Вам придется мне помочь. Шина ослабла, а этого чудака не разбудишь.

Он добродушно улыбается, и Вика вылезает.

— А теперь снимай шубу, сука!

Он сдергивает шубу, толкает ее в сугроб, а когда она поднимается, Вика видит только красные огоньки задних фар...

Гудова сидит перед пустой бутылкой и, раскачаваясь, что-то бормочет.

Спит на деревянном диванчике Ася.

Вика сидит в станционном отделении милиции. Она дрожит от холода, хотя ей дали накинуть на себя какое-то пальтецо.

Дежурный дописывает протокол:

— Все! Распишитесь, гражданка.

— Как вы думаете: их поймают?

— Трудно сказать... Вот если бы вы запомнили номер машины...

— Она такая серая. Нет, белая... Разве ночью запомнишь?

— Видите, данных маловато. Учтите на следующий раз.

— Что вы? Какой следующий раз?.. Что же теперь делать?

Разноцветные лампочки еще горят на елке, хотя заметно светлеет. Площадь пуста. Пришла первая электричка, и мимо елки идет жалкая Вика в каком-то нелепом пальтишке.

Подойдя к дому, она замечает, что у Гудовой горит свет. Она не знает, куда ей сначала зайти: домой или к ней. Она больше не плачет, у нее пришибленный, несчастный вид. Решившись, идет к Гудовой. Стучит, но ей не открывают. Нечаянно толкает дверь, и та открывается. Вика входит в дом.

Ася просыпается. От неудобного положения у нее затекла шея. Она встает. В читальне холодно. Она разминается, чтобы согреться, делает гимнастику.

Дверь дома Гудовой открывается, и из нее вылетает и падает на снег пальто Вики, которое она тут оставила. Выходит Вика. Она поднимает пальто и тупо идет к калитке. За нею из двери выскакивает Гудова и кричит ей вслед:

— Полторы тысячи и ни копейки меньше! Знаем мы вас! И отцу скажи: что хотите делайте, а деньги верните.

Вика, не оборачиваясь, идет к своему дому. Светает. Уже снежины стали снег, деревья, крыши.

Ася выходит из библиотеки на улицу. Тротуар чистит от снега дворничиха тетя Паша. Увидев Асю, она ухмыляется.

— Ранняя пташка! Новый год встречала?

— Ага.

— А Майю куда девала?

— Ну, Майка теперь далеко.

— А ты и не знаешь? Приехала!

Она наслаждается, сообщая такую новость.

— Когда?

— Вечером. Тебя искала. К Гореловым пошла.

Вика сидит в своей комнатке. Перед ней зеркало, стакан воды и коробки со снотворными порошками. Она пишет записку:

«Ася, скажи своей Гудовой, что я не воровка. Шубу у меня украли, и взять полторы тысячи мне негде. Я не хочу, чтобы отец за меня мучился. Дотанцевалась твоя подружка. Я знаю: жизнь стоит дороже, чем полторы тысячи, но выхода у меня нет. Скажи всем: я умерла честная. Прощай, моя Ася! Прощай, папка!..»

Ей очень жалко себя, но все решено.

Она смотрит в зеркало, чтобы запомнить, какая она была перед смертью. В доме тихо.

Ася стучит в дверь к Гореловым. Ей открывает Василий Евдокимович.

— Вика пришла?

— Пришла. Верно, спит.

— А Майя Гриднева у вас?

— Нет. Вечером приходила, про тебя спрашивала. Да ты пойдй к Вике...

Ася поднимается по лесенке в комнатку Вики. Мы слышим ее возглас, и вот она уже слетает вниз.

— Василий Евдокимыч, Вике плохо. Надо «скорую помощь» вызвать.

Он бежит по саду, забыв одеться.

По улицам Петрищева летит «скорая помощь», пронзительно воя сиреной.

Стоит у калитки в одном пиджаке и без шапки Василий Евдокимович.

Машина остановилась. Проходят в дом врач и санитары. Ася проводит их наверх. У калитки толпятся соседи.

Вилу на носилках пронесли в машину.

Ася и врач:

— Скажите, доктор, она будет живая?

— На сто процентов не могу ручаться, но за во-семьдесят побожусь.

— Спасите ее, доктор!

— А записки никакой не оставила?

После мгновенного колебания Ася говорит:

— Нет, не оставила...

Снова завывла сирена. Увезли Вику.

К соседям, еще стоявшим у калитки, подходит вышедшая на шум Гудова.

— Чего это случилось?

— У Горелова дочка отправилась.

К Гудовой подходит Ася.

— Анна Петровна, пойдете. Мне с вами поговорить надо.

Гудова и Ася входят в комнату, где на столе еще стоит пустая бутылка из-под водки, неоткупоренная бутылка шампанского и нетронутый новогодний ужин.

— Анна Петровна, про какую это шубу Вика в записке пишет?

— Я ей дала поносить, она говорит: сняли. А кто там ее знает? Ну, я ей, конечно, сказала, что шуба денег стоит. Полторы тысячи — не шутка. А разве нет? Что ты на меня смотришь?

— Деньги я вам отдам. Завтра же, как только сберкасса откроют...

— Что ты, Анна? Разве я тороплю? Успеешь. Ведь соседи...

Но она умолкает под пристальным, жестким взглядом Аси.

— Я буду счастливая, когда от этих денег избавлюсь. Полгода жила под ярмом...

— Да кто же тебя заставлял? Вот народ! Им добра хочешь, и ты же виноватая...

— Да уж добра! Фальшивое ваше добро, как цветы бумажные. Будьте спокойны, деньги завтра принесу.

— Да где ж ты их возьмешь? У тебя столько и не скоплено. Брось, Анна...

Но Ася уже ушла.

Полдень. В Викиной комнатке сидят все подруги, кроме Аси: Майя, Валя, Соня, Сима. Молчание. Потом кто-то говорит:

— Ну, раз апельсинов захотела, значит, порядок...

— Василий Евдокимыч на базу торго пошел. У него там знакомство.

— А если не достанет, из Москвы привезем.

Стрельченко спит. В дверь стучат. Стук повторяется.

— Кто там?

Отпирается дверь. На пороге Ася.

— Митя, вы мне очень нужны...

— Минуточку. Сейчас оденусь.

— Я не смотрю.

Он торопливо натягивает брюки и набрасывает на плечи пиджак.

— Может, это очень глупо, что я к вам пришла, но вот почему-то про вас вспомнила... Митя, мне очень нужно достать денег. Взаимы, конечно...

— Много?

— Да много. Очень много! Полторы тысячи!

— Полторы?!

— Нет, я не так сказала: у меня почти тысяча



В. Е. БОРИСОВ-МУСАТОВ. Женщина под зонтом. Рисунок пером. Без даты. Русский музей. Отд. рисунков № Р8713. Воспроизводится впервые

есть. Мне нужно еще пятьсот пятьдесят. — Он молчит. — Очень нужно, Митя. Понимаете?

— Понимаю. Видите ли, Ася, я вчера на последние купил новую резину для машины. На сберкнижке у меня осталось четыре рубля, да еще, кажется, есть десятка... Надо что-нибудь придумать... — Он заходил по комнате. — А когда вам нужны деньги?

— Сегодня к вечеру. Завтра.

— Постараюсь достать. Что-нибудь придумаю. Вечером я к вам зайду. Наверно, достану!

— Спасибо! До свидания! — Она ушла.

Он сбрасывает пиджак и стаскивает ночную пижаму, чтобы надеть рубашку. Дверь открывается, и снова входит Ася.

— Ох, я опять...

Она отворачивается. Он надевает рубашку, не падая рукава.

— Митя, я пришла еще раз потому, что подумала, что вы думаете, что я пришла...

— Я думаю, где достать деньги. Пришли — и пришли.

Он застегивает рубашку. Она стоит к нему спиной и видит на полу клочки разорванной фотографии Давидовой в шубке.

— До свидания, Митя! Спасибо!

— Подождите! (Пауза.) Что-то хотел вам сказать и позабыл... Ладно! До вечера!

Оставшись один, он некоторое время, насвистывая, ходит по комнате, потом садится к столу и пишет на клочке бумаги ряд фамилий, перечитывает, затем вычеркивает все, одну за другой.

Надевает куртку и выходит.

Двор дома, где живет Стрельченко и где в самодельном гараже стоит его машина.

Стрельченко выводит машину из гаража, обходит ее вокруг, потом решительно подходит к одному из окон первого этажа и стучит.

Отворяется форточка, и высовывается голова подростка.

— Витька, ты что сейчас делаешь?

— Читаю, Дмитрий Николаевич. Книжка — мировая...

— Помоги машину помыть.

Витька выскакивает во двор, и они начинают драить машину.

Больница. В приемной с цветами и пакетами — Майя, Сима, Сося и Валя. Запыхавшись, входит Ася:

— Не пускают?

— Сейчас врач у нее.

— Вот выйдет и скажет.

— А потом попросимся по очереди...

Они говорят почему-то шепотом.

— Ася, когда ты ушла, мы все обсудили. У Майи есть полтора года...

— Даже сто шестьдесят... — Это уточнила Майя.

— У сестры отложено сорок. Она мне отдаст, — это сказала Сося.

— Мы с Лешей на сервант копили. Успеется. Считай, еще двести пятьдесят.

— А я отрез шерстяной продам, — сказала Сима.

— Вот с твоими и будет полторы тысячи... Завтра отдадим, и конец.

— Пусть подавится!

— Девочки, я вам все верну!

— А почему тебе больше других надо? Ведь не ты же у нее шубу брала?

— Все равно, я виновата...

— Ты, Аська, только учти. Тебя после праздников проработывать будут. Про рынок-то весь комбинат знает.

— Ну и пусть. Правильно. Пусть выговор дадут. Пусть два выговора. Так и надо!

В приемную выходит тот самый врач, который приезжал со «скорой помощью».

Ася метнулась к нему:

— Доктор! Как она?

— Эх, барышни, травиться тоже надо умеючи... — И доктор ушел в кабинет.

Мягкий зимний денек, как всегда бывает в первый день года.

Подруги, взявшись под руки, идут по улице.

Они проходят мимо дома, где живет Стрельченко.

У ворот машина. В ней Стрельченко. Витька стоит рядом.

— Подождите, девочки! — Ася бросается к машине.

Но Стрельченко не видит ее, и машина, резко рванувшись, уносится вперед.

— Как с места берет! — с восхищением говорит Витька, обращаясь к Асе.

— Ты не знаешь, куда он поехал?

— Почему не знаю? В Москву, на Гаврикову площадь. Машину загонять. Да много ли за нее дадут? Виду-то у нее нет... Эх, жалко...

Ася подбежала к подругам.

— Девочки, дайте на билет до Москвы: я деньги в жакете забыла...

— Вот, Аська, только на один конец. Мы Вике на гостинцы истратились...

Москва. Узкий переулок, с обеих сторон уставленный машинами. Вывеска «Автомобильный магазин».

Стрельченко, лавируя, выезжает на Гаврикову площадь. Это большой пустырь, выложенный брусчаткой и со всех сторон опоясанный невысокими домами — типичный уголок старой Москвы. Здесь машины стоят вдоль тротуаров в два ряда, а около бензоколонки — беспорядочной стайкой.

Стрельченко с трудом находит место для своего газика. Выключив мотор, выходит из машины и осматривается.

Как из-под земли вырастает пропитая личность шоферского обличия со всеми повадками маклака. Не обращая внимания на Стрельченко, щелкает по капоту, осматривает со всех сторон «газик» и даже залезает под него.

Вокруг — скопление старых машин всевозможных типов, среди которых выделяются несколько новеньких иностранных.

Придирчиво, хотя и быстро, осмотрев машину, маклак обращается к Стрельченко:

— Заводи мотор, поднимай капот!

Стрельченко растерянно повинуется. Маклак склоняется над работающим мотором «газика».

К ним подходит пара пожилой людей, в которых по каким-то неуловимым признакам можно угадать молодоженов. Муж — коренастый рабочий, похожий на мастера; жена — пухлая блондинка, кокетливая и капризная.

Муж рассматривает «газик» со знанием дела:

— Ничего машина. Прочность имеет. Умели делать! Настоящий вездеход. Я как раз о такой мечтаю. И, верно, не дорогая...

— Фу-у... Да она старая. И такая крохотуля! На ней и к кино подъехать стыдно. Пойдем.

— Погоди... Спросим, сколько стоит.

— Ну зачем? Ты машину для себя покупаешь? Если для себя, так и скажи. А мне хочется вон такую, и она показывает на стоящий рядом неуклюжий «паккард», блистающий свежей, на продажу сделанной полировкой.

— Эта как называется?

— Паккард-гну, — мрачно говорит муж. — Мечта стилиаги!

— А мне нравится. Понятно? — И она решительно направляется к паккарду. Муж покорно следует за ней.

Маклак снова вылезает из-под газика.

— Выключай! — командует он, и Стрельченко покорно выключает мотор. — Видишь, никому твой товар не нужен. Хлам!

Стрельченко с трудом это терпит:

— Не хотите покупать, не надо, а хулить машину нечего!

— Ладно, не нуди! — маклак покровительственно хлопает Стрельченко по плечу. — Выручу, так и быть. Бери сотню!

— Да резина стоит дороже!

Маклак плюет и отходит. Кажется, он ушел совсем, но он появляется, как иллюзионист, с другой стороны.

— Ладно, хохмы прочь. Бери две сотенных, и поехали оформлять! — Он вынимает пачку денег и сует Стрельченко. — Не прогадаешь, кореш! Больше тебе никто не даст: тут такого товару полно!

Стрельченко сиротливо оглядывается. Кажется, продающихся машин и в самом деле больше, чем покупателей.

— Эх, нравишься ты мне, парень.. Ну, бери еще полста... — Маклак продолжает совать деньги Стрельченко.

— Митя! — раздается за его спиной голос.

Он оборачивается и видит бегущую к нему Асю.

— Достали! Не продавайте!..

Она запыхалась, но страшно рада, что вовремя поспела.

— Не продается, — говорит Стрельченко, торжествуя.

Маклак плюет и отходит. Из-за машин появляется та же пара.

— Разве я знала, что это так дорого?.. Хорошо, возьмем эту!

— Сколько стоит машина? — спрашивает муж у Стрельченко.

— Не продается! — радостно говорит Ася.

Они, глядя друг на друга, улыбаются.

— Митя, а у меня опять на обратный проезд денег нет. Подвезете?

Они садятся в машину. И она летит по зимним московским улицам.

— Знаете, Митя, я так испугалась, когда узнала, что вы поехали продавать машину...

— Она же вам не нравилась...

— Мало ли что мне нравилось или не нравилось..

Они смотрят прямо перед собой, но, вопреки всем законам оптики, видят только друг друга.

— Да, что-то я еще хотел вам сказать и забыл...

— А я знаю, что вы забыли.

— Ну?

— Вы забыли мне сказать: «С Новым годом!»

— Да, правильно. С Новым годом, Ася!

ОДНАЖДЫ ДУШНОЙ НОЧЬЮ...

Выходим на улицу троим: Яков, Ачилов и я. Ждем такси, которое вызвали час назад. Пустынная улочка, окраины Ашхабада. Одноэтажные домишки. Теплая темь. Редкие фонари вдали, за деревьями. И — небо, полное звезд.

Как всегда в южных городах, откуда-то тянет запахом уборной.

Мы немного навеселе. Громко разговариваем. Какой-то человек приближается к нам из темноты и говорит что-то невразумительное, вполголоса. Вот он подошел, остановился.

Мы удивленно смотрим на него.

— Что вам нужно?

— У вас есть топор? — наконец, внятно спрашивает человек. Он маленького роста, сухой, темнлицый, в темном костюме и в кепочке, какие носят рабочие.

— Зачем вам топор?

— Нас два товарища: один — русский, другой — испанец. Я испанец, — торопливо объясняет человек и зачем-то вынимает бумажник, достает паспорт.

— Не надо, мы вам верим. Ну, и что?

— Мы живем одна комната. Он куда-то ушел, дверь закрыл, а я что должен — на улице ночевать?

Испанец говорит заикаясь, нервным тихим голосом и таким тоном, точно мы виноваты в том, что он оказался на улице. Глаза у него круглые и светлые: это видно даже в темноте. Может быть, он пьян. Может быть, он вовсе не испанец. Все это как-то нелепо и неожиданно.

— А зачем все-таки вам топор? — помедлив, спрашивает Ачилов.

— Дверь ломать! Зачем топор? Дверь ломаю, войду в комнату!

Испанец глядит на нас обиженно и сердито и вместе с тем в его хрупкой фигурке, в его глазах и маленьком сухом ротике — что-то жалкое, детское.

— У тебя есть топор? — спрашиваю я Ачилова.

— Не знаю. Где-то был без ручки...

— Дайте без ручки, хорошо! — Испанец говорит на таком же ломаном русском языке, как Ачилов.

Толстый Ачилов не торопясь идет в дом. В одной из комнат зажигается свет. В остальных окнах и во всех домах на улице темно. Третий час ночи.

— Значит, вы испанец? — спрашивает Яков.

— Я испанец, да. — Он снова лезет за бумажником.

— Да мы верим вам!

— Нет, если вы думаете, что я вор или кто-нибудь...

— Вы из тех испанских детей, которые приехали в тридцать восьмом?

— Нет, я не детей! Я взрослый приехал.

Он и сейчас похож на подростка. Сколько же ему было лет, когда он приехал? Девятнадцать. Он приехал из Франции в 1941 году.

— Я работаю бетеринар. Колхоз Чапаева, далеко...

— А учились в Москве?

— Почему Москве? Франция учился! Бетеринарская школа.

Каждую фразу он произносит с обиженным недоумением. Желая блеснуть эрудицией, Яков заводит разговор об испанской войне. Узнав, что наш собеседник наваррец, он утверждает, что Наварра, Астурия и, вообще, север были самыми надежными районами республики. Испанец вдруг необычайно оживляется. Он говорит о войне так, точно она была вчера. Он горячится. Он ругает Даладье и генерала Миаху, восхищается Барселоной и Мадридом и клеймит Толедо.

Боже мой, как это было давно! О, магические, волнующие имена детства: Каса дель Кампо, генерал Вальтер, генерал Лукач... А что было потом? О, потом! Целая жизнь. Миллион жизней. Потрясения и надежды. Тридцать седьмой год, война, победа гигантской ценой, смерть Сталина и вновь победы, потрясения и надежды. Но для испанца не существует «потом». Он все еще бредит выжженной Сиеррой-Невадой, и прокликает Франко, и горячится. Сердитый маленький человечек, вечный юноша, вечный испанец...

И так странно слышать его воспаленную речь — может быть, он, действительно, немного пьян? — на этой ночной ашхабадской улице, где лают собаки, и пахнет уборной, и все еще нет такси (шофер, наверно, заехал домой попить чайку), и огромное азиатское небо полно звезд и одинаково равнодушно к генералу Вальтеру, и к генералу Миахе, и ко всем испанцам на свете!

— Парле ву франсе? — жадно спрашивает он у Якова.

Тот отрицательно качает головой,

— Есть тут еще испанцы?

— Нет. Я один Ашхабад.

— А семья у вас есть?

— Жена есть. Она на Украине, в Херсоне. А здесь я один.

Почему он здесь, а жена на Украине? И почему он выбрал Ашхабад? Испанцев много, он мог бы жить в других городах и встречаться с соотечественниками,

говорить с ними о Каса дель Кампо и генерале Вальтере. Я не решаюсь спрашивать.

— Жена у меня украинка, — говорит он.

— А почему вы не живете с ней? Вы могли бы работать ветеринаром и в Херсоне, — говорит Яков. — Или она могла бы приехать к вам.

— Могла бы? — переспрашивает он, загадочно усмехаясь. — Нет...

— Почему же?

Он вновь усмежается и пожимает плечами. Вид у него очень таинственный.

— Человек не живет сам, — говорит он тихо и несколько напыщенно и поднимает палец. — А жизнь сама знает, как лучше. Правильно?

— Безусловно.

— Ну вот. И не надо спрашивать.

Из дома выходит Ачилов.

— Топора нет, — говорит он. — Искали, искали — нет нигде. У нас ремонт дома.

Испанец вздыхает.

— Ну что ж... Буду ночевать на улице.

Он не уходит, а мы продолжаем стоять.

— Хотите закурить? — спрашиваю я.

— Нет. Я не курю. Спасибо.

— Вы — испанец? — говорит Ачилов и издалека деликатно тычет в маленького человека пальцем.

— Да, да. Я испанец.

Помолчав, Ачилов говорит:

— Это хорошо...

И мы снова молчим. Испанец все еще не уходит. Мы ждем такси. И, наконец, оно подкатывает. Испанец садится с нами, с Яковом и со мной: он тоже хочет поехать в гостиницу. Он не хочет ночевать на улице. Ачилов прощается, и мы едем. В машине душно даже теперь, ночью.

— Теплая ночь, — говорю я

— В Испании еще жарче, чем здесь, — говорит испанец.

— Жарче?

— Да. Гораздо жарче.

— Ну, не везде! — говорит Яков, желая еще раз блеснуть эрудицией. — В горах Невады, вероятно...

— Жарче, — говорит испанец твердо. — Всегда жарче.

Таруса. 1957

НОВЫЕ СТИХИ

Д. Самойлов

ЗАБОЛОЦКИЙ В ТАРУСЕ

Мы оба сидим над Окою,
Мы оба глядим на зарю.
Напрасно его беспокою,
Напрасно я с ним говорю!

Я знаю, что он умирает.
И он это чувствует сам,
И память свою умеряет,
Прислушиваясь к голосам,

Присматриваясь, как к находке,
К всему, что шумит и живет...
А девочка-дочка на лодке
Далеко-далеко плывет.

Он смотрит умно и степенно
На мерные взмахи весла...
Но вдруг, словно сталь из мартена,
По руслу заря потекла.

Он вздрогнул... А может, не вздрогнул,
А просто на миг прервалась
И вдруг превратилась в тревогу
Меж нами возникшая связь.

Вдруг понял я тайную повесть,
Сокрытую в этой судьбе,
Его непомерную совесть,
Его беспощадность к себе

И то, что он мучает близких,
А нежность дарует стихам...
На соснах, как на обелисках,
Последний закат полыхал.

Так вот они — наши удачи,
Поэзии польза и прок!..
— А я не сторонник чудачеств, —
Сказал он и спичку зажег.

ГОСТИ

Из Д. Ийеша

Пишу. Вдруг запах рыбы от запруд
Вошел. И сразу — в сердце, в ноздри,
в поры!

— Меня прислали, — говорит, — озера.
Ну как дела?
— Живу. Как все живут.

Работа ждет на письменном столе.
Но не могу! Стучится гость незванный:
Грибами пахнет. Это сквозь окно
Вступает лес, растущий за поляной.

Потом вбегае тополь. Чуть живой,
Косноязычный, до смерти влюбленный.
Ликует поле. Это по меже
Везут навоз в телеге пароконной.

Потом — труба. Над нею — дым лозой.
Мыча идет соседская корова.
Потом — все кучевые облака,
И все былинки луга заливного.

И так они по-братски говорят,
Что жить легко, и нужно, и несложно,
Что невозможно не поверить им.
И тут — слеза. Сдержаться невозможно.

* *
*

Я стал теперь зависим от погоды,
Как некогда зависел от страстей.
Напоминает прежние походы
Ломота, гуд, бессонница костей.

Вот здесь в плече болота Лодвы ноют,
И мгинской стужей руку мне свело,
Осколок Склобы ногу беспокоит,
А что-то прочно вглубь меня вошло.

И ночью будит, и томит незримо,
И будоражит, не смыкая глаз.
И уж ничто не пролетает мимо,
А, словно пуля, задевает нас.

* *
*

Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал.
Я любил, размышлял, воевал.
Кое-где побывал, кое-что повидал,
Иногда и счастливым бывал.

Гнев меня обошел, миновала стрела,
А от пули — два малых следа.
И беда отлетала, как капля с крыла,
Как вода, расступалась беда.

Взял один перевал, одолею второй,
Хоть тяжел мой заплечный мешок.
Что же там, за горой? Что же там, под горой?
От высот побелел мой висок.

Сорок лет. Где-то будет последний привал?
Где прервется моя колея?
Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал
И не допита чаша сия.

ПАМЯТИ А. Р.

Жил в Ленинграде странный малый,
Угрюмый, мрачный и больной.
Был у него талант немалый.
Я знал его перед войной.
Вел счет неведомым обидам,
Нес груз невидимой вины.
Он был убогим инвалидом
Не бывшей, будущей войны.

Мы ждали славы и победы,
Лихого грома медных труб.
А он провидел только беды,
Он видел свой убогий труп,
Его шатали бомбовозы
Своею воюющей волной,
Блокады будущей морозы
Его покрыли сединой

Читая странные баллады,
Мы не угадывали в нем
Провидца будущей блокады,
Что приближалась день за днем.
Где он погиб? В каком подвале?
Как он окончил бытие?
Какие люди подавали
Ему последнее питье?
Какую страждущую строчку
Он дописать уже не мог?
Какой несчастный по листочку
Его стихи в печурке жег?

Стихи, наверное, сгорели,
Не много было в них тепла.
А люди эти постарели.
А может, жизнь их утекла.
И сгинул он. На белом свете
Он не оставил ничего.
И мы не судим о поэте,
Как будто не было его.

* *
*

Давайте защитим людей
От войн, обмана и насилья!
Иначе для чего нам крылья
Орлов, пегасов, лебедей?

Давайте проясним мозги,
Запорошенные враждою,
Промоем светлою водою
Глаза не видящих ни зги.

Давайте выправим хребты,
Замлевшие дугообразно,
Иначе назначенье праздню
Поэзии и красоты.

Давайте наше ремесло
Сравним с искусством врачеванья,
Ведь нету лучшего призванья,
Покуда существует зло.

И люди будущей земли,
Быть может, скажут нам спасибо.
Мы быть прекраснее могли бы,
Но быть уместней не могли..

ЧАЙНАЯ

1

Поле. Даль бескрайная.
У дороги — чайная.
Чайная обычная.
Чистая, приличная.
Заходите погреться,
Если некуда деться!

Там буфетчица Варвара,
Рыжая. бедовая,
Чаю даст из самовара,
Пряники медовые.
И поет Варвара звонче колокольчика.
«Коля, Коля, Колечка,
Не люблю нисколько...»

А на улице — мороз,
Словно спирт горячий.
И сугроб у окна
Крепче свежего кокона,
Белый и скрипучий.

Облепил провода
Игловатый иней.
Холода, холода,
Воздух синий.

Ну, а в чайной
Двери хлопают.
У порога
Люди топают.

Рукавицей
О стол брякают,
Выпивают водки —
Крякают.

Мастера, шофера
Пьют свои законные,
Рядом полные забот
Рэйпотреб,
Райзагот —
Ангелы районные.

И старушка робкая
Воржит над стопкою.

Две красавицы колхозные,
Как два облака морозные.

А в углу старичок
Закурил табачок
И молчок.

2

Дым летит к небесам,
Пар течет по усам,
Входит в чайную сам —
Федор Федорыч сам.
Браз видать по глазам:
То ли зав,
То ли зам.
Ишь, какой грозный!
А за ним
И над ним
Вьется клубами дым —
Пар морозный.

Федор Федорыча все приветствуют.
Федор Федорыч всем отвечает:
Вот, мол, выпить зашел
Прохладительной...
Ничего, человек
Обходительный.

А буфетчица Варвара
Медной змейкой вьется.
И сама того не знает,
Отчего смеется.
Смех ее летит, как снег,
В руки не дается.

И поет Варвара звонче колокольчика:
«Коля, Коля, Колечка,
Не люблю нисколько...»



В. Е. БОРИСОВ-МУСАТОВ. Наброски трех женских фигур: Акварель. Без даты. Русский музей. Отдел рисунков № Р8712. Воспроизводится впервые

Заиграли утки в дудки,
Тараканы в барабаны.
Инвалиды шли —
Прямо в дверь вошли.
А один без рук,
А другой без ног,
Забрели сам-друг,
Увидав дымок.

Ванька и Петяха
Веселы, хмельны.
На одном рубаха,
На другом штаны

Говорят Брюки:
«Мне бы только — руки!
Взял бы в руки я гармонь,
Есть тогда меня не тронь.
Заиграл бы тогда,
Заиграл бы!»

Говорит Рубаха:
«Мне бы только полноги,
На полноги — сапоги,
Заплясал бы тогда,
Заплясал бы!»

4

Стали рядом инвалиды
Возле стойки тесной.
И запели инвалиды
На мотив известный.
А о чем они запели,
Не расскажешь, в самом деле!

Поют, как из Германии
С оторванной рукой
Идет солдат израненный
Тихонечко домой.

Не очень песня складная —
И голос и слова,
А очень безотрадная..
А может, и права?..

Приумолкла чайная,
Тишина застыла.
Песня та печальная
Есех разбередила:
Всяк грустит о себе,
О солдатской судьбе,
О российской беде,
О военной страде.

Федор Федорыч тоже слушает,
Федор Федорыч тоже слушает,

«Распроклятая война
Слишком долгая была!
Девка год ждала
И другой ждала,
А на третий год
К мужику ушла.
Ушла к мужику,
К нефронтовику...»

Вот о чем оно поет,
Почему тревожит!
Федор Федорыч встает,
Больше он не может.
У него душа горит,
Лопнуло терпение:
«Прекратить, — говорит, —
Прекратить, — говорит, —
Пение!»

Бабка стопочку взяла
Да и разом в горло,
Не закусывая,
Рот
Рукавом отерла.

«Это как же терпеть,
Чтобы людям не петь!»

А за ней шоферня,
В кулаки пятерня,
Говорят:
«Пусть поют!
Что ж им петь не дают!
Дайте петь ребятам!»
И еще —
Матом.

Лишь один старичок
Закурил табачок
И молчок!..

5

Как Варвара встала,
Сразу тихо стало.
Федор Федорычу
Медленно сказала:

«Не ходи ты сюда,
Не ищи ты стыда.
А столкнешься со мной —
Обходи стороной.
Не затем я ушла,
Что другого ждала,
А затем я ушла,
Что твоей не была.
Так тому и быть,
Нам с тобой не жить!»

Тут ему бы помолчать,
Не искать обиды,
Тут ему бы не кричать:
«Эй, вы, инвалиды!
Нынче свадьба на селе,
Парень женится.
Там потребуется
Ваше пеньице!
Раздобудьте адресок,
Загляните на часок!»

Шапку сгреб,
Дверью — хлоп!

Все тихонько сидят
На Варвару не глядят...

6

А на улице —
Зорька зимняя.
Солнце щурится,
Тени синие.
И мороз лихой
Из стекла литой.
Повоенный год,
Год сорок шестой.

Едет свадьба на трехтонке,
Едут парни и девчонки,
Сестры и братья,
Дружки и сваты.

Мимо чайной пролетели,
Завернуть не захотели...

Говорит бабка:
«Чтой-то здесь зябко».

А за ней — шофера:
«Ну и нам пора».

Лишь один старичок
Закурил табачок
Напоследок:
«Так-то вот! Эдак!»

В чайной стало пусто.
Варе стало грустно.
Лечь бы, спать бы,
Не слышать той свадьбы...

7

Где-то в дальнем отдаленье
За дворами брешут псы.
На мерцающих камнях
Ходят звездные часы.
Все оковано кругом
Легким, звонким чугуном.

Старый сторож в теплой шубе
Спит, объятый сладким сном.

Тишина на белом свете!

А в проулке снег скрипит:
Федор Федорыч не спит.

Он идет под синей стужей
По тропинкам голубым,
Никому-то он не нужен
И никем он не любим!
На краю села гуляют,
Свадьбу новую справляют.
Там и пляшут и поют,
А его не позовут.

И еще в одном окошке
Нынче полночь светло.
Заморожено стекло,
Желтым воском затекло.
Варя вышивает,
Песню напевает,
Псет в одиночку
Малому сыночку:

«Поздно вечером
Делать нечего,
Нет ни месяца,
Ни огней.
Баю-баюшки,
Баю-баюшки,
Утро вечера
Мудреней...»

Заморожено стекло,
Желтым воском затекло.
В снег скатилась звезда...
Холода,
Холода.

Петр Семьнин

Из цикла «Памяти Лермонтова»

ЭЛЬБРУС

Как в дымном провале стены,
Вдруг вырван из облачных уз,
Гигантским обломком луны
Возник за кустами Эльбрус.

На рдеющий скат Машука,
Где был обезмольвлен поэт,
Он глянул издалика
Всепамятным оком лет.

Он глянул, незыблем и строг,
Царя над кавказской грядой,
Он память поэта стеррег
Надзвездной своей чистотой.

СЕРДЦЕ КАВКАЗА

О, как здесь ширились очи души
Пред этим знобящим виденьем свободы,
Пред этим немеркнувшим светом вершин,
Пред буйством, почти богохульным, природы.

И он усмехался над глупостью тех,
Кто думал, что ссылка к нагорным бивакам
Его образумит немедля, как всех,
И станет хорошей наукой писакам.

Но как недалеко и в злобе цари, —
Не тут ли, от казни времен не седея,
Над тьмой пропастей меченосцем зари
Витал окровавленный дух Прометей!

Не тут ли, где кровь непокорных племен
На каждом захваченном камне курилась,
Обязан учиться смирению он,
Чтоб одаться монарху безвольно на милость?

О, как ты светла и могуча, гряда,
Подпершая льдами собор небосвода!
Здесь станет поэзией все навсегда.
Ведь сердце Кавказа — свобода, свобода!

РАССВЕТ В ГОРАХ

Окаменелый бунт Вселенной,
Угасших вихрей вал,
Снегов и звезд покрытый пеной,
В рассветной мгле вставал.

Косматые, как замыслы Гомера,
Над Шат-горой
Клубились тучи, пахнувшие серой
И влагою морской.

То было сотворенье Илиады,
Седых былин потоп,
Где громоздились времена, уклады,
Виденья грозных кораблей и толп.

То было солнцеликое явленье
Поэзии — праматери богов,
И дикий мир ослеп от изумленья
В лучах ее даров.

ОТЧИЗНА

Но нет, никакие стихи
Его унести не могли
От горестной были — России,
От милой и клятой земли.
Во все его терпкие думы,
Во все сновиденья, мечты
Безмолвный, холодный, угрюмый
Вплывал материк нищеты.
Там солнцем была эполета,
А небом — мундир голубой,
И там убивали поэтов,
Чтоб сделать и песню рабей.
Зачем же с таким постоянством
И с каждым изгнанием больней
Он грезил тем сирым пространством
Недоброй отчизны своей?
Зачем ее долгие песни,
Подобные плачу ветров,
Томили и здесь, в поднебесье,
У дымных солдатских костров?
Зачем они скорбною силою
Несли его сердце туда,
Где смерти у бога просила
И старым и малым нужда?
Где только разбойная удаль
Да темного леса простор
Дарили бесправному люду
Свободы тяжелый топор?
И здесь за бессонною гранью,
Где совести лгать не дано,
Где с подвигом о бок страданье,
Он понял навеки одно:
Что русской завьюженной долей
Он вынужден петь, и гореть,
И голосом гнева и боли
О ней, как набат, прогреметь.

В ТОТ БЕЗЫСХОДНЫЙ ЧАС

Когда перед фронтом сумрачных гор
Он был расстрелян почти в упор,
Когда навеки его глаза
Замкнулись железным сном,
Дымясь, большая, как ночь, гроза
Разверзлась над Машуком.
То были не молнии — огненный лес,
Слепящего гнева порыв,
Как будто кожу содрали с небес,
Все нервы вдруг обнажив.
Так, потрясен от вершин до корней,
В тот безысходный час
Над гибелью песни и славы своей
Рыдал белоглавый Кавказ.

* *
*

Надо думать, а не улыбаться.
Надо книжки трудные читать.
Надо проверять — и ушибаться,
Мнения не слишком почитать.
Мелкие пожизненные хлопоты
По добыче славы и деньжат
К жизненному опыту
Не принадлежат.

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД

Я вывернул события мешок
И до пылинки вытряс на бумагу.
И, словно фокусник, подобно магу,
Загнал его на белый на вершок.
Вся кровь, что океанами текла,
В стакан стихотворенья поместилась.
Вся мировая изморозь и стылость
Покрыла гладь оконного стекла.
Но солнце вышло из меня потом,
Чтобы расплавить мировую наледь
И путникам усталым просигналить,
Каким им ближе следовать путем.
Все это было на одном листе.
На двадцати плюс-минус десять строчек.
Поэты отличаются от прочих
Людей
Приверженностью к прямоте
И краткости.

* *
*

Чистота стиха,
Каждого штриха,
Новые слова,
Свежие, хорошие,
Как утро с порошею
И ясная голова.
Карандаш бы очинить,
Перо бы в чернила
И такое сочинить,
Чтобы причинило
Счастье
сразу многим
Людам,
Человекам.
Только так шагать мы будем
В ногу
с веком.

* *
*

Изобретаю аппараты:
С утра привинчиваю части
Из наилучшей чистой правды
И части из большого счастья.
Взлетают к людям дирижабли.
Они с дороги не собьются.
Мои опаска и дрожанье
Моторам не передаются.
Мое сомненье и тревога
Не перекинутся к другому.
Когда стихи уйдут в дорогу,
Они меня забудут дома.

ФУТБОЛ

Я дважды в жизни посетил футбол
И оба раза ничего не понял:
Все были в красном, белом, голубом,
Все бегали.
А больше я не помню.
Но в третий раз...
Но, впрочем, в третий раз
Я нацепил гремучие медали,
И ордена, и множество прикрас,
Которые почти за дело дали.
Тяжелый китель на плечах влача,
Лицом являя грустную солидность,
Я занял очередь у врача,
Который подтверждает инвалидность.
А вас комиссовали или нет?
А вы в тех поликлиниках бывали,
Когда бюджет,
Как танк на перевале:
Миг — и по скалам загремел бюджет.
Я не хочу затягивать рассказ
Про эту смесь протеза и протеста,
Про кислый дух бракованного теста,
Из коего повылепили нас.
Сидевший рядом трясся и дрожал.
Вся плоть его переливалась часто,
Как будто киселю он подражал,
Как будто разлетался он на части.
В любом движенье этой дрожью связан,
Как крестным знаком верующий черт,
Он был разбит, раздавлен и размазан
Войной, не только сплюснут,
но — растерт.
И так — всегда?
Во сне и на яву?
— Да. Прыгаю, а все-таки — живу!
(Ухмылка молнией кривой блеснула,
Запрыгала, как дождик, на губе.)
— Во сне — получше. Ничего себе
И — на футболе.

Он привстал со стула,
И перестал дрожать,
И подошел
Ко мне
С лицом, застывшим на мгновение,
И свежим, словно после омовенья.
По-видимому, он вспомнил про футбол.)
— На стадионе я — перестаю!
С тех пор футбол я про себя таю.
Я берегу его на черный день.
Когда мне плохо станет в самом деле,
Я выберу трибуну,
Чтобы — тень,
Чтоб в холодке болельщики сидели,
И пусть футбол смиряет дрожь мою!

ЗА НОШЕНИЕ ОРДЕНОВ!

Ордена теперь никто не носит,
Планки носят только чудаки.
И они, наверно, скоро бросят,
Сберегая пиджаки.
В самом деле, никакая лѣгота
Этим тихим людям не нужна,
Хоть война была четыре года,
Длинная была война.
Впрочем, это было так давно,
Что как будто не было и выдуманно.
Может быть, увидено в кино,
Может быть, в романе вычитано.
Нет, у нас жестокая свобода
Помнить все страдания. До дна.
А война — была.
Четыре года.
Долгая была война.

РЕСТОРАН

Высокие потолки ресторана.
Низкие потолки столовой.
Столовая закрывается рано.
В столовой ни шашлыка, ни плова.
В столовой запах старого сала,
Столовая лампочка светит тускло.
А в ресторане с неба свисало
Обыкновенное солнце люстры.
Я столько читал об этом солнце,
Что мне захотелось его увидеть.
Трамвай быстрее лани несется.
Стипендию вовремя успели выдать.
Что это значит? Это значит:
В десять вечера мною начат
Новый образ жизни — светский.
Вхожу: напряженный, резкий, веский,
Умный, вежливый и смущенный
Не тем, что увижу, а тем, как выгляжу.

Сейчас я на них на всех погляжу.
Сейчас я кровные выну, выложу,
Но — закажу и — посижу.
Шел декабрь тридцать восьмого.
Русской истории любой знаток
Знает, как это было толково
Сидеть за столом, глядеть в потолок,
Видеть люстру большую, как солнце,
Чувствовать молодость, ум, талант,
И наблюдать, как к тебе несется
Не знавший истории офицант.
Подумав, рассудив, осторожно я
Заказываю одно пирожное.
Потом — второе. Нарзан и чай.
И поглядываю невзначай,
Презирает или не презирает
Мое небогатство

офицант.

А вдруг — сквозь даль годов прозирает
Ум, успех, известность, талант!
Столик был у окна большого,
Но что мне было видеть в него?
Небо? Небо тридцать восьмого.
Ангелов? Ангелов — ни одного.
Не луну я видел, а луны.
Плыли рядом четыре луны.
Были руки худые — юны.
Шеи слабые обнажены.
Я глядел на слабые плечи,
На поправленный краской рот.
Ноги, доски паркета калеча,
Вырабатывали фокстрот.
Затрещали и смолкли часики.
Не показывали тридцать восьмой.
И забвенью, зовомое счастьем,
Не звало нас больше домой.
Хорошо быть юным, голодным,
Тошим, плоским, как нож, как медаль.
Парусов голубые полотна
Снова мчат в белоснежную даль.
Хорошо быть юным, незванным
На свидания, на пиры.
Крепкий чай запивать нарзаном
Ради жажды и для игры.
Хорошо у окна большого
В полночь, зимнюю полночь сидеть
И на небо тридцать восьмого
Ни единожды не поглядеть.

РАССКАЗ СОЛДАТА

Мне не хватало широты души,
Чтоб всех жалеть.
Я экономил жалость
Для вас, бойцы,
Для вас, карандаши,
Вы, спички-палочки (так это называлось),

Я вас жалел, а немцев не жалел,
За них душой нисколько не болел.
Я радовался цифрам их потерь:
Нулям,
раздувшимся немецкой кровью.
Работай, смерть!
Не уставай! Потей
Рабочим потом!
Бей их на здоровье!
Круши подряд!
Но как-то в январе,
А может, в феврале, в начале марта.
Сорок второго

 утром на заре
Под звуки переливчатого марша
Ко мне в блиндаж приводят языка.
Он все сказал:
Какого он полка,
Фамилию,
Расположение сил,
И то, что Гитлер им выходит боком,
И то, что жинка у него с ребенком,
Сказал,

 хоть я его и не спросил.
Веселый, белообрый, добродушный,
Голубоглаз, и строен, и высок,
Похожий на плакат про флот воздушный,
Стоял он от меня наискосок.
Солдаты говорят ему: «Спляши!»
И он — сплясал.
Без лести. От души.
Солдаты говорят ему: «Сыграй!».
И выпул он гармошку из кармашка,
И дунул вальс про Голубой Дунай.
Такая у него была замашка.
Его кормили кашей целый день
И целый год бы не жалели каши,
Да только ночью отступили наши —
Такая получилась дребедень.
Мне — что?
Детей у немцев я крестил?
От их потерь — ни холодно, ни жарко!
Мне всех — не жалко!
Одного мне жалко:
Того,
 что на гармошке
 вальс крутил.

* * *

Белый снег — не белый, а светлый.
Нет, не светлый — сияющий снег.
И какие-то теплые ветры
Навевают его на всех.
Да, зима, а тепло, как в мае.
Ночь, а, будто утром, светло.
Это счастье во мне рассвело,
Возвышая, приподнимая.

* * *

На двадцатом этаже живу
Не без удовольствия и выгоды:
Вижу под собою всю Москву,
Даже кой-какие пригороды.
На двадцатом этаже окно
Небом голубым застеклено.
Воздух чище, и соседи тише.
Больше благости и светлоты,
И не смеют заводиться мыши ---
Мыши не выносят высоты.
Обдирая о балкон бока,
Мимо пролетают облака.
Майский гром и буря вешняя,
Лужи блеск, далекий на земле.
Мой этаж качается скворешнею
У нижестоящих на стволе.
На полсотни метров ближе к солнцу.
На полсотни ближе к небосклону.
А луна мимо меня несется
Попросту на уровне балкона.
Если лифт работает исправно,
Мило жить на высоте и славно.

* * *

На экране — безмолвные лики
И бесшумные всплески рук,
А в рядах — справедливые крики:
Звук! Звук!
Дайте звук, дайте так, чтобы пело,
Говорило чтоб и язвило.
Слово — половина дела,
Лучшая половина.
Эти крики из задних и крайних,
Из последних темных рядов
Помню с первых, юных и ранних
И незрелых моих годов.
Мы, судившие так сурово
Свой талант,
 горды, что народ
Говорит иногда наше слово,
Повторяет
 наш оборот.

ИЗ ЦИКЛА «СТАРИКИ»

Умирают мои старики —
Мои боги, мои педагоги,
Прологатели торной дороги,
Где шаги мои были легки.
Вы, прикрывшие грудью наш возраст
От ошибок, угроз и прикрас,
Неужели дешевая хворость
Ододела, осилила вас?

Умирают мои старики,
 Завещают мне жить очень долго,
 Но не дольше, чем нужно по долгу,
 По закону строфы и строки.
 Угасают большие огни
 И гореть за себя поручают.
 Орденов не дождалась она —
 Сразу памятники получают.

Старухи без стариков

Старух было много, стариков было мало:
 То, что гнуло старух, стариков ломало.
 Старики умирали, хватаясь за сердце,
 А старухи, рванув гардеробные дверцы,
 Доставали костюм, выходной, суконный,
 Покупали гроб дорогой, дубовый,
 И глядели в последний, как лежит законный,
 Прижимая лацкан рукой пудовой.
 Постепенно образовались квартиры,
 А потом из них слепились кварталы,
 Где одни старухи молитвы твердили,
 Боялись воров, о смерти болтали.
 Они болтали о смерти, словно
 Она с ними чай пила ежедневно,
 Такая же тощая, как Анна Петровна,
 Такая же грустная, как Марья Андреевна.
 Вставали рано, словно матросы,
 И долго, темные, словно индусы,
 Чесали гребнем чахлые косы,
 Катили в пальцах старые бусы.
 Ложились рано, словно солдаты,
 А спать не спали долго-долго,
 Катая в мыслях какие-то даты,
 Какие-то веки любви и долга.
 И вся их длинная,
 Вся горевая,
 Вся их радостная,
 Вся трудовая
 Вставала в звонах ночного трамвая.
 На миг

бессонницы не прерывая.

* *
 *

Широко известен в узких кругах,
 Как модерн, старомоден,
 Крепко держит в слабых руках
 Тайны всех своих тяготин.
 Вот идет он, маленький, словно великое
 Герцогство Люксембург.
 И какая-то скрипочка в нем пиликает,
 Хотя в глазах запрятан испуг.
 Смотрит на меня. Жалеет меня.
 Улыбочка на губах корчится.
 И прикуривать даже не хочется
 От его негреющего огня.

Преимущества старости

Двадцатилетним можно говорить:
 Зайдите через год. Сорокалетним
 Простительно поверить сплетням
 И кашу без причины заварить.
 А старики не могут ошибаться
 И ждать или блуждать.
 Они не могут молча наблюдать
 И падать или ушибаться.
 Нет, оступаться — слишком кость ломка,
 И мало времени у старика,
 И чересчур близка
 Та самая,
 последняя черта,
 Которую никто не переходит.
 Поэтому
 так часто
 к ним приходят
 И высота,
 И чистота.

МУЗШКОЛА ИМЕНИ БЕТХОВЕНА В ХАРЬКОВЕ

Меня оттуда выгнали за проф,
 Так называемую, непригодность.
 И все-таки не пожалею строф
 И личную не пощажу я гордость,
 Чтоб этот домик маленький воспеть,
 Где мне пришлось терпеть и претерпеть.
 Я был бездарен, весел и умен,
 И потому я знал, что я — бездарен.
 О, сколько бранных прозвищ и имен
 Я выслушал: ты глуп, неблагодарен,
 Тебе на ухо наступил медведь.
 Поешь? Тебе в чащобе бы реветь!
 Ты никогда не будешь понимать
 Не то что чижик-пыжик — даже гаммы!
 Я отчислялся — до прихода мамы,
 Но приходила и вмешивалась мать.
 Она меня за шиворот хватала
 И в школу шла, размахивая мной.
 И объясняла нашему кварталу:
 Да, он ленивый, да, он озорной,
 Но он способный: поглядите руки,
 Какие пальцы: дециму берет.
 Ты будешь пианистом: — Марш вперед!
 И я маршировал вперед. На муки.
 Я не давался музыке. Я знал,
 Что музыка моя — совсем другая.
 А рядом, мне совсем не помогая,
 Скрипели скрипки и хирел хорал.
 Так я мужал в музшколе той вечерней,
 Одолевал упорства рубежи,
 Спротивляясь музыке учебной
 И повинуюсь музыке души.

Андрей Досталь

* *
*

Я тебя рисую,
Как картину.
Вот лоб,
Вот руки милые,
Вот плечи, словно пламя!
Но жаль, художник
Должен быть бесстрастен.
Послушен краскам,
Кисть чтоб не дрожала,
А я таким
Быть вовсе не могу.
Ты получаешься
Ни капли не похожей,
Ты вроде цапли
С тонкой, нежной кожей,
Зато до слез,
До звонкого дыханья,
До каждой капельки —
Совсем моя!

* *
*

Губами я волос
Твоих касаюсь..
Дрожат послушные
Пушистые ресницы,
Как будто сон
Тебе чудесный снится.
Я чувствую,
Как бьется твое сердце,
Губами чувствую,
Как бьется твое сердце!
И тихо поезда —
Проходят мимо,
Как верблюды
В степных равнинах.

* *
*

Ты говоришь,
Я придумал тебя..
Нет, это совершенно напрасно!
Только по-настоящему любя,
Начинаешь полностью
Разбираться в прекрасном.
По-иному нравится музыка,
По-иному ощущаются краски.
Словно из ущелья,
Где грозно и узко —
Выходишь в мир сказки!
Словно вступаешь
В страну наивности,

Влюбился в огонь
И ждешь его!
Понятия перестают
Быть налимими,
Веришь только в хорошее!
Хочется на деревья,
На скалы лезть,
Чтобы быть
Поближе к небу!
...Я взял тебя такую,
Какая ты есть.
Лучшей на свете —
Не было.

* *
*

Как дни бегут
С тобой неуловимо! —
Как лунный свет
На листьях,
И как эхо,
Которому возврата
Тоже нет.

* *
*

Спасибо тебе —
За боль.
За настоящее счастье,
(За корабельные снасти
И мертвые паруса).
За то, что
Ты стала моей
Давно уже,
Верно, столетье.
Спасибо тебе —
За бессмертье.
Спасибо тебе.
За все.
За сонные эти объятия,
За это прекрасное платье,
Что сброшено
Легкой рукой.
Спасибо тебе за свет,
Что в сердце —
Рождается в полночь,
Что руки мои наполнены
Тоской,
теплотой,
Тобой.

* *
*

Холодный,
Осенний причал.
Реки



В. Е. БОРИСОВ-МУСАТОВ. Женщина в саду. Перо. Анв. Русский музей. Отдел рисунков. № Р2168. Воспроизводится впервые

Величавое устье.
Я где-то
Уже встречал
Глаза,
Вот такие же грустные.
Я где-то
Уже встречал
Такие же тонкие руки.
Холодный,
Осенний причал.
Разлуки,
 разлуки,
 разлуки.

САДОВАЯ КАЛИТКА

Я перья ломаю над темой —
Рождается
Первый гул...
А нынче такая темень —
Чернее ворон
На снегу!
И улица
Словно оглохла,
И не разбудишь,
Хоть лопни,
И только калитка охает, —
Кто-то забыл захлопнуть.
И ржавые слезы падают
В тугую,
Набухшую землю, —
Что ей на покой
Пора бы,
И надоела
Всем, мол...
А раньше-то,
Вспомнишь только! —
И голос был,
Мягкий и низкий:
Она ведь —
С садовым столиком
На листьях
Вела переписку.
...Нет ей покоя и ночью,
И так намоталась
За день!
А ветра
Сырые ключья —
Все хлопали
 по ограде!

ЛУННАЯ ЛОДКА

Тане

Помнишь, как лунная
Лодка плыла,
В море мелькая

Радужном?
Так я не понял,
Кем ты была?
Болью моей?
Радостью?
Взгляд твой,
Дыханье твоё ловил
(Вот и не мог
разобраться внимательно)
Ты даже не понимаешь,
Как я тебя любил,
Считал тебя
Самой замечательной!
Ты обыкновенной
Девочкой была.
Нервной. Неглупой
В некотором смысле.
А я хотел —
Разбудить в тебе талант,
Красоту,
Глубину мысли.
Я уже давно
Не беру твой портрет.
Не смотрю
На него более.
Ничего в тебе этого
Не было и нет.
Вот ведь какая
История.

* *
*

Что мне расскажет сова
В этой промозглой чаще?
Надо бы
Руку совать
В дупла столетние —
Чаще!

С филина —
Нечего взять,
Он разъерошил перья,
Глухо скрипят глаза,
Полные недоверья.

Медленно
Роется крот.
Я его тоже слышу,
Он же,
Наоборот,
Думает, что я —
Крыша.

Так я лежу на земле,
Слушаемый всеми.
Плачет
Звезда во мгле.
Каплет по каплям
Время...

* *
*

В поле гудят
Провода.
Где-то летят
Поезда.
Чья-то упала
Звезда.
Это —
Всегда.

Арк. Штейнберг

НАПУТСТВИЕ

Пускай на службу человеку
Идет мой затрапезный стих
И вровень с обиходной речью
Простейшим будет из простых.

Пусть он гнушается притворством
Картонной булки показной.
И станет откровенно черствым,
Насущным, как ломоть ржаной.

Пусть будет он подобен хлебу,
Чье назначение и честь —
На повседневную потребу
Тому служить, кто хочет есть.

ДУБЫ

Ты помнишь, прошлою весной
Средь свежей зелени лесной,
Как почерневшие столбы
Какой-то древней городьбы,
Торчали голые дубы.
Их всех до одного подряд
Объел непарный шелкопряд.
Лишь за рекою, говорят,
Свой вешний лиственный наряд
От вездесущего врага
Дубняк сумел спасти, а здесь
На сорок верст обглодан весь
Несметным червем донага.
В лесах на левом берегу,
Как прокаженные, в кругу

Деревьев, плещущих живой
Неповрежденною листвою,
Дубы застыли по местам,
Где их беда настигла, там,
Где век за веком, искони
В родном краю из недр земли,
Неуязвимые, они,
Вцепясь корнями в грунт, росли.

Теперь же лысые дубы
И тонкоствольные дубки
На левом берегу реки,
И молодежь, и старики,
Как будто сдались без борьбы
На произвол слепой судьбы,
Согнув мосластые горбы,
И в знак бессилья и мольбы
Покорно подняли суки,
Похожие на костяки.

Но был обманчив этот жест!

Хоть пристально глядели мы
На привидения зимы,
Везде черневшие окрест,
Но их немого языка
Мы не могли понять пока.

Дубняк пощады не просил.
Он действовал наверняка.
И набирался новых сил.
Он всей системою корней
Буравил жирный перегой,
Тянулся вглубь земли родной,
Ища спасенья только в ней.

Так миновало много дней.

Сменил весну июньский зной,
А лес, как прежде, свысока
Смотрел на прутья сонных крон
Ограбленного дубняка.

Но был обманчив этот сон!

Дубы не спали ни денька.
Огромный ствол и гибкий хлыст
Натужно гнали новый лист.
И вот раскрылся лист второй,
Пускай убог и неказист,
Но все же лист, на свой покрой!

И поздней осенью, когда
С небес дохнули холода,
И, выкунев, как лисий мех,
Морковно-рыжей желтизной,
Косматый лес над крутизной
В последний раз потрянул казной,

Одаривая щедро всех,
Покуда сиверко сквозной
Не прошнырял два дня в лесу
И обкарнал его красу,
Раздев деревья догола.
Тогда-то, наконец, пришла
Пора дубов!

Сплотясь в беде,
Они торжественно везде
Стояли, развернув листву,
Подобно чуду наяву.

Они стояли на буграх
Средь увядающей травы,
Разряженные в пух и прах,
В доспехах с ног до головы,
Подняв победно в облака
Знамена своего полка.

И ты сказал мне: «Станем, брат,
С воскресшими дубами в ряд!»

ХОЗЯИН

Проступила на пожнях смолистая грязь,
Ржаво-радужной пленкой подернулись мхи,
Сквозь рядно поредевшей листвы серебрясь,
Влажно блещет кора остролистой ольхи.

Задожидло надолго; повсюду вода,
Небо, словно бельмо, тяжело и мертво.
Человеку — безрадостно, зверю — беда,
Лес как вымер, нигде не видать никого.

Присмирели насельники здешней реки,
И озерный народ головами поник;
Взматеревшие за лето кряквы, чирки —
Все по крепям забились в дремучий тростник.

Только ты, мой товарищ, бредешь по холму;
Поостыло тепло, не сидится в избе...
Средь лугов и болот колесить одному
В эту бледную непогодь любо тебе.

Любо скрадывать рябчика в чаше сырой,
Крепкогубых линей на бучиле стеречь,
Посреди краснолесья слышать порой
Глухариную, косноязычную речь.

Любо встречную ветку рукой отвести,
Наклонившись, юркнуть сквозь перловый каскад,
Дать условленный выстрел под вечер, к шести,
Разбудив невзначай многократный раскат.

Ты не зря непокоем людским наделен,
Не напрасно ты чуешь охотничий зуд;
Служит кровлей тебе дождевой небосклон,
И ясак драгоценный трущобы несут.

Кто сумеет отнять, кто посмеет украсть
Этот мир, что вмещен в человеческий взгляд,
Эту страстную кровь, эту кровную страсть,
Зарожденную тысячелетья назад?

Горбоносый, сутулый, с двустволкой в руке,
Перед ливнем и ветром не пряча лица,
Без пути и дорог, наобум, налегке
Ты шагаешь под ловчим созвездьем Стрельца.

Ты владыка растений, хозяин камней,
Повелитель и пестун любого зверья;
Все, что есть на земле, что схоронено в ней, —
Заповедная вотчина, доля твоя.

КИПРЕЙ

Иван-Чай

От края тундры до степных угодий,
Распространясь на запад и восток,
Иваном-чаем прозванный в народе
Прижился этот розовый цветок.

Как бунчуки казачьи, каждым летом
Соцветья поднимает он окрест
По гарям, лесосокам и кюветам.
Иван Кипрей — хозяин здешних мест.

Откуда он? В котором веке старом,
Судьбу провидя на далекий срок,
Другой Иван заведомо недаром
Его своим же именем нарек?

Но с той поры, как стал цветок Иваном,
Он множился и крепнул столько лет,
Что расплескался морем разлитанным
По всей Руси за человеком вслед.

Шагай, Иван, до рубежа земного,
Иди на приступ дружною гурьбой!
Порою оттеснят тебя, но снова
Из праха ты воскреснешь сам собой.

Поднимешься, несеяный, незванный,
С бесчисленной роднею заодно
И снова в бой за русские поляны,
За царство, что Иванам суждено!

РОДНИК

Молчит разгон степей ковыльных;
Лишь ходака усталый шаг
Вздымает рой кобылок пыльных,
Перелетающих большак.

И травы сумеркам не рады,
Метелки сохлые клоня,
И дышит ночь взамен прохлады
Ожесточенным зноем дня.

Но, как дитя в утробе тесной,
Толкаясь в каждый уголок,
Туда, где путь ее безвестный
По древним трещинам пролегал,

Сбегая в тайные долины,
Вода подспудная течет
По руслу из девонской глины
Вдоль кристаллических пород.

Подобно кровеносной сети,
Ветвя по тьме тропу свою,
Она влечет сквозь щели эти
Неистощимую струю.

К сухим кустам, к дубраве черной,
К корням изжаждавшихся трав
Подходит лимфой животворной,
Всю соль земли с себя вобрав.

И если нам порою страдной
Невмочь сносить полдневный гнет,
Ее целебный вздох отрадней
Нет-нет из глубины пахнет.

КАНУН ПОЛОВОДЬЯ

Как праздник, встречая весну
И радуясь паводку снова,
Люблю я приметку одну
Прихода его потайного,
Когда заснеженные льды
На вид по-крещенски тверды,
Зима еще в силе и здравье
И кажется вечным бесправье
Уже потеплевшей воды;
И тут же, в семейном кругу,
У прорубей спорят вороны,
С рассвета на грязном снегу
Оттиснув свои вавилоны.
Но время от времени, вдруг,
Расторгнув зарок полюбивный,
Над поймой разносится звук,
Похожий на скрежет зубовой.
Порой на широких просторах
Слышны и сопенье, и шорох,
Как будто невидимый зверь
Когтями царапает дверь.
А это вода подо льдом
Всплывает, как плазма живая,
К весеннему солнцу с трудом
Дорогу себе пробивая,

И тычется скользкой спиной,
Закраинища и продушин,
Везде, где бетон ледяной
Хотя бы немного нарушен.
Она выпирает из лунок,
Смывая печатный рисунок
Библейских вороньих писем,
Которыми снег заклеен,
И рвется из каждой дыры,
Как будто из клетки тюремной,
Сойдясь, наконец, в топоры
С проклятой судьбой подъяремной!

ЧЕЛОВЕК

Мне помнится: дней пять назад, как будто
У станции метро на Моховой,
Я видел пожилого лилипута
В спецовке, с непокрытой головой.

С развальцем, он шагал неторопливо,
Помахивая гаечным ключом:
Мол, пошабашил, выпил кружку пива,
Теперь домой, и горе нипочем!

Он шел среди обычных великанов
И ухмылялся встречным на пути,
Старавшимся, как бы случайно глянув,
Глаза поделikatней отвести.

А гном играл ехидно, словно в жмурки,
С десятками уклончивых зрачков,
И, не стесняясь крохотной фигурки,
Как будто хвастал: вот он, я, каков!

Коротконогий, шуплый, безбородый,
Неравный нам по росту и судьбе,
Ограбленный безжалостной природой,
Он главное сумел вернуть себе.

И стал он в нашем царстве гулливерском
Таким, как мы, с начала до конца;
На старческом лице, по-детски дерзком,
Сквозила мысль того же образца.

Пределы недоразвитого тельца,
Ущербная, униженная плоть
Едва вмещали своего владельца,
Способного и смерть перебороть.

И знал, хитрющий этот человечек,
Глумясь над бегством сердобольных глаз,
Что он, малыш, — воистину ответчик
За род людской, за каждого из нас,

Что он других не мельче и не хуже,
Что вправе он, родившись на земле,
С ключом в ручонке, разводным к тому же,
Брести домой слегка навеселе.

* * *
День догорел за лесами кудрявыми,
Ветер вечерний в ракитах шумит;
Липовым цветнем, увядшими травами
Пахнет невнятно, и сердце щемит.

В кубовом небе Большая Медведица
Семь поминальных костров разожгла.
Все потемнело — одна еще светится
Тусклой латунию волна от весла.

Будто слеза по утраченной матери,
Искра звезды в обмелевшей Оке...
Вон, с фонарями застыл на фарватере
Баженик сонный в худом челноке.

Вон, в деревьях огоньки замаячили,
Тени метнулись по сизой горе:
Только проснулись мы, только мы начали
Детство мое, а уж ночь на дворе!
Сумерки летние, лживое марево!

Что же вы нынче напомнили мне
Этого смуглого, этого карего
Мальчика с длинным ножом на ремне?

Что же вы нынче напомнили наново
В раннюю ночь над туманной рекой
Этого дикого мальчика странного
С жадной душой и тяжелой рукой?

Разве затем я подслушивал иволго,
Выбрал убежищем здешний лесок,
Некогда сердце доверчиво выволок,
Словно челнок, на прибрежный песок?

Разве затем я на греблю росистую
Шел по утрам сторожить голавлей,
Думал, что с мельницей вместе я выстою
Вечным юнцом средь лесов и полей?

Видно, теперь я напрасно аукаю,
Жду не дождусь, а уйти не могу.
Липами пахнет над спящей излукою,
Нет никого на другом берегу.

Все расточил я, что было мне дано.
Ночь на дворе... темнота... забыть...
То ли уведено, то ли украдено,
То ли потеряно детство мое.

* * *
Примерещились мне камышовые плавни,
Заалтайских лесов очарованный сон.
Домосед неусидчивый, баловень давний,
Там я радужных селезней бил не в сезон.

Помню темный урман, зыбуны моховые,
Роят вод, потревоженных дробью литой,
Ледяную струю Саралы, где впервые
Увидал я в бакуре песок золотой.

А еще я смешки вспомянул, отговорки,
Женский голос, что был и упрям, и нетверд.
Абаканскую пыль, огороды, задворки
И заборы дощатые с росчерком «Форд».

Это все миновало, и мне не в догадку:
Сколько лет позади, сколько зим впереди?..
Сыпь, слезовая соль, как в бездонную кадку,
Разымай мои раны, томи, береди!

Уведи меня вспять по Сибирской дороге,
Прожитая, разутая правда моя,
Шерстью вышей кисет в пересыльном остроге,
Приласкай, как жена, и ужаль, как змея!

Уведи меня к ружьям нечищеным, к седлам,
К самодельным бутарам, к привальным кострам,
Кинь под ноги красавицам, нежным и подлым,
Усыпляй по ночам и буди по утрам.

Примани меня снова к хакасским затонам,
К снеговому приволью бескрайних полей
И в мороз колдовской на рассвете студеном
Жидким золотом солнце мне горло залей.

Чтоб русалочий голос, знакомый и свежий,
По тайге закружил бы меня на авось,
Чтоб в лесной глухомани, в трущобе медвежьей
Мой потерянный клад, мое сердце нашлось!

ЛИСТОПАД

За порослью всклокоченной бредины
Вдоль берегов деревья с двух сторон
Стеной стоят, образовав единый
Лесной массив, где нет отдельных крон.

Но исподволь, сперва почти невнятно
Рыжеют между зеленью густой
Подпалины, похожие на пятна,
Протравленные крепкой кислотой.

Все резче, все грубей румянец поздний
Сквозит в листе любого дерева
Свидетельством непримиримой розни,
Предвестьем неминуемого конца.

Придет пора — и мы такими будем,
И эта горестная пестрота
Немолодым и одиноким людям
Становится созвучной неспроста.

И наш последний праздник так же краток,
И так же налагает смертный час
На каждого особый отпечаток
И друг от друга отчуждает нас.

А ветер треплет стынущие прутья
И гонит по чешуйчатой воде
Отживших листьев яркие лоскутья,
Лишь на дубах заречных кое-где

Еще бренчат обрезки ржавой жести.
Деревья проморожены насквозь,
Точь-в-точь как мы: живем бок о бок вместе,
А умираем врозь.

* * *

Костер горит устало и неровно;
Порою пламя прячется под бревна
И, затаившись, дышит тяжело;
Порою снова вспыхивает, словно
Выпастывая смятое крыло,
Прозрачное, обтянутое тонкой,
Светящейся, дрожащей перепонкой.
Тогда на миг встают из темноты
Как бы забрызганные ржавой жижей
Взьерошенные рыжие кусты,
Огромные стволы с корою рыжей
И пред костром, на мшистом валуне,
Двурукое сутулое создание,
Глядящее в упрямом ожиданье
На золотые угли, как во сне...

Потом крыло опять скользит без сил
Назад, к земле, и меркнут угли снова,
Как будто мрак злорадно загасил
Новорожденный жар костра земного,
И вновь деревья и трава темны,
Лишь искры на реке едва видны,
Да небо, как всегда, тысячезвездно.
Оттуда, с недоступной вышины,
Светила смотрят холодно и грозно
На беглый блеск невидимой волны,
Посмевшей отразить игрой мгновенной
Сиянье славы неприкосновенной;
На смутный лес, шумящий где-то там,
Во тьме, внизу; на плоский берег тихий,
Где ветер слепо шарит по кустам,
Сшибая горсти желтой облепихи...

Но вот протягивается рука,
Поросшая до кисти шерстью редкой,
И вслед за пихтовой смолистой веткой
Летят в костер обломки сушника,
И пламя, выбиваясь языками,
Внезапно разгорается взахлеб,
Вылепливая резкими мазками
Скуластое лицо и низкий лоб.

Наморщенный, покатый, космобровый,
И в затененных впадинах глазниц
Сквозящий напрямик из-под ресниц
Настороженный огонек багровый,
Широкий нос, и тонкогубый рот,
И челюсть, выдвинутую вперед.

Какая мысль определила эти
Морщины человеческого лба?
Куда зовет, куда ведет судьба
Владетеля всего, что есть на свете?
Так неумело грубы эти руки,
Так тесен круг, очерченный огнем!
Шумит окрестный лес; повсюду в нем
Враждебные, пугающие звуки...

Но человек уже не одинок;
Врастяжку на сухой дернине твердой
С торчащими ушами, остромордый
Лежит недвижно у хозяйских ног
Хвостатый зверь, по виду схожий с волком,
И на костер косится тихомолком,
И в глубине полузакрытых глаз
Сквозит и пропадает каждый раз
Настороженный огонек багряный,
Почти людской, почти такой же странный.

Костер заглох. Опять вокруг темно;
Чуть польхают угли, догорая.
И небо приближается; оно
Полно созвездий без конца и края;
В пустынной мгле далекие миры
Мерцают, как привальные костры.

УЧИТЕЛЬНИЦА

Трясаясь на машинах попутных
От ранней зари допоздна,
Лишь к вечеру, в сумерках смутных,
Добралась до места она.

Пришлось ей под ливнем неожиданным
Конечный отрезок пути
С постельным узлом, с чемоданом
В обход к перевозу брести.

За грядями с хряпой капустной
Внезапно блеснул перед ней
С холма городок захолустный
Цепочкою редких огней.

И словно с порывами ветра
Оттуда сквозь тьму напролом
Дохнуло за полкилометра
Едою, ночлегом, теплом...

Сложив у пахучего стога
Поклажу на дерн луговой,
Она отдохнула немного,
Потом повела головой.

Но сколько она ни глядела,
Повсюду безвидная мгла,
Бог весть, до какого предела
На землю и небо легла.

И полные плеска и шума
Леса громоздились впотьмах,
Уступ за уступом, угрюмо,
Во весь богатырский размах.

Никто и не встретил Калмычку
У крайней черты городской
(Когда-то ей дал эту кличку
Родимый детдом костромской).

Вчера собеседник случайный,
Спешивший на пленум в обком,
Подсел к ней за ужином в чайной
И кстати снабдил адреском.

И с этой заветной бумажкой,
Топча неизбежную грязь,
По стежкам, поросшим ромашкой,
Она вдоль заборов плелась.

Горящие спички, устало
Горстями прикрыв от дождя,
Названия улиц читала,
Почти коробок изведя.

Ложатся в провинции рано.
Безлюдны сады и дворы.
И даже собачья охрана
Давно уползла в конуры.

На площади глухо и пусто,
Лишь в брызгах фонарь на столбе
Вознесся у мокрого бюста
И светит ему и себе.

Раструб над конторою связи
Повис, прикрепленный к шесту.
Певица из Перу в экстазе
Зловеще вопит в темноту.

И странная песня чужая
Да бубна индейского звук,
Как будто бедой угрожая,
Одни раздаются вокруг...

Погасла последняя спичка;
А впрочем, не все ли равно,
Куда постучится Калмычка?
Хотя бы вот в это окно.

Она в ожиданье ответа
Глядит, как бесшумно скользят
За шторой зайчики света,
Шныряя вперед и назад,

Как движутся листья растений
В причудливом танце своем
И меркнут их длинные тени,
Заполнив оконный проем.

Осенняя ночь на исходе.
Туман захлестнул городок.
Белесый, к хорошей погоде,
Чуть-чуть шевельнулся восток.

А гостя за ситцем линялым,
На сбитой в комок простыне
В обнимку с цветным одеялом
Невнятно лепечет во сне.

Осталось ей самую малость
В хозяйской постели доспать,
Избыть молодую усталость,
Для жизни проснуться опять.

Проснуться в дому незнакомом,
Где тихо еще и темно,
А позже с путевкой, с дипломом
К начальству пойти в районо.

Уже под завесой мгlistой
Шуршит расколдованный сад,
На бурой малине безлистой
Огромные капли висят.

Густые клоки спозаранку
Клубятся из каждой трубы,
И ветер качает зорянку
На сохлой макушке вербы.

Вдоль грязью зашлепанных елок,
Свернув от совхоза к реке,
Дымится размытый проселок,
Кончаясь мостом вдалеке.

Реки не видать за туманом,
Лишь возле парама с утра
Чадит на мысу безымянном
Валежник сырого костра.

А рядом — бетонные блоки,
Железная тара, мешки,
На сваях помост неширокий,
Уткнувшийся трапом в песок.

Обросший щетиною свежей,
Сидит на кулях с ячменем
Цыган, очевидно, проезжий,
В тужурке с военным ремнем...

Так медленно темень слепая
Отходит по фронту везде,
Межу за межой уступая,
На небе, земле и воде.

И все, поглощенное ночью,
Казалось, на веки веков,
Сейчас воскресает воочью
В огне заревых облаков.

Владимир Максимов

МЫ ОБЖИВАЕМ ЗЕМЛЮ

Маленькая повесть

„Знаю ли я людей?..“

М. Горький

1. КОЛПАКОВ

Пятый день подряд по крыше нашей палатки шарают дожди. Правда, «день» в этом углу земли, где светораздел измеряется полугодиями, понятие весьма относительное, но мне от того не легче, скорее, наоборот. Обложенная со всех сторон монотонным, выматывающим душу шуршанием, голова час от часу тяжелеет и тяжелеет, будто наполняется теплым сыпучим песком, а устойчивый серый свет двух палаточных окошек отбивает всяческую охоту спать.

В палатке нас трое. Димка Шилов — тридцатилетний парень из амнистированных, флегматичный представитель того типа людей, к именина которых серьезная степень не приживается до старости, Тихон Лебедь — «вечный вербованный» из-под Вологды и я. Здесь, в Верхнереченске, мы ожидаем своего будущего начальника, что поведет нас по таежной речке Нейниче определять места будущих стационарных баз экспедиции и рубить на них временки. Но пятые сутки на исходе, а мы, так сказать, еще не сообразовались в «спаянный соцколлектив» по причине своей бесхозности.

Я завидую Димке. Он просыпается только за тем, чтобы отхлебнуть из фляжки, которую кладет вместо подушки под голову. При этом Димка всякий раз недоуменно и вроде бы даже обиженно разглядывает мутными, заспанными глазами сначала меня, потом Тихона: откуда это, мол, еще народу такая прорва. Затем голова его снова падает на заветную фляжку, и парень засыпает, заставляя нас думать о нем все, что нам будет угодно. Не живое существо — кусок флегмы.

Тихон — человек другого и, я бы даже сказал, особого склада. Большую часть времени Тихон занят тем, что обшивает свой вещмешок карманами и карманчиками разной величины, куда рассовывает жестянки, коробочки, пакеты. Говорит Тихон редко и с явной необходимостью, словно забытый долг отдает: отсчитывает зное количество, помолчит, вроде прикидывает — не много ли — и добавляет словца два—три. Слушая его, ка-

жется, что и душа у Тихона вроде личного вещмешка — вся в гнездах-зачаках и в каждом по словцу, по мыслишке. Поэтому разговаривать с ним, что у скупца кредитом пользоваться, разве лишь по необходимости.

Я слежу за ловкими, расчетливыми движениями короткопалых Тихоновых рук и пытаюсь сосредоточиться, собрать воедино на худой конец три—четыре фразы, чтобы сесть за письмо Аркадию Петровичу — своему детдомовскому воспитателю. У меня с ним уговор: раз в три месяца — письмо. «Можно бы и чаще, Витек, но мы же мужчины, и три месяца — это по-божески». Четыре с лишним года, минувших с того дня, когда я перешагнул детдомовский порог, правило не знало исключений. На этот раз моя совесть дает трехнедельную течь. В который раз я царапаю на листке в косую линейку: «Дорогой Аркадий Петрович!..» Но скомканные бумажки летят и летят за окно, а письмо все не собирается. Оно и понятно. Во-первых, мы условились с Аркадием Петровичем, что я буду писать только о самом интересном и значительном, но ни того, ни другого за эти неполные четыре месяца в моей жизни не произошло, а во-вторых, — дождь... Нет, по-моему, это никогда не кончится.

Входной полог поднимается, и в серый квадрат обнаженного неба, как в портретную рамку, врезается остроклюое со щетинистым подбородком лицо в ореле брезентового капюшона.

— Живы? — Гора мокрой парусины втискивается в палатку. — Здорово живете!

У Тихона на начальство чутье безукоризненное.

— Засохли без дела, — мелко суетится он, — прямо гибель... Право слово.

Гость коротко выглядывает на него маленькими колкими глазками и тут же отворачивается, кивая в сторону Димки:

— А это что?

В Тихоновых глазах блуд, тяжелый собачий блуд. Я молчу. Собственно, все понятно и без слов. Человек в брезенте одной рукой резко опрокидывает Димку с



В. Е. БОРИСОВ-МУСАТОВ. Сцена в саду. Без даты. Русский музей. Отдел рисунков № Р. 269.
Воспроизводится впервые

боку на спину, а другой захватывает фляжку. Нюхает, не морщась.

— Наш, рыбокооповский. Девяносто шесть, ноль-ноль... Так вот, уважаемые, с нынешнего часу эта штука — только по моей команде. Ясно?

Димка тарашит на диковинного гостя заспанные глаза, слова складывает пыльные, первые попавшиеся:

— Много вас, командиров... Не наздравствуешься... Полегче бы на поворотах...

А Димкин спирт уже впитывается в землю у гостя сапога.

— Я Колпаков. Поступаете под мое начало. Я вам теперь бог, царь и, так сказать, герой. Завтра в четыре, чтобы как штык. Выходим. Тары-бары после. Дорога длинная, наговоримся.

Последние слова доносятся в палатку уже снаружи.

— Строгий дядька, — уверенно определяет Тихон, — не забалуешься... В дугу согнет.

Димка трет заросшую щеку.

— Рассолу бы сейчас...

Я принимаюсь за письмо. В который раз.

II. ПИСЬМО

Честно, только честно.

«Дорогой Аркадий Петрович! Трехнедельное опоздание за мной. И хотя вы не признаете никаких оправданий, на этот раз у меня уважительная причина: полное отсутствие интересного и значительного. Новость одна: со строительства я ушел «по собственному желанию». Но ведь этим вас не удивить. Из двадцати моих посланий к вам добрая половина помечена новым почтовым адресом. Носит меня по свету, и не ведаю я, будет ли сему конец когда-нибудь. Все, за что бы я ни брался, увлекает меня только поначалу, а потом тоска наваливается мне на душу, и я бегу от нее, бегу куда глаза глядят, чего-то ищу и не нахожу. Милый вы мой, Аркадий Петрович, на расстоянии откровенным быть легче, да и трудно мне сейчас отказывать себе в мстительном удовольствии трезво хамить. Даже вам. Простите, но мне кажется нынче, что я по крайней мере вдвое старше вас. Действительность в несколько месяцев смяла, раздавила удушающей своей обыденностью все мои логические умозаключения о ней, выношенные мной в долгих и таких, казалось бы, беспощадных разговорах с вами. И самое смешное и горькое в том, что я не могу сказать о ней, об этой действительности, избитую банальность, вроде: «Все жестче, все проще». Дай-то, говорят, бог, чтобы так случилось! Ведь вы и не готовили меня к праздничному маршу по жизни. Уходя из детства, я уже знал, что такое заработанный хлеб. Я был готов к самому сложному, к самому трудному. Но трагедия в том, что жизнь оказалась не сложнее, а мельче, упрощенней, чем представлялось мне до поры. Она выматывает силы не борьбой — борьбы нет, — а жутким своим унижительным для человека однообразием. А люди! Господи, я плевал на героев, героев выдумывают плохие писатели, но хотя бы одна уважающая себя особь! Язык не поворачи-

вается сказать о таких: «Борются за существование». Они не борются, они просто-напросто копошатся в собственной грязи, посылно оттирая ближнего своего от корыта бытия. Семейное сожительство называется у них любовью, житейская изворотливость — мудростью, павианье чванство — гордыней. Вы, конечно, усмехаетесь: вот, мол, еще одна триллионная первая трагедия личности. Пронеси судьба стать очередной жертвой «земли несовершенства!» Я нисколько не лучше, а, скорее всего, хуже прочих, хотя бы тем, что испорчен печатными бреднями вселенских шизофреников. Наверное, поэтому среда и выталкивает меня, как чужеродное ей тело... А впрочем, к дьяволу философию! Надоело. Просто я не состоялся.

Короче: я распродал себя на Крайний Север. Будь что будет. Так сказать, ближе к природе-матери. Сейчас нахожусь в Верхнереченске. Пятые сутки льет обложной дождь. В нем я, кажется, растворяюсь и сам становлюсь слякотью. Соседи довольно сносные. Сиречь — не докучают. Один — бывший уголовник, пьет от самого Красноярска, общаясь с бранным миром только через бутылочное горлышко. Другой — рябой вологжанин лет сорока — занят самоснабжением. Сегодня познакомились наконец с непосредственным начальством. Еж в брезенте с человеческой фамилией Колпаков. Большого в нем разглядеть не удалось. Малость кокетничает своей таежностью. Завтра трогаемся с ним в путь. Вот и все. А вы говорите: «Каждые три месяца». В таком мире две жизни проживи — на одно сносное письмо стоящих событий не наберется.

Не обижайтесь на меня, дорогой Аркадий Петрович. Ведь вы же просили: «Честно, только честно». Вот и получайте. Но главное не это, главное — вы сами, главное — вы есть, а покуда вам быть, мне еще покупать конверты. А это очень важно, конверты.

Без тривиальностей. Ваш Виктор Суханов».

III. МОРА

Я просыпаюсь от резкого, бьющего прямо в глаза солнца. Оно круто и первозданно, как невзболтанный желток. Я, словно ссохшаяся губка, впитываю каждой порой своей эту праздничную благодать, и она пронизывает меня странной до удивления легкостью. А в душе такая бездумная невесомость, что и сам себя я начинаю видеть только маленькой светящейся частицей чего-то огромного и непостижимого, этaким крохотным солнцем. Подобными утрами жизнь кажется вечной и доброй волшебницей.

Среди этой, чуть ли не осязаемой торжествующей тишины голос Тихона почти неправдоподобен:

— Не ко времени ведро. Мошка задавит... Гнус, то есть.

Он уже сидит на перехваченном ремнем спальном мешке, зажав коленями свой уникальный рюкзак.

Димка, стоя, уныло высасывает из банки консервированных абрикосов последние капли сока:

— Жизни!.. Ни тебе выпить по-человечески, ни похмелиться... Тоже мне, Крайний Север!

Я едва успеваю выпроситься и мешка, а от входа уже ошетиливается в мою сторону резкое колпаковское лицо.

— Прохлаждаешься, паря? Заруби: санатории через три года, а куда — работа... Давай на берег!

Начальник исчезает, а я, натягивая сапог, зло огрызаюсь ему вслед:

— Двигай, дядя, дальше, сами по миру ходим.

Тихон, уже перешагнувший порог, испуганно оборачивается. Тусклое, в крупных рябинках лицо его в белых пятнах.

— Ты кому говоришь, малый?

— Да пошел ты!..

Полог, упавая, как бы смахивает с дряблых Тихоновых губ недобрую усмешку. Смахивает, и она остается наедине со мной — серая и вязкая, как паутина. Мне становится не по себе. Я ругаюсь вслух:

— Дубина вологодская. Сволочь!

Димка, потягиваясь, зевает:

— Брось. Надо будет — мы его по кочкам проволоком... Двинули, что ли?

Я для него «свой». На правах детдомовского. В том есть резон, и в конечном счете меня это устраивает.

По осклизлым мосткам мы гуськом двигаемся к берегу. Димка, то и дело спотыкаясь, матерится на чем свет стоит, проклиная свою судьбу, а заодно и потребительскую кооперацию, которая «неизвестно когда только и работает».

По речному зеркалу будто дыханием кто-то прошелся: легкий налет тумана. Река так неподвижна, что думается: святым станешь, пойдешь по воде, словно посуху. А тайга, подступившая здесь к самой воде, схожа со сказочным войском при переправе: идет и идет себе прямо под воду, выбираясь на другой стороне сухим и столь же несметным.

— Смотри, — Димка толкает меня в бок, — Мора¹.

У лодочного причала разговаривает с Колпаковым, попыхивая трубочкой, всамделишный цыган в брезентовой робе, заправленной в новенькие резиновые сапоги. Цыган улыбочиво доказывает начальнику:

— Жалеть, Трифанавич, не будешь. Залатые у девки руки. Ей-бо, залатые. Все умеет, чалдонка она, Трифанавич, чалдонка.

Колпаков морщится.

— Так ведь баба, Сашко! Ты рассуди своей забубенной башкой. Баба в тайге, а нас пятеро, один одного лобастей... Подведешь ты меня с кралей своей под монастырь.

— Не простая баба, Трифанавич, — вздыхая улыбается цыган, — чалдонка, аднака.

Колпаков только рукой машет, — шут, мол, с тобой — и к нам:

— Вас вроде сам черт одной веревочкой связал! Вот, — он кивает на одну из трех причаленных к берегу лодок, — располагайтесь. Будьте, так сказать, как дома.

¹ Мора — цыган (жаргон).

Я собираюсь было снова огрызнуться, но Колпаков уже около Тихона.

— Пойдешь со мной в паре вот на этой. И учти...

Я поворачиваюсь к Димке и не узнаю его. Сонный, помятый еще за минуту перед этим, парень преобразается на глазах. Все в нем — рослая, но несколько оплывшая фигура, лицо, даже самый взгляд — как бы расправляется, светлеет, делается четче, приобретает законченные очертания, словно в отпечатке под проявителем. В куске камня пробуждается скульптура. А чудодейственная ваятельница метрах в трех от своего произведения сидит себе на борту мужниной лодки, кедровые орехи пощелкивает и усмехается, усмехается одними уголками обветренных губ. Небольшого роста, скуластая, с крепким кержацким подбородком, она как лиственница на отлете: и похожа и в то же время не похожа на своих подруг пронзительной своей обнаженностью. Телогрейка на ней ловко перехвачена кокетливым зеленым ремешком. Из-под надвинутого по самые брови платка смотрятся в мир два тихих мутка с дурными чертиками в самой глубине.

Димка с пристальной задумчивостью глядит на девушку, а ей до него вроде бы и дела нет: взглянет коротко этак в его сторону и отвернется, взглянет и отвернется. Только летит ореховая шелуха в отуманенную воду. Летит и тонет.

Я тяну Димку за рукав.

— Хватит, сглазишь. Бросай мешок.

Колпакову же на всякое дело времени дано вполну против обычного.

— Первая стоянка на Хете. Возьмем инструмент и харчи. Остальное — потом. Ясно!

Не ожидая ответа, он легко сталкивает лодку с отвали и прыгает на корму:

— Не растягивайся!

В несколько взмахов Тихон выводит головную лодку на стрежень. В двух веслах от него — Мора. Выгребая за начальником, цыган широко улыбается нам и подмигивает:

— Поехали! И-ех!

Усаживаясь на веслах, Димка, словно про себя, раздумывает:

— Какая... легкая... Толкай!

— Чужая ведь.

Мгновенно парень с вопросительным недоумением глядит на меня, словно определяет: стоит ли отвечать? Затем говорит коротко и беззлобно:

— Дурак.

И делает первый мах.

А мне почему-то становится обидно за цыгана. Хотя, впрочем, ну их всех к чертовой бабушке!

IV. ТРЕВОГА

У проток звериные повадки. Тихой заводью отплевывается протока от основного русла. По-россомашьи неслышно крадется она меж отлогих песчаных берегов все в сторону и в сторону от реки-прародительницы. В пути протока начинает задавать загадки, то и дело

расходясь надвое: Стоит однажды не угадать, каким рукавом пошло коренное течение, и останешься в конце безмянного ручья, исчезающего в болоте, лицом к лицу с тысячеверстной тайгой.

Только Колпакову, видно, вся эта премудрость, вроде таблицы умножения: ночью разбуди — отдиктует назубок. Протока под ним, как объезженная лошадь, смирна и послушна. Кажется, не протока Колпакова, а Колпаков протоку ведет, время от времени сдавая ее с руки на руки в неостывающие ладони материнского фарватера.

Четвертые сутки движемся мы в сторону Кандымского порога, перед которым нам предстоит рубить первую времянку. А сколько их, этих времянок, последует за первой, известно только господу-богу да Колпакову.

Четвертые сутки солнце выписывает по небу диковинные зигзаги — от горизонта до горизонта, упорно не желая скатываться в другое полушарие.

Трое оставшихся позади суток не были отмечены сколько-нибудь заметными событиями. С Димкой у меня устанавливаются довольно своеобразные отношения. Большую часть пути мы молчим. Это, по-моему, устраивает нас обоих. Я занят своими мыслями, он — тоской по спиртному. Димка умеет извлекать «градусы» из всего, казалось бы, абсолютно безалкогольного. Благодаря ему я уже на вторые сутки пути остаюсь без одеклона, зубного порошка и содержимого аптечки. Сейчас парень томится по последней пачке чая, которую я берегу на всякий случай вместо лекарства.

— Тоже мне татарин! Кому бережешь, зачем бережешь! Ты сам посуды — чай! В нем же ни сала, ни витаминов... Говорят, даже вредно для сердца... Голова, как колокол: трону — гудит...

— Не глотай дряни.

— Пижон. Ты пил чего-нибудь крепче кваса?

— Не вижу смысла.

— Умник! Во всем смысл ищешь. А вот в нашем доме поэт живет, стихи к праздникам пишет. О солнце там, о счастье, о полноводной жизни тоже подпущено. В общем, то да се, лучше, мол, некуда. А сам по неделям в квартире запирается и... В общем, дядя Вася — дворник наш, считай, на его бутылки троих детей в люди вывел... Это как понимать, а? Вот тебе и есть смысл. А то рассуждаешь. Пижон!

Возражать Димке бесполезно. В ответ он приведет еще дюжину таких примеров в полной уверенности, что правота его в более стройной логике не нуждается. Разговор угасает. И в то же мгновение шум — еще не ясный, почти призрачный — начинает ветровыми волнами накатываться на нас. Скорее это даже еще не шум, а неотвратимое, как сумерки, нарастающее далеко, но грозной тревоги. С каждым взмахом весел она все отчетливее и объемнее. И вот с головной лодки над протокой взлетает сильное колпаковское:

— Причали-вай-ай! Кан-ды-ым!

Я сушу весла.

Между солнцем и горизонтом — расстояние с ладонь плашмя, а первая лиственница уже перечеркивает верхушкой утреннюю синеву от зенита до береговой гальки. Колпаков с силой вгоняет в комель топор.

— Ну, так сказать, с богом!

На лесоповал становятся Тихон и Димка. Я отхожу за подручного к Море. Единственной нашей женщине достается стряпня, а Колпаков, как всякое начальство, на подхвате, то есть там, где тонко.

Работать с Сашко легко и споро. Я сам плотник пятой руки. Мне довелось плотничать на добром десятке строек, встречать стоящих мастеров, но равных этому кудеснику видеть не приходилось. Топор как бы вливается в его смуглую ладонь, обретает в ней плоть и кровь, начинает чувствовать душу дерева. Лесина под его инструментом становится податливой, чутко повинаясь малейшей воле мастера. Орудия топором, цыган то и дело качает головой и улыбается, словно каждый раз открывает для себя в дереве что-то новое и удивительное. Так, наверное, работают художники.

После третьего венца Мора поднимает накомарник, рукавом смахивает со лба соленую изморось.

— Куришь?

— Нет.

— Все равно садись, курить будем. Какая ж работа без перекура!

— Красиво это у тебя получается... С топором,

Закуривая, Мора довольно жмурится.

— Трифанавич учил.

— Так он и плотник?

— Трифанавич? Да у него руки из чистого золота, Ты спроси, чего Трифанавич не может. Все может. Не смотри, что зверем ходит, душа у него из чистого золота.

— Не человек, значит, а ходячий самородок.

— Мала «хароший человек» сказать — залатой человек. Он меня в Красноярске падабрал, в люди вывел, к делу приставил... Усох, аднака... Жена у него памерла... Маргарита Андреевна... Тайга забрала... Андреевна.

— И тайга-то у тебя вроде живая...

И сразу чайный настой цыганова взгляда густеет, замешанный тревожной сторожкостью.

— И-е, ты ее, малый, не знаешь, тайгу... Глядишь, лес да и все... А она дышит... Толька слушать нада.

Мора умолкает. С высокого берега, на котором мы ставим времянку, зеленая с бурыми подпалинами шетина тайги видится далеко-далеко, и, если, не отрываясь, долго смотреть поверх нее, кажется: она и впрямь дышит, возвращая набранный огромной грудью воздух белесым маревом над горизонтом.

Голос у Христины грудной, нивкий:

— Обедать, работнички!

Аромат распаренных консервов отвоевывает береговую полоску у запахов леса. Мы рассаживаемся около костра, а Мора, помогая жене, суетится вокруг нас.

— Гаварил, Трифанавич, не пажалеешь. Залатая девка, все может... Рыбы наловила, абед саделала... Мотки-шмотки пастирала. Залатая девка.

Колпаков только хмыкает неопределенно, но, по моему, не без одобрительности. Тихон ест истово, будто священнодействует. Зачерпнет ложку каши, обтрясет ее малость над котлом, подопрет ломтем и отправляет в рот, как именинницу на люди. Для Димки же еда вроде обязательной повинности. Он вяло скатывает в ладонях хлебные шарики, обпекает их со всех сторон на угольях и хрустит ими до самого конца обеденного таинства, после чего, обернувшись в палатку, заваливается под самым берегом спать.

Когда мы кончаем с едой, Колпаков уходит, как он говорит, «примериться» к порогу. Тихон увязывается за ним. А цыган предлагает мне:

— Идем на гусей!

Озер в тайге, близкой к Северу, великое множество. Тысячи их вкраплено подсиненными блестками в ягельные короны лесотундры. Веками садятся здесь гусиные станицы линять и набирать жира для нового пути. Саженный слой птичьего помета придает берегам этих озер пружинистую упругость. Я хожу с Морой от воды к воде, а он все тянет и тянет меня вперед.

— А-а! Пашли, пашли... Лучше есть, краше.

Однажды я вскидываю ружье: из камыша навстречу нам режет волну пестрая крякva в сопровождении целой эскадры желто-серого потомства. Цыганова ладонь пригибает ствол моей централки книзу:

— Не нада, малый: видишь—детишки. Еще найдем.

Даже голос у Моря меняется, становится приглушенной, тоньше. Я зло сплевываю, и мы идем дальше. А цыган все говорит, говорит:

— Я раньше тоже бил, а нонче не магу. Душа не лежит. Жана у меня четвертый месяц тяжелая. — Мора тихо-тихо смеется. — Сына мне нарадит — азалачу. Только ты не гавари никому: Калпаков узнает — асерчает.

Я дразню его:

— С русской бабой связался. Бросит она тебя.

Но в этом Мору сбить трудно.

— Не знаешь ты маю бабу. Клад-баба. Любит меня. Ой, как любит! И я тоже. Словна адна у нас с ней душа на дваих.

Тайга совершает с нами свою обычную шутку: мы выходим к протоке метрах в ста от стоянки. Я иду первым по самому гребню нависшего над водой откоса. Мора, набредая на россыпь голубики, немного отстаёт. Посреди протоки охорашивается аспидная гагара. Меня охватывает непреодолимое желание выместить на ней неудачу сегодняшней охоты. Но снова заряд замирает во вскиннутом было ружье: из-под берега карабкаются мне под ноги два разнозвучных голоса: тягучий, с ленцой — Димки и густой, мягкий — Христины.

Он:

— Ребят в округе не было — за цыгана пошла?

Она:

— А что мне цыган? Я сама себе хозяйка. За кем хочу, за тем пойду... Что ж, что цыган, зато добрый... Веселый... Пенки-то вас много снимать, а любить некому... А цыган полюбил.

Он:

— Может, я крепче полюблю.

Она:

— Все вы поначалу-то так говорите.

Он:

— А пойдешь!

Она:

— Трифоныч говорит: блатной ты.

Он:

— Дурак твой Трифоныч. Оброс злобой!

Она:

— И пьешь тоже.

Он:

— Брошу.

Слова ее становятся певучими-певучими и тихими.

— Нельзя мне сейчас... Никак нельзя... Да ведь и Сашко человек.

Я слышу хруст сухих веток за спиной. Шаги все ближе, ближе. И вот я уже чувствую на затылке чужое дыхание. Его дыхание. А под откосом:

— Пусти... Не надо... Увидят...

Я прикован к месту, я не могу шелохнуться, и Сашкино дыхание становится обжигающим. Думается, в эту минуту над всей безмолвствующей землей звучат только два голоса.

Он:

— В Москву уедем.

Она на одном дыхании:

— В Москву.

Он:

— Жить будем.

Она:

— Жить.

Он:

— И чтоб всегда вот так...

Она:

— Вот так.

Он:

— Ты такая...

Она:

— И ты...

И вдруг... раз... два... три... четыре: шаги за моей спиной становятся глуше, глуше. А вот обомшелая таежная тишина уже смыкается за ними. Чтобы не закричать от злости и обиды, я валюсь лицом в пахнувший древесной плесенью ягель и начинаю яростно кусать рукав телогрейки.

В эту минуту я ненавижу цыгана, больше — презираю его! И то, что еще совсем недавно виделось в нем привлекательным — улыбочивость, легкость в деле, доброта, — выглядит сейчас жалким, мелочным, нестоящим. «Ничтожные существа, — испуганно кричу я себе, — вы разучились даже драться за свою до-

лю любви! Вы крадете ее друг у друга, пользуясь случаем, как воры. А отдаете без боя!»

А голоса снизу, будто издаваясь, почти осязаемо вползают мне в уши.

Он:

— Не забудешь?

Она:

— Не забуду.

Он:

— Смотри.

Она:

— Нет, нет...

Он:

— Я тебя словно всю жизнь знал.

Она:

— И я...

Это как проклятье.

VI. ЛОДКИ

В отрывистой колпаковской речи сегодня преобладают убеждающие ноты:

— Главное не паниковать. Спокойно выгребай в самую стремнину. Плюс скорость. Но на веслах дело — полдела. Здесь кормовой—бог. Лодка должна идти прямо на волну. Чуть испугался, свернул в сторону — пиши родным... И потом — устойчивость. Чем больше груза, тем лучше... Сами понимаете, волоком здесь не пройти: берег не позволяет. Высок. Мы с Лебедем для, так сказать, примера пойдем первыми. — Он сплевывает на воду потухший окурок. — Я на корме.

Одурловатое Тихоново лицо заостряется, бесцветные глаза темнеют. Садясь за весла, он долго и старательно выверяет ключины. Излишне медленно потирает ладони. Потом хрипло командует напарнику:

— Давай, Трифонч.

Колпаков рывком сталкивает лодку с отмели и уже из воды всем телом переваливается на корму. Едва касаясь веслами волны, Тихон выгребает к середине. За его спиной зажатый двумя вздыбленными скалами воеет и бьется, как попавшая в западню росомаха, бесноватый Кандым. Войдя в порожистую зону, лодка с двумя вросшими в нее человеческими фигурками начинает мелко-мелко подрагивать то одним, то другим бортом, будто случайная калоша на транспортной ленте. Вот суденышко на мгновение исчезает из вида, и острая снежинка ужаса обжигает замершее вдруг во мне сердце. Но весла-крылышки вновь трепетно взмывают над крутым гребнем, и вздох приходит, как спасение. Провалы и взлеты следуют один за другим, пока, наконец, лодка не скрывается по ту сторону порога.

Я перевожу взгляд на Димку. Тот остервенело слюнявит дымящуюся цыгарку. В рыжей щетине Димкиного подбородка застревают, осыпаясь, обугленные махорочные крошки. Мора, бедром привалившись к борту, безучастно смотрит куда-то вверх Кандыма, в подернутое пористой накипью небо. И круглые глаза его не осенены ни одной земной мыслью. Такие глаза я видел у большой собаки: в них только тоска, тихая и всеобъем-

лющая. Христина стоит за Сашкиной спиной, по-мужски широко расставив ноги, и знакомая многоречивая усмешка солнечным зайцем мельтешит в уголках ее плотно сжатых губ.

Но вот, будто пробка вылетает из бутылки, выстрел. Это сигнал: прошли благополучно.

Димка кивает мне.

— Двинули.

Хватаясь за корму, я по привычке оборачиваюсь в сторону Моря. Словно угадав мое желание, он каким-то последним отголоском в душе заставляет себя улыбнуться. Но улыбка выходит у него кривой и жалкой. И внезапно в коротком рывке крови устремляется из сердца темная волна предчувствия. А вспененная рябь уже подхватывает нас, увлекая в оскаленную пасть Кандыма. Лодку начинает колотить. Я влипаю в нее всем своим существом, и вот уже нет меня, есть лодка, как бы ставшая осмысленным организмом.

Лодка боится.

Лодка сопротивляется.

Лодка не хочет умирать.

Лодка облегченно вздыхает.

Самый переход через порог продолжается считанные секунды. Может быть, минуту, но за смертной чертой я вдруг остро ощущаю, что становлюсь старше. Это как после нескольких ночей бредового жара.

Мы причаливаем в тихом оттоке, чуть ниже Колпакова. Начальник озорно подмигивает нам, и я впервые вижу, как разглаживается его резкое, будто обсеченное жесткими ветрами лицо, зябкие льдинки во взгляде оттаивают, и весь он с головы до пят преобразен стремительным, почти мальчишеским порывом.

— Э-хо-хо-хо! Проскочили! Говорю, главное — держись! Не таким, так сказать, чертям рога скручивали!.. Молодцы, братцы!

И завершающим восклицанием — выстрел: очередь Моря. И четыре взгляда — к порогу. Лодка появляется неожиданно, словно прямо из-под воды. Но в ней только один человек. Да, да, один. Колпаков, как-то враз почернев, начинает ругаться грязно и длинно. Тихон привстает от неожиданности с весел да так и замирает в полусогнутой позе, точь-в-точь волейболист в момент приема мяча. У Димки бешено двигается кадык, похоже, парень упорно хочет что-то слотнуть и не может. И неистовый хоровод мыслей, недоуменных вопросов, логических доводов, прoderнутый всего лишь сквозь одно единственное мгновение, скипается наконец во мне обжигающей мыслью: «Берегом пошла, стерва».

И сразу, будто кто-то выбивает опору из-под ног, мир начинает видеться зыбким, неустоявшимся. Это как при легком головокружении. «Значит, все совсем по-другому, значит, существуют иные мерил людских поступков, понять которые мне еще не дано, значит, не все на свете загоняется в жесткие рамки моих определений?» Но я не хочу этого, не хочу! А спрашивают ли меня?

А лодка поплясывает себе на сшибающихся лбами гребнях, вроде играет с отчаянным седоком, который,

стараясь уравновесить ее, неуклюже машет веслами в воздухе. Затем гривастая волна возносит углое суденышко высоко над порогом. Оно как бы замирает на мгновение в этом головокружительном взлете, но тут же, встав на ребро, соскальзывает вниз. А сомкнувшаяся над его просмоленным днищем вода продолжает реветь жадно и необузданно. Ей все равно: больше человеком, меньше. У нее свой извечный порядок.

Я не успеваю опомниться, а Димка уже вымахивает саженками в самую стремнину. Густое и властное здесь, как облегченный вздох, течение сносит его, но он рвется и рвется вперед, захватывая под себя расстоянье. На середине Димка начинает нырять, каждый раз появляясь на поверхности все ниже и ниже по течению, пока его не выбрасывает на косу противоположного берега, клином врезанную в фарватер. Видно, как он выкатывается из воды на прибранный галечник и сразу валяется в скрюченной позе, по-детски заложив ладоши меж колен.

Колпаков взглядывает в мою сторону, и впервые молчаливое это приказание не вызывает во мне обычного сопротивления. Сейчас все видится естественным и необходимым.

Лодка с облегченной кормой то и дело выходит из под власти весел. Грести без рулевого с непривычки очень трудно, и все же мне удается причалить почти прямо против распластавшегося у воды Димки. Он вяло плюхается на скамью и всю дорогу молчит, тупо разглядывая желтые ногти босых ног. Ни с того, ни с сего я буркаю:

— У меня есть пара запасная.. Кирзовые.

Димка поднимает на меня блестящие глаза и говорит тихо и просто:

— Спасибо.

Когда мы возвращаемся, Христина стоит, прислонившись к усохшей лиственнице, и смотрит в согбенную колпаковскую спину. В опустевших глазах ее ни слезинки, только злость, упрямая злость кошки. Белыми губами она складывает одну и ту же фразу:

— Не меня, небось, — дите свое берег.. Не меня, небось, — дите свое берег.. Не меня, небось, — дите свое берег..

А Тихон топчется сбоку вокруг них и все покачивает головой, покачивает:

— Ай, грех!.. Ай, грех!.. Ай, грех!..

Меня вдруг охватывает чувство стыда и досады, будто я, прощаясь с кем-то очень нужным для меня, не сказал при этом самого основного, самого главного, а все сказанное было необязательным, но последним.

— Ай, грех! — почти бессмысленно бормочет Тихон. — Ай, грех!

И кто его разберет, кому это адресовано? По-моему, он даже косит краем глаза в мою сторону. Но я-то здесь причем, а?

VII. КОНЕЦ НОЧИ

Димка бредит с короткими просветлениями третьих суток: мстительна таежная вода к стороннему челове-

ку. Наши спальные мешки в тесной двухместной палатке соприкасаются, и я чувствую, как парня трясет мелкой, ознобливой дрожью. Но в его бессвязном, горячем бормотании какая-то жуткая последовательность.

— ...Уйди, не надо... Не хочу... Ей-богу, он сам... Я не хотел... ну, сволочь я, сволочь!.. Судить? За что судить?.. Гражданин начальник! Правильно... Только я не виноват... На, я тебе налью, выпей.. Брезгуешь?..

Мне вдруг становится страшно. С кем он это? Кому, наконец, он это? И почему я вот уже несколько дней не могу отделаться от почти физически ощутимого сознания своей вины? Разве раньше я никогда не видел смертей более диких и нелепых, чем эта? Но дика и нелепа ли она? А что же тогда прекрасно? Может, значительной смерть видится здесь лишь потому, что она оттесняется огромными пространствами и безлюдьем?

Димкина речь становится нестерпимой. Я выбираюсь из палатки и сползаю к костру под самым берегом. Колпаков, по-ребячьи слюнявя карандаш, колдует над истрепанной записной книжкой. Время от времени он выхватывает из остывающего огня уголек пообветренной, прикуривая с него изжеванную до половины сигарку. Цветной карандаш в прокопченных колпаковских пальцах кажется до удивления игрушечным, домашним. На шорох Колпаков вскидывается:

— Как?

— Бредит.

— С весел да в этакую воду. Прoberет.

Я, пожалуй, впервые вижу колпаковское лицо так близко от себя. И сейчас, лишенное обычной жесткой маски, оно удивляет меня выражением грустной усталости и какой-то одной, раз и навсегда избранной им думы. Даже говорит мой начальник против обыкновения тихо и как бы про себя, а главное, без своего обязательного «так сказать».

— Поднять надо парня на ноги во что бы то ни стало. Через три ночевки мы сворачиваем в Пантайку, а по ней — против течения. Не выдюжить нам такого груза. Христина в счет не идет; так, балласт.

Неожиданно для себя я говорю:

— Димку я вытяну, так что рассчитывайте.

Добрая грустинка вспыхивает и гаснет в бесцветных колпаковских глазах:

— Чудак-человек. Пантайки не знаешь. На Пантайке весла на дрова можно изводить. Не нужны. Бурлачить будем. На-ка вот лучше. — Начальник отстегивает от пояса фляжку. — Неси другу, пусть хлебнет. Может, пропарит.

Синие с белым налетом по краям Димкины губы угрюмо шевелятся, складывая ускользящие из-под их власти слова в лихорадочно отрывистые фразы:

— ..Вот набрал льду... Хочешь льду, Мора... Сашок... У нас в Москве сейчас всю газировка идет...

Я кладу руку на его лоб, и он постепенно затихает, а затем широко распахивает навстречу мне высветленные изнутри нездоровым блеском глаза.

— Скрутило меня не ко времени.

— На вот, хлебни. Колпаков дал.

Димка горько и жалобно усмехается. Потные пальцы его вяло обхватывают горлышко фляжки. Мгновение он вроде раздумывает, а затем рука его запрокидывается за спину. По нижней кромке палатки расплывается темное пятно.

Скажи Трифону; мол, выпил. А то обидится, ведь он от души.

Я согласно киваю, и мы замолкаем, умиротворенные чуткой тишиной коснувшейся нас общности. А минуту спустя Димка вдруг начинает говорить горячо, сбивчиво, будто боясь, что я вдруг остановлю его:

— Видишь, как все получается. Вставил мне цыган свечу на всю жизнь. А я ведь, считай, лет на сто свою линию продумал. Еще в лагерях учился на чужом горбу в рай ездить. Что, думал, люди! Мусор! А цыгане так вообще где-то между собакой и человеком для меня были... Подвесил мне Мора камешек на душу, нос — не сносить...

— Бередишь только себя. Все перемелется. Жить надо.

Димка снижает:

— Не ть... не те слова говоришь.

Димка отворачивается от меня, и вскоре тревожные призраки его видений заполняют брезентовую лопушку. А мне уже не до сна. Я опять выбираюсь наружу и, как ожог, ощущаю на себе прикосновение чужого взгляда. Из-под приспущенного полога стоящей напротив палатки сухо поблескивают в мою сторону Христинины глаза. Но они устремлены сквозь меня, туда, где мечется в жару Димка Шилов — непутевый московский парень из амнистированных.

А солнце, опущенное у горизонта почти до пояса в реку, едва заметно уже набирает высоту, пропитываясь по пути зоревыми оттенками. И если, не отрываясь, долго смотреть в самую его сердцевину, может показаться, что оно прозрачно.

VIII. ТАК ОБЖИВАЮТ ЗЕМЛЮ

Я не люблю беременных женщин. Здесь мои убеждения несколько расходятся с общепринятыми. Но Колпакову не до философских домыслов подчиненных. Он слянявит себе карандашик, что-то соображает, что-то прикидывает, и вот уже Христина вместе с частью груза оказывается рядом со мной. Закутанного в распоротый для этой цели спальный мешок Димку переносят на головную лодку. В таком порядке мы и продолжаем путь.

Течение, перебитое где-то мощной боковой струей, заметно густеет, становится медленнее, все шире и шире раздвигая холмистые берега. Грести с каждым километром труднее, а отдыхаю я теперь редко: Христина после двух—трех десятков сажений выдыхается, на пятнистом лице ее выступает испарина, и мне снова и снова выпадает садиться на весла.

Заговаривать с Христиной неловко да и, по правде говоря, не о чем. Всю дорогу она сидит на корме замкнутая и отрешенная, еще ниже обычного надвинув на

глаза серый платок. Странна очень и загадочна для меня эта женщина, поступки которой всегда внезапны и необъяснимы. Сколько ни вглядываюсь я, стараюсь уловить хоть в единой ее черточке сомнение или растерянность, за угрюмой сосредоточенностью мне ничего не удается разглядеть в ней. Христина молчит, молчит зло, вызывающе. Только не по-женски упрямо погрызают ее заострившиеся скулы да мстительно щурятся глаза.

А скорая на руку осень шестьдесят восьмой параллели уже расплескивает по хвойному воинству обоих берегов крутую охру первого увядания. Над окрестными протоками и озерцами отлинявшие гуси муштруют потомство для скорого полета за тридевять земель. Время замыкает свой очередной круговорот.

К стыку Нейничка—Пантайка мы выходим под вечер, но уже после двух часов сна Колпаков будит нас:

— Дома отоспимся. Запаздываем. Спешить надо. Место здесь царское: высоко, сухо, и с подветренной стороны — сопка.

Теперь нас, работающих, трое. Мы с Тихоном валим лес, а Колпаков встает на очистку и корение. Ставить сруб достается опять-таки нам: у начальника дня на два дела впрок. Плотничает Тихон не в пример цыгану медлительно, с ученическим старанием принаравливаясь к лесине. Прежде чем вогнать топор в мякоть дерева, он долго подтесывает засечку и только после этого ударяет не сильно, но расчетливо. На перекурах Тихон молча дымит самокруткой, изредка высказываясь, вроде:

— Самодел что, он куда лучше фабричного... Куда. Или:

— Что-то в грудях у меня хрипит, видать, от консервы.. Не люблю.

Тихонова страсть к потребительским сентенциям раздражает меня. Я пробую позлить его:

— Слушай, Тихон Савельевич, ты не про жратву можешь, а?

Он равнодушно выпускает дым из поклеванных оспой ноздрей и молвит кротко и даже как бы сожалюще:

— Обидеть хочешь? Не под силу, голубок, тебе задача. Да и людское ли это дело, обижать? Смотри,—напарник закатывает рукав гимнастерки, — можно меня шибче обидеть? Германская работа... Аккуратная.

На волосатой его руке чуть пониже локтя явственно проступает цифровая отметина «7736». Я чувствую, как жгуче вспыхивают кончики моих ушей, и стыд берет меня за горло. А Тихон, этак словно между прочим, спохватывается:

— Обкурились мы с тобой, брат. Трифону-то, смотри, как вымахивает... Жилистый человек.

И опять взрывная волна откровения сдувает с души моей серый пепел устоявшихся мыслей, обнажая ее для пристрастного допроса жизни.

«Кто и когда давал тебе право судить этих людей? Разве их собственные судьбы мельче и легче твоей?»

Или, может быть, они обязаны выворачиваться перед тобой наизнанку?»

Я гляжу на рябое лицо напарника, обрызганное льдистыми блестками пота, на его раздувшиеся от напряжения шейные жилы и говорю, будто выдыхаю после глубокого нырка:

— Покури, Тихон Савельич, здесь одному сподручнее.

— А ты что ж?

— Так ведь я не курю.

— Ну-ну... Работай.

Тихон садится, сворачивает «козью ножку», и тут же, как от вспышки его спички, — крик: отрывистый, надрывный, женский.

— А-а-а!

Сердце, словно в затяжном прыжке, обморочно холодеет. Я еще не успеваю опомниться, а Колпаков темной птицей уже пронесится мимо меня туда, к костру. И перед тем, как я кидаюсь за ним, взбудораженное сознание схватывает и прячет в одном из своих тайничков три Тихонова пальца, сведенных в библейскую щепотку.

По дороге я сослепу натываюсь на согбенную колпаковскую спину. И мы замираем с ним шагах в двадцати от костра, рядом с которым над распластанным по оленьей шкуре Димкой сидит, медленно раскачиваясь всем телом из стороны в сторону, Христина. Она не плачет. Она только тупо раскачивается всем телом из стороны в сторону. Колпаков оборачивает ко мне пожухлое лицо и с остервенелым бешенством хрипит сквозь зубы куда-то поверх моего плеча:

— Вот так я тебя, проклятую, и обживаю весь век. Я молчу. По-моему, мне сейчас надо молчать.

IX. К ГУСЬ-ОЗЕРУ

Колпаков, как всегда, в определениях категоричен:

— Пантайки нам тремя лодками не осилить. Двумя — не успеем до заморозков. Да и харчей в обрез: треть потеряли. Из графика мы с вами тоже выскочили по независимости, так сказать, ждать у моря погоды — смысла нет. Исход один: разделить. Кто-то останется с ней, — он кивает в сторону Христины, — у нее дите, ей идти нельзя, а кто-то пойдет со мной к Гусь-озеру, подстрахует меня на всякий случай. Оттуда спустимся с продуктами обратно на душегубке. А тамошние охотники сообщат на базу. Летуны нас снимут, благо здесь и коса для посадки царская. Я вот тут прикинул, думаю, недели за три обернемся... Считаю, Тихону Савельевичу остаться способнее: он постарше. Ясно?

Все молчат: начальству видней. После многоречивой паузы Тихон в упор спрашивает Колпакова:

— Заряды делить будем?

Тот одобрительно ухмыляется:

— Стоящая речь.

И сразу же мне:

— А ты отсыпайся. Пять часов сроку. Я разбужу.

Конус палатки смыкается надо мной, и трепетные сновидения спешат ко мне из самых отдаленных уголков памяти...

Свет, свет, свет... Как удивительно много света! И березы... Березы, солнечно невесомые, праздничные березы... Где-то я уже видел их?.. И дорога, дорога без единого поворота, дорога, будто выстреленная в зенит... По-моему, я ходил по ней... И двухэтажный дом в самом конце дороги, дом белый и колеблющийся, как призрачный... Я бывал в нем, честное слово, бывал! Я узнаю зеленый штакетник вокруг него. Я почти десять лет выстукивал на этом штакетнике свое собственное детство... И голуби! Сколько их! Они плывут над головой тихо и умиротворяюще... Но что такое? Это уже не голуби, а конверты, конверты всякой величины и расцветки. Их много, их очень много... Но ворота раскрываются, и навстречу мне шагает Аркадий Петрович с моими письмами в руках. Я узнаю каждое из них. Вот то, с кляксой в правом углу, я отправлял из Тулы, а вот то, на котором пометка «авиа», написано мной в Ашхабаде. Под ним — я переписывал его дважды — владивостокское послание. Но где же мое последнее письмо? Я не вижу его здесь... Аркадий Петрович все ближе, ближе. Я жду объятий и доброго слова, но вместо приветствия воспитатель по-колпаковски сплю спрашивает меня:

— А Мора, по-твоему, тоже, так сказать, сволочь?

Я силюсь крикнуть ему что-то отчаянное, оправдательное, но слова не слушаются меня. Мне хочется плакать от бессилия и обиды, а слез нет. А воспитатель опять подступает ко мне Колпаковым:

— А Димка, по-твоему, тоже, так сказать, мразь?

Я набираю полную грудь воздуха и кричу, кричу во весь обретший вдруг силу голос:

— Аркадий Петрович, не надо! Заче-е-ем, Аркадий Петрович!..

А реальный Колпаков — пропахший дымом и махоркой Колпаков — уже расталкивает меня:

— С нечистой силой воюешь! Хватит, оставь мзлость на другой раз. Выходить пора.

Покуда я укладываю в мешки выделенный на мою долю груз, начальник инструктирует Тихона.

— Харчей у тебя, сам понимаешь, надо б меньше — некуда. Поэтому раскидывай насчет приварка. Заряды береги. Сейчас рыбы пропасть. Бабу особо не впрягай, сам понимаешь.

— Свои были, знаю.

— Ну, тогда тебе и книги в руки.

— Бог даст.

Перед выходом мы, по обычаю, присаживаемся. Вещая тишина обступает нас со всех сторон. Слышно только, как гудит ветер в косматых вихрах оржавевших листьевница да глухо рокочат вода на близком перекате. Таежное безмолвие подавляет меня. Все видится по сравнению с ним жалким, малозначущим. Страх перед неизвестностью мурашистой сыпью подергивается по коже. Но Колпаков уже на ногах.

— Время.

Мы уходим, не оборачиваясь. Мы идем мимо свеже-насыпанного холма, бережно укрытого хвоей, по земле, отогретой для жизни теплом еще одного безмятного сердца. Мы не оборачиваемся: оборачиваться — плохая примета. И к тому же нам еще далеко, очень далеко идти.

Х. Я ИДУ ДАЛЬШЕ

Не знаю, есть ли в тайге что-нибудь страшнее, чем гнус, — самое, пожалуй, крохотное существо из всех видимых простым глазом. От гнуса не спасают накомарники. Гнусу достаточно еле заметной лазейки, чтобы пробиться сквозь сто одежек и застежек к пахнущей потом коже и вклиниться в одну из ее пор. Гнус гложет нас, гнус пьет из нас кровь, и мы спасаемся от него лишь под благодатной завесой хвойного дыма. Хотя дым — это тоже не сладко. Дым выедает глаза, дым забирается в легкие, вызывая горький, сухой кашель, но гнус все же во сто крат мучительнее.

Дни похожи один на другой, и я давно теряю им счет. Все наши графики на шестые сутки пути летят к черту: у Колпакова начинают отекают ноги. Он говорит: почки. Сапоги ему приходится пропороть до щиколотки, и уже через сутки они расползаются до основания. Тогда мы полосуем спальный мешок, и начальник мастерит себе из двух его половинок нечто вроде пим. Движемся мы теперь короткими, двух—трехчасовыми бросками: большего расстояния Колпаков не осиливает.

А холода гонятся за нами по пятам. От утра к утру ледяные припаи по берегам встречных озер и ручьев все шире и шире; ржавая накипь по зелени приобретает явственную устойчивость, и птички станицы, обгоняя нас, кричат деловито и дружно. И солнце скатывается, наконец, за урочный предел.

Сегодня пробуждение встречает нас белыми мухами. Они кружатся в сером, враз отяжелевшем воздухе, липнут, мгновенно тая, к лицу, осыпаются искристой пылью в матовый ягель. Мы проигрываем смертную гонку: холод наглухо заарканивает нас.

Нам остается глядеть сквозь входную прорезь палатки в эту кутерьму и думать об одном: конец. Но вот горячая колпаковская ладонь стискивает мне пальцы. В его тоне просительная настоятельность.

— Здесь, Витя, ходу дня на три осталось. А со мной мы неделю ухлопаем, и то едва ли толк будет. Я тебе на бумажке набросаю, что к чему. У тебя же, вроде, десятилетка...

Смысл его речи только сейчас доходит до меня. Кровь бросается мне в голову. Я отдергиваю руку.

— Ты что, Алексей Трифонович!

Голос Колпакова наливаясь злостью и железом: — Слушай ты, сверчок с Преображенки, хочешь подохнуть — подыхай, но прежде доберись до Гусь-озера. У тебя на совести три души, меня не в счет. Я к тебе в святцы не записываюсь. Да и, может, отлежусь еще. Вылезай! Вылезай, говорю!

Когда я оказываюсь снаружи, он кидает мне под ноги вещмешок и ружье.

— Бери.

Я смотрю в его водянистые, без единой искры пощады глаза и вдруг с тоскливой ясностью отмечаю, что сейчас я боюсь не за него, а за себя. Боюсь этих немелких трех дней, боюсь одиночества, боюсь жуткого, изнуряющего единоборства с лесом.

А Колпаков тем временем мусолит карандаш, царапая скрюченными пальцами в записной книжке одному ему понятные знаки. Затем он вынимает из-за пазухи перетянутую резинкой пачку документов, приобщает к ней свои записи и бросает всю связку мне.

— В книжке на букву «П» — точный для тебя маршрут. Главное — держись юго-востока: обязательно уткнись в озеро. Остальное знаешь. Твоя задача — привести на Пантайку людей. Схема баз в книжке на букву «Д». Документы сдашь в контору. Там партбилет, паспорт, воинское свидетельство и письма. Писем шесть штук. Пусть отправят или сам отправь. Они все по одному адресу... Все. Иди!

Я не двигаюсь с места.

— Отчаянный ты ребенок, Суханов, — он подтягивает к себе ружье, — коли со мной в кошки-мышки сыграть хочешь. У меня, заруби, рука не дрогнет. Вдвоем нам все равно не дойти.

Я вижу, как мертвенно белеют его губы, а глаза делаются совсем стеклянными. И вот уже два ствола оскаливаются в мою сторону и замирают выжидающе.

— Раз.

Я совершаю полуоборот.

— Два.

Я встаю лицом к чаще.

— Ну!

Я делаю первый шаг. А дула впиваются мне меж лопаток хищным, требовательным оскалом. Я иду дальше, и колпаковский полухрип-полустон напутствует меня:

— Главное — держись юго-востока!

ХІ. ПРОБУЖДЕНИЕ

Тепло. Очень тепло. Наверное, я замерзаю. Говорят, это самая легкая смерть. Мысль о смерти не пугает меня теперь. Не надо двигаться, не надо идти, не надо выть от холода и тосковать по сухарю. Нет, и вправду все очень просто: лежи и ни о чем не думай.

В нос бьет густой и кислый запах лежалой овчины. Но ведь сны не имеют запахов. Значит, все же это — действительность. Нужно проснуться, нужно во что бы то ни стало прийти в себя! Веки будто склеенные. Я раздираю их руками.

Прямо вровень с моим подбородком на грубо сбитом столе чадит плоская, выхватывающая из темноты кусок закопченной бревенчатой стены с лоскутом гостраховского плаката и глыбистого старика в меховой безрукавке поверх вязаного свитера. В старике что-то от мореной коряги, где каждая деталь в отдельности — совершенство, а все, вместе взятое, — представляет собой хаос. Он, кажется, весь состоит из беспорядочно переплетенных жил, морщин, вен. Старик сучит

дратву, перехватив ее за один конец крепкими желтыми зубами. Я приподнимаю на локте.

— Долго я отсыпаюсь?

Он невозмутимо доделывает работу, старательно сматывает дратву вокруг ладони, завязывает, кладет на стол и только теперь отвечает неожиданно свежим тенорком:

— Три дня, как одна копейка.

— Это озерное займище?

— А то как жа?

Тепло. Очень тепло. Я оглядываюсь на поросшее толстым слоем инея окошко, и меня бросает в дрожь. Зачем мне идти туда? Я не хочу повторять этого пути. И потом им все равно не продержаться. Слишком много прошло времени. Не меньше месяца. Да, не меньше. Тайга умеет молчать. Никто никогда не у-знает об этом. Здесь так тепло, так покойно. Я не хочу идти обратно. При одном только воспоминании о пройденном мне хочется кричать благим матом: «Не хочу, не хочу, не хочу!»

Хозяин складывает передо мной еще пахнущие домашним дымом пожитки. Поверх одежды ложится знакомая пачка документов, перетянутая резинкой.

— Самое главное, — говорит старик.

Я эхом вторю ему:

— Самое главное. — И, пугаясь собственных слов, начинаю говорить отрывисто и лихорадочно: — Слушай, отец, на Пантайке люди погибают!.. Два человека... Женщина. Беременная... По мере того, как я выговариваюсь, во мне нарастает решимость и я уже знаю, что пойду, пойду через «не хочу». — Надо идти... Пропадут ведь... И на базу сообщить...

Старик ухмыляется в спутанную бороду.

— На базу брат мой, Ефим Зотов, пошел. И мы с тобой утром двинем. — И после паузы поясняет: — Ты тут на лавке за трое-то суток этакого понаговорил...

Первые фиолетовые блики с востока застают нас в пути. Старик выводит меня к озеру и уступает лыжню:

— Ну, веди по своей книжице. Не собьешься?

— Не собьюсь.

Теперь-то уж я, наверное, знаю, что не собьюсь. Нет, не собьюсь.

XII. АДРЕСА НАШИХ ПИСЕМ

Я тяну дверь на себя. Она не поддается. Ее приходится выдирать из смерзшейся коробки топором. После снеговой ослепительности темь внутри времянки ка-

жется чернильной. Постепенно глаза привыкают к ней, и я вглядываюсь в очертания предметов на нарах. Гора тряпья на нижней полке начинает шевелиться, и до меня добирается бескрылый шепот:

— Люди... Люди...

Я бросаюсь на голос, трясущимися руками шарю по обмерзшим тряпкам и, наконец, нащупываю лицо:

— Христина!

Я чувствую прикосновение к кончикам моих пальцев теплых капелек, спазмы начинают душить меня. Я глажу ее мокрые щеки, ощущаю на своих ладонях прикосновение ее сухих губ, и что-то доселе неведомое мне, огромное заполняет душу. Потом женщина властно притягивает мою, чужую для нее, зато мужскую руку к себе на живот, и новая жизнь отрывисто, по упрямо затевает победную перекличку с грохочущим во мне сердцем. Я плачу. Это больше, чем благодарность, это — прозрение. Я плачу и впервые за короткий век свой не стыжусь собственных слез.

— Сейчас будет тепло, — говорю я, — сейчас будет очень тепло.

Шепот ее еле слышен:

— Под головами... Возьми... Мешок Тихона... Там еще крупа осталась.

— Со мной люди, — успокаиваю я, — у нас все есть... А где...

Она не дает мне договорить:

— Ослаб он очень... Сам ушел... Не вытащить, говорит, тебе меня, как смердить начну.

А с порога заполняет времянку зотовский тенорок:

— Живы?

— Живы, отец.

Зотов сбрасывает на пол охапку щепы:

— Выходит, греться будем.

Он начинает разжигать печку. С холода щепы загорается плохо. Я шарю у себя по всем заначкам в поисках бумаги и натываюсь во внутреннем кармане робы на письмо, написанное, но так и не отправленное мной из Верхнереченска. Я бросаю его старику.

— Этим сподручнее.

Свертывая бумагу в трубку, Зотов осведомляется:

— Смотри, может, нужное что?

Я твердо говорю:

— Нет!

Что ж, это и правда. Ведь письма — не жизнь, их можно переписывать заново.

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ С МОРЯ

Во дворе, на сваленных возле сараев бревнах сидит девушка. У нее светлые волнистые косы, задумчивый взгляд, и в профиль она похожа на французскую киноактрису Симону Синьоре. Из соседнего дома во двор выходит Толька Сучков. Он с любопытством и скрытым волнением смотрит на девушку, но та поднимает синие глаза, и в них — холодная, умная насмешка...

Это я сижу на бревнах. Волосы у меня прямые и короткие, нос бесформенный, глаза серые, широко поставленные, — возле одного уха и возле другого. Когда Толька Сучков выходит во двор, я отворачиваюсь, чтобы он не заметил, как я краснею. А если Толька спрашивает меня о чем-нибудь, я отвечаю ему односложно и быстро и опять отворачиваюсь. Наверное, он считает меня ограниченным и неумным человеком.

Но какое мне дело до того, кем меня считает Толька Сучков? Я очень хорошо знаю, что сам он — воображалка. Даже со взрослыми людьми из нашего дома он разговаривает свысока, насмешливо и снисходительно щури темные глаза. Он не принимает в лапу тех девочек, которые могут зареветь, если в них случайно попадут мячом. Если наши мальчишки о чем-нибудь спорят, всегда получается так, как этого хочет Толька Сучков. Он — как некоронованный король на нашем дворе. Но зато мне известно, что вчера вечером мальчишки решили не разговаривать с Толькой, просто решили объявить ему бойкот.

Я сижу на бревнах и вижу, как во всех этажах пляшут по стеклам солнечные зайчики. Окна открываются, зайчики стремительно прыгают вниз, на землю, и по ним шагает через двор длинноногий Витька Киселев. Даже издали видно, что Витьке жарко в кожаной, коричневой застегнутой на три молнии куртке, но это новая куртка, и ее еще не все видели. «Привет!» — говорит мне Витька, подходя к бревнам. Вид у него сосредоточенный и важный.

— Ты в курсе дела? — спрашивает он. — Вчера мы приняли решение насчет Сучкова. Раз мы живем в одном доме, значит, мы — коллектив, с коллективом нужно считаться. А Сучков считается только с самим собой.

Витька говорит речь не для меня одной. В окне на втором этаже свесила голову моя подруга Тоня Малахова, а за Витькиной спиной возле развешенного белья стоит толстая и сонная девочка — нянька с маленьким ребенком на руках. Витька с треском расстегивает молнию, выдвигает одну ногу вперед и становится похожим на памятник Маяковскому на площади Маяковского. Над его головой ветер кружит стаю легкого тополиного пуха, хотя тополя в нашем дворе не растут.

В нашем дворе не растет даже трава, и, наверное, это из-за того, что двор наш похож на глубокий, узкий колодец.

— Мы хотим знать, — громко говорит Витька, — вы, девочки, поддерживаете нас или нет? Или вы будете как штрейкбрехеры?

Витька спотыкается на последнем слове и смотрит на меня. Он ждет, что я скажу. К бревнам подходит и садится рядом со мной тихая девочка Зоя Пронина и тоже смотрит на меня и ждет, что я отвечу Витьке. И Тоня у себя на подоконнике тоже ждет. И я говорю очень спокойно и ясно:

— Конечно. Конечно, мы вас поддерживаем.

Зоя Пронина кивает головой, а Тоня говорит из окна:

— У него, у Тольки, повышенное самомнение. Лучше начать его воспитывать сейчас, чем потом. Потом будет поздно.

Я очень хорошо знаю, за что меня уважают ребята с нашего двора. Просто я умею рассказывать всякие истории и придумываю для них разные игры. Когда после школы я долго не выхожу гулять, они все собираются в переулке, у нас под окнами, и по очереди зовут меня. Всякий раз за это мне потом попадает от соседей. А Тоню Малахову они уважают совсем за другое. Она — спокойная и справедливая. Она одна очень просто мирит поссорившихся подруг, и ей одной женщины в нашем дворе доверяют своих малышей, когда им самим нужно куда-нибудь уйти.

— Да, — повторяет за Тоней Витька Киселев. — Сучкова надо воспитывать. Пусть он почувствует, что такое сплоченный коллектив.

Витька кивает сразу всем нам:

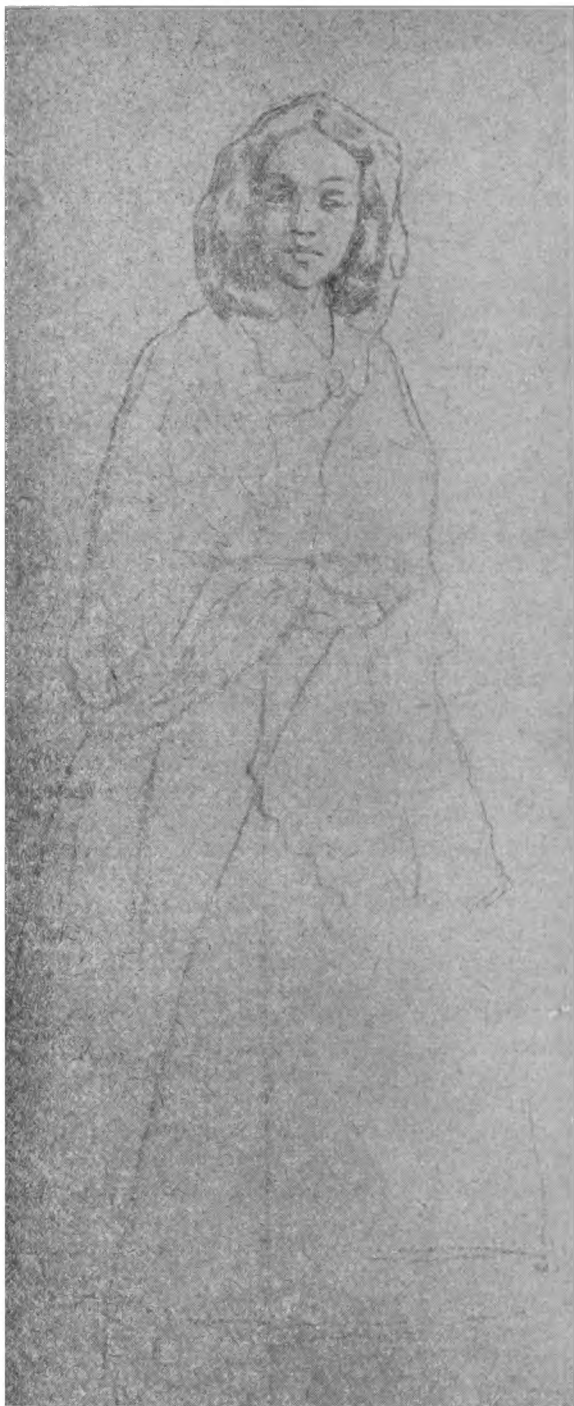
— Значит, договорились. Пока, девочки. Я иду домой.

Я тоже иду домой. Низко, над самыми крышами встала плотная серая туча и как крышкой накрыла двор-колодец. На руки мне упали тяжелые, отвесные капли дождя.

— Тоня! — кричу я. — Не выходи, дождик!

И мы с Зоей бежим за Витькой к воротам. Дождь догоняет нас в переулке, у самого дома, и сразу, в одну минуту платья наши промокают насквозь.

Он льет, этот дождик, весь вечер. В комнате у нас прикрывают окна, и кажется, что за ними на улице собирается говорливая толпа. Это шумит, бормочет, шепчет в переулке дождь. И даже ночью сквозь сон я ясно слышу, как часто-часто шлепают по асфальту чьи-то босые ноги. Я просыпаюсь ночью, слушаю, как звенит на улице дождь, и тихо плачу в подушку. У меня случилось горе. Я еще не знаю, откуда оно пришло, но сердце у меня болит и рвется от тоски...



В. Е. БОРИСОВ-МУСАТОВ. Этуд к картине
„Реквием“, Санг. 1905 г. Русский музей.
№ Р271. Воспроизводится впервые

Рано утром меня посылают в булочную за хлебом. Разбухшая, отяжелевшая от дождя дверь парадного

открывается с трудом. Я распахиваю ее и остаюсь стоять на пороге. Что-то случилось за ночь с нашим городом, с нашим переулком. В нашем переулке, сером от серых домов, серого асфальта, пахнет цветами и еще чем-то. Незнакомый, тонкий и терпкий запах поднимается от непросохшей мостовой. Он ни на что не похож это запах, от него чуть кружится голова, и я вдруг догадываюсь, что это — запах моря. Я никогда не была на море, но все-таки я знаю, что именно так оно пахнет по утрам, когда еще не растаял туман, когда вода еще неяркая, еще не промытая солнцем. Это дождь пришел сюда в город с моря и принес его аромат.

Я стою и вижу, как распахиваются двери домов, выходят на улицу люди. Они сонно жмурятся, вдыхают утренний воздух и вдруг начинают растерянно оглядываться вокруг. Лица у них делаются задумчивыми и ласковыми. Но потом они встряхивают портфелями, как будто отмахиваются от чего-то, быстро идут по тротуару, и выражение их лиц становится другим — равнодушным и усталым. Мне хочется, чтобы они не уходили, чтобы они еще раз как следует вдохнули этот запах. Тогда бы им, как и мне, захотелось пойти по городу куда глаза глядят, заглядывать в чужие окна и петь про себя песню. Но они, хмурясь, проходят мимо меня; они торопятся куда-то в определенное, хорошо известное им место, а я остаюсь возле парадного одна.

Я иду по переулку, заглядываю в чужие окна и пою про себя песню. Потом я сворачиваю в наш двор. Он тоже изменился за ночь. Земля во дворе темная, вся в мелких рябинках от ударов дождя, еле заметны на ней нарисованные мелом «классики». Крыши сараев блестят как новые, а возле стены дома пробилась из земли острая и тонкие стебельки травы. Двор совсем пустой, а на зеленой скамейке возле размокшей кучи песка сидит Толька Сучков. Рукава его белой рубашки закатаны выше локтя, он что-то чертит прутиком на земле, и лицо у него равнодушное и усталое, как у прохожих в переулке.

Я смотрю на Тольку, и так же, как ночью, у меня начинает болеть сердце. Я знаю, что Толька присел на скамейку лишь на минуту. Он сейчас встанет и уйдет со двора и никогда больше не придет сюда. Он, может быть, даже уедет из этого дома, и мы встретимся только через несколько лет, когда окончим школу и будем совсем взрослыми. А может быть, мы никогда больше не встретимся.

Я иду по влажному песку и совсем не думаю о том, какие у меня глаза и волосы, мне совсем не хочется быть похожей на Симону Синьоре, мне ни на кого не хочется быть похожей. Мне только кажется, что это не сама я иду, а кто-то подводит меня к зеленой скамейке, и у меня нет сил остановиться.

Толька поворачивает голову и смотрит на меня. Он смотрит недоверчиво и хмуро, а я не отворачиваюсь и не краснею. Я подхожу к скамейке и говорю ему:

— Пусть они придумали этот бойкот. Мне все равно. Мало ли какие глупости они придумают.

Только усмехается и с презрением кивает головой в ту сторону, где окна Витьки Киселева.

— Они дураки, — говорит он спокойно, — они думают, что очень нужны мне. У меня много дел, у меня еще один экзамен. А потом я уеду на Оку, к бабушке. Может быть, они думают, что у меня, кроме них, нет друзей?

— Ты уезжаешь на Оку? — спрашиваю я.

— Да. Понимаешь, я не очень люблю пионерские лагеря. Там не разрешают плавать. Только влезешь в воду—«Дети, вылезаем!» А я очень люблю плавать. Я Оку переплываю в любом месте. Не веришь?

Конечно, я верю ему. Он говорит правду. Он говорит со мной так, как будто мы с ним старые друзья и ничего не случилось. Мы говорим о простых вещах, и я думаю о том, что, должно быть, я совсем не знала раньше Тольку Сучкова и никто его не знал. Он не гордый, он совсем простой, и глаза у него не темные, а золотистые, светлые, а возле бровей на лбу веснушки.

— А ты куда едешь летом? — спрашивает меня Толька.

Я еще не знаю. Я ничего не знаю о том, что будет со мной летом. А может быть, этим летом будут сплошные чудеса, может быть, такие удивительные вещи произойдут в это лето.

Потом мы сидим просто так и молчим. Толька притиком чертит на земле короткие прямые палочки, они похожи на вереницу восклицательных знаков. Мне кажется, что лицо у него теперь спокойное, даже веселое. Он поднимает голову и о чем-то хочет спросить меня. Но я вдруг оборачиваюсь назад. Как будто кто-то резко окликает меня, хотя во дворе очень тихо. И я вижу,

что позади нас у сараев стоят все наши ребята: Витька Киселев, и его друг Игорь Рюмкин, и Тоня, и Зоя Пронина, и другие мальчишки и девчочки. Они смотрят на меня и молчат. Они молчат, когда Толька поднимается со скамейки, протягивает мне руку и громко говорит:

— Пока!

Он проходит мимо них и свистит на ходу, но они все смотрят не на него, а на меня. Я тоже встаю со скамейки и стою теперь одна и чего-то жду.

— Ты знаешь, кто ты? — тихо спрашивает Витька Киселев. Он стоит совсем близко от меня. — Ты — предатель. С такими, как ты, на фронте не пошли бы в разведку. Ты хуже, чем он, потому что ты предала всех.

Витька смотрит на меня сощуренными, острыми, как бритва, глазами, и я вижу, как хочется ему ударить меня. И все они смотрят на меня одинаково, и добрый Игорь Рюмкин, и Зоя Пронина, которая так любила слушать, как я рассказываю про какую-нибудь книгу. И даже лучшая моя подруга Тоня Малахова, с которой мы уже три года сидим на одной парте и уже давно обдумали всю нашу жизнь, смотрит на меня так, как будто прощается со мной навеки. И мне хочется закрыть ладонью глаза, чтобы не видеть, как они смотрят на меня.

Я иду через двор, осторожно ступая, чтобы не растоптать бледные «классики». Надо мной кружатся прозрачные звездочки тополиного пуха, хотя тополя в нашем дворе не растут. Как крошечные почтовые голуби, они поднимаются вверх, к небу, но небо над нашим двором высокое, высокое, до него им не долететь. Я выхожу со двора в переулок и останавливаюсь за воротами. И снова слышу теперь уже совсем слабый запах далекого моря.

ГОЛУБЫЕ СЛЕЗЫ

— Перево-о-озчик!

«О-о-озчик!» — передразнил Сергея лес с того берега.

Кричать надоело.

Наконец, из домика вышел мужчина и стал смотреть на реку. Сергей позвал громче:

— Перево-о-озчик!!! — и замахал рукой.

Мужчина греб размашисто и медленно, направляя лодку наискось против течения, чтобы не сносило.

Сергей закурил и сел на бревно. Водопелое, потемневшее, оно покрылось ледяной коркой. Корка сразу же подтаяла. Сидеть на мокром было противно, но вставать не хотелось. «Черт с ними, с брюками», — решил Сергей.

Река была сонной, холодной и неприветливой, как уставшая женщина, к которой пристают с любовью: у берегов уже появилась кромка молодого и прозрачного льда; свинцово-темная вода текла медленно и лениво; ни единого рыбьего всплеска; и вдруг — лодка! Назойливые тревожащие покой всплески весел...

На веслах сидел старик. Метрах в трех от берега затабил и стал держать лодку на месте, не проявляя никакого интереса к поднимаемому с бревна Сергею. Потом неожиданно выкрикнул хриплым, простуженным голосом:

— Чего горлопанил?

— Перевези на ту сторону.

— А чего ты забыл там?

— Нужно, дед, очень нужно!.. Хорошо заплачу.

— Иди ты... со своей платой. Я рыбак, а не перевозчик!.. Топаи на казенный перевоз. — Рыбак тронул лодку вверх по течению. — Тут недалече: верст пять с гаком. По бережку, по бережку и дойдешь.

Сергей со злостью забросил за спину рюкзак и зашагал к казенной переправе.

— Эй, ты!

Сергей не обернулся.

— Эй, ты, гордый, стой!

Сергей остановился.

— Чего тебе?!

— Чего, чего! Пока дойдешь до казенного, перевези некому будет. Садись!

Старик был худ и черен. Все лицо в крупных и мелких морщинах. И не только от возраста — рыбак был не так уж стар — от жгучих речных ветров и горячего солнца. Тощая стариковская шея обмотана пестрым городским шарфом, на голове — треух.

— Тарусский сам-то?

— Нет, из Москвы.

— Ну да, дачников тут, что уклеи в Оке.

— Я по делу, — буркнул Сергей. Поежился.

— Здесь все по делу. А кем будешь?

— От газеты... Про инженера Тарновского не слышал?

Старик промолчал.

— Из совхоза «Вознесенский». О нем написать надо. Легко ломая хрустящий ледок, лодка плавно толкнула носом берег.

— Теперь куда же?

— Только что хотел спросить у тебя, как до лесничества добраться.

— Сегодня тебе туда не попасть.

— Попаду!

— Ну и хрен с тобой, попадай!..

Сергея для него больше не существовало. Старик запер лодку на цепь, отнес весла к шестам у дерева и ушел в землянку. Сергей готов был избить вредного старика, но знал, что бей таких хоть до смерти, все равно не поможет.

...Уха была окуневая, с дымком и острой юшкой. Тихон Петрович и Сергей сидели друг против друга на нарах из жердей, на свежем сене. Между ними — самодельный столик.

После ужина Сергей хотел сразу же заснуть, но это было невозможно — старик изголодался по собеседнику. Тихон Петрович изменился: глаза смотрели добрее, угловатость исчезла — весь он стал мягче. Рыбак сейчас напоминал куклу из образцового театра. Тонкая, совсем не загоревшая шея. Слово из большого сморчка сделанная голова. Волосы торчали клоками пакли. Может, зная, какое впечатление производит на людей его внешность, старик и полюбил жизнь на берегу, в одиночестве.

Тихону Петровичу многое хотелось выведать у москвича, но рыбак был мужик с понятием, поэтому, видимо, и повел разговор о близком Сергее деле.

— Значит, про инженера приехал писать? А скажи, чем он себе это выхлопотал?

— Тарновский? Просто очень интересный человек.

— Каждый человек интересный. Только иной, как ожерелок, свою интересность носит — наружу, а другой прячет ее от глаз. Он, что же, тысячник, что ли?

— Не в этом дело.

— Поди, сейчас соловьем заливаются, мол, со всей душевностью сладкую жизнь московскую бросил. Видал я таких. Каждый год около меня отираются. «Да как хорошо тут у вас! Свежий воздух, вода», — словом, климат райский. А харчишки-то московские жрут. А я бы им не давал наш сладкий воздух переводить.

Старик снова заершился, то и дело теребил свою бородавку «из пакли».

— Ведь, скажи, чертовщина получается: родится где-нибудь в Велигоже или Левшине, соку там понаберется и покатит в город, а ты корми его, оглашенного.

Летом дышать свежачком прикатит. Морда, как у сома, брюхо... Придет ко мне, губы распустит и, как барин прежде: «Петрович, рыбки бы свеженькой изловил». Хрен тебе, говорю, а не рыбки!

Старик махнул рукой.

— Леший с ними, только себя расстраивать. Давай чай кипятить. Душицу когда-нибудь заваривал? Сейчас откушаешь. Ступай-ка зачерпни водички на реке — помоложе будешь. А я печурку раздую — тепло и для сна пригодится.

На улице было темно и холодно. Ока ворчала на берега. В ответ сердито шумел лес, поскрипывали деревья. Сергей заторопился к реке...

Душица понравилась. Тихон Петрович был доволен этим и обещал дать пучок с собою. Погасили фонарь и легли. Курили. Старик — папиросы, Сергей — самокрутки. Запах сена перебивала полынь.

— Это от блох, — просто пояснил старик. А потом мечтательно добавил:

— Вот бы траву такую против любых паразитов придумать. Чтоб они сдохли! Ну что ж ты про инженера-то все не расскажешь?

— Сам не даешь.

— Строптивный. Вали, рассказывай.

— Рассказываю я плохо. Больше писать приходится.

— А ты без красноречия. Самую суть.

— А самая суть вот: молодой парень, москвич, кончил авиационный институт. Самолеты хотел строить. Послали трактора ремонтировать. Женился.

— Женился, говоришь?

— Хорошо, по-моему, — Сергей затянулся дымом.

— Да ты вали дальше.

— А что дальше... Мастерские, как на аэродроме, — порядок. Новые машины изобретает, фермы механизировал. Сажает сады. Говорит: «В коммунизм без садов не пустят...»

— А чего ты мне все это говоришь?

— Как — чего? — Сергей пытался в темноте разглядеть лицо старика. — Ты же сам просил.

— Да мы с Юрием Святославовичем — приятели.

Сергей вскочил с нар и больно стукнулся о потолок.

— Чего же ты меня морочил!

— Поосторожней вскакивай! — это тебе не московские хоромы.

Сергей лег и повернулся к стенке. Больше он решил не разговаривать с этим хитройгой.

А тот:

— Серёнь, не сердчай. Я проверял, чтобы ты ненароком чего не набрехал про хорошего человека. Ведь вам сбрехать, что мне стакан водки выпить...

Старик изредка вздыхал и бормotal во сне. Свирепый речной ветер набрасывался на землянку. Землянка скрипела, стонала. Было приятно жутко. Сергею казалось, что на земле сейчас нет ни городов, ни деревень и что только три человека остались на земле: он, спящий старик да где-то совсем недалеко, в лесном домике, Марина.

Он искал ее долго. И вдруг сегодня в Тарусе, в рекламном иконостасе местного фотоателье, увидел ее портрет.

— Эта? — вспоминал ничего не понимающий фотограф. — Эта? Кажется, жена лесничего...

Сергей проснулся и позвал старика. Зажег фонарь. Пятый час. Куда девался рыбак?..

Тихон Петрович пришел минут через десять и принес сковороду с жареной рыбой.

— Утро доброе. А боялся проспять. У большой заботы сон чуток. Снежок выпал. Скоро мне подаваться в деревню. До будущей весны. Рыбак вздохнул. Сергею стало жаль старика. Тихон Петрович почувствовал это и прикрикнул:

— Чего расселся? Сбегай к реке, глаза промой!

Сергей достал коньяк и налил рыбаку в кружку.

— А сам что не пьешь?

— Не хочу.

— Как знаешь. Ну, будем живы!

...Старик шел быстро, Сергей еле поспевал за ним. Скользко. Несколько раз спотыкался и падал, ругаясь. Старик остановился, подождал.

— Теперь сам найдешь. С дороги не сворачивай.

Закурили на прощанье.

— Обратнo пойдешь — загляни. Если охота будет. Перевезу.

— Спасибо. Загляну. Может, не один буду...

Уже уходя, старик посоветовал:

— Стучись в первый дом. Там и живет твоя Марина Георгиевна.

— Постой, — Сергей задержал рыбака. — А откуда ты знаешь, что я к ней?

— Какой потайной нашелся! — старик не глядел на Сергея. — Книжку она мне твою читать давала. Портрет твой у них висит... Я все думал, где это тебя видел. Ночью вспомнил. А стишки твои так себе... Дермальные.

Светало. Хуторок лениво просыпался. Заря подрумянила снег на крышах, столбики дыма, высоко уходящие в морозное небо. Тишина...

В их доме света не было, но Сергей жадно постукал. Потом еще и еще. Жалобно проскрипела внутренняя дверь.

— Кто там?.. Кто там? — чуть громче переспросила Марина и подошла к наружной двери.

— Я.

И снова тишина.

Но вот лихорадочно звякнула задвижка и распахнулась дверь... Сергей шагнул в сени. Нашел ее в темноте руками, прижал к губам.

— Хватит, Сережа, хватит, — упрасивала Марина, ухватилась за какую-то полку, загремела ведром.

— Кто там? — сквозь сон спросил из комнаты мужчина.

Марина молчала.

— Ты здесь? Чего молчишь?.. Кто там стучался?..

— Сергей приехал, — тихо ответила Марина.

Она ушла в свою комнату. Слышно было, как она и ее муж одевались. Хотелось встать и уйти из этого обставленного вещами и вещицами дома. А в его московской квартире по-прежнему стоят стол, три старых стула и тахта.

— Здравствуйте.

Сергей увидел мужчину своего роста, большелобого, очки в тонкой оправе, выгоревшие волосы, худое обветренное лицо. Он был старше Сергея лет на пять, а может, больше: когда очки, не разберешь.

— Тарновский Анатолий Святославович, — и протянул руку, — очень рады, что навестили нас, лесовиков. «Тарновский... Святославович...» — Сергей почувствовал, что и «лесовик» волнуется.

Вошла Марина. Гостеприимная хозяйка. И только. А это красивое платье!

Вспомнились Маринины стоптанные туфли и разные пуговицы на пальто. «Какого черта ты пришел сюда?» — проклинал он себя. Увидел на стене свой портрет — из книжки, легче не стало.

Завтракали. Пили домашнюю наливку и Сергеев коньяк. Тарновский затеял литературный разговор, начал хвалить стихи Сергея.

— Стишки так себе... Дерьмовые, — возразил Сергей.

— То есть как — дерьмовые?

— А вы не знаете, что такое дерьмо?..

— Как ты разыскал нас? — перебила Марина.

«Нас», «мы», «наше», «к нам», «у нас»?! Сергею хотелось ударить кулаком по «их» столу, разбить вдребезги «их» посуду и уйти вон. Но почему-то стало стыдно. Марина улавливала, как и прежде, его мысли, краснела, а его двойник — книжный портрет на стене — глядел грустно и с укоризной.

Сергей нехотя и сдержанно стал рассказывать о командировке, об инженере Тарновском.

Оказалось, что Юрий — младший брат Анатолия Святославовича. Лесник «перетащил» сюда Юрия из другого района, помог «обставиться» и «устроиться», зажить семейно. Они бывают друг у друга в гостях. Сергею искренне понравился Юрий. И жизнь его, и его дом: те же вещицы в комнатах, что и здесь. Такой же «московский» диван-кровать. Но то у Юрия. А для Марины он все представлял иначе, все просто и жестко, как для себя. Но и для себя он еще ничего не сделал. Три стула, стол и тахту ему предложили соседи, когда приобрели дорогой спальный гарнитур. Сергей, торопясь на поезд, оставил им деньги и попросил перенести «лишние» вещи в его комнату — что войдет. А что не войдет — выбросить. Марина тоже была в командировке. Она так и не увидела ни «новой» тахты, ни венских обшарпанных стульев. Когда Сергей вернулся, ему передали ключ от комнаты: там были только вещи. Старые вещи, новые вещи — люди всегда уходят от людей и никогда не уходят от вещей: вещи перепродают или просто выбрасывают.

Сергей еще не выбрасывал вещей. Но вдруг сейчас ему захотелось их ломать и выбрасывать изо всех окон

и дверей и жечь в опромном костре, чтобы небу стало жарко. Вещи, немые истуканы, ластивые рабы! Люди никогда не уходят от вещей!..

— О чем ты молчишь? — Марина смотрела на Сергея нежно и добро. А он видел, как они шли тогда по пустынному Арбату. Под густым, липким снегом. Он лежал белой шапкой на непокрытой Маринкиной голове, белым воротником на плечах, белой муфтой на рукавах, в которых отогревались ее красные, когда-то обмороженные руки. Сергей глядел и почти верил, что все это белое — и шапку, и воротник, и муфту — Марине подарил он и что так будет всегда. Но Марина встряхнулась — и снег осыпался. «О чем ты молчишь?» — спросила она тогда, а Сергей попросил: «Почитай что-нибудь из ненапечатанного». Может, это и совпадение, но сейчас Марина точно так же, как тогда он, попросила:

— Почитай что-нибудь из ненапечатанного.

Эта просьба всегда застигает Сергея врасплох. Сейчас — тем более. В лучших стихах — много личного, «о себе». А зачем он будет говорить «о себе» здесь, Тарновскому да и Марине. Ничего «постороннего» в голову не приходило. Но вдруг он заговорил неожиданно для себя. Не читал и не вспоминал готовое. Просто говорил, глядя поверх голов, и говорить было легко — слова приходилось сдерживать.

Это были стихи о вещах, от которых не уходят люди. О людях, которые живут среди этих безмолвных рабов и постепенно теряют над ними власть и становятся сами рабами и тоже безмолвными. А вещи тогда начинают говорить, нет, диктовать! И люди, надрываясь, таскают их, нежат. Люди прикованы к ним, и нет больше для людей огромной круглой земли, ветра осенней ночи в шалаше, который под утро становится костром — греет руки и кипит чай...

Сергей замолчал: слова иссякли.

— А дальше?

— Дальше я еще не знаю...

— Все равно хорошо! А вы говорили — «дерьмовые», — Анатолий Святославович встал из-за стола. — Мне, Сережа, пора на работу. До обеда.

Тарновский оделся, на прощание молча кивнул им и улынулся по-дружески. В ватнике и кепке он показался Сергею выше и моложе...

...Все трое легли в разных комнатах. Все трое не спали. Всем троим было тяжело. Никто не знал, что будет завтра утром.

В Марининых стихах о счастье Сергей сегодня прочел:

Счастье — просто быть счастливой,

счастье — жить, а не томиться...

Вспомнился старый разговор: кремень — горячий камень. Два кремня нельзя притереть друг к другу. Если их притирать — посыплются искры.

— Посмотри, сколько ты без меня написал, — и радостно, и с горечью сказала вчера Марина. Сергей вспомнил несколько строчек из ее стихотворения о «простом женском счастье». Повторил вслух и выругался.

Марина встала с постели. Сергей прислушался. Марина прошла в комнату Тарновского.

«Женское простое счастье», — повторил еще раз Сергей. Звериная ревность вцепилась в сердце...

Вскоре он снова услышал шаги. Марина подошла к двери и тихо спросила: — Ты спишь?

Сергей не ответил.

С рассветом он встал, оделся при фонаре и ушел.

Шел Сергей к Тихону Петровичу. Шел медленно, с трудом привыкая к темноте. И опять ему казалось, что на земле нет ни городов, ни деревень, а есть только молчаливая темнота да два человека: он и старик, поджидающий его в своей землянке.

...Когда совсем рассвело, Сергей уже не сомневался, что заблудился. Давно бы должен выйти к Оке, а кругом все лес да лес и множество разных дорог. По какой идти? Выбрал, какая пошире, и пошел. Слева от себя Сергей услышал свист. Свернул и пошел чащей. Под ногами поскрипывал снежок. Дятел долбил звонкое дерево, кричала сойка. На одной маленькой полянке Сергей увидел много темных пятен. Подошел к ним. Грибы. Их забыли собрать, и теперь они торчали из-под снега, черные, сморщенные, никому не нужные.

«Так иногда и с людьми бывает, — подумалось Сергею, — заметят тогда, когда они уже никому не нужны. Может, и она этого боялась».

В смолистой свежести леса Сергей почувствовал запах дыма. Запах становился слышнее и слышнее. Вот и большущие костры. Трещали сухие сучья и хвоя, гудело пламя, разбрасывая мириады искр. Костры вели бабы в прожженных телогрейках и брезентовых рукавицах. Все они были похожи друг на друга: с низко повязанными платками, с маковыми носами и щеками.

Бабы обступили Сергея и стали наперебой рассказывать, как пройти к землянке: до нее не больше двух километров.

Неподалеку от костров валили деревья. Они рушились на землю с глухим непокорным стоном.

— И не жалко вам леса, — укорил Сергей баб.

— А чего жалеть-то? — недоумевали бабы. — Наш он, что ли?

Сергей вздохнул и пошел от них, даже не попрощавшись.

А вслед ему:

— Эй! Бедолага сердобольный, иди, на снежку поваляемся!



В. Е. БОРИСОВ-МУСАТОВ. Этюд к картине „Реквием“. Карандаш. 1905 г. Русский музей. Отдел рисунков № Р276. Воспроизводится впервые

Кругом пни, пни — желтые на срезах; лежали обработанные деревья. Это уже не деревья, а бревна. А недалеко от Сергея стояло несколько еще не спиленных стройностволых елей. Они смотрели на солнце, и по их коре текли голубые слезы...

На бугре Сергей остановился, чтобы сверху насмотреться на Оку, на берега с лесами, кое-где сохранившимися позолоту. Из Тарусы плыл катер. На катере почти никого не было. Осень загнала людей в города.

От старика надо заехать в Тарусу, позвонить Юрию Тарновскому, попрощаться с ним, кое-что уточнить и — в Москву. Хватит.

«Летом приеду сюда, буду ловить со стариком рыбу, собирать душицу», — решил Сергей и представил, сколько тут летом разных цветов.

— Цветы. Цветы... Цветы, — Сергей задумался. — Мне некому дарить цветы...

Мне некому дарить цветы,
пионов пышные зонты.
Мне ставить некому в вину
все то, что ставится в заслугу:
вчера я женщину вернул
ее... (какому-то) супругу.

Какому супругу? Эпитет так и не нашел. Достал блокнот, записал и пошел к реке. Река показалась Сергею сегодня еще шире, а течение быстрее. Он шел к землянке по тропинке у самой воды и чувствовал ее леденящую свежесть. Солнце уже не согревало Оку, его тепла не хватало даже на то, чтобы растопить

снег, засыпавший ледяные кромки в заводях. И река сама слизывала снег волнами. Лодки старика у берега не было. «Поплыл рыбачить», — подумал Сергей. Придется подождать. Захотелось полежать на нарах. Сергей почувствовал даже полынный запах и заторопился вверх по тропинке...

Он долго стоял перед забитой досками дверью, потом забросил рюкзак на плечо и пошел на казенную переправу.

Таруса.
1961 г.

ПУБЛИКАЦИИ

Е. Сахарова

НАРОДНЫЙ ТЕАТР И СЕМЬЯ В. Д. ПОЛЕНОВА

Воспоминания дочери художника

Отец всегда горячо любил театр. Известна его культурно-просветительная работа в Москве, памятником которой был «Театральный дом им. Поленова» на Медынке (теперь переименованный в дом им. Крупской). И здесь, в деревне, у него были собраны костюмы и декорации. При постройке страховской школы зрительный зал входил в план. Между классами сделали раздвижную перегородку, а столяру Большого театра заказали разборную сцену. Отец как будто предвидел, как все это будет нужно в первые годы революции, когда за отсутствием материала и дороговизной рабочих рук ничего нельзя будет строить.

В то время как мы, замороженные и заметенные снегами, караулили свой дом и музей, освобожденная деревня в 1918 году пополнилась вернувшейся молодежью. Конец ненавистой войне, свобода, сознание своего права на жизнь, самую яркую, заманчивую, полную веселья, пьянило молодежь. Она переживала эти первые годы в радостном подъеме. Хотелось показать себя во весь рост и в политике, и в общественности, и хотя бы на подмостках сцены. Вся Россия ставила и играла. Волна театра ворвалась к нам, захватила и соединила нас с деревней. Это случилось очень просто.

Однажды в передней я натолкнулась на двух невзрачных молодых людей, которые спрашивали отца. Василий Дмитриевич в это время уже плохо слышал, и с ним говорили через посредника. Я спросила, в чем дело. Они хотят ставить пьесу и приехали за костюмами и советами.

Отец сидит у самовара, углубившись в газету. Я кричу ему в ухо про молодых людей. Он подымает свою белую голову, снимает очки и, приветствуя привычным жестом поднятия руки, громко говорит:

— А, молодежь, отлично! Все, что нужно, берите! Он предоставляет мне вести переговоры. Молодые люди из деревни Кошкино. Они все маленькие, как-то хрипят и ничем особенно не блещут. Но мы рады этому началу живых отношений с деревней и работаем усердно.

Репетиции идут в школе Страхова. Обновляется разборная сцена и зрительный зал. Все идет мирно. Вдруг перед самой масленицей мы узнаем, что страховцы намерены сорвать спектакль, поставив сами «Царя Максимилиана» из римской жизни, как есть, в курточках, чтобы у нас не одолжаться. Намерены сыграть гораздо лучше кошкинских, а по вечерам в темноте поджидают их, чтобы поколотить.

Мы с кошкинскими даем генеральную репетицию. На ней, видимо, присутствуют наши противники и при виде красивых костюмов и праздничного вида спектакля решают действовать иначе.

На другой день я принимаю делегацию из трех подростков, глядящих волками. Они скользят на паркете и молчат. Я предлагаю им сесть. Они опускаются сразу, как подкошенные, и опять молчат. Я уже знаю, что пьеса их сочинена сыном лесного сторожа, Антоном Бобровым.

- Ну, что же вы ставите?
- Из римской жизни.
- Какую пьесу?
- «Царя Максимилиана».
- Какие костюмы вам нужны?
- Нарядить по красивее.
- Принесите пьесу.
- Пьеса в листках по рукам роздана.

Я разглядываю делегатов. Старшему, пожалуй, лет шестнадцать. Это какой-то красавец — цыган с белыми зубами.

«Царь Максимилиан»? Причем тут римская жизнь? Они хотят нарядиться, блеснуть, затмить Кошино.

Веду их в костюмерную. Делегаты осмелели.

— Дайте побольше красного и побольше ножичков.

Даю им турецкие и сербские костюмы и старинное оружие. Глаза горят. Все связывается в огромные узлы, которые они едва тащат, но ни на один день не хотят оставить, чтобы приехать на лошади.

Через несколько дней приходит сам Антон Бобров — организатор «Царя Максимилиана». Это маленький человечек с острем умным лицом и звенящим голосом. Он говорит много, захлебываясь.

— Пятнадцати лет на фабрике играл пажа в «Царе Максимилиане». Все запомнил наизусть, кое-что подочинил и написал пьесу.

Он зовет нас на генеральную репетицию.

Отец живо интересуется всем происходящим. Нервно покашливая, он провожает нас на крыльцо. Мы едем втроем. Все сестры. Я предлагаю грим.

— Не надо, и так хорошо.

Только Антон требует себе маленькую бородку. Быстро начинается спектакль. Занавес открывается внезапным рычком, и перед нами в сильном ракурсе десять мужских спин. В середине лицом к публике стоит Антон в восточном плаще, в короне, с бородкой, как у фараона. Он сделал знак, и хор грянул разбойничью песню:

Все тучки принависли, что в поле за туман?

Что голову повесил наш грозный атаман!..

Антон-запевала — звонкий тенор. Басы с бородами из черной овчины гудят и наводят страх.

Занавес неожиданно с сильным ударом падает и тотчас подымается. Антон сидит на троне. Два пажа-турка стоят задом и рапортуют. Развертывается странный, но яркий лубок.

Спокойные, быстрые казни: раз, два и упал. Бас с черной бородой — дядя Костя Овчинников — мрачно гудит односложные реплики. Красавец цыганского типа Егор Семенов одет сербским воином, а на голове самодельная золотая каска с белым конским хвостом.

Действие развертывается с лихорадочной быстротой. Вот на сцене дряхлый старикашка в сером кафтане, в седом парике. Хитренький, юродствующий, морит со смеху зрителей. А сам про себя мудро знает: «Смейтесь, мол, смейтесь!»

Занавес снова обрушивается. Теперь хор в глубине сцены повернут лицом, а впереди в скандинавском шлеме с бляхами стройный и легонький плясун. Антон лихо играет на гармошке, хор поет, а стройная фигурка скользит, летает, крадется зверем, трагически останавливается и рассыпается удалю. Опять занавес. Та же фигурка плясуна в шлеме. Выражение трагическое.

— Я, Аника-воин, обошел землю, был и в аде, и там мне черти не рады!

Входит смерть в черном с турецкой саблей, молча рубит ему руки и ноги. Он падает.

Так же просто казнят непокорного сына Адольфа, говорящего грустным и нежным голосом. Антон — сухой деспот в примитиве. После каждой фразы он оглушительно топает и дает всему действию фон какой-то пушечной пальбы. Юноша, который без грима изображал старика, плясуна и Анику-воина, оказался его братом Гришей. Кончилось так же неожиданно, как и началось.

Мы в восторге. Под грохот аплодисментов, падающих лавок и галдящей публики идем на сцену.

— Молодцы! Здорово! Работайте, ставьте еще!

Мы пожимаем друг другу руки. Их много, нас только трое, наших рук не хватает.

Спускаемся с горы. Застоявшаяся лошадь дергает в темноту. Сзади долго еще звенят песни и гармошка. А среди сосен темного бора мерещатся яркие, эпические фигуры.

Дома кончают ужинать. Отец сидит около керосиновой лампы, запивая свою порцию кормовой свежлой чаем из веточек черной смородины. Он читает книгу и не сразу нас замечает. Мы окружаем его и восторженно наперебой кричим о Страхове. Конечно, все это ему немного чуждо, но он заражен нашим увлечением, и в тишине спящего дома долго слышно, как он ходит взад и вперед по своей мастерской, громко говорит и трубит какие-то веселые марши.

Вся масленица полна театральной горячки. Но наступает пост. Сцена разбирается, и жизнь входит в обычную колею. Сидим дома. Вдруг на дворе шум и лай собак. Смотрим: весь «Царь Максимилиан» налицо. Везут костюмы и декорации. Хотят нас видеть. Я зову в библиотеку к большому дубовому столу.

Они еще не успели сесть, как выбирают меня председателем, а те, которые относят декорации в мастерскую, встретив отца на дворе, выбирают его. В шапке с ушами он совсем ничего не слышит и приветливо отвечает своей обычной поговоркой: «Отлично, отлично!»

Я недоумеваю: «Зачем же двух председателей сразу, лучше выберем одного Антона Егоровича». Быстро выбираем и сговариваемся о будущей работе.

Антон Егорович вытряхивает из узла стопку томиков Мольера.

— Сел и все прочитал: не мог оторваться. Выбрал «Скапена» и «Вынужденный брак».

Но Мольер сразу трудноват. Мы берем легкую комедию С. И. Мамонтова «Черный тюрбан». Сначала и это трудно. Гриша говорит: «В горле шерпить» — вместо «першит». Дядя Костя Овчинников рывкает: «Довольны ли вы? сары?» — не «сары», а «сыты», «т» написано... Надо сильно обламывать их.

Наступает весенняя распутица, но увлечение растет, и мы через полую воду по сомнительным мосткам пробираемся друг к другу. Наше увлечение ими и театром так же молодо и сильно, нас одинаково влечет друг к другу. Мерещится какой-то новый гениальный театр освобожденной России с земляными силами прямо из леса, от сохи, от родной глины.

Отец всю жизнь мечтал о культурном строительстве в больших масштабах и сам строил по мере сил. Он вкладывал весь свой заработок в постройку театрального дома в Москве на Медынке. Этого было мало, к делу привлекались крупные меценаты, как Морозов и др., но конкретные результаты не соответствовали широте замыслов. Теперь он воодушевлен мыслью создать Народный дом среди леса, в окружении природной окрестности, для крестьянской молодежи. Он садится за разработку проекта.

Пасхальная неделя вся в спектаклях. Мы гастролируем в Тарусе. Наступает весна. Но дома тревожно. Ходит слух, что вооруженные люди громят усадьбы.

Мы идем в бор, чтобы обдумать положение. Встречаем Антона. «Оставьте костюмы у себя, иначе они погибнут!» — «Почему?» Мы объясняем. Антон бледнеет и молча идет к деревне. Гриша выводит лошадь из леса и верхом устремляется туда же.

В недоуменье мы идем домой. На горе в молодых сосенках слышим странный гул. Оглядываемся и видим, что весь заливной луг чернеет бегущими людьми.

Гриша промчался верхом по деревне, во все горло крича:

— Поленовых громят! Спасайте Поленовых!..

Все Страхово бросилось спасать. Впереди бледные и героические неслись наши артисты. Мы в ужасе. Эти

искаженные лица, винтовки... Родители насмерть перепугаются.

А если вооруженные люди действительно приехали, будет бой. А мы зачинщики бунта!.. С величайшим трудом уговариваем их вернуться. Активисты идут в Бехово, где на общем собрании обсуждается этот вопрос. Ребята сядут в кустах и временами от скуки стреляют в грачей.

Отец, к счастью, ничего не слышит. А мать сердится на нас, и мы отправляемся к страховскому комиссару извиниться за переполох и благодарить от лица родителей. Ведь бежали бородатые мужчины и степенные женщины. К нашему счастью, все обошлось благополучно.

* *

После пасхи начинается учење. Сцену разбирают до летних каникул. Мы с Антоном Егоровичем едем в Москву за материалом.

Отец все так же доброжелателен к нашему делу. Он даже присутствует на одной из дневных репетиций для детей, садится впереди вполоборота к сцене и оглядывает зрительный зал. Когда в публике раздаются возгласы: «Гляньте, ребята, Минька-то наш чудной какой!» и пр., он улыбается светлой улыбкой. Ему нравятся оживленные лица ребят: «Какие выражения! Какие глаза! Прекрасный материал!» Ему самому хочется поставить спектакль с детьми.

В Москве мы с Антоном Егоровичем прочитали «Бориса Годунова» и дерзко задумали его поставить. Задумать было легко, но работа оказалась огромная. А главное, мы в это лето впервые точно узнали, что значит «кто не работает — тот не ест!» Надо было обеспечить себя на всю зиму хлебом, овощами и кормом для скотины.

Наши «артисты» частенно стали ездить на юг за хлебом и пропускать репетиции. А мы, неопытные, не раз изнемогали под тяжестью непривычных полевых работ.

Но огонь театрального увлечения горел. Мы работали праздниками, ночами, в дождливые дни. Тогда прибегали наши лесные друзья и вместе с нами принимались за костюмы. Своими неуклюжими руками они нашивали жемчуг на царские бармы и красили узоры по моим трафаретам.

Среди артистов нашлись портные, которые из нашей материи выработывали покроя кафтанов и боярских халатов. Старый монастырский портной научил нас делать клобуки. Отец принимал живое участие в этой работе. С исторической точностью по уверкам он сделал шапку Мономаха, царский посох и пр. реквизит. Бронзовые порошки обращали холст в парчу, простые материалы — в драгоценность.

Наша сцена слишком мала. Размер декорации 4 на 6 аршин. А хотелось дать весь Кремль. Порадовать ярким зрелищем древнерусского города.

У нас хватило холста и красок только на 4 декорации. Отец пишет «Фонтан» и «Корчму», а я беру с за Кремль с птичьего полета, яркий, лубочный, с гравюры XVII века, и за «Терем».

В середине июня перед самым покосом мы узнаем, что в Москве идет «Борис Годунов» с Шалапиным. Умоляем отца написать ему, чтобы он устроил четыре места для самых главных.

— Отлично, мама напишет, а я перепису...

Мать пишет письмо на четырех страницах, но мне оно кажется бездушным. Я пишу на пяти про Гришу, про наши таланты... Очень красноречиво... Отец слушает.

— Превосходно, отлично!.. Немного длинно, он не будет читать.

Он берет бумагу, карандаш и рисует своим четким почерком: «Дорогой Федор Иванович, моей молодежи хочется посмотреть Вас в «Борисе». Если можно, оставьте 4 билета».

— Вот эдак лучше, короче...

Нас ждет разочарование. Кроме Гриши, никто не соглашается ехать. Когда мы приходим звать будущего Пимена, он возит навоз. Жена смеясь говорит: «Он вам весь театр навозом провоняет». Мы уговариваем: «Ведь только два дня потеряет». «В хозяйстве один день год кормит...» Огорченные неудачей мы идем домой и решаем: «Поедем сами с одним Гришей».

До Серпухова тридцать верст пешком. Натерли ноги, но ничто нас не расхолаживает. Спектакль днем в Эрмитаже. Мы забралась очень рано и в саду увидели быстро идущего Шалапина в коричневом костюме и серой шляпе. Гриша очень удивлен: «Такой же человек!»

Спектакль, который, несмотря на пробывавшийся дневной свет, был потрясающий, поразил Гришу, но он не знал, что лучше, Шалапин или освещенный дом в сцене у фонтана. Он как-то съезжился и притих.

Вернувшись домой, мы попали в покосную страду. А в Страхово появилась холера. Работа заглохла. Отдыхая на копне, мы горюем. «Вдруг все это не состоится. Перемерем от холеры или еще что-нибудь случится...»

Иногда приходит Антон Егорович:

— Ничего, пустяки, обойдется. С голодухи зеленого хлеба наелись. Все сделаем, поставим!

Возобновляются репетиции, но часто то нет того, то другого. Ушел в лес за орехами или ест зеленые яблоки в барском саду. Является с винтовкой: «Сад сторожил».

Гриша играет Бориса. Ему, конечно, трудно. Он мал, слаб, юн. Ему хочется разгуляться в пляске под разбойничью песню. Он по-детски дуется или, купаясь, орет на все Страхово: «Достиг я высшей власти!» и брызгает водой в глазающих ребят.

Когда, наконец, нам удается осветить лампой свою постановку и сделать репетиция в костюмах, мы сами поражены. Перед нами ожившая древность. Все нереально. Дьяк с собором одного роста. Кремль весь, как на ладони, но так цельно и ярко, что артисты громко аплодируют своей постановке.

Отец, хоть и против такой условности, но все же говорит: «Недурно... Талантливо!» Ему не нравится, что узоры на костюмах слишком крупны. «Плакатно!» А нам и нашей публике это нужно. Это доходит в такой яркой преувеличенной форме.

На спектакле «Бориса Годунова» во время действия и в антрактах удивительная тишина. Даже на смешное не смеются, чтобы не пропустить слова. Артисты убиты: «Успеха не имеем!.. Кошкинским как аплодировали, даже окно разбили». «Да, и свистели и кричали петухом! Кошкинские изображали пьяных. Этого в жизни довольно. В театре надо показывать красивое, чтобы долго помнилось».

Артисты не убеждаются моими словами. Но время показало, что целое поколение молодежи наизусть знает Бориса Годунова, а старики вспоминают и говорят: «Было на что поглядеть».

* *

Закончив «Бориса», мы облегченно вздохнули. Оказалось, что мы трое тянули изо всех сил и боялись не дотянуть и сорваться. Несомненно, это была переоценка, увлечение. Им стало трудно и скучно. Бурлящая молодость рвалась в другую сторону. «Ваши-то каторжники на тарусской дороге в лесу с винтовками лежат, картошку у баб обирают». Это Гриша и Егоршка Семенов. «Гриша, стыдно, что у вас своя не

родилась!?» — «Нет, так, надо их поугаты».

Вскоре вся молодежь приходит с нами прощаться. Они уходят в продотряд. Им нужен бубен. Гриша опять нашел себя. В отряде под гармошку с бубном он развернется в удалой русской пляске.

Мы провожаем их через сад. Набиваем карманы спелыми антоновскими яблоками. Позвякивая бубном, они скрываются в бору.

Гриша и Егорушка без вести пропали на фронте гражданской войны. Остальные вернулись в Страхово только через пять лет.

* * *

После «Бориса Годунова» мы получили бумагу с предписанием выехать или в семидневный срок построить себе избу в деревне, если беховцы согласятся нас приписать к общине.

Беховцы тотчас же приписали. А комиссар вместе с Антоном Егоровичем и представителем Кошкина послал в Алексин, чтобы закрепить нас при музее. Мне предложили вести театральную работу на весь уезд, но на такое большое дело не было материала. Решили использовать наши силы на месте. Музей взят под охрану Отделом народного образования. В Страхове открыли детский сад и клуб для подростков. При клубе — столярную и слесарную мастерские. Организовать я вести все это взялась наша мать.

Мы все сделались служащими. Отцу предлагали стать во главе художественной студии или театрально-прокатного пункта. Но он ответил: «Нет, я стар и глух... Мне трудно общение с людьми... Я не организатор и не администратор, я индивидуальный работник, — обращаюсь ко мне: — Ты заведуй пунктом, — и с улыбкой: — а я буду у тебя служить художником-декоратором». Так и сделали. Я стала заведующей театрально-прокатным пунктом, отец — декоратор. Сестры вели в страховском клубе рисование и ритмику, брат заведовал музеем.

Брат не работал с нами по театру. Он запрыгнул в земляную работу, упорно боролся с засухой 20-го и 21-го годов, с каменистой неудобренной пашней. На свои плечи он взял всю тяжесть прокормления нашей большой семьи.

Отец никогда не падал духом в плохие минуты. Кутаясь в свой меховой пиджак, он вылавливал кусочки конины из жидких щей и, ободряя мать, говорил: «Превосходно, напоминает дичь»; чай из веточек черной смородины напоминал ему весну.

Работа с деревней, начатая с таким подъемом, к концу лета стала трудна не только нам, но и нашим «артистам».

Солидный басистый дядя Костя Овчинников, уходя на репетицию, мялся, брал топор и говорил: «В ригу иду, порубить кое-чего...» И под крики жены и матери: «Воротись, сукин сын!» — убегал к нам.

С отъездом молодежи в отряд все затихло и зажило своей повседневной жизнью. Наша работа развернулась с подростками и перекинулась в город Тарусу.

* * *

Глухая осень с непролазной грязью уединяет и сосредоточивает на индивидуальной работе. Мы забились в свои углы и сели на переработку накопленного материала.

Через трюм, соединявший мой рабочий уголок с мастерской отца, слышались его быстрые шаги в больших валенках и доносились отрывки суждений и планов на будущее. Он поедет за границу, сделает копии с лучших образцов западной живописи. При Народном

доме, который он проектирует, должна быть галерея первоклассной живописи.

Выпал неглубокий первый снег. Однажды в окно я увидела две незнакомые фигуры, которые пробирались от Тарусы. Гимназист Самуил Турецкий (из эвакуированной Шавельской гимназии) и тарусская девушка Рита Гумилевская. Они что-то затевают и просят костюмов.

Через несколько дней мы принимаем целую депутацию гимназистов во главе с художником Сахаровым, который видел наши страховские постановки. Дело идет не о костюмированном вечере, они тоже будут ставить «Бориса Годунова».

Увлекаясь деревней, мы немного презираем провинциальную интеллигенцию и неохотно соглашаемся им помогать. Нам кажется неповторимой та наивная цельность, которая так пленяла в одаренных страховцах.

За неделю до рождения опять являються тарусяне и просят нас режиссировать. Спектакль будет через пять дней.

— Как, в пять дней поставить «Бориса Годунова»?! Мы целое лето работали и то многого недоделали!.. Тарусяне настаивают, и мы снова втроем едем на репетицию.

Разбирая корзину с костюмами, я слышу на сцене монолог Пимена. Из-за стены мне мерещится какой-то лесковский вещей старец — судья Бориса. Заглядываю в дверь — на сцене сидит невзрачный юноша лет 17, лицо с кулачок, гимназист Боголюбов. Бориса будет играть Сахаров. Он только что вернулся из командировки, совершенно не знает роли и путается. Но по голосу и жестам видно, что это материал богаче нашего недоросшего Гриши.

«Борис Годунов» в пять дней дает себя знать. Сестра Оля с раннего утра отправляется в Тарусу на лыжах, возвращается в сумерки, мы жадно ловим ее рассказы. Они собираются у Сахарова в маленьком домике в три окошка. Старушка-мать достает из печки горячие лепешки, ставит самовар, а в сумерки неизменно зажигает перед божницей красную лампаду. Тихий островок старого быта среди стремнины общего движения.

Тарусяне все крупнее страховцев и выше на поголовы. Приходится увеличивать костюмы. Они лучше сидят, да и вся постановка вырастает. Подъем не меньше страховского.

Спектакль проходит с захватывающим успехом. Зрительный зал — бывший трактир — набит публикой. Комиссары в первом ряду смотрят внимательно и серьезно, красноармейцы затаили дыхание, в зале плачут.

Голод сделал большой сдвиг к земле. Провинция полна культурными людьми. Они видели вершины театрального искусства, и не нам их удивлять. Но все глупо тронуты спектаклем.

Общий колорит его — какая-то дымка старого злата, среди нее три центральные фигуры. Борис в черном кафтане с серебром и красными отворотами, белая Ксения — сестра Наташа, и пламенный мальчик Игорь Доронин в красном кафтанчике — царевич Федор.

В этих трех фигурах полная сыгранность. Они окрашивают собою весь спектакль. Остальное несовершенно отлетает и забывается.

Конечно, это не постановка «Бориса Годунова», а несколько основных картин драмы. Крупица настоящего искусства, но по качеству первоклассная. Публика бурно приветствует нас. Требуется повторения спектакля.

Мы возвращаемся домой, полные радостного чувства. Большое театральное искусство одним крылом опустилось к нам и озарило нашу жизнь.

На втором спектакле «Бориса» присутствует наша мать. Она очень довольна, и вечером слышен громкий разговор в мастерской отца: «Это не дилетанство, серь-

езное художественное впечатление. Превосходный грим. Талантливая игра». — «Отлично, молодцы, отлично!» — говорит отец. Но он не любит Пушкина и, в частности, «Бориса Годунова».

Наедине он отрывисто поругивает его. «Выдуманно, риторика. Ни одной поднимающей фигуры». Я прислушиваюсь и понимаю, чего он хочет: спектакль должен подымать настроение, побуждать к действию, к движению вперед... Это верно. Но нам досадно, что он не проникнут Пушкиным, как мы. И мы решаем действовать и работать по-своему.

Вновь мы живем в полосе творческого подъема. После Пушкина — все слабо и ничтожно. Мы обращаемся к Шекспиру. Наташа хочет во что бы то ни стало поставить «Отелло». Она будет Дездемона, Сахаров — Отелло, Боголюбов — Яго. Фон — красный суточный занавес из нашей библиотеки. Замысел обрабатывается в страсть.

Приходят тарусяне, и мы обрушиваемся на них с Шекспиром. Читаем вслух «Отелло». Настроение праздничное. За обедом ели жирную свиную шею, пили кофе с медом. С голоду все это бросилось в голову и опьянило. В самых неожиданных местах начинается хохот. Тарусяне ничего не воспринимают. Мы в ярости.

Костюмы уже задуманы и наполовину сделаны. Наташа выучила роль Дездемоны. Вечером мы горько жалуемся друг другу: «Видно, в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Тарусяне нам представляются грубыми тяжеловозами.

Опять наше желание сильнее их, и нам придется тащить и раскачивать их.

Отец не любит Шекспира и особенно не любит «Отелло». К нашему огорчению, мы слышим, как он, расхаживая взад и вперед по мастерской, громко говорит: «Эдакий вздор. Убийство из-за носового платка. Черт знает что такое!» Он не сочувствует нам, считая постановку аморальной.

Сестры едут в Тарусу и живут в холодной пустой даче сестры нашей матери пианистки В. В. Вульф. Я остаюсь дорабатывать костюмы. Еду примерять их и застаю там полный развал. Комки с цирковыми ужимками душат Дездемону. Никто не знает ролей и ничего не понимает. Чтобы согреться, пьют морковку, жарят лепешки. Рассказывают о своих поездках за хлебом.

Наташа понору сидит в кухне около дымящей плиты. Сахаров бросает на пол связку заледенелых поленьев. «Ужасно, когда горишь среди льда». — «Оттаем, Наталья Васильевна. Мы толстые, сырые поленья, медленно загораемся, но загоримся!» Оля тоже подавлена. Режиссерское творчество бьет фонтаном и ударяется о стену. «Надо бросить эту постановку».

Идем репетировать в театр. За кулисами шумно и сумбурно, но вот на фоне красной драпировки появляется белая фигура Дездемоны. Она начинает говорить... Понемногу все затихает, расхлябанность исчезает, и снова воцаряется обаяние красоты и искусства.

«Отелло», как и «Борис Годунов», строится на трех центральных фигурах. Светлая Дездемона в джиокондовском платье цвета слоновой кости, в старом серебре украшений, голова и волосы венецианки с картины Тициана. Белый с золотом гибкий и стройный Отелло — выразительные тяжелые руки в массивных рукавах. Между этими двумя светлыми фигурами совершенно черный Яго.

За полной сыгранностью и скомпанованностью этих трех фигур забывается несовершенство остальных персонажей. Они сведены до минимума.

Три центральные фигуры на фоне красных складок драпировки поглощают все внимание. «Крови, Яго! Крови!». Темные руки, темная голова, складки тихо шевелятся. Черная фигура демона Яго, белая мертвая Дездемона. Старое золото тускло мерцающих светиль-

ников... Все это захватывает красотой, мы сами живем в каком-то чаду эстетического восторга. Нам кажется, что и публика откликнется на него. Тишина, как будто пусто в переполненной душном зале. Ропот ужаса в финальной сцене. Бесконечные овации и требования повторить спектакль...

Толпа молодежи окружает наши сани, кричат «ура». Мы спускаемся на ледяную Оку, перед глазами вызванные к жизни образы мировой трагедии.

В темноте мерещится голова Отелло. Наташа-Дездемона прижалась в уголок саней. Кругом темный бор и глухая русская снежная равнина.

Отец встречает нас с фонариком. Он искоса присматривается к нам, но разговор не клеится. Нам не хочется выходить из приподнятого настроения. Ведь мы знаем, что он решительно против этой постановки.

Сестра Оля на время уезжает в Москву. Мы остаемся вдвоем с Наташей в театральном угаре. Никакая работа не идет. Вдруг является Наташа. Она прочла «Короля Лира», потрясена величием этой драмы.

«Надо поставить!» Я протестую: «Нет материала на костюмы. Трудно вдвоем... До масленицы мало времени!» Но Наташа загорелась, и удержу нет. Она берется за Шекспира, кромсает и режет его без малейшей робости.

Приходят тарусяне. На этот раз и они сразу подхватывают идею постановки. Смотрим средневековые урважи... Найдены и материалы — крашеный холст с неизменными бронзовыми порошками.

Лир будет золотистый в тяжелых складках черного плаща из древнееврейской материи. На голове корона и седой парик. На плаще золотые гербы с черными львами.

Королевы: огненная с золотом, с черными косами — Регана, бирюзовая с серебром — Гонерилья; Корделия — Наташа — белая. Костюм и волосы Ван-Эйковской Святой Цецилии с репродукции, висящей в музее.

Мы ставим «Лира» на двух планах сукон. Основной, серый, стальной, — в глубине сцены и раздвигающийся красный впереди. Эти две тяжелые драпировки дают поразительные эффекты пространства, складок и фона для цветowych группировок.

Для движений мы смотрим на репродукции плафона Сикстинской Капеллы, висящие на стенах парадной музейной лестницы. Мощные изломы торсов, воздетые руки пророков и сибилл Микельанджело, вся их сверхчеловечность и стихийность говорят языком шекспировской драмы.

Наташа снимает опромные застекленные фотографии и везет их в Тарусу, чтобы вдохновить исполнителей. Она одна ставит «Лира». В огромных валенках, в синей шубейке вызывает к стихиям, бросается ударить в железный лист — гром — и тут же, в тех же валенках, она Корделия — тишина, глубина и нежность.

Возвращаясь поздно вечером, она садится помогать мне шить костюмы. Мы зажигаем керосиновые коптилки и работаем до глубокой ночи. Все сделано вдвоем в одну неделю.

С тарусянами дело идет почти хорошо. Оставлены только главные действующие лица, а массовые сцены подразумеваются. Однако и тут, за кулисами, работа доставляет немало огорчений.

В каморке театрального сторожа Михаила Ивановича Решетникова поставлена железная печка. Он любит тепло и калит ее до одуряющей духоты. Голодная и нахолодавшаяся молодежь рада погреться. Вокруг накаленной печки сидят и лежат с утра до вечера, слушающая рассказы и гомерические анекдоты Михаила Ивановича. От жары и смрада анекдотов постепенно теряется человеческий облик. Наше появление досадно разбивает эту уютную трясину. Мы с трудом вытягиваем из нее главных исполнителей.

Отец не сердится на нашу постановку так, как сердился на «Отелло». «Я за одну фразу высоко ставлю «Короля Лира». Он вспоминает и декламирует сцену бури:

Вы бедные нагие несчастливцы...
Где б эту бурю ни встречали вы,
Как вы перенесете ночь такую
С пустым желудком в рубище дырявом,
Без крова над бездомной головой? Как мало
Об этом думал я. Учись, богач,
Учись на деле нуждам меньших братьев,
Горюй их горем и избыток свой
Им отдавай, чтоб оправдать тем небо.

Он интересуется костюмами и едет на репетицию. Возвращается усталый, но серьезно хвалит игру Сахарова и многое в постановке одобряет. Мы слышим, как он говорит: «Отлично, благородная игра!»

Успех постановки «Короля Лира» превзошел все предыдущие. Зал не вмещал напора публики. Стояли на улице и драки требовали мест.

После «Короля Лира» голодный год ворвался в нашу жизнь со своим тяжелым спутником. Сестра Оля заболела сыпным тифом. Призрак болезни и смерти вместе с недоеданием остановил работу. Половодье отрезало нас от Тарусы, а когда спала вода, подошли полевые и огородные работы.

Мы снова встретились весной среди зеленеющего леса и задумали поставить «Псковитянку». Но весна давила своими работами, потерянные силы не возвращались. Садясь рисовать эскизы декораций, я видела в окно сквозь редкие стволы берез отга с лопатой, копающего гряды, и мать, согнутую с пакетиками семян и огородными инструментами. Дальше на пашне — брата за плугом, одиноко взрыхляющего каменистую землю. Наташа в Москве, Оля после тифа, как тень. Я бросала работу и шла помогать, надеясь на дождливую погоду, но солнце вставало в знойном, засушном мареве день за днем.

Не имея никакой школы, «артисты», которые брали только чутьем и подъемом, выдохлись и стали играть плохо. На Ивана Купала мы с трудом поставили «Псковитянку» и надолго простились. Мы собрались на берегу, съели псковский пирог с грибами, который для подношения Грозному испекла наша мать. Лодка отплыла и скрылась в утреннем тумане.

* *

Работа со взрослыми в Страхове и в Тарусе проходила в ярких вспышках, основанных исключительно на даровитости и подъеме «артистов». Не имея никакого фундамента, работа и там и тут быстро пошла на снижение и оборвалась.

Гораздо планомернее шло дело с подростками Страхова. Они росли, воспитывались и развивались театром. Работа с неугасающим интересом продолжалась много лет. Подростки дети организовались в правильный театральный кружок.

В этой главе я расскажу о постановках с детьми. Когда мы ставили «Черный тюльпан», на роль Юсуфа явился приземистый бойкий мальчик Вася Балдинов. Он сам захотел играть со взрослыми. На второй репетиции знал наизусть всю пьесу и подсказывал остальным.

Он ловко, четко, с юмором провел роль и сделался преданным членом нашей труппы. Однако без достаточных ролей. В «Вынужденном браке» он играл немую роль арапчика, томился бездельем, но был серьезен и предан.



М. А. ПОЛЕНОВА (1816—1895), мать художника. Портрет В. Д. Поленова в детстве. Бумага желтая, ит. кар., белила. Разм. 33,5×24,2. 1862 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

Для него Наташа написала пьесу «Жар-птица» и кликнула клич среди ребят. Они сразу отозвались и пришли целой гурьбой. На роль Жар-птицы они привели мальчика. Ни одна девочка не соглашалась идти в компанию озорников.

«Жар-птица» понравилась ребятам. Образы сказок еще жили в деревне. Слова были их собственными разговорными словами. Они вращались в знакомой атмосфере, впитанной в долгие снежные зимы на печках из мерных сказаний старых людей.

Наташа сделала лубочно стилизованную декорацию темной бора со старой сосной, окруженной молодыми сосенками, и плодовый сад с золотыми яблоками.

Жар-птица выходила в лимонном сарафане с огненными картонными крыльями, которые вырезал и склеил отец. Он сделал Серому Волку прекрасную волчью маску и хвост, склеивал короны, делал посох и всякое сружие.

Ребята играли строго, без единой улыбки, без лирики, четко и лубочно.

Отец никогда не любил русскую сказку, отражающую бессмысленную жестокость и аморальность старого русского быта. Не любил он и лубок, стилизованные декорации ему не нравились.

Но мы работали по-своему, исходя из материала наших озорных деревенских талантов, которым надо дать то, что им близко, чтобы все время держать их в живом интересе. Мы уже знали по «Борису Годунову» со взрослыми, как опасна переоценка их возможностей.

Сдавленные силы бросаются во всегда открытую сторону хулиганства и разрушения.

На рождество поставили другую сказку «Царевич Незнайко». Вася Балдинов сразу наметился как яркий бытовик. На роль арабского царевича выдвинулся цыганенок Андрюша Семенов, брат Егора. Он плясал, как птица, весь горящий, смуглый, в малиновой чалме.

Андрюша своей нерусской красотой выделялся из всех ребят. Его происхождение неизвестно. Мать — красавица цыганского типа. Отец — кузнец, высокий, с орлиным носом, гроза всей деревни. С его именем связывают пожары и преступления. У кузнеца Андрея Андреевича куча детей, один другого красивее.

Около темного бора на краю деревни, над обрывом пересыхающей речки стоит старая кузница. Она сложена из толстых бревен и покрыта высокой сучковатой крышей. Рядом с кузнецом Андреем Андреевичем часто видишь Андрюшу, среди искр и дыма куящего железо. Несмотря на свои двенадцать лет, он силен, плечист и дельно помогает отцу.

В труппе ребят находят дарования на всякие роли. Комики-шуты, мрачные трагики. Появляется удивительно талантливая девочка. Тоненькая черноглазая Соня Зайцева, для которой ставим «Мертвую царевну».

В 1920, самом голодном, году у нас не было постановок со взрослыми. Но Таруса помнила нас и пригласила на елку с «Мертвой царевной».

Ребята играли и плясали превосходно. Родовались совершенно небывалому для них в то время угощению. Таруса горячо приветствовала их. Комиссары пришли на сцену, хвалили ребят. Один из них (наш всегдашний поклонник) сказал: «Знаете, я как будто из бани вышел. Такая свежесть в этих ребятах».

Мы ночевали в детском саду на столах. Возбужденные «артисты» всю ночь хулиганили и с пяти утра зашебетали, как птицы.

На другой день нам долго не давали лошадей. Пришлось ставить с ними шарады, до одурения играть во всякие игры, чтобы как-нибудь организовать их избыток сил. За обедом опять пироги и новый взрыв восторга. Эти празднества отравили ребят. Они не давали нам прохода, умоляя ставить еще и еще спектакль.

К пасхе мы приготовили «Сказку о Пырьшке Финиста Ясна Сокола». Определив жанр, мы писали роли, подходящие к стилю и характеру каждого. Режиссерская работа была легка. Все сразу становилось на свои места, и мгновенно усваивали роль. «Финист» — была самая удачная из всех наших постановок. Ребята создавали героические образы с лирикой и драматизмом. В движениях не было топорности. Все они занимались в нашем клубе ритмической гимнастикой. Они стали пластичны. Мы достигли полной сыгранности всей труппы, что было немислимо со взрослыми.

Постановка «Финиста» совпала с теплой ранней весной 1920 года. В бору кричала кукушка. Буйно цвели яблони барского сада. Нас окружали взрослые страховцы и благодарили за работу.

Настроение было радостное. Впереди мерещилась большая планомерная работа с детьми.

Мы мечтали, что вырастет на фоне одаренного и буйного Страхова какое-то большое дело. Может быть, в будущем та народная академия всех искусств среди природы, о которой, как о высоком достижении культуры, всю жизнь думал наш отец.

* * *

Октябрьский переворот застал отца 75-летним стариком. Веяния новой эпохи волновали его. Он радовался тому, что революция дала нам такое увлекательное поле культурной деятельности. Он всегда высоко ставил театр и видел в нем широкую возможность давать

искусство массам. О своем театральном доме на Мединке он говорил: «Моя цель создать пункт, который обслуживал бы фабрику и деревню декорациями и костюмами. Надо, чтобы это было большое дело на всю Россию».

Тяжелые условия голодных лет и старость мешали ему принять непосредственное участие в нашей работе. Наши вкусы — вкусы разных поколений часто расходились. Мы делали вещи, которые ему не нравились. Но у нас были силы молодости, без них не могло идти такое физически трудное дело. Отец уединился в мастерскую и начал работать над переносным театром — диорамой.

Диорама — по-гречески «прозрачная картина» — была придумана в сороковых годах прошлого столетия Дагером, изобретателем фотографии. У отца было несколько картин, привезенных из-за границы. Виды Италии и Парижа с фейерверками и ночными эффектами. Они вдохновили его сделать для своих детей картины из путешествий. К каждой картине у него выработался рассказ, который в антрактах он перебивал игрой на ручном органчике «Селестине».

Эти маленькие картины он задумал увеличить и пополнить. Работа была огромная. Шел голодный 1920 год, палящий зной лета уничтожил все посевы.

Было холодно. Отец не вылезал из своего толстого мехового пиджака, кутался в шапку и рукавицы. Чтобы подкрепить падающие силы, пек яблоки в своей печке и с утра до вечера стоя работал над картинами. В сумерки он приходил к нам усталый, но довольный и полный творческого подъема.

Его увлекала идея дать людям возможность, как по волшебству, обозреть много стран, увидеть явления природы в непередаваемых живописью эффектах транспаранта. «Вы подумайте, как живут крестьяне. Полгода холода, темноты, ничего, кроме трактира... С тоски можно умереть... И вдруг кругосветное путешествие!»

Он работал, и одна за другой появлялись новые картины. Время шло. Голод и работа истощили его силы. Когда все было готово и он собрался ехать в Страхово показывать свою новую большую диораму с усовершенствованным ящиком, оказалось, что ноги его опухли и валенки не надеваются. Он сердился, не хотел слышать об отсрочке, велел разрезать валенки и поехал.

Наше Страхово устроило ему трогательную встречу. Школьники и кружковцы добыли белой муки, испекли маленькую булочку. Один из мальчиков на тарелке поднес ее и, нагнувшись к самому уху, громко с чувством сказал: «На тебе, Василий Дмитриевич, кушай на здоровье!»

Отец хотел ответить, закашлялся и передал булочку заплакавшей матери. Все были растроганы. Картины вызвали восторг. Ребята почти на руках вынесли отца и усадили в сани.

Большая диорама осталась при музее. Вскоре его открыли для публики. Со всех сторон потекли экскурсии.

Отец сидел на крылечке, любовался радостными лицами выходящих из диорамной комнаты. Иногда сам заходил посмотреть и говорил: «Превосходно! Не ожидал, что так хорошо сделаю!»

Диорамой я заканчиваю рассказ о том, как отразилось в нашей жизни изумительное время первых лет революции. Всплеск культурной волны выбросил на гребень яркие дарования. На нашу долю выпала радостная задача подхватить этот взлет и полностью влиться в творческую работу революционной молодежи, окружавшей музей-усадебу нашего отца.



И. С. ОСТРОУХОВ. Художники на рисовальном вечере у В. Д. Поленова и натурщик в одежде кавказца. Бумага. Односеансная. Тушь, перо. Размер 16×35,5. 1887 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

О. Поленова

ПОЛЕНОВСКИЕ РИСОВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА

«Мы теперь затеяли рисование по вечерам... Иванов и Архипов очень обрадовались. Сейчас просидели у нас вечер, славный народ.

С ними можно жить — это свет...»

Н. В. Поленова — Поленову

Москва, 1889 г.

Очень жарко... В библиотеке задернуты ярко-красные занавеси на громадном итальянском окне. Полутьма в комнате... тут немного прохладнее. Все пьют через соломинку «шерри гоблёр», как называл Василий Дмитриевич Поленов напиток, сделанный из вишневого сока со льдом. Но вот кто-то прислушался... издали раздаётся звук колокольчика: это едут соседи-помещики в «гости» к нам. Вмиг раздаётся клич: «В крапиву!» — и все во главе с В. Д. исчезают в лес, на реку, куда-нибудь подальше и оставляют Наталью Васильевну (жену художника) занимать скучнейших и праздных гостей, поить их скучнейшим чаем, высиживать положенное для визита время.

А вот и другая картина. Издали по тарусским залившим лугам приближается группа людей. Это молодежь из Тарусы: музыканты, певцы, художники. Их приветливо встречают на западной террасе. Василий Дмитриевич рад молодежи. Целая куча разноцветной папиросной бумаги выкладывается на большой стол в рабочей комнате (бывшая мастерская на втором этаже Дома-музея), все без исключения клеят фонари — картины к будущей иллюминации, репетируется сочиненный тут же спектакль, проектируется какой-нибудь дальний поход на лодках, а вечером в кабинете —

камерный концерт или репетиция «оркестра» (пианино, фисгармония, виолончель) к опере Поленова «Призраки Эллады».

И центром всего является иногда даже не присутствующий при этом В. Д. Поленов.

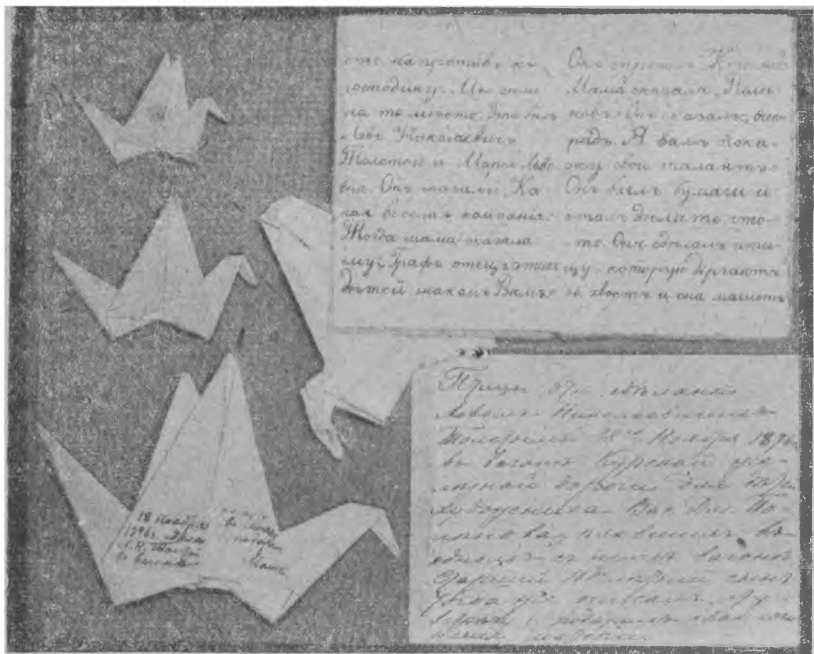
Поленов и его сестра Елена Дмитриевна обладали большим даром спланировать вокруг себя молодежь, создавать творческую атмосферу, вдохновлять друзей и учеников в их работе.

С 1882 по 1894 год Поленов был преподавателем в Училище живописи, ваяния и зодчества. Он вел натюр-мортный класс, впервые организованный им в училище. Учениками его были: А. Е. Архипов, В. Н. Бакшеев, В. К. Бялыницкий-Бируля, А. Я. Головин, С. В. Иванов, К. А. и С. А. Коровины, И. И. Левитан, В. Н. Мешков, Л. О. Пастернак, В. А. Симов и многие другие.

Вспоминая Поленова-педагога, вот что говорил В. Н. Мешков: «Поленов как бы открыл окно и показал свет в живописи. Он учил, как смотреть на природу и как подходить к ней, как писать, объясняя отношения. Наблюдая за учениками, внимательно присматриваясь к ним, выделяя наиболее способных, например, Коровина, Головина».

Поленов очень любил молодежь и всегда старался вселить в своих учеников уверенность в себе, веру в свои силы, говоря им: «Когда вы задумали писать, то, уже стоя перед мольбертом и глядя на чистый холст, непременно думайте, что это будет ваша лучшая работа — только тогда, крепко веруя в свое начинание, приступайте к делу» (В. Н. Бакшеев, Воспоминания).

Он следил за работой своих учеников не только в стенах училища, собирал их у себя на квартире, устраивал рисовальные вечера, акварельные утра. Когда



ДНЕВНИК Д. В. ПОЛЕНОВА „... Место напротив к господину. Мы сели на то место, это был Лев Николаевич Толстой и Марья Львовна. Он сказал: „Какая веселая компания!“ Тогда мама сказала ему: „Граф, отец этих детей вам знаком“. Он спросил: „Кто же?“ Мама сказала: „Поленов“. Он сказал: „Очень рад. Я вам покажу свой талант“. Он взял бумаги и стал делать что-то. Он сделал птицу, которую дергают за хвост и она машет крыльями...“

Описание Н. В. Поленовой птиц, сделанных Л. Н. Толстым для детей В. Д. Поленова в вагоне Московско-Курской ж. д.

„Птицы эти сделаны Львом Николаевичем Толстым 18-го ноября 1896 года, в вагоне Курской железной дороги для детей художника Вас. Дм. Поленова, ехавших в одном с ним вагоне. Старший 10-летний сын тогда же описал эту встречу и подарил свое сочинение матери“.

Фонд Дома-музея В. Поленова близ Тарусы. Воспроизводится впервые. (В оригинале—старая орфография)

Поленовы выезжали на дачу, к ним приезжали ученики Поленова. В письмах его сестры Елены Дмитриевны перечисляются все художники, приезжавшие на дачу в Жуковку в 1888 г. Иногда семь человек шли одновременно на этюды во главе с Поленовым.

Жизнь семьи Поленовых тесно переплетается с жизнью учеников.

— Когда я ближе сошелся с ним (с Поленовым), — вспоминает И. С. Остроухов, — и вошел в круг семьи его, я вступил не в художественный кружок, а в художественную семью, ибо все, кого я там нашел, были связаны крепким художественным родством. У Костеньки и у Антона (К. А. Коровин и В. А. Серов) он часто выражал желание «самому учиться».

Отношение Поленова к ученикам было чисто отеческое. Он всячески старался продвинуть их на выставках передвижников, нисколько не боясь конкуренции, а думая только о том, чтобы дать расцвести их таланты. Так, первым он продвигает А. Е. Архипова, сам ставит на передвижную выставку 1885 года «Переселенку в вагоне» С. Иванова, купленную им у Иванова на ученической выставке школы живописи, борется за право ученикам выставляться наравне с учениками и особенно энергично отстаивает И. И. Левитана.

И ученики отвечали ему глубокой преданностью и благодарностью. «Милый мой, — пишет К. А. Коровин, — никто бы никогда не поощрил меня, и поэтому никто не поднял мой дух, если не встретил Вас... Знайте, Василий Дмитриевич, что Ваш образ, искренность и честность всегда живы во мне».

По переписке Е. Д. Поленовой можно проследить почти ежедневную иногда даже ежечасную жизнь поленовского кружка: днем школа живописи, иногда посещения музеев, походов на «грибной рынок», «вербный базар», балаганы на подновинском, поиски предметов народного творчества, изучение памятников старины Москвы, вечером рисовальные вечера, по воскресеньям рисовальные утра. Участниками рисовальных вечеров были А. Е. Архипов, С. В. Исаев, И. И. Левитан, К. А. и С. А. Коровины, А. Я. Головин, Е. Д. Поленова, М. В. Якунчикова, М. А. Врубель и др. Рисуют друг друга: портреты Левитана в одежде бедуина, портрет Н. Д. Кузнецова, Н. В. Поленовой, приглашают натуралистов: три итальянских мальчика, которые во время отдыха поют под гитару народные песни и «прибавляют оживление собравшемуся обществу».

В рисовальных вечерах принимала участие жена С. И. Мамонтова, она прекрасно читала вслух, и пока художники рисовали, Елизавета Григорьевна читала новинки литературы; на одном из вечеров были прочитаны главы из «Декабристов» Л. Н. Толстого.

Два рисунка И. С. Остроухова и К. А. Коровина сделаны в один вечер. Это не отдельные зарисовки натуралистов, а наброски, запечатлевшие всю группу рисующих с двух точек зрения. У И. С. Остроухова — в отдалении от других сидит К. А. Коровин под лампой, а в это же время К. А. Коровин запечатлевает ту же группу художников, рисующих того же натуралика

в кавказской одежде, с другой стороны. Можно узнать среди рисующих Наталью Васильевну Поленову и ее сестру Марию Васильевну Якунчикову, Е. Д. Поленову и самого В. Д. Поленова, Н. Н. Романова и др.

А какое сильное влияние имел на всех, вплоть до самого В. Д. Поленова, молодой Врубель. В технике одежды натуралика в costume араба, в том, как художники накладывают на бумагу фон, и у С. Иванова, и у С. Виноградова, и у такого, казалось бы, самостоятельного молодого художника, как Архипов, видно неотразимое обаяние и сила воздействия смелого штриха Врубеля.

Не обходилось без шуток, на которые большим мастером был И. С. Остроухов. К. Коровин должен был ставить в Большом театре «Аиду» и собирался ехать в Египет, чтобы на месте собрать нужный ему материал, но так и не поехал. Остроухов по поводу неудавшегося путешествия Коровина пишет шуточное стихотворение,ставляя причиной того, что Коровин не поехал, его страх перед крокодилами.

Едет Коровин
В страну диковин,
Прямо без фасонов

В землю фараонов...
Лишь пост для' виду
Оперу «Аиду».

Все идет прекрасно.
Нравится ужасно.
Здесь вот — беднины,
Там кругом руины...
Климат сух...
Только вдруг,
Подъезжая к Нилу,
Встретил крокодила.

Буду точен:
Испугался очень.
Ведь это скандал —
Он, право, не знал!..
И, чтоб не погибнуть
В бесчестии,
Побежал наш Коровин
От бестии.

Очевидно, тут же, слушая это стихотворение, Коровин на верхней части листа бумаги, на котором он работает пером над портретом натурщика, рисует на самого себя карикатуру: Нил, за Нилом стоит пирамида, по берегу с тросточкой (Коровин был большим франтом) идет К. А. Коровин, а навстречу ему из Нила вылезает «страшный» крокодил.

Иногда широкая натура К. А. Коровина не выдерживала, и, отрываясь от изучения портретируемого, несколькими живописнейшими штрихами мягкого карандаша он набрасывает эскиз к китайским фонарикам, порт в Марселе, даму в шляпе.

После Коровина больше всех интересует не только самого В. Д., но и Е. Д. и Н. В. Поленовых И. И. Левитан. Головин пишет: «Поленов просто обожал Левитана».

Из всего видно, что на рисовальных вечерах и акварельных утрах Левитан был нечастым гостем. Но отзывы о его работах восторженны. Все покорены этим художником, Левитан «всех сводит с ума», как пишет Елена Дмитриевна. Особенно поразила всех его односеансная акварель «Голова еврейки».

Левитан очень любил и очень ценил Поленова, его ласковое отношение к своим ученикам, он считал, что Поленовым очень много было сделано для «московского искусства». «Московское искусство не было бы таким, каким оно есть, не будь Вас. Спасибо Вам и за себя и за наше искусство, которое я безумно люблю».

Многие из односеансных рисунков учеников Поленова сохраняются в фондах и экспозиции музея-усадьбы, часть из них (двадцать три) воспроизводится на страницах этого сборника.

Всеволод Иванов

ПОЭЗИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

С поэзией Марины Цветаевой я знаком давно: в юности моей мы читали много и жадно, особенно нас привлекали стихи новых поэтов; мы сами пописывали стихи, — кто этим не грешил в юности? — и новые поэты, думалось нам, отвечают новым нашим мечтаньям. Молодые стихи М. Цветаевой казались мне очень сложными, настолько же, насколько теперь кажутся простыми. По-видимому, уже тогда в стихах Маричы Цветаевой можно было уловить то предчувствие тяжелой и горькой жизни, которую ей суждено было прожить.

И со всем тем в стихах ее ощущалась радость бытия; быть может, еле уловимая, но оттого еще более ценная. Эти нотки счастья жизни, любви к родным местам впоследствии прозвучали гимном Отчизне, — далеко и ежесекундно близкой, обыденной и волшебной, простой и героической, всему тому, что выражается двумя словами — Советская Россия.

Вот сейчас я перечитываю снова и снова стихи Марины Цветаевой. Их в «Русских страницах» печатается немало, и они довольно ярко представляют лицо высоко одаренного и оригинального поэта. Да и проза ее — «Кирилловны» — очень для нее характерна. Превосходная проза, добавлю я!

И вот что подумалось мне. А ведь, пожалуй, Цветаева очень близка Некрасову? Не размером, не интонациями, нет. Самым существом своим Некрасов, как никто из русских поэтов, понял и воспел страдания и муки несчастной русской женщины: от простой деревенской бабы до жены высокогородного декабриста.

Другой век, другие радости. XX век принес русской женщине большое облегчение, а порой и освобождение от многих былых страданий. Октябрьская революция приобщила русскую женщину к радости общественной жизни, к творческому и поэтическому ее осмысливанию. Это истины общеизвестные, и простите, что я их повторяю. Я хочу лишь подчеркнуть, насколько человеку горестно, если он удален от этих радостей, от творчества, от общенародного творчества. А Марина Цветаева, в силу сложившихся обстоятельств, довольно долго находилась вне родины, в эмиграции.

Поэтический дар бывает разным, — этим и замечательна поэзия. Иной поэт выражает свои, — а порой

и не свои мысли, — с величайшей легкостью, даже и сам удивляясь тому, как все легко и просто. Это, так сказать, первый этаж поэзии. На втором этаже, где поэт пытается выразить свои мысли и чувства глубже и в то же время яснее, откровеннее, — дело обстоит уже сложнее. Чем больше вы хотите быть откровенным, тем вам труднее; тем большее напряжение требуется вам для того, чтобы выразить себя. И чем выше этаж, тем больший отрезок жизни видит, поднявшись на него поэт и тем труднее ему высказать себя со всей силой и красотой, с какой бы он хотел это сделать.

Марина Цветаева жила на десятом, а может быть, и на пятнадцатом этаже дома поэзии.

Она любила русскую жизнь, любила поэзию ее просторов, размах творчества, с какими жил ее народ, и эта любовь, мешаясь с горькими днями ее жизни, затрудняла ее песнь, делала ее порой тяжелой, грустной. Посмотрите, как в «Кирилловнах» описана природа, провинциальный городок Таруса, таинственность детства, сколько здесь радости и счастья, — и каким горестным, безрадостным воплем кончается этот рассказ!

Мне кажется, что читатели наши с большим вниманием и уважением прочтут стихи и прозу Марины Цветаевой. Среди широких и уверенных следов наших поэтов и прозаиков, идущих ныне по большой дороге советской литературы, узкий, но неискоренимый след поэта Марины Цветаевой не может не быть замечен, потому что поэт этот глубок и светится не отраженным светом, а своим, настоящим. Стихи ее отличаются великолепным мастерством; словарь ее богат и страстен: она выбирает слова не по их внешней красоте, а по внутреннему их звучанию; и, наконец, когда вы, вчитавшись, полюбите и поймете ее поэзию, непонятные до того стихи сразу станут совершенно понятны вам. Любовь объясняет все, так же, как и прощает многое, если не все.

Недавно в Гослитиздате вышло «Избранное» Марины Цветаевой. Предлагаемые вниманию читателей стихи и проза будут ценным пополнением к этому «Избранному».

Сентябрь
1961 г.

КИРИЛЛОВНЫ

Существовали они только во множественном числе, потому что никогда не ходили по одной, а всегда по две, даже с одним решетом ягод приходили по две, помоложе и постарше, — чуть помоложе с чуть постарше, ибо были они все какого-то собирательного возраста, — возраста собственного числа — между тридцатью и сорока, и все на одно лицо, загарное, янтарное, и из-под одинакового платочного — белого, и бровного — черного края ожигало вас одинаковое, собирательное око, тупилось в землю крупное коричневое веко с целой метелкой ресниц. И имя у них было одно, собирательное, и даже не имя, а отчество: Кирилловны, а за глаза — хлыстовки.

Почему Кирилловны? Когда никакого Кирилла и в помине не было. И кто был тот Кирилл, действительно ли им отец, и почему у него было сразу столько — тридцать? сорок? больше? — дочерей и ни одного сына? Потому что тот рыжий Христос явно не был его сын, раз Кирилловнам — не брат. Теперь бы я сказала: этот многодочерний Кирилл существовал только как дочернее отчество. Тогда же я над этим не задумывалась, как не задумывалась над тем, почему паром ходит — «Екатерина». Екатерина — и все тут.

Острое же звучание «хлыстовки», могшее бы поразить несоответствием с их степенностью и пристойностью, мною объяснялось ивами, под которыми и за которыми они жили — как стая белоголовых птиц, белоголовых из-за платков, птиц — из-за вечной присказки няни, ведшей мимо: — А вот и ихнее гнездо хлыстовское, — без осуждения, а как простая отметка очердного с дачи Песочной в Тарусу этапа: — Вот и часовню миновали... Вот и колода видна: полдороги... А вот и ихнее...

Ихнее гнездо хлыстовское было, собственно, выходом в город Тарусу. Последний — после скольких? — спуск, полная после столького света тьма (сразу полная, тут же зеленая), внезапная после той жары свежест, после сухости — сырость, и по раздвоенному, глубоко вросшему в землю, точно из нее растущему бревну, через холодный черный громкий и быстрый ручей, за первым по левую руку ивовым плетнем, невидимое за ивами и бузиной — «ихнее гнездо хлыстовское». Именно гнездо, а не дом, потому что дом за всеми этими зарослями был совершенно невидим, а если и приоткрывалась изредка калитка, глаз, потрясенный всей той красотой и красотой, особенно смородиновой, того сереющего где-то навеса, и не отмечал, не включал его, как собственного надбровного. О доме Кирилловн никогда не было речи, только о саде. Сад съедал дом. Если бы меня тогда спросили, что хлыстовки делают, я бы, не задумываясь: «Гуляют в саду и едят ягоды».

Но еще о входе. Это был вход в другое царство, этот вход сам был другое царство, затянувшееся на всю улицу, если ее так можно назвать, но назвать так нельзя, потому что слева, кроме нескончаемого их плетня, не было ничего, а справа — лопух, пески, та самая «Екатерина»... Это был не вход, а переход: от нас (одинокого дома в одинокой природе), — туда (к людям — на почту, на ярмарку, на пристань, в лавку Наткина, позже — на городской бульвар) — средостояние, междуцарствие, промежуточная зона. И вдруг озарение: а ведь не вход, не переход — выход! (ведь первый дом — всегда последний дом!) И не только из города Тарусы выход — из всех городов! Из всех

Тарус, стен, уз, из собственного имени, из собственной кожи — выход! Из всякой плоти — в простор.

Из всей Тарусы — вернее — из всех «гостей», т. е. сластей, чужих детей... я больше всего любила эту секунду спуска, входа, нисхождения, — в зеленую, холдную, ручьевую тьму, минования — серого нескончаемого ивово-бузинного плетня, за которым — так это у меня и осталось — все ягоды зреют сразу, клубника, например, вместе с рябиной, за которым всегда лето, все лето сразу, со всем, что в нем красного и сладкого, где, стоит только войти (но мы никогда не входили!), все тебе в руку сразу: и клубника, и вишня, и смородина, и, особенно, бузина!

Вот яблочек не помню. Помню только ягоды. Да яблочек, как ни странно, в таком городе, как Таруса, где их в урожайный год — а каждый год был урожайный! — на базар выносили бельевыми корзинами, и их уж и свиньи не ели, яблочек у Кирилловн не было, потому что они приходили за ними к нам, в наш «старый сад», то есть нами состаренный и запущенный, с одичавшими ценнейшими сортами, полусъедобными, шедшими только на сушку. Но не «оне» приходили за яблочками, не те, степенные, долюкие, а они, то есть ихняя Богородица с Христом, рыжим, худым, с раздвоенной бородой и глазами — теперь бы сказала: водопьяными, — очень рвано одетыми и босыми, Христос — с ихней Богородицей, старой, уже не янтарной, а кожаной, кожаной, и хотя и не рваной, но все-таки страшноватой. Отношение у родителей к этим набегам было... судьбинное. — Опять Христос приходил за яблочками... или: — Опять Богородица с Христом в осле ходят... Те не спрашивали, эти не запрещали, Богородица с Христом были вроде домашнего бедствия, положенной напасти, рока, унаследованного вместе с домом, потому что Кирилловны в Тарусе были раньше нас, раньше всех, может быть, даже раньше самих татар, ржавые ядра которых мы находили в ручье. Это был не набег, а побор. Нужно однако прибавить, что когда мы, дети, их за этим делом заставляли, они, особенно Христос, все-таки как-то сторонились, хорошились, уединялись за другую яблоню, где Богородица уже торопливо донабивала большой холщовый мешок. Не говорили они в такие минуты друг с другом ничего, да и нам бы в голову не пришло голосом подтвердить свое присутствие, мы как-то молчаливо условились, что они — не делают, а мы — не видим, что кого-то, либо их, либо нас, а может быть, и тех, и других — нет, что это все — так себе...

— Папа! Христа видели!

— Опять приходил?

— Да.

— Ну и Христос с ним!..

Про унесенные яблоки родители не спрашивали, а мы не сообщали. Иногда мы рыжего Христа заставляли тут же спящим в стогу сена. Старая Богородица сидела рядом и обвевала его от мух. Тогда мы, не сказав ни слова, на цыпочках, высоко подняв брови и глаза, указывая друг другу на «находку», уходили, отходили к нашей «яме», где сидели, болтая ногами, косясь на все спящего и все отгоняющую. Иногда няня не нам, а при нас говорила бонне, что Христос этот — горький пьяница и что опять его подобрали в канаве, но так как мы сами постоянно сидели в канаве, нас это не изумляло, слово же горький для нас объяс-

няло пьяницу, вызывая во рту живую полынь (мы все постоянно ели всё), после которой можно выпить целое ведро.

Иногда Христос пел, а Богородица подпевала, и нас совершенно не удивляло, что поет она больше мужским, а он — скорее женским, тонким, и не удивляло, во-первых, потому, что цветаевских детей ничто не удивляло, во-вторых же, потому, что она была темная и крепкая, а он — светлый и слабый, и получалось, что каждый поет именно своим голосом, себе в масть и в мощь, как комар, например, и шмель. И шла в нашу зеленую канаву из яблонной зеленой дачи песня про какие-то сады зеленые... Мы даже никогда не задумывались (и сейчас не знаю), были ли они мать и сын, так же, как никогда не спросили не только родителей, но даже няни, которой не боялись, почему Богородица и Христос, и не потому, что мы верили, что это — те, с иконы (те — на иконе, а кроме того, все-таки — яблоки...) — не те, но и не не те. Может быть, и сами имена внушали трепет — не может же каждый называться Богородицей и Христом! — и устанавливали какую-то их несомненность и неподсудность. Наше тогдашнее чувство рассуждало приблизительно так: «Раз они воруют яблоки, то не совсем Христос и Богородица, но так как они все-таки Христос и Богородица, значит, они не совсем воруют». Да и не воровали — брали, а скрывались, теперь вижу, не от нас (дети сами — нищие и воры), а от глаз. Так звери, так дети (и не только дети и звери, прошу верить!) не выносят, когда на них смотрят. Словом, для нас эта бродячая пара была не просто — люди, а если не настоящие те, то все-таки как-то тоже. Жили (то есть ходили, про жизнь ничего не знаю) Христос и Богородица от других отдельно и всегда вместе, никогда порознь, и я часто думала, на них глядя: «Так, должно быть, та Богородица ходила за тем Христом», — потому что она именно за ним ходила, именно по пятам, ровно настолько отставая, чтобы не наступить ему на пятую (босую). Ходила и телом будто поддерживала, — он был весь расслабленный, весь расстроенный, точно шел не туда, куда сам хочет, а куда нога хочет, да и нога-то не твердо знала, куда: то в колею, то о камень, то на кочку, а то и вовсе без всякого смыслу — вкось. Так их встречали и на базаре, и по дорогам, и в лопушиных полях, на Оке... Но — как те, сестры, за яблоками никогда не приходили, так эти, мать и сын, ягод никогда не приносили, даже и подумать бы дико, что вдруг — Христос викторию принес! И поскольку низко кланялись при встрече Кирилловны, постольку никогда не кланялась Богородица, про Христа и говорить нечего — не только взглядом, всем телом мимо глядел!

— Барыня! Кирилловны викторию принесли... Братъ прикажете?

Стоим в сенях, мать спереди, мы, по трусости, чтобы не выказать внезапной на лице жадности (бессознательное матерью преследовалось больше всего!) — за ней, чуть-чуть из-за ее бока вытягивая шею. Отрешившись, наконец, от клубничной россыпи и вдруг встретившись с только чуть поднятым от земли (мы были такие маленькие!) хлыстовкинским взглядом, с понимающей ее усмешкой. И пока пересыпают из решета в миску ягоды, Кирилловна (которая? Все одна! одна во всех тридцати лицах, под всеми тридцатью платками!), не отпуская все еще потупленными глазами уходящую спину матери, спокойно и неторопливо — в ближайший, смелейший, жаднейший рот (чаще мой!) ягоду за ягодой, как в прорву. Откуда она знала, что мать не позволяет есть — так, до обеда, помногу сразу, вообще — жадничать? Оттуда же, откуда и мы — мать нам словами никогда ничего не запрещала. Глазами — все.



МАРИНА ЦВЕТАЕВА
1892—1941.

Кирилловны, удостоверяю это с усладой, меня любили больше всех, может быть, именно за эту мою жадность, цветущность, крепость — Андрюша был высок и худ, Ася мала и худа — за то, что такую вот дочку они бы, бездетные, хотели, одну — на всех!

— А меня хлыстовки больше любят! — с этой мыслью я, обиженная, засыпала. — Асю больше любят мама, Августа Ивановна, няня (папа по доброте «больше любил» — всех), а меня зато — дедушка и хлыстовки! — Поблагодарил бы меня чинный остзейский выходец за такое объединение!

Есть у меня из всех видений райского сада Тарусы одно самое райское, потому что — единственное. Хлыстовки нас всем семейством пригласили на сенокос, и, о, удивление, изумление (мать не выносила семейных прогулок, вообще ничего — скопом, особенно же своих детей — на людях), о, полное потрясение: нас — взяли. Настоял, конечно, отец.

— Эту будет тошнить, — возражала поверх моей заранее виноватой головы мать, — непременно растрясет на лошадях и будет тошнить. Ее всегда тошнит, везде тошнит, совершенно не понимаю, в кого она. Папашу (так она звала того «дедушку») не тошнит, меня не тошнит, наконец, ни Леру, ни Андрюшу, ни Асю не тошнит, а ее от одного вида колес уже тошнит.

— Ну, стошнит... — кротко соглашается отец, — стошнит, и вся беда... (и, явно уже думая о другом) — стошнит — и чудесно. (И, спохватываясь). — А может быть, и нет — на свежем воздухе...

— Причем тут свежий воздух? — горячится мать, заранее оскорбленная дорожным зрелищем. — Что вагон — что воз — что лодка — что ландо и на рессорах, и без рессор, на пароме, на ascenseur* — всегда тошнит, везде тошнит, а еще морской называли!

— Меня пешком не тошнит, — робко запальчиво вставляю я, расхрабрившись от присутствия отца.

— Посадим лицом к лошадям, возьмем мятных лепешек, — уговаривает отец, — платье, наконец, на смену...

— Только я с ней рядом сидеть не хочу! Ни рядом, ни напротив! — раздражается Андрюша, давно уже мрачневший лицом. — Каждый раз меня с ней сажают, как тогда в вагоне, помнишь, мама, когда...

— Возьмем одеколону, — продолжает отец, — а рядом сяду — я. (Ты только, пожалуйста, не удерживайся, — конфиденциально мне, — замутит — скажи, оставим лошадей, и слезешь, продышишься. Не на пожар ведь... А, действительно, странно: отчего тебя всегда тошнит! — И, примирительно: — Природа, природа, ничего с ней не поделаешь. Даже так можешь: «Папа, мне хочется сорвать во-он тот мак!» Соскочишь побыстрее и побежишь подальше — чтоб не расстраивать маму).

Словом, поехали — и с тем самым моим маком в руке — доехали до хлыстовского сенокоса, далеко за Тарусой, в каких-то их разливанных лугах.

— Ай, Марина-малина, чего ж ты такая зеленая? Рано встала, голубка? Не проспалась, красавица? — Кирилловны, окружая, оплетая, увлекая, передавая из рук в руки, точно вовлекая меня в какой-то хоровод, все сразу и разом завладевая мной, словно каким-то своим общим хлыстовским сокровищем. Своих — ни папы, ни мамы, ни бонны, ни няни, ни Леры, ни Андрюши, ни Аси, я в том раю не помню. Я была — их. С ними гребла и растрясала, среди них, движущихся, отлеживалась, с ними ныряла и вновь возникла, как та жучка в бессмертных стихах («влопыхах!»), с ними ходила на ключ, с ними разводила костер, с ними пила чай из огромной цветной чашки, как они, отгрызая сахар, с ними бы...

— Маринушка, красавица, оставайся с нами, будешь наша дочка, в саду с нами жить будешь, песни наши будешь петь...

— Мама не позволит.

— А то бы осталась? — Молчу. — Ну, конечно бы, не осталась — мамашу жалко. Она тебя, небось, во-он как любит? — Молчу. — Небось, и за деньги не отдаст?

— А мы мамашу и не спросим — сами увезем! — какая-то помоложе. — Увезем и запрем у себя в саду и никого пускать не будем. Так и будет она жить с нами за плетнем. (Во мне начинает загораться дикая жгучая несбыточная надежда: а вдруг?) — Вишни с нами будешь брат, Машей тебя будем звать... — та же, певуче.

— Не бойся, голубка, — постарше, приняв мой восторг за испуг, — никто тебя не возьмет, а придешь ты к нам в гости с папашей и с мамашей али с нянькой — небось каждый воскресный день мимо ходите, все на вас смотрим, вы-то нас не видите, а мы-то все-е видим, всех... В белом платье придешь, пикеевом, нарядная, в башмачках на пуговках...

— А мы тебя оденем в на-аше! — подхватывает та певучая неугомонная, — в черную ря-аску, в белый платочек, и волоса твои отрастим, коса будет...

— Да что ты ее, сестрица, страшишь! Еще впрямь

* ascenseur'e — лифт (фр.).

поверит! Каждому своя судьба. Она и так наша будет — гостя наша мечтательная, дочка мысленная...

И обняв, прижав, поджав — ух! на воз, на гору, в море, под небо, откуда все сразу видно: и папа в чесучевом пиджаке, и мама в красном платочке, и Августа Ивановна в тирольском, и желтый костер, и самые далекие заливы песка на Оке...

Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в тех местах земляника.

Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили с тарусской каменоломни камень:

Здесь хотела бы лежать
МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Париж.
Май 1934

ОСЕНЬ В ТАРУСЕ

Ясное утро не жарко,
Лугом бежишь налегке.
Медленно тянется барка
Вниз по Оке.
Несколько слов поневоле
Все повторяешь подряд.
Где-то бубенчики в поле
Слабо звенят.
В поле звенят? На лугу ли?
Едут ли на молотьбу?
Глазки на миг заглянули
В чью-то судьбу.
Синяя даль между сосен,
Говор и гул на гумне...
И улыбается осень
Нашей весне.
Жизнь распахнулась, но все же...
Ах, золотые деньки:
Как далеки они, боже!
Господи, как далеки!

1909

ПАРОМ

Темной ночью в тарантасе
Едем с фонарем.
«Ася, спишь?» Не спится Асе:
Впереди паром!
Едем шагом (в гору тяжело).
В сонном поле гром.
«Ася, слышишь?» Спит, бедняжка,
Проспала паром!
В темноте Ока блеснула
Жидким серебром.
Ася глазки разомкнула...
«Подавай паром!»

1909

* *
*

Идите же! — Мой голос нем,
И тщетны все слова.
Я знаю, что ни перед кем
Не буду я права.

Я знаю: в этой битве пасть
Не мне, прелестный трус!
Но, милый юноша, за власть
Я в мире не борюсь.
И не оспаривает Вас
Высокородный стих.
Вы можете — из-за других —
Моих не видеть глаз,
Не слепнуть на моем огне,
Моих не чуют сил...
Какого демона во мне
Ты в вечность упустил!
Но помните, что будет суд,
Разящий, как стрела,
Когда над головой блеснут
Два пламенных крыла!

11 июля 1913 г.

ИЗ ЦИКЛА «МУЗА»

Ты солнце в выси мне застишь:
Все звезды в твоей горсти!
Ах, если бы — двери настезь —
Как ветер, к тебе войти!
И залепетать, и вспыхнуть,
И круто потупить взгляд,
И, всхлипывая, затихнуть,
Как в детстве, когда простят.

1916

* *
*

За девками доглядывать, не ски-
ли в жбане квас, олады не остыли ль,
Да перстни пересчитывать, анис
Ссыпая в узкогорлые бутылки,
Кудельную расправить бабке нить,
Да ладаном курить по дому росным,
Да под руку торжественно проплыть
Соборной площадью, гремя шелками, с крестным.
Кормилица с крикливым петухом
В переднике — как ночь ее повойник! —
Докладывает древним шепотком,
Что молодой — в часоventке — покойник.
И ладанное облако углы
Унылой обволакивает ризой.
И яблони — что ангелы — белы,
И голуби на них — что ладан — сизы.
И странница, прихлебывающая квас
Из ковшика, на краешке лежанки
О Разине досказывает сказ
И о его прекрасной персиянке.

1916

* *
*

Легкомыслие — милый грех,
Милый спутник и враг мой милый!
Ты в глаза мне вбрызнуло смех
И мазурку вбрызнуло в жилы.
Научив не хранить кольца,
О кем бы жизнь меня ни венчала,
Начинать наугад — с конца,
И кончать — еще до начала.
Быть, как стебель, и быть, как сталь.
В жизни, где мы так мало можем,
Шоколадом лечить печаль
И смеяться в лицо прохожим,

1918

* *
*
Кто дома не строил —
Земли недостойн.
Кто дома не строил —
Не будет землею:
Соломой — золою...
— Не строила дома.

Август 1919 г.

* *
*

Два дерева хотят друг к другу.
Два дерева. Напротив дом мой,
Деревья старые. Дом старый.
Я молода, а то б, пожалуй,
Чужих деревьев не жалела.
То, что поменьше, тянет руки,
Как женщина, из жил последних
Вытянулось — смотреть жестоко,
Как тянется к тому, другому,
Что старше, стойче и — кто знает? —
Еще несчастнее, быть может.
Два дерева: в пылу заката
И под дождем, еще под снегом —
Всегда, всегда: одно к другому.
Таков закон: одно к другому,
Закон один: одно к другому.

Август 1919 г.

* *
*

Упадешь — перстом не двину.
Я люблю тебя, как сына.
Всей мечтой своей довлея,
Не щадя и не жалея.
Я учу: губам полезно
Раскаленное железо.
Бархатных ковров полезней
Гвозди — молодым ступням.
А еще в ночи беззвездной
Под ногой полезны — бездны!
Первенец мой круголобий!
Вместо всей моей учебы —
Материнская утроба
Лучше — для тебя — была б.

Октябрь 1919 г.

* *
*

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были — по одной на каждую —
Две головки мне дарованы.
Но обеими, зажатými,
Яростными — как могла!
Старшую у тьмы выхватывая,
Младшей не убергла.
Две руки — ласкать-разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки — и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.
Светлая — на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое — в земле.

Апрель 1920 г.

* *

*

Развела тебе в стакане
Горстку жженных волос,
Чтоб не елось, не пелось,
Не пилося, не спалось.
Чтоб младость — не в радость,
Чтоб сахар — не в сладость.
Чтоб не ладил в тьме ночной
С молодой женой.
Как власы твои златые
Стали серой золой,
Так года мои младые
Станут белой зимой.
Чтоб ослеп-оглох,
Чтоб иссох, как мох,
Чтоб ушел, как вздох.

1920

* *

*

На смех и на зло
Здравому смыслу,
Ясному солнцу,
Белому снегу,
Я полюбила:
Мутную полночь,
Льстивую флейту,
Праздные мысли.
Этому сердцу
Родина — Спарта.
Помнишь лисенка,
Сердце спартамца?
— Легче лисенка
Скрыть под одеждой,
Чем утаить вас —
Ревность и нежность.

1920

* *

*

Со мной не надо говорить.
Вот губы: дайте пить.
Вот волосы мои: погладь.
Вот руки: можно целовать.
— А лучше дайте спать.

1920

* *

*

Ты меня никогда не прогонишь:
Не отталкивают весну!
Ты меня и перстом не тронешь:
Слишком нежно пою ко сну.
Ты меня никогда не ославишь:
Мое имя — вода для уст!
Ты меня никогда не оставишь.
Дверь открыта, и дом мой пуст!

1921

ЗМЕЙ

Семеро, семеро
Славлю дней!
Семь твоих шкур твоих
Славлю, Змей!
Пустопорожня
Дань земле —
Старая кожа
Лежит на пне.

Старая сброшена —
Новой жди!
Старую кожу,
Прохожий, жги!
Чтоб уж и не было
Нам: вернись!
Чтобы ни следу
От старых риз!
Снашивай, сбрасывай
Старый день!
В ризнице нашей —
Семижды семь!

1921

ИЗ ПОЭМЫ «ЛЕСТНИЦА»

Вещи бедных. Разве рогожа —
Вещь? И вещь — эта доска?
Вещи бедных — кости да кожа,
Вовсе мяса, только тоска.

Где их брали? Вид — издалёка,
Из глубока. Глаз не труди.
Вещи бедных — точно из бока,
Взял, да вырезал из груди.

Полка? Случай. — Вешалка? Случай.
Случай тоже — этот фантом
Кресла. Вещи? Шипья за сучья, —
Весь октябрьский лес целиком.

Нищеты — робкая мебель,
Вся чего — четверть и треть?
Вещь давно, — явно на небе!
На тебя — больно глядеть.

От тебя грешного зренья
Как от язв трудно отвлечь.
Венский стул — там где о Вене —
Кто? Когда? — страшная вещь!

Лучше всех — здесь обесчещен
Был бы — дом? Мало! — чердак.
Ваш. Лишь здесь ставшая вещью
Вещь. Вам — бровь, вставшая в знак.

(?) — сей. На рвань нудную, вдовью
Что? — бровь вверх! (чем не лорнет —
Брови!) Горазд спрашивать бровью
Глаз. Подчас глаз есть — предмет.

Так подчас пуст он и сух он
Женский глаз, дивный, большой,
Что — сравнить — кажется духом —
Таз, лохань с синькой, — душой.

Наравне с тазом и ситом.
Да — царю! Да — на суде!
Каждый, здесь званный пнитом,
Этот глаз знал на себе!

Нищеты — робкая утварь,
Каждый нож — лично знаком,
Ты как тварь, — ждущая утра,
Чем-то здесь — в с е м — за окном —

Тем пустым, тем, на предместьях
Те — читал хронику краж?
Чистоты вещи и чести
Признаки: не примут в багаж

Оттого что слаба в пазах,
Распадается на глазах.
Оттого что на ста возах
Не свезти...

В слезах —

Оттого что: не стол, а муж,
Сын. Не шкаф, а наш
Шкаф.
Оттого что сердец и душ
Не сдают в багаж.

* *
*

Дабы ты меня не видел —
В жизнь — пронзительной, незримой
Изгородью окружусь,
Жимолостью опояшусь,
Изморозью опушусь.
Дабы ты меня не слушал, —
В ночь — в премудрости старушсьей —
Скрытничестве — укрплюсь,
Шорохами опояшусь,
Шелестами опушусь.
Дабы ты во мне не слишком
Цвел — по зарослям — по книжкам
Заживо запропащу,
Вымыслами опояшу,
Мнимостями опушу...

1922

* *
*

Здравствуй! Не стрела, не камень!
Я! — Живейшая из жен —
Жизнь. — Обними руками
В твой невыспавшийся сон.
Дай! (На языке двуостром:
На! — Двуострота змен!)
Всю меня в простоволосой
Радости моей прими!
Льни! — Сегодня день на шкуре,
Льни! — на лыжах! — Льни! — льяной!
Я сегодня в новой шкуре,
Вызолоченной, седьмой!
Мой! — и о каких наградах
Речь, когда в руках, у рта
Жизнь — распахнутая радость
Поздороваться с утра!

1922

* *
*

Ищи себе доверчивых подруг,
Не выправивших чуда на число,
Я знаю, что Венера — дело рук,
Ремесленник — я знаю ремесло!
От высокаторжественных немот
До полного поправки души:
Всю лестницу божественную — от:
Дыхание мое — до: не дыши!

Июнь 1922 г.

* *
*

Золото моих волос
Тихо переходит в седесть.
— Не жалейте! — Все сбылось,
Все в душе слилось и спелось,
Спелость — как вся даль слилась
В тонущей трубе окраины.
Господи! — Душа сбывлась:
Умысел твой самый тайный.

Сентябрь 1922 г.

СЕДЫЕ ВОЛОСЫ

Это — пеплы сокровищ:
Утрат, обид,
Это пеплы, пред коими
В прах — гранит,
Голубь голый и светлый,

Не живущий четой,
Соломоновы пеплы
Над великой тщетой,
Беззакатного времени
Грозный мел.
Значит — бог в мои двери —
Раз дом сгорел!
Не удушенный в хламе,
Снам и дням господни,
Как отвесное пламя —
Дух — из ранних сединок!
И не вы меня предали,
Годы, в тыл!
Эта седесть — победа
Бессмертных сил.

1922

ОБЛАКА

Перерытые, как битвой,
Взрыхленные небеса.
Рытвинами — небеса.
Битвенные — небеса.
Перелетами, как хлестом,
Хлестанные табуны.
Взблестывающей Луны
Вдовствующей — табуны!

1923

ТАК ВСЛУШИВАЮТСЯ...

...Так вслушиваются (в исток
Вслушивается — устье).
Так вноживаются в цветок:
Вглубь — до потери чувства!
Так в воздухе, который синь, —
Жажда, которой дна нет.
Так дети в синеве простынь
Всматриваются в память.
Так вчувствовывается в кровь
Отрок — доселе лотос.
...Так влюбляются в любовь:
Втягиваются в пропасть.

1923

* *
*

Строительница струн — приструню
И эту. Обожди
Отчаиваться! (В сем июне
Ты плачешь, ты — дожди!)
И если гром у нас на крышах,
Дождь — в доме, ливень — сплошь —
Так это ты письмо мне пишешь,
Которого не шлешь.
Ты дробью голосов ручьевых
Мозг борздишь, как стих.
(Вместительнейший из почтовых
Ящиков — не вместит!)
Ты, лбом обозревая дали,
Вдруг по хлебам — как цеп
Серебряный... (прервать нельзя ли?)
Дитя! Загубишь хлеб!)

1923

ПИСЬМО

Так писем не ждут,
Так ждут — письма.

Тряпичный лоскут,
 Вокруг тесьма
 Из клея. Внутри — слово.
 И счастье. — И это все.
 Так счастья не ждут,
 Так ждут — конца:
 Солдатский салют —
 И в грудь — свинца
 Три дольки. В глазах красно.
 И только. — И это все.
 Не счастья — стар! —
 Цвет — ветер сдул!
 Квадрата двора
 И черных дум.
 Квадрата письма:
 (Чернил и чар!)
 Для смертного сна —
 Никто не стар!
 Квадрата письма.

Август 1923 г.

* *
 *

...Глазами казенных,
 Глазами сирот и вдов —
 Засады казенных
 Немыслящихся домов,
 Натянутый провод
 Веревки, рубашки взлет.
 И тайная робость:
 — А кто-нибудь здесь... живет?

Прага, август 1923 г.

* *
 *

Ты, меня любивший фальшью
 Истины — и правдой лжи,
 Ты, меня любивший — дальше
 Некуда! — За рубежи!
 Ты, меня любивший дольше
 Времени. — Десницы взмах! —
 Ты меня не любишь больше:
 Истина в пяти словах.

Декабрь 1923 г.

ДЕРЕВЬЯ

*

Купальщицами, в легкий круг
 Сбитыми — стаей
 Нимф-охранительниц — и вдруг,
 Гривы взметая
 В закинутость лбов и рук
 — Свиток развитый!
 В пляске, кончающейся вдруг
 Длинную руку на бедро...
 Взмахом защиты...
 Вытянув выю...
 — Березовое серебро,
 Ручьи живые!

*

Други! Братственный сон!
 Вы, чьим взмахом сметен
 След обиды земной,
 — Лес! — Элизим мой!

В громком таборе дружно
 — Событыльница душ —
 Кончу, трезвость избрав,
 День — в тишайшем из братств.
 Ах, с топочущих стогн
 В легкий жертвенный огонь
 Рош! В великий покой
 Мхов! В струение хвой...
 Древа вещая весть!
 Лес, вещающий: Есть
 Здесь, над сбродом кривизн —
 Настоящая жизнь,
 Где ни рабств, ни уродств,
 Там, где все во весь рост,
 Там, где правда видней:
 По ту сторону дней...

*

Не краской, не кистью!
 Свет — царство его, ибо сед.
 Ложь — красные листья:
 Здесь свет, попирающий цвет.
 Цвет, попраный светом.
 Свет — цвету пятою на грудь.
 Не в этом, не в этом
 ли тайна, и сила, и суть
 Осеннего леса?
 Над тихору заводью дней
 Как будто завеса
 Рванулась — и грозно за ней...
 Как будто бы — сына
 Проводишь сквозь ризу разлук —
 Слова: Палестина
 Встают и Элизим вдруг.
 Струенье... сквозенье...
 Сквозь трепетов мелкую вязь —
 Свет смерти блаженной
 И — обрывается связь.
 Осенняя — седость.
 Ты — гётевский апофеоз!
 Здесь многое спелось,
 А больше еще — расплелось.
 Так светят седины:
 Так древние главы семьи
 Последнего сына,
 Последнейшего из семи —
 В последние двери —
 Простертым свечением рук...
 (Я краске не верю!
 Здесь пурпур — последний из слуг!)
 ...Уже и не светом:
 Каким-то свечением светясь...
 Не в этом, не в этом
 ли... и обрывается связь.

Так светят пустыни.
 И, больше сказав, чем могла:
 Пески Палестины,
 Элизима купола...

*

Кто-то едет — к смертной победе.
 У деревьев — жесты трагедий:
 Иудей — жертвенный танец!
 У деревьев — трепеты таинств.
 Это — заговор против века:
 Веса, счета, времени, дробы...
 Се — разодранная завеса:
 У деревьев — жесты надгробий...
 Кто-то едет. Небо — как въезд.
 У деревьев — жесты торжеств.

1922—1923

ЛИСТЬЯ

Каким найдем,
Какими истинами,
О чем шумите вы,
Разливы лиственные?
Какой неистойвой
Сивиллы таинствами —
О чем шумите вы,
О чем беспамятствуете?
Что в вашем веянье?
Но знаю — лечите
Обиду Времени
Прохладой Вечности.
Но юным Гением,
Восстав, пророчите
Ложь лицемерия
Перстом Заочности.
Чтоб вновь, как некогда,
Земля — казалась нам.
Чтобы — под веками
Свершались замыслы!
Чтобы монетами
Чудес — не чваниться!
Чтобы — под веками
Свершились таинства!
И прочь от прочности!
И прочь от срочности!
В поток! — В пророчества
Речами косвенными...
Листва ли — листьями?
Сивилла — выстонала?
...Лавины лиственные,
Руины лиственные...

1923

ДУША

Выше! Выше! Лови — летчицу!
Не спросившись лозы отческой, —
Нереидою — по-лощется,
Нереидою в ла-зурь!
Лири! Лири! Хвалынь синяя!
Полыхание крыл в Скинии!
Над мотыгами и спинами
Полыхание двух буре!
Муза! Муза! Да как смеешь ты?
Только узел фаты веющей!
Или ветер станиц — шелестом
О страницы — и смыв, взмыл...
И покамест — счета — кипами,
И покамест — сердца — хрипами,
Закипание — до — кипени
Двух вспененных — креписы! — крыл.
Так, над вашей игрой крупной
(Между трупами — и — куклами!)
Не ошупана, не куплена,
Полыхая и пля-ша —
Шестикрылая, ра-душная,
Между мнимыми — ниц! — сушая,
Не задушена вашими тушами —
Ду-ша!

1923

* *

*

Если душа родилась крылатой,
Что ей хоромы — и что ей хаты!
Что Чингиз-хан ей и что — Орда!
Два на миру у меня врага,
Два близнеца неразрывно — слитых:
Голод голодных — и сытость сытых.

ОФЕЛИЯ

На назначенное свиданье
Опоздаю. Весну в придачу
Захвативши, приду седая.
Ты его высоко назначил!
Буду годы идти — не дрогнул
Вкус Офелии к горькой руте! —
Через горы идти — и стогны,
Через души идти — и руки.
Землю долго прожить! Трушоба —
Кровь, и каждая капля — заводь.
Но всегда стороной ручьевою —
Лик Офелии в горьких травах.
Той, что, страсти хлебнув, лишь ила
Нахлебалась! — Снопом на щебени!
Я тебя высоко любила:
Я себя схоронила в небе!

Июнь 1923 г.

ОФЕЛИЯ — В ЗАЩИТУ КОРОЛЕВЫ

Принц Гамлет! Довольно червивую залежь
Тревожить!.. На ниву взгляни!
Подумай о той, что — единого дня лишь —
Считает последние дни.
Принц Гамлет! Довольно тигрицыны недра
Порочить!.. Не девственным — суд
Над страстью. Тяжеле виновная — Федра:
О ней и поныне поют.
И будут!.. А Вы с Вашей примесью мела
И тлена!.. С костями злословь.
Принц Гамлет! Не вашего разума дело
Судить воспаленную кровь.
Но если!.. Тогда берегитесь! Сквозь плиты —
Ввысь — в опочивальню — и влады! —
Своей Королеве встаю на защиту:
Я, Ваша бессмертная страсть.

1923

ДИАЛОГ ГАМЛЕТА С СОВЕСТЬЮ

— На дне она, где ил
И водоросли... Спать в них
Ушла, — но сна и там нет!
— Но я ее любил,
Как сорок тысяч братьев
Любить не могут!

— Гамлет!

На дне она, где ил,
Ил! — И последний венчик
Всплыл на приречных бревнах...
— Но я ее любил
Как сорок тысяч...
— Меньше.

Все ж, чем один любовник.
На дне она, где ил.
— Но я ее —

(не доуменно)

— Любил??

Июнь 1923 г.

* * /

*

Рано еще — не быть:
Рано еще — не жечь!
Нежность! Жестокий бич
Потусторонних встреч.

Как глубоко ни льни,
 Небо — бездонный чан:
 О, для такой любви —
 Рано еще — без ран!
 Ревностью жизнь жива!
 Кровь вожделет течь
 В землю. — Отдаст вдова
 Право свое — на меч?
 Ревностью жизнь жива!
 Благословен ущерб
 Сердцу! — Отдаст трава
 Право свое — на серп?
 Тайная жажда трав...
 Каждый росток: «сломи»...
 До лоскута раздав,
 Раны еще — мои!
 Оторвалась от ртов.
 Не отреклась от ран.
 Рано еще — для льдов
 Потусторонних стран.

1923

ЗАОЧНОСТЬ

Кастальскому току,
 Взаимность, затворов не ставы!
 Заочность: за оком,
 Лежащая, вящая явь,
 Заустно, заглазно,
 — Как некое верхнее «ля» —
 Меж ртом и соблазном
 Версту расстояния для...
 Блаженны длинноты,
 Широты забвений и зон!
 Пространством, как нотой,
 В тебя удаляясь, как стон.
 В тебя удлиняясь,
 Как эхо в соборную грудь,
 В тебя ударяясь:
 Не видь, и не слышь, и не будь —
 Не надо мне белым
 То черному — мелом доски!
 Почти за пределом
 Души, за пределом тоски —
 ..Словесного чванства
 Последняя карта сдана.
 Пространство, пространство,
 Ты нынче — глухая стена!

4 августа 1923 г.

КРИК СТАНЦИЙ

Крик станций: останься!
 Вокзалов: о, жалость!
 И крик полустанков:
 Не Дантов ли
 Возглас:
 «Надежду оставь!»
 И крик паровозов,
 Железом потряс
 И громом волны океанской.
 В окошечках касс
 Ты думал — торгуют пространством?
 Морями и сушей?
 Живейшим из мяс:
 Мы мясо — не души!
 Мы губы — не розы!
 От нас? — Нет — по нас
 Колеса любимых увозят!
 С такой и такой-то скоростью в час,
 Окошечки касс.

Костяшечки страсти игорной,
 Прав кто-то из нас,
 Сказавши: любовь — живодерня!
 «— Жизнь — рельсы! Не плачь!»
 Полотна — полотна — полотна...
 (В глаза этих кляч
 Владельцы глядят неохотно).
 «Без рва и без шва
 Нет счастья. — Ведь с тем покупала»,
 Та швейка права.
 На это смолчавши: «Есть шпалы»,

1923

ЖИЗНИ

В седину — висок,
 В колею — солдат.
 — Небо! — морем в тебя окрашиваюсь.
 Как на каждый слог —
 Что на тайный взгляд
 Оборачиваюсь.
 Охорашиваюсь.
 В перестрелку — скиф,
 В христопляску — хлыст.
 — Море! — Небом в тебя отваживаюсь.
 Как на каждый стих —
 Что на тайный свист
 Останавливаюсь,
 Настораживаюсь!
 В каждой строчке: стой!
 В каждой точке — клад.
 — Око! — Светом в тебе расслаиваюсь.
 Расхожусь. Тоской
 На гитарный лад
 Перестраиваюсь.
 Перекраиваюсь.
 Не в пуху — в перо
 Лебедином — брак!
 Браки разные есть, разные есты!
 Как на знак тире —
 Что на тайный знак
 Брови вздрагивают —
 — Заподазриваешь?
 Не в чаю спитом
 Славы — дух мой креп.
 И казна моя — немалая есты!
 Под твоим перстом,
 Что господень хлеб,
 Перемалываюсь.
 Переламываюсь.

1925

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

...И не жалость — мало жил,
 И не горечь — мало дал, —
 Много жил — кто в наши жил
 Дни, все дал — кто песню дал.

Январь 1926 г.

ИЗ ЦИКЛА «СТОЛ»

Обидел и обошел?
 Спасибо за то, что — стол
 Дал, стойкий, врагам на страх —
 Стол — на четырех ногах.
 Упорства. Скорей — скалу
 Своротилы! И лоб — столу
 Подстатный, и локоть — под,

Чтоб лоб свой держать, как свод,
 — А прочего дал в обрез?
 А прочный, во весь мой вес,
 Просторный — во весь мой бег,
 Стол — вечный — на весь мой век!
 Спасибо тебе, Столяр,
 За доску — во весь мой дар,
 За ножки — прочней химер
 Парижских, за вещь — в размер.

1933

САД

За этот ад,
 За этот бред —
 Пошли мне сад,
 На старость лет,
 На старость лет,
 На старость бед:
 Рабочих — лет,
 Горбатых — лет...
 На старость лет
 Собачьих — клад:

Горячих — лет,
 Прохладный сад...
 Для беглеца
 Мне сад пошли:
 Без ни лица,
 Без ни души.
 Сад: ни шажка!
 Сад: ни глазка!
 Сад: ни смешка!
 Сад: ни свистка!
 Без ни ушка
 Мне сад пошли.
 Без ни душка!
 Без ни души!
 Скажи: — Довольно муки, — на
 Сад — одинокий, как сама!
 (Но около и сам не стань!)
 — Сад — одинокий, как ты сам,
 Такой мне сад на старость лет
 — Тот сад? А может быть —
 тот свет? —
 На старость лет моих пошли —
 На опущение души.

1934

М. Тихомирова

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ

В. Е. БОРИСОВА-МУСАТОВА

В одном из залов Третьяковской галереи есть небольшая картина, у которой невольно останавливаешься.

Мягкое холодное сияние осеннего дня. Золотой куст орешника на высоком обрыве, где склоняются ветви плакучих берез и ажурная, уже побуревшая листва рябин. Внизу, в просвете между серо-сиреневыми стволами и пожухлой зеленью, видна холодная река, а за ней тонут в лиловой дымке широчайшие дали.

Кажется, эта акварель впитала в себя не только бесконечное разнообразие цветовой гаммы осенней природы, не только ощущение бескрайности холодных осенних далей, но и запахи прелых листьев и само дыхание русской осени.

Это «Куст орешника» В. Е. Борисова-Мусатова, написанный им в Тарусе осенью 1905 года — одно из последних произведений этого своеобразного художника, чье творчество еще не получило должной оценки.

Он много писал в Тарусе. И каждый из этих осенних этюдов поэтичен, тонок и выразителен. Сумрачные ветлы, светлые березы над Окой, теряющие листву кусты близ маленького балкона — все это образы, навеянные ежедневной прогулкой от дома к дальнему обрыву, то, что окружало его здесь в ту, последнюю осень его жизни.

В октябре он здесь жил в маленьком доме, недалеко от Оки. Невысокая, изуродованная горбом фигурка с длинными руками, большая, глубоко ушедшая в плечи голова и глаза мечтателя, под высоко поднятыми бровями, добрые и внимательные, зоркие к красоте окружающего мира. Таким изображен он в замечательном скульптурном портрете А. Т. Матвеева, выполненном любовно и беспощадно. Таким видели его с этюдником над Окой. Он недолго жил в Тарусе — всего только с марта по октябрь 1905 года. Скончался он 25 октября внезапно. Его могила — тут же, на высоком берегу Оки, под плакучими березами. В 1911 году на

ней установлен гранитный памятник работы А. Т. Матвеева — саркофаг с фигурой лежащего мальчика.

О Борисове-Мусатове написано очень мало — всего несколько журнальных и газетных статей при его жизни. А после его смерти появились только две небольшие монографии о нем: в 1906 году — В. К. Станюковича и в 1915 году — Н. Н. Врангеля, и обе они не дают ясного представления о его творческом пути. В. К. Станюкович, ближайший друг Борисова-Мусатова, бережно сохранивший его переписку, заметки, черновые наброски, уже в 1930 г. значительно пополнил и переработал свою монографию, но она осталась в рукописи. (Архив Станюковича вместе с документами Борисова-Мусатова сейчас находится в Ленинградском Русском музее.) А интереснейшее художественное наследие Борисова-Мусатова ждет еще своих исследователей.

Его произведения в основном сосредоточены в музее Саратова, города, где он прожил большую часть своей короткой жизни, в Третьяковской галерее и в Русском музее. Конечно, наследие это очень неравномерно. Во многих вещах есть и туман символизма, и налет неприятно томной, унылой слащавости — дань декадентским веяниям того времени. Но в своих лучших работах, особенно в композиционных пейзажах, таких, как «Весна», «Куст орешника», он добивается подлинного синтеза русской природы. Эти пейзажи обладают такой силой воздействия, которая свойственна только глубоко искренним и подлинно мастерским произведениям искусства. Жизнь художника оборвалась рано. Он умер 35 лет, оставив незавершенными большие и разнообразные творческие замыслы, по существу только прикоснувшись к тому, что он еще мог создать. Его произведения и письма несут печать юношеской мягкой мечтательности. И, может, именно поэтому скульптор А. Т. Матвеев, хорошо знавший и любивший Борисова-Мусатова, поместил на его могиле, под тарусскими плакучими березами, символ юности — фигуру мертвого



А. Т. МАТВЕЕВ. Скульптурный портрет
В. Е. Борисова-Мусатова

мальчика (хотя «сюжетом» для памятника явилось спасение художником тонущего в Оке мальчика, ребенка, которому так и не удалось вернуть жизнь).

Но все же Борисов-Мусатов успел сказать в искусстве свое слово и сказать его убедительно. Эти несколько писем и рисунков расскажут о Борисове-Мусатове его языком и заставят лучше понять его как художника и как человека.

Толстая тетрадь в потертом сером картонном переплете. Уже чуть пожелтевшие страницы сплошь заполнены карандашными набросками, беглыми короткими заметками.

Это тетрадь только для себя. Здесь и списки художественных материалов, и учебные задания, и строчки любимых стихов, и различные записи для памяти. Некоторые из них разобрать нелегко. Мелкий почерк порой так стремителен, что отдельные строчки растягиваются в лежащие волнистые линии. А кое-где на полях с детской тщательностью и наивным шегольством бисерными буквами выведено: «Виктор Ельпидифорович Борисов-Мусатов» и росчерки, и виньетки...

Эта тетрадь начата в 1888 году восемнадцатилетним юношей, еще ничего не видевшим, кроме родного Саратова, и закончена через 3—4 года уже учеником Московского училища живописи и ваяния накануне перехода в Академию художеств, к знаменитому художнику-педагогу Чистякову.

Но, видимо, эта тетрадь не сопутствовала Борисову-Мусатову в его странствиях. Она лежала в маленьком родительском доме на пыльном саратовском Плац-параде и ждала его приезда на каникулы. Об этом говорят рисунки на ее страницах. Они свидетельствуют еще и о том, что дома внимательно относятся к юному художнику, и мать, и обе сестры терпеливо позируют ему для его еще неуверенных набросков, хотя для них это непривычно: в семье у них еще никто не был причастен к искусству.

Отец художника — бывший крепостной помещика Шахматова — до двадцати лет был неграмотным, и нелегко ему было стать скромным служащим в управлении Рязанско-Уральской железной дороги, нелегко было приобрести этот маленький домик в Саратове, откуда его сын отправляется в свой, такой несхожий с отцовским жизненный путь. И отец всячески поддерживает сына, тем более, что он с детства хрупок, слаб и особенно нуждается в этой поддержке.

В альбоме Борисова-Мусатова среди рисунков самой ранней поры есть набросок карандашом с подписью «На этюды», где изображены две мальчишеские фигурки с этюдниками в руках, идущие по дороге. Одна из этих фигурок очень мала, и через плечо у нее перекинут плащ. Здесь молодой художник изобразил себя. А плащ, который впредь станет неперменной принадлежностью всех его автопортретов, прикрывает горб, изуродовавший его еще в раннем детстве. Но горб не довлеет ни над его сознанием, ни над его творчеством, светлым и лирическим, пронизанным глубоким ощущением красоты русской природы, постоянными поисками плавных линий, наиболее выразительной цветовой гаммы.

До всего этого еще далеко в его юношеской тетради. На первый взгляд даже кажется, что в ней ничто еще не предвещает того глубоко своеобразного художника, каким проявит себя Борисов-Мусатов в своих кавказских этюдах 1894 года, всего через несколько лет после этих робких и неуверенных эскизов жанровых сцен, заполняющих страницы 1889—1890 годов.

Но вот набросок пером: головка молодой девушки, плавное склоненная, она уже напоминает о той особой светлой задумчивости и милой серьезности, которые свойственны женским образам зрелых картин Борисова-Мусатова, а легкий и тонкий по светотени этюд куста обыкновенного репейника предвещает его удивительное свойство остро образно воспринимать любое явление природы.

Но это только самое преддверие пути художника. И путь этот был нелегким, но давшим ему счастье. Он писал:

«Знаете ли вы, в чем заключается истинное счастье человека? Я это счастье нашел. Оно живет в труде. Все остальное — пустота. Счастье, которое дает творчество во всех его видах, есть самое величайшее счастье человека...»
(Из чернового письма Борисова-Мусатова неизвестному. Август 1899 г.)

А вот черновые записи 1900 года. Их сделал уже профессиональный художник, ставящий перед собой вполне определенные задачи.

За спиной годы учения в Париже, где он работал в мастерской Кромона, прекрасного рисовальщика. Молодой художник увлекается импрессионистами, Боттичелли, Леонардо и Хокусай и работает по-своему.

«Мне кажется, что выражение художественной идеи... должно сопутствовать данному сюжету и потому выполнение должно быть разное. Ко-

ично форма в соединении с колоритом. Т. е. чтобы не только общая гармония, но и каждый штрих говорил о главном, даже сам по себе был отражением, повторением своего главного. Я преследую субъективность передачи каждого настроения...»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 40, л. 10.)

«Сделать опыт над женской головой на воздухе не стесняясь яркости красок. Все лицо будет голубое, ярко-лиловое, зеленое...»

(Рук. Станюковича, запись относится к 1896 г. Русский музей, архив, ф. 27, д. 88.)

«Верен ли рисунок пропорции? Манера широкими общими пятнами, затем выделка деталей по рисунку. Отношение тонов между собой в натуре так ли как в этюде? Хотя бы и в том случае, если общий основной тон этюда не такой как в натуре, светлее или темнее. Красочность при верности тоновых отношений должна, может быть, пропасть и не есть ли она следствие того, что отношения тонов не выдержаны?»

Свет от чего зависит, от верного ли отношения цвета или силы тонов. Исходя из массы красочных тонов, приводишь их к общему тону, связывая их и умиряя их — или наоборот, от общего или скорей сказать, однообразного тона и постепенно вклеивать туда краски тонов, чтобы оживить его и не будет ли это раскрашиванием рисунка... От постепенного заканчивания, т. е. от последовательной выработки деталей, не пропадет ли общий тон этюда...»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 42, л. 5.)

Характерно, что главную свою задачу — цветовые решения — он как бы откладывает, упорно занимаясь только рисунком, добываясь плавности и красоты линий. Живописью он занимается сам, окончательно вернувшись в Саратов в 1898 году. Он много пишет в старинных усадьбах близ Саратова, передавая опять-таки в своем особом живописном восприятии их старые парки, населяя их задумчивыми и стройными женскими фигурами, находя для них особую плавность, почти текучесть линий. Они одеты в фантастические платья неизвестной эпохи, которые он придумывает сам. Историческая точность ему не нужна. Нужны светлые декоративные пятна на фоне зелени в различном освещении. Пятна должны иметь красивую форму. А лица он вообще не характеризует, решая чисто декоративные задачи. И персонажи его живут в картинах, как цветы или деревья, как часть общего рисунка ковра или gobelena. Вместе с тем, его вещи эмоциональны. Он добивается этого цветом и светом, избегая какого бы то ни было сюжетного решения в композиции.

Лучшее его произведение этого времени — «Весна». Воздушная бледно-розовая пена цветущей яблони и удаляющаяся фигура девушки в светлом платье, зеленая, молодая трава вокруг.

Борисов-Мусатов уже приобретает известность. Он связан с Московским товариществом художников, выставляется на выставках. Мечтает выставить свои вещи в Париже.

В Саратове вокруг него собирается небольшой кружок любителей искусства. Среди них — его биограф В. К. Станюкович с женой Надеждой Юрьевной, которая постоянно позирует художнику вместе с постоянной моделью — его младшей сестрой. Родители его уже умерли, и он «саратовский домовладелец». Живет на ничтожные средства, получаемые от сдачи в наем квартиры, так как вещей его не покупают. Но он счастлив. Он любит жизнь, и он — художник. Это — главное. Ему, горбуну и калеке, принадлежат эти строчки:

«Я у открытого окна. Сумерки начинают сгущаться. Аромат сирени все сильнее охватывает меня. Чувствую избыток энергии и радости при бесконечном любовании весенней жизнью. Мне хочется все это писать, писать, писать...»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 42, № 55.)

В 1902 году он вводит в дом молодую жену — давно уже любимую девушку, тоже художницу. Это Елена Владимировна Александрова. Ее он написал в своем чудесном «Водоеме», где ему удалось с покоряющей силой выразить ощущение свежести и тишины старинного парка в сияющий летний день.

Но постепенно Саратов сгонившись нестерпимым. В 1903 году Борисов-Мусатов решает круто изменить свою жизнь. И стремление его вырваться из душной обстановки провинциального города так велико, что он наспех перезакладывает уже заложенный дом и с двумя сотнями в кармане, но с большими творческими планами переезжает в Подольск, ближе к Москве.

В Саратове остаются Станюковичи, с ними расставаться грустно. Впереди — полная неизвестность. Он пишет друзьям:

10 декабря 1903 года

В. Е. Борисов-Мусатов — Н. Ю. и В. К. Станюковичам (черновик письма).

Подольск.

«Дорогие друзья!

Мне было очень грустно, когда я ехал из Саратова, и Елене тоже. Именно как-то жалко вас, там остающихся, и всего нашего общего. И мне лично даже грустно за наступающее, за неизвестность, куда я бросился, но теперь ничего — все прошло. Здесь так уютно, так свежо. И бодристость вновь охватила меня.. Мой адрес — Подольск, Зеленая улица, дом Лукьяновых, 31».

(Русский музей, архив, ф. В. К. Станюковича 27, д. 31.)

Он вновь полон творческих планов и с нетерпением ждет возможности поработать в новой области — фреске.

В. Е. Борисов-Мусатов — А. В. Щусеву (черновик письма).

«Дела свои в Саратове скоро кончаю и на днях, вероятно, буду свободен и уеду в Подольск.

Меня заинтересовал Ваш проект для Шереметева, я хотел бы участвовать в этой работе хоть немного, так как Вы и предполагали. Мне бы этого очень хотелось. Для меня здесь интересна не материальная сторона, а то, что я мог бы создать свой художественный материал вместе с Вашим проектом. Мой постоянный адрес — Подольск, Зеленая улица».

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 40, л. 13.)

В приведенном письме говорится о предположении Щусева украсить дом, заказанный ему Шереметевым, фресками. И Борисов-Мусатов с радостью берется за эту работу. Его стремление к фреске естественно, так как полностью отвечает характеру его дарования. В 1904 году он непрерывно работает над эскизами этих фресок. Это новый шаг вперед. Ему удается достигнуть в них и подлинно декоративной композиции и изысканно тонкой цветовой гаммы. Кроме того, здесь он, видимо, осознав свою постоянную ошибку слишком близкой постановки к зрителю декоративного Stoffажа, отодвигает женские фигуры в пышных платьях дальше от зрителя, они теперь только и исключительно декоративны. И в данных композициях это вполне закономерно.

Эти фрески, к сожалению, так и остались только в эскизах. Здесь художник, безусловно, нашел бы полное применение особенностей своего дарования и мог бы развернуть их в полную силу. Но горевать ему сейчас некогда. В 1904 году он выставляется в Париже, Берлине и Лейпциге. Там он имеет успех, хорошую прессу, находит новых почитателей. Возвращается в Подольск окрыленный успехом. Позже он получит очень дорогое для него письмо. Ему напишет из Парижа известный Лобр — «творец Версальских интерьеров», выражая восхищение его работами. И он ответит ему уже из Тарусы. Туда решено ехать весной, и первое упоминание о ней встречается в шуточной приписке какого-то письма.

В. Е. Борисов-Мусатов — неизвестной из Подольска. Без даты (черновик письма).

«...Я надеюсь, что Мария Николаевна исполнила свое обещание снять для меня «восхитительную садовую скамейку» в Тарусе...»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 40, л. 31.)

Уже с марта снят домик в Тарусе. Но кругом тревожно. Война. Станюковичи уезжают в госпиталь, на фронт. Вскоре Надежда Юрьевна, близкий друг Мусатовых, возвращается больной и потрясенной. Летом она умирает в психиатрической лечебнице, никого не узнавая, кроме Борисова-Мусатова. Этому грустному событию посвящено несколько писем друзьям... И тут же задуман «Реквием» — странная символическая композиция, посвященная покойной, которую Мусатов пишет уже в Тарусе и не успевает закончить. Центральная фигура этой композиции — умершая. Ее фигура и лицо еще дважды повторяются — справа и слева среди различных групп женщин. В этой композиции есть принципиально новое для Мусатова. Обычно его декоративные фигуры психологически никак друг с другом не связаны, никак друг к другу не относятся, здесь же впервые они выражают то или иное отношение к героине «Реквиема» — сочувственное или враждебное. И лица их не только намечены, но детально и выразительно охарактеризованы. Лицо покойной дано в трех разных поворотах, разное их выражение и даже возраст. Слева она идет молодой девушкой, справа — шепчет на ухо какой-то явно враждебной женщине, здесь она значительно старше. Центральная же фигура привлекает внимание необычным выражением, какой-то покойной отрешенностью.

Среди этюдов к этой картине есть рисунок сангиной, где изображена центральная фигура с закрытыми глазами. Рисунок мастерский, впечатляющий. Можно предположить, что он сделан непосредственно с покойницы, особенно если положить его боком. Тогда ясно видно, что это лицо лежащей и мертвой женщины. Потом была подыскана нужная поза, которая позволила не менять этого поворота головы и в стоячем положении фигуры. У нее открыты глаза, но общее выражение сохранено.

Конечно, это только предположение. Но Станюкович в своих воспоминаниях пишет, что покойницу хотели зарисовать, взяв для этого рисовальные принадлежности тут же в психиатрической больнице, у безумного Врубеля.

А если вспомнить слова Борисова-Мусатова в одном из писем: «Если б вы знали, как она была красива после смерти», — то предположение станет еще вероятнее. Во всяком случае «Реквием» при всей своей символической запутанности открывал новый этап в творчестве Борисова-Мусатова — стремление к психологической характеристике лиц и человеческих отношений.

Но всему этому уже не суждено было развиваться. В тревожные дни октября 1905 года он жил все еще

в Тарусе. Его письмо Бенуа показывает, что он живо реагировал на все события этих дней и даже мечтал о «Москве — столице Российской республики». И до самого конца остро воспринимал красоту окружающей природы. Он очень полюбил Тарусу. Ему было там хорошо. Об этом говорят и его последние этюды, и его последние письма.

В. Е. Борисов-Мусатов — неизвестным, 4 сентября 1905 г. (черновик письма). Таруса.

«Дорогие друзья!

Вот уже прошло две недели, а я боюсь сообщить вам печальную, тяжелую весть — Надежда Юрьевна скончалась 21 августа... Она вас всех очень любила и мечтала еще пожить вместе ради нашего искусства. Я и Елена Владимировна убиты ее смертью. Она болела все лето и несмотря на все наши усилия ее спасти ничто не помогло... У меня все лето пропало бесплодно. Прожил хорошее время в Москве, думал спасти ее. Расстроен сам и теперь нездоров, сижу в Тарусе на даче и отдыхаю. Я уже не говорю как я несчастлив потерять такого друга, как Н. Ю... На ее могиле, на простом деревянном кресте написано «Сестра милосердия Надежда Юрьевна Станюкович»... Если б вы знали, как она была красива после смерти...»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 40, л. 40.)

В. Е. Борисов-Мусатов — Е. Е. Без даты (видимо, сентябрь, 1905 г.) (черновик письма).

«...Сижу в Тарусе и отдыхаю и прихожу в себя. Вспоминаю восторженное время, которое мы провели вместе в Пб. Получил как-то от Алекс. Ник. Бенуа очень милое письмо из-за границы. Он надеется, что я буду работать фрески в Москве, но мне опять не повезло — заказчик мой ступешался. Хотел я послать эскизы фресок в Париж, авторитетам, но половину продал Третьяковке, а остальные не стоит, хотя нахожу, что остались две лучшие, которые не хотел уступать. Ничего нет. Буду теперь работать».

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 24, л. 2.)

В. Е. Борисов-Мусатов — М. Е. Букинику 15 сентября 1905 г. в Париж (черновик письма).

Таруса.

«Дорогой Михаил Евсеевич!

Ты меня прости, что я не пишу. После такого тяжелого события долго не могли прийти в себя и чувствовали себя скверно не только душевно, но и физически. Лечимся здесь, отдыхаем, но нет той бодрости, как бывало прежде, когда жили мыслью, что опять соберется наша тесная семья вместе, дома, счастливая, преданная нашему искусству и жизни. Где теперь все? Потеряли Надежду Юрьевну и словно все развалилось. Боюсь потерять и Владимира — что он будет, какой, не отстранится ли от нас, не уйдет ли замкнувшись в своем горе? Его спасти может только искусство. Ведь он теперь заболел, перестрадал, переродился, он не тот, но он художник. Ведь для меня она не умерла, потому что я художник. Нет, она даже живет теперь как-то ярче. И я напишу ее еще так, чтобы она никогда не умерла и для него... Как она хотела жить, как она любила искусство, как не хотела умирать...»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 12, л. 3.)



В. Е. БОРИСОВ-МУСАТОВ. „Реквием“. Масло. Экспозиция Третьяковской галереи

В. Е. Борисов-Мусатов — А. Н. Бенуа
осень 1906 г.
(черновик письма).

«...Бесконечная мелодия, которую нашел Вагнер в музыке, есть и в живописи. Эта мелодия есть в меланхолиях северных пейзажей у Грига, в песнях средневековых трубадуров и романтизме нашей родной русской тургеневщины. Во фресках этот лейтмотив — бесконечная, монотонная, бесстрастная, без углов линия. Мне так чудится, а выразить это можно не в эскизах, а только на больших пространствах, на стенах. Будет ли это когда-нибудь?»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 40, л. 18.)

Е. Кругликова — Борисову-Мусатову
в Тарусу 9 марта 1905 г.

«Спешу Вас уведомить, что В (картина «Водоём») прибыла, наконец. Сегодня отправлены 6 вещей в Салон Марсова поля, а завтра отправляются 8 вещей в Салон Independence. Поздравляю с успехом продажи Гобелена и Водоема. Желаю от души дальнейших успехов. Привет. Дружески Е. Кругликова».

6 августа 1905 г.

«...знаете ли Вы, что Осенний Салон открывается 20 октября н. с., а картины надо представить к 20 сентября. Выслали ли Вы «Призраки»? Об остальных мы с Кузнецовым сделали распоряжения и их пошлют из кружка.

Е. Кругликова».

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 55.)

В. Е. Борисов-Мусатов — А. Н. Бенуа
9 октября 1905 г.
Таруса (черновик письма).

«...Теперь я в Тарусе. В глуши. На пустынном берегу Оки. И отрезан от всего мира. Живу в мире грез и фантазий среди береговых рощ, задремавших в глубоком сне осенних туманов. Уже давно я слышал крик журавлей. Они пролетели куда-то на юг бесконечными рядами в виде треугольников... Крик их замер и только белка рыжая нарушает кружевные сновидения березовых рощ. Вы думаете я скучаю? У меня времени не хватает каждый день. Я создал себе свою жизнь».

Как-то странно так писать среди всеобщего смятения. Какие-то слухи долетают до меня. Какие-то дороги забастовали. Какие-то надежды. Какие-то ужасы. Нет ни писем, ни газет. Одни догадки. Одни слухи... Как странно. Давно ли я был в Москве, в столице Российской империи, но скоро буду в ней вновь, но уже в столице Русской республики! Как в сказке. Заснул. Проснулся. Прошло мгновение ока. А между тем сто лет уже пролетело. Повсюду жизнь. Повсюду свободные граждане...»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 40, л. 19—20.)

Обрывок черного письма неизвестному адресату. Без даты.

«...и мне жаль, что ты не можешь работать здесь. В этом царстве сказочной акварели. Иногда мне кажется, что я на дне морском и что это не березы, а какие-то подводные водоросли и кораллы. Жизнь московская так далека и время здесь остановилось точно на необитаемом остро-

ве. Нет ни солнца, ни луны, одни туманы и перламутровые дали таинственных подводных царств».

(Там же, л. 21.)

В завершение нашей публикации приведем отрывки из писем А. Т. Матвеева и дневника А. В. Остроумовой-Лебедевой о памятнике В. Е. Борисову-Мусатову в Тарусе.

А. Т. Матвеев — В. К. Станюковичу
23 июня 1910 г.

«...Теперь работаю скульптуру для Мусатова... Памятник Мусатова будет иметь вид саркофага, на крышке которого будет фигура в положении лежащем... Все это будет из гранита. Я уже заказал два таких камня здесь в Кикерине...»

17 июля 1910 г.

«Дорогой Владимир Константинович!

Этюд для памятника кончил и на днях при-мусь за камень. Приезжайте когда хотите, сейчас или через некоторое время, когда будет уж видна скульптура в камне. Был бы очень рад Вас здесь видеть».

31 октября 1910 г.

«Многоуважаемый Владимир Константинович!

Не так давно получил письмо от Е. В. Мусатовой по поводу памятника, с которого посылал ей фотографии, письмо с выражением удовольствия, чему я очень рад...

Я хотел бы для окончательного расчета получить 200 руб. — получено 700 — остается на перевоз и установку 100. Таким образом составляет 1000, как и было условлено с Е. В.»

12 мая 1911 г.

«...Напишите, пожалуйста, предпринимается ли что-нибудь с Мусатовским памятником?»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 102, лл. 1, 4, 5, 13.)

«Таруса 23 июля 1939 г.

Посетил могилу художника Борисова-Мусатова. Кладбище, на котором он похоронен... расположено недалеко от б. Воскресенской церкви на высоком берегу Оки, который очень крутым скатом падает к реке. Могила находится в правом углу кладбища, почти на самом краю обрыва... чуть левее, около нее двойная, развесистая береза. На могиле Борисова-Мусатова лежит тяжелый и довольно примитивно обработанный пьедестал и на нем, тоже из гранита, обнаженный мальчик.

Лежит он в какой-то беспомощной позе. Кажется, что он только что умер или тяжело болен. Лежит он на спине и ноги слегка согнуты в коленях и сдвинуты на сторону. Голова наклонена и тоже круто повернута к левому плечу. Черты неясны.

Может, художник Матвеев, исполнявший этот памятник, сделал его нарочно так лапидарно, а может быть, от времени гранит выветрился и черты и контуры стали неясны.

Прошло ведь много времени, как умер Борисов-Мусатов. Если не ошибаюсь — в 1905 году, не позже, так как в этом же году Дягилев, вместе с нашей выставкой Мира искусства, устроил и посмертную выставку Борисова-Мусатова — значит прошли 33 года с тех пор...

Когдаходишь к могиле, она рисуется на фоне неба, очень открытого зеленого горизонта с лесами, зеленеющими лугами и, под самой горой, прекрасной, бодро текущей Оки. Удивительно хорошо ему выбрано место покоя. Меня так и тянет туда посидеть.

Прекрасный, чарующий художник, который так тонко, с такой грацией наносил на холст свои видения».

(Гос. Публ. биб-ка им. Салтыкова-Щедрина, отдел рукописей, ф. А. П. Остроумовой-Лебедевой, 1015, д. 55, лл. 1—3.)

Из дневника А. П. Остроумовой-Лебедевой
Таруса 12 августа 1939 г.

«...Утром отправилась писать этюды. Чудесный овраг с ярко-зеленой травой, по его склонам растут березки, которые бросают на дно оврага красивые тени...

А здесь так удивительно красиво... Чудесная лесная дорога долго бежала между деревьями. Лес поредел. Почва усеяна ржавыми листьями. Ветки берез, орешника, ольхи и осины кажутся сине-зелеными, очень холодного тона, на фоне этих рыжих тонов почвы...

Я дошла до подошвы горы, где раньше было кладбище... Прощалась с могилой Борисова-Мусатова. В последний раз посмотрела на изваянную фигуру мальчика. Неплохо исполнено Матвеевым. За памятником — водная рябь, и волны, и блестящие Оки. Хорошее место. Я стояла у могилы и думала, думала... Благодарил художника за то наслаждение, которое он мне дал своим искусством. Какая жалость, что он так рано умер!»

(Гос. Публ. биб-ка им. Салтыкова-Щедрина, отдел рукописей, ф. А. П. Остроумовой-Лебедевой, 1015, д. 55, лл. 24, 27, 37.)

И. Бодров

ТАРУССКИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

Маленький город на Оке оказался средоточием многих художественных и научных коллекций, собранных различными писателями, художниками и учеными. Сейчас стоит вопрос о соединении собранного в единый Государственный музей Тарусы.

Год назад Николай Петрович Ракицкий в дар Тарусской средней школе принес несколько коллекций из домашнего музея, часть книг своей библиотеки и многое другое. В числе предметов, принесенных коллек-

ционером в дар школе, аквариум с экзотическими рыбами, набор уникальных столярных инструментов, ценные пособия по биологии — чучела фазанов, колибри, японского петуха, коллекция тутового шелкопряда.

Николай Петрович неоднократно предлагал создать в Тарусе музей с картинной галереей. Он выражает желание принести в дар музею города свои разнообразные коллекции, собранные за годы упорных поисков. Удивительно разнообразие его интересов.

Более тридцати лет разводит он в Тарусском саду на бывшем пустыре диковинные растения. Семена многих растений, например, актинидии, биологу-энтузиасту дал Иван Владимирович Мичурин.

Выращивать сад Николаю Петровичу помогала жена — писательница Софья Захаровна Федорченко, горячо любившая Тарусу и написавшая здесь трилогию «Павел Семигоров» и другие произведения. Ботанический сад, созданный Ракицким и Федорченко, тарусяне очень любят и гордятся им.

В прошлом году Николай Петрович подарил городу около шестисот плодов манчжурского ореха для того, чтобы развести его в здешних местах. Ученый передал также растения сахалинской гречихи.

Собирает и коллекционирует он и утварь русской старины, произведения живописи и декоративного искусства.

Н. П. Ракицкий далеко не единственный коллекционер, стремящийся отдать будущему музею Тарусы свои коллекции.

Наш город имеет славную многовековую историю. Долгие годы Таруса с крепостью была важным опорным пунктом на границе русских земель. Тарусская дружина храбро сражалась на Куликовом поле.

На территории Тарусского края жили или заезжали сюда художники Поленов, Васнецов, Левитан, Серов, Головин, С. В. Иванов, Борисов-Мусатов, Корвин, Крымов, Богородский, Ватагин, Свешников, Рачев, писатели Сумароков, Чехов, Алексей Толстой, Леонов, Касаткин, Макаренко и многие другие. Таруса — один из центров развития русской народной вышивки. Неподдалеку от Тарусы трудился талантливый русский ученый-изобретатель П. М. Голубицкий. С нашим городом связана жизнь героя гражданской и Отечественной войны генерала М. Г. Ефремова, выдающегося советского ученого В. З. Власова.

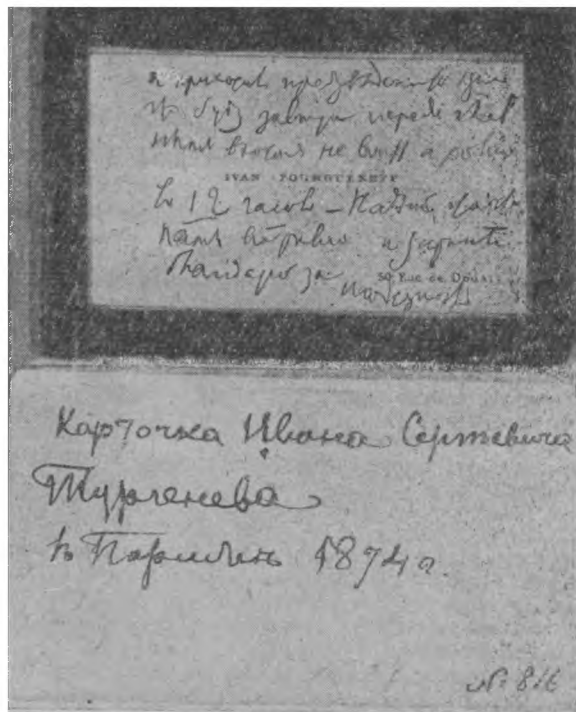
Да, для музея найдутся ценные экспонаты, которые будут непрерывно пополняться.

Выше рассказывалось о коллекции Ракицкого. Дирекция Калужского краеведческого музея согласна передать будущему музею герб Тарусы и другие экспонаты. Можно получить из Тульского музея зарисовки разрушений, причиненных Тарусе немецкими захватчиками. Эти зарисовки делал по заданию Комитета по делам искусств профессор живописи Н. Сахаров — уроженец Тарусы.

Юными краеведами Тарусской средней школы под руководством преподавателя истории Е. И. Дворсковой собраны в нашем районе коллекции окаменелостей животных мелового периода, гербарии дикорастущих трав. Вызвался передать музею свою коллекцию костей животных каменноугольного периода краевед хирург Тарусской больницы О. В. Шестаков.

Согласна передать картинной галерее музея несколько картин вдова художника Н. П. Крымова, певца Тарусской природы. Заслуженный деятель искусств Марийской АССР А. В. Григорьев завещал передать музею картины и этюды, подаренные ему в различное время великими мастерами русской живописи, а также работы, написанные им самим в Тарусе.

«Обязательно приму участие в создании Тарусского музея и представлю для него свои работы. Уверен,



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА И. С. ТУРГЕНЕРА

„Я приходил: предуведомить Вас, что буду завтра перед главным входом не в 11, а ровно в 12 часов. Надеюсь, что это вам все равно и заранее благодарю за любезность“. Фонд Дома-музея В. Поленова близ Тарусы.

(В оригинале старая орфография)

что музей будет подлинным очагом культуры в городе», — пишет в Тарусский РК КПСС профессор живописи Н. Сахаров.

«Горячо поддерживаю патриотическую идею создания в Тарусе краеведческого музея и картинной галереи, — сообщает секретарь правления Союза художников РСФСР А. Файдыш-Крандиевский. — Все члены нашей семьи художников (Н. Крандиевская, Л. Ольшеванская и я) передадут в музей свои произведения».

«С удовольствием подарю музею свои картины, написанные в Тарусе», — пишет художник профессор Г. Горошенко. — Также решили подарить музею свои тарусские работы художник профессор И. Чекмазов, его жена художница В. Фаворская, художник М. Митурич».

«С радостью передам музею свои работы, связанные с Тарусой», — сообщает заслуженный деятель искусств РСФСР художник В. Журавлев.

И таких писем, заявлений в райком КПСС, в редакцию районной газеты, в другие организации от художников, писателей, деятелей культуры, краеведов, лекционеров приходит много.

И мы верим, что в течение ближайшего года такой музей будет организован.

ЮРИЙ КРЫМОВ И ЕГО ПЕРВАЯ ПОВЕСТЬ

В памяти советских читателей Юрий Крымов остался как автор прекрасных повестей «Танкер «Дербент» и «Инженер»; в памяти друзей и товарищей — как человек удивительной духовной чистоты, мужества и высоких идей. Двадцать лет назад — 20 сентября 1941 года — Юрий Крымов у походного костра окруженной фашистскими полчищами дивизии был принят в партию. И в эту же ночь он остался с тремя лейтенантами на заслон; четверо на много часов задержали фашистское войнство, и около двухсот интервентов заплатили своей жизнью за жизнь четырех героев.

В конце войны на Полтавщине, в селе Богодуховке, объявились свидетели героической смерти Юрия Крымова. Обнаружено было и его тело, захороненное местными патриотами, а на груди, исколотое штыками и залитое кровью, письмо к жене — прекрасное свидетельство благородной любви к родине, посмертный голос замечательного художника. (Этот удивительный документ напечатан в книге: Юрий Крымов, Повести, Москва 1947 год.)

Юрий Крымов написал, кроме двух известных повестей, еще два интересных сценария и повесть «Подвиг». Сценарии не успели поставить до войны, а повесть «Подвиг» постигла странная судьба. Она при жизни автора так и не была напечатана, а затем рукопись затерялась. Через полтора десятилетия после смерти Юрия Крымова рукопись была найдена в Тарусе, которую так любил ее автор.

...Родился Юрий Крымов в 1908 году в Ленинграде, тогда — Петербурге. Его отец — Соломон Юльевич Куперман — возглавлял издательство «Шиповник»; мать — Вера Евгеньевна Беклемишева — была редактором, автором литературных записей, литературоведом. Семья была тесно связана с литературной жизнью тех лет. И с отцом, и с матерью будущего писателя дружили многие известные литераторы — Леонид Андреев, А. Серафимович, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, А. Куприн и другие.

Но родители разошлись, когда Юрий был еще совсем маленьким. Это сказалось на его судьбе да и на его характере. Мальчик очень рано стал совершенно самостоятельным и предпочитал жить отдельно от отца и матери. Еще школьником он самовольно отправился на Черное море и целое лето плывал юнгой на одном из кораблей. Следующее лето он проработал в Крыму мотористом в рыбацкой артели. Там, у полюбившихся ему берегов Крыма, и родился его литературный псевдоним — Крымов.

По окончании школы Юрий Беклемишев (после развода родителей он носил фамилию матери) поступил на физико-математический факультет Московского университета. По окончании курса его специальностью стало радио. Во время студенческой практики он несколько месяцев работал на танкерах Каспия, и это дало ему материал для повести, которая впоследствии его прославила.

Очень большое значение в жизни Юрия Крымова имела его жена. Человек медленно зреющих и непреходящих страстей, Юрий был однолюбом. Анна-Мария-Ирина Оскерко, сперва студентка института инженеров транспорта, а потом — инженер-мостостроитель, стала для него мерилом при решении всех вопросов жизни и литературы, идеалом и прототипом всех героинь его

произведений, начиная с «Танкера «Дербент». Мне не пришлось узнать родителей Ирины Оскерко (когда я познакомился с ней, они уже погибли), но Юрий неоднократно рассказывал мне, что это были гуманисты, борцы за правду и коммунисты в самом высоком смысле этого слова.

По окончании университета Юрий занялся научно-исследовательской работой. Его темой была очистка нефти при помощи электричества. О нем говорили тогда как о талантливом, многообещающем молодом исследователе. Но параллельно с этим Юрий упорно продолжал писать, его тянуло к художественной литературе. Он чувствовал к ней призвание.

Первая его повесть — «Подвиг» — обошла в свое время все редакции литературных журналов и не привлекла внимания. Та же участь постигла и «Танкер «Дербент». Лишь через год после того, как говорили тогда как о талантливом, многообещающем молодом исследователе. Но параллельно с этим Юрий упорно продолжал писать, его тянуло к художественной литературе. Он чувствовал к ней призвание.

Первая его повесть — «Подвиг» — обошла в свое время все редакции литературных журналов и не привлекла внимания. Та же участь постигла и «Танкер «Дербент». Лишь через год после того, как говорили тогда как о талантливом, многообещающем молодом исследователе. Но параллельно с этим Юрий упорно продолжал писать, его тянуло к художественной литературе. Он чувствовал к ней призвание.

Огромный успех этой повести, всенародное признание, правительственная награда не вскружили голову молодому писателю. Он долго отказывался от вступления в Союз писателей, считая это преждевременным. Одно произведение может вылиться у кого угодно, говорил он, для этого надо иметь лишь жизненный опыт, интерес к людям да еще умение записывать. А писатель — профессия, и он считал, что одним произведением нельзя доказать свою принадлежность к ней даже самому себе.

Мне вспоминается в связи с этим другой разговор с Юрием Крымовым. Это было в зените успеха «Танкера «Дербент». Я спросил, почему он курит дешевые папиросы «Басма», от дыма которых хочется бежать, и неужели что-нибудь получше ему не по средствам. «По средствам, — ответил он мне. — Но «Басма» — инженерские папиросы. А ведь еще неизвестно, писатель ли я. И несправедливо ненапечатанная повесть «Подвиг», и непомерный успех «Танкера «Дербент» в равной мере могут оказаться случайностью. Вот и не стоит отвыкать от «Басмы».

Крымов много думал о роли писателя в современности, о его обязанностях, о его долге. Он говорил, что, вероятно, это накладные расходы дилетантизма и с профессионалами-литераторами этого не бывает, но его волнует не тяжесть ноши, которая легла на плечи литератора, а недостаточность этой ноши, и ему кажется, что и ноша не всегда та, — ее могла бы тщательнее отобрать совесть художника. Писатель, говорил он, подчас бессилён вмешаться в конкретную человеческую судьбу, как бы сердце его ни обливалось кровью и как бы он ни страдал; но, сидя за письменным столом, он может своим произведением вмешиваться во все судьбы, может повысить вокруг себя общую меру совести и человеколюбия. Об этом он говорил и с трибуны во время обсуждения своей повести «Танкер «Дербент» на президиуме Союза писателей в 1938 году, когда Юрия Крымова приняли в члены Союза писателей:

«Путь писателя, как я теперь понял, это большой, трудный и увлекательный путь. Чтобы быть писателем, недостаточно быть объективным, беспристрастным наблюдателем жизни. Человек, который проходит по нашей жизни туристом, никогда не напишет картину. Он может дать фотографию действительности, он в лучшем случае подретуширует эту фотографию фантазией. Чтобы написать картину, нужно научиться любить и ненавидеть своих героев так же искренне, всей душой, как народ любит своих бойцов и мучеников и как умеет он ненавидеть всех предателей, выродков и мракобесов...»

И Крымов умел любить и ненавидеть, в трудном процессе поисков правильного пути лишь начинал формироваться большой; а может, и огромный талант писателя. Он погиб на поле боя, погиб героически в самом начале своего творчества.

...Юрий Крымов неоднократно возвращался к своей первой повести «Подвиг» (он назвал ее рассказом, хотя по объему, по сложности, по многообразию своего сюжетного развития это произведение—безусловно повесть). Перед самой войной, после обсуждения в Союзе писателей его повести «Инженер», Юрий Крымов говорил Ю. Либединскому, А. Крону и мне, что перечитал «Подвиг», думал переработать, но не увидел никакой необходимости что-либо с повестью делать, кроме весьма существенной литературной редакции. Но даже этого автор осуществить не успел, и повесть печатается в том виде, в каком он ее первоначально написал.

Нужно помнить, что «Подвиг» — первое произведение еще очень юного и совсем неопытного писателя. С горячностью и запалом молодости Юрий Крымов ставил и пытался решить в этой повести много острых и спорных проблем: о человеческой цельности, духовной чистоте, ханжестве и позоре доносов, полноте любви и, главное, о смысле подвига.

Для Юрия Крымова слова Горького, что жизнь — это деяние, были непреложной истиной. Герой повести — Костя — молодой летчик, совершил подвиг во имя дружбы, для спасения товарища. При этом его жестоко искалечило, и деяние стало навсегда ему недоступно, а следовательно, как утверждает он, бес-



ЮРИЙ КРЫМОВ. 1907—1941

цельной стала и жизнь. И пусть многое в повести Юрия Крымова покажется сегодня еще более спорным, чем четверть века назад, когда автор писал ее. Спор этот о важном и нужном, спор о том, какой же должна быть высокая мораль коммунистического человека.

Таруса.
1961

Юрий Крымов

ПОДВИГ

Рассказ

I

Плохо обернулось дело для Алексея Берзина... Ему хочется высказаться, но мешает засевший в голове усталый сумбур; горько во рту и вялыми перебоями колотится сердце.

Они лежат с братом Костей на дощатых мостках водной станции лицом к реке, и в двух шагах перед ними ослепительно дробится в воде опрокинутой солнечный диск. Доски помоста обмыла вода и прогрело солнце — оттого стали они гладкими, как полосы серой оберточной бумаги.

На помосте раскинулись тела разных оттенков — от орехового до нежно-розового, — скованные от зноя ленью. Только двое, покрытые алмазами водяных ка-

пель, неумоимо один за другим карабкаются на вышку и, прыгая оттуда, поднимают фонтан брызг, в которых мгновенно вспыхивают крохотные цветные радуги.

Костя протянулся, положил на скрещенные руки крупную голову. В углах губ собрались брезгливые недовольные складки. Он теряет терпение.

— Слушай, не мямли, — просит он раздраженно, — ничего нельзя понять. Сначала расскажи толком, потом будешь оправдываться.

— Сейчас. Подожди. Трудно, братец ты мой, такое дело... Так вот, приехал Гришка Рябчинский из отпуска и зашел ко мне в кабинет. Загорел он славно, этаким праздничным, смеется. Ну, на радостях проговорили мы о том, о сем, и только под конец вспомнил я, что

сегодня заседание парткома и мой вопрос на повестке. Рассказываю ему второпях, что, мол, меня выдвигают, а я отказываюсь. Говорю ему все откровенно, в полной уверенности, что уж кто-кто, а Гришка поддержит в такую минуту. И вдруг, представь себе, чувствую — ерунда какая-то. Улыбаётся натянуто, не глядя и этот осторожно начинает доказывать, что мне необходимо согласиться. Интересы института и так далее... Говорю: «Гришка, а работа? Ведь годы, понимаешь ли, годы... И не закончить, перейти на административную работу. Ну, разве не дико?» Спорю, доказываю, а он поджимает губы, и чувствую: стена какая-то, не прошибешь. И вдруг говорит: «Знаешь, Леша, если, говорит, ты собираешься поставить букву «я» первой в алфавите, то как хочешь, а работа твоя станет величиной с отрицательным знаком». Взорвало меня. «Баран, — говорю, — неужели не понимаешь, что такая работа требует всего человека. Причем тут алфавит?»

Костя кладет руку на плечо Алексея.

— Эх, как ты многословен, — качает он головой.

— Ну, хорошо, хорошо... — Алексей мигает виновато.

От жары липко во рту, он вертит языком, выжимая остатки слюны.

— Так и не договорились, пошли на заседание. Когда пришли... весь актив был уже в сборе. Сначала битых два часа обсуждали тематический план института. Устали, все до черта, а Гришка забился в угол — хоть бы слово. Переходим ко второму вопросу: обсуждение кандидатуры на пост замдиректора института. Секретарь оглашает единственную кандидатуру — меня то есть. Я, понятно, сразу прошу слова, — заявляю самоотвод. Не помню уже, что говорил, но, кажется, хорошо вышло, убедительно, хотя волновался немного. Только в конце не удержался, говорю: «О результатах моих работ известно не только в стенах института, а и...» А что, разве не верно?

Алексей краснеет, косясь на брата.

Костя глядит в сторону, усмехаясь нетерпеливо:

— Верно, верно, дальше.

— Ну, дальше — кончил я, начались прения. Чего только тут не говорили. И администратор-то я непревзойденный, и институт никто лучше меня не знает. Одним словом, как в басне «Лиса и ворона». Однако мое выступление произвело действие, и высказывались больше в таком духе, что жалко, мол, а ничего не поделаешь. Смущало только отсутствие другой подходящей кандидатуры. Но черт! Свет клином на мне что ли сошелся? Ну, ладно. Вот все высказались, а Гришка все молчит. Секретарь предлагает голосовать. Вдруг Гришка поднимается. Это было так неожиданно, что я уж что-то ничего не помню... Знаешь, когда бьют по башке, трудно считать удары. Как всегда, говорил он, точно лыко драли, и, помнится, начал так: «Все знают мои отношения с Берзиным. Вместе росли, вместе на фронте, вместе учились. Думаю, мне легче судить, чем другим»... и дальше что-то невероятное. Слышу, говорит: «...сумасшедшее честолюбие... во сне мечтает об известности...» и потом, да... потом он сослался на один наш разговор... да, постой... это ведь при тебе, кажется, было... я говорил тогда, что мой научный успех есть одновременно успех партии... Помнишь?

— Помню. Дальше.

— Ну, так вот эн исказил... ух, гадость какая. «Берзин, мол, говорит: партия — это я»...

Алексей морщится. Это выходит у него как-то жалко. Топоршата сросшиеся брови, слепо блещат стекла очков и собравшиеся на щеках морщинки наполняются стекающим потом.

Но Костя безжалостно подталкивает под локоть:

— Ну, что же дальше?

— Дальше говорит: «Иногда молодые способные коммунисты незаметно перерождаются в карьеристов.

Боюсь, у Берзина налицо симптомы такого перерождения. Поэтому настаиваю на поддержке кандидатуры. Берзину необходимо подышать иным воздухом... административная работа излечит...» и так далее... Ты только представь себе: Гришка в уголку дерет свое лыко, а кругом тихо, тихо; заинтересованно эдак все слушаю... Знаешь, как бывает, когда обличают кого... Смотрел я на Гришку, думаю: «Не удержится, оглянется». Не оглянулся, в землю смотрел, и лицо дергалось, нервничал. Не легко, верно, подлость-то делать...

Костя хмурится недовольно:

— Не кидайся словами, почему подлость?

— А-а! не подлость? Ну, а что же это такое?... что? Ты как называешь, интересно? — Алексей обиженно завозился, запотели стекла очков. Он снимает их, и обнаженные глаза щурятся беспомощно. Он долго копошится, протирая очки полотенцем.

— Погоди, — говорит Костя, — давай-ка, кончай сначала.

— Да что же, кончить недолго. Проголосовали единогласно, при одном воздержавшемся. И этот воздержавшийся — знаешь кто? Аспирант Захаров, молодой парень. Он в меня влюбился, считает восходящим светилом. Вот уж, как говорится: «Нашелся один, да и тот дурак...» Можешь, стало быть, поздравить.

Алексей отворачивается и остервенело плюет в воду.

— Ай да Гришка! — Костя с хрустом вытягивает на досках свое сухое буграстое тело, хмуро поигрывая желваками челюстей.

— Ну, что же ты теперь? — спрашивает он спокойно, и Алексея это обижает.

— Думаю подать заявление в райком, — говорит он, не глядя — о моем самоотводе там еще не знают. Во всяком случае сделать что-нибудь сейчас очень трудно.

— Так. Ну, а если и райком и МК утвердят, как тогда?

— Что за вопрос? Начну «согласовывать и увязывать» за милую душу. Из партии мне выходить, что ли?

— Да ты не лезь в пузырь. Я так просто спросил, — хитрит Костя. — Гришка — сволочь, конечно, только тут не так просто. Уверен, что он это искренне, всегдашняя его дурацкая подозрительность.

— Ах, да что мне в том, что искренне. Пойми ты — всю жизнь прожить вместе, знать друг друга, как мы, и вдруг... У меня застарелая неврастения от переутомления, я забыл, когда в последний раз в театре был... он не знает этого, что ли?

Он знает только, что я, Алексей Берзин, отказываюсь от предлагаемого административного поста. И заметь — все эти словечки и определенница: «карьерист», «перерождение» — все это он не выложил мне наедине, а как с врагом — внезапно, при всех. Не предостерег, а обличил.

Лоб и кончик носа Алексея покрылись мелким бисером пота. Капельки щекочут кожу, медленно высыхая. Потом смочена и щеточка волос надо лбом. Их осталось там совсем немного. И, думая, Костя рассеянно смотрит на эту блестящую продолговатую щеточку. Подумав, говорит:

— Очень неприятная история, очень. Только ты, братик, как говорится, того... не робь. Лучше всего представь себе, что Гришка умер, и точка.

Костино лицо уже совсем спокойно. Несколько мгновений Алексей чувствует настоящую неприязнь, глядя на это лицо.

— Тебе, я вижу, хоть бы что. Неужели не любишь его?

— Гришку-то? Как не любить, люблю, — отозвался Костя и неожиданно прибавил, — я сегодня буду у него.

— Это зачем?

— Необходимо. Условились.

— Ну, как хочешь. Только смотри — никакого заступничества. Слышишь?

— Слышу. — Костя отвечает нехотя, он, должно быть, думает о другом. Вот и всегда так: что бы ни случилось, сочувствует или нет — не поймешь.

Помолчав, Костя говорит:

— Между прочим, на днях проверочные полеты...

Слова эти сказаны обычным лениво-равнодушным Костиным тоном, но Алексей заинтересован.

— Уже?

— Да. Проверка штурманской подготовки и групповые полеты в строю.

— Ну, и как ты? Не боишься?

— Не боюсь. Не в этом дело, а вот отметить надо, — в первый раз Костя скупно улыбается и останавливает на брате немигающие глаза. — Ребята замышляют вечеринку, кажется, у Мартынова. Ты ведь его знаешь. Славный парень, отличный пилот... Не возражаешь?

— Что ж, с удовольствием.

Братья смотрят друг на друга, улыбаясь, и Костя хитро прищуривает один глаз. От недавнего чувства неприязни у Алексея не осталось и следа. «Нет, все-таки брат Костя славный»...

— Думаешь, я уж и не понимаю, что тебе поганю, — говорит он спокойно, — небось, понимаю, ну и... здоровые развлечения необходимы. Теперь вот купаться будем, пошли?

— Нет, ты иди, а я полежу, не хочется.

Костя поднимается, похрустывая занемевшими суставами, а Алексей грузно поворачивается на живот, подставляя спину солнцу. Скосив глаза, он наблюдает, как Костя поднимается по лесенке на вышку. На повороте он скрывается, слышно только, как скрипят под ногами сухие доски лестницы, потом он опять мелькает уже этажом выше. В последний раз он появляется на самом верху на упругой доске, выдающейся над водой. Он прогибается и поднимает над головой руки, как молящийся дикарь.

— Конта-а-а-кт!

— Есть контакт, — не задумываясь отвечает Алексей, хотя ему до сих пор не совсем понятен смысл этой авиационной команды.

Костя летит вниз. Тело его на мгновение мелькает в воздухе оранжевым, туго натянутым луком, и на месте его падения вырастает медленно оседающее облако брызг.

А Алексей уже отвернулся и ловит уплывающую мысль:

«Ушел Гришка Рябчинский, как видно, ушел накрепко... Оттого-то Костя и советует представить, что Гришка умер. Легко сказать...»

Как назло, сильна память на прошлое у Алексея Берзина, и ходит он все по той же Москве, где старые здания и переулки, еще не отступившие перед новым строительством, будоражат память. А в прошлом, с самого детства, всюду проходит Гришка, даже больше, чем Костя — младший брат.

Алексей знает, что многие из далекого пережитого было безрадостно коряво, но почему-то вспоминается оно с вожделением.

...В детстве охотили в церковную школу. Учили наизусть «Гибель Содома и Гоморры» и писали диктанты из книжки о примерном ученике. В переменах курили в уборной, а по дороге из школы били ледышками слободских ребят, норовя залепить в лицо. Летом ловили птиц в овраге за фабрикой и жарили на костре лягушек. Гришка как-то вычитал в книге, что французы едят лягушек. Решили попробовать. Поджаренные лягушечьи лапки подносили ко рту, но есть все-таки не решались.

Суконная фабрика была стержнем, вокруг которого вертелось детство. Сначала она только казалась самым главным — центром вселенной — внушала боязливое почтение. Потом она просто поглотила обоих, когда им было по пятнадцать лет. Работали в сукновальной. Там стоял сырой туман, и от сладковатого запаха преющей шерсти сначала немного мучило. Потом привыкли, и во время частых аварий двигателя ухитрились высыпаться, заваливаясь прямо на сырую шерсть.

Отца Алексей как-то проглядел. Смутно припомняется скуластое крепкозубое лицо, похожее на Костино. И уже гораздо яснее, совсем другое — желтое и костлявое с пристальными глазами, медленно ворочавшееся на подушках. Это оттого, что в пятнадцатом году, лежа с оторванными ногами в Московском военном госпитале, умирал отец и долго не мог умереть. Мать умерла позже.

В октябре семнадцатого года с Гришкой слушали они доносившийся из-за реки грохот трехдюймовок, громивших Александровское училище, потом подрали в город.

В сумерках на подступах к Арбату смотрели из-за углового дома на трамвайный вагон, поваленный посреди улицы. Оттуда гремело дробно и блестели огни, а с другой стороны из переулка перебежали по стенке молчаливые фигуры. Когда фигуры приблизились, стало жутко, побежали назад, подгоняя друг друга.

Через несколько дней из ворот фабрики толпа вынесла на плечах темные гробы. В толпе приглушенно выли женщины. На Красной площади со всеми пели они «Вы жертвою пали...» и, не зная слов, оглядывались на других.

В восемнадцатом году стала сукновальная и исчезла куда-то администрация. У слободской лавки вечным грязным жгутом вилась очередь. Казармы болели тифом, голод рос, как ртутный столбик под мышкой сыпнотифозного. Голод погнал обоих за хлебом. В теплушке, набитой до отказа мешками, чайниками и оголтелой человечиною, докатились с Гришкой до Самары, а в Самаре ташили из теплушки за ноги мертвую с оскаленными зубами бабу и при ней живого младенца. Тут же, при свете станционного фонаря, били вшей и для этого, не стыдясь, сбрасывали рубахи и брюки.

В Самаре меняли барахло на хлеб — мукой, буханками, в сухарях — и, вернувшись домой, добросовестно болели тифом, а когда выздоровели, появился на фабрике организатор.

В партию вступили оба в один день и на первых собраниях новорожденной ячейки азартно ерпенились — не выгорало с посылкой на фронт. В промежутках между собраниями отводили душу на дежурствах в ЧОНе. Но чоновские винтовки казались бутфорскими, а в коридорах райкома толкались настоящие, свежие (только что оттуда) фронтовики в грязных шинелях, пропахших землей и лошадиным потом.

Однако на фронт их все же послали, да еще обоих вместе, — это уже в двадцатом. Путь от Лозовой до Синельникова кишел тачаночными бандами, по проселочным дорогам гикали гайдамаки, и по ночам тревожным мерцающим заревом обозначался горизонт. Были это последыши, но сводный рабочий отряд без усталости кружил по району, ликвидируя банды в коротких боях.

Как-то в ночном бою, когда вышибал отряд очередную банду из какого-то хутора, подортили тачанки Гришкину ногу. В темноте глухо шумели тополя,плыли мимо неясные белые пятна мазанок, трясся Гришка на обозной телеге, охая и стискивая зубы. А он, Алексей, вертелся возле телеги и тоже стискивал зубы — казалось ему, что Гришка умирает.

Гришка не умер, он даже провалился недолго; потом опять — бои и сумасшедшие переходы и ночные стоянки, пылающие жаром костров, но теперь Алексей знает: на ноге у Гришки, повыше колена, кругленький, точно оспенная рябина, след от тачаночного укуса.

После демобилизации вместе попали на рабфак. Москва в двадцать третьем, как молодящаяся преклонных лет дама, торопливо охорашивалась, кокетничала зеркальными витринами магазинов, и все на том же Арбате, в домах, еще щербатых выбоинами октябрьских выстрелов, по вечерам расцветали веселые фонари у подъездов кино и ресторанов.

В лихачах на перекрестках, в откровенно гудящей толкучке Сухарева рынка сквозило враждебное, и первое время ходили в грязных шинелях и смазных сапогах, недоброжелательно провожая глазами на улицах хорошо одетых прохожих.

Сначала почти не учились, предпочитая алгебре занятные популярные лекции в Политехническом. Тогда же появился Костя. То есть не появился, а вырос незаметно, почти внезапно. За фронтом проглядел Алексей, как маленький, грязноватый, раздражающий никчемник превратился в массивного, самоуверенного парня с мужскими привычками.

В рабфакском общежитии живут уже троим. Учатся Алексей и Гришка — на одном курсе, Костя — на младшем. Выясняется: Костя — бабник. Он тщательно следит за пробором, и единственное зеркало в комнате принадлежит ему. У него имеется и своя компания, и часто возвращается он домой под утро, а утром Гришка, натягивая сапоги, ругается: «Сволочь, мартовский кот... лумпен!..»

Учится Костя туго, и по вечерам Гришка занимается с ним математикой и истматом. Тогда оба они со всем не замечают Алексея, обильно потеют, один — от усилия втолковать, другой — от усилия понять, и много курят. А вот Алексей не умеет заниматься с Костей, пробаловал, да ничего не выходит.

Рабфак был для Алексея первым настоящим коллективом, и коллектив начинался с Гришки. Вечером из аудитории и коридоров коллектив переключивал в общежитие — неуклюжую, многоэтажную, железобетонную коробку, сверху до низу набитую молодняком. Коробка гудела до поздней ночи, как оторвавшаяся паечная колода. Под крышей коробки была их комната, длинная и холодная (отопление не работало). В ней постоянно толкались гости из других этажей, на столе верстала рабфакскую газету, пили из бутылок пиво. Тут же сыгрывался струнный оркестр.

Тогда-то началось неожиданное, упорное, как психоз, увлечение физикой. Книжка была одна — захудалый истрепанный курсик Бачинского. Перед сном ее прятали друг от друга под подушку, чтобы утром, валяясь в кровати, всласть почитать. Последствие психоза сказалось: Алексей и Гришка — в университете.

Первое время все кажется чужим и неудобным.

В фундаментальной библиотеке угнетает архивная тишина, скучно шелестят листы, и серыми тенями скользят по паркету сотрудницы, переговариваясь сухим, как перевертышаемые страницы, шепотом.

В экспериментальных кабинетах внушительно мерцают воронеными стрелками циферблаты приборов, а в сухой тишине монотонно поет агрегат. Здесь боязливо делает первые шаги научная инициатива.

Однако скоро освоились. В университете они с Гришкой члены совета отделения. В университете остатки черной профессуры, скрыто враждебной в аудиториях и на зачетах; окруженные кучками «своих» студентов, пытаются сорвать студенческую чистку. Не сорвали..

На совещаниях предметных комиссий Гришка Рябчинский, всклокоченный и злой, дрожит от подозрительности.

Гришка частенько перебарщивает, тогда бывают стычки. Как-то на совещании один из профессоров изставлял лекции по истории партии перенести на вечер — так удобнее. Гришка в ответ ошетинился яростно, а час спустя доказывал Алексею наедине: скрытое намерение сорвать лекции по истпарту — контрреволюция. В пустой аудитории они тогда ругались долго и утомительно.

Алексей и Гришка на последнем курсе. Костя неожиданно — курсант авиашколы, в военной форме, блестя новенькие серебряные мотыльки на воротнике. Теперь Гришка живет уже отдельно, а они с Костей по-прежнему в одной комнате. Впрочем, это мало что меняет. «Дипломку» по теоретической физике стряпают они с Гришкой долго — целый год.

В двенадцать ночи Гришка поднимается уходить и собирает исписанные бумажные клочки, а Костя опорожняет в печку брюхо фарфорового зайца, набитого окурками, и жарит на примусе колбасу, распространяющую сладкий мясной чад.

В половине второго Гришка собирает новую порцию бумажных клочков и предлагает пари, что трамвай еще ходят. В два укладываются спать: Алексей на кровати, Костя с Гришкой на полу. Утром неистовым звоном взрывается Костин будильник.

Прошлогондня чистка проходила в большой аудитории.

Перед заседанием немного волновались: подбодряло, что проходить приходилось одному за другим. Сначала Гришка, сосредоточенно лохматый, топтался перед столом комиссии и лепил короткие отрывистые фразы, потом пошел Алексей. Отвечал на вопросы комиссии и видел в первом ряду озабоченную Гришкину физиономию. Еще кто-то потом острил в кулуарах: «Обменялись бы для смеха биографиями, все одно никто не заметит...»

Это было в прошлом году, а сегодня Гришка выступал на парткоме и упорно прятал глаза. И, когда говорил, тишина была точь-в-точь, как бывает, когда обличают кого...

Солнце нажгло спину. Алексей поворачивается на бок, в голове его перекачивается тяжелая свинцовая гирька, признак наступающей головной боли.

Со стороны парка культуры доплывают ослабленные расстоянием пыхтящие звуки духового оркестра. Рычит на середине реки моторная лодка, и после нее фыркают под досками помоста набежавшие волны. Лежа на боку, видит Алексей, как легко вытягивает Костя из воды крупное свое тело. На плечах его сверкают водяные капли.

II

Костя забегает домой перед вечером. Солнце давно переселилось в верхние этажи, но мухи еще льнут к оконным стеклам, и молоко на подоконнике еще хранит тепло под желтой тяжелой пенкой.

Он выпивает стакан залпом и по-детски вкусно чмокает мокрыми от молока губами. Расстегнув пуговицу тесного воротника, вертит головой, разминая гладкую, как ствол, шею. Прежде, до поступления в авиашколу, любил он отложные воротники.

В одном из окон противоположного дома, еле видная в полумраке комнаты, женщина расчесывает длинные волосы. Поставив локти на подоконник, он с минуту пристально наблюдает мягкое мелькание ее голых рук.

Часы на стене упруго выбрасывают секунды; он мельком взглядывает на них, боясь опоздать. На столе внимание его привлекает свежая газета, аккуратно сложенная четверо почтальоном. Проходя, он тянет ее к себе за угол; из нее выпадает маленький конверт, белым листком оседающий на пол. Он поднимает письмо и, шевеля губами, читает адрес, потом, нахмурившись и собрав в

уголках губ брезгливые складки, торопливо надрывает край конверта. Газету он держит под мышкой, ее надо посмотреть перед уходом.

«Мы больше не увидимся, Костя, поэтому придется писать...»

Прочитав первую строку, он бросает газету на стол. Печерк письма полудетский, танцующий, строки округло загибаются книзу, кивая во все стороны тонкими хвостиками. Листы письма, должно быть вырванные из тетрадки, носят следы прошивки.

«...Могу тебя порадовать, я сделала все, что ты хотел, и уже вернулась домой. А теперь постараюсь объяснить, почему я решила порвать с тобой.

Мама часто толкует, что революция перепутала в человеке все внутренности: вместо души кишечник, вместо любви — физиология и так далее...

Чепуха все это, но у меня нет досады на бедную маму. Она старенькая, глаза ее видят темноту и не пропускают света, а я вижу другое. Иду вечером по бульвару и вижу пару на скамейке, у нее на плечах его пиджак. В квартире у нас живет молодой парень физкультурник, у него мускулатура, как у гладилатора, а по вечерам он сам моет своего крошечного сынишку в корыте для белья. У нас в институте учится девушка-еврейка. Она всю жизнь провела в захолустном еврейском местечке и по-русски не умеет сказать правильно двух слов. Так вот, наши ребята, сами едва справляющиеся (они ведь без отрыва от производства), занимаются с ней по выходным.

Раньше я любила наблюдать все это, особенно после споров с мамой. Я видела в этом обещание для себя самой чего-то замечательно радостного в будущем, и я ждала, ничего не зная, но твердо веря, что это «что-то» рано или поздно наступит. А теперь я стараюсь поменьше оглядываться кругом, иначе слишком часто приходится вспоминать, что у меня все не так, как у других. Совсем, совсем не так. Я не знаю, Костя, как могли мы создать такие убогие, жалкие отношения.

Наши встречи удивительно напоминают свидания озабоченных деловых людей. Они стараются поскорее окончить разговор и приступить к делу. Они равнодушны друг к другу и, выполнив то, для чего встретились, торопятся разойтись, на ходу пожимая руки... «Пока!» А разойдясь, они уже, конечно, не вспоминают друг о друге до новой встречи.

Правда, мы всегда жадно тянулись один к другому, но как же мало мы говорили, и даже немногие твои слова я едва слышала сквозь тревогу от звонков в коридоре.

Главное ведь было насытиться, а остальное — простая вежливость. Между прочим, совсем недавно ты спросил меня, на каком я курсе. Это была ошибка с твоей стороны, гораздо пристойнее был бы разговор о погоде.

Сейчас мне особенно скверно, и потому скажу, может быть, больше, чем хотела. Кажется, нервы у меня не в порядке. Боюсь оставаться в комнате одна, плохо сплю, и сны все какие-то сентиментальные.

Сегодня заснула под утро, и приснилось мне, что не было совсем последних дней, и он должен родиться. Незнакомая какая-то квартира (знаешь, как всегда во сне), и мама со мной, а мне ничуть не страшно. Проснулась и плачу, как дура, не могу сдержаться. Странно, должно быть, я все-таки хотела его.

Когда я шла туда, мне было безразлично, только бы поскорее кончилось и чтобы не очень больно. Да еще маму было жалко. Я ей сказала, что еду на дачу к подружке, и она, смешная, все суетилась, обязательно хотела испечь каких-то пирожков на дорогу. Насилу отговорила.

Там пришлось долго ждать, и я очень боялась. Пройдет кто-нибудь в белом, а мне кажется — за мной; зубы стучали. А после операции лежала ночью в палате, думаю, вот, кажется, кончилось все, а я не рада, и ничего не будет по-старому. Живой кусок оторвала.

Куда ни шло, напишу тебе все, да и осталось, кажется, немного. В палате со мной лежало несколько девушек. Наверное, я порядочная эгоистка, потому что было для меня в этом какое-то утешение. Только недолго это было. Днем пришли навещать мужа. Вид у этих ребят был сильно смущенный, но они старались скрывать это и держаться развязно. Один конфеты принес в коробке, и я видела, что для женщины это была большая радость. Уходя, они услаивались, когда прийти на другой день, чтобы вместе ехать домой.

А я лежала одна и наблюдала все это. Ко мне никто не пришел, а на другой день, когда выписали, вышла на улицу и сама искала такси.

Сегодня третий день, как я дома, и ты не пришел, это очень облегчило мою задачу.

Я не умею подбирать слова, а многого даже объяснить не могу. Боюсь, что все это покажется тебе нарочно выдуманным, чтобы оправдать мой поступок. Тогда освой голый факт. Да и осваивать в сущности нечего. Ты же говорил, что не ценишь связи с людьми, а я все-го-навсего нервная девчонка; то, что для других проходит бесследно, я переношу с трудом. Ты не много терпешь, Костя.

Ну, вот и все. Прощай. Ольга».

Подпись поставлена в строку большими буквами, под ней зачеркнута старательно целая строка, и чернила кустами расплылись по бумаге.

Костя усиленно вглядывается, стараясь прочесть зачеркнутое; покрасневшие скулы его медленно двигаются.

Должно быть, что-то тяжелое ползет за окном по мостовой, и в сонной тишине комнаты трепетно звенит в ответ нутро посудного шкафа.

Он открывает ящик стола. Пальцы его лезут вглубь, откидывая вороха старых документов, кусочки сургуча, готовальню. Он вытаскивает маленькую фотографию, наклеенную на кусок картона. Почти невесомая, она лежит на его ладони, уголки отклеились от картона и загибаются внутрь, лицо кажется подслеповатым на глянцево-бумаге. Он смотрит на нее недолго. Бросив фотографию вместе с письмом обратно, он ищет глазами перо на столе и нетерпеливо рвет листок из блокнота. Когда пододвигает стул, чтобы сесть, в воздухе наплывают тягучие удары стенных часов. Тогда, махнув рукой, он вскакивает и наскоро застегивает перед зеркалом пуговицы воротника.

III

Нагнувшись к письменному столу, доцент Рябчинский никак не может сосредоточиться. Ему кажется, что он не услышит звонка, и неясные звуки за дверью заставляют его поднимать голову. Это нестерпимо раздражает. В десятый раз Рябчинский пытается подавить беспокойство. Для этого он кладет на книгу обе ладони и представляет себе, что гость уже вошел в комнату.

Впрочем, он чувствует, что он прав, и держится так, будто ничего и не случилось. Потом, если будет нужно, он объяснится, начистоту. А может быть, этого и не потребует. Во всяком случае сейчас же после звонка — идти встречать в переднюю.

Звонок раздается неожиданно, слишком громко, его шипящую трель нельзя не услышать. Но вместо того, чтобы идти открывать, Рябчинский плотнее придвигается к столу и склоняет голову к книге. Он слышит вялое шарканье в коридоре, потом гулкое хлопанье, звякает

лепочка, и от приближающихся быстрых шагов жестяно-дребезжит матовое дверное стекло.

Навстречу открывающейся двери Рябчинский встает, мучительно припоминая, какое лицо бывает у него при встречах. На него быстро двигается большое тело, и фуражка, мелькнув красной звездой, летит на стол.

— Покажись-ка!

Костя хватает его за плечи и поворачивает к свету. Это кажется ему недостаточным, и он сдергивает с лампы абажур. Радостно оскаленные Костины зубы блестят совсем близко. Рябчинский глубоко вздыхает, чувствуя огромное облегчение: «Не знает...»

Под тяжестью Костиных рук плечи его опускаются.

— Ладно, садись, не в музее, — бормочет он довольно.

— Ишь ты, загорел и сала прибавил. — Костя мигом уселся на стул и смотрит пристально широкими глазами.

— Какое сало! Кормили посредственно, а шлялся я много, все горы облазил. Разве прибавишь?

Он прикрывает лампу абажуром и садится напротив, успокоенно соображая: «Как случилось, что до сих пор не знает? Впрочем, все равно, только бы не сегодня... Сейчас поставлю чайник, в бутылке на окне, кажется, осталась водчонка для Косги. Телефонную трубку снять... Как, однако, хорошо, что еще не знает...»

Костя развалился на стуле, покачивая ногой.

— Ну, рассказывай. В Крым ведь ездил, не в подмосковную. Доволен?

— Да-а, хорошо было... Вот море, например, это, брат, штука, ни с чем не сравнимая. Просто балдеешь от неожиданности. Между прочим, случай был один: ехала со мной в вагоне одна тетка, курьершей она в Москве служит, в каком-то тресте, что ли. Ну и получила от своей организации путевку в Крым. Пока ехали, всю дорогу в окно смотрела, со всеми заговаривает, обо всем спрашивает. До чего живая старуха! Как пошли после Джанкоя голые ковыльные степи, я ей и говорю: «Ну, вот, мамаша, и Крым!» — Так она сначала не поверила, а потом как всполошится. «Эх, говорит, прогадала, надо было в Звенигород путевку просить. То-то меня все местком уговаривал в Крым ехать. Так и есть... Значит, в Звенигород кого почище послали, а рабочего человека в голь-голубую, где трава не растет». Долго она так причитала, а на другой день ехали мы с ней вместе из Севастополя на автобусе до Ялты. Как выехали из Байдарских ворот — встало море голубой стеной, видно его оттуда на много десятков верст. Ехали мы, а над головой скалы серые в темных трещинах, такие скалы, что на вершинах сосны кажутся мхом. Смотрю, примолкла моя старуха, только кряхтит на поворотах. Я говорю: «Ну, что, мамаша, прозвала Звенигород, ничего не попишешь». А она только ручкой машет, не мешай, мол, смотреть... Так-то... Ехал я, Костька, как очумелый. Глаза не вмещали всего этого добра, а как только доехал, сдал документы, оформился и к морю галопом. Влез в море, окунулся, и так мне понравилась морская вода, такая она упругая, подвижная, точно живая, что хоть не вылезай совсем. В санатории, понятно, не подчинялся никаким правилам, выписывать меня хотели. С утра валялся на пляже и, как умалишенный, играл камешками. После обеда ходил в горы. Было у меня там одно местечко: так себе, ручеек и сосенки корявые в камнях, зато все море открыто. Там и пасся до ужина, смотрел, как солнце погружается в море, читал кое-что для самообмана. Удивительно, до чего въелась в нас потребность дела. Уж, кажется, все тебе дано: кормят, увеселяют тебя, подлеща, природа такая, что только смотри, любишь. Так нет, совестно как-то ничего не делать, вот и таскаешь книжку. Хорошо было, только вот одного не доставало — своих. Люди подобрались славные, но... чужие. Не умею я

быстро сходиться с людьми. Вот и ходил всюду один, ходил и жалел, что ты не попал со мной.

Рябчинский понял, что совершил ошибку, и поправился тотчас же.

— Ты да Лешка, — но, поправившись, замолчал.

Костя улыбнулся наивно:

— Жалел, говоришь?

— Жалел.

В ушах Рябчинского отчетливо стучала прилившая к голове кровь, и почему-то с усталой уверенностью мелькнула мысль: знает.

Он спросил, почти не думая:

— Ты сегодня видел его?

— Алексея? — Костя перестал улыбаться. — Видел, вместе купались на станции.

— Он тебе рассказал?

— Рассказал.

Рябчинский встал и, темнея, неслышно прошелся по комнате:

— Говори, не стесняйся.

— Я не стесняюсь, — сухо сказал Костя, — только при чем тут я? Ты говори.

— Что же, я могу объяснить... — Рябчинский сцепил кисти рук и привычно хрустнул пальцами. Соображая, он глядел через голову Кости на подоконник. Там стоял пустой холодный чайник, и, вспомнив, что несколько минут назад он намеревался поставить воду для чая, он вдруг ощутил прилив унылой злости. Поэтому, начав говорить, он уже знал, что скажет больше, чем нужно.

— Сегодня на парткоме я говорил об Алексее, говорил о человеке, с которым прожил всю сознательную жизнь. А вчера я случайно попал на Остоженку. Там открытым способом прокладывают линию метро. На деревянных мостках через улицу прохожие останавливаются, они смотрят, как в котловане копаются метровские девчата. Это вчерашние домработницы, девушки без определенных занятий, колхозницы. Вчера они ничего не умели, а сегодня ловко, как пауки паутину, вяжут арматуру. Прохожие наблюдали новую человеческую формацию. Ее можно наблюдать всюду, и она доброкачественна в огромном большинстве. Оттого-то мы и привыкли, говоря «человек меняется», вкладывать удовлетворение в эти слова. Но по-разному меняются люди, есть иная формация. Она окалчивает пороги торгинов и распределителей повышенного типа. Она просачивает халтуру в наши учреждения и по вечерам разбавляет чванной мутью толпу в театрах, кино и ресторанах. Она растет там, где податлив человеческий материал, жаден аппетит, нездорово честолюбие. Она чутко прислушивается к похвалам и не выносит критики. Для нее труд только средство... Скверное живучее племя! Они внешне лояльны, их трудно раздавить. Что?.. — он нелепо оборвал, слегка задохнувшись.

Костино лицо стало кирпичным.

— Ты это про Лешку? — спросил он негромко, чужим голосом.

— Не-е-т... Лешка еще нет, конечно. Но я это к тому, что ведь может же, может...

— Факты?

— Факты трудно привести, но стоит только наблюдать. Это всегдашнее прислушивание к каждому чужому слову по поводу своих статей (какое впечатление у ирека, что сказал икс). Эти разговоры. Подвиг разве дается тому, кто хочет его для себя? А это же его любимая тема. Попробуй в эту минуту заговорить с ним о прозе, ну, скажем, о текущей политике или о повседневных институтских делах, — он будет слушать с отсутствующим видом. Подумай ты, ведь это Алексей, в прошлом массовик — революционер, теперь шумно вздыхает на собраниях. Я друг его, нам с ним трудно хитрить, и я увидел сейчас то, что другие уви-

дят ясно через год—два, когда будет поздно. Если жарив, то лучше сразу сделать надрез, а то...

— Слыхали, — сказал Костя нетерпеливо, — хирург и прочее. А ты скажи-ка лучше, почему ты не говорил об этом раньше ни ему, ни мне?

— Я не имел права учить. Мы взрослые люди...

— А сегодня ты что сделал?

— Я хотел, чтобы его назначили... это уже шанс...

— Скажи лучше — сделал пакость! — во весь голос брякнул Костя, поднимаясь. От неожиданно резкого выкрика гулко охнул потолок. Рябчинский поджал губы и тоже поднялся.

— Легче на поворотах, Костя. И вообще лучше бросим, так не имеет смысла...

Нехорошо улыбаясь, Костя потянулся за фуражкой.

— Ишь ведь какую философию развел, — голова пухнет. А я-то думал от недомыслия все, — он сделал движение, как будто намереваясь протянуть руку, но только повертел пальцами. — Ладно, Гриша, перемелется как-нибудь. Карьеризм — зло, понятно, и безупречные коммунисты должны быть начеку, только я думаю: ханжа с партбилетом будет поопаснее, а? — Он надел фуражку и прищурился. Рябчинский побледнел:

— Придержи язык и... лучше уйди, — с трудом выдавил он из себя.

Подойдя к двери и взявшись за ручку, Костя остановился, как бы что-то припоминая, и повернул голову. Лицо его уже ничего не выражало, словно с немногими обидными словами выпустил он весь запас своего раздражения.

— Поступи так Алексей, — сказал он рассудительно, — а я бы и его послал к...

Дверь за собой он прикрыл аккуратно, и от его удаляющихся шагов расшатавшееся дверное стекло вибрировало теперь низким сдержанным тоном. Тяжело дыша, Рябчинский прошелся по комнате и остановился у окна. Проектор с площади чертил резкие полосы на крыше соседнего дома, и переулочек внизу казался темной глубокой канавой. Тротуара, по которому шел теперь Костя, не было видно.

IV

Утром, умываясь в полутемной ванной, Алексей привычно ощущает нарастающее беспокойство. Он даже не пытается его подавить, потому что знает по опыту — оно от невыполненного.

Ноги скользят по мокрому кафельному полу. Это, конечно, Костя набрызгал, обливаясь под душем перед тем, как идти на аэродром. Он сует голову под кран и с фырканьем втирает воду в глаза, смывая остатки сна.

Утром все, сделанное вчера, кажется почему-то неполноценным, и ошибка, вернее предчувствие ее, растет, давая мозгу. Он старается припомнить все обстоятельства вчерашнего эксперимента, хотя заранее знает, что это ему не удастся, пока перед глазами нет протокольной записи. Ошибка вылезает из каждого уголка памяти, но сейчас же прячется, как только он старается раскопать этот уголок.

Холодноватый чай он выпивает залпом, уже в кепке, прислушиваясь к шарканью щеток за стеной и шорохам просыпающейся квартиры.

...Пожалуй, нелепо подводить итоги каждое утро, но тут он ничего не может поделать, это происходит как-то само собой, особенно теперь, когда закончено исследование и предстоит эксперимент. Ведь до сих пор он еще не уверен, что основные теоретические предпосылки правильны, и после каждого удачно проведенного опыта он осторожно подготавливает себя к возможной неудаче...

На улице он все ускоряет шаги и не замечает погоды. На ходу немного сутулится, разбрасывая длинные ноги, машет портфелем, держа его на вытянутой руке, и при поворотах машинально огибает углы. Толкая прохожих, он на ходу сердито бормочет извинения, и, только пересекая улицу перед воротами института, быстро взглядывает направо-налево, на бегу придерживая рукой очки.

В вестибюле — стоячий прохладный воздух. Седенький сторож, старый, как само институтское здание, обнажает улыбой розовые пустые десны, подавая Алексею сложенную дощечкой морщинистую руку.

Проходя по коридору к своему кабинету, слушает он, как гулко эхо его шагов шарахается под закоптелыми потолками, и вдыхает от привычки переставший быть заметным запах — смесь камфоры, спирта и светильного газа.

В кабинете белые стены. Большое окно выходит на двор — оттого здесь всегда очень тихо. Раньше он не замечал этой тишины, теперь она не дает забыть наступившее одиночество. То, что теперь Рябчинский совсем рядом и их разделяет только несколько стен, редко приходит в голову. Но иногда он все же прислушивается к неясным шагам за дверью. Сбоку у стены помещаются столы с приборами.

Пока он еще не приступил к работе и топчется у письменного стола, извлекая из портфеля бумаги, тревога утренних часов достигает наивысшей силы. Становится ясно, почему у него все время росло недоверие ко вчерашнему эксперименту. Слишком поспешно принято неправильное допущение. Он торопится проверить расчет.

...Исходная мысль зародилась еще в университете, тогда его интересовал механизм прохождения тока в металлах. Этот механизм дает возможность передачи энергии технических масштабов. Он задумался — нельзя ли обойтись без проводов. Это возможно и даже вошло в обиход под видом радиосвязи. Но сейчас же возникает затруднение, которое делает мысль наивной: электромагнитная энергия распространяется от передатчика во все стороны в виде сферической волны, и в радиоприемник попадает в лучшем случае миллионная доля всей энергии, отдаваемой станцией.

В проводах же потери ничтожны. Когда он ознакомился с литературой, идея перестала казаться наивной. Легко направить свет узким лучком при помощи гиперболического зеркала или выпуклой линзы; для радиоволн нужны особые отражатели, чтобы получить луч. В то время он мечтал о металлических зеркалах, и первая конфузная неудача совсем обескуражила его. Позже в немецком журнале он нашел отчет фирмы «Телефункен» о результатах опытов направленной радиопередачи. Это послужило толчком.

Он выполнил свою собственную модель и не добился ничего. Кажется, в то время он подумывал даже опубликовать опровержение. Как давно это было!.. А сейчас на столе лежит диаграмма. Черным кружком обозначен передатчик, через него проходит жирная линия, намечающая расположение отражателя, и во весь лист выстрелил тонкий прямой язычок излучения, похожий на вытянутую уродливую каплю. Забыв сесть, он сгибается над столом, поспывая от неудобства позы.

Если верить измерениям, телесный угол излучения вчера удалось уменьшить еще. Но теперь ему кажется, что эксперимент проведен неправильно. Наверное, есть ошибка в расчете отражателя.

Он проверяет на клочке бумаги и, когда добирается до сомнительного допущения, на несколько минут прекращает работу. Происходит то же, что было вчера и бывает каждое утро: во время поисков очередной ошибки первоначальное допущение оказывается взятым

правильно. Теперь он не знает, где искать погрешность, но все еще в ней уверен. Он доводит расчет до конца и еще раз проверяет все сначала. Погрешность не желает обнаруживаться, но и теперь он успокаивается не сразу. Даже многократный опыт и учет собственной мнительности не помогают в эти утренние часы. Род недуга проходит постепенно по мере того, как первое утомление притупляет беспокойство.

Расчет верен до мелочей — остается повторить эксперимент.

Столы покрыты куском серого полотна, и он сдвигает его жестом скульптора, снимающего покровы со своего произведения.

Генератор поблескивает стеклянными баллонами ламп, и, когда он включает рубильник, они освещаются изнутри тлеющим светом накала. Скрытая под столом высоковольтная машина наполняет комнату сочным, густым гуланием, стрелки приборов, вздрагивая, ползут по шкале.

Индикатор, измеряющий излучение, установлен в дальнем конце комнаты. Поворачивая диск отражателя каждый раз на полградуса, он делает несколько больших шагов и наклоняется над прибором. Его тело мотается между двумя точками комнатного пространства, как большой шумный маятник, ускоряя темп по мере того, как поворачивается рама отражателя.

Стрелка прибора поднялась и опустилась. Теперь она не должна больше подниматься, луч поворачивается по кругу. Но неожиданно она поднимается вторично, и, когда становится ясно, что это уже не случайный толчок, Алексей замирает.

Сразу наваливается усталость, подгибаются ноги. Он подтаскивает свое тело к столу и кидает на стул. Прибор зафиксировал излучение в двух направлениях. Но этого же не может быть! Цифры в блокноте расплываются. Страшно трудно взять себя в руки и разобратся спокойно. Излучение происходит в двух направлениях, но это возможно только в том случае, если не действует часть проводов отражателя.

На этот раз погрешность очевидна, надо проверить установку.

Алексей снова возле экспериментальных столов. Он тянет к себе рубильник, и мгновенно воздух освобождается от монотонного гула, казавшегося прежде тишиной для привычного уха.

Мертвенно темнеют потухшие лампы. Ищущие пальцы Алексея теребят провода отражателя, они издают щипающие короткие звуки, похожие на дребезжание слабо натянутой гитарной струны.

Питающая линия в порядке... Он ощупывает по нескольку раз одно и то же место. Где-то поблизости скрыта причина неудачи, она прячется от него с упорством разумной твари.

Проходит много минут, а он то останавливается, переводя дыхание и поправляя на шее мокрый сбившийся воротничок, то опять наклоняется, дергая рукави провод.

Неожиданно он выпрямляет спину и улыбается. Совсем на виду перед глазами, рядом с крайним проводом отражателя стоит маленький измерительный прибор, заключенный в металлический ящичек. Он сам поставил его туда накануне, перед тем как покинуть кабинет. Сейчас он смотрит на него, отдыхая всем телом.

— Ну, ясно же, металл отсасывает мощность и искажает действие отражателя.

Он берет злополучный ящичек, сильно сжимая его в руке, как будто душит живое существо, потом веселым толчком свободной руки снова включает рубильник...

Когда-то научная работа представлялась ему в виде изобретательства. Изобретение — от слова «брести». Брел (наугад), изобрел — удача, случай. Казалось, до-

статочно найти удачную мысль, остальное пойдет само собой.

Теперь он знает цену удачной мысли. Она приоткрывает возможность, не более. Каждый день он чувствует, как направляется извне путь его исканий. Эти внешние влияния — следы, которые оставили после себя искавшие до него, достигавшие цели или только проложившие дорогу другим, совершавшие перевороты или блуждавшие в потемках.

Подвиг давался им ценой отрешения от повседневных радостей жизни, отказа от бездумного отдыха, ценной медленного стогания на пути к намеченной цели. И, разумеется, все они стремились к признанию, к славе... Стараюсь создать свой собственный метод исследования, Алексей заранее знает, что метод этот не будет принадлежать ему целиком. Пожалуй, последнее время он слишком много думает об этом...

...На столе лежит новая диаграмма. Наваливаясь локтями на стол, Алексей смотрит на нее уже давно. Ему не хочется двигаться. Длинный каплеобразный язычок вытанул еще более, и его ровные симметричные края не оставляют никаких сомнений в правильности эксперимента.

Угол в два градуса — и совершенно отсутствует боковое излучение.

Он поворачивает голову и пристально смотрит на проволочную сетку отражателя на столе. Мысленно он проводит оттуда тонкую линию, идущую в глубь комнаты — провод без металла. Сейчас он годен лишь для того, чтобы передать на несколько метров ничтожную мощность и приоткрыть таким способом краешек скрытых в нем возможностей. Остальное Алексей видит без труда, он даже представляет себе, как будет выглядеть первая эксплуатационная передача.

Слабым местом является приемная сеть. Этот пункт до сих пор рождает в нем неуверенность. От передатчика энергия распространяется узким конусом. Поэтому при больших расстояниях потребуются, пожалуй, слишком громоздкие приемные антенны. Чтобы избежать этого, надо еще уменьшить угол конуса излучения.

Он недовольно расправляет на столе листок диаграммы. Длинный язычок на ней кажется тупым и упрямым. В конце концов, это только лабораторное достижение. Завтра он рассчитает новый отражатель, и тогда...

...После обеда он прохаживается взад и вперед по кабинету. В окно бьет полуденное солнце. От тяжести проглоченной пищи заметной становится духота. Он открывает окно.

Движение воздуха шевелит листья на столе и ломает струйки папиросного дыма. Вместе с теплым дуновением со двора доносится запах нагретых листьев.

На столе громоздится куча журналов.

Он следит за периодической литературой аккуратно, стараясь не пропускать ничего. За последние месяцы по вопросу излучения как будто не появлялось ничего значительного. Много статей на старые темы, и это — все. У него разработанный метод, и кое-что можно уже сказать об эксперименте. Да, кое-что. Впрочем, он тоже печатает статьи и ничего не сообщает о своих работах, не так ли поступают и другие? Бывают случаи, что одновременно в двух местах успешно разрабатывается одна и та же проблема, тогда результаты публикуются под двойным именем, и это называется неуклюжим словечком «параллелизм».

Мысль эта приходит в голову не впервые и все-таки портит несколько минут послеобеденного отдыха. После небольшого колебания он выбирает работу известного датского физика о распространении радиоволн, напечатанную отдельным изданием.

Недавно маститый ученый приезжал в Москву, и на одной из конференций Алексей слышал его выступление. Это был гладкий уверенный доклад, немного испорченный переводчиком и сильно отдававший снисходительностью к аудитории. В перерывах Алексей подходил близко и обидливо оглядывал гладкий пробор и внушительный профиль знаменитости. Ему казалось, что датчанин вот-вот потреплет старичка-председателя по плечу. С конференции он возвращался один, злобно войвая каблук в размягченном солнцем асфальтовое тело улицы. — Ясное дело, — приехал поучить отсталых. Обождите, голубчики, дайте срок! В этот момент желание успеха заставляло его сжимать кулаки.

Теперь он читает медленно, поминутно останавливаясь и делая выписки на листе бумаги. Статья содержит изложение процесса распространения радиоволн. Сквозь колючие строчки математических формул, пестрящих хвостиками греческих букв, четко и осязательно проступает физический смысл. Он сравнивает легкий и понятный язык статьи со своими напечатанными работами, которые он помнит наизусть, и сравнение получается не в их пользу. Его изложение неуклюже, он уже видит, как можно сделать лучше. Да, датчанин пока еще имеет право быть снисходительным.

Окончив статью, он смотрит в окно и опять машинально подводит итоги.

V

На площадке полутемно. Стоя перед дверью, Алексей с трудом разбирает фамилии жильцов. Из-за двери долетают приглушенные выкрики патефона.

Только теперь вспоминает он, что забыл побриться; отдрнув руку, протягивую к звонку, трет ладонью шершавый подбородок. Возвращается поздно. Маленькая стрелка на ручных часах подбирается к десяти. Потоптавшись нерешительно у порога, он все-таки нажимает кнопку. Когда за дверью возникает торопливый шепот шагов, Алексей моментально представляет себе, как катится на коротких толстых ножках хозяин — Пашка Мартынов.

За скрипом отворяемой двери настоящий Пашка предстает перед ним, словно вызванный воображением. На лбу его капли хозяйственного пота, он азартно тянет из рук Алексея портфель.

В глубине коридора полукруглая дверь образует вертикальную светлую щель, в нее просовываются чьи-то головы, и Пашка кричит им осипшим баском:

— Алексей Иванович явился. Туш!

В комнату Алексей пролезает боком сквозь узкую дверную щель, ощущая лишние болтающиеся руки. Курсанты явились в штатском. Он близоруко щурится, не вдруг распознавая знакомые лица, пока длится процедура рукопожатий. Девушки все незнакомые. Чувствуя на себе внимательные глаза, он смотрит мимо лиц, острожно пожимая теплые маленькие руки.

— А, сколько лет!

— Алексею Ивановичу!

— По-профессорски опаздываете?

Тон приветствий, почитательно шуточный, смущает его. Он здесь старше всех в этой комнате. Между собой они — Пашка, Мишка, Костя. Он — Алексей Иванович. Они делают вид, что ему рады, потому что он Костин брат, и, должно быть, не знают хорошенько, что с ним делать. А девушки, конечно, недоумевают, откуда взялся этот небритый. Он ищет глазами брата и спрашивает, ни к кому не обращаясь:

— А где же Костя?

Смех. Смеются курсанты, ухмыляется Пашка. Алексей оглядывается растерянно. Окна закрыты тяжелыми портьерами, и одна из них подозрительно вздрагивает. Кто-то сидит за ней на подоконнике.

— Алексей Иванович, миленький, он еще не пришел, — раздается оттуда высокий женский голос. Из-за портьеры выглядывает рыжеволосая голова.

— А! — только произносит Алексей. Это Люба, Пашина сестра. Она смеется, огибаясь назад на портьеру. Конечно, Костя там.

Патефон разбрасывает пестрые звуки, протяжное певучее кваканье, звон, жестяной дребезг. На Алексея больше не обращают внимания. Довольный этим, он выбирает себе стул у стены. Вечеринка переживает сейчас фазу солидной сдержанности. Напротив Алексея, на широком кожаном диване, несколько девушек держатся тесной стайкой, поджав под себя ноги. Они о чем-то тихо разговаривают, и одна из них откровенно зеваёт, явко вздрагивая плечами.

В углу группа курсантов. Все они, как на подбор, видные ребята. Сухие тренированные фигуры. Загорелые обветренные лица. Это будущие командиры, но старшему из них едва ли больше двадцати пяти. Штатские костюмы сидят на них немного мешковато, и они с интересом незаметно оглядывают друг друга, стесненные непривычной одеждой. Авиашкола дала им сдержанную серьезную манеру говорить и спокойную точность неторопливых движений. Они по-товарищески фамильярны друг с другом, но даже в шутках проглядывают осторожность и взаимное уважение, воспитанное дисциплиной и годами совместной работы..

Отвернувшись, Алексей закрывает глаза. В памяти встает багровое пламя костров, зажигающее холодными огоньками вороненые стволы винтовок, грязные тела на земле, одичавшие Гришкины глаза из-под лохматой бараньей шапки... Красная Армия... пятнадцать лет, может быть, больше?

Курсанты разговаривают вполголоса, лица серьезные. Но по тому, как переминаются они, притопывая ногами в такт патефону, чувствуется сдерживаемое возбуждение. Девушки на диване иногда поглядывают на них выжидательно.

Одна из них сидит рядом с Алексеем. У нее маленький яркий рот, еще по-детски припухлый, длинные ресницы загибаются вверх. Ему хочется заговорить с ней, но пока он обдумывает, как начать разговор, девушка сама поворачивает голову.

— Что за чудак этот Пашка, — произносит она задумчиво, — назначил рано, а теперь вот маринует всех. Скука какая-то.

— Нет, отчего же, все очень хорошо. — Алексей рад, что разговор завязался так легко. — А что, собственно, предполагается?

— О, будто не знаете, — улыбается она недоверчиво, — бросьте.

— Честное слово, не знаю.

— Да они там вина накупили целую кучу, я даже идти не хотела. Пошла только потому, что обещала.

— Отчего же не хотели?

— Ну что хорошего? Еще напьются, пожалуй, получится глупо. Даже потанцевать не удастся. — Она довольно хмурится и демонстративно пожимает плечами, но сразу видно, что она вовсе не досадует, не боится, что кто-то напьется, а просто хочется ей выглядеть серьезной и рассудительной перед незнакомым человеком, Алексеем она положительно нравится.

— Жалко, что не умею танцевать. У вас был бы надежный партнер.

— Ну, пустяки, кто же из нас по-настоящему умеет... Скажите, это очень серьезная задача, — ваши предстоящие полеты?

— Да, вероятно. Выпускные испытания...

Алексей отвечает небрежным тоном, но ему становится чего-то досадно. Девушка оживленно поворачивается к нему всем телом:

— Это же чудесно, должно быть, вести машину! Знаете, у нас на заводе некоторые девушки спускались с парашютом, одна даже затыжной прыжок сделала, но это все не то. Вот научиться управлять... А вы, наверно, не цените, привыкли?

Досада увеличивается, и Алексей чувствует себя неловко.

— Я не летчик.

Теперь его фигура потеряла в ее глазах тот романтический налет, который он, сам того не замечая, незаконно себе присвоил.

— Ах, вот как, а я думала... кто же вы?

— Гм... инженер.

Если бы он сказал «физик», это, пожалуй, показалось бы ей расплывчато отвлеченным, чем-то вроде философа. «Эх, не все ли равно: какой-то физик или какой-то инженер» — мелькает раздражающая мысль.

Стайка девушек вспорхнула с дивана, оправляя шуршащие платья. Курсанты гуськом потянулись к дверям, облегченно вздыхая. Из-за портьеры выскакивает рыженькая Люба, вырывая у Кости руку, которую он упорно не хочет отпускать. Вечеринка вступает в новую фазу.

В соседней комнате гегемония стола. Сам огромный, покрыт он огромной белой скатертью, и посередине, как зияющая рана, — блюдо кроваво-красного винегрета, получившего здесь название «силоса». Бутылок и рюмок что-то уж очень много, и на приближающиеся шаги отвечают они многоголосым общительным звоном. Рассаживаются шумно, отодвигая стулья. Несколько минут стоит бестолковый гул голосов. Пока решается вопрос, кому с кем сидеть, девушки скромно опускают головы к пустым тарелкам.

За столом Алексей с удовлетворением отмечает, что девушка, принявшая его за летчика, оказалась с ним рядом. Неожиданно ощущает он давно забытое удовольствие от того, что в голове нет ничего, кроме мимолетных невесомых мыслей, связанных с такими же мимолетными невесомыми впечатлениями. Постоянная тревога, с которой он давно уже свылся, как свыкаются с хронической болезнью или дурным климатом, отодвигается теперь куда-то внутрь. Он забыл вкус крепкого вина, и маслянистая игра разноцветных жидкостей в бутылках возбуждала желание попробовать. Наливая себе и соседке, он неловко душил горло бутылки.

...Шум за столом внезапно стихает, только патефон картавит, подсчитывая скользкую фокстротную мелодию. Остановленный кем-то, он замолк, поперхнувшись на высокой визгливой ноге. Встает курсант Рогов. У него черные без блеска волосы, щеки и подбородок — гладко выбритые, с синеватым отливом. Внутрительно оглядывает стол, требуя внимания.

— Послезавтра последние испытания, — говорит он, кашлянув, — и тогда, если не подкачаем, мы — новые командиры. Вместе учились, работали, теперь, наверно, придется расстаться... Многих перебросят на периферию, другим придется впоследствии стать инструкторами. Что же, поработаем!

Он строго оглядывает слушателей, ожидая одобрения. Курсанты задвигались. Пашка Мартынов стукнул ребром ладони по столу:

— Верно, Рогов, не подкачаем!

Девушки слушают внимательно, лица серьезные. Только Люба, Пашкина сестра, нетерпеливо вертится на своем месте, встряхивая рыжеватой головой. Оттолкнув Костю, пытающегося ее удержать, она привскакивает со стула с фыркающим смешком:

— Сдайте испытания сначала... орлы!

На нее возмущенно шикают, согнувшись, по-детски она закрывает лицо ладонями.

Рогов торжественно поднимает руку:

— Так будем же даже в разных уголках Союза высоко держать знамя нашего коллектива! За наш славный выпуск! Ур-р-а...

Поддерживают негромко, но стол взрывается аплодисментами, восклицаниями и звоном посуды. Руки перекрещиваются над столом, расплескивая вино.

Первые рюмки обжигают Алексею горло. Неловкость, гнетущее чувство старшинства смываются теплой волной, разливающейся по телу. Еще осталась всегдашняя привычка наблюдать, но впечатления теперь зыбко расплываются, искажаясь, как в кривом зеркале. Напротив через стол Костя крепко обнимает за плечи Любу, Пашкину сестру, и, видя, как она кладет голову на его плечо, машинально думает о ней Алексей: «Костина Люба». Про свою соседку, противницу алкоголя, он думает «моя», но тут же недоуменно соображает, что еще не узнал ее имени. Когда он поднимает глаза к потолку, свет люстры дробится и плывет кругами в облаке табачного дыма.

...Кто-то пролил вино, и на скатерти перед Костей расплылось широкое розовое пятно. Брезгливо заворачивает он скатерть и спокойно тянется губами к Любиному уху.

— Любаш, выпьем на «ты», не ломайся.

— Да оставь, неудобно... мы же давно на «ты».

— Значит, боишься? Ай, ай. А я-то думал, что смелая.

— И вовсе не боюсь, а... неудобно.

— Вот и докажи, что не боишься. — Он не спеша наполняет рюмку и просовывает руку под ее локоть.

— Ого-го! — грохочут с другого конца стола, — опоздал Костыка. Костыка, браво!

Запрокинутая Любина голова скрыта за его широким затылком, виден только ее подбородок и тонкая вздрагивающая шея. Алексей смотрит широкими удивленными глазами и повторяет нерешительно:

— Браво, браво...

Чем-то не нравится ему Костя в этот момент, но он не может себе уяснить, чем именно. В ушах его подолгу застревают патефонные вопли, слегка кружится голова. Он смотрит на свою соседку, и внезапно у него возникает желание сделать что-нибудь громкое, откровенное. Но когда он нагибается к ней, подливая вина, она вдруг удивленно оглядывает его, и желание его тотчас проходит.

Места вокруг стола начинают пустеть. Он тоже поднимается и вместе с курсантами отодвигает к стене стол, мешающий танцам. Но потом опять садится и смотрит на скользящие по паркету как бы сросшиеся в носках ног танцующие пары. Свои собственные ноги в тупоносых обыкновенных башмаках передвигает он совсем безнадежно и потому только поджимает их, чтобы не мешать танцующим.

Как-то само собой вышло, что разучился он веселиться, т. е. делать все то, что делают сейчас Костя, Рогов, все. То, что он здесь наблюдает, все эти разговоры, шутки, возня — в сущности очень незатейливо, и в мысленном разговоре с этой незнакомой ему девушкой он находит много остроумных подходящих фраз и даже легко представляет себя говорящим эти фразы. Но также хорошо он знает, что в действительности все получилось бы иначе. Никогда не сможет он избавиться от этой преснящей разговор дружеской вежливости и начать легкую словесную игру, состоящую из пустяков и намеков. Если бы он даже пошел танцевать, он, наверно, не знал бы, как начать и кончить и что делать потом. Он разговаривает совсем свободно только с женщинами, давно знакомыми, у которых он не чувствует осторожности приглядывающегося любопытства. С ними он не пугается наступающих пауз, не взвешивает на лету слова, зная, что у них давно сложилось о нем мнение.

Было время, когда он болезненно доискивался причины своего отчуждения, но уже давно мысли эти проходят по поверхности сознания, не угнетая его. Должно быть, потому, что очевидной стала причина... Невозможно добиться конечной цели, ничего не отдавая, оставаясь самим собой...

Танцы еще продолжают, но в стороне у окна все возрастает кучка подожавших. В центре ее Рогов настраивает неизвестно откуда взявшуюся гитару. Нагибается, прикивая ухом к струнам, досадливо морщится от назойливого фокстротного шума. Кто-то догадывается остановить патефон, и в наступившей тишине берет Рогов первые отрывистые аккорды, потом, тряхнув головой, рассыпает «лезгинку». Десятки ладоней отбивают такт, откуда-то выскакивает Костя, в руке у него столовый нож, должно быть, схваченный впопыхах. От жары и выпитого вина лицо его и шея кирпично краснеют, но крупное тело свое он носит по кругу совсем легко. Такты «лезгинки» все учащаются. Зажав нож в зубах, он внезапно останавливается, вскинув горизонтально руки и мелко семеня ногами.

— Хаса! — орет он неразборчиво. — Пашка, можно нож в пол воткнуть... Эй, Пашка, не жалей паркета!

Но гитара издает предательски визгливый звук и неожиданно переходит на новый мотив. Еще не затихли хлопки, а кто-то уже подхватил припев марша:

Все выше, и выше, и выше

Стремим мы полет наших птиц...

Курсанты поют во весь голос, покраснев от напряжения, радостно переглядываясь заблестевшими глазами. Девушки подхватывают высокими голосами, стоя, обнявшись у окна. Улыбаясь, подпевает Алексей тихонько:

И в каждом пропеллере дышит

Спокойствие наших границ...

В общем хоре выделяется несколько не совсем твердых голосов. Ему вспоминается предсказание девушки: «Ну и пусть, и все очень хорошо...» — думает он.

В уголке Пашка Мартынов ухватил Костю за борт пиджака, покачиваясь на обмякших ногах.

— Коська, друг... послезавтра групповые показываем... ведь показываем, а? Ах ты!..

— Ладно, не бузи. Вон девушки-то смотрят, ах, как нехорошо! На ногах не стоишь...

— Чего нехорошо? Думаешь, я пьян?.. Да я бы сейчас фигуры высшего пилотажа... Коськ!..

Но Костя нетерпеливо оглядывается, отрывая от пиджака Пашкину руку. Заглядывает в соседнюю комнату. Там полутемно, девушка откинулась на диване, сжимая руками виски...

— Голова кружится, — шепчет она, поднимая ему навстречу беспомощно улыбающееся лицо, — напоил ты меня, сумасшедший.

— Э, пустяки, плюнь, Любаш.

Быстро оглянувшись на дверь, он садится с ней рядом, обхватывая за плечи.

— Нет, ты пусти, не хочу, — она отталкивает его, упираясь в грудь руками. — Ну, почему ты такой грубый, Костя? И вообще, думаешь, я не знаю про Ольгута?

Опустив руку, Костя спрашивает озадаченно:

— Она тебе сказала?

— Да уж знаю...

Отвернувшись, сосредоточенно двигает Костя мускулами челюстей. В комнате рядом опять начались танцы. Квакает и шипит патефон. Слышны взрывы смеха.

VI

Самолеты готовились к старту. Влекомые людьми, они медленно выползали из ангара и, подобно ласточкам, не приспособленным к ходьбе, неуклюже колыхались и вздрагивали на неровностях почвы.

У красной черты самолеты пожирали бензин, масло и воду. Люди рядом с ними казались хрупкими, светлыми насекомыми.

За корпусами завода, заслонившими горизонт, восходящего солнца сначала не было видно. Только потемнели еще больше тяжелые прямоугольники корпусов, а небо за ними быстро светлело. Потом оно перевалилось через крыши зданий, и сразу поползли по земле косые тени плоскостей самолетов, и аэродром закурился тонкой розовой пылью, поднятой людьми и машинами.

Техники и курсанты, производившие осмотр самолетов, обходили их, шупая глазами от пропеллера до хвоста, и, забираясь в кабины, подолгу копались там, согнувшись и раздраженно щурясь от бьющих в глаза солнечных лучей. Переговаривались короткими натужными возгласами, и на лицах мелькала рядом с обычной в работе деловитостью еще особая торжественная тревога, присущая всякой смотровой подготовке.

Еще задолго до испытаний среди курсантов как-то привыкли считать, что лучшее, что может показать школа, — это хорошая слетанность и строевые маневры.

Сегодня предстояло все это показать. От удачного исхода испытаний зависело многое, и люди, вместе с воздухом аэродрома впитавшие убеждение, что причины аварий всегда кроются в небрежном осмотре перед полетом, проверяя механизмы, ревниво следили друг за другом, щеголяя длительностью.

За воротами аэродрома серая гудронная лента шоссе текла к горизонту, провожаемая вереницей телеграфных столбов. По ней блестящими хриплоголосыми жучками бежали авто. Отрываясь от работы, чтобы разогнуть онемевшую спину, курсанты поглядывали в сторону ворот, откуда должен был появиться автомобиль начальника авиашколы.

... У старка — журавлиный треугольник из девяти машин, повернутый вершиной навстречу ветру. Под колеса подложены деревянные бруски. Моторы глухобормочут, поставленные на малый газ.

Неподалеку на площадке, отведенной для курения, девять курсантов собрались отдельно группой. Там же прохаживаются, отдыхая после осмотра, в одиночку и парами, остальные курсанты и техники аэродрома. Они посматривают на маленькую группу с уважением.

Впрочем, по внешности эти девять ничем не отличаются от остальных. Они обмахивают лица, разгоряченные возрастающим зноем и, пожевывая мундштуки папирос, щурятся от табачного дыма. Теперь, за несколько минут до начала полетов, они, словно по молчаливому уговору, все не упоминают о них, как будто им предстоит самое обыкновенное несложное дело, о котором не стоит говорить.

В центре Рогов, пилот ведущего самолета, поблескивает лимонными белками восточных глаз.

— Было это уж давно, в запрошлом году, кажется. Начали нас тогда выпускать без «бога». И схватила меня лихорадка. Как я привез ее с Кавказа, пристала она ко мне. До сих пор иногда треплет, подлая... Прихожу я на занятия, голова кружится, и по телу мурашки ползают. Чувствую — забирает, а чтобы сказать — ни-ни! Знал я, что в тот день обязательно выпустит меня инструктор полетать. Как же можно пропустить... Перед вылетом спрашивает: хорошо ли себя чувствую, способен ли самостоятельно пилотировать машину? Я, естественно, отвечаю, что, мол, все в порядке, товарищ инструктор... Получаю обыкновенное задание: нормальный подъем, высота тысяча и так далее. Лезу в машину, а у самого руки дрожат, зубы ляцают...

Рогов останавливается, обводит слушателей прищуренными глазами. Выдерживает короткую паузу.

— Как я летал, уже не помню. Хорошо еще, погода была тихая, не «болтало». А как пошел на посадку, зашился, не рассчитал приземления. Запрыгала моя ма-

шина козлом, костыль, конечно, поломал, но колеса, к счастью, уцелели. После места себе не находил, совесть заморила...

— Попало, небось? — интересуется Костя, стараясь щелчком забросить в урну папиросный окурочок.

— Нет, обошлось. Хотел завлет выговор вкатить приказом, да забыл, должно быть.

— Эх, несознательный!

Курсанты вяло хихикают, поглядывая в сторону ворот. Учебный самолет, набирая высоту, поблескивает на солнце выкрашенными плоскостями крыльев и бросает вниз вибрирующий гул мотора.

— Новенького выпустили, — замечает Пашка Мартынов, — ишь забирает, обрадовался...

Несколько человек равнодушно поглядывают вверх.

— А вот тоже, братцы, было дело... — начинает Рогов, заранее усмехаясь. Но рассказывать уже поздно. За воротами аэродрома хрипло взывает сирена автомобиля, и девять человек разом поворачивают головы.

* * *

Забравшись в кабину самолета, Костя неторопливо застегнул ремни, прикреплявшие его к сидению.

Хотелось пить. Мокрая от пота гимнастерка прилипла к спине. Резинка очков резала затылок. Слегка растягивая ее обеими руками, он старался заложить ее поудобнее. Потом в последний раз проверил управление.

Машина его оказалась второй левого крыла треугольника. В нескольких метрах впереди маячил хвост головного самолета, в кабине которого шевелилась высокая фигура Рогова. Наблюдая за ним несколько секунд, Костя видел, как тот, наклонившись, прислушался к чему-то в машине, потом, выснувшись из кабины, махнул рукой дежурному технику.

Проверяя рули и элероны, Костя обдумывал задание: подняться в строю треугольником, потом разворот и перестроиться на три звена. При перестройке он должен образовать левое крыло звена, головным окажется Рогов. Это немного огорчало, хотелось самому повести звено.

У посадочного знака собрались зрители. Повернувшись в ту сторону, Костя поискал глазами начальника школы. Ему казалось, что «старик», наверное, должен теперь волноваться. Однако он не успел ничего разглядеть: стартер у черты выжидательно задвигался, и, когда он опять посмотрел вперед, Рогов на головном самолете уже поднял руку, требуя старт.

Номера засуетились у машин, вынимая из-под колес деревянные бруски. По сохранившейся ученической привычке Костя слегка наклонился вперед всем корпусом. Взмах флажка в руке стартера — и грозный грохочущий рев впереди он воспринял как одно целое и, выждав секунду, включил газ, ощущая рванувшуюся машину.

Толчками и тряской провозжала земля, ветер в ушах все повышал тягучую ноту и, забираясь за воротник, освежающе охлаждал потную спину. Журавлиный треугольник жадно набирал скорость.

Потом сразу исчезли толчки — это самолет оторвался от земли. Быстро приближались громады заводских корпусов, через которые должен был перелетать отряд, а распластанные лепешки ангаров съезжались, отступая назад.

Хвост переднего самолета чуть покачивался впереди справа, не приближаясь и не удаляясь, — значит, при взлете он хорошо выдержал дистанцию.

Внезапно что-то изменилось.

Костя уловил это сначала только слухом: как будто ослабел дружный грохот девяти моторов. В следующий момент головной самолет начал быстро поворачивать влево. Работая рулем поворота, Костя старался выровнять дистанцию. Хвост впереди едва заметно опустился.

Стало ясно — у головного самолета заглох мотор. Теряя высоту, он вынужден заворачивать влево, чтобы не наскочить на заводские строения.

Дистанция уменьшалась с каждой секундой. Костя собрался, что разворотом влево он сам загоразивает дорогу задним машинам. Сознание работало скачками, подстегиваемое необходимостью действовать немедленно.

— Предотвратить аварию... освободить головному место для разворота... Это можно сделать, только выскочив из строя. Земля совсем близко, не больше двадцати метров... Остается одно — полным газом вверх... пропустить задние машины... но тогда от потери скорости неизбежно падение...

На мгновение запротестовало тело, потемнело в глазах, спина содрогнулась, как от занесенного удара. Но сейчас же это прошло. Осталась только холодная пустота в груди, как бывало в детстве во время кулачных стенок на льду.

Обернувшись, он увидел заднюю машину. Она разворачивалась с опозданием. Гремящий диск пропеллера повис совсем близко у хвоста его самолета.

Время истекло. Стиснув зубы, Костя круто потянул рукоятку.

* * *

Грохот слабел, удаляясь, но пыльный вихрь, поднятый уходящим отрядом, все еще заставлял щуриться зрителей, собравшихся у посадочного знака.

Начавиашколы Савко приложил к глазам руку, сложенную лодочкой, и обернулся к стоящим рядом представителям управления военно-воздушных сил.

Маленький седой человек с усталым суховатым лицом рассеянно смотрел из-под прикрытых век вперед удаляющемуся треугольнику и шевелил губами, видимо, занятый посторонними мыслями.

Савко неприязненно задержал на нем взгляд. «Этому покажи хоть лучших мастеров, все равно будет морщиться, олимпиец», — подумал он с обидой за выпущенный отряд.

Другой представитель, грузный, краснолицый, крепкий, задумчиво смотрел вперед, вытирая платком голый бугристый череп и, почувствовав на себе взгляд начавиашколы, сказал, добродушно улыбаясь:

— Позавидуешь молодняку, летают вот. А я сколько лет за ручку не держался. Тянет все-таки...

— Удачный выпуск, очень удачный, — сдержанно заметил Савко, скашивая на собеседника требовательные глаза.

— Мм-да, слетаны недурно. А вот на днях я видел испытания... — Он не докончил и нахмурился, машинально сунув платок в карман.

Поднимающийся отряд был виден как на ладони и казался стаей вспугнутых исполинских птиц. Но теперь правильные линии треугольника заметно сложились, головной самолет сдвинулся в сторону, корбя левый фланг.

— Мотор сдал... не развернется.

Одинокий голос раздался откуда-то сзади, но командиру показалось, что сказал это он сам.

Ему уже было ясно создавшееся положение: ведущий самолет, снижаясь, быстро заворачивал влево.

— Легче, эх, легче, — забормотал краснолицый, как будто пилот мог услышать его.

Все дальнейшее было делом нескольких секунд. На короткое время ведущий самолет и две задние машины почти слились в бесформенную угловатую массу. Ожидая неизбежного столкновения, Савко издал потерянный крикающий звук.

В следующий момент одна из машин круто взмыла вверх, вырезав в глубоком небе черноту распростертых крыльев и, остановившись неподвижно на долю секунды, быстро скользнула вниз. Почти тотчас же раз-

даяся дребезжащий удар упавшего самолета, и начавшишколы, задыхаясь, побежал, придерживая рукой кобру у бедра.

Во время бега он видел, как головной самолет, благополучно развернувшись, опустился в левом углу аэродрома, а остальные, пролетев над заводом, описывали широкий круг, готовясь к посадке.

Люди со всех сторон бежали к месту катастрофы, останавливаясь и перекликаясь на бегу.

Упавший самолет лежал на боку, и смятые при падении плоскости сверкали на солнце свежими изломами дюраля.

Наполовину высунувшись из кабины, пилот неподвижно висел в ремнях, и голова его мертвым грузом спускалась к земле, оттягивая набок шеи. Веки его вздрагивали, приоткрывая глаза, подернутые туманом. Когда через несколько минут санитары с красным крестом и полумесяцем на белых повязках с трудом вытащили его из ремней, он пришел в себя и вятно прохрипел, хватая побелевшим ртом ускользающий воздух:

— Тише, ох, тише, братцы...

Начавшишколы, страдальчески сморщившись и размахивая руками, кричал санитарам, чтобы осторожнее клали раненого на носилки. Вдруг он почувствовал, что кто-то держит его за рукав. Обернувшись, он увидел маленького седого представителя УВВС.

— Товарищ Савко, — сказал тот тихо, но очень внушительно, — благодарю вас за то, что вверенная вам эскадрилья воспитывает людей, способных на истинный подвиг, — и он кивнул головой в сторону носилок.

VII

В госпиталь Ольга попала в приемный день, когда в вестибюле у вешалок тянулся длинный хвост. В очереди она стояла терпеливо, оглядывая людей тревожными сухими глазами. Но по широкой каменной лестнице, ведущей в приемный покой, она уже почти бежала, возбуждая любопытство провожавшей сиделки.

На повороте в сумеречной полутьме мелькнуло большое, в человеческий рост зеркало. Оттуда побежала на нее белая фигура — ее собственное отражение. Халат был короток и висел на ней широким мешком, образуя ворох складок, рукава были непомерно длинны. Лицо свое она нашла неприятно бледным и испуганным и на следующей площадке заранее отвернулась на случай, если бы и здесь оказалось зеркало.

Врач в приемном покое куда-то очень торопился и, слушая ее, подергивал ногой, отчего трепыхались полы его халата. Казалось, он готов улететь от нетерпения.

— Прибыл? Три дня назад? Курсант 1-й авиашколы? Вы что-то путаете... Ах, простите, вот память! Я же сам принимал его. Вы его сестра? Ах, знакомая! — он посмотрел уже с некоторым любопытством и, оставив взгляд на ее руках, теребивших тесемки халата, вдруг нахмурился.

— Положение серьезное... я бы не рекомендовал сейчас... Впрочем, не смею препятствовать... Сиделка вас проводит.

Два санитаря, тяжело переступая ногами, вели под руки красноармейца с забинтованной головой. У красноармейца лицо было закрыто марлей, и только одинокий глаз испуганно блестел в узкую щель между бинтами. Услышав топот ног, врач торопливо повернулся к Ольге спиной, но она тронула его за рукав.

— Простите... еще минутку... — она кусала губы, стараясь сдержать дрожание подбородка.

— Сажайте на диван, — крикнул врач санитарам и, повернувшись на каблуках, глянул на нее в упор, как будто удивляясь, что она еще здесь.

— Я хотела спросить... узнать, как.. опасно его положение?

— Перелом позвоночника и повреждение тазовой кости. Увечье тяжелое. Как правило — смертельный исход. Впрочем, в данном случае большая выносливость организма... Сделаем операцию, будет предпринято все возможное... все возможное... — последние слова он произнес уже на ходу.

Предоставленная самой себе, Ольга потопталась на месте и провела рукой по лицу. Предстояло увидеть его искаленное тело и бинты, вот такие же, как у красноармейца на диване. Она никак не могла справиться с дрожащим подбородком, а теперь еще начали стучать зубы. В таком состоянии нельзя было показываться больному.

Но сиделка подтолкнула ее логонько к выходу, и она пошла медленно, испуганно оглядывая плотно прикрытые, молчаливые двери палат.

Она силилась вспомнить обдуманную накануне линию поведения, которой решила держаться при свидании с больным. Нужно быть спокойной, по-товарищески участливой, как будто ничего между ними не произошло. Но заготовленных слов вспомнить не могла.

— Такой славный, этот ваш знакомый, — сказала сиделка, — у нас говорили, будто товарищей спасал...

Они подходили к последней двери в конце коридора. У Ольги похолодели ноги...

— Каких товарищей? — О чем это она? Ах, да... — вспомнила она и, тотчас забыв обо всем этом, задержала дыхание.

Сиделка осторожно потянула ручку двери.

В коридоре было полутемно. Попав в освещенное помещение, Ольга остановилась у порога. От свежесбеленных голых стен палата казалась высокой и очень просторной. Была она, очевидно, рассчитана на несколько коек, но теперь вместо них стояло посредине одинокое сооружение. Чем-то напоминало оно типографский станок: наклонная стальная платформа была укреплена в неподвижном каркасе, на нее был положен гладкий резиновый матрац, а внизу, в том месте, где платформа была прикреплена к каркасу, виднелось колесо с рукоятками, похожими на штурвал.

Больной был подвешен на платформе при помощи полотняных лямок, продетых у него под мышками. Голову его охватывал плотный кожаный шлем, и прикрепленные к шлему ремни уходили к верхнему краю платформы, поддерживая за подбородок тело, скользящее по наклонной плоскости. Плечи были приподняты ляжками, отчего голова, как у горбатого, казалась лишней шей.

— Что это? — шепотом спросила Ольга.

Ей казалось, что она видит что-то ненастоящее, как бывало, когда неожиданно показывали какой-нибудь цирковой трюк или фокус.

— Позвонки срстанутся в таком положении, — так же шепотом ответила сиделка. Но Ольга не поняла и тотчас же забыла о своем вопросе. Ей показалось, что больной не дышит: когда она подошла ближе — до нее донесся легкий протяжный свист.

— Они под морфием, — шепнула сзади сиделка.

Лицо больного, обращенное к потолку, было серое и казалось грязным, глаза темнели на нем продолговатыми впадинами. Сквозь полуоткрытые губы белели плотно стиснутые полоски зубов. Внезапно один глаз приоткрылся и глянул на нее неподвижно и сонно. Губы слабо дернулись, изобразив что-то похожее на улыбку.

— Это ты-ы?.. Здравствуй, Оль, — сказал он странно протяжным, ленивым голосом, иди сюда.

Она больше не могла сдерживаться и наклонилась к нему. Забыв о платке, лежавшем в руке плотно скатанным комочком, глаза она вытирала кулаком.

— Бедный мой мальчик... что они с тобой сделали!..

Больной беспокойно поморщился и попробовал повернуть голову, но помешал шлем, оттягиваемый сверху ремнями.

— Пустяки, Оля... ты сядь...

Понемногу она перестала всхлипывать и, отняв от лица руки, посмотрела на него мокрыми глазами. Зубы больного опять плотно сомкнулись.

— Костя, да тебе же очень больно, — догадалась она.

— Нет, не очень, теперь уже лучше.

Чтобы глядеть на нее, ему приходилось скашивать глаза, но говорить было сравнительно легко.

— А письмо твое я получил, — сказал он сквозь зубы все тем же протяжным голосом, — ты бы не пришла... не будь этого случая...

— Костя, миленький, не надо, — она рванулась со стула, забыв о присутствии сиделки.

— Бедный ты мой, ну, до того ли теперь? Стоит ли вспоминать об этом?

— Нет, подожди... все равно, — продолжал он упрямо, — я ведь был таким скотом тогда... Да, вот именно... скотом, — он как будто с удовольствием повторял это слово, — ты как-нибудь... того... прости...

— Да замолчи же, экий глупый! — она прижалась щекой к его лицу и при этом нечаянно уперлась локтем в его грудь, но он даже не поморщился.

— А я-то... тогда же побеспокоился...

— Костя, молчи, я же опять зареву, да что же это такое!..

Сзади скрипнула дверь, сиделка, наконец, вышла. Теперь лицо его с торчащим сверху подбородком было так близко, что она чувствовала на своей щеке его дыхание. Глаза его бегали тревожно, как будто он собирался спросить о чем-то важном и боялся не получить ответа. Опасаясь, что он опять заговорит о письме, она торопливо спросила:

— Как за тобой здесь ухаживают, не забывают тебя?

— Нет... хорошо...

Она застегнула на его груди пуговицы рубашки, поправила покрывало, сехавшее вниз к ногам, и заботливо оглядела его всею, отыскивая, что бы еще сделать. Потом, придвинув стул, удовлетворенно прошептала:

— Теперь уже не оставляю тебя...

Она не заметила, как быстрая судорога, похожая на гримасу боли, прошла по его лицу. Но сейчас же он чуть улыбнулся одними губами и закрыл глаза.

Осторожно она взяла его руку в свою. Рука была горячая и влажная. На подбородке она заметила короткую густую щетину бороды и поняла, почему лицо его сначала показалось ей грязным. Раньше она никогда не видела его небритым.

Но теперь это лицо уже не пугало ее. Она почувствовала облегчение: не было ни бинтов, ни крови, была только странная машина вместо обыкновенной кровати. Наверное, она-то и была тем средством к выздоровлению, о котором говорил врач. Особенно убедительно выглядело колесо. Рукоятки его торчали из-под платформ, как растопыренные деревянные пальцы. Она нагнулась и увидела жирные от машинного масла зубцы шестерни да какие-то рычаги, идущие от колеса к платформе. Ничего не поняв, она устроилась поудобнее на стуле и приготовилась ждать.

Сначала Ольга не заметила мертвенной тишины палаты, но когда пробили, где-то поблизости стенные часы и замер последний певучий удар, она зябко повела плечами и стала прислушиваться, стараясь уловить хоть малейший звук извне. Но звуков не было, и понемногу ей стало чудиться, что еще бесконечно долго никто сюда не придет и так же долго будет спать больной, издавая горлом едва слышный протяжный свист.

Ей вдруг ужасно захотелось, чтобы он открыл глаза, поглядел на нее.

Она принялась упорно смотреть ему в лицо, стараясь проникнуть в тонкие щели век, прикрытые ресницами, туда, где должен был находиться зрачок. Когда ей показалось, что по лицу его прошло едва уловимое движение, она с усилием повторила про себя несколько раз:

— Проснись, открой глаза... Проснись...

Больной глубоко вздохнул, как будто слегка пошевелился, но глаз не открыл.

Ее утомило напряжение. Откинувшись на спинку стула, в каком-то странном оцепенении, она думала медленно, как в полусне, почти не ощущая окружающего.

...Как неожиданно кончилось все... Недавно еще было нежелание жить, вставать по утрам, идти на занятия. Делала она это только потому, что не хватало сил не делать. Часто во время работы или во время совсем постороннего незначительного разговора ей вдруг начинало казаться, что и делает, и говорит она совсем не то, что нужно, и что всякий другой на ее месте сделал бы и сказал иначе... Дома она часто подходила к зеркалу и с отвращением рассматривала свои немного широкие брови и темные круги под глазами.

Ощущение собственной неполноценности усиливалось еще тем, что Костя казался ей по временам самым обыкновенным и вовсе не плохим человеком. Он часто и с большой теплотой говорил о каком-то Рябчинском, с которым прожил большую часть своей жизни, но которого она никогда не видела. Но обида оставалась. И была она такая большая, что не довольствовалась одним ушедшим человеком, а переносилась на мать, на товарищей в институте, на себя самое. И только где-то в глубине сознания копошилась надежда, что все это должно кончиться, как кончились все радости и обиды прошлой жизни. Но время это казалось очень далеким и, как все далекое, теряло свою привлекательность. Даже по дороге в госпиталь, когда все было вытеснено сознанием случившегося несчастья, она боялась их встречи, боялась, что, увидев его, опять почувствует неприязнь и не сумеет скрыть ее или что ей нечего будет сказать ему и свидание выйдет тягостно официальным. Ей казалось необходимым не вспоминать ни о чем, не прикасаться к нему, сохранить расстояние, и она дала себе слово, что ничем не напомнит о письме.

И вот, после первых же слов, он сам заговорил об этом, как будто ждал ее прихода. А она сейчас же забыла о своем решении и даже о присутствии сиделки, прижимаясь к нему щекой.

Он казался ей теперь таким слабым. Нужно было осторожно прикасаться к нему, чтобы не причинить боли...

Кто-то приоткрыл дверь за ее спиной, и она выпрямилась на стуле, освобождаясь от оцепенения. Это была сиделка. Она двигалась мелкими, неслышными шагами. Вокруг ног мягко шелестело полотно халата.

Сиделка подошла к больному со стороны изголовья и, нагнувшись, ухватилась за рукоятки колеса. Скрипнули шестерни, и платформа медленно наклонилась. Тело больного слегка скользнуло вниз, отчего вздрогнули и натянулись поддерживавшие его полотняные лямки. Глаза его широко раскрылись, он сделал ртом хватающее движение, как будто ему не доставало воздуха.

На потемневшем лбу вздулись две толстые вены, сходящиеся к переносице. Чтобы не видеть этого лица, сразу сделавшегося страшным, Ольга закрыла глаза и сидела, вытянувшись, вцепившись ногтями в колени. Ей показалось, что больной громко произнес какое-то ру-

гательство, и она чуть не вскрикнула, когда он схватил ее за руку.

— Ольга, ты мне скажешь, а? Они скрывают от меня... только не ври... слышишь?..

Он бешено скосил на нее глаза, выворачивая покрасневшие белки. Руку ее он сжимал все сильнее, и пальцы их слиплись от пота.

— Костя, миленький, успокойся. Я же ничего не знаю... Доктор говорит, что будет сделано все возможное..

Больной смотрел неподвижно, как бы не понимая. Ей показалось, что он бредит. Осторожно она старалась освободить свою руку.

— Оля, скажи... я все равно узнаю... ребята все целы?.. и машины?..

Она почувствовала облегчение (хотя снова задрожал подбородок) и улыбнулась светло, почти радостно.

— Костя, честное слово, все люди целы. И самолеты тоже все целы, кроме твоего..

По лицу поняла, что он поверил. Рука его, сжимавшая ее пальцы, разжалась не сразу. Веки медленно сомкнулись, и Ольга опять услышала протяжный, ровный свист сонного дыхания.

VIII

Окна палаты выходили на площадь. Сквер, занимающий большую ее часть, днем горел красными и оранжевыми пятнами цветочных клумб. Деревца по краям дорожек встряхивали на ветру шапками листвы, подрезанными в виде полушарий. Дальше за сквером уходили к окраине низкорослые домишки, полускрытые за светло-зелеными столбами тополей. Уличное движение охватывало площадь четырехугольником, и из окна были видны трамвайные провода, качающиеся в пролетах мачт. По вечерам пробегающие по ним дуги трамваев рассыпали снопы зеленоватых искр. Тогда на мгновение квадрат окна освещался ярким мертвенным блеском, похожим на вспышку лунного света.

Окна открывались два раза в день во время уборки. Остальное время с улицы долетали только отрывистые звуки — автомобильные гудки, дребезжание трамвайных вагонов, звонки.

Больной висел лицом к стене, дверь в которой вела в соседнюю палату. Дверь эта никогда не открывалась, но массивная медная ручка, всегда начищенная до блеска, сыяла прямо перед глазами. Слева от него другая дверь выходила в коридор, а окна были направо. Когда ему удавалось повернуть голову, он видел только светло-зеленые верхушки тополей на той стороне площади да кусок голубого неба, разделенный переплетом окна на правильные квадраты. Но твердый кожаный шлем, обнимавший его голову, постоянно подтягивался кверху ремнями, отчего затекали мышцы шеи и поворачивать голову было мучительно трудно.

Днем в палате было много света, и шарик дверной ручки казался маленьким раскаленным светилом. Вечером, когда мутно темнело за окнами и зажигалась матовая электрическая лампочка под потолком, медный шарик поблескивал тусклым холодным глазком.

Ломящая боль в позвоночнике не прекращалась ни на минуту. Казалось, толстый тупой гвоздь вошел в спину и засел там крепко, поворачиваясь при каждом вздохе. Утром, после ночного действия морфия, боль переносилась легче, но во второй половине дня она становилась нестерпимой: приходилось сжимать челюсти, чтобы сдерживать подступающий к горлу крик.

Глаза его постепенно упирались в светлое пятно, и это как будто помогало думать, забывая о боли. Иногда, наоборот, казалось, что это-то неподвижное, как бы висящее в воздухе светило жжет и сверлит его больную спину, и стоит только перестать смотреть, как боль исчезнет. Тогда он закрывал глаза и в самом де-

ле боль как будто утихала немного, но скоро она возобновлялась с новой силой, и он снова начал смотреть сквозь полуопущенные веки. Только после захода солнца, когда серело небо и по углам палаты собирались сумерки, он плотно закрывал глаза, потому что смотреть уже было не на что.

Бывали у него провалы сознания, когда казалось, прошло всего несколько минут, и он с удивлением замечал внезапно надвинувшуюся темноту. Несколько часов протекало без единой мысли. Все сознание уходило в ощущение боли и светлого, непонятого в эти часы пятна перед глазами. Иногда, наоборот, мысль работала упорно, вертясь вокруг случайно услышанного обрывка разговора.

Это было вскоре после прибытия в госпиталь, когда он очнулся после продолжительного сна, вызванного двойной дозой морфия. Пока он спал, кто-то незнакомый посетил палату. Открыв глаза, он увидел, как дежурный врач предупредительно давал дорогу человеку в военной форме. В дверях они задержались. Должно быть отвечая на вопрос, врач безнадежно махнул рукой.

— Если даже удастся избежать гангрены вследствие омертвения тканей, то вероятнее всего останется неизлечимый паралич нижних конечностей.

Когда врач конфиденциально склонил голову к уху собеседника, понижая голос, лицо его было хорошо видно Косте:

— Я, батенька, работаю пятнадцать лет, и я вам скажу, что только профессиональное милосердие мешает нам в таких случаях... э... искусственно прекратить страдания... понимаете?

И, пропуская гостя вперед, добавил громко:

— Парадокс, если хотите!

Так и не узнал Костя, кто был этот неизвестный. По словам сиделки, это было «большое начальство с ромбами», а вечером при обходе врач смотрел как-то особенно приветливо и, уходя, таинственно пробормотал:

— Ну, ну, молодцом, ишь ты, краснознаменец.

Боясь от нестерпимой боли разжать зубы, Костя только слабо улынулся одними губами:

По утрам, когда боль ощущалась слабее, он предавался воспоминаниям. В отдаленных уголках памяти обнаруживал он смутные картины прошлого, похожие на неясный сон, странные и привлекательные. Казалось невероятным, что все это было с ним когда-то. Подолгу останавливался он на каждом эпизоде, стараясь припомнить подробности. Но чем ближе были воспоминания, тем мимолетнее останавливалась на них мысль, его тянуло вглубь прошлого, к детству. И уже совсем редко вспоминал он о последнем полете. Он перестал занимать его с той минуты, как он узнал, что люди и машины целы. О том, что сделал он в то утро, невозможно было жалеть, этим нельзя было гордиться. Он не мог не сделать этого, как не мог бы не драться, если б была война, не работать. Кто-то должен был освободить место для разворота, он догадался раньше других — вот и все.

Зато подолгу и особенно часто вспоминал он теперь о старом Ткаченке. Этот Ткаченко, когда-то в молодости актер, жил в том же доме, что и Костя, но этажом ниже. В погожие летние дни жена Ткаченки, высокая мужеподобная особа, с усами на верхней губе, выносила его в охапку на двор, и там сидел он в плетеном кресле, подняв к небу желтоватое худое лицо, покрытое редкой растительностью, напоминавшей подвальную плесень. Ноги его бессильно свисали, касаясь земли. Он знал по имени всех жильцов дома, и, проходя по двору, они иногда останавливались перед креслом калеки. Голос у Ткаченки был скрипучий и сухой, как удары по жести, съеденной ржавчиной, и расска-

звал он постоянно какие-то фантастические любовные истории. Увлекаясь, он брызгал слюной, и верхняя половина его тела извивалась от возбуждения, в то время как нижняя была неподвижна и казалась инородным телом, лишенным жизни. Проходя по двору, Костя всегда прибавлял шагу и смотрел в сторону, а однажды подумал, что на месте Ткачки постарался бы умереть.

Сиделку, постоянно находившуюся при нем, он беспокоил редко. Сидя на стуле, она мирно читала газету, вода по строчкам детским негнущимся пальцем. Потом принималась дремать. То медленно опускала голову, пока подбородок не касался шеи, то вздрагивала и оторопело моргала тяжелыми веками.

Алексей приходил почти ежедневно во второй половине дня. О времени его прихода больному напоминал заводской гудок. Услышав низкую густую ноту, возникавшую внезапно, словно из-под земли, он начинал прислушиваться к редким шагам в коридоре.

Дверь Алексей открывал ровно настолько, чтобы в образовавшуюся щель можно было протиснуться боком, и на цыпочках подходил к больному, тревожно блестя стеклами очков.

— Ну, как себя чувствуешь? Болит?

Вопрос был всегда один и тот же. Костя улыбался и косил глазами.

— Болит, как не болеть? Но меньше. Только ты сидишь, не мотайся.

Обрадованная сиделка тотчас же исчезала. Алексей пытался острить.

— Не любит меня твоя милосердная. Небось по мешал?

Но исподтишка пристально вглядывался в лицо больного. Тогда Костя переставал улыбаться.

— Что слышно в институте?

— По-старому. Ничего неизвестно. Вот вызовут в райком, тогда... Только я, Косыка, не надеюсь...

— Напрасно. Все обойдется.

— Думаешь?

— Думаю.

Было в лице больного что-то, чего Алексей не мог понять, словно лежал он за прозрачной, но глухой стеной: отвечал не сразу, а медленно, как будто с трудом доходили до него простые слова.

Иногда Алексею хотелось рассказать о том, как встретил он на днях в институте Гришку Рябчинского и как оба сделали вид, что не заметили друг друга. Или о том, что теперь он совсем один и потому старается приходить домой как можно позже, чтобы не сидеть одному в пустой комнате, но вместо этого торопливо искал заранее принесенную газету.

— Я почитаю, хочешь?

Он принимался читать с первой страницы, выбирая наиболее важное, и больной слушал внимательно. Иногда, останавливаясь, просил повторить. Чтение, видимо, доставляло ему удовольствие. Но однажды он вдруг перебил:

— Ты Ольгу знаешь? Черненко, ходила ко мне раньше.

— Ну да, знаю. А что?

— Она тоже ко мне заходит теперь. Навещает...

— Ну...

— Ну, ничего, навещает, говорю...

— Да в чем дело? Может, ей нужно чего? — забеспокоился Алексей.

— Да нет. Я просто так сказал. Продолжай.

Прощались обычно как-то сухо, или, может быть, это только казалось Алексею... Больной не мог повернуть головы, тело его было неподвижно, а улыбался он скупой, одними губами.

— До свидания. Завтра зайдешь?

Из палаты больного Алексей заходил к дежурному врачу. Оттуда он всегда уходил раздраженный. Повидному, осколки костей мешали сращению позвоночника. На это указывали непрекращающиеся боли. Но с операцией почему-то медлили. Главного врача было трудно найти, бывал он в госпитале урывками в разное время дня.

Однажды, когда Алексей особенно упорно настаивал на свидании с главным врачом, дежурный, устал отечавший на вопросы, вдруг улыбнулся.

— Беда нам с вашим братом. Положение тяжелое, сами понимаете, а из управления воздушных сил чуть не каждый день звонки, справляются о здоровье. Сам начальник управления вчера звонил. Орден Красного Знамени, говорят, ему дадут. А тут еще вы!

И обещал, что завтра главный врач непременно будет.

В словах дежурного врача не было для Алексея ничего нового, но, вспомнив о них уже на улице, он почувствовал смутное недоумение. Каждый раз, когда разговор касался катастрофы, Костя отмахивался с непонятным равнодушием, упорно не желая рассказывать

— Ну, о чем тут говорить? Обыкновенная авария... случайность...

Казалось невероятным, чтобы Костя мог не знать о всех этих знаках внимания, о предполагаемой награде. И была у Алексея затаенная мысль, которую он добросовестно старался отогнать:

— А может быть, и действительно не о чем рассказывать?

IX

Как-то неожиданно переломилась погода. Накануне вечером за деревьями в конце площади опустился огромный багровый диск и в квадратах окна долго еще угасало зеленовато-голубое призрачное сияние. А утром, проснувшись, больной увидел оконные стекла, рябые от брызг, и потемневшие верхушки тополей, упруго сгибавшиеся под ветром. Лицом и открытой шеей ощутил он сырость прохладного воздуха и натянул на себя покрывало.

Мутный свет, сочившийся из окна, напоминал о близкой осени. И все-таки, несмотря на плохую погоду и сонливую скуку ненастного утра, он почувствовал себя лучше. Как будто спала температура, исчезла тупая тяжесть, уже много дней наполнявшая голову. Накануне сиделка ослабила ремни, подтягивавшие шлем, и теперь он почти свободно поворачивал голову.

По оконному стеклу полезли, извиваясь, дождевые капли. Сверху они двигались медленно, вбирая в себя по пути мелкий водяной бисер. Дальше они все ускоряли свой бег, перегоняя и сливаясь друг с другом, и у нижнего края стекла быстро скатывались, исчезая в щели оконной рамы.

Костя попробовал угадать, которая из капель раньше достигнет щели, и отметил одну. До середины стекла она шла впереди, чтобы не потерять ее из виду, он прищурил глаз, сдвинув от напряжения брови. Потом вдруг ее опередила другая и, оставив на стекле прямую блестящую дорожку, быстро скатилась в щель. Тотчас же он потерял интерес к этому занятию и, отвернувшись, закрыл глаза.

Во время обеда он ел, как всегда, исправно. Но когда сиделка вышла из палаты за вторым блюдом, оставив прибор на столике, он проследил глазами, как закрылась за ней дверь, и торопливо нащупал вилку. Потом попробовал пальцем острие и, откинув покрывало, осторожно ткнул себя вилкой в бедро. Он подождал несколько секунд, как бы прислушиваясь, потом ткнул еще раз, уже гораздо сильнее. Должно быть, острие воткнулось в тело: дергая вилку назад, он по-

чувствовал сопротивление. Но боли не было, как будто входило острое в неживое или постороннее тело.

После обеда он лежал с закрытыми глазами, ни о чем не думая, постепенно погружаясь в дремоту. Его разбудил какой-то неопределенный звук. Проснувшись, он не торопился открыть глаза, а когда открыл, увидел Рябчинского.

Гришка стоял совсем близко, неестественно вытянувшись и застыв в напряженной позе — руки по швам. С лица его еще не успело сойти болезненное, пугливое выражение. Это выражение замечал Костя у всех, кто приходил к нему впервые.

— Отчего ты так долго не приходил? — сказал он недовольно. — Я ведь все ждал. Мог бы опоздать... не увиделись бы...

Он как-то совсем не удивился приходу Рябчинского, словно ждал его именно сегодня.

— Я не знал, думал тебе будет неприятно... — пробормotal Рябчинский.

— Неприятно?.. Ты это серьезно?

— Серьезно.

Рябчинский подошел ближе и вдруг затормозился.

— Ты не думай, я ведь сразу пришел, как узнал. Только не заходил к тебе, а справлялся у дежурного врача... Потом бывал очень часто, узнал, что окно твое выходит на улицу, только не видно ничего, высоко... — он задыхнулся и жадно смотрел, как в уголках Костиных глаз собирались смешливые морщинки.

— Ну, ладно, верю. Иначе и быть не могло, — сказал Костя убежденно, — а с улицы действительно ничего не видно — второй этаж.

— Вот, вот, только и видно, что потолок... Слушай, ну, как ты? Чертовская боль, наверно?

— Больно, а то как же. Сплю плохо — вот беда. А морфия дают мало... Вот и лежу целыми днями один... а друзья под окнами ходят...

Рука его болталась, свешиваясь с платформы, и Рябчинский порывисто схватил ее.

— Ой, легче, черт, руку ломаешь, — усмехнулся Костя, — да ты садись, не маячь. Я поговорить хочу... ближе садись.

От волнения Рябчинский делал массу ненужных движений, и, пока он усаживался, больной, не отрываясь, следил за ним чуть насмешливыми ласковыми глазами.

— Говорить мне теперь не с кем. Вот и думаю. Никогда так много не думал. Может, от тишины это. Здесь всегда тихо, вот как сейчас...

Он остановился, словно прислушиваясь. Глядя на него, прислушался и Рябчинский.

— Еще вспоминаю разное... Вот — рабфак... Сколько воды утекло, а я помню. Ты-то, небось, уж забыл, как мы с тобой занимались... Сидим, бывало, весь вечер и разберем-то малюсенький кусочек из математики, а у меня уж глаза на лоб вылезли. Алешка тебе советует: брось, мол, с ним возиться... Терпение у тебя адское было... А то еще помню, как ты в цирке в наездницу влюбился. После мы с Алешкой ее у подъезда караулили, письмо твое передавали. Глупое что-то ты тогда написал...

— Да, да, да, было что-то в этом роде, — заинтересованно протянул Рябчинский.

— Еще бы, конечно, было... А помнишь, Гриша, наши вылазки на Ленинские горы? Особенно одна запомнилась. Мы тогда отстали от остальных... ты, я, Алексей, девчата с нами были — не помню, кто... Стенело уже, а мы все не спускались, — смотрели сверху на город. Домов не видно было, только марево орней до самого неба. Помню, чудилось мне, что это и не город вовсе, и людей там нет, а есть только эти огни на много верст кругом... Перестали мы тогда петь и даже го-

ворили вполголоса. А когда спустились, опять все стало обыкновенным... В какие-то кусты попали...

— А ведь я помню, честное слово, — радостно перепрыгнул Рябчинский, — кажется, Алешка тогда кепку потерял в кустах.

— Может быть, про кепку... забыл...

Рябчинский поднялся и неслышными шагами подошел к окну. На сером фоне его лохматая голова выделялась резким черным силуэтом.

— Был я вчера в райкоме, — заговорил он оттуда сердитым голосом, — положение было дурацкое.

— Что?

— Положение, говорю, было дурацкое. Заявил, что раньше ошибался, а теперь считаю самоотвод Алексея правильным.

— Я так и знал, спасибо.

— Ты, может, думаешь, я ради отношений? — резко повернулся Рябчинский.

— Значит, не думаю, раз говорю спасибо. Оставят его на исследовательской работе, как ты полагаешь?

— Наверное, оставят.

Отвернувшись, забарабанил Рябчинский пальцами по стеклу. Необходимо было выдержать паузу, чтобы заговорить о другом.

— Гриша! — внезапно окликнул больной.

— Ну?

— Просьба у меня к тебе... Это уж ради отношений...

Он помолчал еще немного, словно не решаясь начать, и оглядел Рябчинского острым оценивающим взглядом.

— Сегодня я выяснил свое положение. Спинной мозг, видно, разорван. Парализована нижняя часть тела... Всегда, конечно.

— Брось выдумывать... мнительность... — Рябчинский испуганно покосился и тотчас же отвернулся к окну.

— Не валяй дурака. Сам знаешь, что правда. С врачом говорил? Гриша, зачем это? Ведь я только и живу морфием... Не могу я больше висеть... взгляни.

Неторопливо закатил он рукав рубашки и поднял руку. Барово-красная ниже локтя, она заметно распухла, и вены вздулись на ней узловатыми голубыми шнурами.

— Затекают, — пояснил он, опустив руку, — это от лямок, понимаешь?

Рябчинский снова молча покосился. Он упорно не хотел отойти от окна.

— Распластали, как лягушку для вскрытия, — злобно заговорил Костя, — знают ведь, что все равно подохну или еще хуже — без ног...

— Да ты не волнуйся, — начал Рябчинский неуверенно, — ну, положим, что в самом деле есть угроза... так сказать... неполного выздоровления. Но что же делать?

— Ты можешь... я хотел просить... ну, черт... мне нужен опий, два грамма.

В наступившей тишине, казалось, задохнулись все звуки, не было слышно даже дыхания. Потом Рябчинский сразу шумно задвигался, отходя от окна.

— Ты, должно быть, уж слишком много думаешь, — сказал он яростно, — совсем с ума сошел.

Костя прикрыл глаза.

— Я ведь ничего не сделал такого... я только вовремя потянул ручку, но это случайность. А ты ждешь от меня героизма. Потом ты еще не знаешь... Тут приходит ко мне одна девушка. Жил я с ней раньше...

— Ну и что же?

— Ушла она от меня.

— А вот в чем дело. — Рябчинский почувствовал облегчение, но нахмурился еще строже. — Знаешь, это уж совсем «вчерашняя» история. Еще «во время оно» испорченные гимназисты стрелялись из-за баб...

Но сейчас же пожалел о своих словах. От серого ненастного света, скупо сочившегося в окна, лицо больного казалось зеленоватым. Он устало поморщился, преодолевая отвращение.

— Подожди, не перебивай...

На минуту он умолк, словно потерял охоту продолжать.

— Теперь, когда узнала, что я разбился, сразу прибежала... Если не подожду, она меня не бросит, будет возиться с калекой... Черт знает, почему мне всегда попадались хорошие девушки... А, Гриша?

— Почему я знаю. Случайно.

— Случайно?

— Да.

Как-то невольно Рябчинский сделал несколько шагов к двери.

Стиснув зубы, тревожно наблюдал за ним больной.

— Уходишь?

— Да, пожалуй, пора. Я завтра зайду...

— Подожди... Значит, никто не поможет?.. Никто!.. проси, требуй... все равно не дадут... эх, проклятый мотор, не дотянул!.. еще бы десяток метров — и конец, а теперь... — Он длинно, бессмысленно выругался, вращая белками глаз.

— А Алексей... ты не пробовал? — совсем тихо проговорил Рябчинский и сейчас же густо покраснел. Костя качнул головой.

— Лешка? Не-ет, разве он может. Не стоит и пробовать... Что же мне делать, не могу же я сам!.. Гриша!

Плечи Рябчинского опустились, как будто навалился на них тяжелый пригибающий груз.

— Гриша, принесешь?

— Да.

— Когда?

— Когда скажешь...

— Завтра?

— Завтра...

— Ох ты!.. Ну иди же сюда!

Натянув лямки, Костя протягивал руки.

— Поди, поди... Ну, ты же лучше всех! Гриша!

— Ну...

— А не боишься?

Бледно улыбаясь, Рябчинский мотнул головой.

— Ты не бойся, — заторопился Костя, — я все обдумал, как нужно... напишу записку, что сам, понимаешь? Обязательно надо написать, ведь вскрывать будут — узнают.

— Что вскрывать?

— Да тело же. Тут всегда вскрывают, правило такое...

— Да... да, — спохватился Рябчинский и вдруг побледнел. — Я, конечно, уже обещал, но все-таки услышай сначала...

Он приложил руку ладонью ко лбу и несколько раз провел ею сверху вниз, сильно надавливая на глаза, как делал всякий раз, когда приходилось кого-нибудь убеждать.

— Ты ничего не преувеличил, согласен, — заговорил он ровным настойчивым голосом, — положение действительно тяжелое. Но ты хочешь покончить все разом... перестать сопротивляться... Правильно ли это? Ведь все меняется... Разве не было у тебя в жизни мелких неудач, заставивших тебя страдать, искать выхода? Они уже потеряли остроту, многое ты даже и не помнишь... Погоди... — он чиркнул рукой по воздуху, словно отгораживаясь от возражений, — тут разли-

ца, конечно, но только в количестве страданий... Ты можешь бороться, надеяться, пока жив, но смерть... о, я это так хорошо понял сейчас... Ты можешь говорить, двигать руками, думать. Только что ты вспоминал рабфак... десятки мелких подробностей... А ведь это уже так много. Слушай. Представь себе что-нибудь неизмеримо хуже твоего положения... ну, вот зарубежная тюрьма... ты — в кандалах, не можешь пошевелиться, не видишь света, людей... и никогда не увидишь. Даже тогда у тебя остается простая радость жизни! Вот просто дышать и сознавать, что ты живешь. А если случайно откроется дверь и мелькнет кусочек неба, то это ведь событие на много дней! Его уже нет, этого кусочка, и дверь давно закрылась, и темнота, а ты все еще живешь этим случайным светом. Ты думаешь о нем, надеешься, пока ты жив... А смерть...

Он остановился, подыскивая слова, не замечая тревожно пристального взгляда больного.

— Мы не боимся смерти, когда дело идет о борьбе, но это другое... Умирая, мы утверждаем жизнь, мы боремся со смертью, в лице врага мы уничтожаем самое смерть. И разве, спасая отряд от аварии, ты не боролся со смертью?.. А сейчас ты ищешь в ней спасения. Но это же такая очевидная путаница... А потом, разве ты не крепко связан со мной, с Алексеем, с авиашколой, со всем, что мы называем нашей страной? Ведь ощущения этой связи не отнимет у тебя никакая боль, никакое увечье. У тебя остаются книги, газеты, ты можешь знать обо всем, что происходит в стране. Слушай, даже в простое окно можно увидеть столько интересного! Ты не можешь двигаться, но ты наблюдаешь, и понемногу незначительные мелочи, случайно замеченные уличные сценки помогают тебе уловить скрытые процессы жизни города, страны. Ты читаешь наши книги, газеты, и они дополняют тебе недостающее. Ты как бы переносишься во все уголки Союза, ты читаешь обо всем, знаешь все. Наконец, ты же можешь попробовать работать... ну, что-нибудь небольшое... можно придумать...

Тут было слабое место, и, запнувшись, Рябчинский отвел глаза. Больной неподвижно смотрел поверх его головы на мокрое оконное стекло, как будто старался проверить, действительно ли можно увидеть там так много интересного. Усмехнувшись, он медленно повернул голову, скрипнув ремнями шлема.

— Чудак, — протянул он задумчиво, — работай!.. Чулки мне вязать, что ли? — и задвигал желваками челюстей. — Ты думаешь, мне не страшно? Я ведь боюсь, честное слово... Только ничего из этого не выйдет... Полумертвые должны умирать.

Он все как будто присматривался к чему-то, и Рябчинскому показалось, что Костя вовсе и не слушал его.

— Ползать, возбуждать жалость, получать пенсию и быть бесполезным... нет!

В тишине внезапно народился странный тягучий звук. Казалось, сама истекающая водой улица родила эту низкую простуженную ногу. Больной беспокойно шевельнулся.

— Гудок, Алексей сейчас придет, надо договориться.

— Да... постой...

Но, уже не слушая, Костя перебил:

— Гриша, еще одно... Я хочу, чтобы вы были тут, ты и Лешка, когда я буду... одному как-то погано...

— Ты хочешь сказать ему?

— Ни-ни. Что ты! Ни за что!.. Я приму как будто лекарство, а потом, когда я усну, ты уведешь его...

Небо теперь затянулось сплошным матово-серым налетом водяного тумана, и в полумраке палаты лица белели неясными расплывчатыми пятнами.

Когда Алексей по обыкновению боком протиснулся в узкую щель двери, Рябчинский быстро двинулся ему

навстречу, протянув вперед открытую для пожатия руку. Алексей растерянно улыбнулся.

— Я, Лешка, был неправ и говорил чушь тогда на парткоме. Не сердись!

Следующий после примирения день был особенно хорош для Алексея Берзина. Пробуждаясь от сна и еще не открывая глаз, он вспомнил все, что произошло вчера и, прежде всего, угловатую Гришкину фигуру с протянутой вперед рукой. Тогда исчезли остатки сна, глаза открылись легко, без напряжения.

Поднимаясь с постели, он увидел в окно голубое небо, пронизанное солнечным светом, и в нем — черные молнии мелькающих стрижей. Одеваясь, он насчитывал сквозь зубы, без нужды громко топал ногами и, затягивая шнурки ботинок, приговаривал в такт своим движениям: «Та-ак, вот та-ак...»

Мысль о Косте явилась, когда он завязывал перед зеркалом галстук. На короткое время стало стыдно чего-то, и внутри поднялась болезненная тревога. Но вчера Косте было лучше, и говорил он как будто больше обыкновенного. И ведь врачи продолжали надеяться. А сегодня он обязательно будет в госпитале. Алексей окончательно успокоился, увидев в зеркале свое озабоченное лицо.

Даже с предстоящей работе думалось в этот день без тревоги и как-то мечтательно, отвлеченно. Будь с ним сейчас Рябчинский, Алексей, наверное, заговорил бы по-прежнему о подвиге. Но Рябчинского не было. Зато подолгу и с небывалой щедростью воображения думалось в это утро о Гришке. Никогда не расскажет он о своем посещении райкома. И даже много лет спустя оба они будут хорошо помнить и всегда обходить молчанием этот день.

По дороге в институт Алексей смотрел на шербогатый асфальт тротуара и представлял себе Гришку в райкоме.

...В вестибюле густая толча и многоголосый учредженский гул. На поворотах лестницы люди, не оглядываясь, задевают друг друга локтями и плечами.

...Милиционер, наклонив голову в монументальной каске, поставил ногу на первую ступеньку, глядя на руки проходящих. На ходу Гришка роется в кармане, отыскивая партбилет...

...Кто-то сидит в кабине за письменным столом. Алексей видит только его посеребренный затылок над шеей, изрезанной морщинами.

«Мне казалось, что это настроение чуждо нам, — говорит Гришка угрюмо, — слишком много личного было в его самоотводе... И этот такой упорный отказ. Я поторопился...»

«Вы должны были понять, — шепчет Алексей строго, — люди больших научных задач не могут оставаться массовиками. Я познакомился с его работами, это все оч-чень значительно! Как могли вы этого не видеть?»

«Я видел это, да, — отвечает Гришка, опуская голову, — но когда он вслух мечтал о подвиге, мне казалось, что это слово неподходящее. Он хотел известности для себя... Но тогда это не подвиг».

«Ты и в этом ошибся, — вполголоса бормочет Алексей, незаметно переходя на «ты», — для себя он хотел только признания. Разве несвойственно это желание лучшим из нас?»

...Гришка все ниже опускает голову, и пряди волос спускаются ему на глаза.

«Ты хорошо сделал, что пришел теперь, — шевелит Алексей губами, — ты предотвратил ошибку... Всею виной твоя болезненная подозрительность...»

При этих словах он перестает грезить. Кто-то уже говорит: «подозрительность...». Именно это слово... Но кто? Да, конечно, это Костя сказал тогда на водной станции.

Внезапно Алексей остановился. Он даже не оглянулся, когда кто-то сзади наткнулся на него, неожиданно обхватив за плечи.

«Гришка был в райкоме перед тем, как идти в госпиталь. К нему, Алексею, он даже не зашел... Значит, это для Кости...»

Стоя посреди тротуара, Алексей старался не шевелиться. Так делал он всегда, когда внезапно его охватывал стыд.

Прохожие недоуменно оглядывали его неподвижную фигуру с портфелем в вытянутой руке. Это заставило его двинуться дальше. Но едва он прошел несколько шагов, как сделанное открытие уже перестало казаться ему правдоподобным.

...Ну да, Рябчинский торопился к больному, но это так естественно. И разве он не дождался его, Алексея, не пошел навстречу? И стоит ли портить себе настроение пустыми догадками...

* *
*

День этот был такой безоблачный и ясный, липы на бульварах так лениво шевелили пронизанной золотым светом листвой, что казалось, не вчера, а много дней назад извергало серое небо тучи дождевых брызг, сдуваемых порывами ветра в мутные стремительные потоки по краям мостовых. Только влажная, мягкая земля бульварных аллей да маленькие лужицы, высыхающие в углублениях у водостоков, напоминали о вчерашнем дожде.

В трамвае было просторно, и всю дорогу до госпиталя Алексей сидел на боковом месте. Эти места он любил, там можно было читать, протянув длинные ноги под соседнее сиденье, положив на колени портфель.

На этот раз он не вынул книгу, а смотрел в открытое окно на веселые от солнечного света улицы, уходившие с грохотом мимо. Мелькающие стекла витрин вспыхивали ослепительными искрами, на перекрестках отдавало пылью. Рука его лежала на размягченной от времени, холодноватой коже портфеля. Под ней (он знал) на куче журналов покоится кусок восковой калыки. Он боролся с искушением еще раз посмотреть на нее тут же, в трамвае. О ней нужно было забыть перед посещением больного, но искушение не проходило. Эта последняя диаграмма была для него почти неожиданной. Ее трудно было вычертить: вместо тонкого язычка на листе образовалась прямая линия туши. Все излучение заключалось в телесном угле, равном половине градуса.

Не доезжая до госпиталя, трамваи стали. Перед глазами Алексея тянулась длинная вереница возов, груженных тесом. Желтые штабели досок прямо пахли смолой: на возах перекликались возчики, а застрявший впереди вагон лязгал буферами, стараясь сдвинуться с места.

Он не заметил остановки и только, когда трамвай тронулся, понял, что стоял долго. Тогда он вдруг заторопился и, хотя до госпиталя было еще несколько остановок, встал и всю дорогу простоял на площадке.

Войдя в палату, Алексей застал там Рябчинского. Нелышными шагами Гришка ходил из угла в угол по диагонали и на ходу молча пожал Алексею руку.

Еще одну приятную неожиданность подарил этот день Алексею Берзину. Это была перемена, которую заметил он в состоянии брата. Как будто распалась прозрачная, непроницаемая перегородка, отделявшая его все последнее время. И не смотрел он уже равнодушно перед собой, а старался заглянуть в окно, поворачивая голову, по-прежнему туго стянутую шлемом. И Алексея он встретил как-то особенно тепло.

— Ну, обрадовал. Да ты совсем молодец! — Алексей взволнованно потискал руку брата и, пятась, оглянулся, отыскивая стул.

— А ты думал как?.. Поправляюсь, — сказал Костя.

— И не болит?

— Ну, уж сразу и не болит! Немножечко ноет, но это пустяки.

Больной покосился в сторону окна.

— Погода-то, погода... Пешком шел, небось?

— Не, куда там. На трамвае. И так опоздал...

— Опозд-а-а-л... — передразнил Костя и, уже не замечая брата, задумался.

В тишине стали слышны шаги Рябчинского. Он двигался прямолинейно, как машина, и только, уткнувшись в угол, поворачивался кругом, глядя на носки сапог.

— А ведь я так давно не курил, — вдруг сказал Костя неестественно громко, — очень хочется. У тебя есть?

— Да тебе же вредно, — запротестовал Алексей, — и потом здесь, наверное, нельзя...

— Ну, ничего... откроем окно...

— Дай же ему, — останавливаясь, крикнул Рябчинский с непонятным раздражением.

Получив папиросу, Костя глубоко затянулся, шуря от дыма, окутавшего его лицо.

— Гриша, теперь окно...

Не глядяваясь, Рябчинский послушно подошел к окну и толчком растворил обе рамы.

Затягиваясь папиросой, больной улыбался. Он видел только зеленые шапки деревьев, красные крыши домов за ними да кусок голубого неба. Но снизу явственно доносилось дребезжание телег, рычание автомобильных сирен и чьи-то торопливые шаги, а ветер приносил смешанный запах сухой травы и бензиновой гари. Раз даже показалось ему, что слышит он отдаленное ворчание авиационного мотора, но как ни вертел головой, стараясь увидеть возможно больший кусок неба, — самолета так и не увидел. Должно быть, летел он выше, над самым зданием госпиталя. Когда папироса потухла, он перестал улыбаться.

— Сегодня мне лучше, — сказал он, — и хотелось бы поговорить. Ты вот все причитаешь — «болит», «не болит»... а раньше как славно говорил о своей работе. Или не помнишь?

Алексей покраснел и украдкой покосился на Рябчинского, но увидел только его спину, удаляющуюся из угла палаты.

— Я, видишь ли... еще не был уверен... Оттого и молчал.

— А теперь уверен?

— Теперь уверен.

— Вот и я всегда был уверен, что ты сделаешь что-нибудь большое.

— Я знаю, ты один...

Алексей хотел сказать: «Ты один понимал меня...», — но вовремя спохватился, и Костя тотчас помог, перебив:

— Ну, ладно, выкладывай. Только трудно, я думаю, этак по заказу говорить, а ты сделай вот что: представь себе, будто мы с тобой расстаемся надолго... и это наш последний разговор... понимаешь?

Не дойдя до угла, остановился при этих словах Рябчинский, но тут же опять двинулся, когда Костя добавил спокойно:

— Я это к тому, чтобы тебе легче было рассказывать.

— Ну, что ты мелешь, — рассеянно промямлил Алексей, — как это можно себе представить!

В эту минуту он думал о том, что напрасно оставил портфель в раздевалке. Из-за этого нельзя было показать диаграмму

Прежде чем начать разговор, он некоторое время озабоченно хмурился потирая руки, стараясь скрыть овладевшую им радость. Его подмывало сразу же рассказать о полученных результатах, а рассказав, притворяясь равнодушным (как будто речь идет о самой обыкновенной вещи), сообщить о своем намерении опубликовать работу в ближайшее время.

Но почему-то заговорил он совсем иначе, медленно и даже как будто неуверенно, осторожно подбирая слова. Может быть, потому, что Рябчинский ни разу не взглянул в его сторону и как бы вовсе не замечал его. Несколько раз Алексей останавливался и мелком взглядывал на Рябчинского, стараясь угадать, слушает ли он или занят своими мыслями. Иногда ему казалось, что Рябчинский только притворяется безучастным и вот-вот не вытерпит и вступит в разговор. Приходилось избегать специальных терминов, чтобы Косте было понятно. Это было сравнительно нетрудно, пока излагал он основную мысль, зародившуюся еще в те времена, когда он сам больше всего любил популярные лекции, в которых упрощенное изложение дополняли картины проекционного фонаря. Но когда он перешел к описанию физического процесса, простых слов не хватало, и больной нетерпеливо зашевелился.

Тогда Алексей попробовал обойти подробности и заговорил горячо и сбивчиво, стараясь подобрать удачные сравнения. Диаграмма, оставленная в портфеле, давала право говорить о конечной цели, и постепенно освобождался он от чувства неловкости, теряя границу между уже сделанным и тем, что предстояло сделать.

Слишком много накопилось за последнее время планов и внезапных идей, и были они то причудливо фантастические, способные вызвать улыбку у скептически настроенного слушателя, то скромные, реальные, но вполне незначительные на первый взгляд.

Последние дни он особенно много думал об использовании разработанного метода для направленной радиосвязи. Иногда, забегая после работы в радиолабораторию, он подолгу терпеливо вертел рукоятку приемника, с удовольствием прислушиваясь, когда хрипло гнусавое бульканье телеграфа покрывало пение скрипок. Вопрос об очистке эфира, давно интересовавший его, теперь казался легко разрешимым. Стоило только заставить телеграфные станции работать направленно — и тесное в эфире перестанет служить препятствием для расширения радиосети.

Теперь он заговорил об этом, как о наиболее близком результате своих усилий, стараясь объяснить действие отражающих антенн. Увлекшись, говорил он громко и за звуком своего голоса едва услышал, как Костя произнес отрывисто несколько слов.

Остановившись, он спросил нетерпеливо:

— Что?.. Тебе не ясно?

— Нет, хорошо, продолжай, — сказал больной, — Гриша, лекарство...

Привстав со стула, Алексей бестолково засуетился, как бы просыпаясь от сна.

— Я...

Рябчинский уже подошел и заслонил собой больного. стакан с лекарством оказался на столике, прикрытый газетой. И пока Рябчинский медленно подносил его к лицу больного, темная жидкость тяжело колыхалась в нем, обвязывая стекло коричневыми язычками.

Опустившись на стул, Алексей рассеянно наблюдал, как пил Костя, закрыв глаза, торопливыми мелкими глотками. По углам Костиных губ стекали темные капли.

— Сегодня мне особенно повезло, — заговорил Алексей, — модель, на которую потратил я все последнее время, дала результаты, в сравнении с которыми все, чего добился я раньше, пустяки. И мне

уже непонятно теперь, почему до сих пор я не был абсолютно уверен. Может быть, потому, что непреодолимыми казались трудности. Или потому, что основная мысль моя так проста, что иногда казалась наивной. Было похоже на то, как иногда смотришь издали на какой-нибудь холм. Кажется, рукой подать, но начинаешь идти — и тогда только видишь, как далеко до него, а на пути встречаются препятствия, которых сначала не замечал. Ведь, казалось, что может быть проще! Ну, представь себе проволоку. По ней течет электрический ток. Проволока передает энергию от одной точки к другой, она искусственная, выполнена человеческими руками — протянута из куска металла. Мы умеем так же излучать энергию в эфир в виде электромагнитных колебаний, распространяя ее равномерно во все стороны, сферическими волнами. Но тогда в любую точку пространства попадает ничтожная доля всей излученной мощности. А я хочу излучить энергию без проводов, но в одном направлении — вот и все. Так скажешь, провод в эфире. Понимаешь?

— Понимаю, — ответил Костя, открывая глаза, — продолжай...

— И вот я получил... Конечно, это только первый удавшийся опыт... И я не хочу сказать, что разрешил до конца задачу. Но теперь есть метод, проверенный экспериментально, и... я знаю, как это будет. Высоковольтные линии электростанции, тяжелые фермы и провода, весь дорогостоящий неподвижный аппарат, которым пользуются сейчас для электропередач, все это в конце концов станет ненужным. Можно будет создавать каналы энергии в один день и по произволу менять их направление. А транспорт на дешевой электрической энергии! Ведь сейчас он не может произвольно менять маршрут, связанный сетью электрических проводов. Без них все эти электровозы, трамваи — куча бесполезных коробок на колесах, а передавая энергию в любом направлении, легко можно будет менять их маршрут, и это будет дешевле, чем автотранспорт...

Была у Алексея одна привычка, которую сам он едва ли за собой знал. Во время продолжительного, интересующего его разговора, когда говорить приходилось больше, чем слушать, он нащупывал глазами случайный предмет или даже тень от предмета и смотрел на него, не отрываясь, машинально обводя в воздухе

его контуры. Иногда силуэт этот напоминал ему что-нибудь или же просто привлекал глаза ясными простыми очертаниями. Но чем-то это помогало организовывать ход мыслей, и позже часто недоумевал Алексей, почему так упорно вертится в памяти книжная обложка или цветное стекло абжура.

Так и на этот раз: пригладился он к оранжевому квадрату солнечного света, отпечатанному на Костинной груди переплетом окна. Квадрат не стоял на месте, медленно переползая выше, к подбородку. Краем своим он уже задевал полосу шеи, и шерстинки одеяла, которым был прикрыт больной, блестили и переливались самыми причудливыми цветами. Было точно что-то поощряющее в незаметно наступившей тишине, и, уже не отрывая глаз от этого маленького светлого поля, огороженного рамкой тени, Алексей заговорил так, как будто внезапно остался совсем один в пустой палате.

— Теперь, когда я уже больше не сомневаюсь в успехе, я задаю себе вопрос: что же заставило меня добиваться его, творить? Ведь я мог ошибиться, и в конце концов я только подготавливаю. Даже конец этого подготовленного труда отдален от меня многолетней толщей времени и усилий. Вероятно, я даже не увижу того, о чем говорил только что, и окончательный успех выпадет на долю других. Повседневная работа кропотлива и напряженна, она требует всего человека и только изредка скупо дает взамен достижение и ощущение собственной силы. Зато именно она, эта работа, ее успехи, чередующиеся с неудачами, ее то горький, то сладостный вкус растет в нас честолюбивое стремление к подвигу во имя нашей великой, восходящей страны. Что из того, что многие из нас не увидят того чудесного, ради чего они живут, дерутся и умирают!

Он мог бы еще долго говорить так, уже ни к кому не обращаясь, словно мечтая вслух, если бы ему не показалось вдруг, что из солнечного квадрата смотрит на него каменное, неживое лицо.

— Костя, — окликнул он тихонько и, не дождавшись ответа, почувствовал, как обхватил его за плечи подошедший сзади Рябчинский.

— Тише, Лешка, — прошептал Рябчинский над самым ухом, — видишь, заснул... идем...

А. Февральский

СТАНИСЛАВСКИЙ И МЕЙЕРХОЛЬД

Фото, которое мы здесь публикуем, является последним совместным портретом К. С. Станиславского и В. Э. Мейерхольда. Сделано было это фото 25 мая 1938 года во время прослушивания двумя корифеями советского театра репетиции оперы «Виндзорские проказницы» в учебной студии К. С. Станиславского. Между тем фотография этих двух выдающихся режиссеров, которые долгое время изображались как непримиримые антагонисты, может сегодня показаться странной неподготовленному читателю и требует некоторых кратких пояснений.

Эти два замечательных мастера русского и мирового театра были связаны сорока годами активных взаимоотношений, рассказать о которых задача слишком сложная, чтобы ее можно было осуществить в пределах небольшой строго документальной справки. Наша цель гораздо скромнее — привести некоторые малоизвестные или вовсе неизвестные широким кругам читателей факты из области этих взаимоотношений.

В течение всей своей деятельности В. Э. Мейерхольд неизменно говорил о своем учителе К. С. Станиславском с глубоким уважением и любовью. Так было всегда, не исключая и тех периодов, когда он резко критиковал Московский Художественный театр.

В 1920—1921 гг. Мейерхольд, возглавивший движение «Театрального Октября» не раз выступал против Художественного театра. И именно в 1921 году, в июле, состоялся диспут, на котором особенно ярко выразилось это его отношение к Станиславскому. Диспут был посвящен спору между В. Э. Мейерхольдом и А. Я. Таировым. Отчетов в московской печати о нем не было. Тем больший интерес представляет корреспонденция в рижской газете «Новый путь» (№ 148 от 2 августа), озаглавленная «Мейерхольд о Станиславском» и подписанная «Москвич».

«Мейерхольд, — пишет Москвич, — в очерке своем по истории русского театра за последнее двадцатилетие, — а таким историческим очерком и был его заниматель-



К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ и Вс. Э. МЕЙЕРХОЛЬД
25 мая 1938 года на приемных испытаниях Студии Станиславского

Фото из архива А. Гладкова. Таруса

нейший, стройный по конструкции доклад — совершенно не нашел места для Таирова, уделил сравнительно мало места себе и превознес над всем упомянутым периодом монументальную фигуру Станиславского, от него же «все качества» современного русского театра... Это была не трафаретная «дань признательности» учителю от пошедшего своим путем ученика. Рядом интересно подобранных фактов из истории нашего театра и умелым их сопоставлением Мейерхольд иллюстрирует основное — фактически — положение своего доклада: нет ничего почти в современном русском театре, что не было бы так или иначе связано со Станиславским. Русский режиссер — самоучка. Станиславский — единственный из русских режиссеров, о котором можно с полным правом сказать, что он изучил науку режиссуры...» И, изложив содержание доклада Мейерхольда, Москвич заканчивает свой отчет словами: «Говоря о русском театре вчерашнего ли дня, о театре ли современности — он (Мейерхольд.— А. Ф.) говорил, в сущности, только о Станиславском».

2 апреля 1923 года было отпраздновано 25-летие творческой деятельности В. Э. Мейерхольда; празднование проходило в обстановке решительного расхождения Мейерхольда и близких ему театральных организаций с академическими театрами. Это несколько не помешало Мейерхольду в своем выступлении заявить о своей неизменной благодарности своему учителю — Станиславскому.

Со своей стороны К. С. Станиславский, посетив 26 сентября 1926 года представление «Реликодушного рононосца» в Гос. театре имени В. Мейерхольда, записал в книге отзывов:

«Всеволод Эмильевич мой старый друг. Видел его во все моменты поисков, метаний, ошибок и достижений. Люблю в нем то, что он во все эти моменты был увлечен тем, что делал, и искренно верил тому, к чему стремился.

К. Станиславский»

(ЦГАЛИ¹, фонд 963, оп. 1, ед. хран. 288).

В двадцатых годах и начале следующего десятилетия Станиславский и Мейерхольд наблюдали за деятельностью друг друга издали, время от времени встречаясь. С середины же тридцатых годов, то есть в последние годы их жизни, они снова (как это было в период работы Мейерхольда в Художественном театре за тридцать лет до того) сблизились. Встречи их участились. К тому времени (вероятно, к 1936 году) относится следующая чрезвычайно интересная запись в блокноте К. С. Станиславского, отразившая некоторые его размышления о дальнейших путях МХАТа:

«Передать филиал Мейерхольду, соединив нашу и его труппы».

«МХАТ отдать — НД², мне для студий — филиал (пока там наши Оперы). Мейерхольд — его театр. (При этом — я ему создаю труппу (переживан). Он — биомех. и постановщ. у меня.

Кроме того: общ. управл. над всеми этими театрами. Худож. часть — Я, НД, Мейерх[ольд],

¹ ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

² Н. Д. — Владимир Иванович Немирович-Данченко.

админ. — Арк[адьев]+Радомысл[енский]+Тор-
ск[ий]».

(Музей МХАТа, архив К. С., № 236)

18 января 1938 года Станиславскому исполнилось 75 лет. В этот день Мейерхольд обратился к нему с письмом, в котором, в частности, писал:

«К Вам — дорогому моему учителю — чувства мои таковы, что для выражения их на бумаге всякое перо оказывается и вялым и мертвым. Как сказать Вам о том — как я Вас люблю?!

Как сказать Вам о том — как велика благодарность моя Вам за все то, чему Вы научили меня в столь трудном деле, каким является искусство режиссера?..» (Тот же архив.)

По предложению Станиславского в марте 1938 года Мейерхольд, после ликвидации театра его имени, начал работать в Гос. оперном театре им. К. С. Станиславского, а в мае было опубликовано сообщение о его назначении режиссером этого театра.

В эти месяцы Мейерхольд не раз бывал у Станиславского и, в частности, присутствовал на его занятиях с его драматической и оперной студиями (не смешивать с названным выше оперным театром), происходивших на дому у Константина Сергеевича. Перед автором этих строк отношения Станиславского и Мейерхольда ясно раскрылись в следующем эпизоде.

Согласно установившемуся порядку после того, как студийцы и немногочисленные зрители (свободные от занятий студийцы, преподаватели студий и несколько человек, получивших, как и я, разрешение Станиславского присутствовать на занятиях) занимали свои места, появлялся Станиславский, приходивший в зал через переднюю. Но 25 мая 1938 года собравшимся пришлось необычно долго дожидаться Константина Сергеевича, и вдруг он вышел не из передней, а из двери, соединявшей зал непосредственно с его комнатами. Он появился не один: с ним были В. Э. Мейерхольд и Д. Д. Шостакович. Станиславский обратился к присутствовавшим со словами: «Прошу приветствовать наших гостей», повернувшись к Мейерхольду и Шостаковичу, стал им аплодировать и жестом предложил всем последовать его примеру. Потом, прежде чем сесть в приготовленное для него кресло, усадил с одной стороны Мейерхольда, с другой — Шостаковича и во время показа (оперная студия показывала ему сцены из готовившейся постановки комической оперы «Виндзорские проказницы») не раз вполголоса обращал их внимание на те или иные моменты действия, а в перерывах беседовал только с ними.

К несчастью, совместная работа Станиславского и Мейерхольда в Оперном театре, едва начавшись, была прервана смертью Станиславского.

В октябре 1938 года Мейерхольд был назначен главным режиссером Оперного театра имени К. С. Станиславского. Одной из его работ было завершение незаконченной Станиславским постановки оперы «Риголетто»: он перенес ее на сцену и выпустил в свет 10 марта 1939 года.

Об отношении Мейерхольда к творческому наследию Станиславского свидетельствуют места из его доклада о репертуарном плане Гос. оперного театра имени К. С. Станиславского (доклад был прочитан коллективу этого театра 4 апреля 1939 года).

Коснувшись возобновления «Евгения Онегина», Мейерхольд сказал:

«Евгений Онегин — любимая опера Константина Сергеевича, и тут надо проявить величайшую осторожность в отношении того, чтобы замысел Константина Сергеевича был стопроцентно донесен. Вероятно, если бы Константин Сергеевич посмотрел сейчас некоторые картины, если бы он был жив, он сам бы их забраковал, потому что ему не повезло с художниками».

Приведа в пример творческое развитие марксистско-ленинского учения, Мейерхольд, продолжал:

«Я заметил, что в нашем театре к доктрине Константина Сергеевича, к его системе нет-такого отношения. Всегда говорят: если стояли четыре колонны, пусть они так и стоят эти четыре. Четыре, а не шесть. Четыре, а не восемь. Четыре, а не двенадцать».

Есть ли это умение понимать значение системы Станиславского? Я считаю, что нет. Вот ухитритесь сохранить дух его учения, зерно его учения, то, что вложено в глубину этого учения. Тогда позволяйте себе, сохраняя эту глубину, это зерно, вместо четырех поставить шесть колонн. И вы тогда не будете педантами и не будете держать на точке замещения столь крупное явление, как Константин Сергеевич».

И далее Мейерхольд говорил:

«Один раз по-настоящему с ним пришлось беседовать. Он говорил полтора часа. Потом предоставил слово мне. И я говорил полтора часа. Он многого не знал из того, что я сказал. «Ах, черт! Вот над этим никто у нас не работал!» — А я слушал его, вбирал в себя. Это была настоящая атмосфера дела, когда два художника обмениваются опытом... Константин Сергеевич сказал: «Не намерены ли вы меня ревизовать?» Я сказал, что буду с ним согласовывать. На это он ответил: «Я думал, что вы сами будете производить бунт. У меня есть моцартовский зал. Хорошо начать там ставить маленькие моцартовские оперы. Пусть там штампы, рутинка, а мы будем вентилировать свежим воздухом театр». Он говорил: «Мы без занавеса будем играть...» Это он хотел мне приятно сказать. (Смех. Аплодисменты). Это доказывает, что Константин Сергеевич сам нуждался в том, чтобы около него был бунтарь, который бы работал, засучив рукава. Это был прекрасный педагог, изобретатель, художник, насыщенный большой инициативой. Он любил искусство. В искусстве была его жизнь. Так вот он какой был».

(ЦГАЛИ, фонд 998, т. I, ед. хран. 130)

Станиславский и Мейерхольд прекрасно знали оба, что творчески они гораздо ближе друг к другу, чем это представлялось многим. И Мейерхольд однажды сказал мне: «Константин Сергеевич и я ищем в искусстве одного и того же, только он идет от внутреннего к внешнему, а я от внешнего к внутреннему». Исследователь, который займется сравнительным анализом биомеханики Мейерхольда и «метода физических действий» Станиславского, несомненно, найдет в них много общего.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Я очень рад, что мне представилась возможность рекомендовать читателям сборника «Тарусские страницы» воспоминания и записи А. К. Гладкова.

Записи А. К. Гладкова относятся к последним 5—6 годам деятельности Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Они могут послужить огромным подспорьем к пониманию В. Э. Мейерхольда, как интереснейшего, неповторимого художника. Я работал с Всеволодом Эмильевичем ранее того периода, к которому относятся записи А. К. Гладкова, но, читая эти записи, я чувствую, как волновался В. Э. Мейерхольд, как напряженно продолжал он искать новых путей в театре, как искренне стремился преодолеть своеобразный кризис, который переживал его театр.

Творчество Мейерхольда нельзя оторвать от времени, в котором он жил в искусстве. Его горячий полемический задор шел от борьбы, которую он увлеченно и искренне вел за новый революционный театр. Этот задор приводил его иногда к заблуждениям, которые сами по себе тоже были интересны и талантливы.

Ярким примером «перелета» в его острой борьбе с обветшалым старым театром, с его штампами и дрях-

лым репертуаром могут служить совместные его и Маяковского заявления со сцены театра в «Мистерии Буфф» о том, что довольно смотреть в шелку на «тетей Маней» и «дядей Ваней» и что «дядей и тетей дома найдете». Мейерхольд и Маяковский брали тут на прицел Художественный театр и драматургию Чехова. Но чудовищно сейчас предполагать, что они оба не читали и не любили Чехова и Станиславского. Мы, свидетели той эпохи, знаем, что время было такое острое, что, создавая новое в искусстве, давая театру новые задачи, в запале борьбы иногда брались и неверные мишени для полемической стрельбы.

Записи А. К. Гладкова исключительно полезны всем, интересующимся вопросами искусства. Они точно и живо рисуют портрет мудрого и тонкого художника. Читая их, понимаешь, почему актеры, режиссеры, писатели, музыканты, художники, встречавшие на своем пути Всеволода Эмильевича Мейерхольда, благоговейно вспоминают этого вдохновенно смелого, неповторимого и незабываемого волшебника театра.

24 апреля 1961 г.

Александр Гладков

ВОСПОМИНАНИЯ, ЗАМЕТКИ, ЗАПИСИ О В. Э. МЕЙЕРХОЛЬДЕ

Я предлагаю вниманию читателей «Тарусских страниц» два отрывка из книги о творчестве и жизни В. Э. Мейерхольда, над которой я работаю уже несколько лет, и большей частью — в гостеприимной Тарусе. Вместе с другими главами, уже напечатанными (альманах «Москва театральная», М. 1960, «Театральная жизнь», № 5, 1960 и «Новый мир», № 8, 1961), эти отрывки войдут в книгу. Книга будет состоять из записанных мною высказываний В. Э. Мейерхольда о себе и своем творчестве и моих воспоминаний о нем и о времени, когда он жил и работал.

К. С. Станиславский в последние годы жизни, стремясь обобщить и передать другим свой замечательный опыт, написал несколько книг и еще несколько оставил недописанными. Его литературное наследие занимает 8 объемистых томов.

Всеволод Мейерхольд тоже мечтал написать о своем творческом пути, но не успел это сделать. То, что может быть названо его литературным наследием, состоит из большого числа статей на разные, связанные с искусством театра темы, большей частью резко полемические и в момент написания остро злободневные, но меньше всего они могут считаться подведением итогов или обобщением опыта многолетней работы Мейерхольда. В этих статьях немало того, что сам В. Э. в конце жизни считал преходящим, устаревшим, изжитым. Я это хорошо знаю потому, что в середине тридцатых годов помогал ему в подготовке этих статей для переиздания и, полный почтительного рвения, часто омушенно недоумевал, когда В. Э., просматривая некоторые старые работы, категорически заявлял: «Чепуха!» — и целые страницы перечеркивал толстым си-

ним карандашом (например, последнюю главу в интереснейшей статье «Русские драматурги» — сборник «О театре», СПб. 1913).

О многом, что постоянно занимало его мысли, что он считал существенно важным, о чем часто и подробно говорил со своими учениками и близкими людьми, В. Э. Мейерхольд вообще не написал ни слова. Он все время собирался об этом писать, но так и не собрался. Вот почему интересно и необходимо опубликовать все, что возможно, из бесед и разговоров с В. Э., сохранившихся в памяти его сотрудников и свидетелей его вдохновенной работы. Ведь даже в беглых, попутных, мимоходом брошенных замечаниях во время напряженных темпераментных репетиций В. Э. Мейерхольд остро и точно формулировал закономерности искусства театра; увлекал воспоминаниями о великих мастерах, которых он лично знал или видел; любую очередную репетицию, будь это просто рабочая репетиция по «вводу» или переделка старого расклеившегося спектакля, превращая в великолепный урок мастерства. Конечно, записи свидетелей работы мастера не могут заменить его собственные ненаписанные книги, но и они небесполезны для тех, кто интересуется жизнью и творчеством замечательного художника русского советского театра — Всеволода Эмильевича Мейерхольда.

* * *

Я провел рядом с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом пять лет. Три года я видел его почти ежедневно. Бывали дни, когда, встретившись утром, я не расставался с ним до ночи. Уйдя из театра его имени, я продолжал время от времени с ним встречаться.



Вс. МЕЙЕРХОЛЬД и А. К. ГЛАДКОВ

1936 г. Фото из архива А. Gladkova. Таруса

Иногда он звонил мне и приглашал зайти, чаще я напрашивался сам. Это были последние годы его жизни. Мне было двадцать два года, когда я с ним познакомился. Мне исполнилось двадцать семь, когда я его видел в последний раз.

Разница возрастов и положений не мешала нам говорить о многом. Наоборот, именно эта разница давала мне то преимущество, что со мной он бескорыстно оставался самим собой. Он знал, что я записываю наши разговоры, но слава пришла к нему уже так давно, что его не могло смущать чье-то пристальное за собой наблюдение. Мне даже кажется, что оно согревало его. Были минуты и часы одиночества, когда он искал меня. Были случаи, когда вечером меня по его поручению разыскивали по телефонам по всему городу, и когда я, в конце концов, являлся, выяснялось, что, собственно, я ему вовсе не нужен для чего-то определенного, а просто он хочет, чтобы я был рядом с ним. Я всегда понимал это сразу, без расспросов. Были вечера (особенно, когда ему немного нездоровилось), когда он, сидя дома и читая, требовал, чтобы я находился поближе, занимаясь своими делами. Я рассказываю это затем, чтобы показать степень его доверительного дружелюбия, дававшего мне право задавать ему любые вопросы. Иногда он отвечал мне шуткой, но никогда не отмалчивался.

Еще мое преимущество перед другими окружающими было в том, что мне почти ничего не нужно было от него по нашим служебным театральным отношениям.

Первая моя должность в Государственном театре им. Вс. Мейерхоolda — в Гостиме — именовалась «научный сотрудник». Потом я назывался заведующим научно-исследовательской лабораторией (НИЛом), исполняющим обязанности завлита, преподавателем техникума его имени, литературным секретарем и режиссером-ассистентом. Но как бы ни именовалась моя очередная должность в штатной ведомости, все эти годы я занимался главным образом одним: ходил с записной книжкой за В. Э. и записывал, записывал... Деловая сторона наших отношений была видимостью, и если я тоже иногда приносил ему на подпись какие-нибудь бумаги или ждал от него распоряжений и указаний, как все прочие, то он подписывал или диктовал мне с едва скрытой усмешкой заговорщика и часто, подмахнув какой-нибудь протокол, который был предложением моего прихода, снимал очки и, откинувшись на спинку кресла, вдруг начинал говорить о театральности Пушкина или о трехчастной композиции драмы у испанцев — о чем мы говорили накануне на коротком пути от театра до Брюсовского...

Однажды он предложил мне прочесть в техникуме цикл лекций о его творческом пути, послал на эти лекции стенографистку и, прочитав стенограммы, внес в них ряд исправлений, как бы корректируя будущую книгу. Разумеется, я взялся тогда за это только по легкомыслию молодости — я был немногим старше своих слушателей, но сейчас я об этом не жалею. Именно это дало мне возможность говорить с ним о многом,

что далеко выходило за пределы работы театра в текущем сезоне, — о всей его жизни, о Чехове, Станиславском, Комиссаржевской, Блоке, Маяковском и др.

Я видел на сцене тридцать спектаклей, поставленных В. Э. Мейерхольдом, многие по несколько раз, а некоторые — множество раз. Я близко наблюдал его работу над созданием шести спектаклей. Я помню его многие корректировочные репетиции старых спектаклей: переделки, варианты. Я слышал бесконечное количество его речей. Я провел много часов в беседах с ним у него в кабинете в театре, у него дома, в прогулках с ним по Москве, Ленинграду, Киеву и Харькову. Я с ним обедал, пил вино, катался в машине, рылся в букинистических развалах, ходил на вернисажи, принимал на экзаменах поступающих в школу театра, редактировал отзывы на присланные в театр пьесы, писал за него приветствия и поздравления разным юбилярам, проверял бухгалтерские документы. Я помню его увлеченным, вдохновенным, рассерженным, оживленным и задумчивым, мрачным, бешеным, злым, добрым, веселым, печальным. Возвращаясь к себе домой, я всегда тратил еще час, полтора, два на то, чтобы записать виденное и слышанное рядом с ним. Я берег эти записи, и сама история, как я их сохранил, может быть сюжетом не слишком обыкновенного рассказа. Я записывал подробно и по возможности точно. Тут мне пригодилась школа газетного репортажа, которую я прошел до театра.

Летом 1935 года я получил от Всеволода Эмильевича, отдыхавшего в Форосе, в Крыму, письмо, где он разрешая мне «совместительство» (одновременно с работой в Гостиме я участвовал в создании студии Н. П. Хмелева), писал: «...Но только я ставлю Вам одно условие: работая в Гостиме, будьте ближе ко мне. Ни с В., ни с С. мне не удалось так сблизиться в работе, как, мне кажется, я могу сблизиться с Вами...»

Через несколько месяцев в дождливый, осенний вечер в Ленинграде, когда я зашел к нему проститься (я уезжал в этот вечер с гастролей в Москву, а он оставался еще на несколько дней), В. Э. дарит мне свой портрет — вырванную из номера «Золотого Руна» или «Аполлона» репродукцию известного рисунка Ульянова: Мейерхольд в роли Пьеро в «Балаганчике» Блока — с такой надписью в правом нижнем углу: «Новому другу, которого я (никогда!) не хотел бы потерять — Гладкову Александру Константиновичу с приветом и благодарностью...»

А еще через два с половиной года, уже после закрытия Гостима, при нашей очередной встрече у него дома, он пишет мне на обложке своей книги «О театре»: «Александру Константиновичу Гладкову с глубочайшей благодарностью за внимание к моим режиссерским трудам в Гостиме в период 1934—1936 гг., за помощь в работах научно-исследовательской лаборатории при Гостиме, трагически обрвавшихся ранее тех событий, которые связаны с закрытием Гостима в 1938 г. Прошу не забывать меня! В. Мейерхольд. Москва, 3.II.38...»

Мне дороги эти сохранившиеся знаки дружеского расположения и доверия, и я не хочу скрывать, что горжусь ими. Все, что я собираюсь рассказать о великом художнике русского театра Всеволоде Мейерхольде, — посильное исполнение мною его предсмертного завета: «Прошу не забывать меня!»...

Помню, однажды — это действительно было всего один раз — В. Э. попросил меня показать ему мои заметки. Это было в очень своеобразной обстановке — в фойе нашего театра на встрече нового, 1937 года. Уже на исходе ночи, среди шума, начинающего угасать веселья, мы сидели с ним вдвоем за столиком и, как всегда в эти дни, разговаривали о работе над «Бори-

сом Годуновым». С бокалом в руке к нам подошла одна актриса (она же «общественная деятельница» внутри театра), прислушалась и с кокетливой фамильярностью стала укорять В. Э. в том, что он в «такую ночь» говорит «о делах»...

В. Э. помрачнел, и я стал бояться, что он ответит ей резкостью, но она, не дожидаясь ответа, исчезла, окликнув еще кого-то.

— О делах! — сказал В. Э. очень зло! — А о чем же нам еще говорить? О преферансе, что ли?

И вдруг без всякого перехода:

— Дайте-ка мне ваш блокнот!

Я смутился. Я был уверен, что мои записи могу разобрать один я. Они показались мне вдруг жалкой кустарщиной. Да еще — мой почерк...

К тому же мне почудилось, что В. Э. как-то сурово смотрит на меня.

Взяв блокнот, он молча перелистал его, на чем-то остановился, прочел одну страничку внимательно, потом сразу захлопнул, отдал мне и неожиданно накрыл своей рукой мою лежащую на столе руку:

— Спасибо!

И сразу снова без перехода:

— А вы знаете, сцена с Басмановым — это почти испанский театр... Его мог бы сыграть Сандро Монсси...

Мне и сейчас кажется, что я еще чувствую тепло его руки.

* * *

Москва, середина двадцатых годов...

На Триумфальной площади, рядом с воплощением нэпа — Казино, в просторном, уютном и как бы недостроенном здании — самый удивительный, неповторимый, невозможный, единственный на свете ТЕАТР.

У входа вместо афиш лаконичные плакаты. Названия спектаклей звучат, как пароль и отзыв: ДАЕШЬ ЕВРОПУ, РЫЧИ, КИТАЙ. Даже хрестоматийное, знакомое, как спинка домашнего дивана, как изреканная школьная парта, «Горе от ума» тут звучит решительно и императивно, с не допускающей возражений убедительностью — ГОРЕ УМУ. Рядом с четко определенными МАНДАТ и УЧИТЕЛЬ БУБУС совсем иначе звучат и выглядят привычные «Лес» и «Ревизор». Здесь они уже ЛЕС и РЕВИЗОР. Хочется прогреметь эти слова бронзовым басом Маяковского с его подчеркнутыми безротными «э» и резким «эр»...

Хорошо помню ощущение какого-то необычного единства этой афишно-плакатной фонетики с широкими, пустоватыми коридорами Гостима и открытыми сценическими конструкциями: этими лесенками, мостиками, движущимися кругами, колесами, мельницами. Занавеса нет. Входишь и видишь это сразу на фоне нештукатуренной кирпичной стены. Театральную юность моего поколения это волновало так же, как наших отцов воспетый мемуаристами сладковатый запах газовых лампочек в старом Малом театре. Во всем этом была новая эстетика времени, кислород и озон дыхания революции, ритм прекрасных двадцатых годов, годов нашей молодости, молодости нашего поколения.

Первый спектакль Гостима, на который я попал, был «Лес».

Я не был удивлен. Я принял все с восхищенным доверием.

Не знаю, этого ли я ждал и ждал ли вообще чего-нибудь сознательно, но после спектакля мне казалось, что ждал именно этого.

Зрительный зал неполон. Я вообще почти не помню полным зал Гостима в театре б. Зона. И это тоже не удивляло. Все зрители казались друзьями театра, а настоящих друзей никогда не бывает много. Тети Мани и

дяди Пети в этот театр не ходили. Для них он был анекдотом, как и печатавшиеся лесенкой в газетах стихи Маяковского. Спорить с ними не стоило: короткая усмешка превосходства, с грохотом отодвинутый стул, кепка, сдернутая с вешалки—вот и весь разговор...

В этот вечер я впервые увидел самого Мейерхольда. Он вышел во время последнего акта из маленькой двери слева и, стоя на лесенке, внимательно смотрел на сцену.

Трудно было не узнать его невысокую, гибкую фигуру и профиль, так хорошо знакомый по бесчисленным карикатурам. Его рисовали в те годы едва ли реже, чем Пуанкарэ и Чемберлена. Я сидел с левой стороны партера и хорошо разглядел в условной полутьме театрального освещения седой вихор волос, огромный нос, твердую лепку губ, сутуловатую посадку плечей и гордую запрокинутость головы. Его узнал не я один. По рядам пробежал шепоток узнавания. Помню, он ни разу не посмотрел в зал. Ни одного взгляда. Только на сцену. Он смотрел так внимательно, что это завораживало. И хотя очень хотелось смотреть на него, еще больше хотелось смотреть вместе с ним. Он исчез в маленькой двери за несколько минут до окончания спектакля так же бесшумно и таинственно, как и появился.

Мне повезло. В этот вечер я его увидел дважды.

Его вызывали, и он вышел.

Помню, что первый крик: «Мей-ер-хольд!»—раздался с верхнего яруса. К нему присоединился балкон. Мимо меня, проталкиваясь к сцене, бросилась группа молодежи. Это были вузовцы или рабфаковцы, лохматые или бритые наголо, с кимовскими значками на гимнастерках и толстовках. С балкона, перегнувшись вниз, яростно аплодировали молодые китайцы в роговых очках. Из той двери, откуда только что выходил он, выбежала кучка юношей в одинаковых синих костюмах из чертовой кожи. Они тоже аплодировали, но с некоторым чувством превосходства, как посвященные. Я догадался, что это студенты Гэтемаса (Государственной экспериментальной театральной мастерской—учебной студии Мейерхольда)—будущие актеры и режиссеры, те, что гордо называют себя «мейерхольдовцами» и чьи еще никому не известные имена скоро заполнят собой состав командных кадров советского театра.

Он вышел на сцену тоже слева. Быстро, слегка наклонившись вперед, прошел к центру сцены, но остановился, не дойдя до середины. Стремительно и угловато поклонился. Похлопал актерам. Еще раз поклонился. И так же быстро ушел. Зал продолжал его вызывать. Аплодируют исполнители. Но он больше не выходит.

Потухли жужжавшие в боковых ложах прожектора. Отгремели аплодисменты. Шумно споря, разошлись зрители.

Я ухожу одним из последних, внимательно изучив в вестибюле все плакаты и афицы, как будущий путешественник изучает неведомые маршруты чудесных путешествий. План ближайших посещений Гостима выработан. Домой идти не хочется. Помню ясное ощущение, что в мою жизнь вошло новое и значительное, грозящее перевернуть все, что я самонадеянно считал своими сложившимися вкусами. И казалось непонятным: как я мог жить спокойно и бесечно, не зная этого?

Морозная московская ночь висит над площадью. Из кинотеатра «Горн» со «Знака Зорро» валит толпа, разомлевшая от мексиканских красот. На углу у пивной—пьяный скандал. Какая-то женщина перебегает площадь наискосок по скверу, и ее догоняет с бранью человек в дохе с портфелем. Ближе к Тверской стоят гуськом извозчики, похлопывая рукавицами, чтоб согреться. Сияет огнями вход в Казино. Трамвай «Б» делает последний круг вдоль Садовых.

Я иду пешком вдоль изгородей и заборов, нелепых садилов перед домами, давших имя бесконечной цепи

улиц, и останавливаюсь у всех афиш, бессознательно желая пролить в себе то праздничное, с чем я ушел сегодня из театра.

Уже около площади Восстания меня обогнала пара. Я сразу узнал обоих. Она играла сегодня Аксюшу. А он—это был ОН.

Из-под низко нахлобученной шапки выбивается знаковый седой вихор, из-за поднятого воротника торчит знаменитый сирано-бержераковский нос.

Он крепко держит под руку спутницу. Она громко говорит и смеется. Я слышу, как он останавливает ее нежно и твердо: надо беречь горло—мороз...

За спиной еще голоса и смех. Сначала меня, а потом их нагоняет группа молодежи.

Они все летят, раскатываясь по льду, перегоняя друг друга и наполняя своими голосами ночь. Некоторые без шапок, другие без пальто, в свитерах и коротких тужурках. По всему видно: они спортсмены и не боятся холода. Кроме того, им в среднем по 19 лет. Я узнаю их: это те, кто яростно вызывал Мейерхольда с боковой лесенки слева—гэтемасовцы, последний призыв гордого и незнакомого мне племени «мейерхольдовцев».

Обгоняя его со спутницей, они на всю площадь кричат ему: «Спокойной ночи!», и он, рассмеявшись, кричит им вслед: «Спокойной ночи!»... И вот они уже на той стороне площади, где начинается Новинский бульвар.

Мне не по пути с ними: Чтобы попасть домой, мне нужно свернуть на пустынную в этот час улицу Воровского.

Что-то похожее на зависть жалит меня.

Я иду и думаю об этой счастливой молодежи—его учениках. Чего бы я не дал сейчас, чтобы быть с ними!

Вчерашний провинциал, рано вымахавший подросток, учащийся во «второй ступени» и удиравший с вечерней смены, чтобы попасть в театр, еще недавно простаивавший часами во дворе Художественного театра в ежесубботней лотерее дешевых билетов и до хрипоты вызывавший Качалова после «У врат царства», я возвращаюсь домой один, взбудораженный, захваченный, уязвленный, предав за один вечер свои прежние театральные симпатии и заболев страстной завистью ко всем, кто видит каждый день этого необычайного человека,—к его ученикам, театральным осветителям, капельдинерам и гардеробщикам.

* * *

Где-то тут вскоре—премьера «Ревизора».

Помню не очень восторженный зал, наполненный (на этот раз до предела) театральной, премьерной, публичной. Удивлялись на настоящую дыню, считали туалеты Райх, пожимали плечами на смиренную рубашу гордничего и свистки квартальных. Успех был, но с прикусом скандала. В антрактах уже рождались вскоре обросшие бородами остроты о вертящуюся в гробах классиках. Но помню и напряженно внимательное лицо Луначарского, потрясенные глаза Андрея Белого, молчаливого Михаила Чехова, в коридоре от которого слозно отскакивали колкие замечания и критические ухмылки.

В спектакле явно не было чувства меры, но странно, это казалось не недостатком его, а качеством, родовым свойством. Он подавлял изобилием деталей, находок, трюков, но впоследствии, когда он был сокращен чуть ли не на одну треть, мне всегда не хватало этого подавляющего изобилия, этой небывалой щедрости.

Что такое в конце концов это пресловутое чувство меры? Его не было у Балзака, не было у Рабля, не было у Сервантеса, но зато им в совершенстве обладали многие вполне посредственные художники. Есть ли чувство меры у Марселя Пруста, у Золя, у самого Гоголя, наконец? А Достоевский? А «Клим Самгин»?

Я не разбираю тут сам спектакль — по отношению к «Ревизору» это сделали блестяще Луначарский, Белый, Чехов, Слонимский и многие другие. С ними остроумно спорили некоторые достаточно компетентные противники спектакля. Мейерхольдовскому «Ревизору» были посвящены специально три книги и множество докладов и диспутов. Сохранились и эти книги и отчеты о диспутах. Спектакль не сходил со сцены одиннадцать лет — до самого закрытия Гостима и, разумеется, с годами потускнел, подсох, полинял, но продолжал поражать, как продолжают поражать выцветшие, по свидетельству знатоков, полотна Врубеля.

Еще о чувстве меры. Этот иск один из тех, что наиболее часто предъявлялись Мейерхольду.

И действительно, почти все его лучшие спектакли отличались неумейной щедростью воображения, как будто с первого взгляда шедшей им самим во вред, а сам В. Э. на репетициях постоянно и настойчиво твердил о необходимости этой самой «меры». Но есть ли тут противоречие? Да, если есть противоречие между строгой мизансценой смерти отца Горнио и огромным, полным всяческого обилия миром всей «Человеческой комедии». Так и у Мейерхольда. Как и большие писатели, он вызывал на сцене к жизни целые миры, но, разрабатывая отдельный эпизод, поражал лаконизмом и точностью деталей. П. А. Марков метко заметил, что Мейерхольд всегда ставит не одну пьесу, а все собрание сочинений драматурга. Трудно представить, что Мейерхольд после «Ревизора» будет ставить, например, «Игроков», потому что в «Ревизоре» он поставил фрагментарно и «Игроков», и «Мертвые души» (как это доказал в своем докладе А. Белый), и множество других гоголевских мотивов и сюжетов. Но Бальзак и Золя строили свои огромные здания из множества романов, а Мейерхольд обладал неумолимым регламентом в 3—4 часа сценического времени. И он запикивал в эти 3—4 часа огромные вызванные им к жизни миры, и временный обруч спектакля трещал и ломался. Да, конечно, это своего рода противоречие, что Мейерхольд, обладавший несравненным чувством сценического времени в секундах, вдруг терял его в часах. С очень ограниченной, чисто ремесленной точки зрения он тут уязвим, но, как это часто бывает в искусстве, его недостатки это те же достоинства, и достоинства несравненные и исключительные.

Когда я припоминаю тот первый вариант «Ревизора», который я видел в декабре 1926 года, я всегда представляю некий сценический Лаокоон, едва обозримый с одного взгляда: пестрый, блестящий красками мир из мебели красного дерева, голубых жандармских мундиров, музыки Глинки, обнаженных женских плеч, свечей, бутылок, рыкающих начальственных басовых раскатов, свистков квартальных, отчаянного голада, небывалого обжорства, глупой хитрости и хитрого простодушия, денежных ассигнаций, бубенцов тройки, шинелей в накидку и фраков в обтяжку, и, конечно, это не совсем то, что мы проходили в нашей «второй ступени» под названием «Ревизора», но это гораздо большее — это Гоголь, это николаевщина, это российская империя, описанная де Кюстином: это огромное живописное полотно, на котором смешаны краски и Федотова, и Брюллова.

Между моим первым спектаклем в Гостиме — «Лесом» и премьерой «Ревизора» я, конечно, пересмотрел весь репертуар театра, т. е. «Мандат», «Учитель Бубус», «Даешь Европу», «Рычи, Китай» и; должно быть, «Великодушный рогоносец». Потом сюда прибавилось «Окно в деревню», первая редакция «Горе уму», «Выстрел», «Клоп» и «Баня», «Командарм 2», «Последний решительный», «Список благодетелей», «Свадьба Кречинского», «Вступление» и «Дама с камелиями», «33 обморока», новая редакция «Горе уму» и невыпу-

щенные «Наташа», «Борис Годунов», «Одна жизнь». В других театрах я видел поставленные Мейерхольдом «Озеро Люль», «Доходное место», «Маскарад», «Дон Жуан», «Пиковую даму»... В 6 спектаклях последнего времени видел всю работу над ними В. Э. с начала до конца.

Конечно, постепенно я научился не только удивляться, но и разбираться в этих неповторимых созданиях Мейерхольда: одно любил больше, другое — меньше. Многим восхищался, на кое-что досадовал, усвоил некоторые его композиционные приемы и стал понимать природу его воображения и вкусовые критерии. Но могу ли я сказать, что я знаю Мейерхольда? Поэт В. А. Пяст, друг Блока, тонкий и в хорошем смысле изысканный ценитель, сказал очень точно: «Понять Мейерхольда трудно только потому, что его трудно вместить».

Любопытно, что абсолютных отрицателей Мейерхольда почти не было, но было множество отрицателей того или другого этапа его работы, той или другой «манеры», того или иного «периода». И почти всегда не принималось последнее, и его попрекали уже созданным им же раньше. Так называемые его ученики, обычно пробыв с Мейерхольдом два-три года, постигнув дух и стиль одного его «периода», уходили с этим багажом и развивали в своих работах приемы этого «периода», а Мейерхольд уже вступал в новый «период», отгачивал новые приемы, разрабатывал новые темы и вызывал попреки учеников и последователей в «измене» и сам злился на них, что его «школой» именуют то, от чего он уже отошел. Но он сам отходил от одной «манеры» к другой не потому, что убеждался в ложности прежних путей, а только потому, что жизнь (и репертуар) ставили перед ним новые задачи, решать которые прежними средствами было бы неверно, и вот в этом величайшая честность Мейерхольда-художника — он органически не мог повто-

рять. А когда он все же почему-либо «повторялся», т. е. делал спектакль без «открытий», а на выработанных приемах, то он, казалось, терял даже, несмотря на свой гигантский опыт, почти профессиональный минимум. Может быть, Б. Равенских вспомнит, с какой тяжестью в душе мы с ним весной 1937 года сидели на одной из репетиций пьесы Сейфуллиной «Наташа», когда В. Э. ставил сцену собрания, вернее — одно из множества «собраний». У меня в памяти осталось ощущение, что нам было неловко смотреть друг другу в глаза — настолько трагически беспомощным оказался неувлеченный Мейерхольд, Мейерхольд, проявляющийся своими «отходами». Кстати, Мейерхольд не признавался, что пьеса его не увлекает: в этом смысле он совершенно не был циничным. Он и нас уверял, что увлечен, и себя самого, вероятно, старался в этом уверить. Чтобы быть справедливым, надо сказать, что и в этой «Наташе» им были блестяще поставлены 3—4 эпизода, и не просто хорошо, но и ново, и свежо, но, если во «Вступлении» такие два-три «оазиса» все же спасли спектакль, то тут этого не случилось. От слабых, инерционных, страшно сказать, «штампованных» эпизодов по всему спектаклю разлился яд художественной неправды, и это погубило и те сцены в собранном воедино спектакле, которые при работе над ними по отдельности казались (и были на самом деле) свежи и удачны.

Однажды во время войны в Союзе писателей был организован своеобразный вечер поэтов: Каменский, Антокольский, Эренбург и некоторые другие «маститые» и «старые» поэты были приглашены прочесть свои первые поэтические опыты, свои ранние стихи. Странная, но психологически любопытная затея. Большинство восприняло это, как некую шутку, и прочло

по несколько наивных, слабых, действительно ранних стихотворений, интонационно показывая свое к ним нынешнее ироническое отношение. Один большой поэт сказал с недоумением: «Ну, зачем я буду читать вам то, что мне уже чуждо?» — и прочел свои новые вещи. А другой настоящий поэт принял вызов и прочел свои старые вещи, но без глумления и иронии, без сегодняшнего чувства превосходства (хотя он очень далеко ушел от них), а очень серьезно и с покорившим всех чувством уважения к своему прошлому. И, каковы бы ни были эти его стихи, это чувство уважения передало аудитории, и он имел наибольший успех.

Мейерхольд менялся потому, что он развивался. Его искусство оттачивалось, делалось все более разнообразным и гибким, все более широким и всеобъемлющим: росло мастерство, доходя до степени виртуозности, но Мейерхольд оставался сам собой, и было бы величайшей ошибкой считать, что он когда-либо «сжигал корабли» и разбивал прежние «алтари». Но, отказавшись в какой-то период от своих прежних приемов, он делал это не потому, что вдруг признавал их ошибочными, а просто потому, что считал их не соответствующими новым задачам. Конечно, со временем отлетала полемическая шелуха практики и «теории»: зеленые парики, актерская «прозодежда», наивное и поверхностное обоснование «биомеханики» как и такое же наивное обоснование идеалистической фразеологической приемов «неподвижного театра», но не в этих бросающихся в глаза крайностях существо искусства Мейерхольда. И без зеленых париков «Лес» остался «Лесом», и без назойливо подчеркнутой биомеханики Лев Свердлин внутренне обоснованно, вдохновенно (и биомеханически точно) сыграл сцену смерти Гуго Нунбаха. И на одной из своих последних репетиций в Гостине Мейерхольд вдруг совершенно серьезно и убедительно показал применимость в одной из сцен современной пьесы композиционных приемов «Сестры Беатрисы». И я могу себе представить, что если бы ему вдруг для решения какой-то новой темы понадобились какие-то, казалось бы, отошедшие в прошлое приемы условно агитационного театра «Зорь» и «Земли дыбом», то он смог бы умело и со вкусом их воскресить. Мейерхольд был бесконечно богат и широк, но вовсе не многолик, если это понимать как внутреннюю трансформацию.

Сейчас, когда перед нами весь путь Мейерхольда, мне кажется плодотворным не перебирать его «противоречия», которых у него много как в характере, так и в его искусстве (впрочем, в искусстве меньше, чем в характере), а попытаться отыскать единство, потому что если он в многом и менялся под влиянием времени, то во многом и оставался неизменным. Современникам казалось чудом, что из легкомысленного весельчака Антоши Чехонте вдруг вырос «задумчивый» и «хмурый» (пользуясь эпитетами конца XIX века) писатель Антон Чехов, но сейчас-то мы видим, что в Антоше Чехонте уже был в зародыше будущий Чехов. Настоящие художники не бывают многоликими Янусами. Не был им и Мейерхольд. И наша задача, если мы хотим понять все лучшее в его искусстве, не разбивать его на мелкие осколки и рассматривать их по отдельности, а, наоборот, попытаться собрать, найти единство его творческих устремлений, отшелушив коросту «моды», полемических крайностей, теоретического «задора». Не было такого дня, когда умер Антоша Чехонте и родился Антон Чехов. Чехов до самой смерти собирался «сесть и написать водевиль», и в юном Чехове, несмотря на все его легкомысленные «осколочные» завитушки, был уже автор «В овраге». Ведь, например, как ни менялся Мейерхольд, оставалось же в нем всегда неизменным благодарное преклонение перед Станиславским. Оставался он неизменным и в том, что В. И. Немирович-Данченко называл в 1902 году «мрачным радикализ-

мом» Мейерхольда (см. его известное письмо) и что сейчас должно быть названо неизменной верностью социалистическим убеждениям и революционной идейности, как бы она ни затемнялась фразеологией символистских салонов. Для нас сейчас ясно, что в творчестве Александра Блока был главным не его «символизм», а большая традиция русской поэтической культуры и русской общественной совести. Трудно себе представить «Розу и крест» на сцене советского театра, но на пути Блока «Роза и крест» была органической ступенью развития, а вовсе не только идейной «ошибкой». То же и «символистский период» у Мейерхольда. Он сам однажды на мой вопрос, чем был для него символизм, ответил довольно точно: «Мой символизм возник из тоски по искусству больших обобщений...»

В этом ответе, как мне кажется, ключ ко многому в Мейерхольде. Да, его всегда тянуло к себе искусство больших обобщений. Если исключить ученический период его биографии, он никогда не был бытовым эмпириком, импрессионистом, изобразителем частных и житейской поверхности. Это все он называл «натурализмом» и «бытом» и отрицал на всех этапах своего самостоятельного пути. Я помню его вскрик: «Зина, ты меня тянешь в быт!» — и сломанный карандаш в руке на одной из репетиций в последний год Гостима, когда он вдруг увидел, что на сцене происходит нечто противное его вкусу и убеждениям. Разумеется, эта терминология очень условна и несовершенна. А разве любимый его Федотов не весь в «быте»? Но для него это был другой «быт», им принявшийся целиком. И у ненавидимого им Богданова-Бельского (эпигон-передвижник) «быт», и у Федотова «быт». Но один «быт» — другому «быту» рознь. Вот почему, говоря о Мейерхольде, нужно идти глубже и дальше слов и терминов. А разве в «Мандате» нет «быта»? Тот же ответ: есть, да не тот... В одном «быте» — поверхность жизни, в другом — ее сущность, ее правда. И под «натурализмом» В. Э. всегда в обиходе понимал не искусство школы Золя, а псевдоискусство реалистов-эпигонов типа Потапенко. А о «натуралисте» Золя он, для которого не было более бранного слова, чем «натурализм», часто говорил с восхищением. Лучше уж не будем полагаться на эту весьма условную терминологию.

Дело ведь не в словах. Настоящую воду в «Рычи Китай», настоящую дыню в «Ревизоре», настоящую мебель в «Даме с камелиями» Мейерхольд не считал «натурализмом», а нарисованный на холсте иллюзорный задник и павильон с потолком считал. Будем же вкладывать в его термины не наше понимание, а его собственное, иначе мы совершенно во всем запутаемся...

Решил начать с рассказа о первых впечатлениях от спектаклей Мейерхольда, а вместо этого уже обобщаю и подвожу итоги...

Что же делать, если в памяти «первое впечатление» давно уже смешалось с последующими? Да и кому интересны эти первые впечатления? Пришел, увидел и влюбился. И не задавал себе вопросов: «Почему?» Просто стало тянуть в этот необыкновенный театр, к этому необычайному человеку. Словно всю жизнь ничего не пил, кроме кваса, а вдруг узнал вкус вина.

Я не был исключением или каким-то оригиналом. Все поколение было влюблено в Мейерхольда. Так это было.

Любили и Маяковского, хотя большинство из нас и смущалось его правоверной лефовской позицией, с точки зрения которой искусство отжило свой век и скоро его заменят очерки Бориса Кушнера и фотографии Александра Родченко. Так убежденно утверждали ближайшие друзья Маяковского, и он им поддакивал. Недолгое увлечение молодежи «конструктивистами» объяснялось как раз тем, что их теории не отрицали форм

большого искусства. А Мейерхольд сам был большим искусством эпохи. От него тянулись нити в прошлое — к Александру Блоку, к героическому периоду Художественного театра, к недавним боям за революционное искусство. Он дружил с Маяковским. Он сам был легендой и героиней. О его жизни вышло два тома в «Академии» в таких же красочных суперобложках, как и мемуары Бенвенуто Челлини.

Вот так это все и началось.

А шипенье тети Мани и дяди Пети только позади ривало.

* * *

Критические недруги в полемике называли Мейерхольда «декадентом». Мне всегда это казалось либо клеветой, либо недоразумением. Я несколько лет провёл рядом с ним и не помню, чтобы он хоть раз публично или в интимной беседе, открыто или вполголоса выражал свое пристрастие к искусству упадочническому, т. е. к тому, что можно назвать «декадентством». Это он-то, страстно влюбленный в жизнь, влюбленный в Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Грибоедова, Бальзака, Стендаля, Толстого, Чехова, Маяковского, — декадент?

В 1938 году не раз Мейерхольд говорил о том, что «система Станиславского» в ее последней стадии учения о «физических действиях» близка к тому, к чему и он шел в режиссерской и педагогической практике. С гордостью он повторял после долгих бесед с К. С. Станиславским, что теперь их ничто не разделяет...

К предстоящей ему работе над «Дон Жуаном» Мוצарта с художником П. Кончаловским в оперном театре им. Станиславского В. Э. относился со страстным увлечением. Он принимал участие в сезоне 1938—1939 гг. в выпуске нескольких премьер театра, занимаясь тем, что он сам называл «режиссерской корректурой». Впрочем, иногда эта «корректурка» выливалась в то, что он просто-напросто переставлял целые сцены.

Именно в этот период П. Кончаловский написал свой замечательный портрет В. Э. Мейерхольда — одно из лучших живописных изображений В. Э.

Вообще при всех наших разговорах в 1938 и 1939 годах имя Станиславского буквально не сходило с уст В. Э. Как-то он полушутя, но без тайной гордости за еще одно им обнаруженное сходство свое и Станиславского сказал, что и у него, как у К. С., бабушка по материнской линии была француженка...

Станиславский после революции видел только два спектакля Мейерхольда: «Великодушный рогоносец» и «Мандат». «Рогоносца» он дипломатично назвал «шуткой режиссера» и отметил своеобразие актерской индивидуальности молодого И. В. Ильинского. «Мандат» же привел его в восхищение, и он в антракте лично отправился за кулисы поздравить исполнителя главной роли, тогда еще совсем юного Э. П. Гарина, что ему, впрочем, сделать не удалось, так как Гарин, страшно разволновавшись и смутившись, спрятался под диван. Свидетели уверяют, что Станиславский и Мейерхольд, разговоривая о спектакле, сели именно на этот диван...

На репетициях последнего спектакля Мейерхольда — «Одной жизни» — В. Э. говорил исполнителям: «Если спектакль нам удастся, то мы покажем его Константину Сергеевичу. Так как он не может ходить по театрам, то мы сами придем к нему...»

Даже в бурные двадцатые годы, когда казалось, что никаких мостков между Мейерхольдом «Мистерии Буфф» и «Зорь» и Художественным театром «Каина» быть не может, Мейерхольд напечатал в газете «Вестник театра» интереснейшую статью под названием «Одиночество Станиславского», где он пытался противопоставить, правда, в тот момент, кажется, без достаточных оснований, Станиславского и Вахтангова Художественному театру в целом.

Когда мы с ним в 1936 году составляли план нового издания его статей «О театре», Мейерхольд при всех перетасовках возможного оглавления книги обязательно вставлял эту статью и только собирался написать к ней, как он говорил, «постскриптым тридцатых годов»...

Мейерхольд считал, что приемы так называемого «условного театра» оказались более плодотворными для создания политического, агитационного театра, театра патетики и сатиры первых лет революции, чем школа Художественного театра. От этого убеждения он никогда не отказывался. Больше того, он считал, что эти самые приемы «условного театра» могут быть в новом оснащении использованы и в тот период, когда перед советским театром встала задача — раскрытие характеров и судеб людей нового социалистического общества. Но ему было ясно, что для выполнения этой задачи требовалась уже более сложная актерская техника, и тут-то и начались его поиски опоры в творческих и педагогических достижениях Станиславского.

Несомненно, критика Мейерхольдом школы Художественного театра в двадцатых годах часто была односторонней и несправедливой. Но не от один занимая такую позицию. Известные резкие высказывания о книге Станиславского В. Маяковского и его уничижающие отзывы о спектаклях МХТ. Многие ими обоими в запальчивой полемике отрицавшееся давало живые ростки. Тут они оба ошибались, и в последний год своей жизни Маяковский уже собирался писать пьесу для МХТ, а Мейерхольд еще через несколько лет пришел к новому союзу и дружбе со Станиславским. Но и до этого, остро критикуя отдельные спектакли Художественного театра (помню его суровый отзыв о «Грозе», например), Мейерхольд старался отделить приемы режиссуры от высокого мастерства актерского исполнения. Отрицая первое, он часто восхвалялся вторым. Он восторгался талантом Москвина, Тарханова, Хмелева, Ливанова, Синицина, Яншина и др. Были и обратные тяготения. Историкам-схематикам, может быть, это покажется удивительным, но в 1935 году я слышал от Н. П. Хмелева, что он хотел бы приготовить роль под руководством Мейерхольда. (Хмелев был большим поклонником «Дамы с камелиями» и смотрел этот спектакль несколько раз.) Я тогда же пересказал это В. Э., и ему это вовсе не показалось странным...

С Вахтанговым Мейерхольд был знаком всего год-полтора, но сохранились высказывания обоих мастеров, свидетельствующие об их большом взаимном уважении и тяготении друг к другу...

Вот запись, сделанная Вахтанговым в дневнике 26 марта 1921 г., т. е. совсем незадолго до смерти:

«Какой гениальный режиссер — самый большой из доселе бывших и существующих! Каждая его постановка — это целый театр. Каждая его постановка могла бы дать целое направление... Он несравним со Станиславским — он почти гениален. Мейерхольд дал корни театрам будущего. Будущее и воздаст ему. Мейерхольд выше Рейнгарта, выше Фукса, выше Крэга... Все театры ближайшего будущего будут построены и основаны так, как давно предчувствовал Мейерхольд. Мейерхольд гениален... У Мейерхольда поразительное чувство пьесы. Он быстро разрешает ее в том или другом плане. И план всегда таков, что он может разрешить ряд однородных пьес... Конечно, Станиславский как режиссер меньше Мейерхольда... Мейерхольд дал корни театрам будущего».

Запись эта гораздо длиннее, в ней Вахтангов подробно разбирает недостатки Станиславского-режиссера (и Мейерхольда — более бегло), но в данном случае нет нужды приводить ее целиком. Кстати, не пора ли, наконец, полностью опубликовать дневники и письма Вахтангова, а то ему часто приписывают убеждения, противоположные тому, что было в действительности.

Когда Вахтангов умер, Мейерхольд напечатал в журнале «Эрмитаж» статью-некролог под знаменательным названием «Памяти вождя».

«Вахтангов, конечно, был с нами, не мог не быть с нами, — пишет Мейерхольд. — Как много сделал этот мастер для того, чтобы дать театру то, чего ему не доставало...» («Эрмитаж», 1922, № 4).

Зная, что он скоро умрет, Вахтангов завещал своим ученикам в трудные минуты обращаться за советом к Мейерхольду. И Мейерхольд всегда был желанным гостем в молодой 3-й Студии и впоследствии в театре им. Вахтангова. Его там можно было видеть не только на премьерах среди других почетных гостей, но и на репетициях. В спектакле «Марион де Лорм» им была поставлена целая сцена. Но это был не снисходительный, а требовательный друг. Он восхищался крепнувшим дарованием Щукина (впрочем, справедливости ради надо сказать, что в роли Ленина он гораздо выше ставил Штрауха. Недостатком исполнения Щукиным Ленина он считал «сентиментальность»), но резко критиковал такие спектакли, как «Коварство и любовь» и «Гамлет».

Говоря в своем некрологе: «Вахтангов был с нами», — Мейерхольд, конечно, имел в виду и расставую общественную роль на театре в эти годы.

Позднее, когда он ссылался на свою общественно-политическую деятельность в первые годы революции, его недруги и клеветники чуть ли не обвиняли его в самозванстве. Должен засвидетельствовать, что это всегда его ранило больше, чем что-либо другое. Необходимо восстановить в истории советского театра его действительную роль в эти годы.

Современник вспоминает: «Всякий, кто с ним встречался в эти годы, радостно вспомнит страстную решительность, с которой он боролся не только за творческое пересоздание театра, но и за его административную реформу. Заведующий театральным отделом Наркомпроса, он был увлечен не только созданием театра РСФСР I и своими очередными постановками, но и возможностью упорядочить театральную жизнь страны и направить ее по новому, мечтаемому им руслу социалистического театра. Его кабинетные замыслы были грандиозны, и его теоретическая платформа была резко и определенно сформулирована в те годы в театральную общественную жизнь, обаяние Мейерхольда было неотразимо... Первые годы Октябрьской революции московские театры существовали в медленных темпах, еще не нащупав своих будущих путей. Один Мейерхольд ставил вопрос о театральном Октябре категорически и твердо... В эти годы Мейерхольд оставался почти одиноким среди сценических художников страны, еще колебавшихся в выборе путей». (П. А. Марков, журнал «Театр и драматургия», 1934, № 2).

* * *

Мейерхольд сам признавал, что ему не удалось полностью найти настоящую сценическую форму для пьес Маяковского, и мечтал, вернувшись к ним, осуществить их новую режиссерскую редакцию, как он это сделал с «Горе от ума» Грибоедова. Особенно критически он относился к первой постановке «Клопа». Постановку «Бани» он считал более удавшейся.

«Во всех пьесах Маяковского, начиная от «Мистери Буфф», — говорил Мейерхольд, — есть живая потребность заглянуть в то великолепное будущее, о котором не может не грезить всякий человек, который строит подлинно новую жизнь, которого волнуют полуоткрытые двери в мир социализма и которому хочется поскорее распахнуть эти двери, чтобы увидеть прекрасный мир будущего. У Маяковского была эта жажда заглянуть в мир будущего. Во всех его пьесах не только бьется пульс современности, а веет свежий ветер из мира будущего».

«Я был влюблен в Маяковского и как в поэта, и как в человека, и как в борца, как в главу определенного поэтического направления...» (Записи 1936 г.)

В мае 1936 года Мейерхольд выступил в Ленинграде с двумя докладами о драматургии Маяковского.

— Пьесы Маяковского должны вернуться на нашу сцену, — заявил он в одном из этих докладов. — Они должны зазвучать с еще большей силой, чем они звучали в свое время... Если в 1928 году контуры будущего не ощущались еще во всей своей конкретности, то сейчас, когда уже отсчитаны две пятилетки, когда жизнь обогнала самые смелые мечты, театр получает все возможности для максимальной сценической конкретизации той обстановки «будущего», которая еще больше оттеняет ничтожество «клопов» — Присыпкинских... (Доклад в ленинградской Лектории. Май. 1936 г.)

Сейчас, когда «Клоп» Маяковского идет в Москве одновременно в двух театрах, мы видим, что пророчество Мейерхольда сбылось.

И Маяковский, и Мейерхольд оба бывали патетичны, но как огня боялись возвышенной ходульности. Трудно представить живого Маяковского без шутки, без остроумия. Как и Маяковский, Мейерхольд находил юмор в самых неожиданных положениях.

Как-то на гастролях в Киеве я ему сказал вечером, что мне надо утром поехать на аэродром встречать прилетающего из Ленинграда поэта В. А. Пяста, приглашенного консультировать работу над стихом в «Борисе Годунове». Это вдруг страшно рассмешило Мейерхольда, хотя я не мог понять почему.

— Пяст в самолете!!! Пяст прилетает! — повторял В. Э., хохоча.

Только познакомившись с В. А. Пястом, поэтом-символистом, чопорным, утонченным старым петербуржцем, полным всяких странностей (например, он носил в кармане всегда четвертинку спирта, чтобы, прикоснувшись случайно к дверной ручке или поздоровавшись с незнакомым, незаметно протереть спиртом руки), изысканно вежливым и до предела наивным, я понял, что действительно, сочетание этой старомодной фигуры с авиасообщением способно забыть юмор.

Кстати, Пяст и Мейерхольд были ровесниками. Но один из них весь как бы принадлежал XIX веку, а другой казался современником, самым молодым.

О «утливых розыгрышах» Мейерхольда можно было бы рассказывать бесконечно. Его шутки были умны и артистичны. Шутка, острая гипербола вносилась им и в работу. Я бы даже сказал, что шутка была у него сознательным рабочим приемом. Это не позволяло образовываться вокруг него елеинной атмосфере священнодействия в искусстве.

Однажды, вытаскив перед репетицией на сцену заранее приготовленное чучело медведя, Мейерхольд объявил «тотализатор». Кто угадает, зачем медведь, тому он платит 15 рублей. Все пустились в догадки. Мейерхольд слушал, улыбаясь. Кто-то угадал. Мейерхольд отдал 15 рублей, не принимая никаких отказов, и сказал: «Да, я хотел сделать так. Но раз вы догадались, сделаем по-другому».

Мейерхольд бывал злым и мрачным, но я не помню его унылым. Внутренний мажор, оптимизм, непоколебимая жизнестойкость не покидали его в самых трудных обстоятельствах.

Во время последнего спектакля «Дамы с камелиями», когда уже было известно о предстоящем закрытии театра и битком набитый зал после каждого акта овациями вызывал Мейерхольда, а он не хотел выходить, не желая превращать это в демонстрацию сочувствия, во время спектакля, после которого З. Н. Райх тут же на сцене потеряла сознание, В. Э. сидел со мной

за кулисами на каких-то ящиках и сваленных декорациях (кабинета у него уже не было) и... острил.

Через несколько дней я снова зашел в театр. В комнате администратора уже заседала какая-то комиссия, распределявшая актеров по другим театрам. В. Э. вызвали «для консультации», но это была, видимо, формальность. Никто с ним не советовался. У гардероба я увидел толпу актеров. Кто-то сказал, что В. Э. один ходит по фойе. (К этому времени я уже более полугодом не работал в театре.) Я пошел в фойе. В. Э. молча бродил в накиннутой на плечи шубе. Он как будто обрадовался мне, спросил: «Что нового?» — но не очень внимательно выслушал ответ. Он взял меня под руку, и мы стали с ним ходить в фойе уже вдвоем. Я пытался как-то рассеять его, рассказывал ему что-то смешное, спрашивал его о том, какую оперу он будет ставить в Ленинграде (накануне он сказал мне по телефону, что получил приглашение в б. Мариинский театр), рассказал про остроумный ответ В. И. Немировича-Данченко на предложение одной редакции дать ей интервью о закрытии театра, но В. Э. односложно отвечал мне, не поддерживая разговор. Он крепко держал меня под руку, и мы продолжали ходить. Наконец и я замолчал. Мы ходили и молчали оба. Это было тягостное молчание. В. Э. курил папиросу. Докурив ее, он приостановился на повороте и бросил окурки в урну. Урна стояла довольно далеко, но, обладавший удивительным глазомером, В. Э. попал точно в нее. И я вдруг почувствовал, что этот пустяк — как он попал издали в урну — приободрил его. Он как-то сразу выпрямился, чему-то засмеялся и начал забавно рассказывать, как отнесется к закрытию театра швейцар дома, на Брюсовском, где он жил...

Кстати, небезынтересно сейчас напомнить ответ Немировича-Данченко. Хотя он и был первым учителем В. Э., они не были дружелюбно друг к другу настроены, и это было широко известно. Поэтому-то репортер и обратился к Немировичу-Данченко. Перед этим в газетах было напечатано враждебное Мейерхольду заявление известного театрального деятеля С. И вот рассказывают, что, выслушав просьбу об интервью, Немирович-Данченко решительно отказался дать его и добавил: «Театр Мейерхольда закрыт и мое мнение ничего не изменит. Это, во-первых. Во-вторых, как говорится, лежащего не бьют. А, в-третьих, — прибавил он, помолчав и разглаживая бороду, — это все смешно. Спрашивают С. его мнение о Мейерхольде. Это же все равно, что великого князя Николая Николаевича спрашивать, что он думает об Октябрьской революции...»

* * *

Только современники славы Мейерхольда могут представить себе ее масштабы.

В Москве двадцатых годов имя его повторялось непрерывно. Оно мелькало с афиш, из газетных столбцов, с каждой странички театральных журналов, из карикатур и шаржей «Крокодила», «Смехача» и «Чудака», оно звучало на диспутах в Доме Печати, с академической кафедры ГАХНа, в рабфаковских и вузовских общестиях, в театрах пародий и миниатюр, в фельетонах Смирнова-Сокольского, куплетах Громова и Милича, в островах Алексея, Менделевича и Полевого-Мансфельда. Один театральный журнал как-то объявил подписку среди работников искусств на постройку двух самолетов: «Ермолова» и «Мейерхольд». Это было еще при жизни Ермоловой и в расцвете деятельности Мейерхольда. Было принято присваивать ему разные почетные звания: он считался почетным красноармейцем (сохранилось его фото в красноармейской форме), почетным краснофлотцем, почетным шахтером и пр. Молодой Назым Хикмет, учившийся в те годы в Университете трудящихся Востока, посвящал ему свои пер-

вые стихи, которые так и назывались: «Да здравствует Мейерхольд!»

Имя Мейерхольда знали буквально все, даже и те, кто никогда не ходил в его театр. Для обывателей оно было почти таким же пугалом, как и слово «мандат» для соседей Гулячкиных. В фонетическом пейзаже Москвы двадцатых годов оно присутствовало так же обязательно, как ходовые речевые конструкции: руки прочь от..., лицом к..., наш ответ... Только имя Мазковскогго могло конкурировать с ним, и если бы даже они не были друзьями и соратниками в искусстве, то слух и зрение ставили их рядом по множеству всевозможных упоминаний. Всеволод Эмильевич рассказал однажды, что когда в Москве впервые в годы нэпа организовалось бюро газетных вырезок и он захотел в нем абонироваться, то ему отказали: слишком велик был объем работы по вылавливанию его фамилии с газетных и журнальных страниц. Если это и шутка, то она вероятно близка к истине. Из одних шаржей и карикатур на него можно было составить огромную коллекцию (она и существует в одном частном собрании). Легендарные скандалы романтиков на премьерах пьес В. Гюго казались детской шуткой по сравнению с тем, что происходило на премьерах театра Мейерхольда или на диспутах, где объявлялось его участие.

Это все необходимо напомнить, потому что, не рассказав об этом незнающим или забывшим, почти невозможно почувствовать силу обаяния имени Мейерхольда.

За ним шла, им увлекалась, ему аплодировала лучшая, передовая, коммунистическая, комсомольская, активистская часть молодежи: вузовцы, рабфаковцы, курсанты военных школ, лохматые или наголо обритые головы, блузы, гимнастерки, френчи, кепки, тельняшки, красные платочки. Представим себе зрительный зал Гостима в обычный вечер на рядовом спектакле и зал концерта Собинова в Доме Союзов или зал «Баядерки» по соседству в Аквариуме — это две разные Москвы или, вернее, три.

В 1928 году, находясь в заграничной поездке, Мейерхольд заболел, а в Москве была сделана попытка отобрать у оставшегося временно без руководителя коллектива помещение театра б. Зона. В защиту Гостима вступилась комсомольская общественность Москвы. Я еще учился в девятилетке, но хорошо помню горячее, возбужденное собрание в Красном зале МК и речь редактора «Комсомольской правды» Тараса Кострова о необходимости отбить нападение на театр Мейерхольда. Незадолго перед этим эмигрировал Михаил Чехов, и недруги Мейерхольда (а у него их всегда хватало) распространяли инсинуации о том, что Мейерхольд готовится последовать примеру Чехова. Теперь мы знаем, как решительно отверг В. Э. Мейерхольд предложения Чехова из рассказа об этом самого М. Чехова. Но мы, зрители Гостима двадцатых годов, в этом никогда и не сомневались.

Не случайно это собрание происходило в том самом Красном зале МК, где Маяковский отчитывался в заграничных поездках и впервые читал «Хорошо».

Почти все работники Гостима в те годы одновременно работали и в рабочей и красноармейской самодеятельности. Для многих из них это было режиссерской стажировкой. Пришедшие к Мейерхольду из самодеятельности, они продолжали быть с нею связанными, и театр естественно являлся своего рода штабом московской самодеятельности — штрих, который достаточно характерен.

Вставало на ноги молодое советское кино, и в нем сразу заблистали имена мейерхольдовских учеников: С. Эйзенштейн, И. Ильинский, Н. Охлопков, М. Штраух, Коваль-Самборский, Н. Экк, А. Рюм и др., а позднее Э. Гарин, Н. Боголюбов, Л. Свирдлин, Е. Са-

мойлов. Для молодых мейерхольдовцев работа в кино не была «халтурой», как для некоторых актеров других театров. Обрастая творческой мускулатурой, они чувствовали, что им становится тесно в отчем доме на Триумфальной площади, и для многих из них вскоре триумфальной площадью стали экраны всего мира. Именно в те годы, когда кино из коммерческого развлечения стало ведущим искусством эпохи, в эти годы кинематографического «штурм унд дранга» близость самого молодого искусства и спектаклей Мейерхольда середины двадцатых годов была очевидной и бесспорной — достаточно вспомнить «Трест Д. Е.», «Озеро Люль», «Лес» и даже «Ревизор». Но не только кино, все, что волновало нас своей новизной, все, что казалось не благоразумным повторением старого, а выражало наш век, наши ритмы, наше ощущение пространства и фактуры, — все это в какой-то степени впервые пленило нас в этом театре: дух урбанизма, конструкции, синкопы, обнажение материала. Это захватывало, волновало, покоряло. Спина Ильинского в «Лесе», крупные планы Гриффитса, массовки «Рычи Китая», революционный натурализм «Броненосца Потемкина», пантомимы Чаплина, «Шествие» в «Ревизоре», скупая мимика Ричарда Бартельмеса, танцы Бабановой в «Д. Е.», обложки Родченко и макеты Шлепянова — это лежало рядом и не резало глаз и слуха своей несовместимостью, как многое другое из того, что окружало нас. Вряд ли случайно первый актер мейерхольдовского театра Игорь Ильинский оказался первой звездой советского кино, и вряд ли случайно «Вечерняя Москва», рекламируя новые шедевры «Трус» К. Крюзе и «Наше гостеприимство» Б. Китона, печатала в объявлениях на всю полосу отзывы Мейерхольда об этих фильмах. Это не было снобистским западничеством: именно в эти годы сам Мейерхольд резко повернул к русскому классическому репертуару. Но сам воздух Москвы двадцатых годов был насыщен свежим ветром интернационализма: напротив еще на сверженного храма Христа Спасителя играли в волейбол китайские студенты, на Мясницкой во всю стену дома красовался плакат: «Руки прочь от Бессарабии», одним из любимых героев мальчишек был белозубый негр из «Красных дьяволят», в газетных киосках стояли очереди за романом Джима Доллара «Месс-Менд» и даже средняя школа, в которой я учился, носила имя Томаса Эдисона.

Театр Мейерхольда этого периода был идеально современным театром. Именно поэтому, быть может, его кризис в тридцатых годах был болезненнее и острее, чем тот же процесс в других театрах. Он так полно и ярко выразил свое время, так безудержно тратил себя и свои силы в те годы, что ему, естественно, труднее было набрать заново мускулатуру. И когда я впоследствии смотрел на самого Мейерхольда (хотя бы в дни театрального фестиваля 1936 года), мне вспоминался бессмертный рассказ Герцена об одиноком, нелепом и чуть смешном Чаадаеве в московских салонах сороковых годов. Вспомним начало замечательного романа Ю. Тынянова о Грибоедове «Смерть Вазир Мухтара», о том самом Грибоедове, которого так нежно и мудро любил Мейерхольд: «В декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось...» Мало общего в судьбе тыняновского Вазир Мухтара и Мейерхольда, но, перечитывая этот роман, я почему-то все время вспоминал его. Может быть, потому, что его личная трагедия — это не трагедия субъективно психологическая, а трагедия объективно историческая.

«Вдруг переломилось время»... Время переломилось — и рванулось вперед. Это досталось дорого не одному Мейерхольду и не нужно удивляться, что в

тридцатых годах его театр временно потерял тематику и аудиторию: актеров и зрителей, авторов и успех — все, кроме еще более зрелого и утонченного виртуозного мастерства самого Мейерхольда, еще более уверенных рук и глаз художника, делавшего чудеса на неудобной сцене, с ослабшей труппой, но чудеса большей частью уже бессельные...

Он еще был знаменит и любим. Люди искусства старались попасть на его репетиции. Он превращал эти репетиции в уроки мудрого мастерства. Затаив дыхание сидели в полутемном зале и любовались его «показами» молодые актеры и режиссеры, и гости Москвы: Нурдал Григ, Фучик, Секи Сано и Леон Муслинак, Луи Арагон и Рафаэль Альберти, Гордон Крэг и Бертольд Брехт. Но задачи, которые он сам себе ставил, были или нереальны, или мелки. Невозможен был в Москве 1937 года пушкинский «Борис Годунов» и не нужна была сейфуллинская «Нагаша». Поседела его голова, и старость смягчила резкость черт и угловатость жестов, он стал шире, терпимее, мягче, но он все же не мог перестать быть самим собой, еще трагичнее выражалось дон-кихотское в нем: несообразность масштаба замыслов и недостаточность средств.

Влюбившись в ранней юности в Мейерхольда-вождя, Мейерхольда середины двадцатых годов, я близко узнал уже другого Мейерхольда. Первый казался недосягаемым, второй был прост и пленителен: первый вызывал восторг и стремление к подражанию, второго часто бывало мучительно горько и жалко...

Но и тот и другой были удивительными, необычайными, ни с кем не сравнимыми, гениальными, единственными.

МЕЙЕРХОЛЬД ГОВОРИТ

Записи высказываний Всеволода Эмильевича на репетициях и в беседах

Театр был главным интересом моей жизни с семи лет. Уже в семь лет старшие заставляли меня перед зеркалом, где я заставлял трансформироваться свою детскую мордочку. Позднее были еще сильные увлечения музыкой (скрипкой), литературой, политикой, но влечение к театру оказалось сильнее всего. Что на меня больше всего влияло в моей жизни? Влияний было много: во-первых, великая русская литература, лично А. П. Чехов, лично К. С. Станиславский, замечательные мастера старого Малого театра, Блок, Метерлинк, Гауптман, изучение старинных театральных эпох, изучение восточного театра, снова возврат к творчеству великих русских поэтов, — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, — буря Октябрьской революции и ее суровая красота, новое молодое искусство кинематографа, Маяковский, снова Пушкин, и все с возрастающей силой... Разве все переберешь? Художник должен увлекаться многим, отбрасывать на разное, что-то отбрасывать, что-то оставлять в себе... Вот вы говорите — Хемингуэй... Я уже слышал это имя и прочту обязательно...

К юбилею Павлова я послал ему телеграмму, в которой несколько легкомысленно написал, что приветствую в его лице человека, который, наконец, раздвинулся с такой таинственной и темной штучкой, как «душа». В ответ я получил от Павлова письмо, в котором он учтиво поблагодарил меня за поздравление, но заметил: «А что касается души, то не будем торопиться и подождем немного прежде, чем что-либо утверждать...» Мне хочется сказать то же самое всем, кто думает, что Станиславскому или мне известны все истины о тайнах творческого труда актера. Проследите за работой Константина Сергеевича, и вы увидите,

что он все время вносит коррективы в свою «систему». Я когда-то утверждал, что человек — это «химико-физическая лаборатория». Конечно, это очень примитивно. В моей биомеханике я смог определить всего 12—13 правил тренажа актера, но, шлифуя ее, я, может, оставлю не больше 8.

Горькое признание: мы, театральные люди, живем в Москве так разобщенно, такими отдельными монастырями, что часто питаемся в сведениях друг о друге легендами. Мне легче снестись с находящимся в Италии Гордоном Крэггом, чем с живущим на соседней улице Станиславским... (Записано в 1935 г.)

Бетховен говорил, что он достиг мастерства, перестав стараться вложить в одну сонату содержание, способное наполнить десять сонат. Если это правда, то мне еще далеко до мастерства.

Хотите, я вам скажу, что разделило резкой чертой художников, когда пришла революция. Наивно и поверхностно думать, что все эмигрировавшие писатели, музыканты, художники думали только о своих потерянных банковских вкладах или реквизируемых дачах, да у большинства их и не было. Шаляпин был корыстолюбив. Все это знают, но и для него не это было главным. Главное то, что Горький, Маяковский, Брюсов и многие другие (и я в том числе) сразу поняли, что революция — это не только разрушение, но и создание. А те, кто думал, что революция — это только разрушение, проклинали ее. Мы с Маяковским принадлежим к разным поколениям, но для нас обеих революция явилась вторым рождением.

Один греческий драматург — друг и соперник Эсхила — был изгнан из родной страны за то, что его трагедия, изображавшая гибель города, дала такое натуральное изображение народного бедствия, что зрители не могли удержаться от стенаний и слез. Он был наказан за то, что его искусство было не очищением, а сентиментальной эксплуатацией сострадания зрителей. Если бы я принял участие в голосовании, я тоже подал бы свой голос за изгнание.

Я как режиссер начинал с рабского подражания Станиславскому. Теоретически я уже не принимал многих приемов его режиссуры раннего периода, критически относился к ним, но практически, взявшись за дело, сначала робко шел по его следам. Я об этом не жалею, потому что этот период не затянулся, я быстро и интенсивно прошел через него, а это была все же отличная школа практической режиссуры. Подражательность молодого художника не опасна. Это почти неизбежная стадия. Скажу больше: в молодости полезно подражать хорошим образцам: это шлифует собственную внутреннюю самостоятельность, провоцирует ее выявление. Раньше вовсе не стыдились слова «подражание». Вспомните Пушкина — «Подражание Парни», «Подражание Шенье», «Подражание Корану». Маяковский, по его словам, начал с подражания Бальмонту, потом он подражал Уитмену и Саше Черному, но это не помешало ему стать самим собой. Скажу еще определеннее: подражание художнику, которого ощущаешь близким себе, позволяет до конца определить себя.

Феруччо Бузони по-своему интерпретирует Баха, Шопена и Листа, и его интерпретации так и называются: «Бах—Бузони» или «Лист—Бузони». Никому, кроме пошляков, не приходит в голову начинать сравнивать значение Баха и Бузони и упрекать Бузони в нескромности и узурпации. А сколько в меня было вонзено критических копий за то, что я по-своему интерпретировал Островского и Гоголя. Любопытно, что это

совершенно не возмущало ни Луначарского, ни Маяковского, ни Андрея Белого, но зато Метальниковы всех видов буквально исходили слюной... Кажется, Меримэ в «Кармен» приводит испанскую пословицу: «Удаль карлика в том, чтобы далеко плюнуть»...

Режиссер всегда должен работать на репетиции уверенно. Лучше, смело заблуждаясь делать ошибки, чем неуверенно ползти к истине. От ошибки на утро всегда можно отказаться, но ничем нельзя исправить потерю веры актеров в сомневающегося и колеблющегося режиссера.

Если я сегодня сказал актеру: «Хорошо!», то это вовсе не значит, что я буду им доволен, когда он на другой день повторит это место точно так же.

Бальзак говорил, что вершина в искусстве — это построить дворец на острие иглы. В сущности, и «Великодушный рогоносец» с его принципиальным внешним аскетизмом, и «Ревизор», сыгранный на маленькой площадке, были внушены подобным стремлением. Я называю это самоограничением художника.

Сейчас я бы мог поставить «Балаганчик» Блока, как своего рода театральную чаплиниаду. Перечитайте «Балаганчик», и вы увидите в нем все элементы чаплинских сюжетов, только бытовая оболочка иная. Гейне тоже сродни Чаплину и «Балаганчику». В большом искусстве бывает такое сложное родство.

Был в моей жизни один такой перекресток, когда я чуть не стал музыкантом-скрипачом. В середине девяностых годов при Московском университете существовал великолепный студенческий оркестр, целые большие концерты давали. Я учился на юридическом факультете, но страстно любил музыку. Пожалуй, даже больше, чем театр. Увлекался скрипкой. И вот объявили конкурс на вакансию в этом оркестре на место второй скрипки. Я это место во сне видел. Упорно готовился, забросил римское право и... провалился на конкурсе. Решил с горя податься в актеры. Приняли. А вот теперь думаю: был бы я второй скрипкой, служил бы в оркестрике театра под руководством Бендерского или Равенского, их бы ругали, как меня сейчас, а я бы приликал себе и посмеивался...

Если вам покажется, что какая-то сцена получилась у меня на репетиции сразу, то знайте, что в своем воображении я уже поставил ее во многих вариантах. Собственно, опыт заключается не в том, что меньше пробуешь и бракуешь, а в том, что постепенно все большую часть этой работы учишься делать наедине с собой.

Знаете, кто первым зародил во мне сомнения в том, что все пути Художественного театра верны? Антон Павлович Чехов... Его дружба со Станиславским и Немировичем-Данченко вовсе не была такой идиллической и безоблачной, как об этом пишут в отрывных календарях. Он со многим в театре не соглашался, многое прямо критиковал. Но мой уход из МХТ он не одобрил. Он писал мне, что я должен оставаться и спорить с тем, с чем я не был согласен внутри театра.

Если бы у меня было свободное время, я хотел бы переписать некоторые мои статьи из книги «О театре», чтобы, не изменяя их по существу, освободить их от модной в начале века модернистской терминологии. Сейчас она только мешает правильно оценить их. Вот, хорошо бы немножко поболеть и, медленно выздоравливая, на досуге этим заняться. А то до сих пор мне

приходится терпеть беды от некоторых своих старомодных и неудачных формулировок.

Когда я ставил «Даму с камелиями», я мечтал, чтобы побывавший на спектакле пилот после лучше летал бы.

Шекспиризация — это вовсе не реставрация техники театра шекспировской эпохи, а усвоение на новом материале его многоплановости, размаха и монументальности.

Когда мне приходилось одновременно ставить два спектакля, как, например, сейчас «Бориса Годунова» и «Наташу», меня всегда удивляло, что найденное в одной работе обязательно сложным путем перелетается в другую. Сцена «Крестного хода» в «Наташе» будет совсем не похожа на народные сцены в «Борисе», но она вдохновлена ими. Но это плодотворно, если работаешь только над далекими друг от друга вещами. Я бы не смог одновременно ставить «Ревизор» и «Женитьбу». По-моему, полезно одновременно ставить классический шедевр и современную пьесу.

Министерство двора, которому до революции были подчинены императорские театры, несколько раз под влиянием охраны пыталось удалить меня из б. Александринского и Мариинского театров. Меня спасло только безграничное влияние А. Я. Головина на директора императорских театров Теляковского.

У одних вид пропасти вызывает мысль о бездне, у других — о мосте. Я принадлежу ко вторым.

Самый страшный враг красоты — красивость.

Чайковский в фортепьянном концерте использовал мелодию французской шансонетки, которую, как мне рассказывал его брат, часто напевал его дядя. Художник имеет право черпать свой материал отовсюду: вопрос в том, что он с ним сделает.

В искусстве важнее не знать, а догадываться.

Когда я репетировал почти одновременно две пьесы Лермонтова «Маскарад» и «Два брата», то я так глубоко влез в тридцатые годы XIX века, что однажды в ответ на одно печатное оскорбление совершенно серьезно пытался вызвать моего обидчика на дуэль. Не удивительно, что эти спектакли мне удались.

Искусство театра не прогрессирует, а только меняет средства выражения в зависимости от характера эпохи, ее идей, ее психологии, ее техники, ее архитектуры, ее мод. Думаю, что зрителям Еврипида и Аристофана наши лучшие актеры показались бы бездарностями, как нас бы вероятно удивил бы Каратыгин, если бы нам суждено было его увидеть. У каждой эпохи есть свой кодекс условностей, который надо соблюдать, чтобы быть понятным, но не следует забывать, что условности меняются. Когда я смотрю иной спектакль в Малом театре, мне кажется, что я вижу старую большевичку, делающую реверанс, или героя гражданской войны, целующего руку девушке в кожаной тужурке. В жизни мы легко чувствуем фальшь устаревших условностей, а в театре часто им по привычке аплодируем.

Я люблю переделывать свои старые работы. Мне часто говорят, что я при этом их порчу. Может быть, но я ни разу не мог смотреть поставленный мной спектакль без желания что-то изменить.

Режиссер должен верить в своих актеров так же, как Павлов верил в своих обезьян. Он сам мне говорил, что, увлекаясь, так иногда переоценивал их способности, что ему начинало казаться, что они его фразгивают.

В трагедии должен быть сухой голос. Слезы недопустимы.

До «Ревизора» я поставил двадцать спектаклей, которые были экзаменом к «Ревизору».

В законах композиции разных искусств, несмотря на различие фактур, есть много общего. Если я буду изучать законы построения живописи, музыки, романа, то я уже не буду беспомощен и в искусстве режиссуры. Я опускаю само собой разумеющееся — знание природы актера, то есть фактуры театра.

Актер не должен заклепывать свою роль наглухо, как и строитель моста свои металлические конструкции. Надо оставлять пазы для кусочков игры «экспромпроviso», для импровизации. Мочалов играл по-разному одну и ту же сцену в пьесе, но он не менял мотивы игры, а находил новые варианты в зависимости от своего сегодняшнего самочувствия, наполненности зрительного зала и даже погоды.

Театральные традиции живут в веках сложной жизнью. Они ветшают, и кажется, что умерли, но потом вдруг оживают и воскресают по-новому. Всякий театр по-своему условен, но условность условности рознь. Я думаю, что нашей эпохе ближе условность Мей Лян Фаня или Карло Гоцци, чем условность трагедий Озерова или Малого театра эпохи его упадка.

Если зрителю скучно, значит, актеры потеряли содержание и играют мертвую форму.

Что бы вы ни делали на сцене, во всем соблюдайте полумеру: и в голосе, и в движении. Зритель всегда замечает натяжку и напряжение чрезмерно старающегося актера.

Больше всего ненавижу в театре, когда текст роли засоряется разными неаппетитными междометиями и предложениями: «Эх», «Ну-ну», «Да-с», «Вот-вот» и т. п. К этому привержены обычно актеры низшей квалификации.

И в паузах нужно уметь держать темп диалога.

Легче! Не садитесь зрителю на шею!

Чем стремительнее текст, тем четче должны быть перегородочки — переходы от одного куска к другому, от одного ритма в другой. В противном случае теряется мотивация и пропадает живое дыхание мысли.

Фразу нужно подавать сочно, как бы разжигая аппетит, подобно повару, который, подавая вкусное блюдо, не сразу открывает крышку кастрюли. Заколдуйте нас сначала ароматом фразы, а потом уж угостите ею.

Необходимо добиваться на репетиции, чтобы игра с вещами стала вашим рефлексом, а не была каждый раз старательно делаемым трюком.

Предмет в руке — это продолжение руки.

Отчетливо сказанная фраза пробьется сквозь стену любой толщины.

Не заигрывайте экспозицию пьесы. Экспозиция обязательно должна быть четко и ясно «доложена»!

Смирнов в чеховском «Медведе» вначале — это Везувий, который еще только легко дымится...

Если вы не можете отделаться от какого-нибудь недостатка в речи или технике движения, то заставьте зрителя полюбить этот недостаток. Андреев Бурлак шепелявил, Россов заикался, Леонидов обладал свистящей дикцией, Савина и Сарра Бернар говорили в нос, но сила их сценической заразительности была такова, что их свойства казались достоинствами.

Творчество — это всегда радость. Актер, играющий умирающего Гамлета или Бориса Годунова, должен трепетать от радости. Его артистический подъем даст ему тот внутренний вольтаж, то напряжение, которое заставит светиться все его краски.

Кроме великих произведений драматической литературы, есть пьесы, которые сами по себе ничего не представляют, но несут великие следы замечательных исполнений. Они являются как бы канвой для потрясающих актерских импровизаций, подобно тому как многие пианистические произведения Антона Рубинштейна тоже являются схемами для виртуозного исполнения. Но только очень талантливая и содержательная игра может наполнить эти схемы. Так Элеонора Дузе гениально играла «Даму с камелиями», а Шаляпин изумительно пел в слабой опере «Демон».

Сила Шаляпина была не в ресурсах голоса или красоте тембра (были и посильнее и по красивее), а в том, что он первым стал петь не только ноты, но и текст. Ему это удавалось потому, что он был так музыкален, что мог себе позволить о нотах вовсе не думать: поэтому он пел естественнее, чем многие говорят.

Вспыльчивость, скандалы и взрывы Шаляпина на репетициях и спектаклях, ссоры с дирижерами и партнерами объяснялись очень просто: он был так предельно музыкален, что едва заметная фальшь ранила его слух, как вас царапает скрежет кирпича по стеклу. Попробуйте сидеть спокойно, когда озорной мальчишка начнет водить по стеклу куском кирпича. Шаляпин слышал в оркестре все, и самый малейший кикс, которого мы и не замечаем, мучал его, как пытка. Это ранимая чувствительность — свойство не только психическое, но психо-физическое, так же как и ранимость лирических поэтов, которых нужно оберегать от самоубийства, как мы бережем на вредном производстве рабочего, отпаивая его молоком. Смерть Маяковского — это нарушение правил охраны труда на самом жизнеопасном производстве — в поэзии.

Когда Ленский играл Фамусова, я восхищался и до сих пор помню узоры его рисунка, а когда играл эту же роль Южин-Сумбатов, я видел: это комод, в который вставлена граммофонная пластинка. Пластинка-то, может, и неплохая, но комод оставался комодом.

Многие из законов биомеханики я впервые осознал, когда смотрел игру замечательного сицилианского трагика Грассо.

Не путайте понятий «традиция» и «штамп». Штамп — это бессмысленная традиция.

Актер должен обязательно найти для себя приятность в выполнении данного действия или рисунка. Нашли эту приятность — и тогда все выйдет, тогда вас ждет победа.

Стоп! (Актрисе С.) Вы безумно напряжены! Я сейчас вас еле сдвинул с места. У актера в спектакле должно быть напряжения ровно столько, как у танцора в лезгинке: легкое усилие — и летит через всю сцену...

Не лишайте сцены пьяных внутренней логики! Поведение пьяных отличается только тем, что все их куски как бы не закончены. Вот начинается движение и вдруг обрывается. Или на движение тратится больше усилий, чем нужно. Или меньше. В этом их комизм. Но он должен быть легким. Чем легче — тем смешнее и изящнее. Я бы проверял вкус актера по тому, как он играет пьяного.

Во фраке должны быть полудвижения: локти нужно держать ближе к телу. Удары жестов короткие, движения легкие... Когда Далматов выходил на сцену во фраке — это одно уже было целый номер, за это стоило деньги платить. Помню, Станиславский однажды два часа молча ходил перед нами в плаще, поворачиваясь, садился, ложился, и я потом не мог заснуть всю ночь. И это нужно любить в театре!

Ближе к двери перед уходом! Еще ближе! Это аксиома! Чем вы ближе стоите к двери, тем эффектнее уход. В кульминациях все решают секунды сценического времени и сантиметры пола сцены. Эту алгебру сцениметрии не презирали ни Ермолова, ни Комиссаржевская, ни Ленский, ни Мамонт Дальский.

Поворот на публику традиционен для водевиля, но нужно добиться бесконечного разнообразия этих поворотов, не делать их впрямую. Иногда это откровенное обращение в зал, иногда чуть заметный акцент: кивок, полуулыбка. Но нельзя играть водевиль, как спектакль с «четвертой стеной», а потом вдруг — здорово живешь — выстроиться у рамы для куплетов. Надо заранее предвосхитить разнообразными, но не навязчивыми акцентами в публику этот традиционный финал — куплеты у рамы.

Аполлон Григорьев восхищался в «Грозе» сценой Кудряша и Варвары как одной из самых замечательных по воздушной прозрачности и лиризму, а в спектакле Художественного театра я с ужасом увидел, как из этой сцены сделали нечто вроде номера из западного мюзик-холла — отвратительную порнографию. Я уже не говорю о бестактности, совершенной по отношению к автору, но мне было обидно и больно за исполнителей: за талантливого Лизанова и за актрису, имя которой я из природной стыдливости постарался не запоминать.

Великий итальянский комедиант Гулиельмо требовал от актера умения применяться к площадке для игры. Движения актера на круглой площадке не те, что на прямоугольной; на просцениуме иные, чем в глубине сцены. У нас об этом думают только режиссеры, да и то не всегда. А ведь умение располагать свое тело в пространстве — основной закон актерской игры.

У Комиссаржевской была странная манера: она всегда первые фразы роли говорила как-то резко, точно чужим голосом, лишь потом голос как бы согривался, тон теплел, и уже ни одна фальшивая нота вас не корбила. У нее были слабые и непрочные низы, особенно в разговорной речи, но в пении они вдруг открывались. Разнообразие модуляций и интонировки было поразительным. Она не была красива и никогда не старалась себя приукрасить с помощью грима, но более женственной актрисы я не встречал (не исключая и гениальной Э. Дузе). При этом абсолютное отсутствие

вульгарности. Маленькое чуть асимметричное лицо, сутулая фигура, опущенные плечи и поразительная улыбка, от которой, казалось, светлела рампа. Говорят, ей совершенно не удалась роль Офелии (я ее в этой роли не видел), но это не удивительно: она не была трагической актрисой, но это была великолепная драматическая актриса своего века. Время, в которое она жила, требовало от нее не всех красок, которыми она обладала: высокой романтической комедии не оказалось в ее репертуаре, а у нее были для нее все данные: большие ресурсы шаловливой жизнерадостности, внутренний мажор.

Если говорить об актерской мягкости, то в первую очередь нужно вспомнить удивительного Сандро Моисси, этого полувревя, полуитальянца, игравшего на немецком, чужом для себя, языке. У нас в России эталоном мягкости мы считаем Качалова, но С. Моисси выдерживал с ним соревнование, и я даже считаю его победителем. Его мягкость была совершенно лишена аморфности: он всегда был мужествен и звонок. Помню спектакли Моисси с ансамблем нашего Малого театра — напряженные, крикливые, форсированные актерские голоса, рассеянный и небрежно слушавший зрительный зал. Но вышел Моисси и смело спустил спектакль, шедший в огромном помещении оперного театра, на несколько тонов вниз, и зал вдруг сразу затих, как заколдованный, при звуках незнакомой речи. У него была удивительно музыкальная речь: какая-то волшебная мелодичность, однако ничего не имеющая общего с декламационным распевом ои Остужев, и поразительная дикция, при которой каждый звук казался жемчужиной. Я после спектакля не удержался от вспылчивой статьи о горе-партнерах Моисси, и он мне потом при встрече об этом великодушно выговаривал, и даже изящно (впрочем, довольно двусмысленно) пошутил о выгодности для него такого контраста.

Говоря о мастерстве актерского самоограничения, я обычно привожу в пример игру Варламова в какой-то ныне забытой пьесе, где он около двадцати минут играл лежа на кровати. Вспоминаю еще более яркий пример: замечательная французская актриса Режан весь первый акт играла лежа на диване. В конце акта по ходу действия ей надо было встать и подойти к двери, и она вставала... Но как она вставала!.. И тут опускался занавес.

Я считаю, что опера Чайковского «Евгений Онегин» должна бы называться «Татьяной». Вслушайтесь в музыку, и вы поймете, что композитор почти равнодушен к внутреннему миру своего героя, но зато влюблен в героиню.

Мне страшно подумать, что искусство такого замечательного актера, как Игорь Ильинский, исчезнет с его смертью. Надо, чтобы Ильинский воспитал ученика. Мастер обязан лично воспитывать подмастерьев, которые должны помогать ему, жить с ним, есть с ним, как ученики у мастеров Возрождения или у актеров японского театра. Каждый большой мастер обязан оставить ученика, даже если он и не занимается специально педагогикой.

Вспоминая игру Элеоноры Дузе, я хочу сказать об удивительном умении экономить силы и «отдыхать» на сцене в пассивных местах роли. Она так умно выбирала эти места, что эти пустые куски сами казались полными выразительности. Это давало ей возможность беречь свои силы и почти ежедневно играть огромные роли без усталости и видимого напряжения. Рассказывают, что кто-то однажды спросил Дузе после «Дамы

с камелиями», устала ли она сегодня, а она ответила оскорбленным тоном:

— Синьор, вы забыли, что я актриса!..

В игре Дузе поражала сила непрерывного возрастания драматического напряжения. Никто не мог так, как она, передавать процесс изменения человека. В Джульетте она начинала роль с полной детскости, а заканчивала ее зрелой, сломавшейся женщиной. Для того чтобы контраст был особенно выразителен, она даже вначале уменьшала возраст Джульетты: ей было не 15, а чуть ли не 13. Любят говорить о будто бы полной интуитивности ее творчества и отсутствии всякого расчета мастерства, но это чепуха: в этой преувеличенности детскости Джульетты первого акта есть тонкий расчет и глазомер мастера, как и в ее знаменитых монологах, которые она всегда начинала еле слышно, чтобы искусственно увеличить лестницу, по которой голос должен был взлететь. Ее голос не отличался силой по природе, но он казался сильным от контраста — с полупшепота первых фраз. В этом искусном растягивании своего диапазона Дузе знала только одну соперницу — Сарру Бернар, которая, впрочем, во всем остальном была на нее совершенно непохожа.

Любимый прием Э. Дузе — повторение с разными интонациями одного слова. Если этого не было в тексте диалога, то она меняла текст. Надо было слышать, как она с бесконечным разнообразием повторяла «Арман» в сцене в игорном доме в «Даме с камелиями». Не было, кажется, пьесы, где бы Дузе не пользовалась этим приемом, полным таких возможностей у мастера и таким плоским у плохого актера. Иногда это было простое «Ну» то с восклицательным, то с вопросительным знаком, то презрительное, то гневное, то удивленное, то нежное, которое она бросала между фраз партнера. Я не отрекусь, если кто-нибудь из театральных ветеранов скажет мне, что мои рассказы об игре Дузе в роли Маргерит Готье повлияли на исполнение этой роли Зинаидой Райх, так же, впрочем, как и замечательная традиция М. Садовского на Аркашку — Ильинского.

Меня упрекали в том, что наш «Ревизор» не очень весел. Но ведь сам Гоголь пенял первому исполнителю Хлестакова Николаю Дюрю в том, что он чересчур старался рассмешить зрителей. Гоголь любил говорить, что веселое часто оборачивается печальным, если в него долго всматриваешься. В этом превращении смешного в печальное — фокус сценического стиля Гоголя.

У Сальвини было два сына, и оба стали актерами. Они были похожи, как близнецы, но один унаследовал его талант, а другой нет. Одинаковое воспитание, почти одинаковые данные — и ничего общего. Я часто думаю о тайне таланта, и мне иногда казалось, что история детей Сальвини могла бы быть прекрасным сюжетом для романа.

В нашем «Лесе» вначале было 33 эпизода, но так как спектакль кончался очень поздно и зрители опаздывали на трамвай, я внял просьбам администраторов и сократил его до 26 эпизодов. Спектакль, который шел более четырех часов, стал идти 3 часа 20 минут. Прошло какое-то время, и администрация мне сообщает, что спектакль снова идет 4 часа. Я решил, что актеры самовольно вернули какие-то сокращенные мною сцены, иду, смотрю, ничего подобного! Просто это они так разыгрались в оставшихся 26 эпизодах. Делаю им внушение. Не помогает. Назначую репетиции и с болью в сердце сокращаю спектакль до 16 эпизодов. Спектакль

некоторое время идет два с половиной часа, но потом снова разрастается до 4 часов. В конце концов спектакль полуразвалился, и пришлось его репетировать заново, устанавливая все ритмы и временные пропорции внутри спектакля. Однажды мне пришлось вывести приказ, что если сцена Петра и Аксюши, которая должна идти 2 минуты, будет идти на минуту больше, то я наложу на исполнителей взыскание. Актеров нужно приучать чувствовать время на сцене, как его чувствуют музыканты. Музыкально организованный спектакль — это не спектакль, где за сценой все время что-то играют или поют, а это спектакль с точной ритмической партитурой, с точно организованным временем.

Когда мне вместе с архитектором Бахтиным и Е. Вахтанговым пришлось разрабатывать проект нового здания нашего театра, я вдруг почти неожиданно сам для себя понял, что оформление моих, как говорится, «этапных» спектаклей бессознательно отражало мои поиски новой архитектуры сцены. Взгляните на проект. Что вам напоминает этот ряд дверей полукругом, выходящих через два балкончика прямо на сцену? Это актерские уборные. Правда, как двери в «Ревизоре»? А оркестр я помещаю над сценой, как в «Бубузе». А сама сценическая площадка почти такая же, как в «Мандате». И так далее. Вот так живешь и ставишь то одно, то другое, как будто без всякой связи и последовательности, а оказывается, всю жизнь возводил стены одного огромного здания. Недавно перечитывал «Блеск и нищета куртизанок» Бальзака и думал о том, как Бальзак в один прекрасный день открыл, что все его романы — фрагменты одной великой эпопеи. Если будете после моей смерти писать обо мне, не увлекайтесь выскливанием противоречий, а постарайтесь найти общую связь во всем, что я делал, хотя, должен признаться, она и мне самому не всегда была видна.

В хорошем режиссере в потенции сидит драматург. Ведь когда-то это была одна профессия, только потом они разделились, как постепенно дифференцируются и делятся науки. Но это не принципиальное деление, а технически необходимое, ибо искусство театра усложнилось и нужно быть вторым Леонардо да Винчи, чтобы и диалоги писать с блеском, и со светом управлять (я, конечно, все чуть огрубляю). Но природа — общая! Поэтому искусство режиссуры — искусство авторское, а не исполнительское. Но надо иметь на это право. А разве Нейгауз или Софроницкий исполнители? У кого повернется язык это сказать? Но они имеют право..

Пикассо обещал мне быть художником нашего «Гамлета», когда у нас до него дойдут руки... Когда дойдут руки!.. Я всю жизнь мечтаю о «Гамлете» и откладываю эту работу то по одной причине, то по другой. Откровенно говоря, я уже в своем воображении поставил нескольких «Гамлетов», да вы знаете, я вам рассказывал... Но сейчас я уже решил окончательно: «Гамлет» будет нашим первым спектаклем в новом здании. Откроем «Гамлетом»! Откроем новый театр лучшей пьесой мира! Хорошее предзнаменование!

Проблема антракта в театре — это не столько вопрос о перерыве для отдыха зрителя, сколько вопрос о композиционных членениях спектакля. Пьеса в одном огромном непрерывном акте вряд ли возможна, как речь без пауз и цезур или симфония, состоящая из одной части. Не желательно, чтобы перерывы между актами или эпизодами были не длиннее пауз между симфоническими частями. Но это уже задача не тех-

ники драмы, а техники театра. С моей точки зрения, спектакль должен строиться так, чтобы зритель отдыхал тут же, сидя в своем кресле (идеально, если бы можно было менять ракурс спинки или наклон кресла, я безуспешно добиваюсь этого у строителей своего нового здания), на тихой сцене — от громкой, на спокойной — от полной движения. Ведь психологи давно уже пришли к тому, что отдых — это любая перемена... Смена разных напряжений зрительного внимания — одна из серьезных забот режиссера. Макс Рейнгарт в Германии часто делал один большой антракт, причем он помещал его не ровно посередине пьесы, а ближе к концу, так как учитывал, что вначале менее утомленный зритель может воспринять без перерыва большую часть спектакля. У Рейнгарта антракт приходился приблизительно после двух третей пьесы. Когда ставишь Шекспира или «Бориса Годунова», где акты не обозначены, найти место, где можно сделать перерыв, — это не техническая и творческая проблема, это так же важно, как хорошему оратору знать, где нужно делать вдох, а где выдох.

Когда приходится читать некрологи и разные поминальные мемуары о выдающихся людях, которых мне посчастливилось лично знать, я всегда удивляюсь: это они или не они? Кто скажет, читая элегические странички о А. П. Чехове, В. Ф. Комиссаржевской, А. Блоке, Е. Б. Вахтангове, что они были в жизни очень веселыми людьми? А я это хорошо помню, так как сам много смеялся вместе с ними. Помню один день на гастролях в Польше, когда мы с Комиссаржевской хохотали целый день от каждого пустяка — такое было настроение. Чехова помню почти всегда смеющимся. И с Вахтанговым мы, встречаясь, больше острили и шутили, чем проникновенно беседовали о чем-то значительном. Или, может, это я сам такой легкомысленный и беспечный человек, что они со мной так держались? Думаю, что нет. Если после моей смерти вам придется читать воспоминания, где я буду изображен надутым от собственной важности жрецом, изрекающим вечные истины, поручаю вам заявить, что это все вранье, что я всегда был очень веселым человеком, во-первых, потому, что я больше люблю работать, а когда работаешь, всегда весело, а во-вторых, оттого, что я твердо знаю: то, что говорится в шутку, очень часто бывает серьезней того, что говорится всерьез...

Вы говорите «театроведение», а я не знаю, что это такое. Ученые спорят между собой о дальних, конечных выводах науки, но все согласны с тем, что при ста градусах вода кипит. А в нашей области еще не установлены подобные азбучные истины. Во всем полная разнголосоциа! Первая задача так называемого «театроведения» — установление единства терминологии и формулировка «азбучных истин». Только тогда оно может претендовать на то, чтобы называться наукой. Но боюсь, что до этого еще далеко... Вы ждете от меня толстого тома о моем режиссерском опыте, а я мечтаю о тоненькой книжечке, почти брошюрке, где я попытаюсь изложить некоторые из этих азбучных истин. И для нее пригодится весь мой «огромный» опыт. Не знаю только, хватит ли у меня времени быть кратким, как хорошо сказал кто-то...

Мой путь как оперного режиссера (я поставил около десятка опер) резко делится на две части. В своих постановках, осуществленных до революции в б. Мариинском театре, я ставил задачей подчинить режиссуру и актерскую игру на тексту либретто, а музыке, искал сценических решений в оркестровой партитуре. На этом отрезке пути у меня были известные достижения, но были и потери. В своих работах после революции я, не

отказываясь от общей подчиненности партитуре, стал стремиться освободить актера-певца от слишком большой скованности музыкой. Примером для меня был Шалапин, про которого можно было сказать в его отношениях с музыкой, что не его везла лошадь, а он ехал на ней, как говорят кавалеристы. То, чего я начал добиваться в «Пиковой даме», будет по-настоящему принципиально осуществлено в «Дон Жуане» Моцарта, над которым я начинаю работать. (В. Э. Мейерхольд не успел завершить работу над постановкой оперы Моцарта «Дон Жуан» в театре им. Станиславского. — А. Г.).

Если бы вы видели «Тристана и Изольду» в Б. Мариинском театре, то вы поняли бы, как я продвинулся вперед в оперной режиссуре в «Пиковой даме». Если в «Тристане» я настаивал на почти математически точном совпадении движений и жестов актеров с темпом музыки и тоническим рисунком, то в «Пиковой даме» я добивался ритмической свободы актера внутри большой музыкальной фразы (как у Шалапина), добивался того, чтобы актерский образ, вырастая из музыки, находился бы в ней не в метрически точном, а в контрастном соответствии, иногда даже контрастируя, варьируя, опережая и отставая, а не следуя ей в унисон. Тут должно быть то же самое, о чем я так часто говорю на репетициях в драме: режиссер должен так хорошо знать пьесу, чтобы иметь право позволить себе ее забыть.

Вы говорите, что не любите оперу? Просто у вас не хватает воображения представить себе, чем может быть опера. Не случайно Станиславский конец жизни отдал опере. Я горжусь тем, что судьба мне судила унаследовать созданный им музыкальный театр.

Я считаю, что своего рода «клака» в театре допустима, если это помогает правильно воспринимать спектакль. Вы, конечно, замечали, как иногда маленькая кучка зрителей встречает аплодисментами появившегося на сцене любимого актера и как к этой кучке сразу присоединяется весь зал. Зрительная эмоция — штука очень заразительная. Когда вокруг вас смеются, то невольно смеетесь и вы, когда зевают, то и вы начинаете зевать. Поэтому мы всегда на «сдачу» спектакля стремимся наполнять театр дружественно настроенными зрителями. Но, учитывая заразительность зрительских эмоций, почему же мы должны исключать прием активного возбуждения в зале нужных нам эмоций? Пусть это шокирует театральных пуритан, но, признаюсь, что в «Последнем, решительном» я сажал в зал актрису, которая в нужном мне месте начинала всхлипывать. И сразу, как по команде, вокруг нее все доставали платки. А на это шла реплика Боголюбова: «Кто там плачет?»... Все средства хороши, если они ведут к нужному результату!

Когда я читаю пьесу, которая мне нравится, я все время невольно сочиняю вкусные ремарки.

Всего труднее ставить плохие, пустые пьесы. За постановку плохих пьес я бы платил режиссерам вдвое больше, чем обычно. А за возможность поставить «Гамлета» или «Ревизора» я бы брал деньги с них.

Одно из необходимейших свойств режиссера — остро чувствовать драматические кульминации пьесы. Мне иногда приходилось исправлять и переделывать спектакли, поставленные другими режиссерами, когда на это уже оставалось мало времени и театральное производство требовало выпуска премьеры. Я всегда поступал так: определяю для себя одну — две кульминационные сцены (как часто они бывают неверно найдены — величайшая ошибка!), поработаю над ними, и, смотришь, спектакль пошел, все сразу встало на место.

Меня часто упрекали за то, что я не развиваю собственные открытия и находки, всегда спешу к новым работам: после одного спектакля ставлю другой, как бы совершенно иной по манере. Но, во-первых, жизнь человеческая коротка, и, повторяя себя, многого не успеешь сделать; во-вторых, там, где поверхностный взгляд видит хаос разных стилей и манер, там я и мои сотрудники видим применение одних и тех же общих принципов к разному материалу, разнообразную обработку его в зависимости от стиля автора и задач сегодняшнего дня... И еще!.. Биограф мастеров Возрождения Джорджо Вазари, характеризуя наивысшее достижение художника, писал: «В манере доселе неизвестной...» Разве вас не волнует эта фраза? Разве не высшая честь для художника — сделать работу «в манере доселе неизвестной...»?

Ну, завтра отдыхать на дачу!.. А вы тоже на дачу? А где вы живете за городом? По Ярославской? Где-нибудь около Пушкина? А, по другой ветке!.. (Пауза.) Да, Пушкино... Вот так однажды в пыльный летний денек приехали мы с Москвиным на извозчике на Ярославский вокзал, сели в вагон и отпраились в Пушкино. Вот с этого все и началось. Как говорит Стефан Цвейг, роковое мгновенье!.. Я слышал, он недавно болел, Москвин? Вы не знаете, как он? Хорошо?.. (Долгая пауза.) Да! Роковое мгновенье!.. (Летом 1898 г. в подмосковной дачной местности Пушкино начались репетиции молодого Художественного театра. В. Э. Мейерхольд и И. М. Москвин принадлежали к группе основателей МХТ: в спектаклях, репетировавшихся в Пушкино, В. Э. Мейерхольд работал над ролью Треплева в «Чайке» Чехова, а И. М. Москвин над ролью Федора в «Царе Федоре» А. К. Толстого. Исполнение этих ролей было первым успехом молодых актеров. — А. Г.).

Н. Степанов

ПАМЯТИ Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО

І. В ТАРУСЕ

Последние два года жизни (1957 и 1958) Н. А. Заболоцкий проводил в Тарусе.

В этом тихом, маленьком городке на берегу Оки, окруженном лесами, стоящем вдалеке от железной дороги, сохранилось спокойствие, утраченное в подмосковных местах. Полноводная Ока, полевые просто-

ры, раскинувшиеся напротив высокого берега, на котором расположена Таруса, — все это привлекало Заболоцкого, полюбившего этот уголок.

Николай Алексеевич снимал в Тарусе две комнаты с террасой на улице Карла Либкнехта, немощеной, поросшей заросшей травой, почти на вершине холма. Одноэтажные деревянные домики с зелеными заборами и ставнями окружены были густо засаженными са-



Н. Л. СТЕПАНОВ и Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Таруса 1957 г.

дами, в которых весной бурно цвели яблоки, вишни, сирень, а летом из-за оград выглядывали яркие цветы — розовые, красные, желтые, голубые.

На улицах и во дворах сновали петухи, куры, гуси, цыплята, чувствовавшие себя хозяевами всей территории. С раннего утра повсеместно слышалась куриная воркотня, гоготанье гусей, звонкие задорные выкрики петухов. В доме, в котором проживал Николай Алексеевич, было обычно тихо и безлюдно.

Все помещение состояло из двух комнат — столовой и примыкавшей к ней спальни. Большую часть дня Николай Алексеевич проводил на террасе, где стоял лежак с тюфяком и обеденный стол, или в хорошую погоду — в саду.

В Тарусе Заболотский поселился после первого инфаркта и поэтому вел малоподвижный образ жизни.

Здесь, в Тарусе, рождались стихи Заболотского о русской природе, навеянные окскими даями, просторами лесов и полей, сдержанной красотой русского пейзажа. Николай Алексеевич, хотя и восторгался величием кавказской природы, горами Грузии, цветением крымских парков, морской панорамой Гурзуфа, но больше всего любил скромную, непышную русскую природу. Он говорил мне, что горы, закрытый горизонт подавляют, не дают такого ощущения простора, как ровный пейзаж русских полей и лесов. В одном из «тарусских» стихотворений «Вечер на Оке» он со свойственной ему точностью и лирической проникновенностью изобразил этот приокский пейзаж.

Классическая соразмерность и философическая углубленность этого пейзажа заставляет вспомнить о Тютчеве, поэзию которого Заболотский особенно любил и ценил.

Николай Алексеевич много работал. Он переводил сербский эпос, обдумывал или писал стихи. В Тарусе была написана поэма «Рубрук». Николай Алексеевич не раз говорил мне, что ему нигде так хорошо не работалось, как в Тарусе. Работал он большей частью с утра до обеда. После обеда отдыхал, беседовал, гулял. Сидя на террасе или под яблоней, он часами мог ду-

мать, наблюдать за окружающей его природой. Такие стихотворения, как «Птичий двор», «Стирка белья», «Летний вечер», «Вечер на Оке», «Гроза идет», «Городок», «Подмосковные рощи», «На закате», не только были написаны в Тарусе, но и навеяны ее природой, тихой жизнью городка, даями приокских пейзажей.

Николай Алексеевич был уже тяжело болен, переживал мучительную личную драму. И тем не менее в нем было столько душевной стойкости, мудрого понимания окружающего, проникновенной любви к людям и природе, интерес к жизни, что я забывал о смертельной угрозе, над ним нависшей. Он не любил говорить о болезни, жаловаться. Старался только как можно больше сделать, завершить ранее начатое. Он любил образцовый порядок во всем и старался даже в своем трудном положении следовать этому порядку.

Сидя на открытой террасе, Николай Алексеевич мог долго смотреть на хлопчущих во дворике кур, шутливо посмеиваясь над красавцем-петухом, который появлялся из очередного петушье-боя с сильно поредевшим хвостом и разодраным в клочья, окровавленным гребнем. Больше всего привязался он к небольшой, мохнатенькой собачке с бородкой, смутно напоминавшей о ее происхождении от каких-то предков из породы скотчерьеров. Эта собачка терпеливо сидела целыми днями на крыльце и умильно смотрела на Николая Алексеевича. Собачка была понятлива и звонко лаяла на незнакомых посетителей. Вот об этой собачке он и написал в стихотворении «Городок».

Целый день стирает прака,
Муж пошел за водкой.
На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой.
Целый день она тарашит
Умные глазенки,
Если дома кто заплачет —
Заскулит в сторонке.

Собачку звали Дружок. Николай Алексеевич любил с ней разговаривать.

Как-то утром он прочел мне эти стихи, чуть близоручо прищуриваясь, с той лукаво доброй улыбкой, которая делала его лицо каким-то особенно радушным, чуть мужишким.

Он, как никто, любил шутку, но шутил обычно с самым серьезным видом, напуская на себя простовато непонимающий вид.

Из садика виднелись крыши домов, спускающихся к Оке, море зелени. Было тихо. Лишь изредка где-то в отдалении слышался гудок парходика, напоминавший о том, что Таруса не на краю света, а в трех часах от Москвы.

2. ДЕСЯТЬ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ СТИХОТВОРЕНИИ

Здесь печатаются десять стихотворений Н. А. Заболотского, написанных им в разное время с 1926 по 1956 год. Они все очень различны по темам, по изобразительной манере, по настроению. И в то же время всех их объединяет общность поэтического мироощущения, отношение автора к природе.

Тема природы — основная в поэзии Н. А. Заболоцкого, который на протяжении всего своего творческого пути обращался к природе, ища в ней разгадку существования. Поэзия Заболоцкого неизменно оставалась поэзией мысли, хотя и чужда рассудочности. В эпоху величайших побед человеческого разума, величайших открытий и свершений человечества — строительства нового коммунистического общества, раскрепощения атомной энергии, завоевания воздуха, чудес ракетных полетов — вполне естественно обращение к науке о природе. Напоминаю давнее увлечение Заболоцкого работами Циолковского, с которым он переписывался в тридцатые годы, получая от него книжки, с великими прозрениями ученого.

Для Заболоцкого природа, животные, деревья, насекомые — прежде всего «одухотворенные» живые организмы, в которых раскрываются разные проявления свойств природы, далеко не всегда и не до конца познанных человеком. Пафос познания, торжество разума над природой — таков основной пафос его стихов.

Мир животных, растений, насекомых для поэта не мертвая, а живая природа, которая раскрывается перед человеком в своей многообразной сущности. В этом обращении к природе Заболоцкий встретился с Хлебниковым, стихи которого высоко ценил.

Напомним такое солнечное, чудесное стихотворение Заболоцкого, как «Венчание плодами» (1932), в котором он сравнивает преобразователя природы Мичурина с Адамом. «Человек — владыка планеты, — говорит Заболоцкий в стихотворении «Искусство», — государь деревянного леса», который «правит планетами». Этот человек не только властелин природы, но и творец ее, создатель, художник.

Стихотворения 20—30-х годов необычайно изобразительны, живописны по своей манере. Заболоцкий высоко ценил картины Филонова, на которых люди, животные и растения как бы прорастают на полотне в совместном цветении, переплетаясь своими телами, вы-

рисованными с анатомической обнаженностью. Эта живописность и монументальность сказались и в образной манере таких стихотворений Заболоцкого, как «Лицо коня», «Искусство», «Царица болот».

Поэзия Заболоцкого проникнута высоким эпическим содержанием. Он не боялся дидактики, морального поучения, продолжая в этом классиков русской поэзии. Говоря о Заболоцком, хочется напомнить не только о Тютчеве и Баратынском, к которым он был близок и которых особенно ценил, но и о поэте-ученом XVIII века — великом Ломоносове. «Поэзия есть мысль, устроенная в теле», — пишет Заболоцкий в стихотворении «Предостережение».

Четыре последних стихотворения Заболоцкого относятся к 40—50-м годам. Они отмечены уже иной поэтической манерой, той классической стройностью и точностью изображения, к которой пришел в эти годы поэт. До предела конкретно показано переделкинское кладбище в «Прохожем», одинокая фигура бредущего мимо него человека. Это горькие стихи, размышления, вызванные тенью сторонами жизни. Но горе и страдания, болезни и смерть не вычеркнешь из человеческой жизни. Заболоцкий говорит об этом грустно и мудро, рассматривая страдания не только как неизбежный удел человека, но и как путь его облагораживания, преодоления в нем всего недостойного, идущего от душевной косности.

Тем самым отчетливее и яснее вырастает основной оптимистический, жизнеутверждающий пафос его поэзии. Таким радостным, сверкающим чувством исполнена его «Поэма весны». Ее читаешь с ощущением, словно раскрыл окно в сад, в котором сняют весенние цветы, а прозрачный воздух заполнен пением птиц. Как хорошо, как трогательно лиричен хотя бы этот «жук-менестрель» или бабочка, «ставшая на пуанты!» Только Заболоцкий мог сказать про апрель, что он «нацепил васильков аксельбанты». В ясном и чистом видении природы — светлое утверждение жизни, столь щедро льющееся из стихов Заболоцкого.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХИ

Н. Заболоцкий

ЛИЦО КОНЯ

Животные не спят. Они во тьме ночной
Стоят над миром каменной стеной.

Рогами гладкими шумит в соломе
Покатая коровы голова.
Раздвинув скулы вековые,
Ее притиснул каменистый лоб,
И вот косноязычные глаза
С трудом вращаются по кругу.

Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
И в ветхой роще рокот соловьиный.

И зная все, кому расскажет он
Свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон
Восходят звезд соединенья.
И конь стоит, как рыцарь на часах,
Играет ветер в легких волосах,
Глаза горят, как два огромных мира,
И грива стелется, как царская порфира.

И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный коня!

Мы услышали бы слова.
Слова большие, словно яблоки. Густые.
Как мед или крутое молоко.
Слова, которые вонзаются, как пламя,
И, в душу залетев, как в хижину огонь,
Убогое убранство освещают.
Слова, которые не умирают
И о которых песни мы поем.

Но вот конюшня опустела,
Деревья тоже разошлись,
Скупое утро горы спеленало,
Поля открыло для работ.
И лошадь в клетке из оглобель,
Повозку крытую влача,
Глядит покорными глазами
В таинственный и неподвижный мир.

ЗМЕИ

Лес качается, прохладен,
Тут же разные цветы,
И тела блестящих гадин
Меж камнями завиты.
Солнце, жаркое, простое,
Льет на них свое тепло,
Меж камней тела устроая,
Змеи гладки, как стекло.
Прошумит ли сверху птица
Или жук провоет смело,
Змеи спят, запрятав лица
В складках жареного тела,
И загадочны, и бедны,
Спят они, открывши рот,
А вверху едва заметно
Время в воздухе плывет.
Год проходит, два проходит,
Три проходит. Наконец,
Человек тела находит —
Сна тяжелый образец.
Для чего они? Откуда?
Оправдать ли их умом?
Но прекрасных тварей гряда
Спит, разбросана кругом.
И уйдет мудрец, задумчив,
И живет, как нелюдим,
И природа, вмиг наскучив,
Как тюрьма, стоит над ним.

1929

ИСКУССТВО

Дерево растет, напоминая
Естественную деревянную колонну.
От нее расходятся члены,
Одетые в круглые листья,
Собранные таких деревьев
Образует лес, дубраву.
Но определены леса неточно,
Если указать на одно формальное строенье.

Толстое тело коровы,
Поставленное на четыре окончания,
Увенчанное храмовидной головою
И двумя рогами (словно луна в первой
Четверти), тоже будет непонятно,
Также будет непостижимо,
Если забудем о его значенье
На карте живущих всего мира.

Дом, деревянная постройка,
Составленная, как кладбище деревьев,
Сложенная, как шалаш из трупов,
Словно беседка из мертвецов, —
Кому он из смертных понятен,
Кому из живущих доступен,
Если забудем человека,
Кто строил его и рубил?

Человек, владыка планеты,
Государь деревянного леса,
Император коровьего мяса,
Саваоф двухэтажного дома, —
Он и планетою правит,
Он и леса вырубает,
Он и корову зарежет,
А вымолвить слова не может.

Но я, однообразный человек,
Взял в рот длинную сияющую дудку.
Дул, и, подчиненные дыханию,

Слова вылетали в мир, становясь предметами.
Корова мне кашу варила,
Дерево сказку читало,
А мертвые домики мира
Прыгали, словно живые.

1930

ЦАРИЦА МУХ

Бьет крылом седой петух,
Ночь повсюду наступает,
Как звезда, царица мух
Над болотом пролетает.
Бьется крылышком отвесным,
Остов тела обнажен,
На груди пентакль чудесный
Весь в лучах изображен.
На спине пентакль печальный
Между двух прозрачных крыл,
Словно знак первоначальный
Неразгаданных могил.

Есть в болоте странный мох,
Тонок, розов, многоног,
Весь прозрачный, чуть живой,
Презираемый травой.
Сирота, чудесный житель
Удаленных бедных мест,
Это он сулит обитель
Мухе, реюшей окрест.
Муха, вся стуча крылами,
Мускул груди развернув,
Опускается кругами
На болота влажный туф.

Если ты, мечтой томим,
Знаешь слово Элоим,
Муху странную бери,
Муху в банку посади,
С банкой по полю ходи,
За приметамы следи.
Если муха чуть шумит —
Под ногою медь лежит,
Если усиком ведет —
К серебру тебя зовет.
Если хлопает крылом —
Под ногами злата ком.

Тихо-тихо ночь ступает,
Слышен запах тополей.
Меркнет дух мой, замирает
Между сосен и полей.
Спят печальные болота,
Шевелятся корни трав.
На кладбище стонет кто-то,
Телом к холмику припав.
Кто-то стонет, кто-то плачет,
Льются звезды с высоты.
Вот уж мох вдали маячит.
Муха, муха, где же ты?

1930

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Где древней музыки фигуры,
Где с мертвым бой клавиатуры,
Где битва ног с безмолвием пространства, —
Там не ищи, поэт, душе своей убранства,

Соединив безумие с умом,
Среди пустынных смыслов мы построим дом —
Училище миров, неведомых доселе.
Поэзия есть мысль, устроенная в теле.

Она течет, незримая, в воде —
Мы воду воспоем усердными трудами.
Она горит в полуночной звезде —
Звезда, как полымя, бушует перед нами.

Тревожный сон коров и беглый разум птиц
Пусть смотрят из твоих диких страниц
Деревья пусть поют и страшным разговором
Пугает бык людей, тот самый бык, в котором
Заклучено безмолвие миров,
Соединенных с нами крепкой связью.

Побит камнями и закидан грязью,
Будь терпелив. И помни каждый миг:
Коль музыки коснешься чутким ухом,
Разрушится твой дом и, ревностный к наукам,
Над нами посмеется ученик.

1932

ПРОХОЖИЙ

Исполнен душевной тревоги,
В треухе, с солдатским мешком,
По шпалам железной дороги
Шагает он ночью пешком.

Уж поздно. На станцию Нара
Ушел предпоследний состав,
Луна из-за края амбара
Сияет, над кровлями встав.

Свернув в направлении к мосту,
Он входит в весеннюю глушь,
Где сосны, склоняясь к погосту,
Стоят, словно скопища душ.

Тут летчик у края аллеи
Поконится в ворохе лент,
И мертвый пропеллер, белея,
Венчает его монумент.

И в темном чертоге вселенной,
Над сонною этой листвою
Встает тот неожиданно мгновенный
Пронзающий душу покой.

Тот дивный покой, пред которым,
Волнуясь и вечно спеша,
Смолкает с опущенным взором
Живая людская душа.

И в легком шуршании почек,
И в медленном шуме ветвей
Невидимый юноша-летчик
О чем-то беседует с ней.

А тело бредет по дороге,
Шагая сквозь тысячи бед,
И горе его, и тревоги
Бегут, как собаки, вослед.

1948

СТАРАЯ СКАЗКА

В этом мире, где наша особа
Выполняет неясную роль,
Мы с тобою состаримся оба,
Как состарился в сказке король.

Догорает, светясь терпеливо,
Наша жизнь в заповедном краю,

И встречаем мы здесь молчаливо
Неизбежную участь свою.

Но когда серебристые пряди
Над твоим засверкают виском,
Разорву пополам я тетради
И с последним расстанусь стихом.

Пусть душа, словно озеро, плещет
У порога подземных ворот
И багровые листья трепещут,
Не касаясь поверхности вод.

1952

ВОСПОМИНАНИЕ

Наступили месяцы дремоты...
То ли жизнь, действительно, прошла,
То ль она, закончив все работы,
Поздней гостьей села у стола.

Хочет пить — не нравятся ей вина,
Хочет есть — кусок не лезет в рот.
Слушает, как шепчется рябина,
Как щегол за окнами поет.

Он поет о той стране далекой,
Где едва заметен сквозь пургу
Бугорок могилы одинокой
В белом кристаллическом снегу.

Там в ответ не шепчется береза,
Корневищем вправленная в лед.
Там над нею в обруче мороза
Месяц окровавленный плывет.

1952

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

Ангел, дней моих хранитель,
С лампой в комнате сидел,
Он хранил мою обитель,
Где лежал я и болел.

Обессиленный недугом,
От товарищей вдали,
Я дремал. И друг за другом
Предо мной виденья шли.

Снилось мне, что я младенцем,
В тонкой капсуле пленен,
Иудейским поселенцем
В край далекий привезен.

Перед Иродовой бандой
Трепетали мы. Но тут,
В белом домике с верандой
Обрели себе приют.

Ослик пасся близ оливы,
Я резвился на песке.
Мать с Иосифом, счастливы,
Хлопотали вдалеке.

Часто я в тени у сфинкса
Отдыхал, и светлый Нил,
Словно выпуклая линза,
Отражал лучи светил.

И в неясном этом свете,
В этом радужном огне
Духи, ангелы и дети
На свирелях пели мне.

Но когда пришла идея
Возвратиться нам домой
И простерла Иудея
Перед нами образ свой —

Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх,
Где ложилась на трущобу
Тень распятого в горах, —

Вскрикнул я и пробудился..
И у лампы близ огня
Взор твой ангельский светился,
Устремленный на меня.

1955

ПОЭМА ВЕСНЫ

Ты и скрипку с собой принесла,
И заставила петь на свирели,
И, схватив за плечо, повела
Сквозь поля, голубые в апреле,

Пессимисту дала ты шлепка,
Настежь окна в домах растворила,
Подхватила в сенях старика
И плясать по дороге пустила:
Ошалев от твоей красоты,
Скряга вытащил пук ассигнаций,
И они превратились в листы
Засиявших на солнце акаций,
Бюрократы, чинуши, попы,
Столяры, маляры, стеклодувы,
Как птенцы из своей скорлупы,
Отворили на радостях клювы.
Даже те, кто по креслам сидят,
Погрузившись в чины и медали.
Улыбнулись и, как говорят,
На мгновение счастливыми стали.
Это ты, сумасбродка-весна!
Узнаю твои козни, плутовка!
Уж давно мне из окон видна
И улыбка твоя, и сноровка.
Скачет по полю жук-менестрель,
Реет бабочка, став на пуанты.
Развалившись по книгам, апрель
Нацепил васильков аксельбанты,
Он-то знает, что поле да лес —
Для меня ежедневная тема,
А весна, сумасбродка небес, —
И подружка моя, и поэма.

1956

РАННИЕ ГОДЫ

Наши предки происходят из крестьян деревни Красная Гора Уржумского уезда Вятской губернии. Деревня расположена на высоком берегу реки Вятки, рядом с городищем где, по преданию, было укрепление ушкуйников, пришедших в старые времена из Новгорода или Пскова. Возможно, что и наши предки приходятся сродни этим своеобразным колонизаторам Вятского края.

Прадедом моим был некий Яков, крестьянин, а дедом — сын его Агафон, личность, как мне представляется, во многих отношениях незаурядная. Высокого роста, косая сажень в плечах, он до кончины своей был физически необычайно силен, гнул в трубку медные екатерининские пятики и в то же время отличался большим простодушием и доверчивостью к людям. В николаевские времена он 25 лет прослужил на военной службе, отбился от крестьянства и, выйдя в отставку, записался в уржумские мещане. Работал он где-то в лесничестве лесным объездчиком. Когда в Крымскую войну разнесся слух о бедствиях русской армии, дед мой стал во главе дружины добровольцев и повел ее пешком через всю Россию на выручку Севастополя. Вернули его откуда-то из-под Курска; Севастополь пал, не дождавись своего нового защитника.

Сам я деда не помню, но зато хорошо помню его жену, мою бабу, тихую безропотную старушку, которую дед держал в страхе божьем. На фотографиях рядом с дедом она выглядит весьма слабым и смиренным созданием. Не думаю, что жизнь ее с супругом была особенно сладкой. Деда она пережила: Агафон умер еще в крепких летах от апоплексического удара.

Одного из двух своих сыновей, моего отца Алексея Агафоновича, дед умудрился обучить в Казанском сельскохозяйственном училище на казенную стипендию. Отец стал агрономом, человеком умственного труда, — первый в длинном ряду своих предков-земледельцев. По своему воспитанию, нраву и характеру работы он

стоял где-то на полпути между крестьянством и тогдашней интеллигенцией. Не столь теоретик, сколь убежденный практик, он около 40 лет проработал с крестьянами, разъезжая по полям своего участка, чуть ли не треть уезда перевел с трехполья на многополье и уже в советское время шестидесятилетним стариком был чествуем как герой труда, о чем и до сих пор в моих бумагах хранится немудрая уездная грамота.

Отцу были свойственны многие черты старозаветной патриархальности, которые каким-то странным образом уживались в нем с его наукой и с его борьбой против земледельческой косности крестьянства. Высокий, видный собой, с красивой черной шевелюрой, он носил свою светло-рыжую бороду на два клина, ходил в поддевке и русских сапогах, был умеренно религиозен, науки почитал, в высокие дела мира сего предпочитал не вмешиваться и жил интересами своей непосредственной работы и заботами своего многочисленного семейства.

Семью он старался держать в строгости, руководствуясь, вероятно, взглядами, унаследованными с детства, но уже и среда была не та, времена были другие. Женился он поздно, в сорокалетнем возрасте, и взял себе в жены школьную учительницу из уездного города Нолинска, мою будущую мать, — девушку, сочувствующую революционным идеям своего времени. Брак родителей был неудачен во всех отношениях. Трудно представить себе, что толкнуло друг к другу этих людей, столь различных по воспитанию и складу характера. Семейные раздоры были обычными картинами моего детства.

Я был первым ребенком в семье и родился в 1903 году 24 апреля под Казанью, на ферме, где отец служил агрономом. Когда мне было лет шесть, у отца случилась какая-то служебная неприятность, в результате которой мы переехали сначала в село Кукмор, а потом в Вятскую губернию. Это был мрачный период

в жизни отца: некоторое время он был без работы, в Кукморе служил даже не по специальности — страховым агентом — и выпивал с горя. Впрочем, период этот длился недолго: в 1910 году мы переехали в родной отцу Уржумский уезд, где отец снова получил место агронома в селе Сернур.

Село было небольшое: площадь с церковью, волостным правлением и домами причта и две длинные улицы, примыкающие к ней с двух концов: Нурбель и Низовка. Под прямым углом к этим улицам к площади примыкали две короткие улочки: на одной были сельская школа, а на другой — больница. Недалеко от школы поселились и мы в длинном бревенчатом доме, разделенном перегородками на отдельные комнаты-клетушки.

Удивительные были места в этом Сернуре и его окрестностях! Помнится мне Епифаньевская ферма — поместье какого-то старозаветного богача-священника — черный дряхлый дом из столетних бревен, величественный огромный сад, пруды, заросшие ивами, и бесконечные уголья: луга и рощи. Мои первые неизгладимые впечатления природы связаны с этими местами. Вдоволь наслушался я там соловьев, вдоволь насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях.

А человеческая жизнь вокруг была такая скучная! Особенно бедствовали марийцы — исконные жители этого края. Нищета, голод, трагедия сжигали их со свету. Купеческое сословие, дома священников — они стояли как-то в стороне от нашей семьи: по скудости средств отец не мог да и не хотел стоять на равной ноге с ними. Мы, дети, однако ж, знали между собою, у нас были общие интересы, игры. В 1912 году, когда повсюду праздновалось столетие наполеоновской войны, мы, мальчишки, бредили Кутузовым, Багратионом, Платовым и знали, как свои пять пальцев, всех героев двенадцатого года. Увешанные бумажными орденами, деревянными саблями, мы с пиками наперевес носились по окрестным садам и вели ожесточенные бои с зарослями крапивы, которая изображала собой воинство Бонапарта. Я неизменно был атаманом казачьих войск Платовым и никогда не соглашался на более почетные роли, ибо Платов представлялся мне образцом русского героизма, удали и молодечества.

В начальной школе я учился старательно. Но школа была бедная и скучная, ученики — крестьянские мальчишки, и среди них — много марийцев, изнуренных нуждой. Священник о. Сергей бивал нас линейкой по рукам и ставил на горох в угол. Однажды зимой, в лютый мороз, в село принесли чудотворную икону, и мой товарищ марийский мальчик Ваня Мамаев в худой своей одежке с утра до ночи ходил с монахами по домам, таская церковный фонарь на длинной палке. Бедняга замерз до полусмерти, измучился и получил в награду лаковую картинку с изображением Николая Чудотворца. Я завидовал его счастью самой черной завистью.

Уржум, ближайший уездный город, был в 60 верстах от нашего села. В Уржуме было реальное училище, отлично оборудованное в новом корпусе, построенном на средства местного земства — одного из передовых земств тогдашней России. В 1913 году, десятилетним мальчиком, я сдавал туда вступительные экзамены. Экзамены шли в огромном зале. Перед стеклянной дверью в этот зал толпились и волновались родители. Когда мать провела меня в это святилище науки, я слышал, как кто-то сказал в толпе: «Ну, этот сдас. Смотрите, лоб-то какой обширный!» И действительно, сначала все шло благополучно. Я хорошо отвечал по устным предметам — русскому языку, закону божьему,

арифметике. Но письменная арифметика подвела: в задачке я что-то напутал, долго бился, отчаялся и, как-то, малодушно всплакнул, сидя на своей парте. К счастью, в мой листочек заглянул подошедший сзади учитель и, усмехнувшись, ткнул пальцем куда следовало. Я увидел ошибку, и задачка решилась. В списке принятых оказалась и моя фамилия.

Это было великое несказанное счастье! Мой мир раздвинулся до громадных пределов, ибо крохотный Уржум представлялся моему взору колоссальным городом, полным всяких чудес. Как была прекрасна эта Большая улица с великолепным красным кирпичом собором! Как пленительны были звуки рояля, доносившиеся из открытых окон купеческого дома, — звуки, еще никогда в жизни не слышанные мною! А Городской сад с оркестром, а городские по углам, а магазины, полные необычайно дорогих и прекрасных вещей! А эти милые гимназисточки в коричневых платьицах с белыми передничками, красавицы — все как одна! — на которых я боялся поднять глаза, смущаясь и робея перед лицом их нежной прелестью! Недаром вот уже три года, как я писал стихи, и, читая поэтов, понабрался у них всякой всячины!

У моего отца была библиотека — книжный шкаф, наполненный книгами. С 1900 года отец выписывал «Ниву», и понемногу из приложений к этому журналу у него составилось порядочное собрание русских классиков, которое он старательно переплетал и приумножал случайными покупками. Этот отцовский шкаф с раннего детства стал моим любимым наставником и воспитателем. За стеклянной его дверцей, наклеенное на картоночку, виднелось наставление, вырезанное отцом из календаря. Я сотни раз читал его и теперь, сорок пять лет спустя, дословно помню его немудреное содержание. Наставление гласило: «Милый друг! Люби и уважай книги. Книги — плод ума человеческого. Береги их. Не рви и не пачкай. Написать книгу нелегко. Для многих книги — все равно что хлеб».

Сам-то отец, говоря по правде, не так уж часто заглядывал в свой шкаф, он скорее уважал его, чем любил, однако, детская душа восприняла его календарную премудрость со всей пылкостью и непосредственностью детства. К тому же каждая книга, прочитанная мной, убеждала меня в правильности этого наставления. Здесь, около книжного шкафа с его календарной панацеей, я навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам еще не вполне понимая смысл этого большого для меня события.

И вот, я — реалист. На мне великолепная черного сукна фуражка с лаковым козырьком, блестящим гербом и желтыми кантами. Я одет в черную, с теми же кантами шинель, и пуговицы мои золотого цвета. Однако парадная форма положена нам голубая, и потому нас, реалистов, дразнят: «Яичница с луком!» Но кто дразнит? Ученики какого-то Городского училища. Это — от зависти. Зависть же оттого, что в городе единственная женская гимназия, а мужских училищ два — реальное и городское. Мы как кавалеры без особенного усилия забываем их, городских. Отсюда наши вековые распри.

Иной раз эти распри принимают серьезный оборот. В городе существует заброшенное Митрофаньевское кладбище — место свиданий и любовных встреч. Бывают вечера, когда по незримою телеграфу передается весть: «Наших бьют!» Тогда все реалисты наперекор всем установлениям и порядкам устремляются к Митрофанию и вступают в бой с городскими. Орудиями боя чаще всего служат кожаные форменные ремни, обернутые вокруг ладони. Медная бляха, направленная ребром на противника, действует, как булава, и может натворить немало бед. Почти всегда победителями вы-

ходим мы, реалисты, но кое-когда достается и нам, если мы проморгаем нужное время.

Но так тяжело вдали от дома! Я устроен «на хлеба» к хозяйке Таисии Алексеевне. Вместе со мной в комнате живет еще один мальчик. Нас кормят, нам стирают белье, за нами приглядывают, и все это стоит нашим отцам недешево — по тринадцати рублей с брата в месяц. Наш надзиратель «Бобка», а то и сам инспектор могут нагрязнить к нам в любой вечер: после семи часов вечера мы не имеем права появляться на улице. Но где же набраться силы, чтобы выполнять это предписание? Здесь, в этом великолепном городе, действует кинематограф «Фурор», а там идут картины с участием Веры Холодной и несравненного Мозжухина! Приходится идти на то, что старшие наряжают меня девочкой и тащат с собой на очередной киносеанс. Все как-то сходило с рук, но однажды мы попались: в наше отсутствие явился на квартиру инспектор и устроил скандал. К счастью, в этот вечер горела городская лесопилка, и мы отговорились тем, что были на пожаре. В кондуит мы все же попали, но это было полбеды.

Реальное училище было великолепно. Каждое утро, раздевшись внизу, я, придерживая рукой ранец, поднимался по двум пролетам лестницы и в трех шагах от инспектора щелкал каблуками, кланялся и старался прошмыгнуть дальше. Но это не всегда удавалось. Образец педантизма, немец-инспектор Силяндер был немолимо строг. Заметив несвежие начищенные ботинки, он отсылал нерадивого вниз, где под лестницей стояла скамья со щетками и ваксой. Там надлежало привести обувь в порядок и процедуру представления повторить снова. В перемену, когда мы беззаботно бегали по коридору или гуляли по залу, к нам мог подойти надзиратель, расстегнуть воротник блузы и проверить белье. И горе тому, у кого белье было цветное или недостаточно чистое — неряха попадал в кондуит или получал строгий выговор от начальства. Так школа приучала нас следить за собой, и это было необходимо, так как состав учеников у нас был пестрый: были тут дети городской интеллигенции, и дети чиновников, и дети купцов, и много крестьянских детей. Жизненные навыки у нас были в одно и то же время и разнообразны, и недостаточны.

Наш учебный день начинался в актовом зале общей молитвой. Здесь, на передней стене, к которой мы становились лицом, висел большой, до самого потолка, парадный портрет царя в золотой раме. Царь был изображен в мантии и во всех регалиях. Классы выстраивались в установленном порядке, но из них выделялся хор, который становился с левой стороны. Когда все приходило в порядок и учителя, одетые в мундиры, занимали свои места, в зале появлялся директор, и молитва начиналась. Сначала какой-нибудь младенец-новичок читал «Царю небесный!», потом пели, потом отец Михаил, наш законоучитель, вечно страдающий флюсом, жиденьким тенорком читал главу из Евангелия, и все это заканчивалось пением гимна «Боже, царя храни». Затем мы с облегчением разбегались по классам.

Оборудование школы было не только хорошо, но сделало бы честь любому столичному училищу. Впоследствии, будучи ленинградским студентом, я давал пробные уроки в некоторых школах Ленинграда, но ни одна из них не шла в сравнение с нашим реальным училищем, расположенным в 180 километрах от железной дороги. У нас были большие, чистые и светлые классы, отличные кабинеты и аудитории по физике и химии, где скамьи располагались амфитеатром и нам отовсюду были видны те опыты, которые демонстрировал учитель. Особенно великолепен был класс для рисования. Это тоже был амфитеатр, где каждый из нас имел отдельный мольберт. Вокруг стояли статуи — копии античных скульптур. Рисование вместе с математикой счи-

тались у нас важнейшими предметами, нас обучали владеть и карандашом, и акварелью, и маслом. У нас были свои местные художники-знаменитости, и, вообще, живопись была предметом всеобщего увлечения. Хорош был также гимнастический зал с его оборудованием: турником, кожаной кобылой, параллельными брусьями, канатами и шестами. На праздниках «сокольской» гимнастики мы выступали в специальных рубашках с трехцветными поясами, и любоваться нашими выгуплениями приходил весь город.

Круг учителей был пестрый. Общей нашей любовью стал Владислав Павлович Спасский, учитель истории, еще молодой тогда человек. В то время, когда прочие учителя ходили в форменных сюртуках, он почему-то носил пиджак, правда, с теми же лацканами и пуговицами. С принятыми у нас учебниками Иванова он считался мало, основными движущими силами истории считал материальное бытие человечества и по основным вопросам давал свои формулировки, которые заставлял записывать в тетрадь, и требовал от нас хорошего их понимания. Никакие ссылки на учебник не помогали иному лентяю в его ответах — уделом его была неизменная двойка в дневнике. Это обстоятельство долгое время обескураживало нас, но со временем мы поняли, что Спасский — человек самостоятельной мысли, и это обстоятельство необычайно подняло его авторитет в наших глазах. В жизни он был мало разговорчив, сосредоточен, и никогда не был с нами запанибрата. Мы уважали его и гордились тем, что он был нашим классным наставником с первого класса.

Учитель естествоведения был высок, кривоват на один глаз, но преподавал увлекательно, был любитель посмеяться, и перед каникулами часто читал нам Чехова, причем читал так уморительно и так заразительно смеялся сам, что мы всем классом, конечно, дружно вторили ему. Это был хороший, дружелюбно настроенный к нам и прогрессивный человек, как то показало его поведение после революции.

Федор Логинович Логинов, учитель рисования, красавец-мужчина, кумир уездных дам, пользовался нашей любовью именно потому, что преподавал любезное нашему сердцу рисование, а также потому, что имел порядочный баритон и недурно пел на наших концертах.

Безусловное влияние на нас имела учительница немецкого языка Эльза Густавовна, по мужу Сушкова. В своем синем форменном платье, педантично аккуратная и в то же время моложавая и миловидная, она была с нами настойчива и трудолюбива. Часто на переменах мы слышали, как она беседует по-немецки с инспектором, и этот свободный иноязычный разговор на нас, провинциальных мальчуганов, производил большое впечатление.

Зато всем классом, дружно, как по уговору, мы не увидели нашу француженку Елизавету Осиповну Вейль. Это была низенькая, чопорная, в седых аккуратных буклях старая дева, и во всех ее манерах было что-то такое, что нам, маленьким медвежатам, казалось глубоко чуждым и враждебным. Она почему-то ходила с тростью и часто гуляла по городу со своей отвратительной болонкой. С классом у нее не было общего языка, она была придирчива и нажила себе среди нас немало врагов. В первом же классе мы однажды устроили на ее уроке целое представление. Старая дева имела привычку довольно часто чихать. Чихнув, она величественно открывала свой ридикюль, вынимала платочек, и мы были обязаны сказать ей хором: «А вотр сантэ!»

Пашка Коршунов принес в класс нюхательного табаку и в перемену перед французским языком, покада все мы развлекались в зале, расспыгал табак по партам, причем изрядное количество его попало и на учительскую кафедру. Начался урок. Все шло по заведенному

порядку, уже было выяснено, какое «ожурдюю» число и кто из учеников «абсан», как вдруг учительница вынула платок и чихнула.

— А вотр сантэ, — сказали мы, и занятия продолжались.

Но вот французенка чихнула во второй, в третий, в четвертый раз.

— А вотр сантэ! А вотр сантэ! — отвечали мы.

И вдруг и справа, и слева слышались чиханья, сперва легкие и короткие, потом все более ожесточенные и наконец превратившиеся в сплошное безобразие. Старушка же, закрывшись платочком, чихала непрерывно, слезы ручьем текли по ее лицу, и класс, сам изнемогая от нестерпимого зуда в носу и глотке, кричал, захлебываясь:

— А вотр сантэ, а вотр сантэ, мадемузель!

Кончилось дело тем, что французенка выбежала за дверь и Пашка Коршунов в одну минуту замел все следы своего преступления. Явился инспектор. После уроков мы два часа простояли на ногах всем классом. Пашку Коршунова мы не выдали.

В первые дни революции, когда я учился в четвертом классе, в квартире французенки были выбиты камнями все окна, и с тех пор она исчезла с нашего горизонта. Нечего говорить о том, что по-французски мы были «ни в зуб ногой».

Мальчишеских дурачеств было достаточно, но любопытно, что проявлялись они лишь в отношении немногих, особенно нелюбимых нами учителей. Однажды нам, наблюдательным бесенятам, показалось, и может быть, не без некоторого основания, что Спасский и немка неравнодушны друг к другу. Тотчас на классной доске появилась огромная надпись мелом: «В. П. = Э. Г.», т. е. Владислав Павлович равняется Эльзе Густавовне. Немка, увидев эту надпись, покраснела и поспешно вышла из класса. Но едва в класс вошел Спасский и увидел наше произведение, он спокойно сел за кафедру и обычным голосом сказал:

— Дежурный, сотрите с доски.

Это было сказано так ровно, спокойно и твердо, что класс сразу понял: тут шутить нельзя. И шутка больше не повторялась.

Батюшку, отца Михаила, мы не ставили ни во что. Это был удивительный неудачник, ни в ком не вызывающий сожаления. Когда-то он кончил юридический факультет университета, но потом по убеждениям принял духовный сан. Со своим вечным флюсом, с багровосызым носом, с бабым тенорком и мочальными волосиками, он производил жалкое впечатление. Жена ему ежегодно рожала по очередному младенцу, и это тоже смешило нас. Однажды наши озорники прибили ему калоши гвоздями к полу, так что батюшка, надевая их, едва не растянулся, и упал бы, если бы не подвернувшийся под руку швейцар Василий. На уроках, ко всеобщей нашей потехе, он повествовал об Ионе во чреве кита и всем ставил или пятерки, или единицы. Уважать его оснований не было.

Остальные учителя были ни то, ни се. Русский язык преподавал Иван Савельевич Баймеков, мариец по национальности, арифметику и алгебру — молодой белобрысый Беляев, — личности, ничем не примечательные. Учителем гимнастики был некто Холодковский, он же надзиратель, он же «Бобка». В нем чув-



КОЛЯ КУН, Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ и НАТАША ЗАБОЛОЦКАЯ

Таруса 1957

ствовалось нечто от старозаветного педеля: с начальством он был угодлив, со старшеклассниками держался запанибрата, и они угощали его папиросами в уборной. Мы, младшие, его вниманием не пользовались, но инстинктивно считали его предателем и не доверяли ему.

Во главе училища стоял директор Богатырев Михаил Федорович. Швейцар Василий, раздевая его ввиду, величал его: «Ваше превосходительство». Директор был представителем, красив в своей живописной седине, к тому же он считался незаурядным математиком и великолепным шахматистом. Но он стоял так высоко над нами и так мало общался с младшими классами, что мы долгое время не имели о нем определенного мнения.

Из моих новых товарищей я сразу же подружился с Мишей Ивановым, сыном учительницы женской гимназии. Это был нежный тонкий мальчик с прекрасными темными глазами, впечатлительный, скромный, большой любитель рисования, сразу сделавший большие успехи по этому предмету. Сам же я был в детстве порядочный увалень, мало подвижный, застенчивый, в тайне честолюбивый и настороженный. Когда, бывало, мать говорила мне в детстве: «Ты пошел бы погулять, Коля!» — я неизменно отвечал ей: «Нет, я лучше посижу». И сидел один в молчании, и мне нисколько не было скучно, и голова моя была, очевидно, занята какими-то важными размышлениями. С нервным и хрупким Мишей Ивановым нас сблизила, как видно, противоположность темперамента при общем сходстве интересов: мы оба были поклонниками искусства. Наша дружба была верной и прочной за все время нашего ученичества. Мы поверяли друг другу самые интимные свои тайны, делились самыми смелыми своими надеждами. А их было уже немало в те ранние наши годы!

Оба мы были влюблены — постоянно и безусловно. Разница была лишь в том, что Миша никогда не изменял в своих мечтах юной и прелестной Ниночке Перельман, мои же предметы менялись почти еженедельно. Уж если говорить по правде, то еще в Сернуре я был безнадежно влюблен в свою маленькую соседку Еню Баранову. Ее полное имя было Евгения, но все, по домашней

привычке, звали ее почему-то Еня, а не Жения. У Ени были красивые серые глаза, которые своей чистой округлостью заставляли вспоминать о ее фамилии, но это придавало ей лишь особую прелесть. После долгих мучительных колебаний я однажды совершенно неожиданно сказал ей басом: «Я люблю вас, Еня!» Еня с недоумением и полным непониманием происходящего подняла на меня свои чистые бараньи глазки, и, увидав их, я побагровел от стыда, повернулся и ударился в малодушное бегство. Через несколько дней после этого события нас обоих отвезли в Уржум и отдали меня в реальное училище, а ее — в гимназию. И надо же было так случиться, что ежедневно утром, по дороге в школу, мы непременно встречались с нею, и она смотрела на меня так вопросительно, как недоумевающе... Я же, надувшись, едва кланялся ей: этим способом я, несчастный, мстил ей за свое невыразимое позорище.

Потом появилась у меня другая любовь — бледная, как лилия, дочка немца-провизора Рита Витман. В своей круглой гимназической шапочке со значком, загадочная и молчаливая, она была, безусловно, воплощением совершенства, но объясниться с нею я уже не мог, и она никогда не узнала о том, как мечтал о ней этот красноречивый реалист, какие пламенные стихи посвящал он ее красоте!

Вслед за Ритой Витман появились у меня и другие предметы воздыхания, среди них — курносая и разбитая Нина Пантюхина. С этой девицей был у меня хотя и недлинный, но деятельный роман. В начале мировой войны мы собирали пожертвования в пользу раненых воинов. Ходили по домам парами: реалист и гимназистка. Реалист носил кружку для денег, гимназистка — щиток с металлическими жетонами, которые прикалывались на грудь жертвователям. Во всем этом деле моей неизменной дамой была Нина. И на каждой лестнице, прежде чем дернуть за ручку звонка, мы, да простит нам господь-бог, целовались с удовольствием и увлечением. Таким образом я мало-помалу начинал постигать искусство любви, в то время как мой бедный друг Миша Иванов кротко и безнадежно мечтал о своей красавице и не дерзал даже близко подходить к ней!

Роман Миши Иванова с Ниной Перельман кончился трагически. Были в нашем классе два оболтуса — Митька Окунев и Петька Ливанов. Эти великовозрастные парни, аккуратные второгодники сидели рядом на камчатке и были воплощением всех пороков, доступных нашему воображению. Они не учили уроков, дерзили учителям, курили, немилосердно угнетали нас щелчками, пинками и подзатыльниками. Ливанов имел при этом необычайно выдающийся кадык и пел в хоре басом. Огненно-рыжий, весь в веснушках, Митька Окунев был удалец по дамской части. Когда после исчезновения француженки Вейль на ее место была назначена новая учительница — великолепная с пышными формами шатенка, Митька Окунев, будучи вызван к ответу, принял фатоватую позу ловеласа и молча упирался своими наглыми глазками в эту новоприбывшую красавицу. И весь класс, замрзая, видел, как лицо ее начинало покрываться багровым румянцем. Она краснела вся, до самых ушей, даже шея ее краснела, на глазах ее появлялись слезы, и, наконец, захлопнув журнал, она убежала из класса... Товарищ этого молодца — Петька Ливанов — в последние годы нашего ученичества соблазнил бедняжку Нину Перельман и бросил ее, а Миша Иванов, неизменный и молчаливый ее поклонник, сошел с ума в Москве, куда он уехал поступать в художественное училище. Через несколько лет он умер в Уржуме, у своих родных...

Маленький захолустный Уржум впоследствии прославился как родина С. М. Кирова. В мое время это был обычный мещанский городок, окруженный морем полей и лесов северо-восточной части России. Были в

нем два мизерных заводика — кожевенный и спиртоводочный, в семи верстах — пристань на судоходной Вятке. Отцы города — местное купечество — развлекались в «Обществе трезвости», своеобразном городском клубе. Было пять—шесть церквей, театр в виде длинного деревянного барака под названием «Аудитория», земская управа, воинское присутствие, «номера» Потапова и еще кого-то, весьма основательный острог на площади, аптека, казарма местного гарнизона. Гарнизон состоял из роты солдат под командой бравого поручика, кривого на один глаз, но лихого, в перчатках и при шаге. Существовала пожарная команда с ее выдающимся духовым оркестром. На парадах по царским дням мы имели удовольствие наблюдать все это храброе воинство. Парад принимал настоящий генерал, правда, в отставке, по фамилии Смирнов. Эта еле двигающаяся развалина, одетая в древний мундир, белые штаны и треуголку, с трудом вылезала из собора, воинство брало «на караул», и еле слышный старческий голосок поздравлял его с тезоименитством государя-императора. Воинство гаркало в ответ, неистово подавал команду поручик, пожарники, хлебнув заблаговременно по чарке, взывали на своих трубах и литаврах, и рота дефилировала к казарме. Толпа торговков, шума и толкаясь, провожала своих любезных восторженными взглядами и восклицаниями.

Каждую субботу и воскресенье мы обязаны были являться к обедне и всенощной. Мы, реалисты, построенные в ряды, стояли в правом приделе собора, гимназистки в своих белых передничках — в левом. За спиной дежурило начальство, наблюдая за нашим поведением. Дневные службы я не любил: это тоскливое двухчасовое стояние на ногах и притом на виду у инспектора удручало всю нашу братию. Мудрено было жить божественными мыслями, если каждую минуту можно было ожидать замечания за то, что не крестишься и не кланяешься там, где это положено правилами. Но тихие всенощные в полумраке, мерцающей огоньками церкви невольнo располагали к задумчивости и сладкой грусти. Хор был отличный, и когда девичьи голоса пели «Слава в вышних богу» или «Свете тихий», слезы подступали к горлу и я по-мальчишески верил во что-то высшее и милосердное, что парит высоко над нами и, наверное, поможет мне добиться настоящего человеческого счастья.

Иногда мы прислуживали в соборе. Одеты в негущиеся стихари, двое или трое из нас ходили зажигать и тушить свечи перед иконами, полагали в алтаре и потихоньку попивали «теплоту» — разведенное в теплой воде красное вино, которым запивают причастие. Но, будучи служками, мы несли еще и другие, не установленные начальством и совершенно добровольные обязанности. Пачки любовных записок переходили с нашей помощью от реалистов к гимназисткам и обратно в продолжение всей службы. Это дело требовало ловкости и умения, но мы быстро освоились с ним и почти никогда не попадались в лапы начальства.

Большим воскресным событием был еженедельный базар, собиравшийся на площади перед острогом. Сюда съезжались крестьяне со всего уезда. Везли скот, мясо, муку, дрова, пеньку и все то, что можно было вывезти из деревни. Домохозяйки всех рангов с озабоченными и вдохновенными лицами сновали в этой толпе: провизия закупалась на всю неделю, было о чем позаботиться. Бойко работала «монополька». Начиная с полудня, вокруг нее лежали живые трупы, слышался бабий вой, воздух наполнялся смрадом пережженного спирта, песнями и руганью. Не отставало от «монопольки» и «общество трезвости». По крутым его ступенькам посетители зачастую съезжали на спине и лишь с помощью городского могли подняться на собственные конечности.

На фоне этой замкнутой и десятками лет незакон-

ной жизни резко выделялась и влекла нас к себе другой жизнью, не слишком богатая, но все же заметная и все более растущая. В «Аудитории» регулярно работал и давал свои незамысловатые спектакли любительский драматический кружок. Существовало музыкальное училище, музыка повсюду пользовалась почетом и любовью. В первый год моего ученичества у нас в реальном училище силами учителей, интеллигенции и старшекласников ставилась (полностью!) «Анда». Правда, опера шла под аккомпанемент рояля и с помощью местных ограниченных средств — но шла! Концерты давались регулярно то там, то тут. Работали две приличные библиотеки. И впоследствии, в первые годы революции, когда, спасаясь от голода, хлынула к нам из столиц артистическая интеллигенция, она нашла в Уржуме добрую почву для работы, понимание и всеобщее поклонение.

По временам из Сернура приезжал отец и забирал меня к себе в «номера» Потапова. Здесь мы вели роскошную жизнь — лакомились икрой, копченой рыбкой, сыром. Все это были деликатесы, недоступные нам в обычной жизни. На рождественские и пасхальные каникулы отец увозил меня домой, в Сернур.

Чудесные зимние дороги — одно из лучших моих детских воспоминаний. Отец ездил на паре казенных лошадей в крытой повозке или кошевых санях. Он был в тулупе поверх полушубка, в огромных валенках — настоящий богатырь-бородач. Соответственным образом одевали и меня. Усевшись в повозку, мы покрывали ноги меховым одеялом и уже не могли под тяжестью одежды двинуть ни рукой, ни ногой. Ямщик влезал на козлы, разбирал вожжи, вздрагивал колокольчик на дуге у коренного, и мы трогались. Предстоял целый день пути при 20—25-градусном морозе.

И зима, огромная, просторная, нестерпимо блистающая на снежных пустынях полей, развертывала передо мной свои диковинные картины. Поля были беспредельны, и лишь далеко на горизонте темнела полоска леса. Снег скрипел, пел и визжал под полозьями; дребезжал колокольчик; развеивая свои седые, покрытые инеем гривы, храпели лошади, и протяжно покрикивал ямщик, похожий на рождественского деда с ледяными сосульками в замерзшей бороде. По временам мы ехали лесом, и это было сказочное государство сна, таинственное и неподвижное. И только заячьи следы на снегу да легкий трепет какой-то зимней птички, мгновенно вспорхнувшей с елки и уронившей в сугроб целую охапку снега, говорили о том, что не все здесь мертво и неподвижно, что жизнь продолжается, тихая, скрытная, беззвучная, но никогда не умирающая до конца.

Совсем другой была природа под пасху. Она ожидала вся сразу и, окончательно еще не проснувшись, была наполнена смутным и тревожным шумом постепенного своего пробуждения. Темнел и с мелодичным еле слышным звоном таял снег; ручьи уже начинали свои бесшабашные танцы; падали капли; скот радостно и сдержанно шумел в деревнях и просился на волю. И реки, эти замершие царственные красавицы, вздрагивали, покрывались туманом и уже грозили нам неисчислимыми бедами. Однажды мы с отцом попали в разводье. Лошади успели проскочить, но тяжелая повозка провалилась и уперлась передком в твердую льдину. Вода хлестала через нас по меховому одеялу, и мы

были на волосок от гибели. Но добрые кони вынесли, и опасность миновала.

Кормили лошадей на полдороге, в марийской деревне Часовня. Тут мы отдыхали, пили чай в вонючей грязной избе, окруженные полуголыми ребятишками, и с полатей, посасывая длинную трубку, неподвижно смотрела на нас дряхлая лысая старуха — существо, лишь отдаленно похожее на человека. Домой приезжали поздно, при свете звезд, когда все село уже спало и только в нашем доме светился огонек: домашние ждали нас.

Семье жилось нелегко. Детей у матери было шестеро, и я — старший из них. Погруженная в домашние заботы, мать старилась раньше времени и томилась в захолустье. Когда-то радостная и веселая, теперь она видела всю безвыходность своего неудачного супружества и нерастраченные душевные силы свои выражала в иступленной любви к детям. Она чувствовала, что настоящая живая жизнь идет где-то стороной, далеко от нее, сама же она обречена на медленное душевное умирание. Она с гордостью рассказывала нам, что есть на свете люди, которые желают добра народу и борются за его счастье и за это их гонят и преследуют; что сестра ее тетя Миля сидела в тюрьме за нелегальную работу, так же как сидел один из отцовых племянников, студент, известный в нашей семье под кличкой Коля-большой, в отличие от меня — Коли-маленького. Коля-большой по временам приезжал к нам со своей неизменной гитарой и собирал вокруг себя целую толпу местной молодежи. Он славно пел свои неведомые нам студенческие песни и всем своим веселым видом вовсе не напоминал подвижника, пострадавшего за народ. Это была загадка, разгадать которую я был еще не в силах.

В 1914 году, когда я учился во втором классе, началась мировая война. Но она была так далеко от нас и так мало поддавалась нашему представлению, что вначале больших перемен в нашу жизнь не внесла. Однажды приезжали в училище бывшие наши выпускники, теперь молодые прапорщики, отбравшиеся на фронт, прощаться с директором и учителями. Они были в новеньких защитных куртках, в погонах, с сабельками. Мы, разинув рот, наблюдали издали за ними и мучительно завидовали им. Потом разнесся слух, что убили одного из них — Кошкина. Труп его в свинцовом гробу привезли в город, и все реальное училище хоронило его на городском кладбище. По этому поводу я написал весьма патристическое стихотворение «На смерть Кошкина» и долгое время считал его образцом изысканной словесности.

Во всех домах появились карты военных действий с передвигающимися флажками, отмечающими линию фронта. Вначале все это занимало нас, особенно во время прусского наступления, но затем, когда обнаружилось, что флажки передвигаются не только вперед, но и назад, и даже далеко назад, игра постепенно приелась, и мы охладели к ней. И только буйные крики пьяных новобранцев да женский плач, которые все чаще слышались у воинского присутствия, напоминали нам о том, что в мире творится нечто страшное и беспощадное, немало не похожее на это безмятежное передвижение флажков в глубине уржумского захолустья.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От издательства	5	Овал	136
Очерки наших дней		Над книгой Некрасова (1941)	137
К. Паустовский. — Городок на реке	7	Н. Панченко:	
Новое рождение слова	9	Обелиски. Стихи солдата	137
Н. Яковлева. — Хлопот полон рот	9	Наталья. Стихи о любви	139
Ф. Пудалов. — На крылечке	11	Очерки наших дней	
Ф. Вигдорова. — Наша бабка	13	Н. Яковлева. — Куколки	142
Н. Яковлева. — Птичий профессор	14	Ф. Вигдорова. — Глаза пустые и глаза волшебные	150
Э. Малых. — Она это любит	16	Л. Кривенко. — Ока	158
В. Корнилов. — Шофер. Повесть в стихах	17	А. Gladков и Н. Оттен. — Бумажные цветы. Киноповесть	164
К. Паустовский. — Главы из второй книги «Золотая роза»:		Юрий Трифонов. — Однажды душевною ночью	202
Иван Бунин	28	Новые стихи	
Встречи с Олешей	34	Д. Самойлов:	
Александр Блок	37	Заболоцкий в Тарусе	203
Горсть Крымской земли. О Владимире Лу- говском	41	Гости. Из Д. Ийеша	204
Арк. Штейнберг. — Болховское. Заметки в стихах	45	Я стал зависим от погоды	204
Булат Окуджава. — Будь здоров, школяр.	50	Сорок лет	204
Юрий Казаков. — Три рассказа:		Памяти А. Р.	204
Запах хлеба	76	Давайте защитим людей	205
В город	78	Чайная	205
Ни стуку, ни грюку	82	Петр Семьнин. — Из цикла «Памяти Лермонтова»:	
Борис Балтер. — Трое из одного города	87	Эльбрус	208
Очерки наших дней		Сердце Кавказа	209
Э. Малых. — Точнее сказать	120	Рассвет в горах	209
Ф. Пудалов. — Спортивная закалка	121	Отчизна	209
Ф. Пудалов. — Характер	123	В тот безысходный час	209
Э. Малых. — Кормилец	125	Борис Слуцкий:	
Э. Малых. — Что человеку нужно	127	Надо думать, а не улыбаться	210
Новые стихи		Творческий метод	210
Евгений Винокуров:		Чистота стиха	210
Поэма о полотере	129	Изобретаю аппараты	210
Кунание детей	130	Футбол	210
Чудаки	130	За ношение орденов!	211
Боюсь гостиниц	130	Ресторан	211
Мы платимся за старые грехи	130	Рассказ солдата	211
Заведующий поэзией	130	Белый снег	212
Н. Коржавин:		На двадцатом этаже живу	212
Песня, которой тысяча лет	131	На экране безмолвные лики	212
Век открывался для меня непросто	133	Умирают мои старики	212
Эвакуация	133	Старухи без стариков	213
Легкость	133	Широко известен в узких кругах	213
Вступление в поэму	134	Преимущества старости	213
Ни трудом и ни доблестью	134	Музшкола имени Бетховена в Харькове	213
Современники	134	Андрей Досталь:	
Не изойти любовью, а любить	135	Я тебя рисую	214
Мне без тебя так трудно жить	136	Губами я волос твоих касаюсь	214
У меня любимую украли	136	Ты говоришь	214
Хотеть. Спешить	136	Как дни бегут	214
Ты сама проявила похвальное рвенье	136	Спасибо тебе	214
Предельно краток язык земной	136	Холодный осенний причал	214
От дурачеств, от ума ли	136	Садовая калитка	216
		Лунная лодка	216
		Что мне расскажет сова	216

В поле гудят провода	217	Ищи себе доверчивых подруг	257
Арк. Штейнберг:		Золото моих волос	257
Напутствие	217	Седые волосы	257
Дубы	217	Облака	257
Хозяин	218	Так вслушиваются	257
Кипрей	218	Строительница струн	257
Родник	218	Письмо	257
Канун половодья	219	...Глазами казенных	258
Человек	219	Ты, меня любивший	258
День догорел	220	Деревья	258
Примерещились мне камышовые плавни	220	Листья	259
Листопад	220	Душа	259
Костер горит	221	Если душа родилась крылатой	259
Учительница	221	Офелия	259
Владимир Максимов. — Мы обживаем землю.		Офелия — в защиту королевы	259
Маленькая повесть	223	Диалог Гамлета с совестью	259
Г. Корнилова. — Летний дождь с моря	235	Рано еще — не быть	259
Владимир Кобликов. — Голубые слезы.	238	Заочность	260
Публикации		Крик станций	260
Е. Сахарова. — Народный театр и семья		Жизни	260
В. Д. Поленова	242	Памяти Сергея Есенина	260
О. Поленова. — Поленовские рисовальные вечера	249	Из цикла «Стол»	260
Всеволод Иванов. — Поэзия Марины Цветаевой	251	Сад	261
Марина Цветаева:		М. Тихомирова. — Новые материалы о жизни и творчестве В. Е. Борисова-Мусатова	261
Кирилловны	252	И. Бодров. — Тарусские коллекционеры	266
Осень в Тарусе	254	Н. Оттен. — Юрий Крымов и его первая повесть	268
Паром	254	Юрий Крымов. — Подвиг. Рассказ	269
Идите же!	254	А. Февральский. — Станиславский и Мейерхольд	289
Из цикла «Муза»	255	Игорь Ильинский. — Несколько слов	292
За девками доглядывать	255	Александр Гладков. — Воспоминания, заметки, записи о В. Э. Мейерхольде	292
Легкомыслие — милый грех	255	Н. Степанов. — Памяти Н. А. Заболоцкого	307
Кто дома не строил	255	Н. Заболоцкий:	
Два дерева хотят друг к другу	255	Лицо коня	309
Упадешь — перстом не двину	255	Змея	310
Две руки	255	Искусство	310
Развела тебе в стакане	256	Царица мух	310
На смех и на зло	256	Предостережение	310
Со мной не надо говорить	256	Прохожий	311
Ты меня никогда не прогонишь	256	Старая сказка	311
Змей	256	Воспоминание	311
Из поэмы «Лестница»	256	Бегство в Египет	311
Дабы ты меня не видел	257	Поэма весны	312
Здравствуй! Не стрела, не камень	257	Ранние годы	312

ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ
Литературно-художественный сборник

Составитель *Н. Оттен*

Художественный редактор *А. Пелипенко*
Технический редактор *Н. Иванов*
Корректоры *Е. Абинякова, А. Лысак, Т. Михайлова*

* * *

ТБ02255. Сдано в набор 24/VII 1961 г.
Подп. к печ. 14/X 1961 г. Формат 84×108¹/₁₆
Печ. л. 32,8 Уч.-изд. л. 46,7 Тираж 75 000 Изд. 266
Цена 1 руб. 80 коп. Зак. 152
Калужское книжное издательство, пл. Ленина, 6

* * *

Калужская типография облполиграфиздата
управления культуры, пл. Ленина, 5

Цена 1 р. 80 к.

КАЛУЖСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1 9 6 1